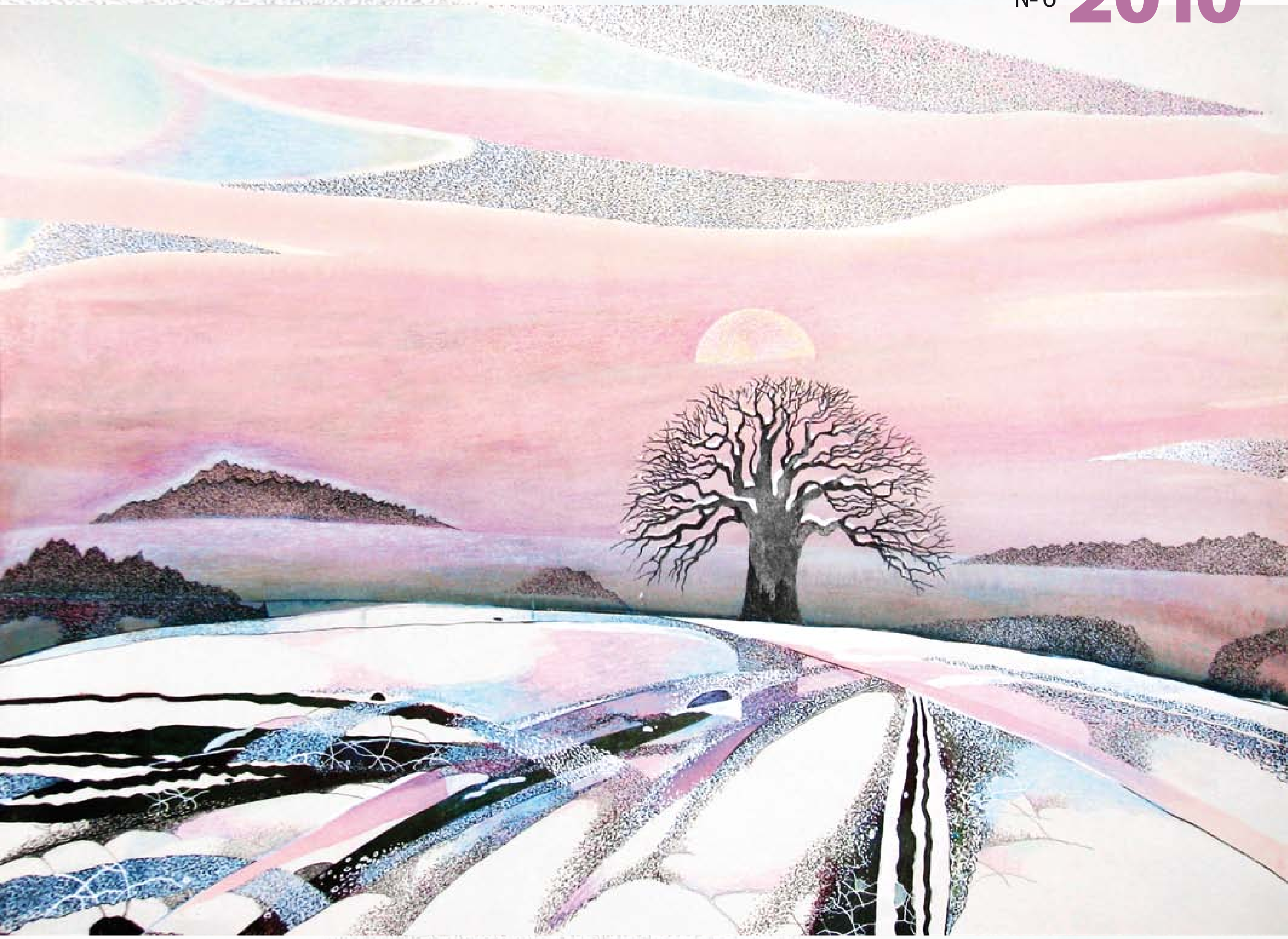
ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 6 2010



Бранка Такахаши
Выбор

Альбина Гумерова
Дамдых. Волга. Шелангá

Андрей Грачёв
Блокнот

Владимир Алейников
«Самому легендой быть для всех»

Лев Бердников
Веселовские

Эдуард Русаков
Царь-сторож

Вечер. Золотой Плёс, 1889

Над вечным покоем, 1894

«Гармония и красота рождают в душе благословенную тишину и спокойствие, недаром живопись *Исаака Левитана* не раз определяли как „звучащую тишину“…»

Марина Москалюк, с. 3

ДЕНЬ и НОЧЬ
литературный журнал для семейного чтения
№ 6 (80) | ноябрь–декабрь | 2010

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть».
Е. А. Баратынский

В номере

ДиН юбилей
Людмила Гаврилова
Ольга Карлова
Марина Москалюк
3 **Константа русской души: Чайковский, Левитан, Бунин**

ДиН логос
Вера Алексеева
14 **Энергия неэгоистической любви**

ДиН диалог
Юрий Беликов
Татьяна Черниговская
21 **Ящик Антипандоры**

ДиН мемуары
Владимир Алейников
25 **«Самому легендой быть для всех»**
Нина Шалыгина
41 **Царский подарок**

ДиН антология
Александр Блок
20 **К неизведанным безднам**
Алексей Апухтин
24 **Люди и страсти**
Роальд Мандельштам
78 **Над миром стеклянных улиц…**

Страницы Международного сообщества писательских союзов
Андрей Грачёв
79 **Блокнот**
Иван Щёлоков
94 **За́мок из песка**
Инна Сидоренко
96 **Тень подорожника**
Аминат Абдулманапова
104 **Погибшим и живым**
Галина Кузнецова-Чапчахова
106 **Парижанин из Москвы**
Николай Рачков
119 **Зажги в себе свечу**

ДиН память
Олег Хмара
121 **Свидетель братства**
Кималь Маликов
123 **Четвёртая ипостась**

Клуб читателей
Александр Лейфер
118 **«Мой триумфальный день настанет…»**
Борис Кутенков
231 **От «Юности» к «Звезде» и обратно**
Владимир Монахов
239 **Стол поэта: до и после праздника**

ДиН стихи
Евгений Мартынов
126 **Черёмухи белые руки…**
Борис Косенков
127 **Смеясь, ужасаясь и плача…**
Олег Малинин
129 **По дороге домой**
Игорь Панин
221 **Тема с вариациями**
Фёдор Васильев
238 **Слепой художник**

ДиН конкурс
Александр Москвин
Дмитрий Замятин
Виталий Пырх
77 **Чуть выше небес, чуть дальше времён…**
Дмитрий Соломенский
Варвара Юшманова
Анатолий Ухандеев
93 **Синих льдов неделимая твердь**
Ольга Шипко
Александр Щербаков
186 **Мы с тобою лесные, древесные…**
Александр Ёлтышев
Игорь Покотилов
196 **Незримый путь…**
Елена Родченкова
Янис Грантс
Александра Водолажченко
201 **Глухое дыханье Сибири…**
Дмитрий Дектерёв
Семён Хмелевской
209 **Правда о Сибири, но не вся…**
Ольга Бобрышева
Алексей Зельский
224 **Ветер из Сибири**

ДиН дебют
Игорь Хохлов
105 **Берёзовый остров**

ДиН проза
Эдуард Русаков
131 **Царь-сторож**
Альбина Гумерова
146 **Дамдых. Волга. Шеланга́**
Бранка Такахаши
171 **Выбор**

Библиотека современного рассказа
Анатолий Статейнов
187 **Старики мои и старухи**
Игорь Герман
191 **Приглашение к безумию**
Марина Переяслова
197 **Из любви к искусству**
Вадим Наговицын
202 **Крест**
Леонид Левинзон
210 **Количество ступенек не имеет значения**

ДиН публицистика
Лев Бердников
214 **Веселовские**

ДиН мегалит
Алексей Григорьев
223 **К началу**
Андрей Пермяков
225 **Чёрные лебеди**
Катерина Канаки
226 **Полная горького молока**
Ольга Брагина
228 **Тротуар для отвода глаз**
Наталья Косолапова
230 **Узелки неслучайных совпадений**

ДиН дети
241 **Синяя тетрадь**

246 **Авторы**

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Эдуард Русаков
Александр Астраханцев
Сергей Кузнечихин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Михаил Стрельцов

СЕКРЕТАРЬ

Наталья Слинкова

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Алексей Бабий
Красноярск

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Марина Переяслова
Москва

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Владимир Токмаков
Барнаул

Илья Фоняков
Санкт-Петербург

Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

П. И. Пимашков
Глава города Красноярска

В. М. Ярошевская
директор Красноярского краеведческого музея

М. С. Невмержицкая
директор Красноярского библиотечного коллектора

Т. Л. Савельева
директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

В оформлении обложки использована картина Татьяны Колгановой

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН
246 304 27 49

Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы» в г. Красноярске.

БИК
040 407 967

Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75[a],
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77–7176 от 22 мая 2001 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при поддержке Агенства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное сообщество писательских союзов.

Рукописи принимаются по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь»

или по электронной почте: kras_spr@mail.ru.

Желательны диск с набором, фотография, краткие биографические сведения.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Подписано к печати: 29.11.2010
Тираж: 1500 экз.

Отпечатано с готового оригинала в типографии ООО ИПЦ «КАСС».

Адрес: 66 00 48, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 65, стр. 23

Людмила Гаврилова, Ольга Карлова, Марина Москалюк

Константа русской души:
Чайковский, Левитан, Бунин

В Красноярском крае возрождена традиция проведения Академических собраний. В 2009 году, в период празднования 200-летия Гоголя, этой традиции был дан новый старт. Академическое собрание в апреле 2010 г. было посвящено 150-летию Чехова. Третье Академическое собрание, состоявшееся в октябре 2010 г., было посвящено сразу трём юбилеям — П. И. Чайковского, И. И. Левитана и И. А. Бунина. Перед собравшимися выступили доктора искусствоведения Марина Москалюк и Людмила Гаврилова и доктор философских наук Ольга Карлова. Текст этого беспрецедентного тройного доклада мы предлагаем читателям «ДиН».

«Умом Россию не понять…» Поставив довольно точный диагноз, поэт, призывая к вере, тем не менее, ушёл от ответа на вопрос о сути русской души. Проходят века, но эта тайна по-прежнему волнует всех, кому близки русский взгляд на мир и ментальность русского искусства. Позволим себе предположить, что эта ментальность есть некая константа, что её сущность проявляется в разные эпохи, на языках разных искусств…

Нынешний год богат на юбилеи русского искусства. Наиболее значительные из них: 170 лет со дня рождения Петра Чайковского, 150 лет Исааку Левитану, 140 лет Ивану Бунину. Три мастера — три мифа: последний русский романтик, последний русский реалист, последний русский символист… Здесь есть о чём подумать; может быть, поспорить. Каждый из них жил в эпоху перемен, замыкая собой, своей творческой рефлексией эту эпоху и распахивая двери новому… Наши размышления преследуют цель понять, чтó, несмотря на разницу времён, личных и творческих судеб, роднит художественный мир трёх мастеров, определяет глубинный смысл и неисчерпаемость их творческого наследия.

Три мастера — три искусства: музыка, живопись, литература… А потому важен и другой вопрос: есть ли нечто, что роднит художественные стили выдающихся творцов русского искусства — композитора, живописца, писателя? И, наконец, есть ли нечто, что объединяет творчество увлечённого Европой Чайковского, еврея по рождению Левитана, изгнанника-русофила Бунина? Если это общее есть, то это, видимо, и будет ментальность русского художественного взгляда на мир.

Начнём с гипотезы, уже ставшей аксиомой: «русскость» формируется уже самой природой России, её пространствами, вдохновлявшими поэтов, художников, композиторов всех времён. Недаром у многих из них русские природные пейзажи так легко трансформировались в пейзажи русской души. Недаром целая плеяда мастеров разных искусств гордо носила имя поэтов русского пейзажа…

Марина Москалюк:

Поэт русского пейзажа

Принято говорить о «пейзаже» как изображении природы, но живописный пейзаж — это не природа как таковая, а собственно картина, результат оформленности «чувства природы» в художественный образ. Очевидно, что «чувство природы» у каждого сугубо индивидуально, оно вмещает в себя философию природы и мировоззрение художника, конкретный стиль данного произведения. В сознании Левитана, человека XIX века, как, впрочем, и человека нынешнего XXI столетия, природа входит в непростые взаимоотношения с абсолютными понятиями смысла жизни, истины, добра, с категориями вечного и преходящего, горнего и дольнего.

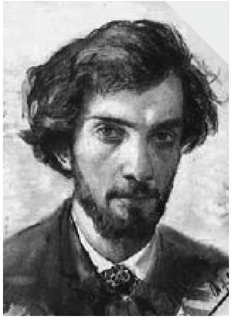
Наиболее характерным левитановским мотивом, придающим особую «русскость» его полотнам, принято считать «мотив приюта», поиски гармонизации, отдохновения человеческой души. Недаром первое большое признание в 1890 году — премию Московского общества любителей художеств — Левитан получает за картину «Тишь»… Душа художника Исаака Левитана в нескончаемых жизненных проблемах искала покоя, тишины, приюта, райского пристанища уже здесь, на земле.

Как некое инобытие мечты предстаёт в пейзаже «Вечер. Золотой Плёс» мягкая, тающая в золотом мареве диагональ Волги. По воспоминаниям, в свою третью поездку в 1889 году к берегам великой русской реки художник каждый вечер ходил смотреть и переживать закат. А днём в мастерской по памяти воссоздавал не реальный провинциальный городок, а свой собственный Золотой Плёс, причём настолько правдоподобный, что многие стремились отыскать конкретное место, с которого мог бы быть написан пейзаж. Величие широкого пространства, спокойная гладь царственной реки, богатые оттенки предсумеречного освещения — всё это настраивает на состояние глубокой созерцательности.

Лето 1890 года начинается у Левитана поездкой в Юрьевец, где он делает множество карандашных набросков стен, берегов озера, монахов

Людмила Гаврилова
Ольга Карлова
Марина Москалюк

Иван Бунин
Исаак Левитан
Пётр Чайковский



Кривоозёрского монастыря, затем возвращается в любимый Плёс и создаёт по впечатлениям одну из самых известных сегодня работ «Тихая обитель». Целью художника вновь становится не отражение конкретного ландшафта, а возвышенный идеальный образ. Композиция и цвет придают «Тихой обители» некие «надмирные» черты, делают изображённое земным отголоском «Небесного Иерусалима».

Потомок раввина, воспитанный Москвой

Сразу подчеркнём: отношение Левитана к религии не было простым. Родился он в иудейской семье на западной окраине России, в Кибартах; дед был многоуважаемым раввином. Но воспитан Левитан Москвой. Он не был воцерковлённым человеком, однако глубоко и серьёзно интересовался православной культурой, которая привлекала глубинным знанием мироздания, таинственной недосказанностью. В неуравновешенном, темпераментном характере художника была склонность к затворничеству, к созерцательному уединению.

После четвёртой поездки 1890 года Левитан больше не возвращается на Волгу. Но на основе волжских впечатлений создано ещё немало картин, в том числе многогранный образ «Вечернего звона», где тема приюта, райского прибежища приобретает новое, более светлое и ясное содержание.

Предметное наполнение каждого из трёх пейзажей близко друг другу, Мы видим одну и ту же колоколенку, церквушку, воду и небо. При всём правдоподобии якобы натурного вида все пейзажи сконструированы художником в воображении, при этом эмоциональное состояние и смысл каждого полотна не схожи друг с другом. Созерцание спокойной природы в «Золотом Плёсе» дарит человеку моменты спокойного отдохновения. Извилистые тропинки и утлые мостки зовут нас в уютную «Тихую обитель». В зеркальных отражениях расширяется пространство неба и воды, рождает ощущение бесконечности, неземной благодати и покоя в «Вечернем звоне».

Гармония и красота рождают в душе благословенную тишину и спокойствие, недаром живопись Исаака Левитана не раз определяли как *«звучащую тишину»*…

Ольга Карлова:

Звучащая тишина

Именно *звучащая тишина* является главной приметой поэзии Ивана Бунина.

> Лес зелёный кругом, молодой и росистый,
> А в лесу тишина, и среди тишины—
> Только голос кукушки. Вещун голосистый!
> Отзовись, доживу ли до новой весны?
> . . . .
> Буду ль снова внимать тебе с грустью глубокой,
> С тайной грустью в душе, что проходят года,
> Что весь мир я люблю, но люблю одиноко,
> Одинокий везде и всегда?

Одиночество—естественное внутреннее состояние Ивана Алексеевича. Родом из старинной дворянской семьи, к которой принадлежали известная поэтесса начала девятнадцатого века и даже родоначальник русского романтизма Василий Жуковский и которая к моменту рождения Ванечки окончательно разорилась, Бунин вынужден вести жизнь нищего разночинца. Ему, фанатичному поклоннику русской художественной культуры, певцу русского пейзажа, выпало полжизни прожить на чужбине.

В холоде и голоде, во всегдашней бесприютности Орла, Москвы, Граса, Парижа собеседником Бунина становится именно природа. Её безмолвие предполагает лесные шорохи, крик журавлей, все другие природные звуки, которые разделяют одиночество поэта, дают ему ответы на невысказанные вопросы, позволяют созерцать красоту и истину.

Два пути восхождения

Два храма—храм Природы с его естественными звуками и Православный храм с перекличкой колоколов—это два пути восхождения в мир горний.

Пустынная Яйла дымится облаками,
В туманный небосклон ушла морская даль,
Шумит внизу прибой, залив кипит волнами,
А здесь—глубокий сон и вечная печаль.
Пусть в городе живых, у синего залива,
Гремит и блещет жизнь… Задумчивой толпой
Здесь кипарисы ждут—и строго, молчаливо
Восходит Смерть сюда с добычей роковой.
Жизнь не смущает их, минутная, дневная…
Лишь только колокол вечерний с берегов
Перекликается, звеня и занывая,
С могильной стражею белеющих крестов.

Природа Бунина активна, эмоциональна, она не только созвучна человеку, как в японской танке, она уговаривает, предупреждает, предостерегает… В природном мире глубоко чувствуется, предощущается иное, тайное и неземное… А потому зима у Бунина всегда есть предвестие вечной весны, лето—философское предчувствие осени, о котором можно молчаливо поговорить лишь с самой природой.

Чёрный бархатный шмель, золотое оплечье,
Заунывно гудящий певучей струной…
Ты зачем залетаешь в жильё человечье
И как будто тоскуешь со мной?
. . . .
Не дано тебе знать человеческой думы,
Что давно опустели поля,
Что уж скоро в бурьян свеет ветер угрюмый
Золотого сухого шмеля.

Человек у Бунина—сосуд рефлексии природы, орган её мысли и переживания. Именно мир природы, образы которого занимают 74 процента всех художественных описаний Бунина—и есть для него мир *высшей гармонии бытия*.

Людмила Гаврилова:

Природный мир гармонии

Высшая гармония бытия есть мир природы—это неоспоримая истина и для Чайковского. Натура его—необычайно тонкая и восприимчивая ко всему, что его окружало,—проявляла особую чуткость к красоте природы, он ощущал какую-то глубинную, почвенную, неразрывную связь с природой.

«Отчего простой русский пейзаж,—писал Чайковский из Сан-Ремо,—отчего прогулка летом в России, в деревне по полям, по лесу, вечером по степи, бывало, приводила меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе, от тех неизъяснимо сладких и опьяняющих ощущений, которые навевали на меня лес, степь, речка, деревня вдали, скромная церквушка—словом, всё, что составляет убогий русский, родимый пейзаж? Отчего всё это?..»

Любовь к природе стала частью жизнеощущения, самого существования Чайковского. Прогулки по лесу, по полям, причём в любую погоду, были для него одним из главных источников творческого вдохновения. Не случайно описанием природы и изображением её влияния на душу человеческую наполнены многие страницы творчества Чайковского. Восторженное приятие природы рождает потребность благословления величайшего творения Бога, ибо в ней, как истинно романтический художник, он ощущает столь желаемое живое присутствие бесконечного.

Художническая чуткость композитора к миру «видимого» проявляется в умении воплотить эту «видимость» в «слышимом», в музыкальном звучании.

Творчество Чайковского открывает достаточно разнообразные возможности для изучения живописных свойств музыкального языка, которые, в свою очередь, являются частью богатейшего изобразительного потенциала музыки.

Зримая графика музыки

«Он так владеет выразительными и изобразительными средствами своего искусства,—писал Б. Асафьев,—что речь музыки одновременно вызывает, где это необходимо Чайковскому, звукозрительные иллюзии в сознании чуткого и внимательного слушателя». Например, графический рисунок мелодии, характеризующей лебедей в музыке балета «Лебединое озеро», является своеобразным олицетворением мягкой женственности, рельефа прекрасной птицы. Ритмическая организация почти со зримой отчётливостью передаёт графику взмаха лебединого крыла. При желании можно даже посчитать количество взмахов, почувствовать их динамику. В этой теме воплощена и идея пленённой женственности—мелодия, как в клетку, заключена в диапазон интервала квинты, она «бьётся» в ней, словно пытаясь вырваться на свободу!

Сколько иных изумительных музыкальных портретов, поражающих зримой конкретностью хореографических движений, характерностью жеста, создаёт композитор в «Спящей красавице» («Кот и кошечка», «Мальчик-с-пальчик и Людоед»), в «Щелкунчике» («Танец заводных кукол»). Способность «живописать» звуками явлена и в пьесах из циклов «Детский альбом»—«Игра в лошадки», «Баба Яга»; «Времена года»—«Жатва», «Охота», «На тройке», «Масленица». Картинная изобразительность очаровывает в третьей части симфонии «Манфред»—«Фея в радуге из брызг водопада», изображение спокойной и бушующей морской стихии поражает в «Буре».

Но, вероятно, самыми живописными можно считать лирические пейзажи в музыке Чайковского,

с характерным одушевлением природы мыслью и чувством. Лирический тонус русской пейзажности ярко проявляется в цикле «Времена года», в музыке к «Снегурочке» Островского и, конечно, в первой симфонии — «Зимние грёзы».

Уже начальные звуки симфонии, её первой части, названной «Грёзы зимней дорогой», поражают акварельной, почти импрессионистической звукописью, живописующей характерный образ зимнего пути. Ритмическая пульсация «мерцающего» фона шестнадцатых словно передаёт характер движения саней, звон дорожного колокольчика. Вторая часть — «Угрюмый край, туманный край» — рисует бескрайние равнины русского пейзажа, его безбрежные просторы.

Чайковскому действительно удаётся не просто воплотить в «слышимом» эту «видимость» зимнего пейзажа, который обладает для него ни с чем не сравнимой прелестью, но и передать его душу!

В этом и проявляется одна из главных черт пейзажной лирики Чайковского — её *живописность*.

Ольга Карлова:

Поэзия тысячи красок

Живописность поэзии и прозы Бунина не имеет аналогов в русской литературе: при среднем использовании в текстах на 10 тысяч слов 70–90 цветообразований только Бунин использует 190 красок. Чувство восторга перед красотой природы заставляет его обращаться к белому и синему — по 23 процента от общего числа словоупотреблений. Кстати, именно синий цвет лингвисты считают «цветовым этноприоритетом России». Цвет у Бунина устойчив и обозначает конкретный лирический мотив. Замечательно выразил это свойство его художественности философ Фёдор Степун: «Не надо забывать, что греческое слово «теория» означает не мышление, а созерцание. Талант Бунина это помнит. Бунин «думает глазами».

— Беру большой зубчатый лист с тугим
Пурпурным стеблем, — пусть в моей тетради
Останется хоть память вместе с ним
Об этом светлом вертограде
С травой, хрустящей белым серебром,
О пустоте, сияющей над клёном
Безжизненно-лазоревым шатром,
И о щеглах с хрустально-мёртвым звоном!

Бунин использует цвет как средство мифологизации. Добро и порок у него выступают в определённой цветовой гамме. Палитра рассказов «Тёмных аллей» строится на доминирующих красно-бело-чёрных тонах, число вариаций чёрного / тёмного — бесконечно. Цвет повторяет ритмику фабулы: ожидание любви, встреча, разлука. Отсюда и особый бунинский жанр рассказа — литературный натюрморт.

Портреты, пейзажи, интерьеры доминируют в прозе Бунина, поглощая и растворяя в себе событийно-фабульную основу, придавая словесному образу статичность, мизансценичность, своего рода картинность.

Вмещая мир в созвучия и звуки

В то же время красочная роскошь бунинского языка, по утверждению Владимира Набокова, достигается прежде всего его звукописью, ритмикой, лаконизмом и высочайшей плотностью стиха.

О мука мук! Что надо мне, ему,
Щеглам, листве? И разве я пойму,
Зачем я должен радость этой муки,
Вот этот небосклон, и этот звон,
И тёмный смысл, которым полон он,
Вместить в созвучия и звуки?

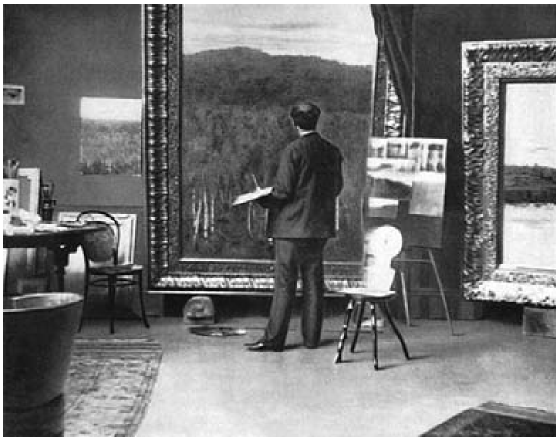
С этой неимоверной по сложности задачей Бунин справился, как поэт, отмеченный Богом. Он и сам хотел, чтобы его в первую очередь считали поэтом. Но современники бунинскую поэзию как бы не замечали. В его литературном признании вообще было слишком много «не вовремя» и «не о том». Его почётное звание академика Императорской Академии наук в 1909 году интеллигентская вольница игнорирует в знак солидарности с М. Горьким, этого звания не получившим. Бунину, лауреату Нобелевской премии 1933 года, не с кем разделить радость: узок круг эмигрантов, далека политизированная Родина. Но есть иной суд — суд истории и культуры. И мы сегодня вправе воскликнуть: только у подлинно великого поэта му́ка восхищения и немота пред вечной тайной бытия могли переплавиться в такую потрясающе напряжённую медитацию и контрастную поэтическую *музыкальность*…

Марина Москалюк:

Ритмика мазка и мелодия линий

Музыкальность Левитана отмечается многими. И речь идёт не столько о том, что Левитан страстно любил музыку, ходил в оперу и концерты, нередко работал в своей мастерской под звучащий рояль (прекрасной исполнительницей была Софья Кувшинникова, любимая женщина Левитана). Музыкальность Левитана проявляется прежде всего в том, что понять, почувствовать, объяснить художественный язык пейзажиста, не прибегая к музыкальным терминам, невозможно. При восприятии его работ ритмика мазка, мелодия линий, нюансировка цвета, тональные гаммы расширяют границы нашего реального зрения до зрения духовного, перекидывают мост от внешнего к внутренней пульсации произведения.

Чувство восторженного и светлого переживания природы создаётся в холстах «Золотая осень», «Март» за счёт усиления, повышения «звучности» цвета, за счёт звонких, интенсивных сочетаний, смелых контрастов. Скрытая динамика разнонаправленных мелодических движений — плавные изгибы реки и дорожки, тонко очерченные стволы деревьев, волнистые ритмы крон — придают ощущение не остановленного, а длящегося, развивающегося во времени мгновения. Приподнято-торжественный характер и эмоциональная напряжённость камерных по своей сути мотивов



Левитан в мастерской, 1895

создаются артистичной свободой живописного мазка—то мелко-изысканного, то размашисто-крупного, как бы зрительно воплощающего возможности музыкальной оркестровки, тембровой разработки цвета.

«Музыкальность» как составляющая творческого метода Левитана проявлялась не только на уровне живописно-пластического языка, но и в том, что он постоянно уходит от задач точного воспроизведения реального вида природы, стремится построить холст по законам внутренней гармонии, отражающей переживания его души. Левитан создаёт не вид природы, а пейзаж-настроение, в котором доминирует психологический, эмоционально-субъективный настрой.

Передать «божественное нечто»…

Поэтичность—особое свойство произведений Левитана, которое сообщает им одухотворённость, приподнятость над обыденным. Поэтичность невозможно объяснить словами. Почему поэтичны «Цветущие яблони» или «Большая вода»? Безусловно, дело здесь не в предмете изображения или его особом освещении, не в теме или сюжете, а в особенностях их воплощения, в эмоциональных акцентах. Печать утончённого совершенства, импрессионистическая живописность, волнующая лиричность одухотворяют эти образы. В письме к Антону Чехову Левитан делится сокровенным: «Я никогда ещё не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда ещё так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всём, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддаётся разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник. Но это моё прозрение для меня источник глубоких страданий. Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всём и не уметь, сознавая своё бессилие, выразить эти большие ощущения…» Левитан слишком требователен к себе, именно умение передать «божественное нечто, разлитое во всём», и даёт качество настоящей поэтичности его творениям.

Подлинная художественность языка Левитана зиждется на трёх составляющих—живописность, музыкальность, *поэтичность*…

Людмила Гаврилова:

Поэтическое чувство жизни

Поэтичность—одна из главных черт мироощущения Чайковского. Потому-то в первую очередь мы размышляли о лирическом пейзаже, живописно-изобразительном начале в творчестве композитора, что напрямую связано с поэтизацией природы, поэтизацией романтического чувства.

Чайковского с полным основанием можно причислить к последним художникам великого романтического века. В первую очередь потому, что музыка для него—«исповедь души»; в ней мы находим то особое, отечественное претворение романтического противопоставления «мечты и существенности» с теми, то гибкими, то резкими, переходами от одного плана к другому…

О романтическом складе свидетельствует и тип тонкой душевной организации личности, эмоционально неустойчивой, внутренне противоречивой… Восторженность нередко сменялась унынием и апатией. Вспыльчивость иногда доходила до буйных приступов гнева. Нередко эти крайние смены настроений происходили и в процессе его композиторской работы. Так, во время сочинения «Пиковой дамы», своего оперного шедевра, Чайковский, по описанию его слуги Назара Литрова, нередко приходил в полное отчаяние, говорил о том, что бросает сочинять музыку и уходит в каменщики, что больше не притронется к роялю. Однако позже настроение под воздействием удачной работы резко менялось, Чайковский с восторгом сообщал своим близким, что новая опера, по его мнению, станет шедевром.

Резкие перепады в настроении можно наблюдать, перебирая письма Чайковского, листая его дневники. Прежде всего выдаёт душевное состояние композитора почерк. Ровность, аккуратность, последовательное изложение, подробное описание сменяют короткие, эмоциональные фразы, размашистый почерк, трудно прочитываемые слова.

Гений и одиночество

В отношениях с современниками Чайковскому также были свойственны прямо противоположные черты. Он был в переписке более чем с 600-ми корреспондентами. Бесчисленное количество людей знакомилось и общалось с ним в поездках. При этом он постоянно стремился к одиночеству, уходя от суеты для творчества.

«Я только тогда и могу быть покоен и действительно счастлив, когда один»,—писал Чайковский издателю П. Юргенсону.

Его одиночество в первую очередь было художническим. «Чайковский равно не принадлежал ни к большинству, ни к меньшинству»,—отмечал Ларош. Он был гением, и одиночество было типологической чертой, присущей романтическому по своей сути духовному сознанию композитора.

Однако при всём своём стремлении к одиночеству композитор часто и жестоко страдал от него, порой даже боялся, не выносил его. «Странное дело!—записывает он в дневнике.—Добиваюсь одиночества, а как оно пришло, страдаю».

Глубина страдания становится ещё более очевидной, когда мы понимаем, что одиночество Чайковского было не только художническим, но и семейно-бытовым: и это при его обострённой чувствительности, необыкновенной доброте и доброжелательности, страстном желании, чтобы его любили, мечтах о семье.

В душе Чайковского постоянно шла напряжённая, тревожная работа над изживанием колоссального запаса творческой энергии. Житейски это выражалось в крайне нервном перескакивании от сознания: надо жить как все и вместе со всеми—к убеждению: надо всё бросить и искать полной свободы времяпровождения, чтобы иметь право быть самим собой, хотя бы наедине с самим собой. Но человек один «быть» не может. Отсюда жажда, если не дано это в жизни, то в умозрении, в творчестве, воплотить все стремления своего страстного, влекомого к исповедальности духа. Творчество для Чайковского есть и главное средство преодоления одиночества, и великое изживание дарованной ему свыше колоссальной творческой энергии, и уникальная возможность познания самых глубинных тайн человеческого бытия, существа *вечности, смерти*…

Марина Москалюк:

Смерть и вечность

У Левитана тема *вечности, смерти*, страдания и печали моделируется через настроение в природе, через её напряжённое, драматичное состояние. Аморфный сумрак леса, таинственная бездна вод, небезопасные утлые мостки создают в холсте «У омута» ощущение неизбежно надвигающейся трагедии. Тихой неизбывной печалью наполняется поэзия «Сумерек». Для живописца вечер и сумерки—символы замирания эмоций. Всё меньше остаётся сил, желаний, внутренняя энергия погружается во мрак.

Несмотря на друзей и покровителей, стремившихся поддерживать его в трудных ситуациях, Левитан был по-настоящему одинок. Его внутренний мир был отягощён грузом нищей юности и сиротством. Пережитое давало о себе знать приступами безотчётной тоски и страха перед судьбой. Левитану было немногим за тридцать, когда он узнал о своей неизлечимой болезни сердца. Порой он начинал серьёзно сомневаться и в своём таланте, и в призвании художника. Дважды, в 1880-е и в 1890-е годы, Левитан переживает драматические и унизительные страницы еврейских гонений, когда ему, уже известному русскому художнику, но «некрещёному еврею», в двадцать четыре часа предписывалось покинуть Москву, и даже протесты общественности и влиятельных лиц, в том числе Павла Третьякова, не меняли абсурдности ситуации.

Пейзаж с луной, 1886

Причин для пессимистических состояний было достаточно, и сумерки души наступали часто. Результатом их переосмысления и преодоления становится обобщённо-философская композиция «Над вечным покоем».

Тяжёлая серо-сине-зелёная с перламутровыми переливами гамма баюкает растянутый до бесконечности овал озера. В сложных ритмах и линиях—напоминание о неизбежности завершения круга человеческой жизни. Но чувство одиночества и бессилия не подавляет. Патетически звучит контрастный, разнонаправленный мотив движения: мощные облака плывут вперёд, на зрителя, мыс с церквушкой—в глубь и в верх пространства, в бесконечность. Возвышенность, синтетичность природного образа, огромные, одухотворённые просторы неба и озера убеждают в высшем, пусть непостижимом для разума человека, но совершенном смысле мироздания. «Над вечным покоем»—образ скорбный и величественный одновременно, от эмоций «Омута» и «Сумерек» художник переходит к неизменным законам бытия…

«…Стремлюсь к невозможному, мечтаю о несбыточном…»

Среди множества картин Левитана портретов лишь единицы. Он писал только тех, к которым по-особому было расположено сердце. Софья Петровна Кувшинникова была музой Левитана восемь лет его недолгой жизни, это были наиболее творчески насыщенные годы. На портрете, написанном Левитаном как будто в честь их знакомства, мастерски выписаны внешние черты, а выражение глаз почти скорбное. Любовь без будущего, но именно любовь… Ведь так светло не пишут нелюбимых, так вдохновенно не превращают не блиставшую красотой сорокалетнюю женщину в «воздушную фею», как иронично называли портрет современники…

И всё-таки высокий, красивый, артистичный в кругу друзей Левитан одинок. «Почему я один? Почему женщины, бывшие в моей жизни, не принесли мне покоя и счастья? Быть может, потому, что даже лучшие из них—собственники. Им нужно всё или ничего. Я так не могу. Весь я могу принадлежать только моей тихой бесприютной музе, всё остальное—суета сует… Но, понимая это,

я всё же стремлюсь к невозможному, мечтаю о несбыточном…»

Да, Левитан в суете сует принадлежал лишь живописной музе, именно она никогда не подводила, именно она спасала. Одновременно с торжественно-драматичной композицией «Над вечным покоем» в мастерской художника на мольберте стоял холст «Свежий ветер. Волга». Волга здесь — воплощение кипучей жизненной деятельности, энергия бьёт в холсте ключом. В контрастном сочетании синего, красного, белого, в динамике движения кораблей по диагонали, в вовлечённости зрителя в активную ритмику волн переднего плана — во всём ощущается страстная *жажда жизни*…

Ольга Карлова:

«Повышенное чувство жизни»

Именно *жажда жизни*, или, как говорил сам Иван Алексеевич, «повышенное чувство жизни» определили фундаментальную основу мира Бунина, особенно в поздний период, на фоне того одиночества и жестокой изоляции от Родины, когда казалось, что Россия — это и есть Бунин. Создание интегрального образа повышенной жизни, её страстного накала, достижение превосходной степени, почти пограничного состояния — доминанта художественности писателя.

Доминантой же его мышления является вписанность в целое бытия всех его стихов, сюжетов, мотивов, рассказов. Всё связано со всем, взаимопроникаемо, всё имеет смысл лишь по отношению к целому. Это не только древняя логика мифокосмоса, характерная для русских философов и литераторов разных эпох, это ещё и мужество мыслителя оперировать понятиями «вечность», «космос», «жизнь» и «смерть». Понятиями, которые не только по-европейски психологичны, но и по-восточному онтологичны. От фрейдистской яркости отдельных впечатлений, смены лихорадочных, почти болезненных состояний — Бунин переходит к философскому осмыслению света и тени, ян и инь, счастья и муки, Эроса космического — животворящего и всепроникающего — и Эроса лирического — сексуального и окрашенного мажорным трагизмом.

«Когда влюблён, всегда стреляют в себя…»

В творчестве позднего Бунина сплавились драматичная ранняя любовь нищего журналиста к дочери елецкого врача Варваре Пащенко, недолгий брак с Анной Николаевной Цакни и, напротив, долгие годы душевной привязанности к Вере Николаевне Муромцевой, ставшей его супругой в 1907 году и прожившей с ним 50 лет. В этом браке были страсть и охлаждение, близость и одиночество, шумные ссоры и бесконечное терпение — и всё это переживалось публично, под одной крышей с живущими в их доме русскими литераторами-эмигрантами, в числе которых были и молодые женщины. Любовь Бунина в жизни и творчестве — это состояние аффекта, жизнь жизни, самый яркий проявитель истины и красоты. «Он был очень влюблён, — рассуждает ребёнок в новелле «Часовня», — а когда очень влюблён, всегда стреляют в себя». Эта любовь отмечена фатальной взаимной закрытостью сути мужской и женской страсти. Она в равной степени интимна и всемирна, дивна и ужасна. И смерть приходит не как акт уничтожения, но как Великий предел. И Женщина — лишь спусковой крючок смертоносного оружия, прекрасный и неумолимый одновременно. Любовь мужчины и женщины, одержимых жизнью и заворожённых смертью, у Бунина *вечна, трагична и мистериальна*…

Людмила Гаврилова:

Любовь? Да, да и да!

Любовь мужчины и женщины в музыкальных драмах Чайковского *трагична*? Бесспорно! *Мистериальна*? Вероятно, ибо, как все художники-романтики, он осознавал идеализирующее значение любви, в том числе и как мистического чувства.

Однако всё, что связано с любовью в жизни и творчестве Чайковского, принадлежит к самым сложным и неоднозначным темам для обсуждения.

«…Вы спрашиваете, друг мой, — пишет он фон Мекк, — знакома ли мне любовь неплатоническая? И да, и нет. Если вопрос этот поставить несколько иначе, т. е. спросить, испытал ли я полноту счастья в любви, то отвечу: нет, нет, нет… Если же Вы спросите меня, понимаю ли я всё могущество, всю неизъяснимую силу этого чувства, то отвечу: да, да и да!»

Вспомним, как в конце 60-х годов Чайковский пережил страстное увлечение певицей Дезире Арто. В 1877 году он женится на Антонине Милюковой, чувства к которой были мало похожи на восторженное почитание и пламенное увлечение французской примадонной. Однако это решение сыграло фатальную роль в его судьбе: Чайковский понял, что победить природу невозможно, и это едва ли не привело композитора к катастрофе — попытке самоубийства.

На этом жизненном разломе рождаются два его гениальных творения.

Одно из них — Четвёртая симфония, где впервые отчётливо оформилась идея рока в творчестве композитора. Это первая симфония-драма в русском музыкальном искусстве. В ней отразилась вся многообразная гамма драматических переживаний душевного кризиса 1877 года. «Я ужасно люблю это детище своё, — писал Чайковский. — Она памятник той эпохи, когда после долго зревшей душевной болезни, после целого ряда невыносимых мук тоски и отчаяния, чуть не приведших меня к совершенному безумию и погибели, вдруг блеснула заря возрождения и счастья!»

Этой зарёй для композитора стала Надежда Филаретовна фон Мекк, поддержавшая его дружбой, участием и материальной помощью. Женщине, с которой он никогда не встречался, но написал несколько сот писем, которую он называл «моим провидением», посвящена Четвёртая симфония.

Поиск Женщины

Во втором творении этой поры — опере «Евгений Онегин» — рождается один из самых удивительных и искренних женских образов в мировой оперной литературе.

«Чайковский искал женщины, искал мучительно и страстно… Чайковский женщин не постигал, но *желал*, и потому его страстные порывы и восторги так наивно, так мечтательно светлы или так знойно — по-итальянски — восторженны. Быть может, в этом неудовлетворяемом желании — и восторги, и муки его творчества.

Восторги достижения и муки вечного томления. Но так как это — томление от неведения, а не сознательное томление эстета сладострастия, выбирающего из пережитого желанное, то страсть Чайковского всегда окутана покровом целомудрия, светлого девичества, тайной, не раскрытой до конца — до обнажения» (Б. Асафьев).

Осмелимся на парадоксальное утверждение: создать уникальную галерею оперных героинь, потрясающих силой и одновременно чистотой своего любовного чувства, проникнуть в самые глубинные тайны женской души смог творец, который не познал радости чувственной близости с женщиной!

При всём различии Татьяны и Марии, Чародейки и Орлеанской девы, Иоланты и Лизы, все они объединяются неразрывными узами генетической связи с сущностными свойствами того единого женского идеала, который создавал в своём творческом сознании Чайковский. Его формирование можно связывать и с влечением к женственности как олицетворению материнского начала. «На меня находит иногда сумасшедшее желание быть обласканным женской рукой. Иногда я вижу симпатичные женские лица (впрочем, не молодых женщин), к которым так и хочется положить голову на колени и целовать их», — пишет Чайковский в одном из писем. Это отношение было запрограммировано с детства — сказалась благоговейная любовь его отца Ильи Петровича к матери композитора, которую тот боготворил как святую. Сопряжение индивидуально-личностного и художественно-исторического опыта порождает в оперных героинях Чайковского новые в сравнении с их литературными прообразами смысловые грани, порой неожиданные идейные потенции, позволяющие тем самым обнаруживать широкий спектр *интертекстуальных связей*.

Ольга Карлова:

Эпигонство или интертекстуальность?

Современники Бунина часто говорили о «перепевах» и эпигонстве в его творчестве. Первым отметил эту черту «зависимости Бунина от великой русской культуры» как особую оригинальность творческого почерка Г. Гессе. Долгое время Бунин в отечественном литературоведении был втиснут в солидное, но маловразумительное понятие «традиция». И только Ю. М. Лотман с присущим ему тонким пониманием художественности заговорил о бунинском модернистском желании «переписать» русскую литературу в её художественных образцах. Он назвал творчество Бунина периода эмиграции «реалистическим изображением реально не существующего мира», отмечая: «…Существовал же этот мир в русской литературе, и именно к ней Бунина тянуло ностальгически, именно в ней он видел подлинную реальность».

Бунин — новатор эпохи модернизма — как бы изымает типы русской литературы из пыльного музея классики, переживает их неиспользованные возможности. Это уже не Татьяна, разлучённая с Онегиным, но Татьяна, соединившаяся с Буяновым или Петушковым. Если тургеневская повесть «Первая любовь» начинается с подробного описания охоты молодого человека на ненавистных ему ворон, то бунинская новелла «Ворон», построенная на том же драматическом сюжете любви-наваждения, и отдаёт должное Тургеневу, и полемизирует с ним.

Бунин — реалист лишь по художественной манере, хотя именно среди писателей-реалистов XIX века он чувствовал себя своим. Но его бытописание антинатуралистично, избирательно и символично. Писатель открывает нам беспредельность образно-сюжетного потенциала русской классики, её «разрешение в бесконечность».

Диалоги с классикой

Никто до Бунина не вёл словесно-образный диалог с изобразительным искусством: его постоянный приём — «цитирование» полотен художников. Чего стоят малявинские чёрно-красно-жёлтые красавицы в бунинских «Тёмных аллеях», «цитаты» картин Г. Ф. Ярцева, К. А. Коровина, С. П. Кувшинниковой, русских икон, европейских религиозных полотен. Наконец, «Берег» — это прямая цитата и развитие левитановской картины «Над вечным покоем»:

За окном весна сияет новая.
  А в избе последняя твоя
Восковая свечка — и тесовая
  Длинная ладья.
Причесали, нарядили, справили,
  Полотном закрыли бледный лик —
И ушли, до времени оставили
  Твой немой двойник.
У него ни имени, ни отчества,
  Ни друзей, ни дома, ни родни:
Тихи гробового одиночества
  Роковые дни.
Да пребудет в мире. Да покоится!
  Как душа свободная твоя,
Скоро, скоро в синем море скроется
  Белая ладья.

В последнем четверостишии внутристиховая пауза наполнена потрясающе глубоким смыслом водораздела и одновременно слияния двух миров. Она рождает чувство сострадания и умиротворённости, преодоление ужаса жизни сильной и высокой эмоцией. В «Береге» Бунин соединил народную поэтическую стихию и православие. Его «синее море» — дань фольклору. Именно по этому, никогда не бывшему в реальности, «синему морю» он пускает «белую ладью». Ладья — метафора гроба,

но белая ладья уже как бы не материальна, она находится на пути в горнее. Как и левитановская белая церквушка, и сама русская земля, мысом уходящая в водно-облачную даль. Это не только рефлексия русской классики, это рефлексия самой *души России*…

Марина Москалюк:

Одухотворённый Россией

Рефлексия России как большая внутренняя работа, как соотнесение себя, возможностей своего «Я» с главной темой своего творчества сопутствовала всей жизни Левитана. Переосмысление проблем взаимоотношений с родиной особенно обострялось вдали от неё, во время заграничных поездок. Их было четыре, достаточно длительные: во Францию, Италию, Германию, Финляндию и другие страны; кроме того, неоднократные путешествия в Крым. Везде художник писал красивые, пользующиеся настоящим успехом пейзажи. Но сам художник работой на европейской натуре удовлетворён не был.

Он принадлежал к типу художников, для которых условием полноценного творчества была возможность душевно прочувствовать внутреннюю жизнь природы. За границей же он не мог преодолеть некую отстранённость восприятия, осознавал не одухотворённость внутренним чувством создаваемых им образов. В одном из писем из Италии находившийся там на лечении Левитан восклицает: «Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси—реки разлились, оживает всё. Нет лучше страны, чем Россия… Только в России может быть настоящий пейзажист».

Безусловно, по сравнению с другими русскими пейзажистами—Саврасовым, Поленовым, Васильевым, Шишкиным,—рефлексия России у Левитана обострялась и в связи с его еврейским происхождением. Экзистенциальная неустойчивость, некоторая «фрагментированность личности», когда, оставаясь евреем по рождению и воспитанию, Левитан не мыслил себя вне России и русской культуры, усиливала процессы самоопределения. Из пограничья левитановского мироощущения тайна «русскости» высвечивалась иными, чем русскому, зачастую более глубокими гранями. Как бы в насмешку над всяким национализмом, именно еврейскому художнику открылась сокровенная суть русской красоты.

«Пишите по-русски, как видите…»

«Почвенность», глубину Левитан искал в больших категориях. Мы видим, что сквозной темой его творчества стала Волга, при этом не какая-то её часть, особенно любимая или родная, а Волга как целое, как великая русская река, как становой хребет земли русской. «Волга-матушка»—образ не столько пейзажный, сколько мифологический. По волжским мотивам созданы основные шедевры. «Пишите по-русски, как видите. Зачем подражать чужому, ищите своё»,—учил Левитан молодых живописцев.

Разлив, 1885

У Левитана в пейзажах практически нет человека, лейтмотивом многих работ проходит пустота уткнувшихся в берег лодок. Ни на одной левитановской композиции мы не найдём и дома как надёжного земного пристанища. Ветхие деревенские избушки жмутся друг к другу, но главное не в них, а в том, что открывается за ними: лес, поля, пространственная бесконечность. Однако при всей «безлюдности» природа Левитана не просто «очеловечена», она одухотворена переживаниями и думами, которые носят не отвлечённо-абстрактный характер, а насыщены глубоко эмоциональной *рефлексией России*.

Людмила Гаврилова:

«Жить можно только в России»

Рефлексию России у Чайковского достаточно кратко можно выразить словами композитора из письма к фон Мекк: «Я люблю путешествовать в виде отдыха за границу; это величайшее удовольствие. Но жить можно только в России, и только живя вне её, постигаешь всю силу своей любви к нашей милой, несмотря на все её недостатки, родине».

Начиная с 1877 года, он значительную часть времени живёт за границей, но постоянно ощущает в себе то особое чувство неразрывности и нераздельности своей судьбы и России, которым проникнуто мироощущение лучших представителей русской художественной интеллигенции второй половины XIX века. И это—при всех тяжёлых переживаниях, причём далеко не только личных, которые выпали на долю Чайковского именно в России.

Сложилась парадоксальная ситуация: то, что нравилось публике, зачастую отвергали коллеги-музыканты Чайковского, а их мнением он чрезвычайно дорожил! Антон Рубинштейн, чьим учеником был Пётр Ильич, не нашёл достоинств в Первой симфонии, не принял второй квартет, Ларош подверг резкой критике первую оперу—«Воевода», партитура которой была уничтожена, как и партитура следующей оперы «Ундина» и позднее фантазии «Буря». Та же судьба ожидала фантазию «Фатум», забракованную музыкантами-профессионалами. Даже увертюра «Ромео и Джульетта» не имела никакого успеха. Немалую долю горьких переживаний приносила критика Кюи, ругавшего романсы и оперу «Опричник». «Торжественным

Летний вечер.
Околица.
Рисунок, 1899

провалом» назвал премьеру своей новой оперы «Кузнец Вакула» Чайковский. Наконец, вспомним ставший уже хрестоматийным случай с Николаем Рубинштейном, заявившим, что первый фортепианный концерт Чайковского никто и никогда не будет играть.

Итак, колоссальная творческая продуктивность в первое десятилетие — и рядом, как писал композитор, «проваливаются теперь все мои вещи, где бы их ни играли».

За лирикой увидеть драму

В последующие годы, когда композитор достиг европейской и мировой известности, обнаруживается ещё одно, более глубокое противоречие. Чуждая пафоса трагедийности эпоха желала видеть в нём «певца элегических настроений» и только. Для неё он был лирическим гением. За это она его и взлелеяла. Но рядом с этим, параллельно с накоплением жизненных коллизий в судьбе композитора, во все жанры его творчества всё активнее проникало драматическое начало, завершившись созданием грандиозных музыкальных драм. Причём этот драматизм носил очевидный трагедийный характер.

Итак, лирический гений — и величайший трагический дар, позволивший выразить высочайший накал душевных страстей.

Истоки трагедийности — в том самом кризисном 1877 году, когда композитор приходит к осознанию своей «инакости», подчинённости своей жизни одному — своему таланту, призванию. Он понимает, что творческий дар приносит огромную радость, подлинное наслаждение, но поглощает все остальные интересы и привязанности, все духовные силы, «ибо раз голос тебе, поэт, дан, остальное — взято» (М. Цветаева).

Типично романтическое противоречие между идеалом и действительностью в творческом сознании композитора реализовалось в диалектической сущности неодолимой творческой энергии, которая одновременно и созидает, и разрушает творца, обретая значение злого Рока. Он является некой фатальной силой, заключённой в психических глубинах собственной личности художника. В конце своей жизни Чайковский наконец-то выявил в музыке то лично трагическое, что не давало покоя ему всю жизнь, — он создал Шестую симфонию, которая на премьере вызвала недоумение, а Б. Асафьев назвал её «трагическим документом эпохи».

Бесспорно, Чайковский во всей полноте личностных свойств и творческих проявлений был последним романтиком великого века. Потому-то он всё время стоит между двух крайностей: мечта, грёза, чистый светлый мир юной человечности (вот он — Ленский) — или же обман, мираж, тупой натиск злой силы, печаль, скорбь, смерть (вот — Герман). Здесь *два полюса, два мира*…

Марина Москалюк:
«Сокровенная тайна» «русскости»

Два полюса, два мира: один — бесконечно красочный, приподнято-энергичный, полный движения, другой — сумрачный, углублённо-созерцательный, с прорывами в потусторонность. При всём том, одно из самых частых настроений полотен Левитана — светлая высокая печаль. Художника томила не «неуловимая красота», а «сокровенная тайна» архетипа, тайна русского пространственного мирочувствования. Левитану на всём протяжении творческого пути было свойственно стремление выйти за пределы данного в природном виде конкретного физического пространства. Он любил и часто использовал мотивы отражения в воде, тем самым как бы углубляя пространство. Он намеренно опускал горизонты, возвышая небо, наполняя его динамичной жизнью облаков и света. Воздушно-водная стихия занимает в полотнах Левитана до двух третей композиций, а иногда и больше, особенно в последнем, программном, жизнеутверждающем холсте «Озеро. Русь». Россия в своём мироощущении не чувствует границ, своя земля прямо переходит во Вселенную. Бесконечность, небо и земля, явь и отражение, горнее и дольнее в своей нераздельности — есть модель русского бытия и духа.

«Манит широкая дорога…»

Особое место у Левитана занимает мотив дороги, такой характерный для страны огромных пространств и долгих путешествий. В православном мировоззрении дорога сопоставляется с земным путём человека, с размышлениями о его судьбе.

Сокровенный смысл образа дороги связан с представлениями о земной жизни как пути в вечность. У Левитана есть уютные деревянные мостки и ласково манящая тропа в «Тихой обители» и «Вечернем звоне». Но есть и другое. «Владимирка» — дорога, исхоженная и истоптанная десятками поколений русских людей, попутно вбирающая множество стекающихся тропинок. Это сама история России. Дорога идёт перпендикулярно горизонту, это дорога, на которой мы стоим тоже, это наша дорога, наш путь. Крест придорожного голубца в самом центре пути, и к нему обращается с молитвенной надеждой душа-странница в своём одиночестве и скитаниях. И ещё одна дорога — в пейзаже «Летний вечер. Околица», написанном в 1900 году, перед самым уходом Левитана из жизни. В исключительной простоте достигается высшая выразительность, будничное превращается в чудесное. Раскрыты позолоченные вечерней зарёй ворота околицы, широкая дорога манит вперёд, к тому удивительно прекрасному, расцвеченному мягким розовым светом миру, тающему в золотой дымке заката — заката жизни. Околица воспринимается как тонкая преграда, чуть ощутимая грань поту- и посюстороннего мира.

Синтетичность мироощущения, архетипичная образность приводят к тому, что в реалистическом, по сути, творчестве Левитана мы видим протосимволистские тенденции. Совмещение на одном холсте различных натурных мотивов, долгая (годами) работа над композицией в мастерской, конструирование по воображению, в котором — обобщение, отсечение лишнего. Творческий метод зрелого Левитана — работа *по памяти*.

Ольга Карлова:

Память как поэзия

Память у Бунина — перекрёсток всех мотивов. Это и глубинное воспоминание о своём предсуществовании, и тема обращения к прожитому, и вечный мир русской художественной классики. Память у него — своего рода художественная оптика вчувствования в мир, она окрашивает всё повествование Бунина сложным чувством восторженной печали. В нём явно различимы задумчиво-грустное «их нет» и благодарное «были!». За обращениями в прошлое стоит прежде всего стремление удержать настоящее. Поэтому уж совсем особое место стала занимать память в творчестве Бунина, когда в его жизни произошли «окаянные дни» и Россия безвозвратно стала прошлым.

У памяти и художественного творчества есть глубинное родство. Память, как и искусство, отсеивает пустое и неважное, обнажая главное. «Поэтому-то, — писал Бунин, — и для творчества потребно только отжившее, прошлое». Отбор памяти бессознателен, им руководит не рассудок, а нечто более глубокое. По отношению к ценностям этого глубинного бытия и выстраиваются картины и фабулы, создавая удивительную однородность времени бунинского повествования, когда прошлое и настоящее почти неразличимы по манере письма — одно как бы живёт в другом, составляя единое «вневременное» время.

Сам Бунин выражает сущность своего творчества в словах, которые максимально полно охватывают грани «повышенной искусством» жизни: «Мы живём всем тем, чем живём, лишь в той мере, в какой постигаем цену того, чем живём. Обычно эта цена очень мала: возвышается она лишь в минуты восторга — восторга счастия или несчастия, яркого сознания приобретения или потери; ещё в минуты поэтического преображения прошлого в памяти».

> Нет, не пейзаж влечёт меня,
> Не краски жадный взор подметит,
> А то, что в этих красках светит:
> Любовь и радость бытия.

Мы попытались обозначить лишь некоторые грани художественных миров трёх гениев русской культуры, выявить по возможности то постоянное, константное, что, несмотря на разницу времён, личных и творческих судеб, объединяет их. Однако вопросов остаётся ещё много.

Было ли вообще русское искусство девятнадцатого века реалистичным? Скорее нет. Пейзаж Левитана, где убрано всё лишнее… Последователь Льва Толстого Иван Бунин, столь реалистично изображавший несуществующее, чистый вымысел… И уж конечно, реалистом не был Чайковский, писавший оперы на, казалось бы, реалистические литературные сюжеты…

Можно с уверенностью сказать только то, что искусство трёх великих мастеров было синэстетичным, с присущими общими качествами живописности, музыкальности и поэтичности. Оно было символическим с точки зрения бытования в нём устойчивых комплексов идей, образов, архетипов, и, безусловно, оно характеризовалось интертекстуальностью и диалогическим сознанием…

Есть ли это черты, в которых проявляется специфическая «русскость» русской художественной культуры и её взгляда на мир? Или в основе всё же лежит именно философия чувства — интеллектуальное мужество оперировать понятиями «вечность», «любовь», «жизнь» и «смерть», «концы и начала», «душа» и «космос» и ещё большее мужество проживать всё это в своём творчестве? А может быть, это предельная явленность и предельная сокровенность и первого, и второго — великая тайна бытия и познания жизни в её земной полноте и божественном предназначении?..

Эти и другие экзистенциональные, смысложизненные вопросы утомляли прагматичных западных мыслителей и уж тем более европейских мастеров искусств XIX–XX вв. Для природно-созерцательной гармонии восточных цивилизаций подобные вопросы были слишком прямолинейны и «очеловечены»… Ответы на них давала русская культура. И ответы эти были таинственно-мистериальные, духовно-языческие, светло-печальные, трагически-мажорные… Возможно, это и есть вопросы и ответы пограничья цивилизаций…

Как известно, границы в этом мире проходят по земле. В данном случае земля эта — Россия…

Вера Алексеева

Энергия неэгоистической любви

Шарден и Сорокин

Что бы ни случилось со мной в будущем, я уверен, что три вещи навсегда останутся убеждениями моего сердца и ума. Жизнь, как бы ни тяжела она была,—это самая высшая, самая прекрасная, самая чудесная ценность в этом мире. Превратить её в служение долгу—вот ещё одно чудо, способное сделать жизнь счастливой. В этом я также убеждён. И, наконец, я убеждён, что ненависть, жестокость и несправедливость не могут и никогда не смогут построить на земле Царство Божие. К нему ведёт лишь один путь: путь самоотверженной творческой любви, которая заключается не в молитве только, а прежде всего в действии.

Питирим Сорокин.
Пути и сила любви, Чикаго, 1967 г.

…насилие, ненависть и несправедливость никогда не смогут сотворить ни умственного, ни нравственного и ни даже материального царствия на земле.

Питирим Сорокин.
Листки из русского дневника, 1924 г.

В предисловии к русскому изданию книги Пьера Тейяра де Шардена «Феномен человека» говорится, что типологии учёных до сих пор не существует. И славно: всё-таки разделить творческих людей по типам и разрядам, может быть, и можно, однако общепринятые ярлыки неизменно обедняют индивидуальный облик, а наше систематизирующее мышление нередко препятствует усвоению неординарных и перспективных идей. В этой статье речь пойдёт о двух выдающихся мыслителях 20-го века. Это французский палеонтолог Пьер Тейяр де Шарден и русско-американский социолог Питирим Александрович Сорокин.

Не ошибусь, если скажу, что их имена прославлены, а книги пользуются фантастической популярностью. Однако по какой причине можно сопоставить эти имена в небольшой статье, если каждый из них достоин не одной книги? Жизненные пути этих людей никогда не пересекались, профессиональные занятия относились к разным сферам научной деятельности, философские искания были отмечены разными традициями. Тем не менее, и у французского, и у русского учёного был целый ряд сопоставимых и даже в чём-то одинаковых идей. И эти идеи не просто актуальны в наше время. Они жизненно необходимы для трансформации массового сознания, для становления такого образа мысли, который поможет нам соответствовать нравственным требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня. Это идеи мировой эволюции и эволюции человека; конвергенции или интеграции религий; идея вселенской любви, лишённой всех видов ограничений.

Шарден (1881–1955)—католический священник, член ордена иезуитов; он стал выдающимся учёным в области палеоантропологии, именно ему, единственному из европейских учёных, наука обязана открытием синантропа. Однако философские идеи Шардена были таковы, что поставили его на совершенно особое место среди естествоиспытателей и тем более среди священнослужителей. Они вызывали горячие споры при жизни и должны быть востребованы сегодня, когда мир находится в поисках альтернативы всевозможным проявлениям глобального кризиса на планете.

Он родился в многодетной фермерской семье во Франции, в Оверни—горной местности, где было много потухших вулканов. В шестилетнем возрасте родители обнаружили мальчика на дороге, ведущей в горы. Он шёл посмотреть, что находится внутри вулканов. Любопытно, что по материнской линии он был двоюродным правнуком Вольтера. В иезуитском колледже мальчик получил хорошую подготовку в теологии, схоластической философии, древних и новых языках, естественных науках. Продолжил образование в иезуитской семинарии на острове Джерси и затем преподавал физику и химию в Каире. В годы Первой мировой войны был мобилизован, служил санитаром, получил орден Почётного легиона. С 1913 года Шарден работал в Институте палеонтологии человека при парижском Музее естественной науки, в 1920-м получил докторскую степень в Сорбонне и стал профессором кафедры геологии в Католическом университете Парижа. Однако профессорская карьера продолжалась очень недолго. Именно в это время возникла первая трещина между его мировоззрением, материалом, который он давал студентам, и официальными инстанциями, в данном случае—руководством университета. В результате в середине 1920-х годов Шарден покидает Францию, отправляется в палеонтологическую экспедицию в Монголию и Северо-Западный Китай.

Здесь ему предстояло сделать крупнейшие научные открытия, которые он позже осмысливал в философских трудах. В 1928 году совместно с китайским учёным Пэй Вэньчжуном и канадцем Д. Блэком он обнаружил остатки синантропа недалеко от Пекина. Случилось так, что экспедиция

Тейяра де Шардена продлилась едва ли не двадцать лет.

Он работал в Индии, на Бирме, на острове Ява, в Африке—именно в тех местах, где обнаруживались стоянки древнего человека, останки доисторических животных и растений, что давало богатый материал для палеоботаники и палеозоологии. Открытие синантропа (китайского человека) дополнило схему так называемых архантропов—древнейших людей, живших на планете в период от 2 миллионов до 360 тысяч лет тому назад. После открытия Шардена в разряд представителей первобытного человеческого стада, кроме питекантропа и гейдельбергского человека, вошёл синантроп, а в середине 1950-х годов схема дополнилась открытием атлантропа.

В Париж учёный вернулся только после Второй мировой войны и получил кафедру в Коллеж дё Франс, в 1950 году был избран во Французскую академию наук. Ещё в 30-е годы публиковались его специальные труды; следы их использования можно найти даже в советской литературе, хотя и с трудом. Имени Тейяра де Шардена нет в Большой советской энциклопедии, хотя есть два других Шардена—путешественник 17-го века и живописец 18-го. Мало того, его имени нет ни в «Биологическом энциклопедическом словаре» 1986 года, ни в энциклопедии «Биология» 1999 года, ни в учебниках и справочниках палеонтологии. Нельзя сказать, чтобы это был заговор молчания непосредственно против Шардена. Скорее, общая тенденция изложения специальных научных дисциплин сформировалась таким образом, что наука и её открытия создавались как бы сами по себе, безотносительно личностей. Синантроп «был открыт», древние стоянки «исследовались», систематизация «возникала». Беря в руки такие солидные научные издания, я уже знала, что в них нет персоналий, то есть сведений о самих учёных.

У Шардена, открытия которого принесли ему мировую известность, не складывались отношения на родине. Ему настоятельно посоветовали не возвращаться во Францию из научной командировки в США, куда он отправился в 1951 году в возрасте 70 лет. Так случилось, что вне родины этот человек прожил в общей сложности 27 лет, а трудился до конца своих дней палеонтологом в Антропологическом институте США.

При жизни его философские работы запрещались одна за другой с редким постоянством, при этом распечатывались на ротапринтах и распространялись неофициально. В 1933 году Ватикан запретил публиковать книгу «Божественная среда», в 1938-м—«Энергия человека», в 1941-м—«Феномен человека», причём об этом запрете автор узнал пять лет спустя. Только после смерти учёного Международный научный комитет возглавил публикацию его основных работ, и вышло десятитомное собрание сочинений. Возник термин «тейярдизм», прочно утвердившийся как в западной, так и в советской литературе. Наш читатель до сих пор незнаком с такими книгами, как «Гимн Вселенной», «Сердце материи», «Пробуждение энергии», «Видение прошлого», «Будущее человека». Однако, лишив нас возможности читать сами тексты, советские философы-атеисты неустанно критиковали автора за попытку соединить науку и религию. Впрочем, в многочисленный отряд антитейярдистов попали и католические теологи, и неотомисты, и западноевропейские марксисты, и все—по одной причине: «тейярдизм возбуждает безумную надежду на появление лучшего христианства, поющего славу космосу».

В чём же состоит удивительное философское учение, которое оказалось не признанным как католической церковью, так и материалистическими направлениями 20-го века? Во введении к книге «Божественная среда» учёный обращается к проблеме, которая возникла в Новое время в связи с крупнейшими астрономическими открытиями, со становлением гелиоцентрической системы мира, продолжала углубляться вместе с развитием физико-математических наук, открытием сложной структуры атома в начале 20-го века,—это проблема взаимоотношения духовных и научных знаний, религии и науки.

Шарден пишет, что смятение религиозной мысли нашего времени связано с открытием единства мира. Реалии науки открывают неизмеримые бездны времени и пространства, вскрывают всё новые и новые связи между элементами универсума, укрепляют идею единства мира и тем самым подпитывают подсознательное стремление каждого человека ощущать себя неотъемлемой частью этой системы мира, атомом универсума, гражданином Вселенной. Однако при этом людям кажется, что это единство безусловно материально, оно углубляет разрыв между наукой и религией, не оставляет места откровению, тем духовным знаниям, на которых базируется корень всех мировых религий. Шарден задаёт вопрос: способен ли евангельский Христос охватить безмерно возросшую Вселенную?

Эту книгу он написал не для людей, утвердившихся в вере, а для сомневающихся, для тех, в понятиях которых наука с её возросшими возможностями и новейшими открытиями противостоит традиционному духовному знанию. Сверхидея Шардена в том, что это противостояние иллюзорно, оно кажущееся. Оно есть следствие давнего и устоявшегося заблуждения человечества, которое противопоставляло душу и тело, дух и плоть, дольнюю и горнюю жизнь, конечное пребывание на земле и последующую вечную жизнь в лоне Царства Небесного, о котором мы на самом деле не знаем ничего. В действительности людей сотни лет смущали антиномии—конечная и вечная жизнь, жизнь в плотном теле и последующая жизнь чистого духа, данное нам в наших ощущениях пространство-время и чисто теоретическое понятие Царства Божия. В частности, вследствие этой иллюзии учёный, нагруженный астрономическими познаниями о бесконечной (и материальной) Вселенной, не находит в ней места для неземных реалий. В самой грубой форме эта мысль выражалась в 1960-е годы так: «Космонавты летали и никакого Бога там не видели». И в психологии больших масс людей, и в убеждениях

многих учёных она присутствует в наше время как одна из самых распространённых.

Каково же, по мнению Шардена, истинное соотношение Царства Божия (в его терминологии — Божественной Среды) и материальной, осязаемой жизни? Нет никаких границ между материальным и духовным мирами. Божественная Среда объемлет всю материальную вселенную, её тонкие энергии проницают всё, порождают материальное, способствуют его развитию, жизни, эволюции. Она пронизывает все тварные существа, всех нас, поддерживает наше существование. Первичная духовная составляющая есть во всех видах материи. В книге «Феномен человека» он говорит об энергии, которая лежит в основе самоорганизации материи. Он подразделяет её на два вида. Тот вид энергии, который известен науке, изучающей физические, химические, физиологические процессы в живых организмах, он называет тангенциальной. Эти процессы зримы, подвержены научному анализу. Но есть вторая составляющая — радиальная. Этот вид энергии не имеет физического эквивалента и пока недоступен нашим научным приборам. На неё не распространяются открытые нами законы физического мира, в частности закон сохранения энергии и принцип энтропии, то есть известные нам законы термодинамики. Допущение наличия такой энергии влечёт за собой любые физические парадоксы. Это вид тонкой духовной энергии, которая первична и направляет развитие всех живых организмов, и шире — всех элементов тварного мира. Таким образом, сама ткань универсума изначально обладает двумя неразрывными сторонами — материальной (внешней) и духовной (внутренней). Таковы качества первоосновы всего сущего.

Шардена неоднократно упрекали в том, что его радиальную энергию невозможно ощутить, поймать, исследовать. Сегодня другие учёные и философы отвечают на этот вопрос: наши физические инструменты слишком грубы, научные методики пока слишком прямолинейны. Однако наука неустанно идёт вперёд: мир невидимого настолько расширился за последние десятилетия, что у неё есть прекрасные шансы добраться до мира тонких энергий. Кроме того, человечество изначально было одарено интуитивным знанием, ведь всё сакральное знание мировых религий и чистых духовных практик основано на откровении. Таким образом, Шарден разрушает стену между сферами научного и интуитивного познания. Недаром один из немногих последователей Шардена во Франции П. Шошар писал, что современная теория информационного поля подтверждает возникновение сложных организованных систем как результат действия особой энергии отрицательной энтропии. Наш современник академик А. Е. Акимов, директор Международного института теоретической и прикладной физики (Москва), уже несколько лет занимается исследованиями Физического Вакуума, который считает прародителем материальной вселенной, источником, который порождает атомы и молекулы, и прямо соотносит понятие Физического Вакуума и понятие Абсолюта.

Далее, согласно учению отца Тейяра, биологической эволюции человека соответствует духовная эволюция, неустанный труд самой Вселенной, Божественной Среды, пронизывающей каждый живой организм. Это труд по совершенствованию и объединению всего живого, по удалению чёрных и развитию светлых энергий, концентрации чистого и притягательного. Следовательно, человек, проникнутый такими убеждениями, должен работать над собой в двух направлениях. Первое — развивать в себе космическое сознание истории, развивать способность целостного восприятия действительности, утратить отчуждение и разобщённость как антибожественные черты, мешающие индивидуальной эволюции. И второе — активно работать здесь и сейчас, немедленно воплощая этот принцип в жизнь. Он сравнил жизнь человека с состоянием подводного пловца, находящегося на большой глубине. Под ним — в его историческом и индивидуальном прошлом — мрак и холод, над ним — в будущем — проблески света. Чтобы соответствовать законам Божественной Среды, надо постоянно совершать работу по поднятию наверх. Мрак будет рассеиваться, давление материального (толщи воды) уменьшаться, свет впереди проявляться во всём своём блеске. В такой среде нельзя стоять на месте, можно только двигаться — назад или вперёд, то есть идти по пути эволюции или антиэволюции, в зависимости от личного выбора.

И, наконец, ещё одна идея Тейяра де Шардена, которая, к сожалению, не могла понравиться ни одной конфессии, — идея объединения церквей, слияния религий. Во всяком случае, начало этого живого процесса он усмотрел в середине 20-го века. «В большом человеческом потоке три течения (восточное, гуманное, христианское) всё ещё противостоят друг другу. Однако имеются живые признаки их сближения. Восток, по-видимому, уже почти отказался от первоначальной пассивности своего пантеизма… Культ прогресса всё шире распахивает свои космогонические системы перед силами духа и свободы. Христианство начинает примиряться с усилиями человечества. Во всех трёх течениях тайно трудится тот же дух, который создал меня самого… Общая конвергенция религий во всемирном Христе, который, в сущности, удовлетворяет всех, — такой мне представляется единственная возможность обращения мира и единственная форма религии будущего».

Среди большой группы творческой интеллигенции, вынужденной эмигрировать из СССР в 1922 году, был Питирим Сорокин с женой Еленой Петровной Баратынской. Жизнь этого человека не менее интересна, чем его философские идеи; мало того, идеи рождались не в тиши кабинетов, а в бурных событиях общественной жизни, которые не могли не стать и личной судьбой. Он родился в селе Турья Вологодской губернии, получил имя в честь епископа Питирима, местного святого. Отец занимался церковно-реставрационными работами и жестоко пил. Потеряв мать в пятилетнем возрасте, Питирим вместе с братом ушёл от отца

и бродяжничал. Окончил двухклассную Гамскую школу, затем церковно-учительскую школу в Костромской губернии. Учась в школе, стал лидером социалистов-революционеров своей местности. Привлекла широкая платформа этого движения, борьба за интересы не только рабочих и крестьян, но и интеллигенции. В 1906 году был арестован за революционную деятельность и сидел в тюрьме в Кинешме, где начал знакомиться с трудами Лаврова, Михайловского, Маркса, Ленина, Плеханова, Спенсера, Конта. Пройдя «тюремные университеты», решил отправиться в Петербург. Денег на дорогу не было, поехал из Вологды зайцем и на полпути был пойман кондуктором. Завершить путешествие ему позволили за уборку туалетов и вагонов. Заработав денег репетиторством, поступил в психоневрологический институт, где учился на социологическом и юридическом факультетах. В 1917 году получил звание приват-доцента Петербургского университета, однако увлёкся идеалами Февральской революции и работал в Государственной думе, редактировал эсеровские газеты, был секретарём А. Ф. Керенского во Временном правительстве.

Октябрьскую революцию он воспринял как контрреволюционный переворот. В 1918 году был арестован уже большевистским правительством, сидел в Петропавловской крепости. В дневнике писал по этому поводу: «В 1918 году правители коммунистической России объявили на меня охоту. В конце концов я был брошен в тюрьму и приговорён к расстрелу. Ежедневно в течение шести недель я ожидал смерти и был свидетелем казни моих друзей и товарищей по заключению. В течение следующих четырёх лет, пока я оставался в коммунистической России, мне довелось испытать многое; я был свидетелем беспредельного, душераздирающего ужаса от царящей повсюду жестокости, смерти и разрушения. И именно тогда я занёс в свой дневник следующие строки…» Мысли, которые родились у автора этих строчек в тюрьме, вынесены в эпиграф. Это мысли о том, что может противостоять негативному в человеке — жестокости, насилию, жажде власти. Именно тогда, в момент личного кошмара, этот человек пришёл к выводу, что победить всё это может сила самоотверженной творческой любви.

Разобраться в происходящих в стране событиях было не так-то просто. Благополучно покинув застенки Петропавловской крепости, он решил выйти из партии эсеров: «В силу чрезвычайной сложности современного внутреннего государственного положения я затрудняюсь не только другим, но и самому себе указывать спасительные политические рецепты и брать на себя ответственность руководства и представительства народных масс», — за что получил личную признательность Ленина, ответившего на этот шаг статьёй «Ценные признания Питирима Сорокина». В 1920 году Сорокин возглавил кафедру социологии на факультете обществознания Петроградского университета. Здесь он выступил с инициативой создания новой дисциплины — родиноведения — как синтеза естественнонаучных и гуманитарных знаний. На родине он написал книги «Преступление и кара, подвиг и награда» в 1914 году и «Система социологии» в двух томах в 1920 году — капитальный труд по социологии России. В первые годы эмиграции в Праге продолжал анализировать состояние нашей страны и создал труды «Современное состояние России» и «Социология революции».

В 1922 году начались массовые аресты среди научной и творческой интеллигенции. Неугодных арестовывали, затем освобождали под подписку о выезде из СССР в 10-дневный срок. Больше испытывать судьбу было нельзя. Перед отъездом в Прагу в феврале 1922 года Сорокин выступил на торжественном собрании студентов, посвящённом очередной годовщине Петербургского университета. Пережив Гражданскую войну, аресты, голод, разруху, он говорил о том, что вера отцов этих юношей оказалась банкротством, мировоззрение русской интеллигенции было призрачным, недостаточным, чтобы уберечь мир и спокойствие, обеспечить движение вперёд. Если от этого мировоззрения приходится отказаться, то на что же можно опереться? Первое, что надо взять с собой в дорогу, — это знание, чистую науку, никаких идеологических заблуждений — ни буржуазных, ни пролетарских. Второе — это любовь и воля к производительному труду, умственному и физическому. «Мир — не зал для праздношатающихся, а великая мастерская, и человек — не мешок для переваривания пищи, а творец и созидатель». И третье — надо запастись такими ценностями, как религиозное отношение к жизни. Мир не только мастерская, но и величайший храм, где всякое существо есть луч божественного, неприкосновенная святыня. Формулу «человек человеку — волк» надо выбросить на свалку истории. Отправляясь в дальний путь, запаситесь совестью, моральными богатствами, возьмите в спутники Нила Сорского, Сергия Радонежского, Толстого и Достоевского. На этом пути вы спасёте стомиллионный народ от физической и духовной смерти. Так говорил Питирим Сорокин, оставляя молодёжи России своё духовное завещание.

Далее путь лежал в Берлин, Прагу, США. В 1930-м Сорокин стал деканом социологического факультета Гарвардского университета, читал курсы лекций в Иллинойсе и Висконсине. Его главный труд — «Социальная и культурная динамика» — был написан в 1930–40-е годы. Одну из основных идей этой работы он не раз представлял в виде докладов на международных конгрессах по социологии в Нюрнберге, Мехико, а позже — в кратком, более доступном для всех изложении «Главные тенденции нашего времени». И доклады, и глава в обеих книгах назывались «Мистическая энергия любви». Эта тема не оставляла Питирима Александровича и в 1950-е годы: в это время он издал работы «Альтруистическая любовь», «Изыскания в области альтруистической любви и поведения», «Пути и власть любви», «Власть и нравственность».

Вторую мировую войну учёный считал не просто трагедией общественной жизни, но проявлением глобального кризиса нашей планеты; это кризис искусства и науки, философии и религии, права

и морали. Это кризис социальной, политической и экономической организаций обществ, включая формы брака и семьи. Суть кризиса, по Сорокину, состояла в разрушении принципов всей евро-американской культуры, при котором перестают работать все основные компоненты общества. Уже в середине 20-го века он наблюдал поворотный момент в истории, который характеризовался не только взрывом кровопролития, но и социальным, моральным, интеллектуальным хаосом. Исследуя феномен войны, он пришёл к выводу, что в военный конфликт вступают изолированные общества с противоположными системами ценностей. Во всех странах минимум войны и максимум мира падают на периоды освоения всем обществом духовных ценностей.

Анализируя ситуацию в мире со времени Первой (состоявшейся) и Третьей (возможной) мировой войны, Сорокин справедливо отмечает, что феномены альтруистической любви всегда рассматривались как предмет религии и этики и никогда — как предмет науки. Между тем, автор едва ли не впервые сделал вывод, что все факторы социальной жизни общества — демократический строй, даже наступи он мгновенно на всей планете, деятельность религиозных организаций, уровень образования, прогресс в области физических наук, в частности, овладение энергией атома, — ничто не является панацеей от международных войн, гражданских раздоров и преступлений. Практикуемая тысячелетиями политика мира посредством войны окончательно изживает себя в связи с колоссальным ростом экономического могущества. «Незабываемый урок катастрофы этого века убедительно показывает, что без увеличения производства, накопления и распространения энергии неэгоистической любви никакие другие средства не смогут ни предотвратить будущие самоубийственные войны, ни установить гармоническое устройство человеческого универсума. Таинственные силы истории, кажется, предъявили человеку ультиматум: погибни от своих собственных рук или поднимись на более высокий моральный уровень посредством благодати творческой любви».

В 1960-е годы, продолжая эту тему, он говорил, что все факторы социальной жизни общества — демократический строй, даже наступи он мгновенно на всей планете, деятельность религиозных организаций, уровень образования, прогресс в области физических наук, в частности, овладение энергией атома, — ничто не является панацеей от международных войн, гражданских раздоров и преступлений. Практикуемая тысячелетиями политика мира посредством войны окончательно изживает себя в связи с колоссальным ростом экономического могущества. Является ли технический прогресс, овладение энергией атома гарантией гармонического развития человеческого универсума? Ни в коей мере.

Мало того, альтруистические силы сотрудничества в биологии должны преобладать, они являются более важными и жизненными, чем антагонизм, иначе процветание живого на планете было бы невозможно. Думается, что сверхидеей Питирима Сорокина было пробудить те же самые природные, изначальные силы альтруистической любви в жизни человека и человеческого общества. Идея русского социолога о Храме Вечного Мира должна представляться сегодня не очередной утопией, а основой сближения исторических народов с целью не только выживания, но и достижения нового качества жизни на планете.

Альтруистическая любовь, или Добро, наряду с Истиной и Красотой, считалась одной из трёх высших форм космической энергии, или ценности, действующей не только в человеческом обществе, но и во всём космосе. Подобно христианской Троице — Отец, Сын и Святой Дух, — Любовь, Истина и Красота являются величайшими энергиями, неразделимыми, но отличными друг от друга. Известная формула «Бог есть любовь», присутствующая практически во всех великих религиях, является вариацией этой космической концепции. В качестве научной посылки Сорокин выдвинул идею о том, что без увеличения бескорыстной созидательной любви на всех уровнях существования общества в мире невозможен прогресс. Это касается и социального поведения каждого человека, и межличностных, межгрупповых отношений, всех социальных институтов и культуры в целом. По мысли Сорокина, энергия любви не имеет никаких границ, не признаёт никаких несовершенных человеческих разделений — будь то классы, общества, национальности, государства.

В 1960 году, в период резкого противостояния двух мировых систем, Сорокин писал в одном из эссе о том, что невозможна абсолютизация какого бы то ни было общественного строя. Мы наблюдаем два параллельных процесса — упадок капиталистической системы, не воплотившей идеалов свободного общества, и неспособность коммунистической системы удовлетворять жизненные потребности людей. «Западные лидеры уверяют нас, что будущее принадлежит капиталистическому строю. Лидеры коммунистических наций, напротив, ожидают полной победы коммунизма в ближайшие десятилетия. Будучи не согласен с обоими предсказаниями, я склонен считать, что человечество преодолеет современный кризис на пути поисков интеграции». Склад ума истинного учёного не позволил Питириму Сорокину на основе негативного личного опыта отвергать всё, что он знал о советской России, и так же безоговорочно принимать капиталистический строй. Он не питал никакой личной благодарности к стране, которая дала ему работу, трибуну для выступлений, деньги для научных исследований.

Он проповедовал возможность создания нового интегрального строя на планете, в котором исчезнут все ограниченности, условности, пороки. «Если в настоящем и ближайшем будущем новый и великий объединённый социокультурный порядок не будет установлен среди человечества в целом, это будет означать конец творческой миссии человека на планете, деградацию и регресс всех исторических народов до уровня нетворческих, неисторических человеческих орд, обречённых в конечном счёте на гибель тем или другим путём… Благодаря своему

более широкому, более глубокому обоснованию, интегральная точка зрения представляет благодатную почву для построения постулатов возвышенного и благородного социокультурного и личностного порядка в универсуме. И на Западе, и на Востоке имеется необходимый фундамент для создания нового интегрального порядка».

Такой гармонизирующей, очищающей и возвышающей силой в преобразовании общества должна стать сила любви и прощения, выраженная в идеологии великих мировых религий. «На Западе — это очищающее христианство, богатый сад западной философии с её великими системами, её идеалистической и материалистической онтологией… Восток обладает великими очищающими религиями — даосизмом, конфуцианством, буддизмом, иудаизмом и магометанством, истинно великими философскими системами… Всё это, усиленное и обогащённое быстро растущим развитием западной науки и технологии, представляет самый прекрасный материал для создания блистательного нового интегрального порядка». Философская идея сближения наций и народов мира на основе великих этических систем подкреплялась чисто практическими исследованиями в области социологии.

Итак, едва ли не впервые в мире был выдвинут научный проект по изучению влияния любви на жизнь общества. Проект был поддержан американским бизнесменом и меценатом Эли Лилли. На его деньги Сорокин открыл Исследовательский центр по творческому альтруизму в Гарвардском университете, не прерывая преподавательской деятельности. За короткое время было выпущено 12 томов социологических исследований на эту тему. Впервые в социологии Сорокин провёл анализ характеристик известных христианских святых — 4600 персоналий, а также своих современников, 500 американцев, добрых соседей, то есть носителей энергии любви. Сотрудники центра собирали исторические и личные свидетельства, проводили социологические опросы студентов колледжей, пациентов больниц. Изучались и примеры негативного опыта, социального антагонизма среди конкретных людей. Проведённые исследования показали, что сочувствие, симпатия, доброжелательность, доброта в отношениях людей имеют целительную силу, увеличивают здоровье и долголетие. «Моё исследование христианских католических и православных святых с начала христианства до настоящего времени показало, что они имели более продолжительную жизнь, чем их чуждые святости и менее альтруистические современники. Хотя жизнь 37% этих святых была прервана из-за преждевременной мученической смерти, хотя большинство жило аскетично, хотя средняя продолжительность жизни предшествующих столетий была намного ниже, чем в 19–20-м веке, — несмотря на все эти неблагоприятные условия, продолжительность жизни святых как группы была в несколько раз выше, чем продолжительность жизни американцев в 1920 году».

О жизненной необходимости материнской любви был снят документальный фильм режиссёром Рене Шпицем. Это фильм о 34-х подкидышах, оказавшихся в приюте и имевших всё необходимое для жизни и развития, однако все они умерли без материнской любви. Весь процесс угасания был заснят на плёнку. Через три месяца после расставания с родителями младенцы теряли аппетит и сон, съёживались и дрожали, ещё через два месяца выглядели идиотами. 27 детей умерло в течение первого года жизни, остальные — на втором году жизни.

Уже во времена Сорокина американское общество отмечало резкий рост психоневрозов и преступности в среде несовершеннолетних. Сравнивая состояние общества в целом и кругов верующих — квакеров, гуттеритов и меннонитов, исследователь отмечал среди них самый низкий процент умственно отсталых и социально опасных подростков. Он объяснял это тесными дружескими отношениями среди членов общин, где подростки не чувствуют одиночества.

Исследуя взаимоотношения врача-терапевта и пациентов, Сорокин сделал вывод, что каждый терапевт по существу должен работать психоаналитиком, «облучать» пациента пониманием, добротой, сочувствием, верой в свои силы, поддерживать в человеке стремление к выздоровлению. Любовь является определяющим целительным фактором в излечении ментальных расстройств.

Отсутствие любви, то есть состояние одиночества, имеет прямое отношение к количеству самоубийств. Среди разведённых, овдовевших, холостых людей уровень самоубийств в 1950-е годы был выше, чем среди людей, состоявших в браке. В бездетном браке он выше, чем среди имеющих детей. Среди католиков и иудеев процент самоубийств ниже, чем в более индивидуалистичных религиях — у протестантов, а также атеистов. Многочисленные социологические исследования показывали, что без минимума любви жизнь многих людей, закрывшихся в эгоистичных раковинах, становилась бесполезным бременем.

Эти практические исследования в обществе Сорокин подтверждал более общей мыслью о том, что изначально в самом зарождении жизни, в её развитии лежит энергия любви. Энергия любви в природе неисчерпаема качественно и количественно. Она как айсберг. Только малая часть её видима, воспринимаема и наблюдаема на уровне социальных отношений человека. В действительности это отношения между живым, которое порождает живое, между клеткой, которая делится, и клетками-детьми, это есть сама творческая потенция природы, стремящейся к разнообразию живых форм, к их количественному распространению. В растительном и животном мире эта сила действует ничуть не слабее известного закона борьбы за существование. Мало того, альтруистические силы сотрудничества в биологии должны преобладать, они являются более важными и жизненными, чем антагонизм, иначе процветание живого на планете было бы невозможно. Думается, что сверхидеей Питирима Сорокина было пробудить те же самые природные, изначальные силы альтруистической любви в жизни человеческого общества.

Культуру, которая первичным считает реализацию духовных ценностей, философ называл идеациональной. В такой культуре область науки, техники, технологий развивается, но отступает на второй план, не превалирует над человеком и его связью с божественной благодатью. Возможно, сам философ осознавал, что развить подобный тип культуры на планете Земля в обозримом будущем не представляется возможным. Более реально было говорить об интегральном типе, или архетипе, который, по выражению Сорокина, стремится к примату Неопределённого Многообразия. Этот архетип предполагает синтез всего лучшего, что было наработано в гуманистических учениях человечества. Всё, что разделяет большие массы людей, отдельные культуры, цивилизации (государственность, этнос, сословные и религиозные условности),—должно постепенно отмирать, уступая место высшим ценностям—энергии божественной любви и благодати.

В 1969 году в Берклийском университете (США) состоялось годичное собрание Американской социологической ассоциации. Большинство студентов, присутствовавших в зале, носили нагрудные значки «Сорокин жив!» в память о профессоре Гарвардского университета Питириме Александровиче Сорокине, скончавшемся в предыдущем году (1889–1968). В 75-летнем возрасте этот учёный был удостоен высокой чести: его избрали председателем Американской социологической ассоциации. По поводу его кончины ассоциация учредила ежегодную премию за лучшую книгу по социологии.

Что же является главным вопросом нашего времени? Это не противостояние демократических и тоталитарных режимов (то есть свободы и деспотизма), это не противостояние капитализма и коммунизма, это не борьба пацифистов и милитаристов и уж никак не добрая или злая воля лидеров (Гитлер, Сталин, Муссолини). Лидеры сами являются марионетками истории, играя свои роли до тех пор, пока бушует мировой кризис. Сорокин был твёрдо убеждён, что если не грянет Третья мировая война, то на развалинах старых социальных, философских, культурных форм евро-американского общества будет создаваться та самая новая, интегральная форма. Изменение общества может пойти только по пути интеграции. Недаром «интегрализм» Сорокина считают его основной философской идеей.

Книги Питирима Сорокина необычайно ёмки, глубоки, пронизаны диалектикой социальных проблем. Их более 50-ти, не считая множества статей, заметок, эссе. Не случайно они переиздаются в настоящее время, некоторые—впервые в России. Богатство социологической мысли выражено в работах «Преступление и кара, подвиг и награда», «Листки из русского дневника», «Фактор творчества в человеческой истории», «Социология революции», «Главные тенденции нашего времени».

ДиН антология

130 лет со дня рождения

Александр Блок
К неизведанным безднам

Там человек сгорел.
Фет

Как тяжело ходить среди людей
И притворятся непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать ещё не жившим.

И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельной пожар!

Будет день—и свершится великое,
Чую в будущем подвиг души.

Ты—другая, немая, безликая,
Притаилась, колдуешь в тиши.

Но во что обратишься—не ведаю,
И не знаешь ты, буду ли твой,

А уж Там веселятся победою
Над единой и страшной душой.

— Всё ли спокойно в народе?
— Нет. Император убит.
Кто-то о новой свободе
На площадях говорит.

— Все ли готовы подняться?
— Нет. Каменеют и ждут.
Кто-то велел дожидаться:
Бродят и песни поют.

— Кто же поставлен у власти?
— Власти не хочет народ.
Дремлют гражданские страсти:
Слышно, что кто-то идёт.

— Кто ж он, народный смиритель?
— Тёмен, и зол, и свиреп:
Инок у входа в обитель
Видел его—и ослеп.

Он к неизведанным безднам
Гонит людей, как стада…
Посохом гонит железным…
— Боже! Бежим от Суда!

Юрий Беликов, Татьяна Черниговская

Ящик Антипандоры

Когда применяют выражение «ящик Пандоры», в большей степени подспудно, но всё-таки чувствуют, что речь идёт о некой тайне, которую нельзя открывать. Если точнее — о ларце. Откроешь — и на мир обрушатся неисчислимые беды. Но не все знают, что Пандора — это первая женщина в древнегреческих мифах, изготовленная Гефестом по приказу Зевса. Она-то и отворила тот самый ларец.

Впрочем, я подумал, что Татьяна Черниговская — скорее, Антипандора. Нейроучёный с мировым именем, она вдруг может сказать про предмет своих исследований — человеческий мозг: «Он нам не обязательно друг. Мозгу никто не нужен. Он самодостаточен».

И — собеседник в ступоре. Однако тогда возникает вопрос: «Значит, всё, что нам поставляет мозг, не есть объективная реальность?» А если это так, то, развивая нахлынувшую мысль, можно в таком случае усомниться и в существовании двух противоборствующих сил — Бога и Антибога?.. Ибо всё там — под черепной коробкой!.. То бишь мы — заложники части собственного организма?.. Вернее, вечные узники, заключённые с пожизненным сроком?

Но вот что на сей счёт отвечает ведущая телевизионной программы «Ночь. Интеллект. Черниговская», доктор биологических наук Санкт-Петербургского госуниверситета, лектор крупнейших вузов Европы и США, действительный член Академии наук Норвегии:

— Природа бы на это не пошла, если бы не высшая задача…

— Татьяна Владимировна, вы сделали весьма примечательную обмолвку: «С нашим мозгом стоило бы познакомиться». И привели данные, что длина находящихся в коре головного мозга нейронов сопоставима с тем, что можно шестьдесят восемь раз облететь Землю и семь раз долететь до Луны.

— И это пугает.

— Пугает — значит, наводит на мысль?.. С чем предстоит столкнуться человечеству?

— Оно с этим сталкивалось и раньше, а сейчас просто начинает осознавать то, с чем сталкивалось и сталкивается. Мы же хотим знать, кто мы такие? Мы мир познаём с помощью своего мозга. И это потому, что никакого другого способа нет. И то, какой на самом деле мир, зависит от того, какой наш мозг, потому что поставляет информацию нам он. В связи с этим встаёт много разных неприятных вопросов. Один из них: можем ли мы нашему мозгу доверять? Он нам правду говорит?..

— А почему на сей счёт возникают сомнения?

— Потому что мозгу всё равно, существует реальный мир или нет. Если мы снимем энцефалограмму человека, у которого, скажем, слуховые галлюцинации, и вы посмотрите на то, что происходит в части мозга, отвечающей за обработку звуковой информации, то полученная картинка будет такова, как если бы этот человек слышал настоящие звуки. Если над этим подумать, хотя бы минут пять, то по спине пробегут мурашки…

— В Перми до недавнего времени жил психиатр Геннадий Крохалев, который снимал зрительные и слуховые галлюцинации у больных…

— А как он их снимал?

— С помощью нехитрого приспособления, состоящего из маски подводного плавания, которую он надевал больному плотно на область глаз, и обычного (сейчас уже допотопного) фотоаппарата «Зоркий», прикреплённого к маске через «гармошку». Крохалев делал съёмки в момент обострения болезни у своих пациентов. «Что ты видишь?» — спрашивал он у больного. Допустим, человек отвечал: «Вижу змею!» Врач фотографировал. И на фотоплёнке, а потом на снимке возникал смутный отпечаток. Эти фотографии я видел сам и могу сказать, что они были похожи на «исходник» зрительных галлюцинаций. Иными словами, имели очертания неких «персонажей». О чём это может говорить?

— Я думаю, ни о чём. Потому что если речь идёт о сетчатке, то на ней должно было отразиться вообще всё, что попало больному в глаза, а именно: не только предполагаемая змея, но и то, на чём она находилась, и так далее. Вся зрительная информация!.. Дело в том, что наши уши и глаза и вообще все органы чувств — это не более чем окна и двери во внешний мир. Мы смотрим глазами, но видим мозгом. Точно так же — слушаем ушами, но слышим всё тем же мозгом. Наши органы чувств — просто вход. И мы видим всё сразу только потому, что знаем эти предметы.

— Что теплоход, который сейчас мы с вами наблюдаем на Каме, — это теплоход?..

— Совершенно верно. У нас есть такое свойство, как распознавание фигуры и фона. Мы знаем: на что-то мы можем не обращать внимания. Скажем, если я хочу видеть эти цветы, то я игнорирую всё остальное, хотя вокруг — масса всего, что просится мне в глаза. Но я-то смотрю на цветы — значит, от остального абстрагируюсь. Чем абстрагируюсь? Мозгом. И ничем другим.

— То есть это выглядит так: я не вижу того, что мы называем миром невидимым, который на самом деле может быть видимым и воспринимаемым?

— И не только этот мир, но и мир реальный. Если моя задача разглядывать цветок, то я как будто бы не вижу ни песка под ногами, ни реки, ни неба над рекою… Так устроена психика. Не только человека, а вообще всех живых существ. Но чтобы было понятно, почему я с таким пафосом об этом говорю, представим, что мы участники эксперимента.

Знаете вы какой-нибудь из арабских языков? Я тоже не знаю. Но вам дали текст на арабском. У вас всё в порядке со зрением и, более того, — с мозгом. Но у вас нет знаний про то, как членить этот текст. Поэтому его можно вам показывать любым, самым изысканным способом. Однако от этого не будет абсолютно никакого толку, потому что вы не знаете, что с этим текстом делать. Для вас он слепой, не несущий вообще никакой информации. К чему мы приходим? Мозг видит и слышит: а) то, что хочет, и б) то, что знает. Поэтому у меня, например, есть очень большие сомнения: если вдруг, оборони Создатель, к нам прибудут какие инопланетные гости, то я не вижу никаких шансов вступить с ними в какой бы то ни было контакт.

— Перед вами человек, который в конце восьмидесятых вошёл в аномальную зону — знаменитую деревню Молёбку, расположенную в Кишертском районе Пермского края, получил первые снимки «летающих апельсинов» — энергетических шаров, облюбовавших тамошние места. Мало того, там наблюдали и существ, и (но тут уже вклинивается субъективный уровень)… эти существа вступали в телепатический контакт с человеком. Я сделал этот экскурс лишь потому, что вы так убедительно заговорили, что у нас никаких шансов вступить в контакт с внеземными посланцами.

— Проблема в том, что нам же не на кого положиться. Какую мозг нам информацию про внешний мир поставит, такую мы и «едим». Мы, скажем, не видим электромагнитных излучений, правильно? А сколько есть существ, которые наделены такой возможностью!

— Допустим, те же собаки, которые давно уже у нас в России зовутся «собаками Павлова»?

— Мне не нравится всё, что делал Павлов.

— Чем же вам не угодил «наш великий физиолог»?

— Вообще-то на самом деле автор идеи о рефлексах — не он. О них много говорили задолго до Ивана Павлова. Например, тот же Декарт и много других учёных. Но идея о рефлексах стала особенно модной в двадцатом веке. Это то, что в психологии называется «бихевиоризм». Скажем, в западных энциклопедиях написано: Иван Павлов — психолог-бихевиорист. Там все свято убеждены в том, что Павлов никакой не физиолог, а психолог, а то, что он бихевиорист, — это точно. Бихевиоризм мне не нравится весь, включая Скиннера — его основоположника. Не нравится своей безумной простотой. В качестве предмета психологии в нём фигурирует не субъективный мир человека, а объективно фиксируемые характеристики поведения, вызываемого какими-либо внешними воздействиями. А именно: вот тебе конфета — ты делаешь так. Ах, ты делаешь не так?! Получи током по лапе! Как мы знаем, коммунистам эта идея пришлась по душе. Они наконец получили в свои руки оружие, которым успешно пользовались на протяжении многих десятилетий.

Другое дело — наш выдающийся физиолог Алексей Ухтомский. Он же — князь. Он в эти простые игрушки с рефлексами не играет. А его физиология, биология или психология — не важно, как это называть, — она гораздо более сложная и умная. Ухтомский, например, настаивает на том, что исследователь — активное действующее лицо. Сам факт эксперимента и факт присутствия исследователя меняет всю картину. И это как раз парадоксальным образом совпадает с тем, о чём говорят нам квантовые физики. Мы не зрители, сидящие в зале и видящие мир на сцене, тогда как сами — вне его. В нашем случае ситуация другая. Мы — на той же сцене. И дальше начинаются большие неприятности. Когда вы уходите со сцены, у вас нет никаких оснований не только говорить о том, что происходит там после того, как вы ушли, — у вас даже нет оснований утверждать, что на сцене вообще что-нибудь есть. Потому что мозг нас может и обмануть. Кто скажет, что такое сознание, не верьте ему. Вы вышли из комнаты?.. Откуда вы знаете, есть там чашка или нет? В тот момент, когда вы туда заглядываете, она там есть, а когда выходите из комнаты?..

— В Москве живёт философ и поэт Вадим Рабинович, из уст которого я слышал следующее выражение: «На данный момент вечности». По-моему, это напоминает то, о чём вы говорите.

— Примерно так и есть. Кстати, если речь вести о философах, Мераб Мамардашвили, с которым я общалась, вообще пишет напрямую: «Бытие и мышление совпадают». Подумайте: сов-па-да-ют! Они не сопутствуют друг другу, а они — одно и то же. Ухтомский придумал такую вещь, которая называется хронотоп. Этот термин очень популярен в гуманитарных науках. Как я совершенно случайно выяснила, Михаил Бахтин слушал лекцию Ухтомского, когда тот говорил про хронотоп. Это я не к тому, что он украл термин, — просто понял важность этого дела. А биологи не поняли до сих пор. И до сих пор все эксперименты, какие бы они ни были, по-прежнему проходят в мире по бихевиористскому и павловскому типу. То есть я тебе — картинку, а ты мне говоришь, что там изображено. Я тебе проиграю какой-нибудь звук, а ты в это время что-нибудь сделай. Ряд-то один: стимул — реакция.

Предположим, я провожу эксперимент в Институте мозга. Позитронно-эмиссионный томограф записывает результаты того, что делает человек во время задаваемых ему тестов. Скажем, я говорю: «Вспоминай стихотворение „Белеет парус одинокий“». И у меня на экране в связи с этим воспроизводится некая картина, связанная с его воспоминаниями. Из этого мы делаем вывод: когда испытуемый вспоминает «Белеет парус одинокий», у него в какой-то части мозга фиксируется активность. А что может происходить на самом деле? Вот вы говорите человеку про этот парус и предупреждаете: «Чтобы у нас не было никаких помех, вы при этом не глотайте, пальцами не двигайте

и вообще ничего лишнего не делайте, постарайтесь даже не моргать». В этот момент у испытуемого чешется пятка. Он ничего, разумеется, не делает, но всё его сознание сосредоточено на этой пятке. Кроме того, он, к примеру, думает: «У нас дома были скачки напряжения, а я компьютер не отключил. Сейчас там у меня вообще всё рванёт или вся память сотрётся. Кстати, из дома я уходил в спешке. Выключил я газ или нет?..» Эти бегущие мысли идут одновременно с экспериментом. Нет никакого способа их отфильтровать. К тому же испытуемый может ещё подумать следующее: «Вот они меня про этот «парус» спрашивают, а ну как найдут у меня опухоль в голове?..»

Я веду это к чему? Ухтомский говорит: «Хронотоп — это некий результат многих предшествующих событий». Сегодня я вам даю такой ответ, потому что у меня много чего накопилось за это время. Например, вы мне надоели с вашими экспериментами. У меня — масса других забот. Да гори оно всё синим пламенем! Провалитесь вы вместе с вашим позитронным томографом и «белеющим парусом»!»

То есть мой ответ формально вроде бы честный, а на самом деле он является суммой всего того, что со мной происходило. Это — конденсация того, что было раньше. А наука требует правил игры, статистической достоверности, проверяемости, повторяемости и так далее. Но все эти условия в ситуации, когда мы изучаем сложное поведение, не могут быть выполнены. Потому что во вторник у меня одни мысли в голове, а в среду они другие…

— У поэта Игоря Шкляревского есть стихотворение про отца, который воевал. Сын спрашивает его: «Скажи, отец, ты убивал?» Отец отвечает: «Я воевал. И убивал». Проходит время. Сын задаёт всё тот же вопрос. Отец: «Стреляли все, и я стрелял». «И десять лет ещё прошло. Отец мой дышит тяжело. Я знаю на вопрос ответ: — Не убивал, не помню, нет…»

— Вот именно! Мы — это наша память. В тот момент, когда мы теряем память, мы прекращаем быть теми личностями, которыми были. Вот ищут следы этой памяти в мозгу, и в каком его участке они расположены, и в какой представлены картинке. Всё это полная мура. Памятью занимается нейронная сеть. Память — это процессы. Это не библиотека, не картотека и не коробочки, в которых всё упорядоченно сложено, и они где-то лежат, а мы их только не можем найти. Дело совершенно не в этом. И каждое вспоминание одного и того же события не равно любому другому вспоминанию. То есть это выглядит ровно так, как вы сказали, приводя пример из Шкляревского. Каждый раз — это переживание заново, попадание в другой контекст, и значит, это вообще другое. А биохимические основания памяти одинаковы у нас и у дрожжей. И что? И ничего.

— Если в проекции того, что вы сказали, задаться вопросом: «Что ожидает нас в ближайшие двадцать лет?» — на какой ответ мы можем нарваться?

— У всей этой истории — две стороны. Есть, бесспорно, положительная. А именно: чем больше мы знаем про мозг, в том числе про память и гены, тем больше у нас шансов помочь в случае сбоев. Ну например: возможно (об этом серьёзные люди пишут исследования) обнаружить ген, связанный с болезнью Альцгеймера. Теоретически — не сегодня, но послезавтра, — вполне представима ситуация, когда можно будет влезть в геном и подправить там это дело. Таким образом, у человека исчезает кошмарная перспектива заболеть болезнью Альцгеймера, раком молочной железы или шизофренией.

Но у этой истории есть и вторая сторона — настораживающая. Получив оружие такого рода, мы можем подправлять всё, что угодно. Предположим, изготавливать людей на заказ. И я уверена, что это будет происходить. Вот тут нам всем крышка и придёт как социуму! Потому что люди, обладающие большими деньгами, будут заказывать детей, чтобы их коэффициент интеллекта был не ниже ста пятидесяти, чтоб ноги — от ушей, глаза сверкали, волосы были такого-то цвета и, само собой, наличествовала прекрасная физическая форма.

— То есть речь даже не идёт о клонах…

— Клоны — это отдельная песня. Просто — «наведём порядок, при котором наши потомки будут такими-то. И мы будем жить отдельно от быдла». Понятна перспектива? Есть возможность память стирать, имплантировать. То есть вы будете искренне считать, что с вами происходили такие-то и такие-то события. А другие события — наоборот, не происходили, хотя в жизни было вовсе наоборот. То есть мы приближаемся к точке, с достижением которой я не знаю, как наш социум сможет справиться. Но, например, расслоение по биологическому признаку — вполне реальная вещь. Значит, одни станут жить в какой-то резервации и в итоге передушат тех, кто будет загнан в другую резервацию. Одни будут высоколобые, здоровые и красивые, а другие — никакие. Как они друг с другом уживутся на одной Земле?..

— От чего бы вы хотели предостеречь?

— Как бы это сказать, чтобы не назидательно?.. Мне кажется, несмотря на такие мощные успехи естественных наук, которые существенно впереди гуманитарных, мы вступили в такой этап, когда именно настоящее гуманитарное образование и воспитание становится едва ли не важнее всего остального. Потому что, учитывая все опасности, о которых я рассказала, нас может спасти только настоящая нравственность. У нас в руках, как у маленьких детей, — колюще-режущие и взрывающиеся предметы. А мы абсолютно не готовы к тому, чтобы иметь с ними дело. Их же может рвануть! Хорошо бы ещё их рвануло у того, в чьих руках они находятся. Но ведь может — всех остальных. Когда начинаются игры с геномом и лазание в мозг… Я, конечно, понимаю, сколько сейчас народу выйдет из-за куста и возмущённо скажет: «Сдурела! А медицина?.. Какие огромные возможности здесь открываются!» С этим-то я согласна. И, разумеется, для медицины открытия, которые нас ожидают на пути исследования головного мозга, колоссально важны. Если вы можете «подкрутить» хромосому, и у человека не будет шизофрении, и у всех детей его этой болезни не

будет, это-то можно только приветствовать. Я не предлагаю всем остановиться и больше ничего не делать. Страшна вторая часть…

— Позволю себе привести цитату из вашей знаменитой статьи «Гении знают…»: «Предположим, что мы точно выясним… что некий человек имел несчастье родиться обладателем патологического мозга или в результате каких-то событий стал им, и это будет «толкать» его к тяжёлым преступлениям…»

— Продолжу цитату: «Что делать в этом случае? Ведь наказывать его не за что (он ещё ничего не совершил, а возможно, и не совершит), ограничивать его свободу — тоже. Сложный моральный выбор и совершенно новая ситуация для юриспруденции: ведь существует презумпция невиновности — одна из главных ценностей нашей цивилизации. Не приведёт ли игра в «ящик Пандоры» к необратимой возможности и даже праву социума на получение информации о самом существенном — о личном биологическом портрете, а значит — о потенциальном использовании этой информации, сегрегации, отборе, расслоении общества уже не только по социальному, но и биологическому критерию?»

— Вопросов больше, чем ответов…

— Мало того, некоторых ответов не хотят даже нобелевские лауреаты. Года два назад в Москву приезжал выдающийся американский учёный Джеймс Уотсон, с которым я имела честь видеться. Это тот самый Уотсон, удостоенный этой награды в области физиологии и медицины вместе с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом за одно из крупнейших открытий двадцатого века — двойную спираль ДНК. Так вот, расшифровали геном самого Уотсона. И он попросил не озвучивать тот кусок генома, где у него возможна болезнь Альцгеймера. «Не хочу, — говорит, — знать про это».

— Примерно то же самое, когда цыганка предлагает погадать по руке, и человек отдёргивает ладонь: «Не надо!»

— Вот мы с вами и подошли к важности высказывания, принадлежащего антропологу с мировым именем Клоду Леви-Строссу, которому, кстати, в 2008-м году исполнилось 100 лет и он стал первым членом Французской академии, достигшим этого более чем почтенного возраста. А высказывание его таково: «Или двадцать первый век будет веком гуманитарных наук, или двадцать первого века не будет!»

ДиН антология *170 лет со дня рождения*

Алексей Апухтин

Люди и страсти

Графу Л. Н. Толстому

Когда в грязи и лжи возникшему кумиру
Пожертвован везде искусства идеал,
О вечной красоте напоминая миру,
Твой мощный голос прозвучал.

Глубоких струн души твои коснулись руки,
Ты в жизни понял всё и всё простил, поэт!
Ты из неё извлёк чарующие звуки,
Ты знал, что в правде грязи нет.

Кто по земле ползёт, шипя на всё змеёю,
Тот видит сор один… и только для орла,
Парящего легко и вольно над землёю,
Вся даль безбрежная светла!

К. Д. Нилову

Ты нас покидаешь, пловец беспокойный,
Для дальней Камчатки, для Африки знойной…

Но нашему ты не завидуй покою:
Увы! над несчастной, померкшей страною

Склонилось так много тревоги и горя,
Что верная пристань — в бушующем море!

Там волны и звёзды — вверяйся их власти…
Здесь бури страшнее: здесь люди и страсти.

На Новый, 1881 год

Вся зала ожидания полна,
Партер притих, сейчас начнётся пьеса.
Передо мной, безмолвна и грозна,
Волнуется грядущего завеса.

Как я, бывало, взор туда вперял,
Как смутный каждый звук ловил оттуда!
Каких-то новых слов я вечно ждал,
Какого-то неслыханного чуда.

О Новый год! Теперь мне всё равно,
Несёшь ли ты мне смерть и разрушенье
Иль прежних лет мне видеть суждено
Бесцветное, тупое повторенье…

Немного грёз — осколки светлых дней, —
Как вихрем, он безжалостно развеет,
Ещё немного отпадёт друзей,
Ещё немного сердце зачерствеет.

Владимир Алейников

«Самому легендой быть для всех»

1.

…Жёлтые листья кружились в жемчужном, с прожилками яшмы и серебряной нитью, воздухе над головами прохожих. Синева небес была яркой. Солнце грело. И люди щурились, на источник света поглядывая, рассиявшийся наверху. Ну а понизу чуть сквозило ветерком, и асфальт высыхал на удивление быстро, хоть по углам, в тени, и поблёскивали зеркалами, опрокинутыми случайно, малочисленные небольшие уцелевшие после дождя, отшумевшего ночью, лужицы, отражавшие небо с листьями, лица, стены, витрины, окна, и меж ними ходили голуби, не боявшиеся людей, и шныряли в поисках пищи воробьиные шустрые стайки, а поодаль, за кровлями, там, за Кремлём, за Москвою-рекой, вырастала, густея в пространстве, грядущая хмарь, но её замечать никому не хотелось, и время, щадя округу, от щедрот своих, пусть ненадолго, не спешило напомнить об этом, и город вставал на пути её неприступной старинной крепостью, всех от невзгод защищая, непогода ли это, беда ли какая, зима ли суровая, битва ли это жестокая, череда ли забот предстоящая,—мало ли что, но тепла в нём ещё хватало для всех.

Осенью шестьдесят третьего, в октябре, опьянённый своими прогулками по столичным солнечным улицам, шёл я в центре мимо кафе «Дружба», между Неглинкой, тихой и малолюдной, и довольно шумной Петровкой.

Навстречу мне шли неспешно двое людей незнакомых и о чём-то своём разговаривали. Видно, двое хороших приятелей.

Один—с буйной гривой вьющихся густых смоляных волос, глядящий куда-то вдаль, прямо перед собою, но выше людских голов, горящими жарким пламенем, тёмными, южными, бархатными, но словно слегка обугленными, скорбными или грустными, трудно сказать, глазами, смугловатый, среднего роста, легко и свободно шагающий по тротуару, какой-то с виду очень уж необычный человек, тридцати пяти приблизительно лет, не больше,—двигался вроде и рядом со своим разговорчивым спутником, но и совсем отдельно от него, бубнящего что-то неразборчивое, и тем более отдельно от всей толпы людской, от всех, от всего, что было вокруг, совершенно независимо, сам по себе, в порыве, словно вот-вот раскроются сильные крылья у него за плечами—и он взлетит, устремится ввысь, и настолько был он, подумалось, ни на кого не похож, настолько своеобычен, красив какою-то древней, тонкой, резной индийской или же украинской породистой красотою, настолько был не из этого времени, не из этой реальности, не из этой вот повседневной московской, привычной всем и каждому, толчеи, что я, глубоко поражённый, даже остановился.

Спутник его, человек нескладный, несколько взвинченный, может и вдохновенный по-своему, так бывает, но всё равно почему-то более прозаичный, высокий, на вид помладше—лет около тридцати, в сползающих на нос очках, со спутанными ветерком, всклокоченными вихрами, на ходу, на каждом шагу, поворачивался к приятелю и настойчиво, непрерывно что-то ему говорил.

Темноглазый красавец шёл молча, слушая своего спутника разговорчивого, но будто бы отделённый от него и от всех его слов некоей ощутимой, пусть и незримой, стеной.

Двое странных весьма незнакомцев приближались уже ко мне.

Очкастый, явно подвыпивший, довольно громко, с утрированным, театральным каким-то пафосом, темноглазому говорил:

—Нет, Коля, я всё понимаю. Я понимаю, Коля, ты—гений. Живой. Настоящий. Ты гениальный поэт. И ты столько уже написал! Но жить, Коля, как-то ведь надо! На что-то ведь надо жить! Существовать. Питаться. За жильё аккуратно платить. Выпивать иногда, как все люди. Ездить куда-нибудь. Я понимаю. Да. Всё понимаю прекрасно. Ты живёшь в своём мире. Ты его создал. Это твой мир. Но годы идут, Коля. Никто тебя не печатает. И не собирается, судя по всему, и в дальнейшем печатать. А ты всё пишешь да пишешь. Ну да, ты гордый у нас. Царская кровь! Порода! Но ты оглянись вокруг. Спустись с облаков на землю. Ты где живёшь? И в какой стране? И в каком времени? Эх, Коля, Коля, дружище! Вот смотрю я сейчас на тебя—и грусть меня снова охватывает. Ну хорошо, ты ещё достаточно молод. А дальше? А что дальше? Ну что? Надо ведь что-то делать! Надо как-то, видать, пробиваться! Возьми Евтушенко, Женю. Ты с ним учился вместе в Литинституте. Я с ним учился. Выбился парень! И разве можно его стихи с твоими сравнить? Ты, обладатель таких дивных, несметных сокровищ, пребываешь в полной безвестности. Ну, знают стихи твои друзья. Ну, ещё кое-кто. А Женя-то знаменит. Его-то весь мир знает. Он пробился. А ты и не думаешь пробиваться. Не хочешь, и всё тут. Живёшь себе и живёшь. Пишешь и пишешь. Надо ведь что-то всё-таки делать, Коля!..

Темноглазый красавец молчал. Ничего не ответил он своему очкастому спутнику.

Он только вдруг побледнел у меня на глазах, высоко закинул кудрявую голову, и глаза его вспыхнули жарким, солнечным, звёздным огнём.

Так, с закинутой головою, словно птица в свободном полёте, разливая вокруг себя исходящий из глаз его жар, прошёл он вместе с приятелем—отдельно и от него, и от всех остальных в толпе,—мимо меня, потом через Неглинку, и дальше, на Кузнецкий мост, и всё выше по Кузнецкому, выше, туда, где меж крышами зданий проглядывало удивительно синее небо, и скрылся там, вдалеке.

Только позже, в семидесятых, понял я, в озаренье мгновенном: это был Николай Шатров.

В начале семьдесят пятого, посреди тогдашних бездомиц, познакомился я и вскоре подружился с Женей Нутовичем, знаменитым коллекционером, собравшим за многие годы замечательную коллекцию современной, нашей, отечественной, авангардной, запретной живописи.

Это была одна из лучших коллекций в стране. Убедился я в этом сразу же. Своего тогдашнего мнения не собираюсь менять и ныне. Что есть, то есть.

И едва я взглянул на Нутовича, как в ту же секунду признал в нём очкастого—разговорчивого спутника темноглазого красавца в незабываемом для меня октябре шестьдесят третьего, между Неглинкой и Петровкой, солнечным днём.

Не удержавшись, я тут же поведал об этом Жене.

Став серьёзным, он призадумался. Уставился сквозь очки свои вдаль, словно пристально вглядываясь в дорогое, минувшее время.

Потом убеждённо сказал:

— Конечно, всё совпадает, это были мы с Колей Шатровым.

— Вот видишь!—сказал ему я.

— Но как ты всё это запомнил?—изумлённо спросил Нутович.

— Запомнил!—ответил я.—Нельзя было не запомнить.

Мы сидели с Женей вдвоём в самой большой комнате, заполненной, плотно увешанной от потолка до пола замечательными картинами.

Целков, Кабаков, Соостер, Мастеркова, Немухин, Рабин, Харитонов, Зверев, Плавинский, Слепышев, Кропивницкий, подаренный мной Ворошилов…

Кого же там только не было!

Не квартира—крупный музей.

Выпивали, понятное дело.

Женя был человек пьющий.

Он меня приютил у себя.

Сам отлучался частенько—то к матери, то ещё куда-нибудь, ненадолго—или надолго, по-всякому выходило, давно привык.

С женой был Женя в разводе. Супругу его, пусть и бывшую, я так никогда и не видел. Говорили, собой хороша.

Был я в его трёхкомнатной квартире этаким стражем при коллекции первоклассной.

Зато на зимний холодный период, в пору бездомиц, был у меня и ночлег.

Почему же не угостить иногда, уж как получается, по своим возможностям скромным, приютившего вдруг меня, скитаниями многолетними порядком уже измотанного, у себя в московской квартире, от души, добровольно, искренне, хорошего человека?

Дары мои выпивонные Нутович всегда принимал как нечто само собою разумеющееся. Любил он, выпивая неспешно, с толком, обстоятельно побеседовать со мною на самые разные, нередко полярные темы, где хватало и тьмы низких истин, и, за ними, немедленно, нас возвышающего обмана, и мистического тумана, и стихов, что вовсе не странно, и легенд, без оков и прикрас.

Женя выпил ещё глоток и спросил меня с тёплой, почти задушевной, протяжной ноткой в сипловатом, простуженном голосе, что бывало всегда у него самым верным, первейшим признаком лирического, с вариациями различными, настроения:

— А скажи мне теперь, Володя, ты Колю Шатрова знаешь хорошо или так, немного?

— Виделись иногда,—сказал я,—но дружбы у нас не возникло. Уж так получилось. Я—сам по себе. Он—сам по себе. Две планеты разные. Два разных мира, вернее.

— Да,—сказал Нутович задумчиво,—так бывает в жизни, бывает. А вот странно! Смотри, как выходит. Поскольку я нынче стихи твои знаю уже основательно, то, Володя, тебе говорю откровенно и прямо: ты гений. Познакомился я с тобой недавно. И вижу, что наше знакомство переходит в хорошую дружбу. Колю Шатрова я знаю очень, очень давно. И давно считаю: он гений. А теперь ты, Володя, скажи мне: почему два таких поэта, как вы с Колей, живя в одно время и зная одних и тех же примерно людей в Москве—ну, пусть и не всех он знает, кого знаешь ты, у тебя круг знакомых побольше,—но всё-таки почему же вы не подружились?

— Господи! Ну и вопрос! Так и знал, что его услышу,—сказал я тогда Нутовичу.—Но ты ведь прекрасно, Женя, понимаешь, что так бывает. И не так ведь ещё бывает. Хорошо, что живы мы оба. И на том спасибо. В трудах дни проводим, каждый посвоему. А в дальнейшем—кто его знает?—может, и дружба возникнет. Я себя сроду, известно всем, никому никогда не навязывал. Коля, как вижу я, тоже. Друг другу мы не мешаем. Существуем каждый из нас отдельно, самостоятельно, независимо друг от друга. Так уж вышло. Такая судьба.

— Судьба!—согласился Нутович.—Вот именно. Так я и думал. Судьба. Да. Везде—судьба.

Он шумно вздохнул. Налил себе вина в стакан, до краёв. Помедлил. И разом выпил.

Я встал. Подошёл к окошку, разукрашенному затянувшейся стужей в палехском духе. Походил немного по комнате. Открыл запылённую крышку пианино, взял несколько джазовых аккордов. Потом присел за старенький инструмент, стал негромко играть.

Женя, опять вздохнув, налил себе новый стакан, до краёв, конечно, вина.

— Ты Гершвина, колыбельную из «Порги и Бесс», ну, ту самую, сегодня можешь сыграть?—спросил он меня задумчиво.

— Могу!—откликнулся я.

И заиграл эту вещь, не гершвиновскую, кстати, не им самим сочинённую, но им когда-то записанную, превосходно аранжированную, вышедшую на свет из негритянских распевов. Я и сам её очень любил.

Женя снова вздохнул и сказал:

— А давай позвоним Коле Шатрову! Он у своей Маргариты, недалеко от меня, живёт. Пусть приедет! Выпьем. Поговорим. Стихи почитаете оба. И подружитесь, полагаю.

— Звони!—согласился я.

Нутович, стакан отодвинув, потянулся рукой к телефону. Быстро набрал номер.

— Алло! Маргарита? Приветствую тебя. Это Женя Нутович. Скажи мне, а Коля дома? Что, что? Не слышу. Он в Пушкино? На даче? В такой-то холод? Ну, это в шатровском духе. Снова пишет? Ну, молодец. Ты ему передай, что звонил Нутович. Мы у меня, вместе с Володей Алейниковым, поэтом. Да, да, с тем самым. Знаешь? Вот и чудесно. А Коля когда появится? Что? Не скоро ещё? Ты сама едешь к нему? На ночь глядя? Ну, тогда привет передай. От нас обоих. Пусть пишет. Созвонимся потом. До встречи!

Он, вздохнув, положил трубку.

— Жаль, что не вышло встретиться с Колей прямо сейчас!

Уж так ему, видно, хотелось этого нынешним вечером.

— Ничего, не переживай,—сказал я.—Ещё увидимся.

— Увидимся!—согласился Нутович.—А так мне хотелось, представляешь, чтобы мы встретились!

— Всё успеется, Женя,—сказал я.—Всё у нас ещё впереди.

— Да,—согласился Нутович,—всё у нас ещё впереди.

Впереди были два, всего-то, года жизни у Коли Шатрова.

Но разве тогда, зимой, посреди холодов и снегов, оба мы знали об этом?

…Время вдруг разъялось—и я увидел себя, измученного, совершенно больного, в бреду, в невероятном семьдесят седьмом, Змеином, году, в дни бездомиц, на склоне марта.

Каким-то непостижимым образом, не иначе, даже не волю, наверное, собрать умудрившись в сгусток энергии, не поддающейся логическому толкованию, а что-то куда выше воли и тем более выше упрямства простого, тогда я добрался до Марьиной Рощи, в дом, находящийся неподалёку от чудесной церкви Нечаянная Радость, близко совсем от того, среди пятиэтажек и дворов пустоватых, места, где мой друг Леонард Данильцев познакомил меня когда-то с Игорем Ворошиловым, и знакомство это немедленно, по счастью, стало началом нашей дружбы, высокой и светлой, с этим великим художником,—добрался я, перемогая себя, на авось, по чутью, к Виталию Пацюкову, в давние времена, и особенно в шестидесятых, тоже другу, так я считал.

Я добрался туда в жару, с трудом держась на ногах.

Пацюков приютил меня.

Уступил мне комнату маленькую в своей обжитой двухкомнатной, довольно уютной, квартире.

Там, в окружении множества книг и хороших картин, стояли письменный стол, стул и узкая старая низенькая тахта.

И я, обессиленный, сразу же просто рухнул на эту тахту.

Пришлось мне, как говорят в народе простом, несладко.

Трое суток не мог я подняться.

Ничего совершенно не ел.

Только изредка пил воду.

Пот холодный лил с меня так, что тахта промокла насквозь.

Я не спал. Пытался заснуть. Почему-то не получалось.

Странные состояния, пограничные, между явью и сном,—да, вот это было.

Мне надо было теперь обязательно перебороть болезнь, в которой, наверное, всё собралось воедино: простуда сильнейшая, боль, безысходность, усталость безмерная, физическое истощение, нервное напряжение от всех моих затянувшихся, кошмаром ставших бездомиц, отчаяние, тоска, надежда на чудо,—всё, всё.

Я попросил хозяев, друзей моих, то есть Виталия и Светлану, его жену, слишком уж не пугаться, не переживать за меня, врачей никаких, что бы ни было со мною, не вызывать, а просто дать мне возможность отлежаться в тепле, в тишине, оставить меня одного на какое-то время в покое.

Кажется, Пацюковы правильно меня поняли.

Не на улицу ведь меня, захворавшего, выпроваживать, да ещё в таком состоянии!

Приютили меня, слава Богу.

До выздоровления. Временно.

И на том спасибо. Тогда я это очень ценил.

И я, друзьями оставленный смиренно, с самим собою наедине, в отдельной—с книгами и картинами, с окном занавешенным, с дверью, приоткрытой на всякий случай,—маленькой, тихой комнате с погашенным светом, лежал на узкой тахте и бредил.

Тяжко пришлось мне, что там теперь такое скрывать.

Подумывал даже: выжить бы.

За окнами разгулялась вовсю холодная, влажная, позднемартовская, тяжёлая, затяжная, безбрежная непогодь.

Я лежал на узкой тахте, в одиночестве, в темноте, в тишине, среди книг и картин, и перемогал болезнь.

Меня посещали всё время видения, невероятные, непрерывно, как в киноленте отдельные частые кадры, сменяющиеся, мелькающие, чередующиеся с какой-то непонятной совсем быстротой, развёрнутые в каком-то неизвестном, странном пространстве, возникающие в каком-то совершенно ином измерении, чем привычные нам, земные.

Помимо болезни моей, томило меня и мучило ещё и предчувствие острое непоправимой беды, которая, может быть, даже произошла уже или вот-вот, мерещилось, внезапно произойдёт с кем-то из очень хороших, дорогих для меня людей.

Видения надвигались, накатывались, наслаивались, наползали одно на другое, смешивались, клубились, исчезали, опять возникали—стремительно, без перерывов.

Я слышал чьи-то знакомые голоса. Слышал громкие крики.

Потом, нежданно-негаданно, что-то вдруг меня с места сорвало, подняло высоко над землёю—и вынесло прямо в космос.

Там, на виду у нашей многострадальной планеты, мерцавшей внизу, в черноте, поистине беспредельной, невыразимо огромной, происходили действительно небывалые, странные вещи.

Там снимали какой-то фильм.

Это была мистерия.

Почему-то я вмиг это понял.

Не драма и не трагедия.

Эти жанры здесь не годились.

Мистерия. Именно так.

Режиссёр знаменитый, Андрей Тарковский, в клетчатой кепке, в распахнутой кожаной куртке, с шарфом на птичьей шее с выпирающим кадыком, скуластый, черноволосый, весь в движении, упоённый дивным ритмом, редчайшей возможностью, что-то важное для него прозревая в происходящем, тут же снять его, руководил съёмками кинофильма.

С металлическим, серебрящимся рупором в быстрых, вытянутых куда-то вперёд руках, летал он меж оператором со стрекочущей кинокамерой и актёрами, средь которых то смутно, то более чётко различал я знакомые лица.

И вот уже прямо на съёмочную площадку, в пёстрый сумбур её, в ледяном созвездий мерцании, в космической черноте, ворвалась откуда-то издали, извне, из других галактик, чудовищная по мощи и по размаху сила, стихия, вселенская буря: скопление тусклых шаров, раздробленных острых камней, песчинок, метеоритов, обломков прекрасных зданий, разнообразных предметов, обиходных, самых простых, и загадочных, неземных, иголок с длинными нитями, изорванных книжных страниц, свёрнутых в трубки свитков, статуй, осколков зеркал, невероятное месиво, жуткое завихрение,—и надвинулась вмиг на всех, и Тарковский метался в космосе и кричал отчаянно в рупор: «Снимайте! Скорее снимайте!..»

И фигуры людей закружились в черноте, в мерцании звёздном—ну в точности как на картинах моего тогдашнего друга, печального ясновидца, родом из-под Чернобыля, Петра Иваныча, Пети Беленка, художника, видевшего наперёд и такое ведавшего, чего не знали другие,—всех куда-то наискось, в сторону, вглубь, за хрупкую грань реальности, что-то стало вдруг уносить, и унеслись киносъёмки в неизвестность, словно в воронку, вместе с ужасным всеобщим хаотическим завихрением.

И услышал я крик: «Маргарита! Отвори мне скорее кровь!..»

И тогда показалось мне, что это голос Шатрова.

И возникла чудесная музыка, светлейшая, не похожая на всё, мною ранее слышанное.

Музыка длилась и длилась.

«Николай!»—раздался откуда-то громкий спокойный голос.

И другой—вслед за ним: «Шатров!»

И потом прозвучало: «Царь!»

Я всё это слышал отчётливо.

Был в бреду. Посреди видений.

Но Шатров, носивший фамилию материнскую, так получилось, по отцу был Михин, потомок, это знали все мы, Ивана Калиты, то есть царской крови.

Калита—из скифского рода.

Много скифов было когда-то на Руси, много было в Москве.

Отсюда и характерная, броская внешность шатровская, смуглота его, красота восточная, южная, древняя.

Обрывки этих и прочих подобных соображений проносились роем в мозгу.

Их сменяли видения—новые, надвигавшиеся непрерывно.

Всё усиливалось ощущение разрастающейся тревоги.

Боль была слишком сильной, просто невыносимой.

Меня лихорадило, в жар бросало, знобило, крутило.

Я то стонал иногда, то упрямо стискивал зубы и молча лежал и терпел.

День сменялся кошмарной ночью, ночь сменялась кошмарным днём, а я всё бредил—и всё ещё мучительно выживал посреди бесконечных, бессонных, измотавших меня видений.

И вот, сам не зная, зачем, почему я, больной, это делаю, нашарил я в темноте листок бумаги и ручку—и набело записал, почти вслепую, на ощупь, четыре стихотворения, мистических, как оказалось, и сверху потом написал название странного этого цикла: «Во дни беды».

И случайный листок бумаги с неизвестно зачем записанными на нём в потёмках стихами, вместе с ручкой, сразу же выпал на пол, вниз, у меня из рук.

То ли я потерял сознание, то ли всё-таки, может, заснул.

Утром я очнулся, уже отчасти поздоровевший.

Мне было неловко, что я поневоле—ведь не нарочно—потревожил чету Пацюковых.

Извинился я перед ними. Сказал им, что постараюсь вскоре уйти от них.

Но куда идти? И к кому?

Да ещё в таком состоянии.

Телефон был рядом. Пришлось хоть кому-нибудь позвонить.

Механически я набрал застрявший в памяти номер одного своего знакомого, который порой позволял мне пожить—на птичьих правах, недолго,—в его квартире.

И услышал голос его:

—Вчера мы похоронили, вот беда-то, Колю Шатрова…

Трубку выронил я из рук.

И увидел внизу, на полу, возле тахты, где я мучился посреди видений, в бреду, и сражался за жизнь, исписанный мною листок бумаги.

Поднял его. Прочитал стихи свои. И — всё понял.

С трудом изрядным собрался.

Попрощался любезно с хозяевами.

И ушёл — куда-то вперёд.

В пространство. Или сквозь время.

В боренья свои — с недугами, видениями, кошмарами.

В бездомицы. В явь столичную.

На звук вдалеке. На свет…

Через год Маргарита, вдова Шатрова, когда рассказал я — вкратце, без многих подробностей, — ей о своих видениях и показал записанные тогда, в конце марта, стихи, голову подняла высоко — и грустно сказала:

— У Коли был сильный приступ. Он закричал: «Маргарита, отвори мне скорее кровь!» Я растерялась тогда. Ничего я не понимала. Вчера только был он вполне, так думала я, здоров, как раз, похудевший, спокойный, вышел из голодания, целый месяц ведь голодал. И его Кириллов с Ширялиным, знакомые люди, нормальные вроде бы, так я считала, уговорили выпить. Домашняя самогонка, очень чистая, уверяли, что целебная даже, — возможно, не пробовала, не знаю, не пью и другим не советую, — настоянная на травах. А на следующий же день ему стало внезапно плохо. Я испугалась. Очень. Совершенно не знала, как вести себя, что мне делать. Вызвала по телефону врачей. Приехала к нам «скорая помощь». Коля в тяжёлом был состоянии. Его увезли в больницу. Там, в тот же день, он умер.

И Маргарита надела на свою сухую, точёную, темноволосую голову королевы воображаемой приготовленную заранее, в обычной сумке, с которой ходила она везде, в одиночестве королевском, в роли вдовы поэта великого, несравненного, который сказал ей однажды: «Когда я умру, ты увидишь сама, что начнётся тогда», — собственноручно сделанную ею, изящную, лёгкую, как в детской игре, корону.

Маргарита всегда её надевала, когда приходила в гости к своим знакомым.

Картонная королевская корона, сверху оклеенная конфетной блестящей фольгой.

Отчасти, можно подумать, карнавальная, игровая.

Отчасти же — отдающая безумием, роковая.

Король со своей королевой.

Николай со своей Маргаритой.

Она так давно считала.

Так всегда говорила.

На стене её дачного домика в Пушкино, деревянного, вроде скромного теремка или старенького скворешника, — сказал мне кто-то, сгоревшего, больше не существующего, но так ли это, не знаю, — нарисованы были, помню, король со своей королевой. Разумеется, оба — в коронах.

Маргарита была художницей. Годами делала кукол. Каких-то я, кажется, даже видел. Но не запомнил. Маргарита была блаженной. И практичной — как-то навыворот. Что ни сделает — всё не так. Но старалась всегда — держаться.

Она была старше Шатрова. Лет на десять. Никак не меньше. Но существенной разницы в возрасте никогда она не замечала.

Колю она любила страстно, преданно, самозабвенно.

И очень уж своеобразно. Как никто никого не любил.

Шатрова похоронить хотел возле церкви, в которой служил он в семидесятых, отец Александр Мень.

С этим известным священником Шатров дружил и частенько по-соседски к нему захаживал, когда жил на даче в Пушкино.

Староста церкви, дама без имени и фамилии, решительно воспротивилась тому, чтобы здесь, у храма, какого-то там подпольного, неизвестного ей поэта, даже если на этом настаивал сам священник, захоронили.

И тогда Шатрова — сожгли.

Как давно предсказал он в стихах своих.

В крематории. В пламени страшном.

Урну с прахом — вручили вдове.

Урну с Колиным лёгким прахом, светлым пеплом, от жизни оставшимся, королевским — вернее, царским прахом, духом, вздохом по прожитым вместе с мужем счастливым годам, по любви, по женскому счастью, Маргарита держала долго при себе, у себя дома. Чтобы рядом супруг был всегда.

Когда она, время от времени, отправлялась куда-нибудь в гости, то неизменно с собой, в сумке или в пакете, и урну с прахом прихватывала.

Придёт, бывало. Накрашенная. Принаряженная. Причёсанная.

На свою точёную голову корону тут же наденет.

Урну с Колиным прахом достанет из сумки или пакета — и сразу её на стол, на самое видное место.

И приветствует всех собравшихся с достоинством, по-королевски:

— Здравствуйте! Мы к вам сегодня в гости с Колей пришли!..

Некоторые мнительные, с воображением развитым, пожилые, седые граждане, и не только они одни, но даже, куда уж дальше, зелёная молодёжь и особенно, разумеется, чувствительные сверх меры и до крайности впечатлительные, из числа поклонниц шатровских былых, из числа любительниц поэзии, милые дамы, немедленно падали в обморок.

А Маргарита, высокая, стройная, королева, да и только, блестя глазами, одной рукой прижимая как можно крепче к себе урну с Колиным прахом, другой рукой грациозно поправляла свою корону и читать принималась всем, по памяти, с выражением, королевским, звенящим золотом, хорошо поставленным голосом, шатровские удивительные, провидческие стихи.

Потом, по прошествии некоего, довольно долгого, времени, она, королева вдовая, всё-таки захоронила бесприютный шатровский прах.

Потихоньку. Втайне от всех.

Нелегально. Без всяких формальностей.

На Новодевичьем кладбище.

В месте привилегированном.

Там, где давно покоится отец её, крупный советский деятель времени сталинского, латыш, человек суровый и надёжный, Рейнгольд Берзинь.

В уголочке вроде каком-то закопала урну. Под боком, под опекою у отца.

Пусть её король там лежит.

Уж она-то об этом знает.

Остальные — это неважно.

Тихо, мирно, самостоятельно, никого ни о чём не спрашивая и тем более не упрашивая, не вымаливая позволения на такое вот захоронение, как вдове у нас полагается, и тем более — королеве, предала она прах поэта, как сумела, сама, земле.

О чём впоследствии мне однажды и рассказала, чрезвычайно собою довольная.

Вот такая — о Боже! — история.
И такая, представьте, судьба.
Наивысшая категория.
Сон — вне яви. И — пот со лба.
Что ни шаг, то сплошная мистика.
(Россыпь строк на пространстве листика.)
Что ни взгляд — зазеркальный знак.
(Не собрать их теперь никак.)
Что ни слово — астральный свет.
(Путь сквозь век. Череда примет.)
Кто сумеет — собрать, сберечь?
Ночь пройдёт. Возвратится — речь.

А потом, уже в девяностых, Маргариту просто ограбили. Расстарался некий субъект. Ей самою же и назначенный, а зачем — поди разберись, неизвестно откуда свалившийся на её королевскую голову, бес пронырливый или монстр натуральный, из как бы времени, по её же наивному мнению — деловой человек, рассудительный, обещальщик-душеприказчик.

Всё забрал у неё, подчистую. Рукописи, фотографии.

Всё, что связано было с Шатровым.

В мешки всё это сложил — и утащил. С концами.

Об этом поведали мне друзья шатровские старые.

Магарита — не Берзинь, а Димзе.
Почему — её не расспрашивал.
Пострадала семья. Репрессии.
В лагерях намучилась мать.
Маргарита звонит иногда.
Уж не знаю, цела ли корона.
Тяжело мне с ней говорить.
Жаль её. Но за Колю — больно.

Маргарита недавно звонила.

Она почему-то решила подарить мне шатровский костюм. Шведский костюм. Целёхонький.

Тот самый, один-единственный из всей одежды имевшейся — приличный, в котором Шатров Бог знает когда — лет сорок назад или даже больше, надев его специально, чтобы выглядеть посолиднее, отправился как-то к поэту хорошему, с трудной судьбой, сибиряку, Леониду Мартынову, в гости в надежде, что тот ему, понимая в стихах, глядишь, и поможет с публикациями, но Мартынов, едва завидев костюм, немедленно заявил, что для бедствующего поэта, совершенно не издающегося, это слишком шикарно — и в помощи Шатрову тогда отказал.

И вот Маргарита вспомнила — через столько лет — о костюме:

— Возьмите его, Володя! Он вам как раз впору. Вы с Колей одной комплекции. Костюм совершенно новый!..

Ну что на такое скажешь?

Не нужен мне этот костюм!

Когда-то, в былые годы, когда мы с моей женой Людмилой и нашими маленькими славными дочерьми жили дружно, но крайне бедно, и носить мне и в самом деле иногда было просто нечего, а купить в магазине одежду, даже скромную, просто не на что, Маргарита пришла к нам однажды в гости и подарила мне шатровский старый костюм, который, как оказалось, в свою очередь, встарь когда-то подарил ему друг его добрый, знаменитый тогда пианист Софроницкий, и я от безвыходности костюм этот, серый, потёртый, какое-то время носил, а потом перестал носить.

И ещё она, в те же далёкие времена глухого безвременья, подарила мне от щедрот своих старый шатровский плащ, широкий, зелёного цвета. Я его так ни разу и не надел. Вроде цел он. Да, висит, всё же память о прошлом, в шкафу у меня в Коктебеле.

Сам я сделал немало достойных публикаций стихов Шатрова. Это в общей сложности целая книга, очень хорошая. Но Маргарита мои старания не оценила. Похоже на то, что она, вдова-королева в короне, так толком и не поняла за все прошедшие годы, что некоторая часть наследия литературного её покойного мужа с трудом, но всё-таки издана.

Шатровская дочь, Лелиана, — вовсе не Маргаритина, хрупкая, как Офелия, с виду — белая лилия, лунною ночью расцветшая в тиши, — давно умерла.

Сын шатровский, Орфей, тоже не Маргаритин, живёт, насколько я помню, в Калуге. Я видел его. Он очень похож на Шатрова.

На могиле Шатрова я не был.

Был ли кто-нибудь там вообще?

Как найти её, если нет опознавательных знаков?

Стоять у могилы Берзиня и думать, что там, где-то сбоку, с краешку, нелегально, лежит Николай Шатров — или, верней, его прах?

Мистика, да и только.
Бред. Видения. Знаки.
В небе — лунная долька.
В почве — пепел и злаки.
В песнях — доля и воля.
В жизни — любовь и вера.
Звёзды. Кристаллы соли.
Символы да химеры.

И всё это сам Шатров—при жизни ещё, провидчески, в стихах своих и особенно в стихах своих лет последних,—давно уже предсказал.

Был—настоящим поэтом.

Жил—несладко, нескладно.

В речи своей—остался.

И время его—впереди.

К СМОГу—имел отношение.

Не всё принимал—у Губанова.

Ко мне относился—с восторгом.

Да вот не успели мы с ним подружиться. Такая судьба.

Я ещё расскажу о Шатрове. Не всё ведь сразу. Согласны? Он ещё придёт в мои книги. Да и к вам он придёт. Стихами.

Вечер. Молодость я вспоминаю. Тот октябрь, где листья слетали и под солнцем тёплым горели золотистыми ворохами…

II.

Вот и вышла книга Шатрова.

В её появлении—так и хочется сказать: на свет Божий!—в негаданном её возникновении перед глазами, в таком, как снег на голову, приходе—извне, чуть ли не из ниоткуда, из-за пределов досягаемости—сюда, на родину, в Россию,—есть что-то иррациональное.

И это символично. Более того, это закономерно—потому что сродни чуду. Пусть и запоздалому.

Но на то оно и чудо, чтобы, уже неважно когда приходя—раньше ли, позже ли, а скорее всего, именно в свой срок, в свой час, всегда вовремя,—неминуемо застигать нас врасплох, да так, чтобы сызнова охватывало душу младенческое изумление перед открывшимся вдруг—разом, как по волшебству,—живым, дышащим, звучащим миром, целым поэтическим космосом.

«Я звезда! Понимаю прекрасно, сердцем выше обид… Лишь когда на земле я погасну, к вам мой свет долетит».

За вхождением в чудо следует его постижение, напряжённая работа для сердца, души и ума. И здесь нас ждут поразительные открытия.

Время, пространство и творчество словно заключают между собою тройственный союз. Все слова связаны круговой порукой. Смыслы множатся и выстраиваются в небывалую, не имеющую аналогов систему. Возникает ощущение совершенно особой, магической реальности.

Открывается новое дыхание, обостряется слух, обретается дивное зрение.

Биение пульса начинает совпадать с нахлынувшими ритмами: у текстов мощная энергетика, властно притягивающее к себе и постоянно проверяющее нас на прочность пульсирующее поле.

Сплошное приоткрывание завес, потайные ходы, лестницы, лабиринты и зеркала.

Неловкий шаг в сторону—и так и дохнёт ледяным холодком Зазеркалья.

Измерений—много, явно больше четырёх. Однако чувствуешь себя там, внутри стиховых скоплений, сцеплений, созвучий, спокойно, даже уютно: тебя не пугают, не ошеломляют, не норовят во что бы то ни стало поразить—наоборот, к тебе относятся бережно, тебе доверяют,—и тот, кто пригласил тебя войти сюда, в таинственный свой дом, находится где-то здесь—может быть, рядом.

Его присутствие—ещё присутствие невидимки, но ведь это именно он позвал тебя в гости—и значит, встреча должна состояться.

«О! Талант—то корабль без пробоин в колыханье изведанных волн. Он торговлей живёт и разбоем, и собою, и золотом полн. Гений—тот, кто неведомым выслан на разведку в чужой небосвод! Это стих, затопляемый смыслом из каких-то надмирных пустот».

Идёшь вначале—на звук, на голос. Потом—вместе с голосом. Чуть позже возникает удивительный свет, и дальше движешься уже вместе со светом. Путешествие внутри речи продолжается—и не закончится никогда. Потому что никогда не закончится—речь.

Это вполне вписывается в шатровскую легенду, в шатровскую тайну, в понятие судьбы—в шатровском её осмыслении и толковании.

Глубокий вдох:

«Как хочу я стать частицей сказки, самому легендой быть для всех!»

И долгий, усталый выдох:

«Как в ткань проникает игла, судьба моя мной вышивала».

Сквозь истёртую, рваную, кое-где стянутую грубыми швами ткань ушедшей эпохи проступает и высветляется—образ.

«Ангел, воплощённый человеком, по земле так трудно я хожу…»

Не издание, а—явление. Материализовавшаяся в виде изданной типографским способом книги часть неповторимого духовного опыта, откровений, предчувствий, прозрений.

Книга-загадка. Первая ласточка. Вестница из огромного, существующего добрых полстолетия поэтического мира, в который современному, в меру интересующемуся, но на поверку почти ничего толком не знающему о своей, отечественной литературе читателю предстоит наконец войти.

Для того чтобы оглядеться, сориентироваться в таком сложном и единственном в своём роде мире, чтобы ощутить его значительность, чтобы вчитаться, чтобы за вниманием, которое уже само по себе редкость в наши дни, постепенно пришло и понимание, должно пройти немалое время. Это движение от первоначального, чисто человеческого внимания к серьёзному, настоящему пониманию шатровского слова—нелёгкий, но радостный труд, за который читателю воздастся сторицей.

Навсегда в прошлом остались рукописные, домашние, как часто бывало при жизни, «издания» произведений поэта. Да и некоторые машинописные, самиздатовские: содержание их перекочевало в книгу, лежащую передо мной. Однако появившиеся сразу после смерти Николая Шатрова самиздатовские сборники его стихов, составленные истовыми ценителями и почитателями его поэзии, существуют по сей день. Объём таких сборников достигает иногда размеров внушительного тома

или даже нескольких томов. Число их, надо полагать, будет увеличиваться до той поры, покуда изданное полное собрание сочинений Шатрова не станет свершившимся фактом. Имеющий свои многовековые традиции, свои правила хорошего тона и свою систему отбора российский самиздат чрезвычайно живуч.

Давнее и загадочное существование шатровских текстов, их поистине странное присутствие-отсутствие в отечественной поэзии для читающего большинства остаётся существованием полумифическим и лишь для посвящённого меньшинства современников является очевидным и непреложным.

Путь их к читателю — при всей их классичности, при всей ясно видимой в них преемственности русской стихотворной традиции, продолжении и развитии этой традиции, обогащённой и поднятой на новые высоты, — путь длительный и на редкость непростой.

«Смеркается день, ты глаза закрываешь, как будто иначе глядишь на меня… Как будто иначе от счастья растаешь, хоть ты не из воска, но я из огня! Зато из какого, вовек не узнаешь… Когда же узнаешь — не будет меня».

Сказалось здесь в первую очередь, как это в России сплошь и рядом бывает, то обстоятельство, что поэт никогда не был и не жил на виду — он существовал осторонь от всех, сам по себе, ибо нервотрёпке и хаосу решительно предпочитал независимость и уединение, ибо хорошо знал себе цену — и просто не вмещался ни в рамки советской действительности, ни в рамки советской литературы.

Налицо не только и не столько вынужденное, но и сознательное отстранение от литературного процесса минувших лет, посередине которого проходит резко обозначенная граница, раз и навсегда разделяющая его на официальную и неофициальную области, на мнимую и подлинную литературы.

Парадокс заключается в том, что Шатров не был «своим» ни в том, ни в другом лагере. В лучшем случае представители обоих лагерей «слышали звон, да не знали, где он», то есть слышали, что существует такой поэт — Шатров, и даже кое-кто когда-то читал его стихи той или иной поры, ранние или более поздние, но чёткого представления о поэзии Шатрова не имел практически никто из «собратьев по перу», да, может быть, и не хотел этого — слишком занимали тогда литераторов собственные заботы, имели значение и внутрилагерные интересы.

«Я мудрости не накопил — и, несмотря на горький опыт, какой-то азиатский пыл ронял меня в глазах Европы. Пронзительно-раскосых рифм разрез лукавый и ленивый… При жизни я ломился в миф, непритязательный на диво. О, кто загадку разрешит: как не заметили поэта? Так некогда Гарун Рашид бродил в толпе, переодетый!»

Почитатели поэзии Шатрова — с сороковых по семидесятые годы — являли собою совершенно особую группу людей, жили они не только в Москве, но и в других городах страны, никакого отношения к официальной литературе не имели, объединяла всех их подлинная любовь к стихам столь ценимого ими поэта.

Чем они могли помочь Шатрову? Помочь с изданиями? Это было тогда нереальным. Разве что — вниманием, участием в судьбе, в жизни, добрым словом. По тем временам — уже великое дело.

Этот круг людей, с которыми Шатров общался, к кому часто адресовался, с мнением которых считался, ибо интеллектуальный уровень их был очень высок, — позволял поэту как-то дышать в удушливой атмосфере тоталитарного сталинского, оттепельного хрущёвского, застойного брежневского времени.

Подлинное, высокое человеческое общение, которого ничем не заменишь, соединялось с подлинным, высоким творческим горением.

Шатров никому себя не навязывал. К нему приходили сами. Бывало, такие встречи давали людям сильнейший импульс к развитию их способностей, к избранию жизненного пути и помнились потом всегда.

Случалось, что Шатров и спасал людей. Я знаю на Украине одного композитора, жена которого когда-то страдала от чёрной меланхолии. Она не могла ни есть, ни пить, ни спать и уже подумывала о самоубийстве. Состояние было ужасающим. Отчаявшийся муж привёз её в Москву, пытался обращаться к врачам, но безуспешно. Как две тени, супруги мыкались по столице, не зная, куда податься, что делать. Волею судеб Шатров увидел их где-то на улице. Вид их потряс его. Он подошёл к ним сам, разговорился, всё понял. Дальнейшее супруги до сих пор вспоминают, как чудо. Шатров привёз их с собой в Пушкино, на крохотную дачку своей жены Маргариты, и пробыл там с ними целый месяц. Всё это время он просто говорил с ними, был рядом. Шатров обладал даром исцелителя. И вот ровно через месяц страшная болезнь у жены композитора прошла и никогда больше не возвращалась. У композитора было белокровие, и на жизнь он смотрел без особого оптимизма. Но после общения с Шатровым он тоже почувствовал себя значительно лучше. У него вновь проснулось желание сочинять музыку. Супруги вернулись к себе на Украину. Жизнь их изменилась. Оба они стали глубоко верующими людьми. В доме у них много икон, одна из которых — чудотворная. Как-то я был у них в гостях. Они включили мне старую магнитофонную запись стихов Шатрова. Вспоминали самое дорогое для них время — и оба плакали. А в тесной, чистой их квартире всё звучал, звучал голос Николая…

Сколько раз, уже после смерти Шатрова, собирались, бывало, вместе его друзья, добрые знакомые — и вспоминали о нём, вспоминали.

Одного он выручил в тяжелейшей ситуации, другому с точностью предсказал судьбу, третьему помог творчески самоопределиться, четвёртого — привёл к вере…

О себе и своей судьбе знал он — всё, наперёд, с самого начала.

Трагичность, величие и светоносность творческой и человеческой судьбы Шатрова ещё только

смутно начинают осознаваться. Настоящее осознание — впереди.

Давно бы надо всем, знавшим Шатрова, написать и собрать воспоминания о нём. Такие люди и такие поэты столь редки.

Шатров — одиночка, подвижник, нёсший свой крест до конца, взваливший на свои плечи такой груз, какой мало кому был по силам, несравненный поэт, выполнивший свою миссию на земле, сохранивший и продливший дыхание русской речи.

«Ангел, воплощённый человеком, по земле так трудно я хожу, точно по открытому ножу: помогаю и горам, и рекам, ветром вею, птицами пою, говорю иными голосами… Люди ничего не видят сами, приневоленные к бытию. Скоро ли наступит тишина при конце работы — я не знаю. Боже мой! Ты слышишь, плачет в рае та душа, что мною стать должна? О подруга, равная во всём! На стреле пера, белее снега, в муке, ощущаемой как нега, мы, сменяясь, крест земной несём».

Многое можно сказать, и долго придётся говорить, чтобы перечислить хотя бы бегло приметы такого феномена, не говоря уже о конкретном обозначении каждого аспекта, каждого излома, ответвления или взлёта данной жизни, данной судьбы и данного творчества, — всё это в грядущем заставит крепко поломать головы не одно поколение исследователей.

Более чем за три десятилетия самоотверженной работы Шатровым было создано единое целое — колоссальный свод стихотворений и поэм, около трёх тысяч вещей, лишь небольшая часть которого вошла в американскую книгу.

Опять книга приходит к нам «из-за бугра»! — вправе заметить привередливый читатель. Хотя и «бугор» уже не тот, что раньше, но всё же — оттуда, именно оттуда. Не у нас издана книга, а там, «у них».

Пусть пресловутый «бугор» нынче не столь неприступен, как ещё сравнительно недавно, но живут за ним люди, которым небезразлична русская поэзия.

С грустью вспоминаю тщетные свои попытки издать книгу Шатрова в России — в самом начале девяностых, когда издавать, казалось бы, можно было что угодно. Читательский интерес к своей, ранее не издававшейся, потаённой литературе достиг тогда своего апогея. Все вроде бы ратовали за возрождение культуры. Птица Феникс, восставшая из пепла, упоминалась кстати и некстати и превратилась в расхожий образ. Выяснилось, однако, что издателей больше интересовали «жареные» темы, как тогда некоторые любили «со значением» выражаться, нежели хорошая поэзия. «Жареные» факты, сенсации, дозволенное свободомыслие. Вот что было нужно в первую очередь. А стихи — подождут. Автор не сидел в лагерях, диссидентом не был, всякие письма и воззвания в защиту чего-то и кого-то не подписывал, демонстрации не устраивал? Тем более — подождёт. Острое, с политической подоплёкой, — вот что интересовало. С подробностями. Чтобы ужасов, страстей побольше. Или — третьесортные в основном писания эмигрантов третьей волны, большая часть коих уехала вовсе не по политическим соображениям, а чтобы там, на желанном Западе, успокоить свои разыгравшиеся амбиции. Нет, не до стихов сейчас! Да и какие-то они уж больно традиционные с виду, без этакой, знаете, формальной новизны, без авангардности — вот это модно, это сгодилось бы.

Ну никак не получалось с книгой, и всё тут. Без всяких «бугров», на родной, удручающе ровной поверхности российского равнодушия. Где, впрочем, рытвин предостаточно.

Один мой знакомый пачками рассылал стихи Шатрова по редакциям журналов. Отовсюду возвращали с краткой резолюцией: не подходит!

Другой мой знакомый специально подобрал большую перепечатку шатровских стихов о России и отнёс их — куда бы вы думали? — прямиком в журнал «Наш современник». Там принесённые стихи полистали — и сразу, на месте, возвратили, пояснив: «Ну и что же, что везде тут — о России? Уровень не тот. Не для нас!» Вот уж поистине: такой уровень — не для них.

Темнота и непросвещённость издательских и журнальных работников — тема особая. Равно как и цинизм.

Не знали! Не знали, кто это такой — Шатров. Да и не хотели, судя по реакции, знать.

«Мы ленивы и нелюбопытны», — не зря говорил Пушкин.

Те новоявленные, более просвещённые издатели, которые могли бы и рады были бы напечатать книгу Шатрова, просто не имели для этого нужных средств.

Удалось мне сделать тогда всего три публикации стихов Шатрова в журналах: одну, по знакомству, — в малозаметном, но многотиражном «Клубе», две — в широко читаемой «Волге», где, несмотря на редакторские восторги, умудрились-таки по непонятным причинам исказить и сократить некоторые классические шатровские тексты, не удосужившись объяснить, зачем они это сделали.

Да ещё в самом начале восьмидесятых передал я в знаменитый «Континент» целый машинописный сборник Шатрова — отменные тексты, одно стихотворение лучше другого, — втайне надеясь, что Владимир Максимов и Наташа Горбаневская проникнутся поэзией Николая — и возьмут да издадут там, у себя, на свободном Западе, отдельную книжку: речь-то, по существу, шла о спасении отечественной поэзии.

Но из присланного лидерам свободомыслия сборника шатровских шедевров была выкроена, говорят, некая подборка с указанием, что об авторе стихов редакторам журнала ничего не известно, — подборка, которую я так и не видел.

А ведь хорошо помню, как перепечатывал я шатровские тексты: на самой тонкой бумаге, в две колонки, через самый маленький интервал, густо, подряд, на обеих сторонах каждого листа, — чтобы машинопись места много не занимала, чтобы хоть ввосьмеро её сложить можно было, чтобы провезти её через границу легче было бы, — такая вот наивная конспирация.

И верил тоже, выходит, наивно, что там, в Париже, наши правдолюбцы и герои, с трепетом

прочитав эти измятые, надорванные, но верными людьми доставленные-таки по назначению листки, возликуют: жива ещё русская поэзия! — и немедленно позаботятся об издании текстов, — и когда-нибудь, даст Бог, увижу я не только обширные публикации в зарубежных периодических изданиях, но и на плотной заграничной бумаге напечатанную, любовно оформленную, хорошим предисловием сопровождённую — книгу Шатрова.

Нет, и там не поняли! И там, наверное, были «другие интересы».

Знать, не судьба была выйти шатровской книге в те годы на Западе.

Не листали эту книгу нашедшие себе там приют наши правозащитники, не проливались на эти страницы скупые слёзы старых эмигрантов, не твердили шатровские строки наизусть незаметно подросшие на чужбине дети покинувших родину, ранее жадных до чтения московских и питерских интеллигентов, этих кухонных фрондёров и спорщиков.

А ведь смотрите — вот хотя бы стихотворение пятьдесят девятого года:

«Дух отлетел от песнопенья, и стих предстал набором слов. Фальшивое сердцебиенье не кружит срубленных голов. Гильотинированы звуки, их интонация мертва. И в деревянном перестуке — глухие рифмы, как дрова. Кто из кремня добудет искру? Разорванную свяжет нить? Опустится на землю к риску глаголом трупы оживить? Какой Христос, какой Мессия, отринув страх, покроет стыд? Развяжет твой язык, Россия, казнённых позвонки срастит?!»

Или это, написанное в пятьдесят четвёртом году, стихотворение:

«Проходит жизнь — и ни просвета, ни проблеска в моей судьбе. О, что мне делать? Посоветуй — я верю только лишь тебе… Зачем ты отпустила душу на странствия в чужом краю, где море затопило сушу, как горе — Родину мою?..»

Кто из русских поэтов в глухие сороковые и пятидесятые годы писал стихи такого уровня? А у Шатрова их — множество.

Почему же тексты Шатрова не нашли пристанища на страницах зарубежных и отечественных изданий, где, казалось бы, им-то сам Бог быть велел? Нет ответа на вопрос. Пусть лучше грустная ирония поэта замаскирует боль:

«Переименуйте «Правду» в «Истину» — будет та же самая газета. Мы живём в стране такой таинственной, что не рассказать и по секрету. Тут поэты пишут заявления, а прозаики строчат доносы… И одни непризнанные гении задают дурацкие вопросы».

Вот уже несколько лет я довольно редко бываю в Москве. Живу в стороне от хаоса и бреда, не желаю в нём участвовать. Стихи Шатрова — всегда со мной: и в памяти, и в машинописи.

В кои-то веки недавно отправился я в московские редакции. Сами кое-откуда звонили, жаловались на нехватку хороших материалов. Снова рассказывал о Шатрове — редакторы делали большие глаза. Впервые слышат. Или краем уха что-то слышали, в лучшем случае. Пришлось объяснять чуть ли не на пальцах…

Да, особенные, ни на что не похожие нынче времена! Не застой. И не безвременье. Нынче — междувременье. Ни то ни сё.

Самое употребительное выражение сейчас в России — «*как бы*».

На стыке двух эпох, двух столетий — *как бы время*.

Как бы человеческие отношения. Как бы свобода. Как бы интерес к своей литературе. Как бы журналы, как бы издательства, в которых как бы знают своих лучших поэтов и как бы хотят их публиковать.

Как совершенно точно сформулировал в одной своей статье Александр Величанский, настали циничные и меркантильные времена «воинствующей недопоэзии», «когда новое сознание развивается за счёт чужих достижений и ошибок, удостоившихся, кстати, лишь высокомерной неблагодарности от новых работных людей поэтической славы».

Об этих «работных людях», три четверти коих — натуральные нелюди, сказать можно только по-одесски: «как вспомню, так вздрогну». Два-три раза случайно увидев их, я действительно без содрогания о них говорить не могу. Кучкующаяся и тусующаяся литературная шваль, хорошо соображающая, что в стаде им находиться проще и надёжнее, чем существовать поодиночке, шестёрки, которых мы, старая гвардия, раньше, что называется, в упор не видели, — законодатели веяний и мод, желанные гости везде и всюду. Включишь телевизор — знакомая хитрая физиономия. Откроешь журнал — опять та же гоп-компания. Паразитирующие на живом древе отечественной литературы, эти вампиры мелкого пошиба, монстры и недоучки ещё и плодят себе подобных, ещё и сбивают с толку зелёную молодёжь, которая это их чтиво принимает за чистую монету! Об одном из таких ныне преуспевающих тусовщиков-уродцев покойный Величанский как-то с тихой яростью сказал:

— Как увидишь, так только одного хочется — в морду дать!

Да, каждому времени — свои песни. Бесы разгулялись вовсю. Зачем им Шатров? Зачем им Губанов? Зачем им Величанский? Это — здоровое, подлинное. Ну, разве заглянуть в тексты, подпитаться живой кровью. И забыть — до следующего раза, когда потребуется подпитка. Сделать вид, что нет таких поэтов. Иначе ведь наконец поймут, кто они сами, из какого теста. Но некогда об этом думать, пора на шабаш. Вот и кривляется «густопсовая сволочь», по выражению Мандельштама, «пишет и пишет». Надо быть на виду. Чтобы говорили. Неважно, что именно. Важно, чтобы говорили.

Как-то в ПЕН-клубе вполне серьёзные люди, давние мои знакомые, все в годах, седые, вдруг начали меня учить жить, объяснять, что жизнь нынче сложна, и постоянно напоминать о себе, появляться на людях, тусоваться — просто необходимо, иначе забудут или, в лучшем случае, будут блаженным считать.

— Вот и хорошо,— сказал я моим доброжелателям,— пусть меня считают блаженным. Тусоваться мне просто некогда, и охоты нет никакой. Я работаю.

Полагаю, что Шатров, будь он жив, ответил бы так же. И Губанов. И Величанский. Только эти двое — ещё и порезче!

Воровское, халявное, рваческое время! Молодой стихотворец, накропав два десятка стишков, уже требует к себе внимания, методично обходит редакции и добивается-таки публикации. Нам, старикам, ещё четверть века назад написавшим уже сотни стихотворений, такое и в голову бы не пришло. Своя у нас была этика. Дурным тоном считалось это хождение по редакциям. Что там можно было услышать? То же самое: не подходит. Куда плодотворнее было — собираться вместе, читать друг другу стихи, дарить машинописные наши сборники, беседовать,— ведь и это наше общение было частью творческого горения.

Не случайно Шатров сказал:

«Кто сидел, кто лежал на диване, кто работал в цеху… Я — горел! Это тоже призванье: пригвождённый к стиху».

Но это — в прошлом.

Не воспринята, видать, нынешними «работными людьми» славная наша традиция. Этимология слова «успех» — от суетной мыслишки: успеть. «Засветиться» где-то, помаячить, отметиться. Творчество? Но на это надо золотое время тратить. Плевать на труды! Пусть у тебя хоть на книжонку текстов наберётся — тебя та же «кодла» вытащит и издаст. Установка, что ли, из преисподней дана, чтобы не поэзия была, а так, незнамо что, «попса» какая- то? Вот уж, прости Господи, времечко!

И в это безликое и разнузданное «как бы» спокойно, без всякого шума, без общенародного ликования, без восторгов столичных умников-критиков,— словно она и есть, и как бы её и нет для занимающейся в основном проблемами выживания, деградирующей псевдолитературной шатии-братии! — с достоинством приходит содержащая двести шестьдесят шесть произведений книга Николая Шатрова.

Очертания неизданных произведений угадываются за каждой белой страницей книги, как за тонкой стенкой. Так и слышится то музыкальный нестройный их гул, словно большой оркестр неподалёку настраивает инструменты, то более слаженное звучание, то обрывки отдельных фраз. Они будто огорчены тем, что не оказались там, под обложкой, рядом с уже напечатанными стихами.

Происходит это потому, что составителями книги, при всей их любви к поэзии Шатрова, нередко выхвачены отдельные вещи из групп стихотворений, из циклов, из стихотворных сюит, которыми мыслил поэт,— и оставшиеся за пределами издания вещи требуют внимания к себе, хотят восстановить связи, встать на свои места.

Опять непредсказуемость. Уж такое, казалось бы, бережное отношение людей, осуществивших издание,— Феликса Гонеонского и Яна Пробштейна — к каждой строке, каждому слову. Такое искреннее желание обнародовать любимые, годами хранимые в домашних собраниях тексты Шатрова.

Да и тексты-то ведь — очень высокого уровня, просто великолепные. Но между ними — точно зияния. Острая нехватка недостающих звеньев чувствуется — мною, например, хотя составителей я совершенно не корю — они сделали всё, что могли. Поместить туда, в эти пустоты, нужные вещи — и всё задышит, станет органичным.

Всегда надо понимать — *как мыслит поэт.*

При всей очевидной законченности, организованности каждого отдельного стихотворения Шатров всё же мыслил свободнее, шире, мыслил именно группами стихов, цикличность в его творчестве несомненна. И подлинные книги его — это его творческие периоды.

Писал Шатров «запоем», на одном дыхании, когда на него «находило» (здесь уместно будет вспомнить Чарского из пушкинских «Египетских ночей» с его определением своего творческого состояния), писал много, и стихи шли подряд, одна вещь за другой. Достаточно посмотреть даты под стихами в шатровских рукописях. Достаточно понять, как шла мысль, как развивалось это лирическое, плещущее движение. Сами стихи вели поэта. До такого состояния — шёл период накопления. Когда «прорывало» — начинались стихи.

Вот обращение к Музе:

«Он горек, как вода морская, твой неприкаянный покой. Ведь, ни на миг не умолкая, ты лиру трогаешь рукой. Я слушаю неясный шорох рифм, прилетающих на зов, и ты присутствуешь при спорах подсказанных тобою слов. Но вот спешишь ты удалиться, владычица судьбы моей, забыть скучающие лица непонимающих людей. И без малейшего нажима, очищены от шелухи, легко, почти непостижимо в душе рождаются стихи».

Важно для правильного понимания шатровского творческого процесса и такое стихотворение:

«Не пиши чересчур образцово, стихотворец, себе на уме, добивается смысла от слова в тесной клетке строфы, как в тюрьме. Он не ждёт вдохновенья, он — мастер. Но поэт, блудный сын Божества, только ты знаешь высшее счастье — выпускать на свободу слова!»

И ещё:

«Но надо в духе осознать присягу царственного слова, тогда ты — подлинная знать и можешь не рождаться снова. Когда ты истинный поэт, тебе до истины нет дела! Ты пишешь потому, что свет твоё переполняет тело!..»

Из отдельных лирических стихотворений, как из кусочков смальты, создавалась мозаика, некая целостная картина.

Из соединения отдельных периодов, от самого раннего до позднейшего, возникало впечатление чего-то монументального, цельного, неразрывного, существующего в диапазоне от конкретных реалий повседневности до сложных метафизических исканий.

Своеобразные «сцены жития» с тщательной прорисовкой деталей — вовсе не жанровые картинки,

их задача иная, это тоже частицы единого целого, так сказать, впрямую говорящие о земном.

Созданное поэтом здание имеет не только зрительные очертания. Оно буквально пронизано, переполнено музыкой. Говоря упрощённо, каждая «архитектурная» или «живописная» деталь строения — подкрепляется и усиливается фонетически мощным, многоголосым, симфоническим звучанием стихов. Зрительный ряд здесь на равных с музыкальным. Отсюда — уравновешенность, гармония стихов. Нет украшательства. Сдержанность, за которой — буря. Собранность, сфокусированность мыслей и чувств. Нет никакой раздражающей дробности. Обобщение доведено до совершенства. И столько света!

В каждой отдельно взятой вещи — своё «золотое сечение», своя ювелирная работа, найденность, выдышанность, выстраданность. Мастерство такого уровня, что совершенно не замечаешь, как, какими средствами это сделано. Не сделано, а записано. И даже не записано — для объяснения такого творческого процесса и слов-то не подберёшь. Да и зачем объяснять?

Опять напрашиваются аналогии с чудом. Поэт — творец — вдохнул жизнь в стихотворение. И вот оно живёт уже само по себе. Оно по-своему совершенно. Оно — тоже часть бытия.

«Пиши, когда хочется… О, только тогда! Писательство — творчество: живая вода! Пиши от излишка, иначе — конвейер, машинная вышивка, узор по канве. Пиши тучей по небу в простор голубой… И лучше, чтоб кто-нибудь писал за тобой…»

Нет статичности. Нет этого лжеспасительного самоуспокоения, хозяйского довольства написанным. Нет этого любования строками, как при замедленной съёмке: вот смотри, я сделал, теперь и ты оцени, любуйся, сопереживай. Наоборот: увидел? понял ли? — и дальше, словно в полёт.

Написанное стихотворение сразу посылает световой луч следующему, подразумевающемуся стихотворению, вызывает его к жизни.

У Шатрова стихи перекликаются, общаются между собой. Знак превращается в звук. Звук оборачивается знаком. Своя здесь сигнальная система, свой телеграф, собственные средства сообщения. От вещи, написанной в конце сороковых, вдруг перебрасывается мостик в шестидесятые, стихотворение середины семидесятых — аукается с написанным в пятидесятые, и так далее.

Сгустки стихов напоминают кристаллические образования: может, и развиваются они по законам минералов? Нет, что-то иное. Пчелиные соты? Трудно сформулировать.

Мысль никогда не прямолинейна, нет этой дурацкой логики, с шорами, — логическое будто врастает в образное, а там уже сгущается обобщение, и рукой подать до ирреального.

Причём оперирует Шатров всеми составными своей поэтики, своего мышления, своего образного видения — совершенно свободно.

Его видение — видение. То, что собирает воедино всё разом. Даёт образ времени.

Его слышание — улавливание музыки времени, и внешней, и подспудной, тайной, со всеми полутонами, в любом регистре.

Структуры, называемые нами шатровскими циклами, книгами, периодами, очень сложны — своей внутренней насыщенностью, даже затаённостью её до нужной поры, потому что и при многократном чтении что-нибудь да недоглядишь, не совсем так, как того хотел поэт, воспримешь.

Строка — разворачивает веер смыслов. Строфа — протягивает нити на все четыре стороны света, крестообразно. Стихотворение, перешагивая время, отведённое для его осмысления, одной ногой стоит в минувшем, где оно создано и откуда проще оглянуться назад, к истокам, а другой ногой уже встаёт на почву будущего.

На всём творческом пути Шатрова стоят эти вехи, маяки, опознавательные знаки — характерные приметы его рабочих десятилетий: сороковых, пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годов.

За каждой такой приметой — россыпи, созвездия стихов. Именно — мир. Под российскими небесами.

И уже некогда думать, гадать, чем же питается эта живая поэтическая материя, куда же направлена корневая её система — вглубь, в почву, поскольку так доступнее для восприятия, или же вверх, в небо, как это бывает в древних арийских изображениях.

Во всём — движение, устремлённость вперёд, преодоление земного времени и земного притяжения, выход во Вселенную, в неведомые измерения, в параллельные миры, привычное (как дома!) пребывание в историческом и географическом пространствах, этот отважный прорыв в будущее, эта сжатость и афористичность изречения, как на скрижалях, и вдруг — редкая раскрепощённость, абсолютная свобода с абсолютной точностью найденного слова, эта долговечность написанного, — все, совершенно все, большие и малые, звенья общей цепи, все составляющие этой небывалой музыки, всё информационное поле шатровской речи, шатровской мысли, шатровской высокой поэзии, — всё это самым естественным образом входит в понятие *явления*, всё говорит о том, что создавался Шатровым на протяжении всей его жизни, в сущности, собственный своеобразный эпос.

Вообще творчеству некоторых современных русских поэтов, представителей бывшей неофициальной нашей литературы, написавших много, присуще это эпическое звучание, это закономерное нахождение всех написанных ими вещей внутри одного круга, одного единого целого. Что наводит на мысль о том, что четверо поэтов (в этом ряду, помимо Шатрова, из покойных поэтов я назвал бы Величанского и Губанова, а из живущих — только себя) являются не только лириками, но и эпиками, и современный эпос частично уже написан, но не одним человеком, а несколькими людьми, а частично ещё создаётся.

И форма его ныне иная, чем прежде: это не «Илиада», например (то есть большое повествование с сюжетом и героями), не «Фауст» (который,

кстати, уже тяготеет к новому эпосу—и тоже может рассматриваться не как пространное эпическое повествование, написанное одним размером, но как собрание отдельных стихотворений-звеньев, отрывков, различных «малых форм», сплавленных в одно целое).

Этот новый современный, совсем особенный, да ещё и русский, эпос—именно собрание всех написанных поэтом вещей, объединение их в одно целое; а ещё надо сказать, что современный эпос, как это странно, даже дико ни звучит,—плод труда не только каждого отдельного поэта, но и плод коллективного труда этих авторов.

Никакой это не коммунистический коллективизм. Каждый автор оригинален, неповторим, каждый сам по себе существует. Но есть и связь: само время, перекличка судеб. То, чего нет у одного, имеется у другого.

Если вообразить, что в середине огромного круга—Бог, от которого протянуты лучи-линии к каждому из поэтов, то видишь, что каждый из поэтов имеет свой, так сказать, сектор внутри круга—больше он по размерам или меньше, сейчас неважно.

Важно, что секторы эти—рядом, и сходятся все они к одной точке в середине круга.

Так что главный автор современного эпоса—Бог.

Почему я называю нас четверых эпическими—или, пусть так, лироэпическими поэтами? Да потому что такие уж времена мы переживали и переживаем на Руси, господа! Каждому времени—свои песни.

Родоначальниками жанра, первопроходцами на пути к новой форме самовыражения, синтетической и более эпической, нежели просто лирической, можно считать Хлебникова и Цветаеву. Полагаю, сюда же следовало бы отнести и Введенского—если бы его произведения сохранились в том большом объёме, который существовал. Есть сейчас, разумеется, и просто лирики среди людей, пишущих стихи. Но не о них речь. Речь о трансформации, о перетекании лирической формы в эпическую. Речь о большем, чем лирика.

А большому кораблю, как известно,—большое плаванье. Тем более такому титану, как Шатров.

На фоне его поэзии почти все нынешние стихотворцы, почему-то именующие себя «поэтами», просто не видны. Понятно, что такую глыбу им, беднягам, лучше не замечать или обходить стороной: раздавит.

Существование Шатрова—космического порядка. И осозна́ют это в не столь уж отдалённом будущем другие поколения российских людей.

В искусстве двадцатого века многое выглядит не так, как в искусстве предыдущих веков. Если взять западную поэзию, то свой лирический эпос создали в ней Аполлинер и Рильке. В живописи эпически мыслили и Пикассо, и Филонов. В русской музыке—Шостакович и Шнитке.

А создаёт этот новый эпос—лирическое горение. Искусства перекликаются, взаимно обогащая друг друга.

Какой была бы русская поэзия второй половины двадцатого века без тесной связи с живописью этого же периода? Я, разумеется, почти не беру в расчёт живопись официальную, говоря только о той, настоящей, что, будучи ещё недавно неофициальной, подпольной, вышла к людям, дала свой образ времени. Если я, например, дружил с некоторыми крупными нашими художниками, то в моём случае взаимодействие, взаимопроникновение живописи и поэзии было закономерным, оправданным.

Что уж говорить о музыке, которая ещё ближе к поэзии!

В случае с Шатровым это, разумеется, тоже было: и живопись, и музыка. Достаточно вспомнить его дружбу с Софроницким, его хорошее знакомство с лучшими коллекциями отечественного авангарда.

Рассуждая об особенностях российского искусства, обязательно надо учитывать и небывалый религиозный подъём, начавшийся в шестидесятых, усилившийся в семидесятых годах и продолжающийся поныне.

Шатров—человек своего времени. Всё сказанное выше не прошло мимо него. Несмотря на то что существовал он несколько в стороне, он многое и многих знал, был непосредственным участником общего процесса обновления поэзии, обновления всех искусств, общего духовного роста.

Будучи прирождённым лириком, он мыслил, тем не менее, эпически—намного шире и глубже, нежели это полагается для лирика традиционного, грубо говоря.

Ибо те волны, которые улавливал поэт, несли ему информацию богатую, самую разнообразную, всё это переосмысливалось и находило воплощение в слове, и просто нескольких строк лирического стихотворения—было мало; и звучание мира, приходящее извне, и внутреннее звучание речи—были шире, требовали соединения отдельных клеточек в единый организм,—отсюда и тяготение к собственной большой форме, цикличность, закономерное существование произведений внутри каждого отдельно взятого периода и существование всех творческих периодов как единого целого.

Поэтому единственное ныне и тем уже ценное отдельное издание стихов Шатрова следует, положа руку на сердце, назвать скорее сборником, нежели книгой. Конечно, книга—это звучит приятнее, весомее. А сборник—это будто бы сборник непростых задач по Шатрову. К людям, издавшим Шатрова, я испытываю только благодарность. И всё-таки…

Быть может, вообще всё хорошее, что создано было в недавнюю ушедшую эпоху—в поэзии, в прозе, в живописи, в музыке,—не укладывающийся ни в какие рамки единый русский могучий эпос, и поэзия Шатрова в нём—звено целого, эпос в эпосе. Быть может…

Но стихи Шатрова могут и должны звучать сами по себе, они заждались, голос поэта должен быть наконец услышан,—и где, как не на его родине?

Что-то словно мешает этому. Пока мешает.

Чтобы по-настоящему услышать шатровские стихи, надо иметь ухо на стихи. Тот слух, который дан далеко не всем.

Возможно, поэзия Шатрова ещё ждёт формирования такого читательского слуха.

Шатров умел ждать при жизни — и к нему сами приходили те, кому его стихи были необходимы. Умеют, судя по всему, ждать и его стихи.

К его звуку — ещё отыщется ключ.

А всё оттого, что сама судьба поэта — поневоле приходится это подчёркивать — в высшей степени иррациональна.

В ней иррациональность не элемент, не частица чего-то зазеркального, случайно залетевшего в действительность, привносящая в тексты некий отсвет мистического, необъяснимого, но непреложное условие существования, та живая кровь или живая вода, которая питает поэзию Шатрова — и в конечном итоге обеспечивает ей долгое, космическое бытие, ту жизнь, что отзывается вечностью.

«И какие могут быть преграды для людей, живущих под судьбой? Для чего-то, значит, Богу надо, чтобы мы увиделись с тобой».

Для меня нет сомнений в том, что Николай Шатров — великий поэт. Русский поэт, он и мыслит по-русски. А русское мышление иррационально.

Настоящая русская поэзия — синтез, сплав, соединение двух пластов, двух начал: древнейшей, многотысячелетней ведической традиции и многовековой, но относительно недавней традиции христианской, православной. На этом стыке — высекается огонь, обретается дыхание, возникает поэзия.

Каждая строка Шатрова, при всей православной светоносности его стихов, при всей правильности избранного пути, при всём смирении, подвижническом укрощении хлещущих через край чувств, — наполнена ещё более древним светом, так и отдаёт ведической стариной, за которой встаёт история народа, с его мироощущением, с его уникальными знаниями о человеке и мироздании, возвращающимися к нам, в силу сложных обстоятельств, и открывающимися нам заново только сейчас.

Такое может быть продиктовано только кровью — и той прапамятью, той наработанной тысячелетиями памятью, там, на генном уровне, в подсознании, той информацией, которая заложена в человеке предыдущими поколениями.

А Шатров происходил, как известно, из очень древнего русского рода. Одним из его предков был Иван Калита.

Вот откуда — из нашей общерусской древности — берёт исток шатровская иррациональность — везде и во всём, на высоких тонах.

И это не просто красивые туманные слова, а давнее убеждение. Что и подтверждается при внимательном чтении русских поэтических текстов — от уцелевших ведических повествований, от «Слова о полку…», от Державина и Тютчева — до Шатрова и некоторых других, считанных, современных авторов.

И если Бродский, поэт настоящий, но совершенно противоположный, полярный Шатрову, назвал свой двухтомник «Форма времени» — то есть здесь уже подразумевается некая протяжённость земного существования, очерченные границы земного жизненного срока и поэтому неминуемый, пристрастный, неукротимый интерес к его подробностям, всевозможным деталям и штрихам, их столкновениям, сочетаниям и даже классификации, расположению в рамках, обусловленных этой «формой», то Шатров, тоже настоящий поэт, переосмысливая и сгущая эти подробности жизни, всегда тяготел к обобщению, к точно найденному выражению того или иного отрезка времени, к формуле (так, при всей расплёснутости фонетики, бывало у Цветаевой: не стихотворение, а прямо таблетка какая-то, до того всё собрано, сконцентрировано, сгущено!), и его собрание, наверное, можно было бы назвать — «Формула времени».

Всегда важно, как, в каком качестве, в какой роли присутствует поэт в мире — и при жизни, и после смерти, — ведь стихи-то подлинные живут долго! — и не миссия поэта сейчас является предметом разговора, а его роль: собирателя ли и комментатора бытийных подробностей, то есть форм, или же человека, сумевшего создать в своём творчестве из этих подробностей, деталей, штрихов, наблюдений — синтез, сплав, то целебное и животворное питьё поэзии, которое создано — для жизни, для продолжения жизни, тот эликсир, после принятия которого — хочется жить.

Трагическое переплавляется и обращается в радость. А это великая сила. Слово несёт свет. Свет побеждает тьму. Возникает ощущение жизненного подвига.

В этом смысле Величанский и Губанов, такие разные, но тоже настоящие поэты, трагические, своеобразнейшие, написавшие каждый своё большое собрание стихов — и пока что, как и Шатров, не прочитанные, а многими даже и не раскрытые! — во многом сближаются с Шатровым: улавливают те же токи, трогают те же струны, слышат те же звуки, только трансформируют их каждый по-своему.

Шатров не просто жил, как все люди, — ел, пил, спал, чем-то интересовался, что-то любил или не любил и тому подобное, Шатров — был избран. И он это хорошо знал. Шатров — ведал.

Не случайно и в «Ригведе», и в «Авесте» такое внимание уделяется месту поэта в обществе, не случайно поэтическое искусство оценивается как движущая сила, поддерживающая и укрепляющая космический миропорядок. Ведь поэт провозглашает истину. Поэт — это провидец.

Трудно в наше время знать, кто ты, — и жить среди людей. Шатров предпочитал не выделяться, сознательно жил в стороне от человеческого хаоса. Хотя — куда было уйти от действительности? Отсюда в его стихах — столько различных напластований, столько параллельных тем, столько вещей второго — для него, разумеется! — и третьего плана, лишь пройдя сквозь которые, лишь написав их, как бы зафиксировав человеческое своё существование на земле, воочию увидев мирское, нередко с его не лучшими чертами и приметами, он снова поднимался на свою высоту, писал свои «формулы времени», свои шедевры.

«Я не стихотворец. Я поэт. Сочинил и вслух произношу. И меня в живых сегодня нет, хоть

как будто бы хожу, дышу… На земле у всех людей дела, у поэта—праздник целый век. Жизнь моя напрасно не прошла, потому что я—не человек».

Чего более всего хотел Шатров?

«Не ходить, а ступать… Не дышать, а вдыхать силы духа. Струи ливней встречая, как вольные струны стихий! Не глядеть—прозревать! Наклоняя внимательней ухо только к шёпоту грома, когда он читает стихи. Говорить, как молчать. Улыбаться, как будто бы плакать. И чем крест тяжелей, тем под ним становиться прямей! Но, пока не пробили гвоздями ступней твоих мякоть, не ходить, а ступать… И упасть на земле не сумей!»

И вновь об этом же:

«Никто не ждёт меня нигде: ни в чёрном небе, ни в воде, а на земле уж и подавно… И только эта тишина со мной в постели, как жена, как я в себе самодержавно. Не смеет даже и слеза ко мне явиться на глаза… Всё сухо! Воспалённо сухо! И что ни пробовал я пить, ничто не может утолить неутолимой жажды духа».

По существу, вся поэзия Шатрова—единая песнь о становлении духа. У отдельного человека и у народа. В нашей стране. В наше, казалось бы, только и норовящее помешать этому процессу время.

Земная, бытовая грязь как-то не прилипала к Шатрову. Бывали всякие, порой драматические ситуации. Он отстранялся от суеты, не давал себя втянуть в воронку унылой повседневности. А жизнь трясла и испытывала его жестоко.

Он устало признавался: «Всё-таки к земле привык не очень я за эти сорок с лишним лет…» Отстраняясь от однообразия будничных дней, он вовсе не отбрыкивался руками и ногами, не впадал в истерику. В его поведении, в его позиции, без всякой позы, наряду с окрылённостью, была удивительная трезвость. Он осмысливал каждый миг бытия, каждый отрезок времени. Он принимал своё время таким как есть, со всеми недостатками его и достоинствами.

«Принимай каждый час как дарованный свыше, как подарок Христа! И (о чудо!) ты больше уже не напишешь, что душа твоя скорбно пуста. Успокоен вполне, помолиться попробуй, всем сомненьям назло! Ты силён! Поднимись над страстями и злобой. Это просто… Но так тяжело».

Это и дало ему право за год до смерти сказать:

«Всё-таки к земле привык не очень я за эти сорок с лишним лет, но сказать про то уполномочен более прозаик, чем поэт. Трезво регистрирующий факты, он их топит в колдовском вине, на ногах удерживаясь как-то лишь из уважения ко мне. Я—другой, который настоящий, не слежу за стрелками часов и внутри себя всё чаще, чаще, словно с неба, слышу чей-то зов: „Сын мой, ты промаялся довольно! Время собираться в новый путь. Колокол разрушил колокольню, ну а сердце износило грудь… Ты восходишь к незнакомым звёздам, к музыке невиданных светил… Мир земли, что был тобою создан, сущности твоей не захватил!“»

Вспоминается автоэпитафия великого философа и поэта Григория Сковороды: «Мир ловил меня, но не поймал».

Выдержка, терпение и умение ждать—вот что было крайне важным в характере и в жизненной позиции Шатрова.

«Когда я утомлюсь движеньем и покоем, круговоротом снов, мельканьем лиц и дат, когда мои стихи (до смерти далеко им) в последний раз меня звучаньем усладят, тогда, на берегу неотвратимой Леты, луч славы озарит безрадостную тьму, тогда лишь свой венок Великого Поэта из рук печальных муз я с горечью приму».

Написано и осознано это ещё в пятьдесят втором году. И уже тогда корпус шатровских стихов был велик.

Вот что было для Шатрова в пятидесятых очевидностью (так и названо стихотворение):

«Наискось, слышишь, наискось волны бьют. На искус, духи на искус нас берут. Вовремя надо, вовремя уходить. С формами, ада формами не блудить!»

Да, у ада тоже есть свои формы. И надо вовремя уходить… Шатров свою смерть чувствовал, предвидел. Он к ней готовился. В последние годы очень много писал. Привёл в порядок свои тексты. Он говорил, что скоро уйдёт.

«Наискось от стены кружево хризантем… Дни мои сочтены, только не знаю кем. Ты принесла мне жизнь! Лучшего не искал. Профиль безукоризнен… Страшен зубов оскал. Душно от штукатурок… Так-то на свете, брат. Хочется в Петербург, можется в Ленинград. Хватит об этом, но… Милая, не кури! В общем-то всё равно перед лицом зари. Движется тень ко мне, множатся голоса… Наискось по стене алая полоса».

Он вдруг как-то разом точно устал от жизни—рассказывала потом вдова поэта, Маргарита Димзе.

Очень схожее состояние было в тридцать втором году и у Максимилиана Волошина, как рассказывала его вдова, Мария Степановна, когда-то в Коктебеле нам, её ещё молодым слушателям.

Шатров был внутренне спокоен. Но чего стоило это спокойствие?

«Райская песнь, адская плесень, сердца биенье… Юность—болезнь, старость—болезнь, смерть—исцеленье! Скоро умру… Не ко двору веку пришёлся. Жить на юру… Святость в миру. Жребий тяжёл сей!.. Что же грехи? Были тихи речи и встречи… Били стихи… Ветер стихий! Ангел—предтеча… Как тебя звать? И отпевать ночь приглашаю. Не на кровать—в зеркала гладь! Только душа я! Опыт полезен. Случай небесен… Все на колени! Детство—болезнь. Взрослость—болезнь. Смерть—исцеленье».

И какая музыка возникала из этого состояния!

«Ударит ласточка в стекло, влететь не сможет… И наше время истекло: век жизни прожит. Я воплотился! Для чего? Для встречи чуда!.. И ухожу, как Божество, туда—отсюда… Не плачь над прахом дорогим, довольно страха! Твоя любовь нужна другим. Ударь с размаха! Осколки брызнут в пустоту небесных комнат, где я стихи свои прочту,—тебя запомнят… О, не жалей пролитых слёз, всё не напрасно! От гиацинтов до берёз земля прекрасна! И даже эти кирпичи пустого склепа преображаются в лучи!.. Но люди слепы… Прозрей,

любимая, прозрей! Теряя силы, беги за мной ещё скорей, чтоб воспарила…»

Почему не услышали голос Шатрова при его жизни? Каково было ему постоянно ощущать на себе груз стольких написанных, но не изданных стихотворений?

С горечью он говорил:

«Я тот поэт, которого не слышат, я тот поэт, который только пишет, который сам себе стихи читает, которого поэтом не считают. И, земнородный, я впитаюсь в землю, суду глухому мёртвым ухом внемля: напрасно исходил по капле кровью иль безответной счастлив был любовью».

Такие состояния сменялись трезвым видением грядущего:

«Я не хочу лишь чудом случая раскрыться для мильонов глаз. Стихи — природное горючее, как антрацит, как нефть, как газ. Наступят сумерки печальные… (Они уж, кажется, пришли…) И будет чудо неслучайное: я вспыхну к вам из-под земли».

Эти сумерки столетия действительно пришли. Посмотришь назад, поднимешь глаза вверх — и словно видишь тот, неземной, двадцать лет назад начавшийся путь поэта:

«День июльский остывает. К вечеру ветерок свежей. В выси, даже сталью чуть отсвечивая, якорьки стрижей. Отчего-то нервы так натянуты, как лучи… Боль немой любви на фортепьяно ты залечи. Странно… Ничего не надо вроде бы от людей вообще. Власяницу из стихов, юродивый, всё ношу вотще… Остывает кровь вослед за воздухом, Боже мой, по небу — что посуху, без посоха… Путь домой».

Моё обильное цитирование — необходимость. Если на то пошло, то стихи Шатрова — сплошная цитата. Открой самиздатовскую перепечатку — или, сейчас, к ней в придачу, вышедшую книгу, — и всегда найдёшь что-то важное для себя.

Он сказал как-то:

«Орфей наоборот — Эфрон. Цветаева… Твои стихи со всех сторон читаемы».

Так же «со всех сторон читаемы» и стихи самого Шатрова. Послушаем поэта ещё раз:

«О, да воскреснет всех усопших прах! Пусть смерть с косой сидит на черепах их. Не шар Земля: она — на трёх китах придуманная Богом черепаха. Кит первый — Верность. Мужество — второй. А третий — бесконечная Надежда! Сто тысяч раз глаза мои закрой — сто тысяч раз любовь откроет вежды!»

Итак — устои: верность, мужество, надежда. И, конечно же, любовь — движущая сила бытия.

Говорить о Шатрове можно долго — и должно о нём говорить. Но вначале надо издать его стихи. Надо прийти к нему.

«Приди ещё! И я скажу… Нет, не скажу — взлечу словами к небес седьмому этажу и упаду оттуда в пламя! А ты, бесхитростней земли, бессмертья лучшая дорога, — ты посмотри: меня сожгли! Приди и пепел мой потрогай…»

Где-то совсем рядом:

«Свою невиданную лиру невидимый таит поэт».

Тот невидимка в своём волшебном доме, о котором говорилось выше.

Тот, кто сказал:

«Верю в Бога, потому что верю. Потому что жизнь иначе — смерть!»

Кто сказал:

«Живи во власти святого долга».

Кто сказал:

«Будь вечно проводник Господней светлой силы…»

Что же вы, живущие, вы, россияне, как принято сейчас выражаться, не откроете своего поэта?

Вышедшая в нью-йоркском издательстве «Аркада — Arch» в 1995 году большая книга Николая Шатрова, названная просто — «Стихи» — упрёк вам и призыв к вам.

Составителям и издателям книги — давнему другу Шатрова Феликсу Гонеонскому и поэту Яну Пробштейну — искренняя благодарность.

От всех россиян, для которых Шатров — их поэт.

За их верность. За их мужество. За их надежду. За их любовь.

А для вас, россияне, — автоэпитафия поэта:

«Каждый человек подобен чуду. Только гений — тихая вода. И меня как смертного забудут, чтоб потом вдруг вспомнить навсегда».

Остаётся верить, что сбудется это пророчество Николая Шатрова.

Нина Шалыгина

Царский подарок

Глава из романа

«…Для нас началась совсем другая жизнь. Среди бойцов, принёсших Победу на своих плечах. Среди офицеров, которые всем видом хотели показать, что война не оставила на их сердцах своих суровых зарубок.

На вокзале нас встретил на легковушке весёлый белозубый боец в каким-то чудом сидевшей на его круглой голове пилотке.

Повернулся к нам и отрапортовал, как будто мы были военными чинами:

— Гвардии младший сержант Каримов Карим Каримович!

И засмеялся. Позднее я узнала, почему. Полагалось назвать только звание и фамилию. При его словах папа подмигнул мне.

С высоты своего современного возраста я понимаю, какие отношения сложились между этими людьми. Как они любили и как берегли друг друга. А ещё всем известно, что ничто так не сближает людей, как война.

Мы проезжали по узким улочкам прекрасного Львова, выложенным выпуклыми плитками. По городу с аккуратно подстриженными деревьями, умытому и ухоженному.

А ещё совсем недавно я видела обезглавленный Киев, разбомблённый в щебень Харьков. На всём нашем пути почти сплошняком, вдоль всего полотна железной дороги, лежали остовы обгоревших вагонов, вместо постоянных мостов — поверженные быки прежних строений.

На мой вопрос отец сказал, что Львов брали голыми руками советских солдат. Я представляла, как наши солдаты кулаками выталкивали немцев из Львова. И так это у меня здорово получалось!

А оказалось, Сталин дал приказ сохранить древний русский город как архитектурный памятник. Поэтому не было обычной артподготовки, на львовские улицы въехало минимальное количество танков. А о том, какая здесь была бойня, я поняла много лет спустя, проходя по бесконечному солдатскому и не менее внушительному офицерскому кладбищам.

Добрались мы до расположения части под вечер. Она стояла в великолепном лесу, недалеко от станции Судовая Вишня. Вишню я там так и не увидела, а тем более не могла понять, почему Судовая, а не садовая. Ведь и судов там никаких не было! Ни судов, ни судей. Хотя судьи, как оказалось потом, были. Вернее, один судья. Ну, не судья, так следователь. И не следователь, а смершевец!

Но я опять отвлеклась. Папа провёл нас в палатку, укрывшуюся среди лип и дубов. Я была в восторге от нашего брезентового жилья. Тем более что там так вкусно пахло чем-то совершенно неизвестным!

А я какой голодной была всю войну, такой и осталась. Карим, оказывается, перед отъездом сварил солдатский котелок каши и в неё бухнул две банки свиной тушёнки! Сразу две! Понимаешь?

Котелок поставил под подушки. Наелась я тогда до отвала. Мама, правда, почти ничего не ела. Она же всю войну писала на фронт папе, что живём мы очень хорошо, ни в чём не нуждаемся. Очень хорошо жили!!!

Питались мы как все: в ход шло всё — от травы, вырвавшейся из-под снега, до «тошнотиков». Ну, это когда картошка перезимует под снегом, потом её, сморщенную и склизкую, отмоют в воде, выпустят из неё крахмал, добавят в эту вонючую взвесь чуток мучицы да на касторовом масле, а если и его нет, то на сухой сковородке изжарят эту «бечу».

Однажды в городской бане я увидела одну женщину, которая так намылилась, что вся голова у неё была в пене. Сказала маме:

— Вон там королевна моется!

Так хорошо мы с мамой жили! Иначе писать папе на фронт не могли. Я ходила в школу в платье из крашеной мешковины. Вечно голодная. Если мама давала мне кусочек сахара, я делила его на четыре части. Один кусочек рассасывала, а три других прятала на чёрный день.

Но другие жили много хуже нас. Ведь я у мамы была одна.

Свой аттестат по причине нашего «богачества» папа отсылал семье того офицера, чья жена написала в письме, что все голодны и босы-голы. Карим сказал, что погиб тот офицер под Варшавой.

Видно, всё думал о доме и несчастной семье. Посылки Карим за отца отсылал — и от его имени, и от имени уже погибших офицеров.

Нам с мамой ничего не присылали, так как жили мы, как читал папа в наших письмах, «припеваючи» и ни в чём не нуждались. Не нагибался мой отец за трофеями, сквозь всю войну прошёл без каких-либо серьёзных ранений.

А ещё скажу вам, что не знаю ни одного человека, кто бы обогатился за счёт трофеев. А вот пострадавших от них — пожалуйста! Например, полковник со странной фамилией Аб — командир полка, в котором мой отец служил в городе Ростове Великом, — почти семь лет спустя после окончания войны получил десять лет за фронтовое мародёрство. Есть всё-таки бог войны!

Пришли нам с мамой две посылки за всю войну. Послал их Карим. Что в них было? Неимоверных размеров пододеяльник с вышитыми белыми нитками монограммами в окружении герцогского герба. Туфли для мамы на сплошном каблуке. Сейчас такие в моде, а тогда мама отнесла их сапожнику, чтобы сострогал лишние части кожаных каблуков.

А ещё была шубейка, подсинённая такая. Дошка называется. Мягкая и пушистая.

Мама сказала:

— Вот до чего проклятые фрицы додумались — даже кроликов синькой красят!

А у меня в то время нечем тело было прикрыть. За лето так вымахала, что рукава пальто доходили только до локтя. (И почему я дальше так не росла, а осталась недоростком?)

Мама соорудила мне из этого голубого меха шубку. Удобная вещь получилась. А с горки на ней скользить — ну лучше, чем на санках! Правда, после такого катания шубка становилась лысоватой.

Потом от неё остались одни лоскуты. Из лоскутов львовский старорежимный дамский мастер Хацкин сделал воротники на два великолепных пальто для меня и мамы.

На пальто пошло зелёное сукно, срезанное запасливым Каримом с искорёженных взрывом бильярдных столов где-то под Бреслау. Пальто получились — шик да блеск! Теперь так не шьют! Уверяю вас!

Служили они нам долго. Очень шёл голубой цвет воротников к зелёному тону. Много лет спустя один биолог случайно увидел у нас клочок от воротника и совершенно достоверно заявил, что это — мех шиншиллы. Во как! И это всё присмотрел — весёлый белозубый боец Карим, который, наверное, подумал так: «Нельзя добру пропадать! Может, кому-нибудь пригодится!»

Его отличали хозяйственность и запасливость. Ординарцы других офицеров шли к нему и за нитками, и за иголками, и за прочим. И всё у него имелось.

А когда демобилизовался, позвал меня, открыл офицерскую сумку, всяким добром доверху заполненную, и сказал:

— Выбери себе часики. На память — меня вспоминать. А то твой отец — я хотел сказать, товарищ капитан, — ничего с войны не привёз. А ещё и меня школярил! Однажды мы с ним немецкую разбомблённую машину нашли, в какой ценности перевозят. Из неё деньги не наши, золото и женские всякие цацки с камнями вывалились прямо в грязь и кровь. Так он побежал в штаб, а мне на моё предложение положить маленько жёлтых кругляшков и камней в планшетку сказал, что застрелит мародёра на месте, — Карим помрачнел, крепко сжал кулаки. — У, шайтан! Это я-то мародёр? Да я до войны в обслуге самого Вячеслава Михайловича Молотова работал. Никакая крошка к рукам не пристала. Если только жена его, Жемчужная по фамилии, а сердцем — золотая, даст что-нибудь из остатков еды или одежонку какую для моих пятерых меньших братишек.

Ему давно надо было ехать домой, но он явно не хотел расставаться с нами. Уже другой боец сменил его, а Карим под видом, что обучает молодого, что и как делать, ещё дня два не брал свои документы, а мне многое удалось вытянуть за это время из него о военных дорогах отца.

— Гвардии капитан не препятствовал только против перин и тёплых одеял. В окопах под ними грелись, теперь вот и тебе тепло от них в палатке. Сегодня уже середина ноября, а вы в брезентовых стенах. Да ещё в каптёрке мне удалось выцыганить толстые ковры для утепления стен, потолка и пола. Как бы без них? А? Замёрзли бы до смерти. Вообще-то я к твоему отцу с полным моим уважением. Редкий человек. Вот полагалось каждому офицеру раз в месяц домой посылку слать, ну, не домой, так куда хочешь. Я говорю: «Товарищ капитан! Пора посылку отсылать». А он мне: «Ну, мои хорошо живут. Поспрашивай, у кого из семейных особенно туго, пусть от моей фамилии пошлют!» А я всё же без его ведома вам две посылки отправил.

Выговор у Карима был московский, красивый. Совсем не похоже, что он какой-то другой национальности. И дружелюбный ко всем, не обозлился за годы войны.

— Чем ещё папка твой мне дорог, так это тем, что солдата жалел, даже пленного. Другие, случалось,

мало жалели. А он однажды с новым комбатом, который совсем недолго у нас побыл — боя через три погиб, чуть ли не пострелялся из-за пленных. Новый приказал покосить добровольно сдавшихся в плен немцев. А замполит (это я о твоём отце) выхватил пистолет: «Застрелю на месте, если нарушишь закон не трогать пленных! Они сами сдались! Сами! Понимаешь?» Тогда я понял, почему капитан столько времени проходил в замах! В комбаты попадали люди твёрдые и чаще всего безжалостные. Но и то верно! Если на фронте все командиры будут так жалеть солдат, кто же в атаку пойдёт?

Много всего порассказывал Карим и раньше, когда отводил меня в школу и на обратном пути. Наверное, ему за всю войну не перед кем было выговориться.

Семья его жила в Москве. Совсем недалеко от военного городка Кантемировской дивизии под Наро-Фоминском. Карим был холост. Тётя и дядя, у кого он после ареста родителей жил в полуподвале в Староконюшенном переулке вместе со своими пятью братьями, всю войну оставались для них надёжной опорой.

Москва — под боком, но, наверное, не было у него там человека роднее того, с кем прошёл он по военным путям. Не ждала его любимая, через полгода замуж вышла за какого-то интенданта-тыловика. И на фронте не пришла к нему любовь.

И всё же наступил день, и он уехал в Москву.

Позднее многие из бойцов после демобилизации останавливались у него. Перед отъездом из части свой адрес он давал всем желающим, чем совсем не похож был на малогостеприимных москвичей.

Рассказывали, что первое время на гражданке Карим работал на стройке в Кривоколенном переулке. Жил туго, так как братишки всё ещё не выросли. Помогала ему та офицерская сумка, о которой я говорила. Никакое там не золото было, а обычные иголки. Да, иголки для швейных машинок, а ещё проволочки какие-то для примусов, которыми вся страна тогда пользовалась, они выше золота ценились.

Ходил он на базар и менял это бесценное добро на продукты. А когда самый маленький братишка заболел, старший брат покупал для него дорогие лекарства и сливочное масло.

С отъездом Карима я очень заскучала, слонялась по городку, подсаживалась на качели, пыталась завести дружбу с важными и надутыми до взрослости мальчишками — сынами полка. Но всё напрасно! Они играть со мной считали верхом несерьёзности.

Дома тоже нечего делать. Папа целыми днями на работе. Мама всё время вместе со швеями шьёт занавески для только что отремонтированных солдатских казарм. Или бегает на спевки хора и репетиции драмкружка. В школу и из школы сопровождает меня новый папин ординарец — молчаливый и угрюмый Иван.

Теперь я с большим удовольствием ходила в школу, где можно было согреться и побыть среди своих сверстников.

В городке одна за другой исчезали большие солдатские палатки — часть бойцов переселилась в кое-как восстановленные казармы. А мы всё мёрзли в своём брезентовом жилье. Мёрзли без Карима: новый ординарец и мама вместе с ним никак не могли приладиться топить буржуйку.

Играть мне, кроме Пальмы, было не с кем. Читать под шум движка при крохотной электрической лампочке, которая постоянно моргала, очень сложно.

И всё же именно тогда я так пристрастилась к чтению, что с книгой забиралась под одеяло и глотала страницу за страницей при свете карманного фонарика. Меня за этим делом засекали и наказывали. Я вредничала, капризничала. Всё от скуки!

Наконец стали появляться в нашей части дети школьного возраста. К фасонистому капитану Чебулаеву приехала настоящая семья — жена, старенькая бабушка и великовозрастный сын. Меня этот верзила не интересовал. Девятиклассник и задавала! По-прежнему в моей жизни не хватало дяди Алёши и Маши, Машеньки. А ещё моих сверстников.

А теперь самое главное! Ведь вы совсем ещё не знаете, кто такие дядя Алёша, Машенька и собака Пальма…»

— Пальма! Ты заменила мне в ту первую послевоенную осень в расположении воинской части и подруг, и игрушки, и моих настоящих взрослых друзей, с кем пришлось тогда так тягостно расстаться, — сказала кому-то вслух Антонина Александровна.

Кому? Она была одна. За окном падал рождественский снег. На улице тишина. Вероятно, после долгого праздничного застолья весь город ещё спал. В комнату заглядывало усталое зимнее солнце.

Невольно поёживаясь от невесть откуда взявшейся прохлады, Антонина весь одинокий вечер вспоминала своё детство и давнее, казалось бы, совсем забытое осеннее утро в подмосковном лесу, жилую палатку военного городка, своих взрослых друзей и необычную собаку Пальму.

Друг Тони — дядя Алёша Устинов

Собаку привёз из Германии заядлый охотник, Герой Советского Союза, гвардии майор Алексей Устинов — дядя Алёша. Так называла его тогда Тонечка, считая своим настоящим другом. Ведь только он разговаривал с ней как с взрослой, не задавал глупых вопросов типа: «Как твои дела в школе? Какие получила отметки?»

Тоню всегда бесили эти вопросы взрослых, потому что она знала, что спрашивают они это от скудости ума и от неумения разговаривать с детьми. И зачем ей задавать такие вопросы? У неё дела в школе никакие. Отметки ещё хуже. Вот и изворачивайся, как умеешь.

А дядя Алёша к таким взрослым не относился. Он говорил с ней буквально обо всём. Рассказывал о своём детстве, не стыдился сказать, что никогда в школе особым прилежанием не отличался. Не отмахивался от её настойчивых и будто совсем не по возрасту вопросов. Например, о боях и разведке.

Однажды она даже спросила, как устроен его пистолет и чем стреляет. Дядя Алёша разрядил и разобрал пистолет и объяснил ей каждую деталь. Это было при маме. Мама страшно возмутилась и сказала:

— Не понимаю вас, Алёша! Зачем вы ей это рассказываете? Она — ребёнок и, как видите, девочка, а не пацан!

— Ой, не говорите, Анечка! Но если бы вы побывали в действующей армии, вы бы поняли, какие героические девушки вырастают из таких вот девчушек.

Мама фыркнула и сердито вышла из палатки. Тоню в который раз удивило, почему мама всегда сердится, если кто-нибудь что-нибудь хорошее скажет о бойцах-девушках.

После стремительного маминого ухода дядя Алёша поднялся с шикарного трофейного кресла, собрал пистолет, позвал свою Пальму и какой-то задумчивый ушёл к себе.

На следующий день мама в сопровождении папиного ординарца Карима уехала в Москву показаться врачу. В школу за Тоней пришёл папа. Потом они вместе топили буржуйку, разогревали на ней американскую тушёнку. Ходили хлопотать к электрическому движку. Но тот почему-то зачихал и совсем остановился. При свете фонаря спать легли рано.

Наутро ожидалось воскресенье — самый лучший в неделе день. Можно поспать сколько угодно. Подольше побыть в палатке у дяди Алёши. Мамы не будет дома, и никто её не оговорит за это.

На палатку сыпалась снежная крупа. Страшновато поскрипывали сосны, к которым притулилась их палатка.

«Жаль, что дядя Алёша не оставил Пальму. Было бы не так страшно и очень тепло!» — подумала Тоня и погрузилась в липучий сон до утра.

Тоня внезапно проснулась. Села на постели, кутаясь в трофейное пуховое одеяло. «Наверное, я проспала в школу. Мамы нет, вот меня никто и не разбудил».

В верхние окошечки палатки вовсю заглядывало солнце. Снежок, что старался всю ночь укутать палатку, теперь, очевидно, каплями скатывался с её покатой брезентовой крыши. Они шлёпались о землю, будто строчил крохотный пулемётик.

«Ну, папочкин! Наверное, забыл обо мне. Плетёт, вероятно, свои рыбацкие сети, а о ребёнке забыл. Ой! Сегодня же желанное воскресенье!»

Она окончательно проснулась от приглушённых голосов и каких-то незнакомых звуков. Повернулась со своим одеялом в сторону входа в палатку и увидела Чоловика — ординарца дяди Алёши — и любимую собаку Пальму. Странным с первого взгляда ей показалось всё — от ординарца дяди Алёши, который что-то растерянно шептал Тониному отцу на ухо, до собаки, которая не кинулась, как обычно, к ней со своими нежностями, а наоборот, пыталась убежать.

Сильные, слегка вывернутые наружу лапы собаки и всё её покрытое почти невидимой шерстью тело дрожали мелкой дрожью. Крупная голова с большими вислыми ушами собаки-утятницы и характерные брылы выражали напряжённость. Всеми силами она старалась вырваться от своего поводыря, тянула к выходу, натягивала поводок, поскуливая, приседала и царапала когтями ковёр, которым был застелен пол палатки.

В части её проводника звали Чоловиком. Услышав в первый раз, как называли этого не очень молодого солдата, говорившего на чистейшем украинском языке, Тоня спросила у своего отца:

— А у него настоящего имени нет?

— Есть, но его уже забыли. Однажды на фронте ему приказали влезть на дерево и посмотреть, немец или кто другой идёт по дороге. Он отрапортовал: «Чоловик!» Так с той поры и потерялось его настоящее имя.

Пришедший, яростно жестикулируя, что-то шептал Тониному отцу, который только что вернулся с рыбалки и теперь разбирал спутавшиеся сети. Водоросли летели прямо на ковёр. Хорошо, что мамы не было дома, иначе он получил бы нагоняй.

«Смешная моя, наивная мамочка! Ты без конца наводила лоск и глянец на то, что никак не могло стать таковым, — теперь, поздним числом, подумалось Антонине. — Вся наша «жилая площадь» — метров шесть в длину и чуть меньше в ширину. Посредине чугунная печка, вокруг которой набиты листы железа и аккуратно уложена поленница дров».

Чоловик выпрямился, откозырял гвардии капитану — Тониному отцу, передал ему поводок, а когда Пальма рванулась за ним, грозно на неё прицыкнул и быстро вышел. Отец не свойственным ему жестом схватился за голову, замотал ею из стороны в сторону:

— Вот что! Собака останется у нас. А ты (это уже Тоне) марш из-под перины! И ни шагу из дому! Поняла?

Таким строгим она отца своего никогда не видела. Ткнув в её руки поводок, почти выбежал из палатки.

Между тем снаружи что-то происходило. Слышались возбуждённые голоса, чей-то тонкий женский голосок причитал, всхлипывал, заглушаемый топотом солдатских сапог. Собака так рвалась, что не хватало сил удержать её, и Тоня буквально выехала на ногах наружу.

Что стоило ей, собаке, такой могучей и сильной, откормленной на офицерских харчах, побороть послевоенную доходягу? Она волокла Тоню всё дальше, жалобно воя, приседала на лапах, царапала воздух.

Возле палатки Устинова стояли с автоматами наперевес два солдата и никого близко не подпускали. Чуть поодаль толпился народ, в основном штабисты и женщины. Дома Тоню учили не лезть к взрослым с расспросами, поэтому она просто таращилась во все глаза, стараясь понять, что же произошло.

Некоторое время спустя в откинутом пологе палатки показались носилки, а на них что-то большое, завёрнутое в брезент. Капли чего-то красного изредка падали на местами не успевший растаять ночной снежок.

Пальма сразу же потянулась к носилкам и вдруг страшно завыла, подняв кверху свою мраморно-коричневую морду. На неё так грозно прицыкнули, что она от неожиданности замолчала, присела — да так и застыла, откинув набок одно из своих бархатных длиннющих ушей.

И тут прозвучало страшное:

— Застрелился из табельного пистолета.

— Как? Дядя Алёша? Такой красивый и весёлый? Из того пистолета, что он недавно разбирал и собирал при мне? Он застрелился? Это его унесли на носилках? — кричала Тоня, катаясь по мёрзлой земле.

Кто-то подхватил её на руки.

— Уберите ребёнка! Вы что, с ума все посходили?

Что было после, запомнилось смутно. Откуда-то появились мама и Карим. Санинструктор Варя сделала укол, а кто-то какую-то вонючую ватку совал ей под нос. Чей-то протяжный и в то же время такой знакомый нудный голос повторял:

— Трите виски! Трите виски!

Это был врач Пирамидон. Он вечно от нечего делать дремал в медсанбате, а на лечение всем подряд выдавал одно и то же лекарство — пирамидон. За что и дали ему такую кличку.

И точно: когда Тоня открыла глаза — увидела склонившегося над ней Пирамидона. Очки сползли ему на левое ухо. Тоня невольно засмеялась.

— Ну, порядок! Смеётся — значит, пришла в себя! — сказала одна из женщин-прачек, вытирая передником руки.

На невольном отдыхе

К вечеру Тоню отвезли в Наро-Фоминск к папиному знакомому рыбаку. Кажется, целую неделю она там ходила в школу. Школа в двух шагах, а значит, можно было не так рано вставать. Не то что из военного городка, откуда до неё тащиться да тащиться по ещё не проснувшемуся лесу, мокрому от утренней росы, или по снегу. И обязательно в сопровождении взрослых. Повсюду орудовала банда «Чёрная кошка». Гражданских она убивала и грабила, а офицеров и членов их семей убивала просто так.

Однажды ночью папа шёпотом сказал маме, что по пути со станции бандиты застрелили вестового. После этого мама сопровождала дочь в школу вместе с Каримом, а встречала всегда одна. И шли они с ней только по шоссе, не по лесу, а значит, намного дольше.

В семье рыбака тётя Феня кормила Тоню и свою дочку блинами из крупчатки, а к блинам подавала сгущёнку. Всё это принёс Карим. Гостья ела неспешно, как учила мама. Зато толстая хозяйская девчонка Настя справлялась со сгущёнкой проворно! И очень жалела, что нежданную, такую «вкусную» гостью так быстро забирают домой.

В доме рыбака было уютно и тепло. Но спалось Тоне очень тревожно: каждую ночь видела застрелившегося дядю Алёшу, лужи крови. И просыпалась в страхе.

Сны эти продолжались много лет и повторялись с большой точностью. И то время, что она провела вдали от военного городка, не спасло от ужаса. Она впервые увидела смерть человека, ставшего для неё таким близким в ту послевоенную осень.

Долго пользоваться гостеприимством тёти Фени не пришлось. Мама всегда считала неудобным стеснять кого-либо своими просьбами. Вот и теперь, несмотря на протесты и уверения хозяйки, что девочка нисколько их не стесняет, Тонина мама настояла на своём.

Настя, хозяйская дочка, — то ли вправду к гостье привыкла, то ли поняла, что больше сгущёнки не будет, — буквально ревела.

Чтобы её утешить, оставили в семье рыбака две банки сгущёнки и мешочек муки. Плату за проживание. Оказывается, мама хотела приехать за Антониной на трофейной машине, но ни у Карима, ни у папы не было прав. Рулили они только внутри городка да ещё два раза возили семейство в лес отдохнуть. Но это сейчас вспомнилось Антонине просто так.

Вообще Тоня очень гордилась папиной красивой, чёрной и блестящей, машиной. И, когда проезжали мимо сына полка Феди, от важности буквально чуть ли не лопалась:

— Вот у меня есть всё — и папа, и мама, и Карим, и такая машина. А у тебя ничегошеньки! Так-то вот!

Вредности у неё в ту пору хватало!

Последнее осеннее тепло

От Наро-Фоминска до военного городка они прошли почти половину пути, а Тоня всё хлюпала носом. Мама, чтобы отвлечь дочь от грустных мыслей из-за внезапного расставанья с тёплым и приветливым домом тёти Фени, всю дорогу без умолку сообщала новости:

— Чоловик живёт в солдатской казарме. В свободное время приходит к нам. Всё с новыми подробностями прогулки с Пальмой, во время которой всё случилось.

Девочке хотелось крикнуть: «Мама, замолчи! Не надо вспоминать то, что я хочу забыть». Но мама всё продолжала говорить. Чувствовалось,

что соскучилась по слушателю. И теперь ей не терпелось хотя бы с дочкой поделиться своими впечатлениями. Это и понятно: Тониному папе некогда было её слушать, подруг у неё в части не было. Как, впрочем, и у Тони тоже не имелось друзей из числа ровесников.

Военные говорили, что гражданских лиц в части было всего двое. Даже офицеры, которые успели жениться, своих жён не перевозили в часть—не в палатке же быть молодожёнам! А казармы всё ещё строились.

—Если бы ты знала, как тяжело слушать рассказы Чоловика. Но к кому он ещё может пойти со своим горем? Ты же не знаешь, как окопные бойцы принимают ординарцев назад в казарму. Так что Чоловик там совсем чужой. Вот и ходит к нам. Да и Пальму проведывает. Представляешь? При жизни Алёши считал собаку его прихотью. А теперь нянькается с ней и подкармливает. Дадут на обед котлету. Половину сам съест, а остальное—ей. Я говорю, что мы её хорошо кормим. Даже обижаюсь. А он—своё: «Нехай простить за мою грубисть».

Карим шёл далеко впереди. Мама внезапно остановилась на еле приметной тропинке, огляделась, как заговорщица, по сторонам и шёпотом сказала:

—Чоловика сразу после возвращения с прогулки арестовали. Подозревали в чём-то. Понимаешь? Но никому ни слова! Поняла? Только четыре дня как вернулся. Да и то, говорят, не насовсем. Даже на похороны майора не пустили.

Наконец добрались до расположения части и увидели, что палатка майора Устинова, а для Тони—дяди Алёши, исчезла—только ямки от столбиков да четырёхугольник земли, покрытый заиндевелой мёртвой травой, напоминали, где она раньше стояла.

Было воскресенье. Погода выдалась очень тёплой. Появилось невесть откуда выглянувшее солнце и обогрело своим теплом лесок, к отдельным деревьям которого, как к материнской груди, приткнулись зелёные, пегие, жёлтые и совсем выгоревшие вернувшиеся с войны палатки.

Мама где-то поотстала. Тоня забежала к себе первой. На её лежанке уютно растянулась Пальма. Услышав шаги, проворно спрыгнула на пол и там замерла. Будто давно лежит у буржуйки, свернувшись калачиком. Как ни в чём не бывало! Эта привычка сохранилась у неё навсегда.

Антонина знала, что с Пальмой они были давними друзьями. Но на этот раз собака встретила Тоню без особой радости: чуть вильнула обрубком хвоста, привстав с пола, глубоко вздохнула и снова плюхнулась на ковёр сразу всем телом.

Следом вошла мама.

—Сильно переживает, что Хозяина нет.

При слове «Хозяин» Пальма вскочила на ноги, подбежала к двери, а потом понуро поплелась в свой угол и опять свернулась калачиком.

Все попытки развеселить собаку ни к чему не приводили. Она давала себя гладить, не поднимаясь с пола, как-то по-особому отводила глаза, устремив взгляд куда-то в сторону, всем видом показывая, что не расположена играть. Казалось, говорила: «Ну какая может быть игра, если случилось такое горе? Хозяина, который совсем недавно научил меня понимать русский язык, с кем весело и бесшабашно ходили на болото за утками, унесли куда-то настырные солдаты. И его всё нет и нет!»

Её страдания были понятны, и только спустя сколько-то времени стала она нехотя играть, хотя всю осень, завидев издали офицера, похожего на её Хозяина, вся вытягивалась в струнку, нюхала воздух.

Это случалось часто, так как все офицеры того времени издали были очень похожи друг на друга: стройные, молодые, с планшетами на боку. Только Онищенко—помпотех, грузный, в возрасте,—никак не будоражил воображение собаки.

Начало перемен

Большие изменения произошли в части. Большинство знакомых, а с точки зрения Тони—пожилых, бойцов демобилизовалось. Остались в основном молодые. Раньше бойцы постарше часто заговаривали с ней, старались погладить по голове, что-нибудь дарили. Мама не возражала:

—Не будь такой букой. Может, у них дома детишки такие, как ты? Вот они и уделяют твоей персоне столько внимания. И что ты у меня такая неласковая? В кого? Ну прямо бычок упрямый! Они тебя не съедят. А вот с молодыми солдатиками чтобы не разговаривала! Поняла?

Конечно, трудно понималось, какая разница между бойцами усатыми и безусыми. Но на всякий случай никаких подарков от молоденьких Тоня не брала.

Дома первое время на неё никто никакого внимания не обращал. И в части теперь уже не так часто звучали солдатские шутки-прибаутки. Если кто-либо из новобранцев закатывался в хохоте над собственной плоской шуткой, его обрывали словами или суровым, укоризненным взглядом: тень майора Устинова витала над всеми.

После похорон всеми любимого командира разведроты, Героя Советского Союза, гвардии майора Алексея Устинова почти каждый демобилизуемый разведчик прощался с его Пальмой, приносил что-нибудь вкусненькое. Вскоре её так закормили, что шерсть стала лосниться, а спина прогибаться вниз вместе с животом.

Хозяин ни за что этого бы не допустил—он знал, что охотничья собака должна быть поджарой. А уж к сладостям и вовсе её не приучал.

Тоне вспомнилось, что как-то, придя в гости к дяде Алёше, принесла конфету и пыталась дать её Пальме. Так дядя Алёша ей целую лекцию прочитал о том, что можно и чего нельзя охотничьей собаке.

Теперь она тем же тоном, что и он, пыталась вразумить подносителей угощения. Ничего не помогало. Кто слушал десятилетнюю девочку?

Чоловик в последний раз перед тем, как совсем покинуть часть, обнял её, прижал к себе, и капелька то ли слёз, то ли пота скатилась на его пшеничные усы.

—Усьё, немчура ты моя дорогая! Був Чоловик, да увесь вийшов!

После этого в расположении военного городка не видели Пальминого поводыря. Только позднее узнали его историю. Он хотел остаться в армии навечно, потому что не к кому было ему ехать. Всего-то у него на целом свете были гвардии майор Устинов, полковой сынок Федя да собака Пальма. И вот теперь не осталось никого. А штаб демобилизовал его. А может, и нет. Может, просто перевели куда-то или ещё что. Никто на эти вопросы Тоне не отвечал.

До самого убытия из части Чоловик сильно тосковал по Пальме, и будь у него хоть какие-то виды на жительство, наверное, выпросил бы её у «товарища капитана».

Умная собака почувствовала перемену в отношениях к ней её бывшего поводыря. Встречала каждый приход с большой радостью: от него всё ещё пахло чем-то родным. Простила ему прежнее к ней равнодушие. Тыкалась носом в колени, энергично виляла обрубком хвоста, или, как говорили охотники, поленом. Тоня даже чуть ревновала Пальму к старому солдату. Обхватывала её голову двумя руками, пыталась оттащить от Чоловика. Выглядело это, наверное, очень нетактично, потому что мама говорила при этом:

— Не обращайте, Прокоп Федотович, на неё внимания. Она — совсем ребёнок.

Тоска по Хозяину у благородной собаки была так велика, что никакие угощения не могли её заглушить. Она каждый раз подходила к месту, где прежде стояла их палатка, обнюхивала всё, даже царапала землю и смотрела на всех вопрошающе. Ждала. Нередко подвывала. И, очевидно, вспоминала их расставание.

Антонина Александровна подошла к письменному столу, взяла старенький, времён войны, отцов альбом и нашла крохотный, сделанный трофейной «лейкой» фотоснимок. На нём палатка майора Устинова и сам Устинов. Разглядеть его просто невозможно — слишком мелко снято и сделано без увеличения. Она бережно хранила среди роскошных современных этот потрёпанный картонный альбом, где снимки, наклеенные мякишем чёрного хлеба, сделаны её отцом ещё там, на фронте, или в Подмосковье, в расположении части.

У распахнутого зева палатки — стайка офицеров. Среди них майор Устинов, в которого так сильно была влюблена она — десятилетняя девочка Тоня. Есть ещё другой снимок — профессиональный. Снято в Праге. На нём, кроме картинного красавца Алексея Устинова и её отца, ещё два офицера. Светлолицых, бравых. А её отец — загорелый, сухонький, такой жалостливый. Вот уж истинно: не прятался он по окопам и голову свою лысоватую не прикрывал каской.

«Ну прямо негритёнок какой-то, — сжалось сердце Антонины. — Как Старая Бабушка, Евдокия Григорьевна, в том сне говорила, так оно и было там, на войне».

Антонина, а тогда — Тоня, Тонечка, почти до мелочей знала, как легко и весело жилось Пальме у дяди Алёши. Детские симпатии её распределялись на милую Машеньку, дядю Алёшу и собаку Пальму, с которой можно было сколько угодно играть. Не думайте, что школа и родители значили для неё меньше. Но это всё-таки что-то иное!

Сейчас она, через столько лет, будто слышала голос Чоловика, что переводила сразу с украинского на русский, и бархатный говор майора Устинова, и даже нечеловеческий рассказ на человеческом языке любимицы своей — Пальмы. Годы и годы общения с животными научили её понимать немой язык доверившихся человеку умных животных, тем более — собак.

Проводы без прощания

Пальма привыкла, что Хозяин очень часто будил её на заре. Они вместе с вечера готовили всё, что надо взять с собой на охоту. Она гордо подносила ему то патронташ, то сапоги болотные, то варежки с отделённым от других для стрельбы на морозе пальцем. По утренней зорьке шли они через спящий городок до КП, где часовой проворно козырял майору, одетому в охотничью куртку и тирольскую шляпу с пером. На что тот неизменно говорил:

— Отставить! Я же не в форме.

И смеялся. Тогда ямочки на его лице становились такими глубокими и чёткими. Хозяину собаки шёл всего только двадцать шестой год.

В последний раз всё было совсем не так. Никаких приготовлений к охоте с вечера, а утром рано-рано — подъём. Собака напрасно подтащила патронташ к ногам Хозяина. Он бросил его на постель. Тогда она, упёршись ногами в брезентовые стены палатки, попыталась стащить с вешалки куртку.

— Фу!

Это было для неё неожиданным — такую команду она от него услышала в первый раз. Ведь они понимали друг друга без окрика. Она осознала: её отправят на прогулку с Чоловиком, которого она недолюбливала.

Это было взаимным чувством. Особенно такое проявлялось, когда они оставались наедине. Да и за что тот мог любить бедное животное? Она ведь была из Германии, по-украински — с Неметчины. Команды понимала в основном на фрицевском языке. А фрицы-то и оставили его на белом свете горьким сиротой.

Пальма никак не могла понять, чем прогневала этого усатого человека. Он грубо одёргивал её поводок. Не давал никакой воли. Поэтому подобное путешествие не доставляло собаке никакой радости. Да и обычно они отправлялись с ворчливым человеком после завтрака, когда Хозяин уходил на службу. Что же могло изменить раз заведённый порядок?

Роковая прогулка

До самого дальнего болота, куда они шли в то хмурое утро, собаку не покидало чувство удивления и уныния. Только вид знакомых по охоте мест несколько успокоил её. Возле прибрежных кустов она сделала пустую стойку по чирку, замершему в чащице. Она совсем забыла, что никакой охоты не будет — ведь у Чоловика не было

с собой ружья. Он просто шёл, весь погружённый в мысли, и что-то бормотал себе под нос на своём непонятном языке.

Выводок уток пересёк озерко прямо у них под носом. Но Пальма знала, что без выстрела нельзя гоняться за добычей. Поэтому только слегка повернула голову в сторону возможной дичи и сделала вид, что кряква с утятами её совсем не волнуют.

Ещё у себя на родине она была приучена действовать только по команде. От Чоловика же никаких команд не поступало, поэтому прогулки с ним получались унылыми и больше походили на принудиловку.

Из-за невозможности блеснуть своим умением доставать из воды уток собаке захотелось назад, домой, к своему любимому Хозяину. Когда из-за горизонта медленно показалась горбатая краюшка огненного солнца, разогнавшего туман и усилившего на короткое время осенний холод, она стала дрожать всем своим крупным телом.

Солнце тут же увязло в тучах, полил мелкий колючий снежок. Чоловик набросил ей на спину специальную попонку, привезённую из Германии. Они наконец-то повернули в сторону городка.

Она не знала, что навсегда кончилась её жизнь с молодым майором, которого в той, прежней жизни, в другой стране, Старый Профессор, передавая из рук в руки поводок, велел называть и считать Новым Хозяином.

Наступало смурое, серое утро. Собака так сильно натягивала поводок, что оставшуюся часть пути они бежали.

— Куды ты, скаженна, так прёшься?

Но они опоздали. Самое страшное уже случилось. Кто-то из старших офицеров крикнул Чоловику:

— Убери немедленно собаку! — и подал ему клочок бумаги — записку майора: «Пальму отдай замполиту».

Так в палатке, где со своими родителями проживала Тоня, появилась и осталась жить собака дяди Алёши Устинова.

Пальма родом из Неметчины

Антонина Александровна чётко воспроизвела в памяти, как бы прокрутила ещё раз плёнку хмурого утра первого от войны года.

Сейчас она вдруг почти ощутила ожог от поводка, который изо всех сил вырывала из её детских рук Пальма. Последние метры она протащила Тоню по земле. В это время из палатки вынесли те страшные носилки, на которых, как оказалось, лежал её любимый Хозяин. Отчаянье охватило собаку. Она опустилась на свои мощные лапы и завыла.

— А ну замолчи! Уберите собаку! — крикнул сердитый незнакомый офицер и вырвал из Тониных рук поводок.

Пальма от неожиданности опустилась на землю и замерла. Хозяин никогда не обращался с ней так грубо.

Умная собака, вероятней всего, поняла, что окончилась её вольная жизнь, когда они с Хозяином ходили на ближнее и дальнее болота, выслеживали уток. Она вылавливала в воде и приносила ему убитых уток и подранков. Всё получалось согласованно. Хозяин часто хвалил её. Иногда она понимала его слова, а если встречалось слово незнакомое, Пальма широко расставляла ноги, откидывала одно ухо и глядела говорившему прямо в глаза. Тогда он повторял ещё раз и ещё. Сперва по-русски, потом по-немецки. И когда усилия оказывались не напрасными, собака заливалась звонким лаем, носилась как шальная по берегу. Выражала полный свой собачий восторг. Так же доволен был и Хозяин.

В последнее время тот почти всегда был невесёлым; она подходила к нему, поддевала чёрным носом его колено, приглашая поиграть. Но он будто не понимал её мольбу. Гулять она теперь ходила с Чоловиком, а тот почти всегда говорил одно и то же:

— Ну, майор! Истынна дытына! На що нам ты треба?

Украинский язык она не понимала совсем, но «переспрашивать» у грозного дядьки просто боялась. Опускала голову, будто вынюхивала дичь. Домой обычно они возвращались молча, погрузившись каждый в свои мысли. Чоловик — в беспредельное, неуёмное своё горе: в войну на Харьковщине погибла вся его семья. Теперь его семьёй стала воинская часть, где он надеялся остаться на сверхсрочную службу. Но штаб всё тянул с решением, кого оставить, а кого отправить на гражданку.

А у собаки — свои, собачьи думы. В тихие грустные прогулки вспоминала она своего Прежнего Хозяина, там, в Германии, в другой стране, на своей родине, где она считалась полноправным членом его многочисленной и такой приветливой семьи.

Жили они вблизи большого и шумного города, но в их парке всегда было тихо. Среди красивых розовых кустов порхали нарядные бабочки, которых собака вначале, из-за своего младенческого возраста, принимала за крохотных птичек, и носилась за ними с нескрываемым восторгом, и даже брала свою неподражаемую стойку.

Все её любили, хотя называли совсем другим именем. Глава семьи вёл себя с ней на равных: разрешал класть морду на колено, когда сам много часов подряд что-то писал. Поднимался только затем, чтобы взять какую-нибудь книгу. Пил что-то совсем непонятное из крохотных чашечек, над которыми вился чуть приметный парок.

Потом он выходил на красивое крыльцо, где стояли в громадных горшках пальмы с мохнатыми стволами. Ей казалось, что прямо из земли торчат поднятые кверху зелёные руки с растопыренными пальцами.

Прежний Немецкий Хозяин выкуривал трубку, от дыма которой собака должна была морщиться и отворачиваться. Но считала, что делать этого не стоит. Они некоторое время глядели на благоухающий сад. А потом снова шли в кабинет. И всё повторялось сначала.

Она ни разу не показала ему, как неприятен для собачьего носа запах табака, а он делал вид, что не замечает, как она пачкает его великолепный

халат или куртку своей мордой, по которой от удовольствия текут слюнки. Это было взаимным неписаным уговором.

С Гретхэн такого уговора не было, и она каждый раз настойчиво журила Старого Профессора, стряхивая с отворотов одежды табачные крошки и пепел, и уголком передника стирала следы собачьей верности на полах халата и брюках Профессора.

Служанка была строптивой, на её плечах держался порядок в доме. И все это понимали, в том числе Профессор и его любимая собака. Человек разводил руками, а собака засовывала голову Хозяину между колен: «На! Бей, но только не по ушам!»

Женщины — и те, что жили в том красивом доме среди цветов и кустарников, и те, что часто приходили в дом, — неизменно гладили её по спине.

А одна, особенно красивая и нежная, всегда брала в обе руки длинные уши собаки, слегка оттопыривала их в обе стороны от головы и, хохоча, украдкой глядела на сына главы семьи. Огромные глаза её при этом скользили как-то испытующе поверх всех голов.

От неё так сильно пахло духами, что собачий нос не выдерживал и начинал чихать. Но разве могла Пальма лишить себя удовольствия поиграть с этой гостьей?

Она успела забыть своё прежнее имя, запомнила только свою породу. Хозяева — и немецкий, и русский, — каждому новому знакомому представляли её так:

— Это — курцхаар. Порода очень редкая и очень умная.

Название породы запомнилось, а вот она никак не могла вспомнить, с какими восторженными словами обращалась к ней эта чудесная девушка. И навсегда забыла своё немецкое имя. Ещё бы! Сколько страшных дней она пережила перед тем, как её, умирающую с голода, передали русскому — Новому Хозяину!

А раньше жила она в большой холе и всеобщем почитании. Дом был очень опрятным. Каждый раз после прогулки или катания по траве её мыли душистым мылом, вытирали мягким полотенцем, а потом позволяли блаженствовать в гостиной на мягком кожаном диване. Она обычно слегка потягивалась и подрагивала своим большим, почти что лишённым шерсти телом.

Как это было давно! В какой-то другой жизни, которая внезапно и очень жестоко оборвалась. С неба, с юрких самолётов полетели на землю страшные посылки. Они взрывались. Горела земля. Горел дом. Потом случилось долгое и очень голодное путешествие через огонь, кровь и трупы людей и животных, через бесчисленные воронки от бомб, по прежде такой прекрасной земле

Дальше Пальма не в силах была вспоминать. Она останавливалась, замирала на месте. Чоловик грубо окликал её, и они шли дальше — оба несчастные, чьё прошлое безжалостно убито войной.

Чоловик

Историю довоенной жизни усатого и неразговорчивого ординарца дяди Алёши — Чоловика, или Прокопа Федотовича, как мама, единственная во всей воинской части, его называла, — Тоня сложила из различных источников. Конечно, он никогда не разговаривал с ней, ребёнком, больше, чем это было надо. Но после смерти своего любимого майора часто приходил в их палатку и, теперь уже каким-то осиплым голосом, часто рассказывал Тониной маме о своих довоенных днях жизни в селе где-то под Харьковом.

Переселили его после сноса палатки майора Устинова в солдатскую казарму, а приходил в семью капитана, чтобы излить свою тоску.

Мама хорошо знала украинский язык, да и Тоня, прожив около года на маминой родине, в украинском селе Верпа в Житомирской области, понимала Чоловика почти от слова до слова.

У Пальминого поводыря жизнь не была райской. Жил он в колхозе, выращивал буряки на сахар. С утра до позднего вечера — в поле. Солнце дочерна выжигало кожу на руках и лице, а домотканые рубахи расползались от пота.

Жена Гарпина, трое малых деток — две дочки да сын Павло, мать Гарпины и её дед, — все жили в одной беленькой хатке с земляным полом, огромной русской печкой, которую Гарпина каждую субботу выбеливала досиня. Всё как в Верпе. Только хатка Чоловика стояла в степной Украине и поэтому и сама была мазанкой, и пол в ней — земляной.

Перед великими праздниками Гарпина белым мелом обновляла хату и внутри, и снаружи. Да ещё рисовала синькой всякие узоры на печке и стенах, увешанных самоткаными радужками и килимами. А на лежанках высокой горкой возлежали расшитые красным и чёрным крестиками подушки. Внизу — самая большая, а совсем крохотная — на самом верху.

Старики занимались детьми и домом. Кормили скот. Мать Гарпины стряпала вкусные пампушки, варила смачные борщи, кулеш, а ещё «макар» — варево такое из тёртой картошки с салом, запечённое в глиняной макитре.

Чоловик на фронте часто, особенно когда отставала при марш-броске солдатская кухня, вспоминал именно это блюдо:

— Мамо (так называл он свою тёщу) подавала «макар» на стол таким вкусным, что соседские дети непутёвой Марфы, вечно голодные и толпящиеся у дверей, сглатывали слюнки. Их всегда наделяли «макаром». Но было одно правило — только после того, как наестся семья.

Павло утром уходил пасти свиней, корову выгоняли в сельское стадо. Дед вечно плёл корзины, которые они возили на базар в районный центр на продажу. Гарпина — бригадир полеводческой бригады, за свою работу получила медаль из рук самого Калинина.

Дочки-двойняшки только-только вышли из люльки. Зимой, в долгие вечера, Гарпина вышивала крестиком. Крестик туда — крестик сюда. Чёрный — красный, красный — чёрный.

Всё ушло в прошлое. Остались одни чёрные крестики — точнее, чёрные кресты. Да и их не осталось: некому было хоронить его семью в те страшные дни в самом начале войны, да и хоронить было нечего.

После освобождения села земляки написали ему на фронт, что на его хату рухнул с неба подбитый самолёт. Соломенная стреха вспыхнула мигом. Было это ночью, никто из хаты не выскочил — все сгорели заживо.

Это он узнал в последний год войны. Письмо земляков было единственным, которое получил Чоловик за все бесконечные дни и месяцы страшной мясорубки, которую называют Второй мировой войной. Или Великой Отечественной. Многие другие бойцы и офицеры очень часто получали весточки из дома. Но только не он.

Одиночество среди своих сильно угнетало его. И на самой границе с нерусской землёй присмотрел он на одной станции мальчишку примерно одних лет с его Павлом, уговорил начальство, чтобы взяли почти умирающего с голода беспризорника в часть.

Собственноручно перешил из самой маленькой военной формы одёжу для Феди (так того звали) и стал смотреть на него как на сына. Гвардии майор Устинов не возражал. Разрешили малолетке состоять при нём. Гвардии майор учил его нехитрому солдатскому ремеслу и хитросплетению действий разведчика. А Чоловик приучал к правильному ведению фронтового хозяйства.

Незадолго до самоубийства гвардии майор неожиданно сказал ординарцу:

— Надо Федю в военно-музыкальное училище определять. Маша его уже музыкальной грамоте научила. Голос у парня — как у соловья. Пора определять его судьбу. А я женюсь!

И он закружился в предполагаемом вальсе, да так, что чуть буржуйку не свалил. Как кастаньеты, зацокали на его груди многочисленные награды, а Звезда Героя блеснула настоящим золотом в лучах заходящего солнца, только что заглянувшего в их холостяцкое брезентовое жильё.

Ординарец понял, что грядут в его жизни большие перемены, раз гвардии майор женится. И сердце его невольно сжалось. А тут ещё предчувствие разлуки с Федей, таким же одиноким, как он сам. Одинокий листок, оторванный от дерева и заброшенный в иную жизнь неумолимой рукой войны.

Но он мыслил, что останется в части и будет навещать своего найдёныша в Москве, в училище. Помогать чем сможет. А там, может, и слепятся снова две их сиротские жизни.

Всё решилось иначе в то утро, когда прозвучал роковой выстрел.

Федя — сын полка

После Верпы Тоня скучала: она долгое время была единственным гражданским ребёнком в расположении части. Ну, это по названию. В полку и батальоне служило несколько мальчишек. В годы войны их звали сынами полка. Сыны полка — важные, в настоящих, только уменьшенных, гимнастёрках, галифе и крохотных, по ноге, сапогах, — никак не считали себя детьми. А у одного из них, у Феди, даже поблёскивала на груди медаль «За отвагу».

С Тоней эти мальчишки не водились, разве только изредка Федя, заложив руки за спину, как бы нехотя подбегал и прыгал через её скакалку. Мама Аня выделяла его из всех остальных парнишек, потому что Федя не курил и очень красиво пел. И часто рассказывал маме о своём довоенном житье.

Жил он, сколько себя помнил, с бабушкой. Родители-геологи наезжали нечасто. С началом войны оба ушли на фронт, в одну часть. Сначала от них часто приходили письма, а потом почтальон принёс страшную весть: где-то под Харьковом накрыл их артобстрел. Бабушке смурной старшина привёз кое-какие их вещи, фотоснимки и некоторые записи. Они и на фронте, в часы затишья, продолжали работать, аккуратно занося в блокноты результаты наблюдений.

И до этого бабушка болела. У неё свирепствовал диабет. А тут — война, лекарства негде взять. Весть о гибели единственной дочери доконала её.

Схоронили бабушку соседи, а на следующий день пришёл управдом и велел Феде собираться в детский дом. Комнату их отдали семье эвакуированных.

Федя знаком был с жизнью вечно голодных воспитанников детдома, которые рылись в мусорных ямах в поисках хоть какой пищи. Федя подался в бега, он-то уж наслушался от тех несчастных ребят, что почти каждый мечтает сбежать из того так называемого рая.

Убежав, он пел по вагонам, играл на ложках. Кое-чем из еды делились с ним пассажиры, а если удавалось пристроиться к воинскому эшелону, в накладе никогда не бывал. Но случались осечки. Например, однажды в вагоне воинского эшелона кто-то из офицеров заметил его нестриженую голову среди солдатских, оболваненных «налысо», — его выдворили на первой же остановке.

Когда Чоловик на одном из привалов обнаружил спрятавшегося в их землянке Федю, тот совсем отощал и всё чаще вспоминал бабушкины блины, которые пекла она своему единственному внуку. Тогда время было сытное, блины есть он не хотел, а чтобы скорее убежать на улицу, прятал их в галоши: «Баба! Всё, я съел. Можно, пойду гулять?» Во время голодных скитаний во сне снились ему те галоши с теми масляными бабушкиными блинами. Он пытался вспомнить, где стоят те галоши, и просыпался с урчанием в животе.

Попав к майору Устинову под отеческую руку Чоловика, Федя обрёл свою фронтовую семью. Сначала его просто обогрели и откормили, а потом он стал выполнять отдельные поручения товарища гвардии майора Устинова. Жизнь научила его быть быстрым и хитрым. Поэтому вскоре смышлёного мальчишку стали брать на несложные задания. И за одно из них наградили медалью.

Держался он как взрослый. Но когда в части появился медвежонок, стал проводить с ним всё свободное от службы время.

До войны у Феди была маленькая сестрёнка, которую часто оставляли с ним, когда взрослые куда-нибудь уходили. Он нянчил её, носил на руках, а когда она умерла «от горлышка», очень тосковал. Теперь медвежонок часто оказывался на руках у Феди. За что зловредный мальчишка из пулемётной роты назвал его «мама-Федя».

Получил, конечно, «по шеям». А вечером Феде досталось от майора:
— Какой же ты разведчик, если не можешь себя сдержать? А ну как к немцам попадёшь? Как там будешь держаться?

Это был первый и, пожалуй, последний жёсткий выговор своему воспитаннику от гвардии майора. Пальма, которая до этого безмятежно спала, устав от охоты на дальних болотах, подняла голову и внимательно посмотрела на того и другого.

Кошке — игрушки, мышке — смертушки

Фединого любимца — крохотного медвежонка — бойцы привезли из лесов Баварии. Рос он очень быстро и уже через четыре месяца стал подростком, сильным и добрым.

С ним забавлялись все. Он особенно любил бороться. Правило неизменно оставалось одно: если Мишка дал себя побороть, в следующем раунде победа предназначалась ему.

Медвежонок рос, а играть с ним в минуты отдыха становилось всё интересней. Он свободно ходил по территории, любил сгущёнку, которую буквально выклянчивал у любого: сев в позу просителя, смешно вытягивал вперёд когтистую лапу и до предела выпячивал губы. Мог ходить в обнимку с бойцами. А каждый невсамделишный бой собирал не меньше зрителей, чем любой настоящий ринг. Надо было придерживаться только обязательной очерёдности в победах — и благодушию маленького баварца не было конца.

Кончилось всё очень печально. Один самолюбец (а такие попадаются везде, даже в раю!) не поддался Мишке ещё и ещё раз. Парни кричали:
— Дай ему себя поломать!

А тот только больше краснел, пыжился и валил косолапого каким-то неизвестным приёмом. Потом оказалось, что до войны он борьбой занимался.

Медвежонок, подросший и возмужавший на хороших солдатских харчах, натренированный в постоянных «сеансах» борьбы на равных, обозлился и как сгребёт своего обидчика! Полшкуры со спины человека так на когтях зверя и осталось!

Еле выручили незадачливого борца, а успокоить Мишку не мог никто. Он прыгал высоко сразу на четырёх лапах, рычал, царапал землю так, что комья летели во все стороны.

На крик прибежала санинструктор Варя, израненного увела в свою медицинскую палатку. А через несколько дней раны загноились. Был санбат. И решение начальства: животное пристрелить как бешеное.

Напрасно бойцы, которые сделали трофейными фотоаппаратами множество снимков этой неправедной борьбы, пытались доказать, что медведь не виноват, его спровоцировал сам Адырбаев.

Особенно заступался за неразумного зверя старшина Гойденко, с которым у малыша сложились самые тёплые отношения. Со скрытой слезой несколько раз просил разрешения у дежурных по штабу пробиться к товарищу комполка Леонову сын полка Федя. Всё напрасно! Приказ есть приказ! И дисциплина тоже военная!

Ходил к Леонову и отец Тони по её просьбе и слезам. Обращались к командиру дивизии другие офицеры, считая, что общение с живым медвежонком поскорее вылечит бойцов от фронтовых стрессов. Это же утверждали санинструктор Варя и даже вечно сонный врач Пирамидон. Ничего не помогло. Был из штаба корпуса приказ. Надо его исполнять.

Одно правильно учли командиры: для приведения приказа в исполнение не стали привлекать никого из бойцов своего подразделения. Знали, что приказ не исполнят. Но что тогда делать?

Бойцам хотелось напрочь позабыть о крови. Сузить всё увиденное на фронте до минимума. Думать о нём как о случившемся не с ними, а с кем-то посторонним. Иначе и жить-то дальше нельзя!

А тут, среди шквала весёлой возни, почти детской игры, приказ снова стрелять. И в кого? В того найдёныша, которого старшина батальона Гойденко, дядька немолодой, грузноватый, выкормил со своих рук. Во время атак возил с собой в обозе, держал поближе к кухне.

Кого нашёл командир полка на роль палача, неизвестно. Только пока такого искали, бедный Мишка ревмя ревел, прикованный на цепь: вольного и всеми любимого зверя оскорбили ещё до смерти.

После убийства всеобщего любимца в части несколько дней не слышалось ни смачных бойцовских шуток, ни смеха.

Пожёванный медвежонком чувствовал общее отчуждение. И, кажется, сильно раскаивался. Вскоре ему вышла демобилизация. Слёзного расставания не получилось: никто не проводил пострадавшего, только что вернувшегося из госпиталя, хотя бы до КП. А потом и вовсе о нём забыли.

И что удивительно: прошли люди все ужасы войны: видели смерть и анфас, и в профиль, а вот история с медвежонком как бы заслонила всё своей нелепостью и несправедливостью.

Найдёныш старшины Гойденко

Особенно переживали о медвежонке сын полка Федя да старшина Гойденко. Теперь старшина, человек несколько нелюдимый, ждал с нетерпением демобилизации. До войны работал он в Костромской области колхозным пасечником. Себя считал русским чистокровным, только вот непонятно, как и от кого осталась у него эта украинская фамилия. Пчёлами занимался его отец, а раньше — дед. Всю войну вспоминал старшина своих пчёлок. Жена писала, что осталось в селе несколько пчелосемей. Но не умеют с ними заниматься так, как он.

Домой его всё не отпускали — некому было сдать материальные ценности, которые висели на нём: каптёрку и остальное многосложное старшинское хозяйство. Швеи, сапожники, прачки, батальонный парикмахер — всё сошлось в его руках. И трофейное имущество, никем не учтённое и погибающее от дождя, дожёвывающее последние крохи сена, хрюкающее и крякающее, — тоже его забота.

Душа рвалась на волю, на гражданку, хотя и знал, что, как только вернётся домой и сдаст

красноармейскую книжку, не получит взамен никакого документа, не сможет по своему желанию никуда уехать. Даже Юрьева дня не будет!

Мысли старшины — дома, а здесь, в части, он с рвением занимался пчёлками, вывезенными из-за границы. Хотел улучшить породу костромских пчёл. Вся операция по вывозу и последующей жизни их проходила, правда, в тайности от его непосредственного начальства — капитана Батищева, который страшно боялся пчелиных укусов и был против старшинских чудачеств.

Но ничего! Как только старшина впервые, ещё под Львовом, откачал мёд через немецкую медогонку не виданной им ранее конструкции да поставил гвардии капитану плошку с душистым мёдом, тот не изругал своего подчинённого, а уплёл мёд за обе щёки.

Мёдом спас старшина медвежонка, который остался без матери, когда бойцы притащили его в обоз — крохотного, полумёртвого. Кто знает, сколько дней он пролежал рядом с подорвавшейся на мине матерью? Молоко пить отказался. Был так слаб, что сосать уже не мог. Афанасий Гойденко открыл малышу рот, сунул туда палец, измазанный мёдом. И дело пошло! Малыш открыл глаза. Стал делать едва заметные сосательные движения. А потом как куснёт своего спасителя!

— Ого! Вот это да! Будет, будет жить!

Потом и молоко стал сосать. Сначала сгущённое. А когда Пирамидон объяснил, что им кормить нельзя, что от этого молока малыш даже может умереть, в очередной помещичьей усадьбе взял старшина дойную козу да и возил её целых два месяца в обозе, чтоб свеженькое молочко всегда под рукой было.

Убило козу при артобстреле. На одном привале, где они находились с ещё одной воинской частью, узнал старшина от ихнего старшины о заграничном «чуде». Сушат, мол, фрицы молоко. Вот до чего додумались! И надо просто в какой-нибудь немецкой кухне побогаче поискать среди припасов это молоко. Или у немцев спросить. Этим вот можно медвежонка докормить.

У старшины той, соседней, части было такое молоко. Но тот оказался хитрюгой, предложил:

— Старшина, лучше отдай нам своего найдёныша, поскольку у нас молоко есть, а у тебя нет. Мы сами малыша выкормим.

— Ах ты, жмот! Я тебе — медвежонка живого, а ты мне даже задрипанного молока фрицевского дать не хочешь?!

— Ну ты бешеный! Всё равно медведь не твой, а найденный. Отдам я тебе весь мешок с молоком. Только не ори! — и уже мирно: — Пейте на здоровье!

И вот с таким мохнатым выкормышем пришлось его спасителю под занавес жизни в воинской части расстаться. Всё повидавший старшина, похоронивший сотни бойцов, погибших на фронте, в день казни лесного зверя заперся у себя в каптёрке и, говорят, тяпнул не свои боевые сто грамм, а много больше. Ночью ходил по расположению части, всех будил, чтобы медвежонка спасали, а не спали. За что посажен был на «губу». Впервой за всю войну!

На учёбу в Москву

В ту же ночь Федя тайком, как маленький, прижав к себе Пальму, плакал в подушку о своём мохнатом косолапом друге. Он никак не мог предположить, что главное его горе ещё впереди. А оно росло и приближалось…

Совсем незадолго до самоубийства Алексей Иванович Устинов определил своего воспитанника в Московское военно-музыкальное училище.

Это было огромной радостью, но предстоящая разлука с майором и своим названым отцом её омрачала. Вернувшись в часть, Федя собрал свои нехитрые пожитки, взял с товарища гвардии майора дяди Алёши обещание, что тот будет часто навещать курсанта, и пришёл попрощаться с мамой Тони.

Они долго о чём-то шептались, потом мама испекла ему блинчиков на дорогу. Снова вспомнил он бабушкины блины. Пока мама пекла блины, чтобы накормить будущего музыканта и положить их ему как можно больше в вещмешок, Федя рассказал о приёме в училище.

Оказывается, дядя Алёша всё заранее обговорил с начальником училища. Так что у новобранца просто проверили слух, ритм да велели спеть какую-нибудь песню. Он хотел запеть песню о Лёне Черевичкине и его голубях. Часто пел её в вагонах, когда голосом добывал себе кусок хлеба. Но потом, вспомнив совет Машеньки, спел песню Глинки о первом в России поезде, которую они с ней разучивали. Его приняли без лишних слов, а Алексей Устинов сказал:

— Хорошо тебя Маша подготовила. Вот бы сейчас её порадовать! Ты ей обязательно напиши. И вообще — держись Маши. Вот тебе её адрес. Никогда не теряй с ней связь. А в бытовых вопросах всегда поможет Прокоп Федотович. Ну, отец твой наречённый! Чоловик! Экий ты непонятливый! Ну, гвардии младший сержант. Да и часть тебя поддержит, если что.

— Всю обратную дорогу, — рассказывал Федя, — гвардии майор допытывался, почему я будто бы не рад будущей учёбе. А как я могу по-настоящему радоваться, если снова остаюсь сам по себе? Я-то знаю, что это такое! Помыкался полтора года один. Пока дядя Алёша меня не обогрел.

Он заговорил вдруг совсем по-граждански, назвав своего наставника дядей Алёшей. Его окликнул Чоловик. Пора отправляться в Москву, в новую жизнь.

Прошло несколько дней. Чёрной тучей вползло то смурое утро, когда не стало майора Устинова. Федя появился в части только через месяц после похорон майора. Ему дали увольнительную.

На землю за этот месяц легла настоящая зима, офицерские семьи наконец-то вселились в казарму. Феде ещё на КП сказали, что нет больше гвардии майора Устинова. Нет в части гвардии младшего сержанта — дяди Прокопа. И он с зарёванным лицом, тщательно скрывая слёзы, пришёл в офицерскую казарму, где и узнал, как всё произошло.

Чтобы как-то отвлечь Федю от оглушившего его известия, мама Тони принялась расспрашивать

его об училище. О самом первом дне. Федя рассказывал, что курсанты окружили его, трогали медаль на груди. Спрашивали, кем ему приходится Герой Советского Союза, который устроил его на учёбу среди года.

— У всех учебный год начался в сентябре, а у меня в ноябре. А ещё называли везунчиком, о медали допытывались с издёвкой, настоящая она или картонная. Но вообще-то ребята там хорошие. Это они меня на первых порах проверяли. Какой я — взрывной или нормальный. А меня разведка и товарищ майор приучили к сдержанности. Так что экзамен перед своими будущими однокурсниками я выдержал. Гвардии майор уехал, а я, — всхлипывая, продолжал Федя, — принялся устраиваться в казарме училища, радостный и весёлый. Даже в голову не пришло, что навсегда расстаюсь со своей фронтовой семьёй: с дядей Алёшей, товарищем гвардии майором, Чоловиком и Пальмой.

Здесь он заревел в голос.

— Такой большой, а ревёшь, — сказала Тоня. — А ещё — разведчик!

— Будь я рядом да предположи, что самое ужасное товарищ майор задумал, я бы не позволил ему такое над собой сделать! И зачем только поехал я в это чёртово училище? — совсем никак не отреагировал на её слова Федя.

— Не казни себя. Значит, такая у него судьба. А против судьбы не пойдёшь!

Надо сказать, Тонина мама всегда верила в судьбу, гадала на картах. Но Федю она просто утешала. А в отсутствие его сама причитала в голос над майором Устиновым, как это принято на Украине над самыми близкими людьми. И очень сожалела, что вечером перед трагедией уехала в Москву и не зашла к Алексею Устинову перед поездкой. Считала, что её слова отвели бы ту беду.

Она не сказала Феде, как прямо-таки убивался старый солдат, что послушался товарища гвардии майора — отправился на прогулку с Пальмой и оставил его наедине с тяжкими думами:

— Хучь бы Пальма була з им! Може б, Пальму пожалив! Тэж — сирота осталась! Мэни треба було обратить внимание, что в то утро всё было не так. Майор не велел нагреть воды для бриття, не поив ничёго. Да и на прогулку спровадив, як ше сонце не взойшло.

Только все эти сожаления были напрасными. Никто не в силах был предотвратить трагедию. Дядя Алёша обдумал всё до мелочей. Он будто бы описал всё в письме. Но никто этого письма не видел — все его бумаги забрали в особый отдел. Ординарцу отдали только записку по поводу собаки.

Перемена судьбы

Ординарец Устинова сделал всё, как было велено. Теперь Пальма жила у Тониного отца, ему же отдали дорогое ружьё дяди Алёши. Называлось оно «Зауэр». Красивое такое, на ложе гравюра: через лес бежит великолепный олень, а за ним — стая гончих собак.

Когда Тоня вернулась из Наро-Фоминска, её мама сокрушалась, что несколько дней Пальма даже не подходила к миске с едой. Попытки накормить её насильно кончались тем, что она просто не раскрывала рта, с усилием сцепляла зубы. Пирамидон сказал, что она может даже сдохнуть.

Только ординарец Устинова, которого временно, до окончания следствия, вернули в часть, смог заставить её поесть.

Долгое время на прогулку её выводили на поводке — она пыталась убежать. Как уверял старший сержант Балобанов, сибиряк и охотник, могла сбежать в Наро-Фоминск, где на кладбище был похоронен её Хозяин. И, мол, могилу отыщет. И там будет лежать без воды и еды.

Раза два её ловили часовые у самых ворот. Она никого не признавала за Хозяина. Все были ей чужими, случайно приютившими её в связи с временной потерей прежней жизни.

Оно и понятно, ведь майор Алёша, как это положено по собачьему разумению, никому её не передал со словами: «Вот тебе новый Хозяин!»

И только когда отец Антонины взял дяди-Алёшино ружьё, патронташ и сказал:

— Пальма! Пойдём на охоту, — она разом встрепенулась и, гордо держа свою породистую голову, выбежала вслед за Человеком с Ружьём.

К этому она была приучена ещё в Германии. Там старый Профессор не всегда мог сам готовить её к открытию охоты, то есть — натаскивать. Приказывал ей временно Хозяином считать Человека с Ружьём.

Чаще всего с ней охотился тот самый молодой человек, что приезжал на смешном велосипеде к дочери Хозяина. Одет он был в щегольскую охотничью куртку и тирольскую шляпу. Собирался в дорогу очень долго: всё что-то подкручивал в велосипеде. По много раз отвинчивал и завинчивал одну и ту же деталь и поглядывал на парадное крыльцо. А та, ради которой он так часто посещал Профессора, всё не выходила.

Отправлялись они только после того, как Профессор выходил выкурить очередную трубку, перегибался через перила и кричал:

— Что, Ганс, старина?! Что-то с машиной?

После его вопросов всё сразу становилось исправным. Молодой охотник брал велосипед за «рога». Они торопливо шли через сад, где в огромных горшках цвели магнолии, мимо увитых розами беседок, по жёлтым от речного песка дорожкам.

А в дни, когда дочь Профессора всё-таки появлялась на дорожках сада, юноша снимал шляпу, говорил, вероятно, что-то несуразное. А она милостиво глядела на него, потом начинала быстро-быстро гладить собаку.

— Эльза! Не задерживай Ганса. Они прокараулят зарю, и весь поход пропадёт зря! — это опять голос Профессора.

Охотник и собака ускоряли шаг, а когда Эльза совсем скрывалась с глаз, Ганс останавливался, хватал собаку в охапку и долго кружил с ней по лужайке. Прижимал крепко-крепко к груди и даже целовал в шёлковую голову.

Потом они садились на велосипед: он — за руль, а она запрыгивала в уютную, но несколько тесноватую плетёнку. Долго ехали по извилистым

тропинкам. В конце пути он давал ей вдоволь набегаться в охотничьем парке, где по водной глади скользили настоящие утки. Но Пальма знала, что здесь нельзя бросаться на них. Это было строго-настрого запрещено!

На настоящую охоту они отправятся, когда на деревьях останется совсем мало листьев. Поедут в вагоне с несколькими охотниками и их собаками. А пока…

В Германии старый егерь и Человек с Ружьём натаскивали молодую собаку на подсадных уток и учили её держать стойку. При этом младший свистел в манок, как на настоящей охоте. Его фетровая тирольская шляпа съезжала набок, совсем как уже в России, у майора Алёши.

Всё-таки как же её звали тогда? Она помнила в мелочах всё, вплоть до прыгающих на нос скользких и горластых лягушек, но начисто забыла своё немецкое имя. Может быть, непонятное имя «Пальма» и было всегда её родным?

— Пальма! Пошли! — это уже не в воспоминаниях, а наяву прозвучал голос Нового Хозяина, или, как она про себя считала, Человека с Ружьём. Всё равно она ждала своего Алёшу.

Первое время диковинная собака каждый раз бежала к дверям, как только звучали чьи-либо шаги. Тоне разрешала играть с собой только во время прогулок. Обычно Пальма тянула поводок в сторону прежнего своего жилья.

Вскоре всё окончательно укрыл снег, и она, сколько с ней ни бились, ползком добиралась до покрытого первым снегом четырёхугольника устиновской палатки. Припадала к нему. И никакая сила не могла её оторвать от земли. Проходило несколько минут. Голова собаки в это время опускалась на лапы.

Точь-в-точь так делал Чоловик после очередного рассказа о своём майоре. Голова его тогда тоже клонилась всё ниже, затем вовсе падала на руки.

Потом он гладил Пальму, что-то быстро говорил ей на своём языке. А однажды даже посадил её к себе на колени. Смерть Хозяина сблизила их. Он будто бы забыл, что собака не русская, что она из Неметчины, то есть из вражеской страны, злые люди которой лишили его дома и семьи.

Дела армейские

В части всё было общим — и дела, и планы, и воспоминания. И обсуждение будущей жизни на гражданке. Она представлялась всем радужной, совсем не такой, как до войны. В городах появится изобилие, колхозникам дадут паспорта, и на трудодень начнут выдавать хлеб. А может, даже гроши. И займы вернут, что брали в войну и перед войной. А новых — не будет. Ведь враг сломлен, он остался там, за границей. А дома — воля и одни друзья.

Бойцы с нетерпением ждали демобилизации. Руки зудели по гражданской работе. После разрушений так хотелось строить, а ещё больше все ожидали заслуженного к ним — победителям — уважения. Между тем по всем городским площадям и закоулкам сидели нищие, искалеченные войной как раз эти самые победители, которые на своих плечах принесли мир. По электричкам и поездам пели, играли на чём угодно инвалиды — бывшие герои войны.

Уже получил один из бойцов разведроты, Найдёнов, треугольник из Казани, что его только что демобилизовавшийся друг арестован. А вслед за тем куда-то исчез сам Найдёнов. Он незадолго до этого принёс в палатку и подарил Тониному отцу несколько своих рисунков. На них — ещё живой медвежонок и гуси с большими шишками на носах, смешно шагающие к озеру.

Развесили эти картинки на стенку палатки, приклеив их мякишем чёрного хлеба. Он обещал нарисовать Пальму, а когда её привели в казарму, там сказали, что боец Найдёнов больше в части не появится.

Спросила Тоня у своего папы, куда делся её друг-художник. Он помрачнел и сказал, что найдут другого, кто ещё лучше Пальму нарисует.

Обсуждения будущей жизни часто происходили при Тоне. Никто её не гнал, а сама она, наученная мамой быть сдержанной, никогда не лезла ни к кому с расспросами. Исключение составляли дядя Алёша и Машенька — два Тониных настоящих взрослых друга.

Все её знакомства не выходили за рамки офицерской части городка. В школе она как-то ни с кем не сошлась. Её, одетую Машенькой в трофейные шмотки, оборвыши школьные избегали. За редким исключением. Дружила с ней только толстая дочка папиного знакомого рыбака. А когда Тоня появлялась в классе, та подсаживалась рядом и вынюхивала, чем так вкусно пахнет из её жёлтого трофейного портфеля.

А в расположении части её удивлял один факт: их весёлый и замечательный Карим дружил только с ординарцами других офицеров. А бойцы из больших палаток и казарм с ним почему-то не дружили.

— Как так? Вместе воевали, все пришли с одинаковой войны. Так почему же те, в палатках-казармах, не дружат с теми, что живут с нами?

— Видишь ли, это трудно понять, — отвечал тогда ещё живой дядя Алёша. — Просто окопные бойцы считают службу ординарцев как бы безделицей. И особую ревность проявляют, если командир за какой-нибудь подвиг представит своего ординарца к награде. Они же не знают сути дела. И даже высказываются, что это будто бы просто за хорошее обслуживание. Я, например, выхлопотал для своего ординарца медаль «За боевые заслуги» за поимку им «языка». И хотя это получилось у него случайно, «язык» оказался таким знатным, что командующий корпуса Полубояров наградные документы подписал без разговоров.

Дядя Алёша часто разговаривал с Тоней во время долгого пути от Львова до Подмосковья. Семья гвардии капитана, отца Антонины, поскольку в ней был единственный ребёнок части — «капитанская дочка», ехала в штабной машине, которая стояла на открытой платформе.

Сентябрь был очень дождливым, и многие офицеры приходили к ним на чаёк, занося с собой на плащ-палатках дождевые струи.

Самым желанным гостем Тоня считала дядю Алёшу. Когда он начинал подробно и обстоятельно отвечать на её многочисленные вопросы, отец порой сердился:

— Что ты с ней как с взрослой разговариваешь? Что она понимает?

За дочь заступалась мама, Анна Сергеевна:

— Ну, отец! Совсем ничего ты о своей дочери не знаешь! Она почти всю войну одна справлялась со всеми домашними делами. Я-то очень редко бывала дома. Не суди о ней по довоенным меркам.

Часто по металлической обшивке машины барабанил дождь. Их жильё на стыках рельсов подбрасывало чуть вверх. Держали штабную машину только растяжки из толстой проволоки. Всё казалось нереальным. Думалось, что вот-вот временная машина-хатка спрыгнет с платформы и покатит себе по долам-лесам в далёкий и совсем неведомый военный подмосковный городок.

За крохотным окошком, взятым в крепкие продольные решётки, мелькали на обочине дороги остовы обгоревших вагонов. Мимо проплывали печные трубы несуществующих селений. Трубы и трубы — как обелиски страшного времени.

И совсем по-домашнему звучал голос дяди Алёши…

Рассказ майора Алексея Устинова о Мефодии и Балобанове

— Специально для тебя, Тонечка, могу привести пример настоящей дружбы бойца окопного и того, кто всю войну состоял при начальстве. Да ты и сама, вероятно, обратила внимание, как часто в гостях у Мефодия, ординарца командира полка Леонова, бывает гвардии рядовой Балобанов. Люди совсем разные, встретились только на войне. И вот сложилась настоящая дружба.

Тоня чётко представила себе этих двух совершенно не похожих друг на друга бойцов. Огромного, уже в годах, Балобанова, в коротко обрезанных кирзовых сапогах. От него постоянно разило табачищем. И Мефодия — стройного, подтянутого щёголя, в офицерских, не по званию, до блеска начищенных юфтевых сапогах. Носил он офицерскую шинель. По разрешению командира ему оставлял кудрявый чуб полковой парикмахер. Тогда как бойцы почти поголовно были оболванены вездесущей машинкой «под ноль».

Мефодий, как говорили в части, одним из первых гармонистов освоил трофейный аккордеон «Вальтмайстер». И даже других научил одной рукой играть «Собачий вальс».

Он курил папиросы, а Балобанов — какую-то особенно зловредную самосадную махру. При приближении к нему Пальма чихала, потом тёрла двумя лапами нос. Балобанов специально пускал на неё дым, оскорблялся её поведением и говорил:

— Чо, немчура? Не любишь русский дух?

Она глядела в сторону и безнадёжно укладывалась у ног Чоловика, пока тот о чём-то ей совершенно непонятном беседовал с этим неуютным и громким человеком. Так что у неё были свои причины недолюбливать Балобанова. А в основной части городка, как Тоня заметила, бойцы его любили. Причины этой любви объяснил ей дядя Алёша в один из дождливых сентябрьских дней их железнодорожного путешествия.

— Вот ведь диво! Дружили два совсем непохожих человека. Дружили крепко и надёжно. И дружба эта порой вызывала изумление.

Балобанов — запасливый такой, но не жадный. Поэтому вокруг него постоянно кто-нибудь «промышлял» то махоркой, которую ему слали из дома, то каким-нибудь нехитрым солдатским приладом.

У Мефодия никогда и никаких запасов не водилось, за что ему не раз выговаривал гвардии полковник. Ординарец всё раздавал, щедро делился с любым, кто попросит, всем, что имел сам.

И это — не диво! Рос он в детском доме, а то и вовсе беспризорником, поэтому скопидомство, то есть накопительство, было ему чуждо.

Сибиряку Балобанову давно перевалило за тридцать, а москвичу Мефодию было только двадцать два.

Держался он обособленно и, по первому взгляду, даже недоступно: как-никак при высоком начальстве состоит! Но это только напускной вид! Если бойцы просили его похлопотать за них перед полковником, он никогда не отказывал. Так что высокомерие его было явно напускным. Хотелось по-мальчишечьи поиграть в начальство! И всё тут!

С детства парнишка испытал на себе всякую человеческую несправедливость. Поэтому понимал слабости солдатские, их тоску по дому. У него не было ни дома, ни лома! Единственный человек, к кому прирос сердцем, был этот громогласный друг, с кем ходил он в свою самую первую атаку. Тогда Балобанов, сибиряк и охотник, вывел его и себя из окружения под Смоленском, спас парня от верной смерти.

А ещё видел парнишка в нём ту доброту, которую искала одинокая душа всю его расхристанную жизнь.

И совсем не чудеса, что взял его комполка в ординарцы! Хотя до войны от голодухи детдомовец приворовывал. И даже был в детской колонии. Это не удивляло — среди рокоссовцев воевали бойцы и не с такими биографиями. И с небывалой храбростью. А тихони и паиньки мальчики-девочки к ним не попадали.

А что гвардии полковник Леонов полвойны жизнь свою доверял именно этому, быстрому, как стрела, вёрткому, цыгановатому молодцу, говорит о многом. Сам Мефодий прошёл сквозь войну, как сквозь игольное ушко, и «батю» своего сберёг.

Почему он называл за глаза полковника «батей»? Так вот, чтобы ты знала, «батей» на фронте обычно называли командира батальона. Да так оно и было: ординарцем боец стал ещё при гвардии капитане Леонове, когда тот командовал батальоном.

До войны, совершенно гражданский, Леонов преподавал в Московском пединституте. На фронте, когда надо было выбирать себе ординарца, взял трудного, но самого бесшабашного из молодых. А ещё веселило редкое имя этого рослого смуглика. За время совместной службы по-отечески полюбил своего ординарца, и когда английская

королева каждому кантемировцу подарила по отрезу высококачественного сукна на шинель, распорядился сшить из этого отреза шинель для Мефодия.

Это было ещё в Судовой Вишне. Шил её лучший портной Львова — Ефим Хацман. Видела, какая на нём шинель? Надо сказать, что и офицерские сапожки, и роскошную шинель подопечный командира полка носит только в расположении части. Ибо за её пределами его сцапает первый же солдатский патруль.

Когда надо ехать куда-нибудь, он с грустью надевает свою длиннополую шинель из грубого сукна и кирзовые сапоги, которые от редкого пользования пересыхают и никак не лезут на ноги.

Балобанов всегда пребывал в своём обычном добротном солдатском виде. Из боёв часть каждый раз выходила сильно поредевшей. При переформировании Балобанова несколько раз собирались перевести в другую дивизию, как очень опытного и толкового бойца, но его друг раз за разом отстаивал своего товарища. И они снова воевали вместе!

Сибиряк дружил со всеми сразу, и если видел, как у новичка коленки подгибаются в первом бою, опекал его, учил извечной своей хитрости не высовываться, но и не прятаться:

— Уши оттопырь! Слышишь, как пуля-пчела жужжит? Она знак тебе подаёт: «Ужалю! Укушу! У-у-у». А ты к стенке окопчика прижмись и сиди. А окоп — не ленись, глубжей копай! Понял?

А ещё он слыл за богатенького — ему присылали из дома ценные посылки. А что на фронте ценней всего? Ну конечно же, зверская махра. Хватало той посылки ненадолго — он не жадничал. Но без курева не оставался: угощённые бойцы и ему отсыпали из домашних кисетов. А когда случалось совсем туго с куревом, шла в ход солдатская присказка: «Браток! Дай сорок», — что означает: дай бычок докурить!

Тут ты наверняка подумала, что дружба его с Мефодием основана именно на том принципе: ты — мне, я — тебе? Ан нет!

Как только часть отводили на отдых, ординарец Леонова находил своего друга, ощупывал его со всех сторон, прямо-таки как девку какую, на предмет, не ранен ли он. Знал, что тот всегда лез в самую гущу боя. Ходил по окопам, почти не сгибаясь. Сплёвывал сквозь зубы и похохатывал:

— Нас, сибиряков, никакая пуля-дура не берёть!

Так и проходил всю войну с прибаутками:

— Кто на меня нападёть, от меня и погибнеть! Не отлита пуля на хлебороба и охотника!

Он за друга своего тоже боялся и рад был, что и тот цел-невредим.

Тут я тебе пояснить хочу кое-что. Известное дело, что пока боец один на один с пулями и со снарядами, старший офицер наблюдает за боем с контрольного пункта, КП то есть. С ним адъютант и ординарец. Какое ни есть, а укрытие.

Это в самом начале войны командир должен был впереди бойцов в бой идти. Перебили лучших офицеров, командовать стало некому. Вот и вышел приказ командиров беречь. Впрочем, разве можно кого-либо надёжно на войне сберечь? Вот только в нашей дивизии за полгода два командира сменилось. А в батальоне?

Дядя Алёша ещё что-то рассказывал, пересыпая речь своей присказкой о чудесах и о диве, но Тоня обычно засыпала, не дослушав до конца. Окончание этой истории было впереди — оно пришлось на самый конец ноября, когда разъехались по домам уставшие от войны бойцы. И когда уже не было в живых рассказчика.

А пока что был сентябрь. Штабная машина. Под звучание голоса дяди Алёши и постукивание платформы на стыках спалось безмятежно и крепко. Пальма, с которой обычно приходил гость, тоже засыпала. Её оставляли в машине до следующего визита.

Ближнее знакомство со «смугликом»

Однажды к ним в вагон неожиданно пришёл полковник Леонов. Это было на одной из станций. С ним — Мефодий. Тоню вместе с мамой выставили из машины за дверь, прямо под дождь. Леонов быстро поговорил о чём-то с капитаном, потом они оба спрыгнули с платформы. Ординарец Леонова остался на платформе.

После рассказа дяди Алёши об ординарце полковника Тоня глядела на него во все глаза, как будто видела в первый раз. И на всякий случай засунула своего плюшевого мишку под подушку.

Пальма, которую снова, несмотря на мамин протест, оставили у них, так и вертелась у его ног. Он гладил её по голове, быстрые и тонкие пальцы парня скользили по шее собаки. Было обидно, что Пальма разрешает ему так с ней обращаться. Обида эта быстро была разгадана.

— Не сердись! Знаешь, как мы всем полком откармливали её в Германии? Такая была — ну в чём душа! Совсем как я до мобилизации. Понимаешь?

Пальма слегка покусывала ему руку. Наверное, вспомнила, что именно он был первым из русских солдат, у кого она взяла из рук еду. От него не очень пахло табаком. Он всегда был в настроении. Разговаривал с ней при каждой встрече. И хотя она не понимала в то время ни слова, невольно прижималась к его коленям. Искала защиты.

Когда Хозяин уходил куда-то, её приводили к полковнику. Мефодий оставался с ней в то время, когда вдруг разом начинали стрелять большие пушки и у неё нестерпимой болью пронзало уши. При каждом залпе он руками закрывал ей голову. В огромной железной машине, где они однажды оказались, держал её на коленях.

Чудище на железных гусеницах лязгало всем телом, а Пальму охватывал ужас. Не хватало воздуха, внутри было темно, отвратительно пахло чем-то похожим на дым от махры, только много противнее. Потом чудовище остановилось. Бойцы, что заставляли его двигаться, о чём-то перекрикивались. Всё громадное железное тело вдруг вздрогнуло и изрыгло из своей пасти круглую железяку, потом ещё и ещё. Если бы рядом не было её спасителя, она бы наверняка умерла от страха. Хотя её прошлая жизнь, перед тем как приголубил её Новый Хозяин, и так была наполнена страхом.

Отрывки той жизни всплывали в её памяти. Вот они со старым Профессором и его больной женой бредут и бредут куда-то. На них летят с неба такие же посылки, как там, где остался их уютный дом. Профессор при каждом появлении на небе железных птиц закатывал тележку с больной женой в какое-нибудь укрытие. Туда же прятал и её, Пальму.

Самым тяжёлым впечатлением ушедшей жизни для Пальмы было чувство постоянного голода. Иногда они останавливались у большого котла с едой. И люди, говорящие на непонятном языке, в негражданской одежде, наливали в котелок еду и давали хлеба.

Профессор всё делил на троих поровну. Её желудок обжигала еда, судороги голода на время отступали, и они втроём снова брели неведомо куда.

Когда Пальма совсем ослабела от голода и от бесконечной дороги, Профессор стал умолять кого-нибудь спасти собаку. Но все были так же несчастны и голодны, как и они. А советским офицерам, которые встречались на пути, было не до собаки, да они к тому ж не понимали Профессора.

И снова она брела дальше в полузабытьи, когда Профессор наклонился к Пальме, поднял её на руки и передал молодому офицеру, который неожиданно с непонятного языка перешел на её родной:

— Ты пойдёшь со мной. У меня много еды. Мы будет с тобой после войны охотиться.

Ей хотелось сказать: «Не надо! Я останусь со своим Хозяином до конца». Но Профессор протянул незнакомцу поводок и сказал самые главные слова:

— Это твой Новый Хозяин! Иди с ним и слушайся его, как меня!

Он надолго прижался к её высокому лбу и поцеловал.

Новый Хозяин, гвардии майор Устинов, посадил её в машину, и они поехали в новую жизнь, где были Чоловик, Машенька, Шишкин, Мефодий и вся фронтовая семья воинской части.

Потом — через тяжёлые и тревожные дни на фронте — долгая дорога домой. Nach Hause! Домой! Так говорил Новый Хозяин. А для Пальмы её Haus навсегда остался в той стране, где в огромных горшках цвели магнолии, над розовыми кустами порхали крупные яркие бабочки. Сейчас, под унылым сентябрьским дождём, она ехала в неизвестность.

Первая же охота в Подмосковье доставила ей большую радость. Они шли по сонному городку, потом немного по росной тропинке — и вот оно, утиное болото!

С войны — на гражданку

Между тем пришёл конец октября. Началась повальная демобилизация. И хотя её ждали с нетерпением, не все уезжали быстро и охотно, как не все потом сразу сняли военную форму, а особенно военные фуражки, которые в деревнях, например, были модны до полного износа!

Душа солдатская рвалась домой, и всё же нелёгким получалось расставание с друзьями, приобретёнными на прошедшей войне, которая, казалось, сидит у всех в печёнках.

Одни убывали на гражданку сразу же, наскоро попрощавшись: их ждали, они спешили. Многие потеряли свои семьи, родимые гнёзда. Им торопиться было некуда. Но старшина снимал с довольствия, выдавал на дорогу сухой паёк. И живи, дорогой, где хочешь и как хочешь!

Поезда, переполненные демобилизованными, забивали перегоны: дорожная колея во многих местах была только одна, другие только ещё восстанавливались. Кругом неразбериха. На станции, куда Тоня с папой несколько раз ездили по каким-то папиным делам, она видела составы, увешанные гирляндами желающих уехать — на крышах, на подножках. А посадка в вагон через окна? Вы такое видели?

Шуточное ли дело — даже из одного только Кантемировского корпуса демобилизовали сразу больше половины личного состава. Сначала домой отправляли семейных да заводских и колхозников, чтобы было кому заменить измордованных работой женщин и малолеток.

Убыл Балобанов в свою далёкую и загадочную Сибирь, о которой так много говаривал ещё на фронте любому слушателю. А для друга своего, Мефодия, отдельно добавлял:

— После войны поедешь ко мне в Атаманово. Дом у меня листвяжный, добротный и просторный. Места всем хватит. Да и куда тебе ехать? Кто тебя ждёт? В нашем колхозе девки — во! Кровь с молоком. Взять хотя бы сестру моей Натальи! В самом соку!

А уж в военном городке под Москвой уговорам сибиряка и вовсе не было конца. Анна Сергеевна, мама Тони, говорила бывшему детдомовцу, что нельзя такому одинокому человеку, как он, терять эту дружбу, рождённую и выращенную на фронте:

— Ну кто тебе роднее сибиряка?

Из Сибири на имя оставленного друга пришло несколько писем. Мефодий читал их вслух ещё не демобилизовавшимся бойцам, написанные чернильным карандашом, коряво, но нежно: «Приезжай, друг! Всё, как я обещал. Свояченица ждёт. Карточку, что мы с тобой в Варшаве снимались, к себе утащила».

Подъедали бойцы Мефодия:

— Гляди-ка, дед тебя уже заочно сватает.

(Дедами молодые бойцы называли всех, кто был чуть старше их.)

Тот отшучивался как мог. Получив из штаба проездные документы, а от командира полка — немалые подарки, наставления и нежные целования в обе щеки от Тониной мамы (вот уж — телячьи нежности!), уехал к своему другу.

Через месяц пришло от Мефодия письмо на имя Карима. Восторженное! Сибирь его очаровала, Енисей — поразил и восхитил. Но особенно похвалялся парень, что на днях взамен красноармейской книжки получит настоящий паспорт, так как принят на работу не колхозником, а завклубом и по совместительству — киномехаником.

А ещё писал, что крепко жмёт Кариму руку за подаренный аккордеон. Председатель колхоза как увидел на его плече сверкающее чудо, так сразу отправил в район оформляться на завклуба. «Без

него,—писал счастливчик,—ходить бы мне в колхозниках без паспорта. А так я—вольная птица! Куда захочу—туда полечу!»

То, что Мефодий, человек по рождению городской, осел в селе,—случай в части исключительный. Даже многие бывшие колхозники старались остаться в городе, шли на любую работу.

Фронтовой почтальон в друзей влюблён

Письмо Кариму принёс полковой почтальон. Он всегда ещё издали здоровался, весело подмигивал Тоне и говорил:

— А тебе—пишут! И в жизни ещё много напишут.

Вот и на этот раз он пришёл в палатку, отдал Кариму послание из далёкого сибирского Атаманова. Так получалось, что написал его демобилизованный сразу всем, кто его знал, но через Карима.

Прихода почтальона, как обычно, ожидала мама. Ей изредка писали брат Павел Сергеевич из Верпы и сестра Анастасия Сергеевна из Порт-Артура. Отцу Тониному никто не писал. Был он, как известно, круглым сиротой, а приёмные родители сгинули во время войны.

Почтальон Вася, веснушчатый, как будто загорал сквозь решето, окающий на все лады, ежедневно привозил в часть из Наро-Фоминска тяжеленные сумки треугольников не только всё ещё служившим в части бойцам и офицерам, но даже для тех однополчан, которые давно уже ели домашнюю кашу где-нибудь под Полтавой.

Пока именно он отвечал за почту, письма эти в большинстве своём доходили до адресата. Связывал Вася фронтовых друзей—не ленился. Ходил в штаб. Добывал новые адреса и переправлял дорогие его сердцу послания куда надо.

Задачи сам себе ставил нелёгкие, но радовался, как дитя, если удавалось добыть очередной адрес. В послевоенной неразберихе, особенно когда выходившему на гражданку и ехать-то просто было некуда, добыть новый адрес демобилизовавшегося иногда оказывалось просто невозможным.

Ну какую запись мог оставить в штабе одинокий боец, у кого за время войны не осталось никого на свете? Помыкавшись, Вася в таком случае приходил в полное отчаянье. Не получается!

Вот и разорвана ещё одна нить между людьми, что спасали друг друга от верной смерти, делили на двоих один окопчик, выкурили тысячи самокруток. А теперь вот теряют дружбу.

Особенно сокрушался Василий, если после убытия одинокого бойца на гражданку неожиданно находился у того какой-нибудь родственник.

Что мог сделать он, фронтовой почтальон? Только то, что в его силах! И Вася отправлял треугольники назад. Пусть адресат хотя бы знает, что никто от него не отказался—просто всё перепутала война. У Василия создалась целая «бухгалтерия», а по-библиотечному—картотека. Он знал, с кем особенно дружил написавший письмо. И если кому-то из бывших друзей приходило послание от третьего, четвёртого участника фронтовой дружбы, а там—желанный адрес, он сочинял письмо от себя и сообщал, куда можно писать.

В его почтальонской палатке дольше всех горел свет. Он сортировал письма, сверял их с картотекой. А утром на построение выходил невыспавшийся. Чаще всего его веснушки светились радостью. Или тускнели, если всё было напрасным.

И так день за днём! Провоевав всю войну почтальоном, доставлял в Бог весть куда продвинувшуюся за короткий срок полевую почту армии прорыва долгожданные послания и посылки! За эти годы Василий настолько привык к тому жадному огоньку в глазах бойцов, с каким ждали здесь вестей из дома, что и в мирное время не мог переделать себя.

Снова и снова ходил в штаб. Его с одного конца гонят, он в другой стучится. В штабе, где и без него велась небывалая по масштабам бумажная работа, его нередко посылали сами знаете куда. Но он играл под дурачка, приходил опять и опять. Не о себе заботился! Мол, поручили работу, так я же её выполняю как надо!

Начальник штаба тихонько, чтобы Вася не слышал, сказал однажды:

— Ну, заставили дурака Богу молиться! Он и лоб расшиб! И не только себе, но и нам!

Наконец его самого демобилизовали. Надоел, что ли, штабным до одури? Вне очереди отправили на гражданку. А ведь его годки всё ещё не расставались с плацем и винтовкой!

Уехал почтальон в свою Вологду, захватив с собой целую пачку не расшифрованных на адреса писем тех, кто призывался в Вологде и её окрестностях. Никто не сомневался, что найдёт настырный Василий своих однополчан одному ему известным способом. Но, узнав о таком действии, начальник штаба завозражал:

— Ну, сукин сын! Что удумал?! Какое право имел чужие письма увозить с собой?

Но Вася уже далеко! Не догнать!

После него почту поручили тоже фронтовику. Он равнодушно и лениво ставил на письма штемпель «Адресат выбыл». И всё. Связь обрывалась. Особенно если при расставании бывшие сослуживцы на радостях просто забывали обменяться адресами.

Жизнь в первую послевоенную осень вращалась с такой скоростью, что иногда ещё накануне боец не знал, что увольняется. А потом команда: «Такой-то, зайди в штаб!» И начиналась беготня: сдача оружия, оформление документов, получение проездных литеров и, наконец, свидание со своим старшиной в каптёрке для получения сухого пайка.

Нового почтальона мало волновало, что порой поставленный им штемпель ломает ту единственную ось, на которой только и держалась душа в это тяжёлое время. Разные бывают почтальоны, нет одинаковых людей—фронтовики они или гражданские.

Однажды во время прогулки в лесу Пальма начала рыть землю и вытащила на свет старую почтовую сумку, полную писем и закопанную под деревом. Письма уже размокли от осенних дождей, склеились друг с другом. Карим взял сумку с собой. Больше тот почтальоном не работал. Его услали на строительство свинарника.

Очевидно, это событие стало хорошо известно в части, потому что всё чаще слышались легенды о Василии Леванове—настоящем мастере своего дела. А кто-то сказал:

—- Ну, мужики! Зря мы во время войны волокли на Васю. Мол, хорошо к почте пристроился. Ничего себе! Устроился-пристроился!

И все начали вспоминать, что он и раненых девчатам с поля боя помогал вытаскивать, и обязательно переправлял почту попавшим в госпиталь или отправлял её домой, если кто-то убывал из части. Сожалели, что поздно узнали и полюбили своего Рыжика.

Анна Сергеевна, Тонина мама, однажды сказала:

— Всё познаётся в сравнении. (Намекала на Пальмину находку.)

Сестра гвардии майора— Марина Устинова

После похорон майора Устинова отец Тони пришёл домой поздно. Очень расстроенным. Почти до утра они с мамой шептались в своём углу. Тоня только слышала отдельные слова, из которых поняла, что её папик ходил к какому-то старшему смершевцу и доказывал что-то о дяде Алёше.

Под утро папа потерял осторожность и почти в голос сказал:

— Подумаешь! Пригрозили мне, что за дезертира заступаюсь. Нашли тоже дезертира! Это что— Алёшка дезертир? Попадись мне тот тип на фронте, пристрелил бы эту тыловую крысу, не задумываясь.

— Саша! Замолчи сейчас же! И у каменных стен есть уши, а у брезентовых—их сто!—со слезой в голосе сказала мама.—Алёшу не вернёшь, а нас всех осиротишь. Да если бы только!

С утра отец Тони, как замполит батальона, засел за оформление документов на майора Устинова и оформление сообщения его родственникам.

Он принёс в палатку личное дело дяди Алёши. Долго что-то писал, разложив бумаги на колченогом столике.

Мама Тони несколько раз порывалась заглянуть в бумаги через его плечо. Но он оборачивался и бросал:

— Ну что за любопытство? Оставь!

Всегда казалось, что он чуточку ревновал свою жену к дяде Алёше. По крайней мере, каждый раз нервничал, когда тот приходил к нам в гости и оставался надолго. Хотя, когда её не было дома, сам задерживал гостя у себя до глубокой ночи.

Наконец он закончил работу над бумагами.

— Ну что ж! Теперь я могу ответить тебе на твои вопросы. Спрашивай!

— Кем был майор до войны?

— Студентом третьего курса Московского института иностранных языков. На фронт ушёл добровольцем в сорок втором году.

— Родина его—Москва?

— Нет, Иваново. Там живёт его единственная родственница—младшая сестра. Так,—он заглянул в блокнот,—ей сейчас девятнадцать лет. На её имя всю войну шёл аттестат Алёши. Наверное, он был ей и за папу, и за маму. В личном деле больше никто не указан.

— Бедняжка! Сможет ли она смириться с нелепой смертью брата?

— А мне дана команда не писать причину этой трагедии.

Разговор состоялся вечером. Тоня в этот день не ходила в школу—из-за расстройства нервов поднялась температура. А утром в палатку прибежал дежурный по части:

— Товарищ капитан! Прибыла сестра гвардии майора Устинова. Просит разрешения пройти к нему.—и уже растерянно, совсем не по-военному:— Что делать? Что ей сказать? У меня на этот счёт никаких указаний нет.

— Вот что! Я пойду на КП сам. А по дороге что-нибудь придумаю.

После их ухода мама быстро навела порядок в палатке. Вскоре послышались голоса:

— Марина, заходите сюда! Здесь поговорим.

Что было потом? Потом были слёзы. Много долгих и горьких слёз. В присутствии Марины Тонина мама, да и сама Тоня наконец смогли дать волю слезам.

Оказывается, Марина (так звали сестру дяди Алёши) ехала, чтобы познакомиться с невестой брата. Он прислал Марине вызов. Но и с вызовом на руках она никак не могла взять билет в кассе. Потом не могла сесть в поезд…

Марина, с большими серыми удлинёнными глазами и такими же, как у брата, ямочками на щеках, была очень худенькой. Можно представить себе, как оттирали эту чудесную девушку от вагонных дверей здоровенные дядьки и толстые торговки с огромными, плетёнными из соломы кошёлками.

Марина жила одна. Родители брата и сестры Устиновых угорели от буржуйки на третьем году войны. Девушка тогда только окончила школу, а теперь училась в текстильном институте.

— Вот, после вашего брата мне отдали его ружьё. Оно—дорогое. Если хотите, можете взять его себе,—сказал замполит.

— Ну что вы? Зачем оно мне? У вас—собака. Пусть и ружьё тоже останется у вас. Помогите мне найти невесту Алексея.

— Сразу помочь не смогу. Все бумаги Алёши, что были в палатке, сейчас в особом отделе. Хотят найти причину такого поступка. Пройти всю войну, побывать сотни раз в пекле! И вдруг… Сначала подозревали, что его убили. Но за что и кто? Он же любимцем у бойцов был! Допросы с пристрастием вели у ординарца. Почти всех офицеров по очереди вызывали.

Отец помолчал и вышел из палатки покурить. Когда вернулся, сказал:

— Найти невесту вашего брата попробую через офицерское собрание дивизии. Только жаль, что меня тогда не было в части: как назло, услали по какому-то пустячному делу в Москву. А комбата Шишкина за день до собрания уложили в госпиталь на обследование. Прямо заговор какой-то.

На следующее утро в школу Тоню провожали уже трое: мама, Карим и Марина. Из школы—в том же составе. Девушка была заплаканная, почерневшая вся. Понятно было, что всё время они провели на свежей майорской могиле.

Несколько дней Марина жила в их палатке. Адрес её несостоявшейся невестки нашёлся, и Марину отправили в Москву на попутной батальонной машине. Вечером она вернулась с той же машиной ещё более опечаленной. Рассказывала о встрече с Наташей Бенуа, наречённой брата:

— Наташа совсем ничего не знала. И не могла понять, почему после офицерского собрания Алёша больше к ней не приехал. Подумала даже, что для него их встреча — пустяк. Бабушка всё подливала масла в огонь. Я, мол, говорила, что военные все ветрогоны. Верить им нельзя.

«Неизвестная» дяди Алёши

Марина Устинова поведала историю знакомства и любви майора и Наташи, его «Неизвестной» — таинственной незнакомки, которая только раз была в расположении части и о красоте которой среди всего мужского населения, недавно вернувшегося с войны, ходили целые легенды.

Тоня, вечная, страшная фантазёрка, так часто путала выдумку и действительность, что помнила не только услышанное от сестры гвардии майора Устинова в мельчайших подробностях, но и собственные детские, но такие зрелые выводы.

Шло это, вероятно, оттого, что всё своё военное детство она предоставлена была сама себе. Отец с двадцать четвёртого июня сорок первого года до конца войны — на фронте, мама почти сутками — в лазарете на работе. Дома бывала редко. Так что у Тонечки — полный простор для фантазии. Вот она и придумывала себе свой мир.

А в этом случае и придумывать почти что ничего не надо было. За несколько дней до рокового выстрела дядя Алёша привёз в часть и привёл к ним сказочную девушку. Тоня до этого никогда ничего похожего не видела. Только в трофейных фильмах, какие крутили на площадке недалеко от их жилья. Был такой фильм «Сказки Венского леса». Так вот Алёшина Наташа сильно похожа была на ту артистку, что играла в главной роли.

Она вошла в их палатку, а мама сразу засуетилась как-то, заметалась, не зная, куда гостью усадить. И надо сказать, что мама надела перед этим красивое трофейное платье, которое дала ей из своих запасов связистка Соня. Но простенькое платьице гостьи так на ней сидело, что мама невольно одёргивала подол своего наряда «с чужого плеча».

В честь приезда гостьи мама налепила вареников с творогом. Состряпала «бечу» — так она называла самодельный бисквит на скорую руку. А Карим принёс из офицерской кухни целый котелок духмяной тушёной картошки со свежим коровьим мясом.

Всё было празднично. Играл патефон. Взрослые умудрились даже потанцевать на пятачке возле буржуйки.

После обеда дядя Алёша проводил свою избранницу на вокзал и посадил в поезд. Отец Тони предлагал оставить гостью в части. Может, мол, у нас переночевать, а я — у тебя. Вечером офицерский бал устраивает подполковник Устинов в чуть приведённом в порядок клубе.

Но Наташа не согласилась, так как дома будет волноваться бабушка, а Алёша не хотел до офицерского собрания предъявлять её офицерам. И к ним-то в палатку они пробрались почти что незамеченными, во время строевого смотра.

Тоню очаровала Наташа, хотя где-то в глубине души ей было очень обидно, что Наташа — уже такая взрослая, а она, Тоня, тоже любит Алёшу, но ей всего десять лет. Так-то вот!

Она видела Наташу ещё раз. Та приезжала на могилу своего суженого, была во всём чёрном. Красивая и бледно-печальная. Потом в их палатке мама организовала печальный ужин. Называла это поминками по страдальческой душе Алексея Устинова. И всё просила кого-то невидимого простить ему величайший грех.

Тогда Тоня не поняла, о каком грехе идёт речь. А став взрослой и ознакомившись с православием, поняла, каким тяжким грехом является самоубийство. Но до сих пор уверена, что наказывать надо тех, кто довёл до этого греха такого замечательного человека, как дядя Алёша.

Рассказ Тони о судьбе Алексея Устинова

Конечно, в то страшное время никто ей, малолетке, не мог и не имел права рассказать причину такого поступка героического майора. Кое-что она узнала от других. Например, что офицерское собрание не дало согласие на брак влюблённых. Почему-почему??? Рассказать, или сами догадаетесь?

Некоторые подробности несчастной любви узнала она от Марины Устиновой. А всё остальное? Сама дофантазировала.

Вообразите: маленькая девочка, приученная никого из взрослых ни о чём не расспрашивать… Как должна была узнавать страшные подробности крушения надежд дяди Алёши? О взрослом, Герое Советского Союза, гвардии майоре Устинове? С которым с самых первых дней у неё сложились очень доверительные отношения?!

Он почему-то постоянно повторял, что Тоня очень глазастая, и всё, что видит и слышит, очень пригодится ей потом. Всё-то он предугадал. Не смог только предвидеть свою судьбу.

Вы собирали когда-нибудь лоскутное одеяло? То, как Тоня собирала воедино отрывки фраз, отдельные слова, а ещё минуты и часы фантазии, очень напоминает такое рукоделие.

В один непогожий вечер ей удалось-таки составить всю картину. Дома не было никого. Только она с Пальмой, которая уютно устроилась под одеялом. Жарко натоплена буржуйка. А фантазии крутятся и крутятся.

Вообще та первая послевоенная осень в части стала осенью свадеб. Вероятно, именно тогда почти все неженатые офицеры обзавелись семьями.

Каждый гвардейский офицер знаменитого танкового корпуса обязан был представить свою избранницу офицерскому собранию. Конечно, это было простой формальностью. Что греха таить, некоторые из офицеров, слишком долго не видевшие женщин, не были разборчивы в выборе невесты.

Одна из невест появилась перед высоким собранием даже в немецкой нижней сорочке, полагая, что такую «красоту» нельзя ни подо что прятать! И этот союз, после определённых разъяснений, «что почём», был одобрен. А что невеста майора Устинова, дяди Алёши, будет отвергнута, не думал никто. Красавица, умница! И отвергнута? Обычно, собравшись на «смотрины» офицеры говорили:

— Если надо жениться — значит, надо! И так война столько лет отняла.

Так же поступил майор Устинов, который увидел Наташу в Москве, на балетном спектакле в Большом. Она ему чем-то неуловимо напоминала «Неизвестную» с картины Крамского. Сквозь нежную кожу на висках просвечивала голубая жилка. Руки были тонкими и хрупкими и очень ухоженными, что в ту пору являлось крайней редкостью. Пальцы длинные и тонкие. Во всём облике — какая-то неземная воздушность. Алексей вспомнил, что именно такая девушка являлась к нему на фронте во время кратких, но очень крепких снов.

По виду незнакомки он понял, что она занимается музыкой или каким-нибудь ещё искусством. Весь первый акт сидел не шелохнувшись. Над сценой парила в па-де-де волшебная Галина Уланова, а рядом с ним сидела соблазнительница его снов.

В антракте он старался не упустить её из виду — и всё-таки упустил. Толпа зрителей дружно и не особо стесняясь, что было бы в другое время неоправданно для зрителя главного театра страны, двинулась в буфет, где можно было без карточек купить что-то вкусное. За баснословные деньги. Пока он пропускал дам, незнакомка исчезла.

«Боже мой! — вероятно, молился он, приученный быть неверующим, невидимому, но такому необходимому Богу. — Сделай так, чтобы она не потерялась, не ушла по какому-нибудь поводу домой. Я искал её с самого рождения!»

И тут среди толпы мелькнуло голубое платье незнакомки. Стало так жарко, что рука невольно потянулась, чтобы расстегнуть ворот гимнастёрки. И тут же он опустил руку. По фойе ходил офицерский патруль, а он-то уж мог стереть, остудить любую радость. Кровь отхлынула от головы, и Алексей ясно почувствовал промозглость неотапливаемого всю войну помещения.

Во время второго акта он совсем углубился в свои переживания, и хотя смотрел на сцену — ничего там не видел, боковым зрением наблюдая малейшие движения девушки в голубом. Она явно чувствовала на себе его взгляд, но не подавала вида, что смущается. Рука её беломраморно лежала на подлокотнике кресла. А вторая время от времени подносила к глазам театральный бинокль, которого касались, вспархивая птицей, шелковистые ресницы.

«Последняя сцена — и снова антракт! — думал, вероятно, Алексей. — А я ничего не предпринял».

И тут произошло непредвиденное: девушка переложила бинокль в другую руку и как бы случайно коснулась его руки. Повернула голову:

— Извините! Экая я неловкая!

Ну а дальше — всё по общеизвестному сценарию: знакомство, увлечённость, любовь. А потом он сделал предложение. Наташа училась на последнем курсе консерватории, жила с бабушкой в двух комнатах огромной коммунальной квартиры.

Бабушка сразу понравилась будущему родственнику, чего не скажешь о ней. Звезда Героя, два ордена Отечественной войны, два — Красной Звезды, густота медалей, знак гвардейца, прекрасная военная выправка — ничто не могло поколебать её давнишней уверенности, что военные все сплошь ветрогоны и люди ненадёжные.

Согласие на брак получили они от бабушки с трудом. А впереди ещё представление невесты пред ясные очи дивизионного офицерского собрания.

В части все шептались о каком-то событии под Дрезденом, которое будто бы явилось причиной стрельбы дяди Алёши по себе. Тоня никак не хотела даже в мыслях назвать его самоубийцей. Поэтому говорила, что он стрелял по себе. Сердце её ныло от нестерпимой боли. Она закашливалась по ночам от тайных слёз по дяде Алёше, а мама варила для неё сосновые почки в молоке и заставляла пить от простуды.

Так хотелось узнать, почему всё же он застрелился. И однажды, проснувшись среди ночи, стала невольной слушательницей папиного рассказа о погибшем. Мама буквально допрашивала Тониного отца:

— Саша! Что всё же случилось под Дрезденом? Сколько слышу, ты упоминаешь о каком-то Алёшином эпизоде.

— Да не имею я права тебе это объяснять. Понимаешь?

— Саша! Ты же знаешь, я не болтушка. Ну, не томи душу. Не чужой мне Алёша.

— Но и не брат-сват. Ладно, слушай. Одно только не пойму! На фронте Алексею потрепали нервы, хорошо хоть под трибунал не подвели. А дело не стоило выеденного яйца. Ему, храбрейшему офицеру соединения, хотели целое дело пришить. Там, под Дрезденом, как из разведки вернулся, терзали, под Львовом тоже, так ещё и здесь заставляли писать объяснительную, и не раз. Буквально дня за три до трагедии снова вызывали. А дело было так. Крепко зацепились фрицы за Дрезден. Кантемировский корпус подтянули к линии обороны. Перед наступлением нужно было разведать, что да как. И языка прихватить знатного. Полубояров поручил это нашему батальону. А уж если быть точнее — разведроте майора Устинова. Слава-то о его мастерстве по всему фронту шла. Вышла группа разведчиков с наступлением темноты. Задание было выполнено, язык взят. Внезапно напоролись на такую же группу разведчиков противника. Перестрелка завязалась. В группе Устинова — большие потери. Алёша дал команду отходить с разведданными. Я, мол, прикрою. Оставил при себе двух бойцов.

— А это правильно, чтобы сам командир прикрывал отход?

— Правильно, неправильно. Это же, Анечка, война! Бойцы отошли. И тут какой-то оглушительный взрыв — и он потерял сознание. Очнулся от удушья.

На лице, на груди — всюду песок. Понял, что его засыпало. Откопался, выглянул наружу, а там уже рассвело. До немецкого блиндажа, где они фашистского полковника взяли, рукой подать. Ребята, что с ним оставались, убиты прямым попаданием снаряда. Оставалось затаиться и ждать темноты. Сидя в своей песчаной полумогиле, сильно беспокоился Алёша о своих ребятах, которые вернулись без командира или без его тела да без командирского оружия. За это могли арестовать — и под трибунал. Алёша около полусуток был почти что на вражеской территории. Ты же знаешь, что он ушёл на фронт с третьего курса иняза. Немецкий знал. Поэтому сразу в разведку попал; а ещё — охотник. Умел быть невидимым и бесшумным. Вот и там затаился до темноты. Разведчики были уверены, что их любимый майор погиб. А вот особисты предполагали иное. Переметнулся?! Предал?!

У Тони начала мёрзнуть высунутая из-под одеяла голова. Как они могли такое? Её друг — майор Устинов — переметнулся? Она неловко пошевелилась.

— Саша! Мне кажется, Тонечка не спит. Тоня! Ты не спишь? Если ты всё слышала, дай честное пионерское, что никому не скажешь ни слова. Даёшь? — переполошилась мама. — Пожалей меня и папу. Да и себя тоже.

В мамином голосе проявлялись слёзы.

— Даю честное пионерское. Мама, не надо плакать. Ты же знаешь, что я умею хранить секреты. Помнишь, в Буинске, в эвакуации? Помнишь? Так что не сомневайся во мне. Ты мне не доверяешь? А вот дядя Алёша считал меня хорошим парнем.

Смерть всеми любимого офицера, храбреца, прошедшего войну, на своей земле без войны пустившего себе пулю в лоб, всколыхнула всё воинское соединение. О ней шептались, о ней плакали, за неё ещё и расплачивались ни в чём не повинные бойцы. Все спрашивали друг у друга, что это за офицер выступил на офицерском собрании против Героя Советского Союза! Как можно было запретить ему жениться на такой чудесной девушке?

Скоро уже по всем курилкам и палаткам разнеслось: на собрании какой-то незнакомый полковник встал и сказал, что отец его невесты подозревался как враг народа. И спасла его от тюрьмы только внезапная смерть от сердечного приступа во время ареста. Так что гвардейский офицер не может жениться на дочери врага народа.

Да ещё корни-де у невесты «с червоточиной» — дворянские. Называли даже её фамилию. Но в то время это Тоне ни о чём не говорило. Это много позднее она узнала, что Наташа Алёшина происходила из достойного, старинного, просвещённого рода Бенуа, в котором было много деятелей искусства — художников и архитекторов.

Вездесущий СМЕРШ, наверное, докопался, что один из её далёких родственников с двадцать шестого года жил за границей.

— Появление того полковника на собрании, — шептал однажды ночью папа своей Анечке, — стало не причиной, а следствием давней распри Алёши с этим, понимаешь, Анечка, — с *этим!* Ну, ты понимаешь, о ком я говорю! Волочился тот за Варей, а Алёша ему — зуботычину, по-фронтовому. За Варей, понимаешь? Ну, мерзавец! — и, забывшись, что рядом посапывает дочь, почти в полный голос пояснил: — Ты же знаешь, как берегут в нашем батальоне память о погибшем комбате Алексее Чернавине. И с каким уважением относятся офицеры к его вдове Варе.

Тоня услышала, как мама пробормотала себе под нос:

— Варя — ППЖ погибшего комбата Чернавина. Всех ППЖ готов уважать!

— Ты что-то сказала?

— Да нет! Это я сама с собой. Продолжай!

И папа, уже совсем забыв о конспирации, назвал обидчика дяди Алёши:

— Анечка, ты поняла, что волочился за Варей Карданов — смершевец батальона? Он всегда от неё получал от ворот поворот! Грозили ему офицеры не раз. Он рад бы на них отыграться. Ан нет! Вот майор Устинов — другое дело! От самого Дрездена держит его на мушке. Права имеет безграничные.

Так Тоня впервые узнала, что худой и белоглазый офицер, с которым, по её наблюдениям, никто не дружил, в придачу ещё и из СМЕРШа! Она не знала, что это слово означает. Но по словам папы поняла, что это связано со смертью дяди Алёши.

Утром спросила у Карима:

— Что такое СМЕРШ?

— Это — смерть шпионам. Поняла? А зачем ты это спрашиваешь? СМЕРШ все боятся. И никто не уважает. Вот у гвардии майора Устинова случилась стычка из-за Вари, так ты сама видела, что с ним произошло.

— Что ты, Карим! Разве дядя Алёша — шпион?

— Причём тут шпион? За слова старшего лейтенанта Карданова: «Что, ты сам к ней (то есть к Варе) подмыливаешься?» — товарищ майор так саданул обидчика, что тот плечом выворотил столб, на котором держалась наша палатка. Пыль, брезент, барахтанье в потёмках… Такое не прощается. Это было ещё под Львовом, в Судовой Вишне. А утром приказ: срочно грузиться в эшелон. Место назначения — довоенная база под Москвой.

Тоня хорошо помнила ту погрузку. Разом загрохотали танки. Их заводили на платформы. Дым, чад. Ничего не слышно. Затарахтели бронетранспортёры, зюйдом завыли трофейные легковушки, почти по-лягушачьи заквакали американские «виллисы» и «амфибии», взлетая по шатким подмосткам на платформы.

— Все думали, что всё забыто. Была долгая дорога и обустройство на новом месте, — почему-то подробно стал рассказывать Карим. — Думали, всё забылось. Но, как видно, ошиблись. — Он вдруг помрачнел, будто опомнился: — Послушай! Что это ты у всех всё выспрашиваешь? Я тоже язык не удержал — мелю и мелю. Вот что! Ты у меня ничего не спрашивала, а я тебе ничего не отвечал. Лады?

Тут выплыло откуда-то — перед погрузкой в эшелон отец сказал маме очень сердито:

— Опять Алёшу вызывали. Ну форменное безобразие! Надо готовиться к отъезду. Вот-вот подадут

вагоны, а его опять от дела отрывают! И когда *этим* надоест подозревать таких честных и храбрых офицеров, как Алексей?

В тот вечер пришёл Алексей Устинов к ним в палатку. Долго сидел молча и курил. Потом отец, против своих же правил, слишком в позднее время отправил Тоню на прогулку. Уходя, она услышала:

— Когда это прекратится? И в роте ребята нервничают. Гвардии сержанта Семенихина, старшего группы по той злополучной разведке, тоже вызывали.

Тут Тоня представила себе юркого, черноглазого цыганка Семенихина, с двумя орденами Славы на груди, на допросе у смершевца. И поздним числом снова порадовалась, что утром допросы кончились — наступил отъезд.

На следующей же стоянке прозвучал звонкий голос Семенихина. Ура! Значит — всё, всё позади!

Если бы так случилось…

Вернувшись из Наро-Фоминска, Тоня узнала, что в лапах особистов побывал совсем безобидный и незащищённый Чоловик.

Пыталась представить, что надо было сделать, чтобы майор себя не убивал. Чего только не придумывала для его спасения поздним числом! И, как гвоздь в пятке, засел один вопрос: «Неужели он испугался?»

Ответа не было. Уставала голова, одолевал сон. Спалось тревожно. Даже тепло от печки и мягкое и доброе живое существо под боком — Пальма — не давали лёгкого и крепкого сна. Она была очень привязана к дяде Алёше, но после окровавленных носилок он по ночам представлялся ей выходцем из потустороннего мира.

Пирамидон определил у неё расстройство нервной системы. Дал для лечения уже не пирамидон, а какое-то противное питьё. Ночные страхи не проходили, потом они длились годами.

Детское потрясение оставило неизгладимый след. Днём перед ней витал весёлый и красивый облик молодого майора. Как будто он был любимым Тони. А может быть, и был? Ведь за всю последующую жизнь она ни о ком так не горевала. А ночью — становился её кошмаром.

Странно всё это! Какой такой любимый для девчушки десяти лет от роду? Это теперь дети — скороспелые. Любят рано. За годы войны заморённые голодом, в раннем возрасте отягощённые домашними делами, разве могли дети войны любить?

Но что это было? Шок от первой трагической смерти знакомого человека? Или вид крови, стекающей с носилок на примороженную траву?

Но тогда почему полстолетия спустя так чётко и точно вспоминается каждый разговор с ним, цвет его глаз, пружинки кудрей, небрежно разбросанных по его высокому лбу? Почему?

Чётко врезалась в память первая ночь после возвращения из Наро-Фоминска. Первая ночь рядом с местом кровавого события. Тишина нависала над военным городком. Только кое-где спросонья вскрикивали вороны. Ухали невидимые совы.

Чтоб не бояться, Тоня просовывала руку под серебряный ошейник собаки, прижималась к ней, обхватывала её шею руками. Но всё равно по пятам шли кошмары. Снилось, что билась она в истерике возле окровавленных носилок, а кто-то вкрадчивым и тягучим голосом повторял: «Трите виски! Трите виски!»

Просыпалась, переворачивалась на другой бок. И всё повторялось. Опять и опять. Страхи держались до той поры, пока в Верпе её не вылечила монашка. Что было с ней и что с кем-то другим — сливалось воедино. И трудно отделялось одно от другого.

Пальма всё время всех удивляла, как легко она понимала, что от неё требуют. А вот люди не всегда понимали её или понимали с большим трудом.

Иногда Тоне даже западала в голову дикая мысль: «Так кто же — царь природы?»

Вот пример с Пальмой. Она менее чем за год «изучила» русский язык в том объёме, какой ей нужен был для общения с новыми в её жизни людьми. А мы с вами? И в школе несколько лет изучаем иностранный, и в институте «тысячи» сдаём. А дальше десятка слов редко у кого остаётся в голове.

Карим рассказывал, что Пальму добровольно, почти в самом конце войны, передал советскому майору истощённый немец-беженец, который вёз на каком-то подобии тележки свою парализованную жену.

— Собака была такой тощей и слабой. Сначала её пристроили к повозкам, в которых возили продукты. Мудрёное немецкое имя вскоре забыли, и полковой повар дал ей кличку Пальма. И выучил для общения немецкое слово «шнель», что означало — быстрей, иди ешь, — добавил Мефодий.

— Товарищ майор во время коротких затиший и в Судовой Вишне, да и здесь много занимался с Пальмой. И очень успешно. Чаще всего обращался к ней на международном собачьем языке — языке жестов. Потом давал команду на немецком, а закреплял уже на русском. Ну смышлёная псина! Спасу нет! — похохатывал Карим.

К послушанию её приучили с детства, и когда она получила приказ считать своим Новым Хозяином молодого, прежде ей не знакомого офицера, собака команду эту выполнила беспрекословно. Жилось ей у майора очень хорошо. Зная привычку всех комнатных собак Германии спать на диванах, Хозяин не возражал, когда она забиралась к нему в постель, и они так засыпали.

К большинству населения части диковинная немецкая собака относилась дружелюбно. И даже освоила имена некоторых частых посетителей их палатки. Хозяин обращался с ней как со своей ровней, учил её узнавать, кто идёт, называл имена.

Когда в его жизнь вихрем ворвалась любовь к Наташе, он так часто произносил это имя, что, когда та и в самом деле появилась в их палатке, собака тут же растянулась у её ног.

Личные вещи дяди Алёши и подарки, которые он привёз сестрёнке из Германии, отдали Марине. Многое к этим подаркам добавили бойцы разведроты. Девушки надарили ей духов и нарядов. Марина упиралась. Но швеи и прачки, связистки

и снайперы в один голос твердили, что если ей что-то не подойдёт, это можно всегда обменять на кусок хлеба или мыла на базаре.

А Тоня думает, что это майор Онищенко специально подмогнул, чтобы так удачно всё вышло. Чтобы машина, на которой отправили Марину, шла непременно до Иванова. Ведь миткаль можно было и на московской Трёхгорке взять.

Провожали машину все разведчики, свободные от службы, Тоня, её мама и Карим, комбат Шишкин и другие офицеры батальона.

Гойденко принёс для отъезжающей две буханки хлеба, офицерское туалетное мыло, коробку пилёного сахара на дорогу, а кто-то из офицеров — американскую тушёнку в квадратных банках. Мама Тонина, как это заведено у неё, испекла блинов. Словом, каждый что-нибудь подарил сестре незабываемого человека. А ещё дружно обещали ухаживать за его могилой.

Уехала Марина — и снова наступила тишина. И какая-то пустота, что ли!

Награды и Звезду Героя Марине почему-то не отдали — наверное, забрали в штаб. Ружьё, патронташ, манки, шомпола, «Барклай» для зарядки патронов и собака — всё досталось, как и было завещано, гвардии капитану, отцу Тони. Точнее, Пальму она считала своей. С ней проводила всё время, возвращаясь из школы. И ночью они не расставались.

Баллада о фронтовой любви

Тоня своей близкой подругой считала Машеньку — фронтовую жену комбата, гвардии майора дяди Миши Шишкина. И была не согласна со своей мамой, которая называла Машу — ппж комбата. Но только за глаза. А в глаза — Машей. Тоне было обидно, что её друга так обзывает мама. Какой-то собачьей кличкой.

Это же непонятное для Тони слово прилаживала мама заочно и к другим молоденьким и ладненьким девушкам части. А ещё называла их «фифочками», общалась с ними только в крайних случаях, хотя почти что в каждой офицерской палатке жили молоденькие и очень красивые девушки.

И Тоне нетрудно было заметить, что и к самим офицерам, у кого жили девушки, мама относилась недружелюбно.

Истинную расшифровку слова «ппж» Тоня узнала много позже. Оно, как оказалось, обошло все фронты, варьируясь в деталях, но не меняя сути дела. А у девочки Тони, кроме уважения и восхищения, эти девушки ничего не вызывали.

Приставка «ппж» прилепилась ко многим девушкам и женщинам, призванным на фронт, которые так или иначе устроили свою временную или не временную судьбу. Всех их смешали в одну кучу: и тех, кто встретил на войне свою первую и, может быть, единственную любовь, и тех не уродившихся «приятными во всех отношениях» бедолажек, что спасались от многочисленных ухватистых и изголодавшихся по женской ласке бойцовских лап в обозе какого-нибудь пожилого офицера.

Умозаключения такие никак не могли родиться в головке десятилетней девочки. За ними были годы дальнейших наблюдений, воспоминаний, жизненного опыта, сопоставлений.

«Несогласие с маминым неуважением к девушкам-бойцам началось с Машеньки, — записала в своём дневнике Тоня. — Её великая любовь к гвардии майору Шишкину родилась на фронте. А там, как я теперь знаю, совсем по-особому складывался союз между мужчиной и женщиной. Заключался он чаще всего на словах, иногда в кругу друзей. А то и путём регистрации в удостоверении личности или красноармейской книжке…»

Шла долгая, кровавая и затяжная война. Но для большинства это была пора молодости.

Никто не знал, останется ли живым до конца хотя бы этого боя. Любовь брала своё. Безудержная, огромная, как небо или вся жизнь. Так, вероятно, казалось! Кто тогда думал о том, что будет? Живы ли те, кого они любили до войны? Сколько ещё осталось её, этой жизни?

Каким-то непонятным образом в свои десять лет Тоня поняла, что внезапная знакомица её мамы, гусятница тётя Клава, — враг Машеньки, санинструктора Вари и других милых девушек. Тоня несколько раз ловила её брезгливо-укоризненные взгляды, когда кто-нибудь из них, в фартовых пилотках набекрень и в щегольских сапожках, надетых на изящные ножки, похрустывая новенькими ремнями, появлялся в самых неожиданных местах расположения части.

Однажды… Впрочем, это никакого отношения к нашему рассказу не имеет. Речь о Машеньке, о милой музыкантше Машеньке. Только о ней — верном, замечательном друге маленькой девочки Тони. Всё лучшее из того времени связано с ней. А вот о фронтовых эпизодах её жизни получалось узнавать почти совсем случайно.

Однажды Тонечка промочила ноги, рано забралась на свою лежанку. Проснулась неожиданно. Почти с потолка падал уютный свет лампы «летучая мышь». Очевидно, вышел из строя трофейный движок, которым освещались эта и комбатская палатки.

От буржуйки до самого войлочного выхода простирались две громадные тени. Карим говорил, а Анна Сергеевна, Тонина мама, иногда задавала свои вопросы.

Речь шла о фронтовой Машеньке. Поэтому проснувшаяся вся обратилась в слух.

— Комбат, гвардии майор Шишкин, прибыл к нам месяца за два до окончания войны. Сразу после гибели прежнего командира, гвардии майора Алексея Чернавина. В расположении части он появился с гвардии сержантом Марией и гвардии ефрейтором Степаном. Прибыл из какой-то соседней части. Вначале на Марию косились. Принимали за пустышку, удачно пристроившуюся к старшему офицеру — человеку, как вы знаете, немолодому.

Голос мамы:

— А как ещё можно было думать? Он же совсем старик. Ему, наверное, за тридцать?!

Карим будто не слышал вопроса:
— Плохотнюк, наш начштаба, так и вовсе посчитал, что новенькая — просто-напросто очередная мифическая боевая единица, какие уже в изобилии имелись в части. Но ему на раздумье не осталось времени. Нас тут же бросили на прорыв. Это была обычная работа: где случался затор, боевым клином врубались рокоссовцы, а в их составе наш Кантемировский корпус со своей устрашающей для фрицев эмблемой — дубовыми листьями на всей технике. Противник чаще всего против нас выдвигал немецкие танковые корпуса «Адольф Гитлер» и «Мёртвая голова». Мотострелки, то есть мы, как всегда, двигались за танками на всеми проклинаемых бронетранспортёрах.
— А что, пешком разве лучше? — это снова мама.
— Сейчас поясню. Сидят на этих неуклюжих машинах бойцы ничем не прикрытые. А немецкие «кукушки» щёлкают их одного за другим. В том бою под деревней Дахау особенно ярились немецкие охотники за людьми, ведя прицельный обстрел сразу из нескольких мест. Бессмысленные потери. Атака захлебнулась. Танки ушли вперёд, никем не поддержанные. Маша и другие девушки-снайперы попросили дать им время выследить и обезвредить «кукушек». Согласие сверху получили. В течение некоторого времени поочерёдно умолкли немецкие снайперы и пулемётчики. Остался только один немец — на чердаке деревенской кирхи. Последний. Его никак не могли снять. Маша выскользнула из окопа, притаилась где-то недалеко — невидимая и неслышимая. Между тем фриц уже выследил и уничтожил Нечибайло — лучшего нашего снайпера. Вечерело. Косое солнце ослепляло бойцов, как бы содействуя вражескому стрелку. Наконец раздался одиночный выстрел справа, где, казалось, нет никого. Немецкая «кукушка» тряпичной куклой вывалилась из чердачного окна. Маша появилась в окопчике с росинками пота на лбу и с очередными нарезками на своей снайперской винтовке. Да там уже и нарезать было негде! Больше ни у кого не возникало сомнений в отношении фронтовой подруги комбата. И однажды, когда во время короткой передышки нашу дивизию вывели на несколько дней с передовой, Маша надела новую гимнастёрку, на которой сиял орден Красной Звезды, который она получила в прежней части. Тут уж её зауважали все!
— Карим! Не хочешь ли ты сказать, что все ппж награды получали заслуженно? — с каким-то особым придыханием спросила мама.
— За всех не ручаюсь, а за сержанта Марию — голову положу! — отчеканил говорящий и, не сбиваясь с заданного ритма, продолжал свой рассказ: — Бойцы её полюбили за непонятную для такой юной девушки почти материнскую заботу о быте батальона, а особенно о её любимом комбате. Как только часть выходила на временный отдых, Маша через майора, минуя все иные инстанции, изыскивала для бойцов возможность организовать баню или хотя бы купание и постирушки в какой-либо речушке. А уж вошебойка, где прожаривали одежду бойцов, всегда по её досмотру была у майора под руками. Если своя отстанет, Маша выпросит у соседей справа или слева. А ещё меня всегда удивляла её предельная аккуратность. Кочевая жизнь, вокруг грязь, кровь и смерть, а там, где комбат с Машей, — какой-то особый порядок. Будь то землянка, палатка или просто щель в окопе, прикрытая сверху от дождя или снега куском брезента. На привалах она помогала бойцам — подшивала подворотнички, писала за неграмотных письма. Сама обычно получала из рук Васи, полкового почтальона, самую большую стопку треугольников.

Тут уж Тоня не выдержала и почти крикнула:
— А однажды при мне ей принесли совсем необычное письмо — не треугольник, а красивый конверт. Она, не распечатав, кинула его в печку.
— А ну спать! Сопли ва ещё в защитницы!

«Мы никогда не говорили с моей взрослой подругой о войне, о делах и её заботах, — читала Тоня в своём дневнике. — Так что до того вечера я знала только, что она — хохотушка, затейница и неугомонная в игре партнёрша.

Дружили мы с ней самозабвенно, хотя Маша относилась ко мне совсем по-иному, чем дядя Алёша Устинов. Она со мной играла в бесконечные игры, а он принимал меня за рассудительную не по годам и вёл беседы как с взрослой.

Машенька жила в палатке комбата Шишкина. Он действительно казался совсем стариком, рябоватый и молчаливый. А она — тоненькая, с шапкой кудрявых золотистых волос, с огромными солнечными глазами. Самая весёлая из всех девушек полка. Шефство надо мной, девочкой, взяла ещё в Судовой Вишне, под Львовом. Машенька будто не видела нашей разницы в годах. Очевидно, до ужасной войны она не успела наиграться в куклы. Ей не хватило детства. И вот окончилась война. Мне моё детство вернули. А ей?

Уж как обрадовалась Машенька, сама ещё почти что ребёнок, когда в расположении части появилась я, Тоня, — настоящая, живая девочка, которую можно наряжать в любые платья, сурьмить брови, мастерить для неё замысловатые костюмы. А ещё — часами играть при мне дивную классическую музыку. Больше не было вокруг смертей, умолкли пушки. Отложила Маша свою снайперскую винтовку…

…Сейчас кое-кто возмущается, почему я, Тоня, Антонина Александровна, не люблю современные бешеные ритмы. А могу ли я их любить, если в своём детстве слушала и слушала иную музыку, выпархивающую из-под рук любимой моей удивительной музыкантши?..

…В ту послевоенную осень мы с ней очень часто бывали вместе. В свободное от её службы время. А ещё — когда Машенька не сидела на лежанке с видом несчастной раненой птицы, обхватив руками

коленки. В последние недели перед её отъездом из части это случалось всё чаще.

Всё остальное время гвардии сержант была неутомима в выдумках. Тонкая в талии, с необычайно приветливой улыбкой на губах, она играла со мной как с равной. Пела песни и романсы, подыгрывая себе на губной гармошке, аккордеоне или рояле, который занимал почти половину сдвоенной палатки комбата.

Я забывала, что она дурачилась ради меня. К комбату Шишкину, или, как его тогда называла, к дяде Мише, относилась нежно и бережно, хотя много капризничала, заставляла его бегать за ней по перелеску, плескала на него студёную воду.

Он был счастлив, иногда во время наших прогулок подхватывал её на руки и нёс перед собой бережно, как тонкую фарфоровую вазу. Ещё бы! Позади война. Теперь не очень утомляет служба — все дела идут как-то сами по себе. Но уже надвигались тучи, и всё предвещало конец этой счастливой жизни. А пока…

Когда комбат вместе с моим отцом уходил на целый день на службу, а мама носилась где-то по общественным делам, я пробиралась в большую палатку моей милой музыкантши, и закручивалась наша самая захватывающая игра. На меня примерялись все диковинные наряды, невиданные шляпки, к нашей игре присоединялись девушки из других офицерских палаток. Звучала бравурная музыка, разыгрывались комические сценки.

Я становилась то атаманшей, то принцессой, то восточной красавицей. Не знаю, делали ли меня, костлявую худышку, эти наряды красавицей, но Машенька глядела на меня восхищённо.

Мама вообще недолюбливала, что я так часто бегала в комбатскую палатку. И считала — меня там балуют. А Машины намёки на мою якобы особенную внешность вообще находила недопустимыми.

— Маша! Нельзя же девчонке голову так кружить! Подумает ещё, что действительно красавица! — и добавляла уже на полуукраинском: — Ничего в ней хорошего нет. Погана!

Я уходила в школу в сопровождении Карима. Возвращалась после обеда. Потом учила уроки. Как-то не видела Машу два дня: шла подготовка к празднику, и я должна была принимать участие в пирамиде — стоять на самом верху на плечах противного Гарика.

Утром в воскресенье, едва дождавшись, когда уйдёт дядя Миша, я ворвалась к Машеньке. Она сидела на лежанке, обхватив коленки руками. Совсем не такая, как всегда. Я подобралась к ней сзади, двумя руками закрыла ей глаза:

— Угадай, кто я?

В ответ — ни звука. Затем, будто неживая, Маша повернулась ко мне:

— А? Это ты?

— Маша! Что случилось?! Что с тобой?

Она кинулась мне на шею и зарыдала. Тогда я ещё не знала, что её демобилизовали и предложили срочно уехать…»

Память Антонины снова и снова выхватывала из прошлого сцену отъезда милой Машеньки на гражданку.

Уже давно грозный командир дивизии гвардии полковник Леонов приказал Шишкину привезти свою семью. Направили вызов на каждого из членов комбатской семьи. Жене-колхознице долго не давали справку, не отпускали — ведь у неё, как и у других колхозников, не было паспорта. И вообще никакого документа.

Наконец, после повторного обращения войсковой части к местным властям, пришла телеграмма от жены майора: «Справку получили. Выезжаем такого-то». А майор всё не смел сказать о предстоящей разлуке своей любимой Маше.

Кто-то из штабных придумал наконец-то, как этот вопрос решить. Машу уговорили поехать в Горький, чтобы закончить консерваторию. Напрасно она возражала, что это невозможно, так как ранена кисть руки. Все хором уверяли её, что играет она отменно.

Поезд уже подвозил к станции назначения исстрадавшихся «шишкенят» и их маму (благо, что гражданские поезда в ту пору двигались со скоростью черепахи!), а бедная Маша всё не сдавалась.

Наконец вестовой принёс Маше настоящее письмо из консерватории с приглашением продолжить учёбу. Она взяла со своего любимого слово, что разлука эта будет недолгой.

Увы! Разлука оказалась вечной. И пианисткой снайпер Маша не стала — раненая рука не позволяла подолгу музицировать. Окончив консерваторию, превратилась гвардии сержант Маша в знаменитую на всю страну женщину — дирижёра симфонического оркестра.

Любовь к настоящей музыке, привитая в детстве Машенькой, дала Тоне счастливую случайность ещё раз увидеть свою наставницу и друга своего детства. Она давным-давно была не Тоня, а взрослая и даже зрелая Антонина Александровна, у неё был взрослый сын.

Жили они тогда в Сибири. Но однажды по телевизору передавали концерт симфонического оркестра под управлением женщины. Это была Маша!

«Я узнала мою Машеньку! Фамилия у неё была другая, но это не могло ввести меня в заблуждение. Душу всколыхнула эта телевизионная встреча. Как наяву встали передо мной прекрасные и трагичные страницы первой послевоенной осени.

Вот и сейчас, в ночь перед Новым, две тысячи шестым, годом, прошли перед глазами все вы, мои дорогие взрослые друзья. Вы, которые

относились ко мне, такому заморышу, как к своей ровне. Приобщили к высшим звукам мира искусства. Научили отличать добро от зла. Явили неповторимое чудо фронтовой, а значит, земной любви и верности друг другу.

Сегодня я заново проживаю те далёкие дни, креплюсь, чтобы не расплакаться, вспоминая потери. И плачу, плачу, плачу без слёз. Их уже нет, они давно выплаканы до самого дна.

Дорогая Маша, Мария, несравненная музыкантша! Я хотела бы написать тебе письмо. Но разве объяснит моё состояние души письмо, даже самое пространное? И я пишу сразу всем, кто любил на войне, и их детям, и их потомкам. Конечно, слишком на многое замахнулась. Но позволяю себе это только потому, что узнавала вас через свой незамутнённый детский взгляд.

Маша была для меня всем. А я для неё? Игрушкой её украденного войной детства и юности. Письмо к Машеньке? Лучше, чтобы его не было. Ведь в нём я бы не сумела обойти молчанием то, при каких обстоятельствах и почему её так срочно отправили учиться.

И ещё: если сделать сумасшедшее предположение, что она захотела бы мне написать, то что я ей могла рассказать о судьбе Михаила Шишкина? Ведь после Маши мы в той части пробыли совсем немного. Так что никакого проку от моей писанины не могло быть. А я ведь до сих пор убеждена, что Маша никогда не разлюбила своего Мишу! Да и он её.

Концерт симфонического оркестра… И сразу вспомнилось всё — и наши игры, и чудесная музыка, и белый рояль в брезентовой палатке. А главное — тяжёлые и обидные Машины проводы из армии…»

«…Это было перед самой смертью дяди Алёши. День стоял солнечный, но холодный. На поляне между сосенками — громадные трофейные кожаные чемоданы. Помните, такие — с поперечными деревянными ободьями, носить которые надо было только вдвоём, держа с двух сторон за кожаные ручки. Ручки, в свою очередь, перехвачены латунными, сверкающими на осеннем солнце дужками.

Чемоданов приготовили два. Но всего, что подносили щедрые мужские и женские руки для убывающей на гражданку девушки, даже эти чемоданы-бегемоты вместить не могли.

Два ординарца и несколько бойцов силились закрыть их на блестящие замки, но каждый раз какая-нибудь из шикарных шмоток то рукавом, то полой высовывалась наружу.

Отъезжающей нигде не видно. Только когда вещи погрузили в машину, на которой подъехал сам майор, она вышла из палатки — неузнаваемая. Золотые кудри упрятаны под беретку. Строгое гражданское пальто. На лице — следы долгих слёз.

К машине подошла как деревянная. Погладила Пальму по спине; нагнувшись, поцеловала её в нос. Та прыгнула на Машины плечи, заглянула ей в глаза. И тяжело опустилась на землю — поняла: сейчас не время для игр.

Отъезжающая выдохнула всем:

— Прощайте!

Девушки бросились к ней. Общая свалка, рыдания.

Машенька! Ты помнишь, как я повисла у тебя на шее?

— Маша! Машенька!!! Не уезжай! Это несправедливо!

Мама едва оттащила меня, зажала рот, иначе я обязательно сказала бы тебе всю правду.

Нетерпеливо завыл клаксон машины. Всё…

Тяжёлая осень прощания. Солнце, которое светило, но не грело. Я снова одна. Есть взрослые, которые только и умели, что спрашивать меня про отметки в школе. Нет дяди Алёши, нет милой музыкантши, нет сына полка Феди…»

Тогда, в долгие вечера первой послевоенной осени в подмосковном военном городке, обдумывая взаимоотношения мужчин и женщин части, Тоня заметила странную примету: в офицерских палатках жили молодые и красивые девушки. Некрасивые и те, что постарше, работали в прачечной, в швейном цехе. Без устали латали пробитые пулями и отстиранные солдатские одежды да шили новые. Жили они в большой женской палатке. А женщины ещё менее привлекательные приставлены были к немецким коровам и телятам, которых привезли из Германии в большом количестве.

С прачками и коровницами мама Тони быстро находила нужный язык, а с гусятницей Клавой и вовсе состояла в какой-то непонятной дружбе. Клава приходила к ним, пила чаи, и они с Тониной мамой полушёпотом вели секретные разговоры. Однажды в самый разгар беседы неожиданно вернулся папа. Клава вскочила с лавки, вытянулась в струнку:

— Товарищ гвардии капитан! Разрешите идти?!

— Идите, ефрейтор Матюшова! Вы найдёте дорогу в темноте?

— Саша! Она моя гостья, — с упрёком в голосе сказала Тонина мама.

Рассказывает взрослая Тоня взрослому сыну

…Очень удивилась я, что Клава тоже военная. В нашу палатку она никогда не приходила в форме.

Уж точно ни на каком фронте эта тётка Клавка не была! Но по отрывочным словам, которые иногда долетали до моих ушей, глубоко засунутых под одеяло, я поняла, что эта тётка знала всю подноготную фронтовой жизни всех офицеров. И как-то сразу невзлюбила её. Начинала при ней хныкать, что не дают спать, что завтра в школу не пойду,

потому что не высплюсь и заболею. Позднее подтвердилась детская интуиция, что эта рябоватая, не то молодая, не то старая женщина никакого счастья и благополучия нашей семье не принесёт. Но об этом — в своё время.

В ту первую послевоенную осень я потеряла многих людей, ставших за короткое время для меня такими близкими. Жизнь городка менялась. Фронтовики постарше уезжали домой, появилось много новобранцев. Демобилизовался казавшийся вечным Карим — ординарец моего отца, а твоего дедушки, Александра Владимировича.

От Карима я кое-что из фронтовой жизни своего отца узнала. Папа был молчун. И до самой смерти, если по телику показывали военный фильм, уходил в другую комнату или совсем из дома.

Всякую попытку услышать от него что-либо о войне тут же останавливал. То ли боялся, что слушатели посчитают это бахвальством, то ли по причине расстроенных на фронте нервов.

Так что только от Карима да ещё от кое-кого из фронтовиков узнала я о некоторых особенностях характера моего отца, открывшихся во время войны.

Карим прошёл с ним по фронтовым дорогам полтора года. С той самой поры, когда папа, окончив военное училище, получил офицерское звание. А до того времени почти два с половиной года носил две лычки (младшего сержанта) на петлицах да пудовую рацию на спине в полковой разведке где-то на Финском фронте.

Карим и отец полтора года вместе на фронте, где год считался за три! Некоторые офицеры за такой срок поменяли по нескольку ординарцев! А здесь сложилась крепкая мужская дружба. Отец вернулся из настоящего ада почти что невредимым. И в этом частично заслуга Карима. Это он зачастую останавливал своего командира от безудержного ухарства и излишнего презрения к смерти.

Карим поддерживал связь с моей мамой и со мной, спасавшихся от войны сначала в Татарии, а после освобождения Украины от немцев — в Верпе, на маминой родине.

Едва кантемировцы пересекли границу, командование стало добиваться от офицеров воссоединения с довоенными семьями.

Самым послушным оказался мой отец. Нам выехать было легче всего: никакого отношения к колхозу мама не имела, хотя добровольно ходила на сельские работы. Не была крепостной. Паспорт, как довоенная иждивенка советского служащего и как работница трудового фронта, имела на руках. При ней была справка, что всю войну она работала в городе Буинске, в госпитале при лагере репрессированных немцев Поволжья…

— Саша! Если я тебя не утомила своими рассказами, завтра продолжу, — под самый рассвет прервав свой рассказ, сказала Антонина Александровна.

Луна в непричёсанных космах туч плыла почти у самого горизонта по расхристанному небу. А навстречу ей пыталось выпутаться из объятий заречных гор солнце. Тоня проговорила с сыном почти до зари. День обещал быть сумрачным.

В расположении части появились Тонины сверстники

…После отъезда моей любимой Машеньки прошло несколько дней, и в части появились дети комбата дяди Миши Шишкина. Двух мальчишек и маленькую девочку привезли из села, долгое время оккупированного немцами.

Я качалась на качелях, когда по слегка подмороженной траве мягко прошуршала чёрная легковушка комбата. За рулём — Степан, его ординарец. Из машины выбрался сам майор, хмурый и неулыбчивый.

С неба лилась серая предзимняя хмарь, почти невидимыми иголочками оседая на что ни попадя. Природа, казалось, не располагала к весёлому настроению. Но мне всё это никак не мешало оставаться настроенной на ожидание самого главного. Наконец-то появятся мои ровесники! С ними можно будет играть, ходить вместе в школу в далёкий Наро-Фоминск. Теперь я не стану так тосковать по своей уехавшей подружке. И меньше буду плакать по дяде Алёше.

Между тем вслед за комбатом, как-то неумело и бочком, из машины вылезла его жена и стала подавать Степану какие-то неуклюжие узлы, связанные из толстых серых клетчатых платков.

Меня учили: неприлично так вот разглядывать что-либо в упор. Но папа утром сказал, что приедут дети дяди Миши. А ещё он строго-настрого пригрозил не говорить ни слова о Маше! Иначе, мол, язык отрежу и собакам брошу!

Я всё это каким-то чутьём осознала и без отца. А особенно его фразу «Война войной, а обед по расписанию!» поняла и очень боялась упустить возможность поскорее поглядеть на жену майора: стоила ли она того, чтобы бедную девушку обманом выпроводить якобы на учёбу? Что ни говори, но женщина (это я о себе!) даже в десять лет — женщина. «Ну! — подумала я. — Уж было бы на что менять!»

А до этого битый час вертелась возле палатки, продрогла вся насквозь. Мама десять раз звала завтракать, стращала простудой. А я всё ждала.

День был выходной, а значит, тянулся бесконечно. Делать мне было совсем-совсем нечего! Это в Буинске, где мы с мамой пережидали войну, у меня обязанностей по хозяйству было выше головы — ведь мама по восемнадцать часов на работе! А здесь? Даже мама из-за ничегонеделанья взялась шить занавески для солдатских казарм.

Между тем из машины выпрыгнул голенастый мальчишка. Он показался мне почти что взрослым. Облупленный нос, белая чёлка из-под какого-то подобия шапки. Фуфайка, из рукавов которой клочьями торчала грязная вата. «Наверное, это Вовка! — подумала я. — Ну, уж от него проку мало. С ним водиться не буду!»

Показался Дима, одного со мной возраста (дядя Миша мне о нём говорил). Глазастый, чумазый

какой-то, но мне понравился. Улыбка, что ли, затаённая на губах — или ещё по какой причине?

Между тем его отец нырнул внутрь машины и из её глубины помог выбраться девочке лет пяти в выгоревшей плюшевой кацавейке. Она тяжело опустилась на землю. Девочка сильно хромала. Вскоре я узнала, что это последствие ранения в первые дни войны, когда она была ещё в пелёнках.

— Это — Лена! — сказал майор, заметив, что я наблюдаю за ними.

Я смутилась. Но и обрадовалась. Особенно моему ровеснику — Диме. Жена майора — женщина высокая и нескладная, с тонюсенькими косицами, закреплёнными на концах кусочками суровых ниток, — показалась мне человеком из другого, мрачного, не цветного, почти забытого мира, с которым я сама совсем недавно простилась. И казалось — навсегда!

Глядя на тётю Дуню (так её назвал дядя Миша), я невольно представила, как нелепо она будет выглядеть в сравнении с другими женщинами части. Здесь, в воинской части, только что вернувшейся с войны, женщины — молодые, ладненькие, туго затянутые кожаными поясами. На гимнастёрках у многих — ордена и медали. Во внеслужебное время они наряжались в роскошные халаты или вечерние платья немецких куколок, ходили друг к другу в гости, курили дорогие папиросы на очень длинных мундштуках, пили красное вино из никогда мною не виданных рюмок. А запахи источали одуряющие!

Я ещё под Львовом невольно представляла себе, что попала после наших с мамой мытарств по местам эвакуации в какое-то царство. Оно содержало, например, изогнутые и совсем почти прозрачные, но белые, как рафинад, чашечки. Из них пили свои чаи эти милые военные девушки. А на чашечках были нарисованы барышни в длинных, до пола, платьях, в шляпках, как на куклах, с которыми я почему-то в те далёкие довоенные годы не любила играть.

Как одевались женщины до войны, я не помнила. А уж война сохранилась в памяти убогой, в заплатах, в застиранных до белизны линялых платьях, нередко сшитых даже из мешковины.

Мама Димы, Володи и Лены своим приездом снова напомнила о войне, которая, казалось, осталась позади. Вскоре палатка комбата пропахла отвратительным антившивным мылом «КА».

Неистребимый запах этого мыла, развешанные на верёвке латаные-перелатаные ремки, очевидно дорожные, да застиранные рубахи — всё это казалось посторонним, прибитым случайной волной от другого, давно оставленного берега.

Привязанность моя к Маше была так велика, что я безжалостно стала сравнивать то, что теперь происходило в семье дяди Миши, с картинами яркой и счастливой жизни майора Шишкина с фронтовой женой Машей. Всё было только в её пользу! А вскоре убедилась, как несчастен сам дядя Миша.

После обеда на той же верёвке, где перед укладкой в пахучее лоно громадных чемоданов развешивались заграничные разности будущей музыкантши, сиротски вихлялись на свежем ветерке удивительные для богатого послевоенного городка тряпицы.

Я играла на улице, когда дядя Миша пришёл на обед. Ничего не говоря, одним жестом сорвал рваньё с верёвки и кинул в кучу. Подозвал Степана и молча дал понять, что это надо срочно ликвидировать. Голова его была опущена.

На широком рябоватом лице — ни кровинки. Сел на пенёк и кивком велел подать котелок с едой. Каким-то глубинным сознанием я почувствовала, как трудно смириться этому человеку с возвращением старого быта.

Глядя на притихшего и будто уменьшившегося в росте комбата, я вдруг особенно остро поняла, как подло поступили с Машей эти самые взрослые. Со своим детским максимализмом я не хотела замечать нищенского и несчастного вида деревенской семьи Шишкиных, голодного блеска в глазах Вовки, Димы и даже Леночки.

Я была всё-таки мала, чтобы решить сложнейшую задачу: можно ли связать воедино Машину любовь и несчастную убогость детей и жены дяди Миши?

Они появились из тяжёлого и страшного прошлого. По их жизни прошли война и оккупация. Я только однажды была под бомбёжкой, а немцев видела лишь в кино да ещё пленных, когда их вели по Буинску, где одни слали им вслед проклятия, а другие — совали в руки чёрствый чёрный хлеб войны.

Что пережила Лена? Как вынес всё Дима? А почти взрослый Вовка? Они голодали, когда я уже несколько месяцев как забыла, что значит вечное тупое чувство голода.

Сейчас вокруг меня был разноцветный мир в красивой упаковке, чистенький и уютный. Мне хорошо в нашем утеплённом жилье. Ковёр под ногами, ковёр на потолке. Стены тоже подшиты толстыми коврами. Я нежилась душой и телом после тяжелых годов эвакуации.

В части почти никто не говорил о войне. А если рассказывали, то только о каких-либо курьёзных случаях. В связи с постоянными «выдёргиваниями» бойцов на демобилизацию, даже ежеутренние построения на плацу стали какими-то несерьёзными. Ну, выйдет сколько-то бойцов. Потопают тяжёлыми сапогами. Поворот направо-налево. Кругом! И бегом в казармы. И снова, как говорил повар Загинайко, «лясы точат».

Самоубийство гвардии майора Устинова многих вернуло на землю. И меня свергло с райских небес. Оказалось, война ещё не кончилась. Она бежала за нами вслед и догоняла.

Не знаю, что бы я делала без Димы Шишкина и маленькой Лены, которая неожиданно оказалась очень сообразительной и совсем не мешала нашим играм. Вот только если мы уходили далеко от городка, её из-за раненой ножки несли по очереди Дима или Степан, который неизменно сопровождал нас в походах.

Иначе было нельзя — банда «Чёрная кошка», как я тебе уже говорила, могла таиться где угодно. В офицеров стреляли из кустов прямо среди белого дня.

Однажды нам в школе дали задание собрать гербарий. И хотя листья давно потеряли свою ослепительную цветность, кое-что удалось найти. Стояла тихая пора. Только иногда с плавным шуршанием падали кленовые листья, как будто пытались своей раскрытой ладошкой прикрыть, спасая от будущих морозов, хотя бы клочок русской земли, не так давно израненной немилосердной войной.

Мы с Димой учились в одинаковом классе, только в разных школах: он — для мальчиков, а я, естественно, для девочек. Такое обучение заставляло нас во всё остальное время особенно стремиться к дружбе с мальчишками. Мы как бы черпали там те знания, которых не давала школа.

Например, Дима рассказывал мне, как бы отвечая на мой немой вопрос, что дядя Алёша Устинов застрелился из пистолета ТТ.

Я ему — о трофейных роялях и пианино, погибающих возле клуба. Нет! Я ни слова не сказала о том белом рояле, который стоял в палатке Шишкиных и на котором играла моя чудесная взрослая подружка!

На этот раз, правда, чуть ли не проговорилась, но Дима как-то стремительно пошёл по тропинке, даже обогнал Степана. Тот всегда шёл впереди, как приказывал майор. Ведь дети могли наступить на мины, которых, как это и было на самом деле, во множестве осталось от прежних боёв.

Я опешила от такой спешки, но, став взрослой, поняла, что Дима знал о Маше и её рояле. А за меня боялся, что проговорюсь, а потом сама себе этого не прощу. Слишком быстро за годы войны повзрослел Дима, и хотя мы с ним родились в один год, он, пока был под немцем, обрёл великую, почти мужскую мудрость.

Его мальчишечья память на все виды боевого оружия, их названия и предназначение меня очень удивляли. Смотреть кино о войне для него было наслаждением. Он много раз признавался, что сожалеет только об одном: поздно его родители родили. Он бы пошёл воевать и показал бы этим фрицам!

Я же очень любила трофейные фильмы: «Сестра его дворецкого», «Джордж из Дзинке-джаза», «Серенада Солнечной долины». Эти фильмы Дима называл пустыми, хотя бойцы крутили их до полного износа, а на военных фильмах мало кто из негустого десятка бывших фронтовиков досиживал до конца.

Фильмы показывали из штабной машины прямо на поляне. На красивых женщин из трофейных лент бойцы глядели до посинения, дули на кулаки, притопывали промёрзшими сапогами. А войной они были сыты по горло!

Вовка, верзила Чебулаев и Дима, оставшись одни на полянке показа, уговаривали киношника крутить фильм до конца.

В этом я совсем не понимала Диму (до остальных мальчишек мне не было дела!). Такой умный и рассудительный, он впивался глазами в кадры фильмов, забывая обо всём на свете. Как я могла его понять? Для этого надо быть мальчишкой, а меня мама, в противовес желанию отца, взяла да и родила девчонкой!

Обо всём этом я передумала, пытаясь поспеть по лесной тропинке за Димой.

Очевидно, о своём Хозяине думала Пальма, которая на этой прогулке едва плелась за нами, опустив голову и не обращая внимания на окружающий мир. Посеребрённый ошейник, намертво прилаженный к её сильной шее, не позванивал, как это бывало обычно.

Так мы шли цепочкой, ступая шаг в шаг, во избежание лесных «сувениров» войны. И думали об одном и том же — и каждый о своём.

Впереди шёл Степан.

Странное дело, я так запомнила Степана из того послевоенного, но совсем ещё не мирного времени, что до сих пор будто вижу его, хожу одними с ним тропинками, слушаю окающий занозистый говорок этого основательного человека.

Ординарец командира батальона гвардии майора Шишкина уже давно и пока что напрасно готовился к отъезду домой. Почти все его погодки разъехались по домам. А он получал из дома письма, где жена чётким и ровным почерком писала: «Похоже, что ты совсем не просишься домой? Не иначе, что ты, как твой майор, завёл себе фронтовую подругу. Да и то! Ну какая я тебе жена, если прожили мы с тобой без году неделю? И детей от тебя нет».

Эти пронзительные письма по вечерам Степан читал моей маме и хранил их у нас. Почти в каждом из них его Настя опять и опять упоминала дядю Мишу и его Машу.

Степан, наверное, не подумал, какое грозное оружие против себя сготовил, когда написал молодой жене о фронтовой подруге своего командира. Да ещё, как всегда, в шутовском плане. Дескать, живём втроём, хлеб жуём, водкой запиваем, тебя вспоминаем. Дорого ему эта шутка обошлась!

Маме Степан говорил, что теперь уже учён и не будет так шутить с почти что незнакомыми людьми. А он свою Настеньку знал всего десять дней перед фронтом. Познакомился со своей будущей женой, уже записавшись добровольцем на фронт. Вместе побыли немногим больше недели.

Близкие друзья-товарищи и все домашние знали его как заправского балагура. А вот Настенька его не поняла.

Не раз намекал Степан своему командиру, что пора домой. Но гвардии майор не хотел расставаться со своим фронтовым другом. Протопали они вместе от Смоленска до Праги.

Приезд семьи комбата почти ничего не изменил в жизни Степана. Только забот прибавилось. Хотя Евдокия Ивановна старалась большинство дел взять на себя. Но разве у неё что-нибудь могло получиться?

— Там она по колхозной части, может, и герой! А у нас она — герой «штаны с дырой», — разговаривал сам с собой Степан, быстро шагая по лесной дорожке.

Опомнился только, когда почувствовал, что дети комбата, которых он сопровождал на прогулке, давно отстали от него. Я-то за ним легко поспевала!

Каждый раз, вспоминая дом и свою жену, он включал такую скорость, что потом сам себе удивлялся. Если стирал что-то, то — до дыр, если делал в палатке приборку, то пыль стояла столбом. А в пути сам за собой угнаться не мог.

Круто повернувшись на каблуках, он пошёл навстречу Диме и Леночке. Взял её на руки, прижал к себе.

— Ну, дядька Степан! Забыл ты о Леночке совсем. Хочешь хлебушка с маслом? Или водички из фляжки?

Вот таким был боец Степан. Он считал своего командира лучшим за всю жизнь другом. Но душа рвалась домой, на свой завод. В Тулу, к тулякам. Вспоминал тугие косы своей Настеньки.

— Как заплетёт косы да уложит их вокруг головы — что тебе решето! — не раз говорил он моей маме.

А я представляла её как колхозницу из знаменитой скульптуры. Получалась она в моих фантазиях гипсовой, потому что не понимала шутки-прибаутки чудесного и добрейшего бойца Степана. А он тосковал по ней по живой. А ещё часто вновь и вновь рассказывал нам о своём «старичке» — токарном станке дореволюционного выпуска. Ну и, конечно, о своей дофронтовой жизни.

— Окончил ФЗУ. После него пришёл токарем на оружейный завод, уверенный в своих несокрушимых знаниях. А там не любят таких вертопрахов, каким я в первые дни показался. Дали мне станок — полную развалину. Видно, хотели надо мной посмеяться. Ну, я колдовал над ним, и слезу пускал тайком, и ребят из наладчиков сколько раз пивом накачивал. И добился-таки своего — сделал из станка послушного «старика». Мудрого по годам, вёрткого не по летам!.. Не мыслил даже передавать в чьи-то руки своего железного друга. Но началась война. У меня, как у всех станочников на нашем заводе, имелась стальная бронь. Хоть до девятого мая сорок пятого года! Но выпросился на фронт, как только семья получила подряд две похоронки — на старшего брата Аркадия и на сестру Валентину... Попал сразу в действующую армию. Мстил за своих близких. Воевать бы и воевать! Так нет же! Осколочное ранение. Лёгкое, но в правую руку. Оружие держать не могу. Понимаете? Товарищ военврач и комиссия твердят одно: списать бойца Степана, и всё тут!.. В энту пору капитана Шишкина ранило. В щёку. Он в санпалатку зашёл на перевязку. Было это в другой части. Он там комбатом был. Я в него и вцепился: «Не дайте, товарищ капитан, этим костоломам из нормального и здорового человека калеку сварганить. Хоть при себе придержите, а на фронте оставьте. Не полностью ещё я рассчитался за брата, а за сестру так и вовсе не успел!» Не знаю, какие слова капитан говорил фронтовому хирургу — его довоенному однокласснику, но тот оставил меня — правда, в ординарцах, — при гвардии майоре. Так что до конца войны я ещё и руку успел разработать, и повоевать.

Шагая по лесной тропинке за Степаном след в след, как меня учил папа, я дорисовывала картину, предшествующую уходу Степана на фронт. И будто видела перед собой малолетку Гарика — паренька хлипкого и узкогрудого, которого могучий дядька Степан обучил работе на своём станке. А потом переписывался с ним с фронта. Давал всякие советы. И, однако, не доверял ему.

— Что ни говори — профессорский сынок! — ворчал Степан. — Устроили его, небось, как время придёт, от фронта уберечь. Берегут, ровно он — медовая бочка! Спокойственней было бы, оставь я станок рабочей косточке! А тут: кровь голубая, а мозга́ — профессорская! Вот не думал, не гадал! Чего боялся, в то и вляпался!

Ворчал он, конечно же, напрасно. Гарик писал, что всё в порядке. И даже своему недоверчивому наставнику в конверте прислал благодарственную бумагу от дирекции завода за хорошую подготовку сменщика.

Идти след в след и думать? Но ведь больше нечем заняться. Свернуть с тропинки нельзя. Играть нельзя. Так что же ещё? Вот и вспомнила всё, что о Степане знала.

Между тем гербарий мы набрали. Домой по мягкому ковру опавших кленовых и дубовых листьев вернулись точь-в-точь в назначенное тётей Дуней время. В этот день она варила обед из продуктов, полученных Степаном в каптёрке.

Меня сажали со всеми обедать. В палатке Шишкиных пахло вкусным наваристым борщом. Хотелось остаться, но я знала, что мама не одобрит этого — всё боится, что я из малолетства проговорюсь о Маше.

Мне уж очень хотелось остаться. Разве ты не знаешь, что в детстве всё чужое представляется особенно вкусным?

Пальма даже сделала попытку уснуть, пока я несмело отнекивалась от обеда. Высоко под потолком в стекло окна, вставленного в брезент, цеплялась невесть как ожившая осенняя муха.

Всё располагало на обед в гостеприимной семье. Но мамин окрик: «Иди домой! А ну, живо!» — всё сразу определил.

Мама наготовила всякой вкуснятины, и хотя Карим несколько ревностно относился к замене его у капитанского котелка, и он на этот раз снисходительно кивал, уплетая за обе щёки мамины украинские вареники с картошкой и зажаристым салом.

Воскресный день клонился ко сну. Военный городок гасил огни. Я забралась под одеяло, куда мама предварительно положила грелку с горячей водой. Она всё боялась, что я замёрзну. Не знала, что, как только всё затихало, Пальма прыгала ко мне под одеяло, и мы спали с ней в обнимку до самой побудки, когда горн играл зарю.

Тут хитрюга-собака потихоньку выползала изпод одеяла, сворачивалась калачиком возле печки на своей лежанке и тяжело вздыхала.

Конечно, жизнь у нас совсем не похожа на ту, к которой привыкла Пальма там, на своей Неметчине. И хотя она уже приспособилась к нашим условиям, тяга к комфорту осталась у неё навсегда.

Утром опять, как всегда, пока не проснулась мама, Пальма, вздыхая, заняла свой обычный пост на коврике у печки.

Было холодно. Родители уже завтракали, а я всё ещё нежилась в постели. Наступил ненавистный понедельник. Значит, снова спросонья тащиться через лес почти семь километров в школу. Одно утешение, что теперь нас целая ватага: верзила Чебулаев, важный Вовка, мой друг Дима и я. А с нами — Степан и ещё кто-нибудь из ординарцев.

Дима всё звал меня сходить на могилу Героя Советского Союза, гвардии майора Алексея Устинова. Но я не шла — боялась кладбища и своих повторяющихся снов.

Дима обижался и однажды назвал меня даже трусихой. На мальчишку такое прозвище могло бы подействовать, а на меня — ничуть! Лучше быть трусихой днём, чем все ночи трястись от страха под одеялом…

А мы — на зимние квартиры

Уже пугающе и свирепо дул ноябринск. На землю Подмосковья пали крепкие утренники. Население военного городка всё больше пополнялось жёнами офицеров.

По мере похолодания по утрам в воздухе раздавались охи и ахи. Вновь прибывшие обивали пороги штаба, требуя скорейшего ремонта именно офицерской казармы. Не охала и не жаловалась только моя мама — жена строителя, ещё с довоенных лет привычная к бивуачной жизни.

Жёны офицеров приходили в уныние от неустроенности быта. А супруга старшего лейтенанта Старовойтова — артистка московского театра, белокурая и белотелая, — даже уехала домой, на прощанье громко хлопнув брезентовой дверью. За ней на «эмке» заехал какой-то щёголь в кожаном картузе. Взрослые сказали, что он — «герой-любовник». Какой же он герой, если жену у героя войны отобрал?

Но это я так, к слову вспомнила. Да ещё чтоб показать, что никакие капризы женские не могли пронять руководство.

Командующий корпусом маршал Полубояров Павел Павлович, как «истинный отец солдатам», дал приказ завести под крышу сперва рядовых бойцов — спасителей Родины, что три с лишним года спали по окопам да землянкам, а то и просто в снегу, завернувшись в плащ-палатку. Ведь именно они, мотаясь от фронта к фронту, прорывали немецкую оборону, куда потом втекали другие воинские подразделения.

Осень сменилась предзимьем, а потом и вовсе пришли морозцы настоящей зимы. Рядовые уже заселились в наспех отремонтированные казармы. В красном уголке одной из казарм разместили временно нас, детей части. Там было весело и шумно, но я всё же на ночь удирала к себе, чтобы мирно засыпать в объятиях Пальмы. Её мне не разрешили взять с собой! А всё этот Пирамидон:

— Собака — антисанитария! Может, у неё блохи или ещё что. Нельзя! Понятно?

В казармах не было особого тепла. Дневальные ночи напролёт топили печи. Из всех щелей дуло. И всё же это было настоящее жильё!

Но только убедившись, что его приказ исполнен правильно и все солдаты заведены под крышу, командующий корпусом всё внимание нацелил на достройку офицерской казармы.

Офицеров комкор тоже любил, но знал, что у них палатки лучше утеплены, а ординарцы — офицерские «няньки» — не дадут своему подопечному замёрзнуть. Ночью под брезентом, утеплённым толстенными коврами, ранее принадлежащими какому-нибудь немецкому барону, на перинах и под пуховыми одеялами хорошо спится. Особенно когда рядом пылает буржуйка.

Как-то ещё по осени я за Пальмой забежала в солдатскую палатку, куда мне строго-настрого приказывали никогда не входить. На тощих тюфяках, набитых соломой, — тонюсенькие одеяла. С ужасом представила себе, как холодно солдатикам, укрытым этим, как говорила мама, «рыбьим мехом»!

С тех пор всегда брала мамину сторону, когда она, приученная к жизни в любых условиях, подбадривала и даже стыдила жён офицеров:

— Жаловаться нам просто грех! Поглядите, в каких условиях живут простые бойцы! У нас и перины, и одеяла, и тепло от печек. А там? — и уже с некоторой долей ехидства, бросив взгляд в сторону палатки, где проживал лейтенант Плохотнюк со своей фронтовой подругой, добавляла: — А в таких палатках тепло и без печек!

Я никак не могла понять, почему мама с таким неуважением относится к милым молоденьким девушкам в военной форме, которых вначале было очень много, а к концу ноября они почти все незаметно исчезли.

Даже к моей Маше мама относилась неуважительно. А вот после приезда деревенской и совсем несимпатичной тёти Дуси сильно с ней сдружилась. А мне так хотелось, чтобы она хотя бы минуту погрустила вместе со мной над потерей моего друга!

Однажды под страшным секретом, проплакав после ухода противной тёти Клавы несколько часов, мама заявила мне, что у моего папы тоже была фронтовая «фифа». Он чуть ли не до границы вёз с собой какую-то полячку.

— Вот из-за таких, как твоя Маша, ты чуть не осталась сиротой при живом отце. Тебе не любить всех их надо, а ненавидеть!

Она проплакала ещё несколько дней. А я всё думала: за что мне, например, ненавидеть санинструктора — чернявую Варю, которая буквально спасла меня от смерти, когда я с голодухи объелась немецким эрзац-шоколадом? Ну, это вроде современных «сникерсов».

В войну крохотный кусочек сахара я делила на четыре раза. В наш приезд Карим, от щедрости его татарской души, сразу же поставил передо мной целый ящик невиданного лакомства! И пока мама с папой обходили расположение части, я, как говорится, дорвалась! До пены на губах, до полного посинения!

Прибежала Варя, делала уколы, промывание желудка. Совала под нос вонючую ватку. Всё это мне потом рассказывали, а я была ну чисто неживая! Только слышала, как сквозь ватное одеяло, чей-то далёкий и тянучий голос:

— Дайте рвотное! Дайте рвотное!

Как же без Пирамидона?

И что плохого сделала мне хохлушечка Олька, которая работала на кухне, а жила в палатке лейтенанта, шеф-повара? Почему-то она всегда веселела, когда я забегала в столовую, и давала мне вкуснейшие самодельные пряники. Вот и всё! При этом её румяное, с ямочками, лицо светилось такой добротой!

А когда я увидела, как плакала телефонистка Вера, уезжая домой одна, я тоже заревела в голос. Сама не знаю почему! Ну, рисовала она хорошо да подарила мне немецкую картинку, а на ней — немецкий дом, а возле дома — сад.

Ревела я больше оттого, что в этот день двойку получила. И тётю Веру жалко, и себя! Папка обещал выдрать, когда с рыбалки вернутся. Вот и плакала за всё сразу. Хотя всегда стыдилась слёз и хотела казаться сильной и не нюней.

А о Машеньке разве могла думать плохо? Не было у меня за всю мою последующую жизнь такого замечательного друга, как она. Хотя знала я её всего-то ничего! Но какие это были «ничего»! Чем наполнялся каждый день, каждый миг! Всё, что во мне зародилось светлого, — всё от неё. И восторг перед классической музыкой, и любовь к изыску — всё-всё!

Любила я тебя, мамочка, и люблю. Но, извини, слушала тогда тебя по принципу: «А Васька слушает, да ест».

Зловредные семена ревности, что посеяла в душу моей мамочки препротивная тётка Клавка, прорастали всю жизнь. К неведомой, а может, просто тёткой Клавкой придуманной полячке мама моего безответного отца ревновала до самой его смерти. То есть без малого — сорок лет!

Из-за неё, полумифической, даже не сказала папе, не напомнила ему, полуживому, незадолго до его смерти, что у них должна была состояться золотая свадьба.

Он скоропостижно скончался, так и не узнав и не вспомнив о таком важном событии, а я до сих пор в толк взять не могу, как можно ревновать к прошлому, а тем более — к военному прошлому. Ведь ушёл отец на фронт двадцати семи лет от роду, а вернулся в тридцать один год. И там была самая жестокая война за все века и у всех народов. Не списала разве она всё и вся?

Я поражалась папиному терпению. Он ни разу на мамину ревность не огрызнулся. Только однажды пришёл ко мне заплаканным и попросил защиты. Но это уже другая история.

А так, под шквал маминых упрёков и слёз, он углублялся в работу над своей очередной мормышкой или ещё какими рыбацкими снастями и, казалось, ничего не слышал. А ведь слышал и страдал. Не зря только за один месяц до смерти семь раз был на её грани.

Мама! Милая мамочка! Прости, что тревожу дух твой. Но делаю это не в осуждение тебе, а ради памяти отца, которого я очень любила, и ради своей, теперь уже долгой, жизни среди сдерживаемых страстей. Прости, что война на долгих четыре года украла у тебя твоего единственного любимого!

Ах, мама, мама! Ты ничего не знала о фронте, и я, надеюсь, ничего о нём не узнаю. И, Бог даст, сын мой и внучки — тоже!

Вот только дала мне судьба неодолимую потребность всё помнить и всё сопереживать вместе с теми, кто хоть раз прошёл рядом.

Думаю, только мой безответный папочка мог сорок лет по каждому поводу слышать: «Я тебе не твоя полячка!» Слышать — и при этом никуда не сбежать. А куда сбежишь? Где она, та гавань? Война давным-давно смыла её следы! А я счастливо жила при своём родном отце ещё почти сорок лет после войны.

Я всё время думаю: почему мы, послевоенные дети, как взрослые, всё понимали и остро переживали увиденное, на всё имели собственный взгляд? Это сейчас все увлекаются околонаучными книгами. Недавно у Лазарева прочла, что самый большой грех — убийство любви, даже её убийство в себе.

Сколько же грехов натворила ты, война, разлучив любящих людей! И какая это великая сила — любовь! А фронтовая — ещё сильней! Верю, что когда-нибудь поставят памятник фронтовой жене, которая заменяла защитникам отечества в кровавом месиве войны и мать, и жену, и любимую. И не дала мужикам оскотиниться, зарасти грязью и озвереть!

В маленькой газете «Панорама» был несколько лет назад напечатан большой очерк С. Цыгановой «Лида». Это — исповедь бывшего фронтовика о своей первой настоящей и потерянной на дорогах войны любви, прошёл с которой он всю свою восьмидесятилетнюю жизнь.

Не существуй любви, чем же ещё можно было прожить на этом свете, тем более — на страшной войне? Не знаю, как другие, но я всегда соболезную людям, так и не познавшим это великое чувство. И никогда не осуждаю ничью настоящую любовь. Только бы она была настоящей.

Бойцы привыкали к мирной жизни

Дома у нас постоянно говорили, что после фронта часть быстро осваивала мирную жизнь. Даже немецкие лошади, которые раньше в час обеда замирали как вкопанные и, пока их не накормят, не трогались с места, постепенно свыклись со своей роковой судьбой. И теперь уже покорно волокли телегу с флягами. Везли другую воинскую поклажу. Странно, почти что по-коровьи, вздыхали о былом своём сытном и праведном житье.

Породистые дородные коровы, вывезенные из Неметчины в качестве трофея, в неприспособленных помещениях, получая кормёжку нерегулярно, никак не могли понять, что здесь — не Германия, и почти все испустили дух ещё до начала января.

Их не только не кормили вовремя, но потом и вовсе кормить перестали: сенокос кантемировцы провели под Львовом, а время спасительной осенней отавы — в бесконечно долгой дороге в военный городок.

Так что умирали бело-чёрные красавицы, протяжно плача, падали на исхудавшие ноги. Впрочем,

умирать собственной смертью им не давали — дорезали. А мясо шло в котлы солдатской кухни. Да и в офицерские исходящие паром котелки — тоже, в виде первого-второго, приносимого ординарцами.

Не зря есть примета: что задаром добыто, то мимо пальцев проходит. Многое множество вещей и предметов привезла с собой часть из покорённой Германии, а мало что пошло впрок.

Беззаботные бойцы и сержанты в ожидании демобилизации, не представляя себе истинной ценности доставшегося на войне трофея, направо-налево раздавали, обменивали привезённое. До сих пор застряло в моей памяти самое часто произносимое выражение: «Давай, браток, махнём часы на кирпичик!»

И «махали»! Круглые великолепные часы, может, даже музейные, в драгоценных камнях, — на кусок обычного кирпича. Кстати, это было единственным видом пресловутой дедовщины. Ведь таким образом разыгрывали более опытные бойцы молодняк, едва понюхавший пороху ушедшей войны. Розыгрыш, в общем-то, безобидный, но попадались на него очень многие.

Сердиться при этом не полагалось. В чести была поговорка: «На сердитых воду возят!» А кто же хотел попасть на такую удочку?

Кстати, у молодых в моде были как раз квадратные часы, а их-то нашлось не так уж много. Вот и хотелось ребяткам приехать домой в модных часах и блеснуть перед девчатами не только медалями и орденами, но и такой новинкой.

Офицеры долгими ночами проигрывали друг другу в карты кулоны, медальоны, часы, «лейки», «зеркалки» и другие фотоаппараты. Шли на карточный стол коллекционные ружья, шашки с немыслимыми монограммами, изукрашенные по серебру-злату высокохудожественной резьбой и каменьями.

Правда, длилось такое недолго, так как вскоре пришёл приказ всё музейное и, как сейчас говорим, антикварное отобрать и сдать. Куда-то всё посдавали, но дальнейшая их судьба никому неведома. Тогда же реквизировали трофейные машины-легковушки, всякие там «опель-капитаны». Забрали такой «опель» и у моего отца — твоего деда. Зампотех успел часть трофейных мотоциклов распределить по офицерам.

Хотели отобрать так называемые излишки продовольствия, страна-то сплошь голодала, но по негласному приказу сверху помкомхоз (помощник командира по хозяйственной части) раздал горох, сахар, шоколад, тушёнку и сгущёнку за одну ночь в офицерские семьи да на солдатские завтраки-обеды.

Хуже других оказалась судьба у роялей и фортепиано. Всю дождливую осень у разбомблённого клуба корёжились и молча погибали чёрные, коричневые, красные и даже белые величественные завсегдатаи концертных залов, дворцов и роскошных квартир немецких богатеев.

Судьба белого рояля

Повезло только одному из них. Он попал сразу же с железнодорожной платформы в комбатскую палатку. Втянули его туда еле-еле, прорезав у палатки бок. Больше трёх месяцев по берёзовому леску, где находилась палатка Шишкина, долгими вечерами почти непрерывно лилась дивная музыка. Играла Маша, Машенька. Я, кажется, уже говорила, что на фронт она ушла из консерватории.

Но праздник и для этого рояля оказался недолгим. Едва приехала тётя Дуня, настоящая жена комбата, как тут же велела выкинуть «эту гробину»:

— Где-то же наши дети должны спать?

Напрасно дядя Миша уговаривал жену не делать этого. Вот, мол, Леночка будет учиться. То да сё! Говорят, он хотел даже добыть свободную палатку и втащить Машин инструмент туда. Но в его отсутствие тётя Дуня самолично распорядилась и расправилась с ним, «как повар с картошкой». Это она маме так сказала. Я думаю, что кто-то из «доброхотов», типа тёти Клавы, нашептал ей, кому принадлежал этот белый красавец!

И он разделил общую жалкую участь. Но ранее инструмент этот, с позолоченными подсвечниками, на хрустальных ногах, в самую дождливую пору осени «проживал» под брезентом палатки.

Был он настроен привезённым из Москвы настройщиком. А ещё играли на нём быстрые пальчики чудесной музыкантши. Выброшенный безжалостной натруженной рукой новой «властелинши» комбатской палатки позднее других, он вплоть до основного снега кое-как жил: хрипел простуженным голосом, но всё равно привлекал к себе внимание.

Отец мой да кое-кто из офицеров и бойцов подходили к нему, усаживались на ящик из-под трофейной полевой радиостанции и наигрывали в основном модные в то время песни. Но музыку Маши никто больше не играл.

Потом день за днём непогода делала своё чёрное дело. Напрасно я приставала к помпотеху Онищенко, чтобы он дал команду перетащить рояль в красный уголок большой солдатской казармы. Он отмахивался от меня. Ему было не до этого! Да и музыка — не его дело! А ведь именно он когда-то приходил к Шишкину послушать музыку Маши! Так почему же музыка — не его дело? А чьё?

На чём я остановилась? Ах да! На судьбе белого рояля. Когда выпал материковый снег, мы перешли в казарму, а рояль так и остался стоять у клуба. Первое время я подбегала и сгребала с его крышки снег. Но после сильного снегопада он совсем утонул. Потом на него стали ссыпать снег и лёд с дорожки.

До весны наша семья в части не дожила. Мы уехали в Ростов Великий. Так что я избавлена была от вида Машиного рояля, перезимовавшего под открытым небом в подмосковном лесу.

До отъезда мы всё же недолго пожили в длинной узкой комнате офицерской казармы. Посредине этого жилья-шкафа имелась круглая печка-голландка, а к ней как-то неуклюже была пристроена лежанка. Её «тулово» было выложено русскими изразцами, выломанными, вероятно, откуда-то из церковной печи. Части ликов святых так и глядели

на меня укоризненно. На этой лежанке я и спала — не было места для другой кровати, кроме родительской. На лежанке было тепло, но очень жёстко и скользко. А Пальма, которая привыкла спать со мной, в первые ночи несколько раз пыталась примоститься рядом. Тело её соскальзывало. Она плюхалась на пол. От шума просыпалась мама, цепляла собаку на поводок у самой двери, где дуло во все щели.

Пальма сильно обижалась на такое грубое с ней обхождение. Но скоро и это закончилось. Папа получил перевод в другую часть, в Ярославскую область. В учебный батальон.

Мама, которая постоянно укоряла папу за мягкотелость, прямо так и сказала:

— Ну вот, видишь, к чему привела твоя бесхребетность? Другие будут служить под Москвой и в Москве, а тебя отсылают туда, где Макар телят не пас! Тебе сделают что-то на шляпу, а ты стряхнёшь и скажешь: здрасьте!

А мне папин характер не только нравился, но я и во всём старалась ему подражать. И скажу, не хвастаясь, что даже после его смерти я от людей, его знавших, много тепла получала. Просто так, ни за что! За то, что я — дочь хорошего человека!

Последнее свидание с Каримом Вести о Чоловике

Судьба увлекала нашу семью, а с нами и Пальму всё дальше от Германии. Сначала Львов, потом Подмосковье, а теперь она направляла нас в Ростов Великий.

Среди зимы мы стали переезжать на новое место службы папы. Литеры на руках. На Ярославском вокзале пассажиров битком набито! Попробуй уехать! Помыкались сутки на вокзале — да и отправились на Арбат, к гостеприимному хозяину — к Кариму, бывшему ординарцу папы, дух перевести.

Пальма, как учуяла дорогого знакомца, кинулась ему на плечи. Давай лизать лицо, понарошку покусывала руку. Он прижал её к себе:

— Бедная моя немчура! В который раз будешь новую жизнь испытывать!

От него узнали мы о мытарствах Чоловика, бедного ординарца дяди Алёши. Пропал он совсем. Вызвали его, уже демобилизованного, прямо из части в Москву в очередной раз. Зашёл он к своему сослуживцу. Выложил из вещмешка весь дп для малышни и сказал:

— Ось шо! Пиду туды, куды не скажу. А не звертаюсь, то мэнэ нэ будэ бильш!

И рассказал своему фронтовому товарищу все свои беды с того самого злополучного утра, когда застрелился Алексей Устинов.

Хмурое осеннее утро

В то страшное утро, за думами, ушли Чоловик с Пальмой далеко. Шёл дождь, собака дрожала мелкой дрожью. Солнце уже взошло. Чоловик подумал, что надо торопиться, иначе на кухне ничего не останется ни майору, ни Пальме. А собака затосковала вдруг по своему Хозяину и уже тянулась в сторону городка.

Теперь одно беспокоило её поводыря: не прозевать завтрак для майора. О себе он всегда думал как о постороннем, мало заботился. Не для кого! А в последние месяцы войны даже не прятался ни по каким окопам: для кого и для чего жить?

Его родители и братья-сёстры поумирали от какой-то болезни или во время голодомора в двадцатом году все сразу, а он остался мыкать горе один. Нищенствовал, скитался, чуть подрабатывал. Потом… Впрочем, об этом вспоминать не хотел.

В эту войну снова потерял всех. Теперь вот уехал от него Федя. А о предстоящей страшной потере любимого им гвардии майора не мог думать в то осеннее утро никто.

Ему вдруг вспомнилась странная обстановка начала дня. Как-то стало не по себе! Обычно он сам делал в палатке побудку. К этому времени на буржуйке или на костре кипел чайник, что-нибудь булькало рядом в котелке — Алексей Иванович не любил еду из общего котла. Под самый конец этого процесса ординарец громко произносил: «Товарищу майор! Вже готов завтряк!»

На этот раз весь распорядок был сломан. Алексей Иванович разбудил ординарца на рассвете. Было холодно. Солнце ещё не выскользнуло из-за леса.

Ординарец взглянул на часы и присвистнул:

— Ого! Шо цэ такэ? Такий ранок!

(Присвистнул, правда, про себя.)

— Иди прогуляй Пальму! Она совсем изнылась — гулять хочет. Идите туда, на дальнее болото. Помнишь? Домой не торопись. Сегодня выходной. Прогуляй её получше, чтобы не скулила.

— Так точно, товарищу майор!

Тот невесело засмеялся:

— Ну, чудишь ты, однако. Мы с тобой пять пудов соли съели, а ты всё официальничаешь. Зови меня по имени.

— Нэ можу! Вы ж — майор, а я — боець!

Алексей Иванович — в общем-то, ещё мальчишка, смуглый такой, черноглазый, — нежно привлёк своего ординарца к себе:

— Да уж! Не научил я тебя, как к фронтовому товарищу обращаются, а теперь уже поздно.

Почему поздно и почему не обратил на эти слова внимания, впоследствии ординарец никак не мог понять: и когда затаскали его на допросы, и когда ему, не сумевшему уберечь командира от невозвратного поступка, прилепили ярлык неблагонадёжного.

Героя Советского Союза, гвардии майора Устинова он, полвойны оберегавший его от смерти, не имел возможности даже похоронить. Его взяли под стражу почти сразу после возвращения с той прогулки.

Сначала подозревали, что, может, он сам убил майора и для отвода глаз гулять с собакой пошёл. Потом, когда нашёлся свидетель — боец пулемётной роты, который, к счастью, у того же озера прятался с девушкой в тех самых кустах, возле которых заволновалась Пальма, обвинили, что не доложил по начальству о перемене настроения у доверенного ему майора.

Самовольщик — молодой боец сорок пятого года призыва — немало рисковал, заступаясь за арестованного. А всё-таки решился.

Так что обвинение в убийстве с подследственного сняли, а мучить его на допросах стали только из-за того, не назвал ли майор ординарцу причину своего поступка. Очень уж хотелось им доказать, что не из-за их прилипчивости пустил себе пулю в лоб боевой офицер, бесстрашный командир разведроты, каждодневно рискующий на фронте жизнью почти четыре года.

Следователь полка всё допытывался, есть ли у него свидетели, что он не был в части во время выстрела. А какие могут быть свидетели? Там, в лесу, на болоте?! Пальма — бессловесная тварь и ничего сказать не может.

О бойце-самовольщике, который выручил его, ему, конечно, ничего не сказали (это Карим добавил от себя). Тот боец всё-таки, несмотря на строгий запрет, кое-кому рассказал о том, что помог однополчанину, попавшему в такую беду!

Безвинного продолжали допрашивать и потом. И у парня того допытывались… Вдруг — сговор?

Таскали ординарца к шишкам повыше — к следователю дивизии, корпуса, а ещё в Москву, на Лубянку. А что он мог сказать? Один следователь в 308-й комнате на него заорал:

— Что, молодчик, язык коверкаешь? Хотел со своим командиром шпионством заниматься? Думаешь, меня можно разжалобить, притворяясь, что не всё понимаешь? Я — чекист, и меня не проведёшь! Скажи, ты был с майором у немцев под Дрезденом, когда вся разведгруппа вернулась в семь утра, а он — только вечером? Где он это время был? Что? Лежал, засыпанный землёй? Враки это всё. Почему тогда он не пошёл в медсанбат? И как это ваши хвалёные гвардейцы могли бросить офицера и вернуться в часть без него? Опять шито белыми нитками. Там его наверняка завербовали. А ты вот права не имеешь говорить, что он — самый храбрый и верный из всех офицеров батальона. Может, скажешь, лучший во всей Красной Армии? Все вы там спелись! Ну прямо хор Пятницкого! А замполит дивизии Устинов — наверняка родственник твоего хозяина?! Вот и стоит за него горой, выговор схлопотал по партийной линии, а майора нам не отдал. Впрочем, что это я разговорился? Говорить должен ты, а не покрывать его. Ему-то теперь всё равно, а ты куда пойдёшь с нашим «штемпелем»?

Чоловик очень расстроился от такого напора. Его увели в камеру, а когда через сутки вызвали снова в ту же комнату, допрос вёл уже другой человек. Голос у него был мягкий и даже задушевный:

— Вас напугали на прошлом допросе. Вы у нас не обвиняемый, а свидетель, так как виделись с самострелом последним и знали его более трёх лет. Езжайте в хозяйство Леонова. Там вам скажут, что делать надо. А теперь вот расписочку дайте, что никогда здесь не бывали, ни о чём мы с вами не беседовали. Вы мне — бумажку, а я вам — справочку, что эти три дня имярек такой-то находился в военном госпитале на обследовании. А по секрету скажу, что болтуны (он многозначительно подмигнул) больше у нас не работают.

Карим от себя добавил:

— Писарь батальона Агеев, который вёл протокол, проговорился, что Алексей Устинов оставил подробное письмо, объяснив в нём причину своего решения. Письмо это к делу не приобщили. Смершевец от злости разорвал его в клочья и по рассеянности бросил в ведро. Хотя по всем инструкциям обязан был его сжечь. Агееву удалось забрать те клочки. Там было полное обвинение в адрес своих мучителей. И то, что не верили ему, и что вызывали и вызывали снова. А главное — что на офицерском собрании подсадили своего человека из органов. Тот и сказал, что жениться на Наташе Бенуа советский гвардейский офицер не может. Первое — она из дворян, второе — отец её попал по подозрение как враг народа. А что при аресте тот взял да и умер — не избавляет, и так далее.

Всё это — не мне, конечно, а моему папе, — рассказывал Карим почти до утра. И хотя я очень устала на вокзале, мне хотелось дослушать всё до конца. Говорили за тонюсенькой фанерной перегородкой. Странное у Карима было жильё. Подвал. Под ногами лежали деревянные мостки, как в общественной бане, и хлюпала непросыхаемая вода. Сырость разъедала стены. Они были сплошь покрыты плесенью. Когда наступило утро, только серая полоска чего-то мутного и невразумительного пробилась сквозь верхнюю часть одного из окон, глядящих слепыми глазами прямо на замусоренный тротуар. Здесь жил с младшими братьями наш бравый гвардеец. Это он среди других принёс на своих плечах Победу.

Полуподвал с тусклыми окнами под самым потолком, за которыми беспрерывно шаркали, ковыляли, шуршали и цокали ноги прохожих, стал местом последнего послевоенного свидания моего отца с его однополчанами. Казалось, что он отрывает от себя что-то дорогое и такое необходимое, без чего дальше трудно жить.

— Ну вот! Вспомнила сцену прощания моего отца, а твоего дедушки, с однополчанином, и слёзы пробили сухие мои глаза. Пойду приму какие-нибудь капли для успокоения. А потом продолжу.

Свидание на Арбате с кантемировцем оказалось не последним. Прошло двадцать семь лет со дня окончания войны, пришло письмо от одного из папиных сослуживцев на имя директора завода, где папа мой тогда работал.

Помню, бежала я домой, ног под собой не чуя, зажав это послание из прошлого в руке. Но отец взглянул на обратный адрес и отодвинул конверт.

— Папа! Ты понимаешь, тебя нашли! Понимаешь?! — кричала я.

— Понимаю. Не слепой. Ты только посмотри, кто его написал. Поняла? А ещё всегда утверждала, что помнишь трагическую смерть Алёши Устинова! Так вот, Алёша убил себя по вине этого мерзавца. И не только… А я должен радоваться, что он

меня нашёл? Открой письмо и прочти. Он явно чего-нибудь просит.

И точно — просил замполита подтвердить, каким храбрым офицером был лично смершевец на фронте. И похлопотать о выдаче хоть какой награды.

Руки у отца дрожали. Он взял конверт и письмо и разорвал на мелкие клочки. Кстати, я эти клочки храню. Я вообще храню всё, что связано с памятью об отце.

Ездил потом мой старенький папочка с сопровождающим на встречу с однополчанами в военный городок под Наро-Фоминском. Так тому просителю при встрече руки не подал.

— Понимаешь, идём мы по аллее к штабу, а тот в кожане — навстречу. И руку ещё издали протягивает. А отец твой свою правую руку так быстренько за спину спрятал. Тот говорит: «Что ты меня не узнал? Совсем плохо видишь». — «Вижу даже чересчур, поэтому руки тебе не подам».

Для меня этот рассказ сопровождающего из комитета комсомола стал большим откровением — таким своего отца я никогда не знала. А мама что-то там про шляпу говорила. Мол, стряхнёт и скажет!

Так проверена была фронтовая дружба и не прощён виновник гибели гвардии майора Алексея Устинова даже через столько лет.

ДиН конкурс

Литературное Красноярье

Чуть выше небес, чуть дальше времён…

Под рубрикой «ДиН конкурс» мы публикуем стихи, вошедшие в «длинный список» конкурса памяти И. Д. Рождественского — на лучшее стихотворение, посвящённое Сибири.

Александр Москвин

Последний шаман

В плену холодов безмолвна тайга,
Лишь рёв шатунов да уханье сов.
Чуть мостники льда сведут берега,
Придётся начать работу с азов.
За сопкой скулёж разводит песец,
И в голос ему рыдает варган.
На небе горит жемчужный корец,
Бредёт по земле последний шаман.

В узде полыньи стенает исход,
И горести ждут нижайший поклон,
Но мёртвый олень шамана несёт
Чуть выше небес, чуть дальше времён.
Петляет беляк по вязи снегов —
Его не страшит медвежий капкан.
Покуда царит злорадство врагов,
Не смеет робеть последний шаман.

Потёртый наряд из содранных шкур
Укроет его от зверства тяжбы.
В канон мерзлоты вонзается бур,
Ведомый рукой всенощной божбы.
Навалится жар ударом под дых,
Напрасно жреца зовёт истукан —
Варган промолчал, и бубен притих,
А с ними умолк последний шаман.

Дмитрий Замятин

Кяхта

Крах империи прозрачной,
Кратер орд немилосердных,
Чайных цыбиков привычных,
Цвет кирпичный и тревожный.

Старость городов пустынных,
Странность путников незваных,
Желтизна отрогов смутных,
Цвет растерянный и жадный.

Жертва взглядов неспокойных,
Горло караванов ранних,
Голубых материй милых,
Цвет небесный и пустой.

Цель потоков быстротечных,
Хаос мыслей азиатских,
Гоби горизонтов дальних,
Цвет безвестный и простой.

Виталий Пырх

Енисей

Вобрав в себя снега и льды,
Река напоминает море.
Не то, что столько в ней воды,
А то, как льётся на просторе.

Не удержать планете всей
Её течение руками.
И кажется, что Енисей —
Пролив между материками.

Роальд Мандельштам

Над миром стеклянных улиц…

Роальд Чарльсович Мандельштам (1932–1961) — сын американского коммуниста, приехавшего в СССР и, естественно, репрессированнного. Имя получил в честь легендарного Роальда Амундсена — дань эпохе легендарных полярников. Пережил блокаду, эвакуацию, болел астмой, лёгочным, позднее костным туберкулёзом; инвалидом провёл в Питере пятидесятые годы, оставил после себя более четырёхсот стихотворений; умер фактически с голоду, не увидев при жизни ни единой своей строчки в опубликованном виде. Первая посмертная книга Роальда Мандельштама — «Избранное» — вышла в Иерусалиме в 1982 году; в более или менее полном виде его наследие было издано лишь осенью 2006 года — «Собрание стихотворений».

Ковшом Медведицы отчеркнут,
Скатился с неба лунный серп.
Как ярок рог луны ущербной
И как велик её ущерб!

На медных досках тротуаров,
Шурша, разлёгся лунный шёлк,
Пятнист от лунного отвара,
От лихорадки лунной жёлт.

Мой шаг, тяжёлый, как раздумье
Безглазых лбов — безлобых лиц,
На площадях давил глазунью
Из луж и ламповых яиц.

— Лети, луна! Плети свой кокон,
Седая вечность — шелкопряд, —
Пока темны колодцы окон,
О нас нигде не говорят.

Я не знал, отчего проснулся,
И печаль о тебе легка,
Как над миром стеклянных улиц —
Розоватые облака.

Мысли кружатся, тают, тонут,
Так прозрачны и так умны,
Как узорная тень балкона
От летящей в окно луны.

И не надо мне лучшей жизни,
Сказки лучшей — не надо мне:
В переулке моём — булыжник,
Будто маки в полях Монэ.

Я так давно не видел солнца! —
Весь мир запутался в дождях.
Они — косые, как японцы, —
Долбя́т асфальт на площадях.

И, сбросив с крыш кошачьи кланы —
Искать приюта среди дров,
Морские пушки урагана
Громят крюйт-камеры дворов.

Когда сквозь пики колоколен
Горячей тенью рвётся ночь,
Никто в предчувствиях не волен,
Ничем друг другу не помочь.
О ритмы древних изречений!
О песен звонкая тщета!
Опять на улицах вечерних
Прохожих душит темнота.
Раздвинув тихие кварталы,
Фонарь над площадью возник —
Луна лелеет кафедралы,
Как кости мамонтов — ледник.

Звонко вычеканив звёзды
Шагом чёрных лошадей,
Ночь проходит грациозно
По тарелкам площадей.

Над рыдающим оркестром,
Над почившим в Бозе днём
Фалды чёрного маэстро —
Воронёным вороньём.

И черней, чем души мавров,
Если есть у них душа,
В тротуары, как в литавры,
Марш просыпался, шурша.

Розами громадными увяло
Неба неостывшее литьё:
Вечер,
Догорая у канала,
Медленно впадает в забытьё.
Ни звезды,
Ни облака,
Ни звука —
В бледном, как страдание, окне.
Вытянув тоскующие руки,
Колокольни бредят о луне.

Выпуск подготовила Марина Переяслова

Андрей Грачёв

Блокнот

Пацаны

После обеда навалилась обычная плотная жара. Небо затянулось сероватой дымкой, а каменистая земля раскалилась и послушно отдавала ветру шарики сухой колючки. Третий взвод забился в палатку и, раздевшись до трусов, тихо млел. Время от времени кто-нибудь подходил к баку с питьевой водой и тайком от сержанта Дорошина блаженствовал, поливая себе шею и грудь. Дорошин растрату видел, но не пресекал. Его тоже затягивало в удушливый полуденный сон. Никому ничего не хотелось говорить и тем более делать. Не унимался один только Волошенко, худой, дочерна загоревший одессит. Сливаясь телом с цветом трусов, он лежал, по обыкновению, на чужой кровати и лениво притравливал анекдоты — не оттого, что хотелось, а потому, что одессит.

— Слышь, Литкевич, — прервал он вдруг себя, — покажь свою бабу!

Сидевший напротив коренастый молчун перестал рассматривать фотографии и спрятал их в карман х/б.

— Перебьёшься.

Своих фотографий он никому не показывал и вообще ничего не делал напоказ.

— Покажь, говорю, бабу-то! — не унимался одессит.

— Заткнись! — нахмурился Литкевич. — И она тебе не баба.

— Ну, мадама!

— И не мадама! — совсем помрачнел Литкевич и для прочности надел х/б на себя.

— Как? — изумился дождавшийся своего одессит. — Так твоя мадама ещё мадемуазель?

Палатка радостно захихикала и, скрипнув кроватями, затаилась. Надвигалась хохма. Литкевич напрягся, мучительно пытаясь выдумать что-нибудь тоже обидное, но так и не выдумал и только медленно побагровел:

— Заткнись!

Волошенко вскочил, придал лицу выражение трогательной честности и, подхватив раструбы огромных трусов, расшаркался в изысканнейшем реверансе:

— Ах, простите! Ах, извините, наступил грубой ногой на нежное место!

Все уже хохотали. Дневальный, появившийся на пороге, улыбался, ещё не зная чему, но на всякий случай. Даже зачерпнувший было воды Дорошин не удержался и булькнул в кружку. Литкевич оглянулся беспомощно, обречённо вздохнул и, развернувшись, двинул насмешника прямым слева. Получилось без изысков, но сильно. Звон затрещины раскатился по палатке ударом грома. Волошенко отлетел в сторону, вскочил, осовело хлопая глазами, и вдруг, взвизгнув, рванул из ножен дневального штык-нож так, что ножны на ремне бешено завертелись, и, трепеща по воздуху трусами, ринулся на врага. Литкевич перехватил его табуретом. Брызнули щепки. Нож, звякнув, завалился за кровать, и оба, сцепившись, всё круша и переворачивая на пути, покатились по полу.

Противников растащили.

— Лажа! Из-за бабы драться!.. — объявил Дорошин с презрением. Но без всякой пользы.

— Сволочь! — злобно таращился из своего угла Волошенко.

Нос его был разбит, а скула посинела.

— Сам сволочь! — с не меньшей злобой шлёпал разбитой губой Литкевич.

— Убью я тебя, гад! — ненавистно шипел Волошенко.

— Я тебя сам убью! — твёрдо обещал Литкевич.

Их кое-как развели и к приходу ротного навели порядок, но полного порядка навести не удалось. Весь день противники после этого старательно друг друга обходили, но, встретившись случайно, снова раздувались от злобы и готовы были сцепиться, так что между ними постоянно приходилось дежурить кому-то третьему. А вечером роту подняли по тревоге и бросили на дорогу вытаскивать застрявшую в «зелёнке» колонну.

Рассадив драчунов по разным машинам, Дорошин устроился на головной и для порядка поглядывал всю дорогу назад. Литкевич сидел позади с видом гордым и независимым, а Волошенко, выказывая полное презрение к миру, и вовсе забился внутрь. Остальные курили и сокрушались по поводу последнего разгрома футбольного отечества. Прошёл слух, что проиграли то ли португальцам, то ли полякам.

Ветер сгустился, ударил в лица знакомым солярным смрадом, и за поворотом показались наконец горящие костры наливников. Получив по рации установку, БТРы веером развернулись на дороге и с ходу вломились в виноградник. Все горохом посыпались с брони и неровной цепью полезли наверх. Виноградник и пять-шесть домов рядом рота взяла под себя легко, но на пустом кукурузном поле, сплошь утыканном кочерыжками стеблей, попятилась, залегла и скатилась в сухой арык. Плотный огонь из-за мощного крепостного дувала заставил её залечь.

— А, вот я их! — проворчал ротный капитан Шевцов и хищно клюнул в рацию носом.

И тут же парами кружившие над дорогой вертолёты перестроились в круг. Фыркнули ракетные залпы, бомбы ухнули так, что вокруг арыка

растрескалась сухая земля. И вдруг все увидели, как из последнего, самого ближнего к дувалу дома густо повалил оранжевый дым—свои.

— А, дьявол!—ругнулся капитан и дал «вертушкам» отбой.—Кого туда чёрт занёс?

По роте пробежала молниеносная перекличка, и Дорошин похолодел: чёрт занёс туда Литкевича и Волошенко. Эти двое отойти вместе со всеми не успели, а вытащить их было нечем.

Целый час пехота не могла поднять головы и только наблюдала за тем, что происходит между крепостью и домом. А события там разворачивались интересные.

Заметив оранжевый дым, крепость изо всех сил старалась неудобного соседа выжить. Дом в долгу не оставался и огрызался так плотно, что шум стоял за целую дивизию. Несколько раз там что-то оглушительно взрывалось. Дом обрушивался целыми стенами, затихал, но потом снова принимался бодренько потрескивать автоматами. Прислушиваясь к этому треску, Дорошин пытался понять, из скольких стволов работает дом, и если казалось, что из одного,—покрывался холодным потом. Он места себе не находил, грыз без нужды бесполезного снайпера Гилязова, и в голову ему лезли нехорошие мысли.

— Не боись, им трактор мозги не ездил!—успокаивал его Гилязов, но не слишком уверенно.

Все понимали, что более подходящего случая для «тракторов» и быть не может, а мозги у обоих явно набекрень.

Наконец подоспевшая с горки десантура навалилась на «зелень» сверху, и вдоволь належавшаяся рота разнесла крепость в пыль. Дорошин вломился в дом первым. Высадив дверь плечом, он влетел по осыпающимся ступенькам и, прокатившись с ходу на куче стреляных гильз, рухнул на пол. Ветер гонял по комнате вонь пороховых газов и смятые патронные пачки. Чумазый, оборванный Волошенко сидел по-турецки на полу и набивал магазины. Засыпанная патронами каска раскачивалась перед ним, и крыльями разваливались при каждом движении клочья разодранного маскхалата. Не менее грязный Литкевич стоял у обрушенного окна и контуженно зевал.

— У-у-у, гад!..—урчал кошачьим, нутряным голосом Волошенко, щелчком загоняя патрон.

— Сам гад!—свирепо скалился в зевоте Литкевич.

— Морда тамбовская!—клокотал Волошенко.

— Сам морда!—немедленно отзывался Литкевич.

Дорошин с кряхтением поднялся.

— И не надоело вам?—ухмыльнулся он, растирая ушибленный бок.

— А ты чего прискакал?—мигом развернулся к нему Волошенко.—Вали, пока не навешали!—и угрожающе засопел.

— Да ну?—не поверил сержант.

— Морда! Три лычки!—подтвердил от окна Литкевич.

И, засопев носами, оба недружелюбно надвинулись на сержанта. И ростом, и сроком службы Дорошин был выше, но тут от неожиданности попятился и только головой покачал.

— Идиоты!—сказал он сердито.

Вытолкнул из дверей подоспевшего Гилязова и побежал догонять своих. Новый их взводный всего третью неделю привыкал к жаре и без своего заместителя нервничал.

А ночью Дорошина разбудила хлопнувшая дверь. Он открыл глаза, долго всматривался в темноту и среди смятых простыней и голых пяток разглядел наконец две пустые кровати. Не спалось, конечно, Литкевичу и Волошенко.

— Ну, блин!..

Дорошин беспокойно поднялся, сунул ноги в ботинки и, шлёпая по полу шнурками, вышел.

Было тихо. Дремал под грибком дневальный; налитая, полная луна зависла над ним, и заскучавший на дальнем посту часовой пытался дотянуться до неё беззвучными малиновыми трассерами. Дорошин обошёл палатки, заглянул за каптёрку и, поднявшись на невысокий каменный завал, замер. Удивительная картина открылась перед ним. Внизу, в клубах фантастической лунной пыли, катались по земле и добросовестно молотили друг друга двое. Лунным светом лоснились животы, влажно мерцали потные спины, и только натруженное сопение нарушало необычную тишину.

Дорошин постоял, подумал и, в той же беззвучности спустившись с завала, вернулся к палаткам. У грибка дневального он остановился закурить. Дневальный прислушался.

— Что там?—спросил он тревожно, качнув стволом в сторону завала.

— Порядок,—отозвался Дорошин не сразу.

Докурил в две затяжки сигарету и вернулся к себе.

В палатке он долго не мог уснуть, ворочаясь и наматывая на себя горячую простыню. Наконец задремал и сквозь сон услышал, как мимо палатки прошли, тихо переругиваясь и шмыгая разбитыми носами, в сторону умывальника двое.

— Гад!

— Сам гад!

— Всё равно я тебя убью!

— Я тебя сам всё равно!..

— Пацаны...—пробормотал Дорошин и уснул вдруг так крепко и безмятежно, как не спал ещё ни разу с начала своей войны.

Блокнот

Чего только не бывает в жизни, даже хорошее. С утра разносил комбат, в обед долбил замполит, а вечером завезли кино. Потрясающее—«Москва слезам не верит». Все, кто загремел в караул, застонали, остальные радостно засуетились и выслали молодых занимать места. Один только Юрка Ковалёв не суетился, сел за тумбочку и стал в блокноте что-то писать. Блокнот был маленьким, писать приходилось ещё мельче, поэтому разобрать, что он пишет, было нельзя, а хотелось. И любопытный Шурка Линьков спросил прямо:

— Чего пишешь?

— Да так...—неопределённо ответил тот.—Про всё.

— Про что—про всё?

— Да про это...

— Ух ты!—догадался Линьков и зауважал.—Писатель...

И ничуть не удивился, возможно. Ковалёв всей роте письма писал. Ляжет, уставится в потолок и произнесёт: «Диктую!» И дальше только за ним поспевай. И до того складно, до того красиво, сдержанно вроде, но так, что за душу берёт и после не отпускает. Переписываешь набело — и от жалости к себе сердце заходится. Некоторые эти письма и не отсылали. Перечитывали в карауле и начинали как-то себе нравиться, отчего-то себя уважать. А когда Юрка не диктовал писем — писал в блокнот, и блокнот этот всегда носил при себе. К нему приставали от скуки: «Прочитай!» И он иногда читал. Но ведь он что делал, козёл? Шпарил без запинки и с выражением «Агрессивная суть блока НАТО», а на странице было совсем другое. Линьков подглядел однажды, и сейчас приставать не стал. Шмыгнул уважительно носом и потопал в кино.

Кино получилось весёлое. В конце первой серии, когда Родик укладывал Алентову на диван, по КПП ударили из гранатомёта. Весь мужской контингент от облома взвыл. Дежурная рота сбегала пострелять, и кино всё-таки продолжилось, но уже сразу со второй серии, что было значительно хуже. Поэтому в палатку Линьков вернулся без настроения. Залез к себе на второй ярус и, задумчиво поскрипев пружинами, свесился вниз.

— Слушай, Юр, а целуются в кино по-настоящему?

— Не знаю, не пробовал, — буркнул тот.

— А почему же тогда так по-настоящему продирает?

— Это и есть искусство, когда настоящего нет, а пробирает. Надо только, чтоб пробирало по-настоящему.

— Дурак, — влез, как всегда, Поливанов. — А убивают в кино тоже по-настоящему? — и рассмеялся.

Но Поливанов что? Он только анекдотов навалом знает, а Ковалёв — голова. У него такое в голове, такая пропасть! Шурка лежал с ним однажды в охранении — за перевалом пасли «зелёнку», — так за ночь столько от него узнал, что потом два дня спать не мог. И про звёзды, и про войну, и даже про Александра Македонского. Он потому и место себе выбрал на верхотуре, чтобы к нему поближе. Несолидно для «черпака», зато всегда можно свеситься и спросить. Но сейчас все его расспросы прервал ротный.

— Отбой, Линьков! — вмешался он. — У тебя завтра выезд.

И выключил свет. Но Шурка долго ещё отключиться не мог. Лежал, ворочался и скрипел. Из головы не выходила «Москва»: почему «не верит», почему «в слезах»? И только когда снова грохнуло на КПП и привычно затрещало со всех постов, заснул.

А утром осторожно, чтобы не разбудить Ковалёва, поднялся, взял в оружейке автомат и пошёл с ребятами на КПП. Пока ждали БТР, смотрел, как закрашивают на воротах копоть. Дневальные спешили до подъёма, потому что днём нельзя, а вечером без этого не сдать наряд. Дырки там, пробоины — куда ни шло, а копоть извольте закрасить.

— И чего, дураки, на КПП лезут? — посочувствовал Шурка. — Здесь на метр полтора ствола, и все спаренные, — но, вспомнив, что наряд будет принимать как раз Ковалёв, указал: — За окном побелите — чёрное!

И порадовался за себя. Вчера он за две сгущёнки записал себя вместо караула на выезд. Выезжали за водой на скважину: тоже не бог весть какое путешествие, но всё равно веселее, чем караул.

И точно, повеселились. На обратном пути из «зелёнки» шарахнули из ДШК. По броне как булыжниками простучало, но размениваться с паразитом не стали, сдали пушкарям. Пропустили вперёд водовозку и на полном ходу проскочили. И хорошо ещё Поливанов углядел: хлестало из водовозки, как из ведра. Пробоины как могли заткнули тряпками и вернулись в полк. Воды, правда, довезли половину, но зато быстро. Дежурный на боковую ещё не завалился, и, сдав ему автомат, Шурка заспешил в палатку. Нужно было срочно предупредить Ковалёва, что стена на КПП не забелена и наряда в таком виде не принимать. А то ведь он хоть и голова, а с ушами. Примет по доброте, а у него — нет, и будет потом расхлёбывать за них, простота.

Но спешил Шурка совершенно напрасно: Ковалёв, накрывшись с головой, спал. Дневальный, из молодых, разбудить его не решался, а ротный в палатку не заходил. И, сорвав с него одеяло, Шурка за дневального заорал:

— Подъём, жор проспишь!

И осёкся. Ковалёв был мёртв, подушка была вся бурой от крови, лицо, наоборот, белым, а в брезентовом полотнище у изголовья просвечивала крохотная дыра. Шурка шагнул назад, натолкнулся спиной на дневального и дальнейшее уже слышал плохо.

Пришёл начмед, потом комбат и незнакомый из особого отдела майор, и началось то ли дознание, то ли что.

— Шальная… — заполнял майор. — Между одиннадцатью тридцатью и двенадцатью ночи… Входное отверстие соответствует…

«Это когда я про «Москву» думал, — соображал Шурка — и странно так соображал, отчётливо. — И он лежал так всю ночь, и утром лежал. И когда я боялся его разбудить…» И ещё поразило, как невозмутимо-спокойно осталось всё кругом.

За обедом обедали, за ужином ужинали. Ели без аппетита, но ели, разговаривали тихо, но не о нём. Дорошин внизу скатал матрац и унёс в каптёрку.

— Теперь твоя.

Потом, злее обычного, пришёл замполит и стал собирать из их тумбочки Юркины вещи.

— Мыльница его?

Шурка кивал.

— Зубная щётка чья?

— Тоже…

— А блокнот?

И Шурка неожиданно испугался:

— Мой.

Любые записи и заметки для памяти были строжайше запрещены. Блокнот до Юркиных не дойдёт. Замполит недоверчиво на него посмотрел. Но блокнот был не подписан, почерк неразборчив, и он его отложил. И Шурка облегчённо вздохнул,

прибрал его и быстренько после замполита отбился. Но Юркиного места отбивать не стал — полез к себе. Лежал и, прислушиваясь к себе, недоумевал.

Получалось так, как говорил Юрка. Не было его в настоящем, не существовало, а пробирало. И пробирало так, что он вроде бы существовал. И хотелось всё время свеситься вниз. И, выждав, когда рота заснёт, Шурка без единого скрипа поднялся, притащил на тумбочку переноску, которую Дорошин приспособил под настольную лампу, и, завесив её штанами, приступил. Не задумываясь, не подбирая слов и прямо с того места, где обрывалась строка. Места в блокноте оставалось много, но писать так же мелко он не умел и поэтому экономил. Писал, шмыгая носом, и выводил неуклюжие буквы. Он хотел, чтобы пробирало, чтобы верили и по-настоящему.

— Пишешь? — свесился к нему Поливанов, посмотрел задумчиво в потолок и неожиданно попросил: — Напиши, как мы тогда с танкистами подрались и он за меня вписался.

— Про то, как он мне на «губу» сгущёнку принёс! — попросили справа.

— И про письма!

И со всех сторон вдруг посыпалось:

— Про то, как он вместо «Боевой листок» «Боевой свисток» написал!..

— И про рейды!

— И про кино!..

— И про то, как мы на скважину ездим, и вообще!..

Всё вокруг заскрипело, придвинулось и ожило. Уцелевшая от караула рота наперебой диктовала, и Шурка едва за ней поспевал. Строчил, дул на пальцы и снова строчил. Рота охала, вспоминая, смеялась до слёз и сухими глазами плакала. Всем было грустно и отчего-то пронзительно хорошо. Никто не слышал ни стрельбы, ни грохота КПП, ни шального свиста над головой. И когда в палатку вошёл для подъёма ротный Фомин, все спали вперемешку на чужих местах, Линьков за тумбочкой сопел в блокнот, а на переноске тихо занимались штаны. Фомин их осторожно убрал, пролистал блокнот и на середине с удивлением остановился. Сразу после мельчайшего бисера было неумело и старательно выведено: «Блокнот», а чуть ниже, коряво, но с той же твёрдостью, Линьков написал: «Расказ».

Кот

Третий батальон прочёсывал «зелень», поднимался, делал рывок и подолгу отлёживался в арыках. «Зелёнка» была густой, сплошь покрытой дувалами и с ходу не давалась. Взвод лейтенанта Шерстнёва обходил её справа и с яростным матом продирался сквозь теснину дувалов. Ревели БМП, тюкали щупами сапёры, и деловито шарил носом в пыли сапёрный пёс. И вдруг Жорка Самсонов, радист, которого взводный всегда держал при себе, счастливым голосом заорал:

— Мужики, кот!

Все задрали головы, механики по пояс высунулись из люков, и движение застопорилось. По гребню разбитого пулями дувала гордо вышагивал роскошный, совершенно сибирского вида кот. Балансируя метёлкой хвоста, кот остановился, мяукнул что-то неслышное в рёве моторов и глянул с любопытством вниз.

— Ух ты! Наш, русский! — выдохнул в восхищении Жорка.

— Почему — русский? — обиделся механик Набиев. — В Узбекистане такой тоже есть!

— Наверное, из городка сбежал!.. — догадался кто-то.

И весь взвод радостно засюсюкал:

— Кис-кис-кис!..

Кот доверчиво спрыгнул на дорогу, отозвался на родной позывной, но огромный сапёрный пёс сорвался с поводка и, заливаясь счастливым лаем, загнал его в виноградник. Видно, что-то своё и знакомое вспомнилось и ему.

— К ноге, Анчар! К ноге! — всполошились сапёры.

Все вскочили, гранатомётчик Пашка Кузнецов уже сорвался с брони, но Шерстнёв перехватил его за штаны и осадил:

— Увижу кого с котом — сгною на гауптвахте!

— С котом? — наивно переспросил Пашка.

— Без! — пророкотал лейтенант и одной интонацией вставил Набиева обратно в люк.

Он уважал котов и сам дома держал такого же красавца, но становиться из-за него посмешищем всей дивизии не собирался. Просто невозможно было доводить рапортом, что операция сорвалась из-за кота.

— Сапёры, вперёд! Держать дистанцию, колонна!

Но удержаться и пройти хотя бы ещё на один бросок гранаты ему не удалось. В самой узкой расщелине дувалов взвод напоролся на засаду. Грохнув, забарабанил из дома напротив крупнокалиберный пулемёт, ударил десяток автоматных стволов, и взбитая свинцом дорога закипела пылью. Броня загудела от прямых попаданий, сапёрный пёс протащил на поводке убитого хозяина. Разрывным крупняком начисто выстригло над головой виноградник и сдуло с брони стрелков.

Сбивая пулемётчика, Шерстнёв бросил на него головную машину. Та, взревев дизелем, рванулась, понеслась, но, брызнув из-под себя обломками траков и катков, замерла. Хитрый дом обложился минами и близко к себе не подпускал. Поэтому и раскрошил он внеочерёдно сапёров, и взвод беспомощно залёг за дувалом. Оставалось лежать и крыть дом только матом. Вызвать «вертушки» или навести с дороги самоходчиков Шерстнёв не мог, потому что сам попадал тогда под своих. А подставляться, разворачиваясь в отходе, было и вовсе невозможно. И тут из виноградника неожиданно выскочил Пашка. Исчезнув куда-то в самом начале, он появился там, где его не ждали. Без бронежилета, налегке, подкатился к самому дому и дал с колена выстрел. Отбросив пустую трубку, сделал второй и, не разбирая дороги, полетел к своим. Вырубленная в стене амбразура обрушилась, пулемёт заглох, но зевнувшие Пашку автоматчики опомнились и теперь всё своё зло вымещали на нём. На голову ему посыпались виноградные клочья, комьями брызнула из-под ног земля, но землю они перепахивали напрасно. Выписывая заячьи петли, Пашка сбивал прицел

и расстояние до своих стремительно сокращал. Причудливо выпятив живот, он летел, выделывая невиданные прыжки, и на землю упорно не ложился.

— Ползи, Пашка, ползи! — кричали ему из-за дувала и как могли прикрывали из всех стволов.

— Ползи! — не выдержал и лейтенант.

Но Пашка так и не лёг. Споткнувшись у самого дувала, на ногах всё-таки удержался и перевалился боком через гребень. И тут уже десятки рук подхватили его за шиворот и затянули под траки. Правая штанина у Пашки была бурая от крови.

— Ну ты, Кузя, орёл! — одобрил Самсонов. Распорол штанину, закатил шприц-тюбик и, наложив бинты, постановил: — Кость цела, а мясо будет… Следующий!

Обязанности связиста Самсонов совмещал с медициной, потому что новый санинструктор крови ещё боялся и нуждался сейчас в нашатыре.

Пашка сосредоточенно думал о своём, разглядывая в задумчивости штаны. Что-то такое хотел ему сказать и лейтенант, но единственный его уцелевший сапёр рванул в это время дувал. Скованная им броня вырвалась наконец на свободу и бездорожьем, через мелкие арыки и изгороди, вышла на прямую наводку.

Они прошли дом почти насквозь и, не останавливаясь, двинулись дальше. И долго ещё «зелёнка» перекатывалась короткими очередями, звонко лопалась разрывами гранат и чадила гарью пожаров и сигнальных дымов. А вечером Шерстнёв собирал раненых на своей броне и ругался. «Вертушки» на ночь глядя грузов не брали, и транспортировку поручили ему. Последним, чавкая правым ботинком, явился Пашка. Его прямо-таки распирало от набитого за пазуху винограда.

— Это что? — нахмурился лейтенант и вытянул из-за ворота отборную гроздь.

— Дорошину… ребята просили, — насупился Пашка.

Дорошин, лучший у Шерстнёва сержант, третью неделю лежал с пулевым, и навестить его действительно не мешало.

— Ты бы хоть в мешок всё сложил, что ли, — поморщился лейтенант.

Но Пашку, чтобы не давить виноград, посадил к «тяжёлым», а сам вместе с «лёгкими» разместился на броне.

Удачно проскочив придорожную зелень, лейтенант на приёмке разругался с «медициной». «Тяжёлого» Набиева санитары в горячке посчитали убитым.

— Куда вы тащите? В какую мертвецкую? Самих вас туда перетаскать, бестолочь санитарная! — кричал он и тянулся в запальчивости к кобуре.

Пашка постоял, послушал и незаметно отошёл в сторону. Свернув за угол, он обошёл приёмный покой и заковылял вдоль колючей проволоки. Невдалеке стоял обтянутый маскировочной сетью модуль, и заметным ориентиром трепетало над ним женское бельё.

Пашку мутило, противно хлюпала в ботинке кровь, и ногу до самой поясницы простреливало болью, но маршрута он не менял и ориентира держался твёрдо.

— Стой!.. Куда?

Часовой, рослый, с бычьей шеей десантник, встал у него на пути и лязгнул для порядка затвором.

— Слышь, полосатый, а где тут у вас бабы живут? — спросил его Пашка.

— Что? — не поверил десантник. Оглядел раздувшийся Пашкин живот, рваные в потёках грязи штаны и ухмыльнулся: — И этот туда же… Вали, мобута, пока не вломили!

Пашка покладисто развернулся, но как только часовой, обходя объект, исчез за углом, вернулся и подошёл к масксети. Расстегнув пуговицы, он вытряхнул виноград и бережно опустил на землю бесформенно слипшийся ком. Ком полежал, встряхнулся и оказался обыкновенным котом, одуревшим от жары и сонной таблетки. Кот покачался на нетвёрдых лапах, помотал головой и вдруг с ожесточением принялся вылизывать слипшуюся от виноградного сока шерсть.

— Ну, иди, зёма, иди!..

Пашка приподнял сеть и, втолкнув кота внутрь, затаился. За масксетью хлопнула дверь, плеснула в тазу вода, и радостный женский голос закричал:

— Девочки, кот!.. Настоящий!

— Ой, господи, красавец какой! И мокренький!

— Зина, это твоего капитана подарок?

Пашка с кряхтением поднялся, стряхнул со здорового колена пыль и от неожиданности вздрогнул. Десантник стоял всё это время у него за спиной и внимательно следил за каждым движением.

— Мог бы и сразу сказать, — обиженно буркнул он и брякнул в досаде автоматом.

Пашка постоял виновато, подумал и, выловив из-за пазухи уцелевшую гроздь, сдул с неё прилипшую кошачью шерсть.

— На, зёма, жуй! — протянул он грязную ладонь.

И заковылял к приёмному покою, где его ждал суровый лейтенант.

Лейтенант оживлённо рассказывал кому-то о дневной операции и в горячке не попадал пистолетом в расстёгнутую кобуру.

— Отдал? — не повернул головы Шерстнёв.

— Отдал.

— Дорошину?

— Дорошину.

— Ну, бывай!

И, легко вскочив на броню, лейтенант дал отмашку.

Пашка чихнул, подался от пыли назад и обомлел. Лейтенант рассказывал об операции Дорошину.

— Снимай штаны, «медицина» ждёт, — хмыкнул тот.

И крепким подзатыльником завершил другую задуманную и успешно проведённую его взводом операцию — «Кот».

Хор имени Пятницкого

После выезда, едва выбравшись из палаток, образцово-показательный полк стремительно преобразился. Некому стало показывать, пылью покрылись образцы. Вырвавшись из гарнизона, всё стало

принимать свой обычный походный вид и входить в нормальную колею. С автоматов свинчивались для удобства приклады, к уставным штанам пришобачивались вместо заплат неуставные карманы. Неуклюжие тяжёлые подсумки сменялись самопальными «лифчиками», мобуты—кедами, и все, поголовно все оказались бородатыми.

Бриться было и нечем, и некогда. Воду за полком тащили на водовозке и выдавали по фляге в день: хочешь—пей, хочешь—брейся, и больше хотелось пить. Обросший, бородатый комбат стал удивительно похож на царского полковника. Курчавый Миносян разросся так, что старшина уже дважды угрожал побрить его штык-ножом. Какое-то время держался ещё замполит. Дня три он ходил только слегка небритым и жужжал на привалах механической бритвой «Спутник». Но бритва была отечественной, «Спутник» на четвёртом привале сломался, и замполит молниеносно оброс.

—Сломался, сломался замполит!—ликовал личный состав и, воодушевлённый поломкой, внешний вид запустил окончательно.

Могучей щетиной покрылся Косаченко. Безобразными островками заколосился Линьков. На людей стали похожими все дембеля и даже некоторые из молодых, а у Корнюхина не росло. Под носом ещё туда-сюда, а на подбородке—ни грамма. И уже неделя прошла, и другая, а у него не росло. Раздражение росло и расстройство чувств. И Лёшка прыгал в расстройстве на чью-нибудь подножку, заглядывал в зеркало заднего вида и содрогался: вид безобразный—уши, щёки и нос. И хоть бы чепуховина какая выросла на щеках, хоть бы чего приросло под носом, так нет. Три волоска в два ряда, и четвёртый с краю. И каждый день доставал Лёшку замполит:

—Ну, хоть один на человека похож!—радовался он.

И мужики добивали.

—Человек…—разглядывали они и удивлялись.—Гляди, похож!

И чем дольше это безобразие тянулось, тем больше он чувствовал себя непохожим, и, что самое противное, другие чувствовали. Обманутые внешней молодостью танкисты «запахивали» чистить ствол. Дембель из девятой роты норовил послать за водой. И Лёшка посылал за водой дембеля и тут же, у ствола, раскрывал танкистам обман, но обман не раскрывался.

Лейтенант оглядывал с тоской взлохмаченный взвод и печально просил:

—Корнюхин, хоть ты, что ли, за водой сходи…

Потому что за водой нужно было проходить мимо штаба, а у всех борода, которую комбат разрешал только себе, и у штаба он его неизменно замечал:

—Ну вот, внешний вид! А вы—условия, условия… Плохому солдату война мешает!

И, чувствуя себя хорошим, Лёшка невыносимо страдал, тем более что комбат, насмотревшись на него, выбрил личным «Брауном» всех штабных, а мимо штаба приходилось ходить. И ни «лифчик» не помогал, ни кеды, ни хипповое, переделанное из панамы, кепи. Так и мучился. Чтобы хоть как-то успокоиться, пошёл снова к танкистам, но танков на прежнем месте не нашёл, а нашёл десантуру и тут уже, конечно, расстроился капитально.

Сидел, приложив к глазу гранату, и прямо-таки изнемогал. Жить не хотелось совершенно. Да тут ещё мужики, как назло, затеяли фотографироваться всем взводом на фоне гор. Раздобыли где-то фотоаппарат, выставили противно подбородки и принялись зазывать:

—Лёха, айда!

—Корешок, задница прорастёт!..

Но Лёшка в ответ только мрачно сопел:

—Не могу—глаз!

Потому что истинную причину скрывал, и чтобы скрыть окончательно, влез на подножку к Дмитренко и зашаркал всухую китайским станком.

—Да хрен с ним, с глазом! Завтра таких четыре набьём,—уговаривали его.

Но Лёшка упёрся—и ни в какую, шаркал мрачно и пучил глаз так, что многих это даже удивило. И чего он так из-за глаза? Всё равно под грязью не видно. Молчит, сопит и морду скоблит.

—Брось, Корешок! Бабы больше бородатых любят!

И тут уже Лёшка психанул—его прямо-таки пронзило. Но не сразу психанул, а тактически.

—Ладно, паразиты, побрею я вас!—мрачно решил он.

После бритвы стал старательно натираться «Гвоздикой» и поразил всех расчёской, от которой сразу отлетели два зуба и лёгким облачком поднялась пыль.

—А носки в парфюме замочил?—заинтересовался личный состав.

Но Лёшка не откликнулся и на «носки». Извлёк из заначки ослепительную подшиву и хладнокровно прикрыл её свежестью грязь воротника, отчего все завелись уже окончательно: подшива была страшным дефицитом и применялась только в случаях большого начальства и великой радости. Но начальство вроде бы отпадало, а последней радостью была сгущёнка, и ту на прошлом привале съели.

—Для кого бигуди?—не выдержал Линьков.

Лёшка неспешно застегнул х/б, помолчал загадочно.

—Для искусства!

И коварно пошёл спать.

И все взволновались, взвод остался с ощущением тайны, и чем больше над ней размышлял, тем крепче становилось ощущение. Ковалёв объяснил, что для искусства—это вроде как для себя, но в «для себя» никто не поверил: для себя Лёшка ленился даже разогреть сухпай. А тут «на человека похож», и вообще в последние дни «внешний вид». Кто его здесь увидит? Зачем это надо? Каждый забеспокоился, что, может, и ему надо, а он не знает, и чтобы узнать, пошли в штаб.

Штабом были два БТРа: один простой, а второй не простой, а «Чайка». К нему и направились. Выставив часового, подошли, поскреблись в броню и остолбенели: из люка выставился на мгновенье сонный и совершенно бритый Морсанов. Одеколоном «Наташа» веяло от него и военной тайной. И тайна раскрылась.

—Юрчик, кого ждём?

— Как это — кого? — удивился он. — Хорымина и Пятницкого.

И все обалдело переглянулись: хор имени Пятницкого! Дышать перестали в принципе. Чтобы переварить, помолчали, а помолчав, не поверили. Сюда — хор? Да здесь через день штурмовка, через неделю обед. Какой там Пятницкий — бред! И перевели дух. Но тут из второго БТРа отрывочно донеслось. Комбат устраивал кому-то разнос:

— Артисты!.. Театр!.. Самодеятельность!.. Прекратить!..

И все окончательно помертвели: артисты с театром и какая-то самодеятельность. А из БТРа возбуждённо и громко неслось:

— Циркачи, блин!.. Бригада!.. Согласовать!..

И тут уже задышали:

— Ну, блин, дела!

— То-то Лёха у штаба вертелся!

— Сидят себе, набриваются, а мы ни при чём?

И через пять минут ошеломляющая перспектива открылась всем. Батальон возбуждённо загудел:

— Артисты приезжают, циркачи и какой-то хор!

И уточняли:

— Женская труппа! Бригада типа фронтовой!

Ковалёв взахлёб затосковал о театре, Самсонов заспорил, что лучше цирк, и только Корнюхин продолжал спать. Но будить его никто не стал: что нужно делать, знали уже и без него. Скакали зайцами по броне, потому что ходить по обочине запретил сапёр, и меняли лезвия на воду. Но если вода ещё у кого-то оставалась, то лезвий не было ни у кого, а если и были, то за ними выстраивалась такая очередь, что к её концу они становились действительно безопасными. Косаченко, оказавшись шестнадцатым, ревел навзрыд. Миносян начал уже всерьёз присматриваться к штык-ножу. Спарывали карманы, возвращали подсумки, торопливо и наспех возвращались в мирную жизнь. Дневную норму воды истратили полностью и счастливые, ободранные, принялись ждать.

— Мужики, вы чего? — испугался, проснувшись, Лёшка.

Но до него даже не снизошли: знаем, знаем, мол, можешь не заливать. Глядели в небо, откуда должно было спуститься искусство, и беспокоились, что ему некуда сесть. Но тут сапёры впереди что-то рванули, и колонна, лязгнув, пошла и присыпала пылью свежую красоту.

Чтобы не опоздать, воевали наскоро. Наспех взяли какую-то сопку, потом ещё, а третью не взяли и испугались — с сопки работал по «вертушкам» ДШК. Но напряглись и пулемёт сбили. Задыхающиеся, чуть живые, поставили на прикрытие свои, и вертолёт действительно прилетел. Завис на минуту, присел, и из него вывалились два аккуратных, отутюженных майора. Мокрый, полумёртвый от усталости комбат к ним подошёл, и они козырнули:

— Майор Хорымин!

— Майор Пятницкий!..

— С проверкой из штаба армии.

И батальон отвернулся. В тот вечер никто и ничего не говорил, даже Корнюхину — ничего. Жевали вяло сухой паёк и понимали, отчего он сухой.

Вечером, когда наконец вышли к реке, заговорили:

— Ну лохи, ну кретины!

— Чуть не сдох без воды, всю морду себе ободрал!

— Какая сволочь пустила дезу?

И началось следствие. Каждому хотелось эту сволочь найти. У одного погибли в панике дембельские усы, другой располосовал себя так, что до сих пор истекал кровью, и всем хотелось на эту сволочь просто посмотреть. Но всем сразу посмотреть было нельзя. Дознание проводили самые крутые и конкретные дембеля: Федотов из девятой роты, Налейко из восьмой, Ходынин и Корнеев из автовзвода. Поднимали, отводили в сторонку по одному и опрашивали:

— Ты про хор от кого узнал?.. А тебе кто сказал? А он?..

И очень скоро вышли на третий взвод, но взвод железно стоял на своём: деза пришла из штаба. И тут же извлекли из БТРа и только потом разбудили ни в чём не повинного Морсанова, но тот только выпучил в изумлении глаза:

— Да вы что, мужики? Я сам от девятой узнал!

И круг замкнулся, пришлось всё начинать сначала. Будили, трясли и вытряхивали правду — и к утру снова вышли на третий взвод. Но взвод опять-таки указывал на Морсанова. И тут уже завелись по-настоящему. Неизвестная сволочь снова кинула и выставила лохами лучших людей. Распалились до того, что не сразу догадались спросить: а зачем пошёл к Морсанову целый взвод, и кто первым произнёс это слово — «искусство»? Но потом спросили, и правда открылась — Корнюхин. И тут уже его разбудили. Нарочно, не нарочно — не разбирались.

— Что, спишь, тварь? А мы вот не спим… Подъём, сейчас деды тебя будут жизни учить!

Лёшка поднялся, оглянулся растерянно на своих, но все крепко и старательно спали. Спал Косаченко, спал Миносян, и даже Линьков. Чтобы не шуметь, повели его к внешним постам, и часовые тоже старательно пялились в темноту и ничего не замечали. Только ракеты перестали пускать, чтобы не засветить случайно место суда, поэтому и Лёшкиного лица в это время никто не видел.

Били его долго, люто и с наслаждением. За то, что кинул, за то, что поверили и никто не прилетел. За напрасно потраченную воду и подшиву, и вообще — за всё. Лёшка, как ни странно, оказался крепким: не оправдывался, не просил. Раза два попробовал даже отмахнуться и не падал, пока не свалили его крепким кованым ударом в живот. Но и тогда молчал, пускал кровавые пузыри и со странной жалостью смотрел в небо. А на небе уже загоралась заря и розовыми отблесками отражалась в его глазах.

Таким и нашёл его на заре Миносян и испугался неподвижности глаз:

— Да что же это они, а? Ара, ты как?

Но Лёшка и ему ничего не сказал. Поднялся молча и неловко, боком полез на броню. Лицо у него было землисто-бледным, а взгляд тусклым и немножко больным. Но синяков под грязью было не видно, поэтому никто ничего не заметил. Он

только двигался слишком медленно, опаздывал отвечать на вопросы, отставал. Поэтому, когда колонна попала под обстрел, не успел. Спрыгнул неловко с брони, сделал неуверенно два-три шага и упал. Снайпер срезал его, когда все давно и надёжно залегли за скалой. Вытащить его сразу не смогли и ещё полчаса все смотрели, как он пытается подняться из пузырящейся красной лужи. Потом, когда подошла и прикрыла своей бронёй БМП, его смогли вынести. Отбились кое-как, расчистили пятачок, и комбат заказал «вертушку». «Вертушка» ушла, и все попрятались — в машины, в люки и в свои дела. На колонну как будто опустилась тишина, и ни рёв моторов не нарушал её, ни грохот дизелей. Взорвал тишину комбат. Выскочил на стоянке из связного БТРа с бледным, перекошенным лицом:

— Подонки, сволочи!.. Перевешаю, как собак! Мерзавцы!

И перепуганный Морсанов объяснил:

— Оказывается, пулевое у него туфта, у него три ребра сломано и селезёнка…

И в звенящем напряжении стал не слышен даже комбат. Курили, молчали и с нарочитой скукой смотрели вдаль. Страшный, трясущийся Миносян пошёл со стволом вдоль колонны.

— Убью, всех убью! — хрипел он.

И, конечно же, никого не убил, потому что убивать бы пришлось действительно всех. Все были виноваты и зависели от того, сдаст их Лёха или не сдаст. Знали, что теперь каждый день будет трясти его особист. А он такой, он вытрясет. И потянулось тяжёлое томительное ожидание: со дня на день, с часу на час, вот-вот и подлетит особист. Но Лёшка не сдал.

Он лежал в медсанбате и прожигал неподвижным взглядом потолок, как будто дыру в нём хотел прожечь в испепелённое зноем небо. Таким и застал его Миносян, и засуетился, выкладывая бахшиш, — пустили его ненадолго.

— Виноградик, сгущёнка, халам-балам! — и отдельно от всего положил бережно на кровать кассету. — И вот ещё от мужиков бахшиш…

Но Лёшка на него даже не посмотрел — повернулся, закашлялся и прошептал:

— Федотова… когда вернусь… убью…

И Миносян ответил:

— Не надо, Лёшик, убили его уже… Под Файзабадом в девятой две машины сожгли…

И, неловко цепляясь халатом за углы, вышел.

Лёшка долго лежал неподвижно, потом осторожно задышал, потянулся нетвёрдой рукой к кассете и замер, дожидаясь, когда растает боль. И, когда всё прошло, всё растаяло, всадил кассету в магнитофон, и на всю палату, на весь медсанбат величественно и распевно грянул хор имени Пятницкого.

Злоумышленник

За перевалом седьмой день шла войсковая операция, седьмой день в ущелье трещало, лопалось и рвалось. Над головами бесконечными парами заходили «вертушки», и шла, сотрясая горы, тяжёлая техника. Сбивая сопки и оседая на блоках, батальон за неделю наполовину растаял и, напоровшись на особенно плотную «зелень», запросил подкрепления. Через час мимо него прошла на штурмовку десантная разведрота. Проплыли каски, нагрудники и укороченные стволы, и с обшарпанных БМД понеслось:

— Эй, мобута, вали с дороги!

— Воду кипятите, черномазые! Вечером носки подвезём для стирки!..

И над дорогой, едва не вздымая пыль, покатились могучие раскаты воздушно-десантного юмора.

Потрёпанная, подавленная пехота униженно молчала. Все чувствовали на себе заплатанные штаны и несмываемую, уже недельную, грязь поражения. И только тощий, всегда незаметный Черепанов не слишком громко сказал:

— Давай-давай, полосатые, вали, пока не навешали!

Замыкающая БМД от изумления остановилась. Потом снова пошла, но с неё на ходу соскочил и приблизился вразвалку могучий сержант в плавжилете на голом теле и с синим дембельским орлом на плече. Лычки у него были наколоты непосредственно под орлом.

— Ну, — недобро прищурился он, — и кто это вякнул?

Пехота невольно съёжилась, попятилась потихоньку назад и оставила перед собой одного Черепанова. Тот с тоской оглянулся, лизнул пересохшие губы, но довольно твёрдо ответил:

— Я.

— Ты? — не поверил сержант. Оглядел хилую, в штанах пузырями, фигурку, но даже не улыбнулся. — Вешайся! Вечером приду учить воздушно-десантные войска уважать.

И, догнав без особой спешки свою БМД, исчез в клубах пыли.

— Ну, Череп, тоска! — посочувствовали Черепанову сзади.

— Может, в санчасть его до завтра заныкать? — предложил кто-то. — Его вон как вчера осколками полоснуло…

Но без особой веры. Санчасть была далеко. Она давно и безнадёжно застряла на перевале, а десантура был рядом и, по всему видно, за слова отвечал.

Сочувствовали Черепанову до самого вечера. Отлёживаясь в сухих арыках и пережидая в домах обстрелы, рассуждали, есть ли у Черепа шанс, и признавали — ни одного. Он всегда был тише воды и выделялся из всех только носом. Он у него был такой маленький, что, можно сказать, и не было. Надеялись только, что сержант не придёт. На сопках, по слухам, тоже шло туго, и ждали на прорыв десантуру. Но сержант пришёл. Оглядел по-хозяйски расположившуюся на привале пехоту и, высмотрев, кого искал, поманил пальцем:

— Пошли!

Спасти Черепанова было некому. Всё командование, включая десантное, собралось на совещание у комбата. Сидевший у костерка Черепанов встал, одёрнул под ремнём полинявшую х/б и обречённо пошёл следом. Нахохленная, встревоженная пехота

потянулась за ним. Вступиться за него никто не решался, но присутствовать решили все.

Разведрота расположилась на площади у мечети и, выставив по периметру БМД, обедала.

— Во! — оживились десантники. — Ща Миронов на мобуте приёмы отрабатывать будет!

Потеснились и выставили вперёд свой молодняк, чтобы учились и знали как. В стороне, бесшумно от деликатности, приземлилась пехота.

— Держись, Череп! — зашелестело оттуда.

— Ремень на кулак намотай, ремень!

Но Черепанов не отвечал. Смотрел сосредоточенно на врага и ждал неприятностей. Миронов подождал, критически его оглядел и снисходительно хмыкнул:

— Ладно, один раз можешь ударить… Для заводки… Ну?

И Черепанов ударил. Он ударил один только раз, но так, что пехота ахнула, а у десантников округлились глаза. Миронов как подкошенный рухнул и, нелепо раскинув руки, застыл. Обшитая сеткой каска грянула оземь и описала вокруг него полукруг. А Черепанов, оглядев свой кулак, дунул на него, как на оружие, и спрятал в карман. Гробовая тишина нависла над ним, кто-то совершенно явственно подавился сухпаем.

— Да я тебя!.. — взорвался, мгновенно рассвирепев, огромный, как БМД, десантник и, намотав на кулак котелок, двинулся на мобуту.

Но тут взвилась и разом психанула пехота:

— Назад! По правилам!..

— От винта!

— Не трожь Черепушку!

И над площадью поднялся невообразимый гвалт. Назревал скандал. Десантники хватали за грудки пехотинцев, пехотинцы пачками повисли на десантниках, но тут от поверженного гиганта оторвался и разом всё прекратил санинструктор.

— Ну, всё! — объявил он как приговор. — Он Мирону челюсть сломал!

И сразу же над головами у всех грозно разнеслось:

— Кто?.. Где?.. Миронову?

Командир разведчиков ввинтился могучим плечом в толпу. Подоспели расходившиеся с летучки офицеры, и скандал грянул. Всех застроили, Миронова сдали «медицине», и летучка в командирской «броне» получила неожиданное продолжение. Дым из люков валил такой, что некурящий писарь Морсанов вылетел пробкой наружу и, как из воды, выдохнул:

— Всё, крышка Черепу! Замполит говорит: сдать под суд!..

Но Черепанов под суд не сдавался, за него насмерть резался взводный Шерстнёв. Кроме того, на каждого, кто был на вчерашней сопке, командование затребовало наградные, а первым на неё поднялся, как назло, Черепанов. Да и замполит на лишнем «чепце» в своём отчёте особенно не настаивал. И командиры стали уже смутно припоминать, что как раз на это время у них намечался совместный тренаж и что травма, стало быть, во время тренажа и произошла. Но тут в люк с шумом ввалился начальник особого отдела Лукин. Про него все знали, что личность он загадочная, а мужик неплохой. Но когда дело доходило до службы, «мужик» исчезал, и сейчас перед всеми предстал загадочный и серьёзный хозяин «особняка».

— Дознание провести по всей форме! — объявил он. — Моральное разложение прекратить! — И грохнул, как топором, люком.

Благодушных настроений командования он не разделял, да с ним особенно и не делились. И дознание началось.

В обтянутую масксетью палатку стали таскать десантников, офицеров, мотострелков, но то, что случилось всего час назад, на бумагу ложилось плохо. Мотострелки молчали, десантники огрызались, а офицеров комбат предусмотрительно задвинул на огневые, откуда вытащить их не представлялось возможным. Да и самому Миронову, как оказалось, челюсть благополучно вправили, и он уже вовсю шуровал в «зелёнке». Складывалось впечатление, что если кто-то и приходил, то только для того, чтобы выгородить Черепанова и рассказать, какой он замечательный и незаменимый солдат. Но Лукин не сдавался. Он терпеливо сводил концы с концами, выявлял, уточнял, сравнивал. Он упрямо гнул свою линию, и после мучительно долгих расспросов на бумаге сошлось: «Нанесение телесных при отягчающих…» Дело было простое, как помидор, — обыкновеннейший неуставняк, но Лукину оно безобидным не представлялось. Любой мордобой в подобных обстоятельствах мог запросто перейти в перестрелку, и что бы ни говорил комбат, как бы ни косился на него личный состав, он решил это дело раскручивать до конца.

— От обязанностей отстранить и препроводить в полк! — приказал он.

И утром Черепанова повели на «вертушку». Его вытащили прямо из «зелёнки», взмокшего и почерневшего от пороховой гари. Он шёл, спотыкаясь, и стыдливо отводил глаза, как будто без ремня чувствовал себя голым. Вместе с ним к «вертушке» шёл и Лукин. Счастливого пути ему, понятно, не пожелали, но он этого и не ждал. Прошёл с каменным лицом мимо всех, и через час «вертушка» высадила их в полку.

На гауптвахту и прочие формальности Лукин времени терять не стал. Провёл Черепанова прямо к себе и, усадив на скрипучий стул, приступил:

— Фамилия, имя, отчество?.. Дата и место рождения?.. Звание?

И тут его постигло первое и внезапное разочарование. Черепанов оказался совсем не прост. Внятно ответив на ничего не значащие вопросы, он неожиданно и всерьёз замкнул.

— Ну, кто виноват? Кто начал? — допытывался Лукин.

Черепанов не отвечал.

— Кто первым ссору затеял?

Но Черепанов не издавал ни звука. Он сидел, по-школьному сложив на коленях руки, и молчал.

— Да ты что, в несознанку пошёл? Напрасно, — увещевал Лукин. — Известно всё, а признание, сам понимаешь, облегчает!

Но Черепанов не облегчался, виновато сопел и упрямо рассматривал на столе чернильную кляксу. А Лукин заводился всё больше и больше.

— Да глупо же! — страдал он. — Ты пойми: всё, что от тебя требуется, — раскаяние!

Его потрясала чудовищная, непробиваемая косность солдата, беспросветная его тупость. Он искренне и изо всех сил пытался ему помочь, подсказывал формулировки, смягчал акценты, но достучаться, пробиться к нему не мог.

— Да ты понимаешь, что это — «дизель»? — бушевал он. — Дисциплинарный батальон, понимаешь? И после ещё дослуживать год. Это же вся жизнь под откос! Ты пойми, полгода скостят!..

И вдруг, приглядевшись, оторопел: Черепанов давно и безмятежно спал. Он спал с открытыми глазами, сидя и впервые за четыре последних дня. Худые его рёбра почти не выдавали дыхания, руки на коленях застенчиво прикрывали заплаты, а глаза хранили прежнее выражение раскаяния и вины. И что-то накатило на Лукина, подхватило что-то глупое и неосторожное. Он вскочил как ужаленный и, схватив сигарету, забегал по комнате.

— Идиотизм!.. Детский сад! Глупость!..

Сигарета занялась не с того конца, одна за другой гасли спички, и никак не удавалось найти китайскую, изъятую у «губарей», зажигалку.

Дел у него была куча. Весной он нашёл в кишлаке человечка, и нужно было его встретить, хадовцы обещали вывести на Хайруллу, чёрт-те что творила в военторге продавщица Маринка, а тут это... Свирепо схватив с аппарата трубку, он по своей линии и через все шумы рявкнул:

— Слушай, ты, комбат, что вы там лепили про совместный тренаж?.. И чтобы завтра же я твоего охламона не видел!

Счастье

Первухин решил застрелиться: головой — на ствол, пальцем — в спуск. Лежал среди камней, ворочался, — так и решил. А чего? Всё равно жизнь не задалась. На разводе комбат «раздолбаем» назвал, Косаченко наехал, да ещё от Люськи письмо: «Прости, не грусти, так вышло...» И как это у них так выходит — сначала «не грусти», потом «прости»? Но Люська что? Если честно — до лампочки. Он и целовался-то с ней всего два раза, и то милиционер спугнул. День любил — на второй забыл, а вот с Косаченко обидно.

Он ведь с ним на Панджшер ходил, бахшиш ему на дембель подарил — цепочку — и всегда за него вписывался. А тут котелки заставил мыть, как молодого, при всех. И комбат тоже: «Ты у меня зимой на дембель пойдёшь, командой сто!» А за что? За сон на посту. В боевом охранении заснул; а где же ещё и спать, как не там? Время есть, «духов» нет — там все спят, и Косаченко — тоже. А ему сразу — котелки. Душа горела, горело подбитое сержантом ухо, и вообще накипело всё: «красная рыба», пыль и свирепый комбат. И Первухин решил застрелиться немедленно и всерьёз. Нужно было только найти автомат, потому что своего у него не было. По штату Генка числился пулемётчиком и всюду таскал с собой здоровенный пк. Его он и потащил.

Отошёл за бугорок, примерился. И боком к нему пристраивался, и животом, но до спуска так и не дотянулся — ростом не вышел. «Ногой! — сообразил он. — Разуться — и большим пальцем!» И уже потянул себя за шнурок, но тут с гор рванул такой ветер и такой прошёл по всему телу озноб, что разуваться сразу расхотелось. Стреляться захотелось ещё больше, а разуваться — нет. Босым, на ледяных камнях — брр! И Генка пошёл к Самсонову — всегда у него одалживался, когда в караул.

Тот сидел на камне в одних трусах и штопал, натянув на каску, штаны.

— Жорик, дай автомат!

Но Самсонов как раз в это время вогнал в палец иглу, расстроился и не дал:

— В прошлый раз давал — ты его чистил?

И зажал. А ещё друг, на «губе» вместе сидели, Люськины письма ему читал. И пришлось спать, не застрелившись.

Батальон был на выходе. Отбой застал его на горе, и каждый завалился где смог: в бушлатах, спальниках и просто так. Укладываясь, для тепла ложились впритирку и подло оставили Генку с краю. Сапёры обтягивались «сигналками» и, забивая колышки, не давали уснуть. Бесчувственно храпел в больное ухо Поливанов, и долго бубнил с сапёрным зёмой Старков. Автоматы все старательно прятали под собой. Сопели, укладывались, смеялись, и никому никакого дела не было до Генки. Никому не приходило в голову, что вот эта ночь, может быть, для человека — последняя. И Генка тосковал. «Ну, погодите, — страдал он. — Спохватитесь завтра, увидите!..» И страстно завидовал взводному. У взводного был не только автомат, но и пистолет, который, по идее, и ему бы не помешал. Но ведь нет правды на земле, и лежит его пистолет где-то на складе. А он здесь, на камнях и с тяжеленным пк. И никто, небось, не помнит, что ему не только пистолет, но и второй номер полагается. А он третий день таскается один и с пулемётом. И с коробками, и с запасным стволом. «Стволом! — озарило вдруг Генку. — Вместо палки — и нажать на спуск! Застрелиться хватит!» Можно было, конечно, и гранатой, но это ещё хуже, чем разуваться. Не хотелось совсем гранатой, как-то не то. И оттого, что завтра стреляться, Генке неожиданно полегчало. И сапёры перестали стучать, и в душевный свист перешёл Поливанов. Одним словом, до утра ещё можно было как-то прожить, а утром — всё. И пусть все подавятся своими автоматами! И Генка стремительно, как в пропасть, свалился в сон. Знакомая дорога снилась ему, просёлок и запах бензина.

Проснулся он тоже легко, поднялся бодро, но застрелиться утром ему не удалось. Обидно было, что пропадает пайка, — пришлось позавтракать. А потом выяснилось, что будет «вертушка» и, возможно, письма. И не то чтобы он их от кого-то ждал — в прошлый раз получил и целую пачку, но мало ли? Может, вспомнил кто, может, чего написал? Просто невозможно было застрелиться

и не узнать. Пришлось для очистки совести ждать. И дождался.

Через час подлетела и зависла в облаке пыли «вертушка». Приняла раненых, оставила груз, и скоро вдогонку головной роте понеслось:

— Первухину!..

— Третий взвод, Первухину!

И хорошо ещё, что не заставили плясать — как раз в это время проходили минное поле. Надрали только уши, отчего снова запылало больное. Письмо вручили захватанным и от множества рук лохматым. Генка на ходу его прочитал, и стало ясно: всё, окончательно и бесповоротно. Лучше бы он застрелился вчера. Мать писала, что продала мотоцикл, новенький и не обкатанный ещё его «Минск». Перед самой армией купил, всё лето работал, а она продала. И зачем? Чтобы костюм какой-то купить, какие-то туфли. «А то ты придёшь и будешь совсем раздетый!» А он ведь его под кроссовый переделал, глушитель переставил и вилку. И ведь просил же, просил! «Костюм! — упивался горечью Генка. — Вместо глушака — туфли!» И даже обиды теперь не чувствовал — только горе.

До этого он о матери старался как-то не думать — неприятнее было, чем разуваться на камнях. А теперь подумал и решил: нет в жизни смысла, ни грамма! И соглашался уже и на гранату, и босиком. Но гранаты он, как назло, вчера раскидал: то ли баран ночью прошёл, то ли что. Новых набрать из цинка поленился, а стреляться на ходу не хотел. Да и стыдно как-то на глазах у всех — всё равно что на глазах у всех целоваться. И вдруг, вспомнив, как он тогда, у военкомата, на глазах у всех целовался, Генка пронзительно и с неожиданной ясностью понял: Люська! Чепуха всё — и комбат, и Косаченко, и даже мотоцикл, потому что всё-таки не до лампочки она ему, эта Люська. Запах её духов вспомнился ему, и удивительное, трепетное дыхание. И такой это был запах, такое дыхание, что щемящей, невыносимой болью сдавило сердце, и Генка, застонав, повалился набок. Потом, поднявшись, рванул из чехла запасной ствол и тут же услышал:

— Поливанов, гад, возьми у Первухина ствол и коробку! Пойдёшь за второго!..

Косаченко наводил порядок. И Поливанов занял, что и без того под завязку, что хотя бы ствол, а коробку другим. Только пóтом пахло вокруг и хриплым чужим дыханием, и ни секунды не было, ни мгновения, чтобы остаться одному и хотя бы это мгновение — побыть. Сипел простуженным горлом Поливанов, бесконечными командами подгонял комбат, и одна только радость оставалась на тропе — мины, когда можно было привалиться и перевести дух.

Батальон бесконечной цепочкой шёл на подъём, и вместе с ним поднималась и нескончаемой сухой горечью разливалась тоска. И никакой возможности не было остановиться, чтобы её прекратить. Комбат гнал так, что пар валил от взмокших спин, и Генка не понимал уже, куда идёт и зачем, и не радовался, когда сапёр останавливал колонну. А рядом волновался и безостановочно суетился взводный. Отслеживая колонну, он то отставал, то снова забегал вперёд, без нужды снимая с предохранителя автомат. Автомат у него был новенький, не обтёртый, и сам взводный тоже был новеньким и не обтёртым. Поэтому, когда по камням защёлкало и взвизгнул над головами первый рикошет, никто от него команды ждать не стал. Быстренько разобрались и, как положено, залегли. Потом куда-то стреляли, потом снова куда-то шли, и снова переползали, стреляли, шли — и так целый день. Бесконечными парами заходили и фыркали ракетными залпами «вертушки». Проседая целыми пластами, сползал горный склон, и батальон тут же поднимался и по оползню шёл наверх. Несколько раз лопались под ногами у кого-то мины, и взрывной волной накрывало так, что больно становилось дышать. Но Генка уже ни боли, ни усталости не чувствовал. Привычно ложился, равнодушно вставал и только вечером понял: один.

Поливанов пошёл искать коробку, которую понёс за него кто-то другой, и не мог найти. Зачехлённый ствол остался на земле, и Генка с наслаждением его расстегнул. Удивительное, странное спокойствие охватило его и необыкновенная тишина. Это было похоже на счастье: не волноваться, не чувствовать, никуда не спешить. Немножко жалко было своих: как они его понесут? Но нести было недалеко: за горкой сапёры расчистили пятачок, и туда время от времени подлетали «вертушки». Генка глубоко, как свободный человек, вздохнул, подтянул к себе пулемёт — и тут же снизу донеслось:

— Генка! Справа работай, справа!

И он заработал. Прострелял правый склон, завал и притих, сосредоточиваясь на своём, но на своём ему не пришлось. Пришлось снова гасить завал. А сверху, снизу уже неслось:

— Шугни слева!

— Сапёра прикрой!

— Геноссе, сволочь, прикрой!

И Генку уже по-настоящему разобрало: «Вот гады, а! — возмутился он. — Застрелиться по-человечески не дадут! Ну ничего без меня не могут!» И вдруг заволновался — не могут. Весь его взвод был плотно прижат к земле и жил на длину пулемётной ленты, потому что ни отойти, ни остаться никакой возможности не было. Неприятные серые горошины набегали со всех сторон, и до того они были неприятные, что Генку прошиб озноб. «А я ведь ещё на письма не ответил, — вспомнил он. — И от матери не дочитал. И вообще — чего, собственно, взъелся? Ну, разлюбила, ну, замуж пошла, и дай Бог! А мне бы, Господи, до камушка добежать! И патрончиков бы... И ещё вон до того», — просился он. Добегал, отстреливался и перекатывался к следующему. А навал продолжался. Невыносимо близко щёлкало по камням и брызгало в лицо каменной крошкой. Сначала он работал на триста, потом — на двести пятьдесят, и чем короче становилась дистанция, тем яснее и определённее складывались мысли: «Сволочь ты, раздолбай! — мучился Генка. — На посту спал. Да за такое не бить, а убивать нужно. И с мамой... Она, может, без копейки сидит, а ему мотоцикл!»

Вот только с Люськой до конца не складывалось, всё равно оставалось где-то и где-то болело. Генка резал короткими, считал с ужасом, сколько ещё осталось, и жалко было себя до слёз.

Когда Поливанов притащил коробку, в ленте оставалось всего три патрона. Поливанов увидел и виновато засопел.

— Тебя, Поливан, за смертью хорошо посылать,— простил его Генка.

Вставил ленту, загнал патрон и с наслаждением перевёл на сто. «Хорошо-то как!—думал он.—Часики! Швейцария! Ураган!» Потом, когда подлетели и в очередной раз устаканили всё «вертушки», взвалил на плечо пулемёт и пошёл к своим.

— Ну,—предстал он,—заценили механизм?—и горделиво качнул стволом.

И все с чувством подтвердили:

— Отпад, Геныч!

— Убой!

— Застрелиться и не жить!

— То-то!—успокоился Генка.

Выбрал камень поудобнее, повалился и молниеносно заснул, крепко обняв своё единственное и личное счастье—пулемёт.

Леннон жив!

Дорошин спускал с горы раненых. Не хотел идти, упирался, с ротным разлаялся до того, что мат без всякой рации слышен был по всей сопке. Мужики ржали, а Дорошин закипал и отвешивал без микрофона тем же калибром. Но ротный что? Он, если упёрся,—всё.

— Спускай, или спущу до ефрейтора!

А кому же охота на старости лет в ефрейторы? Возвращаться домой ефрейтором—это прямо-таки садизм. Так его и не уломал. Собрал второпях раненых и свалил. И теперь злился. Во-первых, оттого, что ротный сплавил вместе с ним весь молодняк, а во-вторых, влип он с этим молодняком по самые уши. Известно же, что залетают чаще по молодости и под дембель. Так он и залетел—глухо.

Всего-то и делов было, что найти условленное местечко, пересечься по рации с «вертушкой» и делать ноги. И местечко это он знал, и раненых было всего двое, из тех, кого не успели к первому рейсу. Но на спуске их плотно накрыл бродячий снайпер. Толком никого не задел, но рацию разбил вдребезги и на гребне продержал до темноты. А в темноте они и вовсе напоролись на целый табор и теперь уходили—без воды, среди бела дня и неизвестно куда. Молодые, правда, вели себя прилично. Не скулили и за спиной украдкой не хныкали. Но смотрели на него так, как будто он мог вызвать «вертушку» свистом и устроить всем немедленный дембель. А всё, что он мог им устроить,—привал, да и то короткий, потому что надолго привалиться им не давали. Да и «тяжёлый» ждать не хотел: ворочался, ругался бессвязно и медленно доходил. Несли его в смену два по четыре. Прислушивались, кололи время от времени промедолом и скоро замучились до того, что сами стали похожи на доходяг. Круглова впору было колоть самого, Макеева вели на пинках, и хорошо ещё, что второй—невесть откуда приблудившийся сапёр—топал сам. Раненую свою забинтованную руку нёс «собственноручно». А больше ничего хорошего не было. Наоборот, нехорошо было, прямо сказать, паршиво.

«Духи» за ними тянулись вяло. Поднимали дальними выстрелами, не спешили, но следом шли неотвязно. Дорошин закладывался пару раз на тропе и вроде бы их отгонял, но на следующем привале снова щёлкал о камни звонкий рикошет, и все с хриплой руганью поднимались. Крюков—впереди, Дорошин—замыкающим, а между—раскачивался в плащ-палатке «тяжёлый». И хоть бы «вертушка» какая пролетела, хоть бы грохнула где, для ориентира, крупным калибром. Но если что и пролетало, то стороной, а в горах несерьёзно трещало сухой неопределимой мелочью. Да тут ещё однорукий. Взъерошенный, шебутной, он Дорошина прямо-таки доставал.

— Ты кто?—спросил он его сразу.

— Сапёр,—открылся тот.

И больше не закрывался. Шлёпал бодро рваными кедами и отчаянно всю дорогу скандалил.

— Леннон жив! Макаревич бессмертен!—орал он Крюкову.—А ты—«колхоз» и «фуфайка»!

— Это какой Макаревич?—изумлялся тот.—Из третьего взвода?

— Сам ты из тридцать третьего!—страдал сапёр и размахивал мохнатой от бинтов грязной лапой.—Колхоз!

— Сапёр, прикройся!—пробовал наехать Дорошин.

— Авиация прикроет!—обещал тот и во всё горло заводил:—Естедей, оу май трабл синс он фэруэй!

— Шире шаг!—настаивал сержант.

— Шире—штаны порвутся!—отстреливался тот и развивал:—Мотострелки—мотнёй мелки! Бычки стреляете, а козла на гребне завалить не смогли. Это потому, что сами козлы!

И так весь день: поёт, скандалит, радуется неизвестно чему, потом ненадолго заткнётся, попросит у Крюкова уколоться «для кайфу». И по новой:

— Какая фантастика! Какая книжка? «Машина времени», говорю! Со-олнечный остров, ска-азки обман!..

Дорошин его уже и слышать не мог. Его и самого мутило. На горке едва не приложило гранатой. Поэтому ротный и сплавил его с горы. В ушах звенело, звучало всё как сквозь вату, но и сквозь вату всё равно звучало:

— Естедей, оу май трабл синс он фэруэй!

И так далее, и тому подобное, и всё в этом роде. Крюков хихикал, молодые от смеха сбивались с шага, а Дорошину хотелось его прибить, потому что и без того на душе кошки скребли.

«Чего прилипли? Чего не берут?»—вертел он беспокойно головой. Ведь как бы он сделал?—разбился на два, обошёл по склону, и всё. Положили бы, как прошлой весной, разведку. Говорили, что только один из всего взвода тогда и ушёл, и того всем полком неделю искали. Ещё чудная у него была какая-то фамилия. «Да, похоже, здесь всё и было,—узнавал Дорошин.—И сопочка эта, и распадок…» И похолодел. Прямо над собой, на склоне, увидел последнюю свою собственную

закладку, и камушки узнал, и кучу стреляных гильз. Это значило, что он полдня водил всех по кругу. «Всё!—понял он.—Теперь голыми руками возьмут!» И от досады чуть не сказал вслух. И как получилось? Как зевнул? Шли по солнцу и только вниз. Но в горах так: идёшь вниз, а остаёшься на месте. И хорошо ещё—никто не заметил. Совсем бы расклеилось войско, обленилось вконец. И, чтобы не заметили, прикрикнул:

— Шире шаг!

И кольнул для маскировки сапёра:

— А тебя, чумазый, что, приглашать?

И тот уж подхватил, завёлся с пол-оборота:

— Опух? Обурел? Лысый?.. Ишак тебе шире шаг! На мне пот войны и героизм сражений! Я, между прочим, на дембель иду, а тебе до него—как до солнца лысиной! Дай в зубы, чтобы дым пошёл!

И Дорошин дал, чтобы заткнуть, и даже зажигалку поднёс. И вдруг сквозь блаженное причмокивание и дым услышал:

— Сухим руслом греби, полководец! Кругаля даём.

Заметил, паразит, углядел! Дорошин взглядом его испепелил, но сообразил: верно. И разозлился на себя. Правильно его ротный спустил, совсем мозги вышибло. Склон был весь изрезан сухими руслами, но это они сейчас сухие, а весной по ним стекает вода, и стекает, конечно, в реку, а им туда и надо. Там пехота на блоках, пушкари и—даже если нет никого—вода. И Дорошин, всё сообразив, крикнул:

— Левое плечо! Шире!

И действительно, руслом пошло веселее. Петляли, конечно, крутились, но это только кажется, что короче всего по прямой, а в горах лучше верить воде, она знает и выведет. И ведь вывела вода, не обманула, хорошая. На поворотах дважды показалась зелёной жилкой река. И, увидев её, все разом подтянулись, повеселели даже и почти посвежели. Никого не нужно «застраивать», никого подгонять, воюй—не хочу. Да и спокойнее стало в сухом каньоне. И Дорошин начал уже успокаиваться, но, поднявшись для страховки на скалу, понял: всё. Каньон отвесными стенами расходился далеко впереди. Огромная пустошь открывалась перед ними, километра два. И проскочить её безнаказанно никакой возможности не было. Накроют как раз посередине. И Дорошин сел обречённо на камень. Нужно было кого-то оставлять—себя оставлять. А себя оставлять нельзя. Это всё равно что оставить без себя: забьют без него, завалят. А Крюков что—«медицина». Бьёт без промаху, но шприцом. Круглова, Макеева, Лиховца? «Соображай, Серый, соображай»,—уговаривал себя Дорошин. Но, как ни тряс головой, ничего путного вытрясти из неё не мог. Только шум сплошной и «вечерний звон».

— Растяжку,—сообразил за него сапёр.—Напорются—поосторожнее пойдут. Отстанут.

Сказал—как вставил. И снова ни при чём. Скандалит, задирается и поёт. И ведь опять в точку! Растяжку вместо себя—шанс. И Дорошину даже стало немножко стыдно.

— А ты ничего,—неопределённо протянул он.— Шаришь!

— А то!—согласился сапёр.

И подставил карман, из которого вывалилась среди прочего тугая, гитарной струной скрученная растяжка. И Дорошин с удовольствием её в самом узком месте поставил. Последней «эфки» не пожалел, усилил для убедительности второй, но всё равно не успевал. Каких-то минут ему не хватало, какого-то мгновения. Когда позади ахнуло и с сухим треском рассыпалось, они были только на середине, и на последний рывок ничего не осталось.

Круглов хрипел, у Макеева пошла горлом кровь—и тёмная какая-то, нехорошая. «Свалятся!—ужасался Дорошин.—Ей-богу, свалятся! Троих ни за что не вытащить!» И чувствовал, что самого заводит от слабости вправо и перетягивает своей тяжестью автомат. Но сапёр был уже там, в горловине, и, взобравшись на камень, приплясывал:

— Река! Река! Рвите штаны, мужики, река!

И какой-то свежестью пахнуло в лица, послышался снизу неясный шум. И такая это была свежесть, такой шум, что они поднажали. Влезли на карачках в горловину и только там повалились. И когда сзади запоздало забарабанило и зашуршало по камням, они уже снова были в каньоне. И тут уже Дорошин не торопился. Обложился как следует и обстоятельно, со вкусом, отстрелял пустошь.

— Хорошо!—одобрял сапёр.—А вон ещё справа таракан ползёт. И того прибери, за камушком. Да планку передвинь, дальнобойщик! Естедей, оу май трабл синс он фаруэй!

И, загнав всех обратно, Дорошин поднялся.

— Шаришь!—окончательно определил он.

И замер. Никакой реки позади не было. Камни, обкатанная весенней водой галька—и ничего.

— Ну ты гад!—невольно восхитился он.

— Психология,—горделиво объяснил сапёр.—Да бросьте вы, мужики, из-за штанов! Начальство новые купит.

И целый час никто не думал об усталости и не вспоминал о воде. Все без устали и с удовольствием материли сапёра. И Дорошин был рад, потому что почувствовал: не отстали «духи», не отошли. Незаметными серыми камушками висят над душой. Заметил краем глаза, как странно переместились эти камушки с одного склона на другой. Но—шансы всё-таки подравнялись. Теперь и у них не сахар, и им идти не порожняком. Нагрузил он их под завязку.

А река действительно приближалась. У воздуха появился запах—особенный какой-то, утренний. Галька под ногами становилась всё мельче и переходила местами в зернистый песок. И когда река за поворотом открылась, Дорошин даже не поверил—так много было воды и совсем рядом. Оказалось, давно шумела, только он не слышал. Пологий зернистый склон тянулся к речному броду, террасами спускалась с того берега яркая зелень. И, увидев её, Дорошин втопил, чтобы не дать молодым нахлебаться и свалиться от избытка воды. И вдруг остановился так резко, что Макеев отлетел, отброшенный ударом назад, и рявкнул:

— Стой!

Проржавевший покосившийся флажок торчал перед ним из песка и всё объяснял—поле. Как баранов, как скотину, прогоняли через поля! Живым тралом, чтобы пройти по следам в тылы! И, наверное, не первое это было поле, просто везло, но что совершенно ясно—последнее. Потому что их всё равно прогонят и с удобством из-за камушков перебьют. И назад ходу нет—приехали.

—Вот сволота!—сплюнул в сердцах Дорошин.

—Тампон, амба!—оцепенело подтвердил Крюков.

Вывернул неторопливо карманы—фотографии, письма какие-то и бумажки—и, сложив аккуратной кучкой, поджёг. Письма съёжились на огне и вспыхнули, фотографии сворачивались чёрной трубкой. Молодые не поняли, опустив «тяжёлого» на песок, затоптались. Почему привал, когда вода и рукой подать? Потом поняли и растерянно переглянулись, лица у всех стали серыми и от общей тоски одинаковыми. Но всё равно молодцы, не скисли.

Круглов только судорожно вздохнул и сунул в костерок новенький, не затёртый долгой службой билет. А Макеев огляделся и старательно, как на карантине, принялся устанавливать свой пк. Не учили на карантине, как нужно стреляться, учили только стрелять. И, глядя на него, Крюков затосковал:

—Может, шомполами как-нибудь протыкать, а?

Но и сам понимал—легче сразу ногами, и обречённо вздохнул:

—Сапёрика бы нам, сапёра!

И все невольно посмотрели на сапёра. Украдкой посмотрели, исподлобья, но все. Тот сосредоточенно молчал, пыхтел важно услужливо вставленной сигаретой и думал. Потом как-то болезненно от её дыма поморщился и сплюнул:

—Вяжи шомпола, салаги!

И ему сразу и с необыкновенной быстротой связали. И встали в полной готовности, и взвалили на Крюкова «тяжёлого». Все чувствовали себя сволочами. Понимали, что раненый, и шомполами совсем не то, но ведь не было выхода, а сапёр был, и он им издалека кричал:

—Со-олнечный остров, ска-азки—обман!.. Поливанов, мать твою, в след иди! Со-олнечный остров скры-ылся в туман!

И они шли, стараясь не спотыкаться и боясь, что вот ещё один шаг—и скроются. Иногда сапёр останавливался и разгребал под ногами песок. Чёрные резиновые крышки проступали наружу и на солнце мгновенно делались серыми. И они с замирающим сердцем их обходили. А Дорошин снова их присыпал и тащил по следам палатку.

—У, сволота!—урчал он.—Я вам устрою след!.. Прямиком на тот свет!

И ждал, что вот-вот рванёт. Или у него под руками, или впереди, где идёт сапёр. Но рвануло потом, когда они уже сидели в «зелёнке» и, мокрые, отплёвывались от воды. Сначала раз, потом второй. И наступила тишина, да такая, какой Дорошин в жизни не слышал, прямо-таки гробовая. Только река шумела, и тоненько звенело в ушах. И в этой тишине Круглов испуганно прошептал:

—А я военный билет спалил!

И всех прорвало, приступ неудержимого, судорожного веселья свалил их.

—Ну, всё, хана!

—Суши сухари!..

—Теперь тебя в армию не пустят!

Ощущение праздника и небывалого счастья подхватило их. Они прыгали, смеялись, бестолково размахивали руками, Макеев просто лежал, Крюков утирал слёзы и мог уже только хрюкать. А сапёр отбивал кедами невиданную чечётку и блаженно на всю «зелёнку» горланил:

—Что, взяли? Съели, сволочи? Подавились?—и грозил в пространство мохнатой лапой:—Леннон жив! Бессмертен Макаревич! Понятно? Естедей, оу май трабл синс он фаруэй!

А Дорошин улыбался, как дурак, и тыкал его неловко в живот:

—Сапёр, сапёрик, сапёрище!

И вдруг услышал:

—Да не сапёр я—Копёр! Фамилия такая—Копёр, а сапёр—вон он, в палатке лежит!

—Подожди!—не понял Дорошин.—Ты же сам сказал.

—Я и сказал: Копёр. Это ты всё заладил: сапёр да сапёр… Глухомань!

—Так это что…—перехватило дыхание у Дорошина.—Так, значит, мы… Так это любой мог вместо тебя провести?..

—Нет,—заулыбался тот,—за любым бы так не пошли. Тут именно сапёр нужен. Психология, брат! Понимаешь?

И Дорошин согласился:

—Не пошли.

И попробовал раскурить мокрую, совершенно раскисшую от воды «охотничью». Но сигарета в задрожавших пальцах разваливалась и оставляла на губах табачную горечь.

А по берегу уже шла, осторожно поводя стволом, бмп, прыгали на землю свои, в родном и выгоревшем добела. Наводчик, высунувшись из люка, махал радостно шлемофоном. И, вяло ему кивнув, Дорошин отобрал шлемофон и вышел на своих: сначала на взвод, потом—на роту. Ротный долго и восторженно его разносил. Понятное дело—обыскались.

—Порядок!.. Норма!.. Хоккей!..—отстреливался Дорошин.

И вдруг в эфирных шумах различил:

—А самострела, самострела ты сдал?..

И не понял:

—Какого самострела?

—Да этого, как его, Копёра, что ли, или Копра?

—Сдал!—растерянно повторил Дорошин.—Сдал!

И вдруг вспомнил: Копёр—тот самый, единственный из разведки. И в изумлении обернулся. Тот сидел в люке и лучезарно всем своим чумазым лицом улыбался. И, впервые к нему присмотревшись, Дорошин увидел, что не так уж ему и весело: глаза ввалились, растрескавшиеся губы сочились кровью.

—Зачем, зёма, зачем?—не поверил он.—Это же «дизель», тюрьма!

— Да как ты не понимаешь, старшой? Это же кайф — тюрьма! Охраняют, заботятся, берегут, сами выведут, сами проведут. Леннон жив, понимаешь? Бессмертен!

И Дорошин понял. Спрыгнул тяжело на землю и дал отмашку. БМП, лязгнув люками, отошла, закипела траками в мелководье и скоро за поворотом исчезла. А Дорошин всё ещё стоял и ошеломлённо смотрел ей вслед.

— Сдал, — бормотал он, — сдал.

И тряс беспомощно головой. Но в голове от этого всё равно не вмещалось, и становилось ещё больней.

А из «зелёнки» вывалился и заспешил к нему угрюмый, взволнованный Крюков.

— Ну? — спросил Дорошин, приготовившись к тому, что или десантура наехала, или припухший танкист, и что, стало быть, вечером нужно идти на «разбор».

Но Крюкова волновало совсем другое:

— К Макаревичу ходил в третий взвод. Говорит, убили Леннона, придурок какой-то из ствола завалил!

— Что? Леннона? — скривился Дорошин и возмутился: — Врёт! Жив-здоров и песни поёт! А что подранили его, так это верно. Просто скрывается теперь… от придурков.

И Крюков завистливо вздохнул:

— Ну, хоть там хорошо! А то я всё ношу, ношу, а они умирают… А точно?

— Леннон жив! — приказал Дорошин.

И, глядя на свою задубевшую от крови, просветлевшую «медицину», подумал: «Господи, и какая это тоска — психология!»

Литературное Красноярье

Синих льдов неделимая твердь

Дмитрий Соломенский

Декабрь

В декабре на ресницах иней,
Ходит кот в меховой одежде.
Над сиянием северным синим
Звёзд не видно, и нет надежды…
Декабря ледяное дыханье —
На измятых письма страницах,
И висит над острогом молчанье
Белым инеем на ресницах.

Над Сибирью снега в запое,
По стаканам зима разлита.
Пьют её декабристы стоя,
С тем из прошлого, что забыто,
Что забито в души потёмки
Да в глухие лесные срубы.
Истекает зима позёмкой,
Леденеют от спирта губы.

Всё ломая, до крови, чисто, —
Так истории рвут страницы, —
Жёны юные декабристов,
Будто с дальнего юга птицы,
В декабря штормовые баллы
Прилетают, бросая гнёзда.
И пустеют зимы бокалы,
И встают над Сибирью звёзды.

Варвара Юшманова

Можно, я утоплюсь в Енисее?
Ведь из всех необузданных рек
В нём, как в древних стенах Колизея,
Гибнет самый стальной человек.

В нём, когда-то влюблённом в байкалку,
Вместо ласки — холодная смерть,
Вместо пламени Нила и Ганга —
Синих льдов неделимая твердь.

В чужеземных искрящихся водах
Опускать не приходится рук,
Восхищаясь душой пароходов,
Уплывающих в осень на юг.

Ну а здесь одиночеством веет,
С грустью смотрит нагая гора.
Я оставлю одежду и берег —
И уйду к нему, как Ангара.

Анатолий Ухандеев

Всякому опасен голубой
омут: для беспечного погибель,
трусу подлость — я один не с ними,
рыбаку тревога и покой.

Сыпь в сачок сырое серебро,
чистое, последнее на свете.
Руки пахнут кровью,
рыбьей смертью,
ледяной водой.

Иван Щёлоков

За́мок из песка

Мой Кольцов

По берегам степной речушки Красной,
Где тальники, обрывы, резеда,
Зачем ищу, спустя два века, страстно
Следы того, кто здесь гонял стада?

Можайское, Запрудское… А выше,
Туда, к истоку, птицей из-под ног
Степного ветра в травяном затишье—
Село моё родное Красный Лог.

Простор, простор течёт под роговицу
И вдохновеньем обжигает грудь.
Хоть пей, не пей его—а не напиться,
А коль напьюсь—мне больше не вздохнуть!

Что, если правда: от Смычкова лога
К Дурному логу он, сам-друг Кольцов,
Околицей, нехоженой дорогой
Шагами мерил край моих отцов?!

Спустя два века здесь я не напрасно:
У времени оскал всё так же зол,
Как в годы те, когда великий прасол
В батрацкой доле пил степной рассол.

Ночь бугаём сопела в зыби мрачной.
И языком костра с горячих губ
Стада созвездий слизывали смачно
Кольцовских песен неземную глубь.

Откликнется ли степь на зов потомка,
И выплеснет ли на берег волна
Того певца холщовую котомку,
Где скарб—стихи, и больше ни рожна?

Я вглядываюсь в ранний свет востока.
И глазу нет предела от глубин.
И только ветер над речной осокой
Слагает песни голубых равнин.

Я от собственной мысли отрину,
Чтоб меня откровеньем не жгла:
Редкий ворон над русской равниной
Пролетит, не умаяв крыла!

Вдохновлённый внезапным открытьем,
Вспомню Гоголя и устыжусь.
Но пробьётся с обочин и рытвин
Васильками срединная Русь.

Сколько помню, не часто я плакал.
Так сияйте, слезинки, в глазах!
Ворон к нам торопился на падаль
И запутал крыла в васильках.

Старый город. Вертлявые улочки.
Неподстриженных лип золотые чубы.
Запах сдобы из крохотной булочной—
Как подарок из детства для взрослой судьбы.

Медный колокол медленно вызвонит
Мелодичного строя сентябрьский покой.
Вечер яблоком солнце над избами
Перекатит в корзину зари за рекой.

Стройной девушкой в праздничной кофточке—
Воскресенская церковь, мила и светла.
И у Бога прохожий тихонечко
Просит град уберечь от гордыни и зла.

Я тихим стал, почти не отличимым
От улицы с народом суетливым,
С сосульками, с реформой жкх,
С растерянной улыбкой жениха.

И это—я?! Досадно и обидно!
Моих шагов средь башмаков не видно,
Средь глаз холодных остудился взгляд…
Куда они? На чей спешат парад?

Не думаю, чтоб только из каприза
Душа сосулькой ринулась с карниза.
За ленту, за предел, как за флажки,
Летит душа… Куда? Под башмаки!

— Ты откуда, народ?
— Из тесовых ворот.
— Знать, намыкался там, как нигде ещё?
— Коль признать, будто так,—
Правды ровно с пятак,
Не признать—то и вовсе с копеечку!

— А куда ты, народ?
— За крутой поворот,
Дальше уж—куда вынесут ноженьки.
— А не станешь жалеть?
— Так жалеть—не болеть:
Оклемаемся, глядь, понемноженьку.

— Что ты помнишь, народ?
— Помню щель у ворот:
В неё волюшку видели глазоньки.
— Воля душу пьянит.
— В пьяном горюшко спит
И тоска между рёбер не лазает!

* * *

— Подайте копеечку маленькому человечку!..
Чумазой ладошкой Россия протянута к нам.
На перекрёстке, будто на деревенском крылечке,
Гуляет с тоскою сквозняк, прилипая к вискам.

Я мимо бегу, поглощённый своим интересом.
Сдуваю с ресниц я весенних серёжек пыльцу.
И вдруг, как шлагбаум, ладошка откинулась резко
С недетской потребой меня отхлестать по лицу.

Не жалко мне бросить копейку голодному крошке.
А этому — в шляпе? А той вон — в роскошном манто?
Серёжками вербными плюхнулись глухо в ладошку
Брезгливые взгляды, и дальше помчался авто.

* * *

Наше время хворает, не ест и не пьёт.
Под язык из ладони лекарств не кладёт.

Не гуляет под ручку за речку и лес,
Не садится, как птица, на ветки с небес.

Мы его понимаем, не злим, не браним.
Далеко не отходим в пригляде за ним.

Что поделаешь, если у наших времён
Есть болячки страшнее, чем распри племён!

Для кого эти хвори — надежда и свет,
Обагрённые славой знамёна побед.

Для кого-то они — это плен и рабы,
Кубометры досок на родные гробы…

Неужели потерян врачебный рецепт
В том краю, где здорового времени нет?

* * *

Могильная тишь околотка.
Похмельное чувство вины.
И булькает в юные глотки
Палёное зелье страны.

Немые и ржавые рельсы.
Ушли в никуда поезда.
Как эхо новейших репрессий —
Некошеная лебеда.

Об этом ли разве мечтали?
Про это ли видели сны?
И каркает ворон печали
С макушки корявой сосны.

* * *

— Покурим! Покурим! Покурим!
А слышу: — По коням! По коням!
Живём на Руси — бедокурим,
Лишая друг друга покоя.

Вот век проскочили — и что же!
Другой под копытом: а, чёрт с ним!
— Покурим? — вдруг кто-то предложит.
— По коням! — аукнется чёрство.

За́мок из песка

Смастерил я чудный за́мок
Из песка.
Водрузил на башню знамя
В два вершка.

Я не спал четыре ночи
И пять дней,
Весь песок переворочал
До корней.

От восторга даже выпил
За успех.
На дверях повесил вымпел:
«Вход для всех!»

Я проделал в окнах щёлки
Для зари
И на память за́мок щёлкнул
Раза три.

Для архива. Для потомков.
Кто — в Кремле…
Для блуждающих с котомкой
По Земле.

Не пройдите, загляните.
Вход — для всех!
Добрым словом помяните
Мой успех.

Я старался очень-очень
Для людей.
Я не спал четыре ночи
И пять дней.

На шестой — с грозою страшной
Дождь, резвясь,
Знамя смыл с высокой башни,
Плюхнув в грязь.

Где ж мой за́мок, окна, двери?!..
Всё во мгле…
Крах один у всех империй
На Земле.

* * *

В три петельки — роспись,
В пять крючков — судьба…
Над избой — как роскошь —
В завитках труба.

Жестяное чудо,
Волшебство души…
Мы всегда — отсюда,
Из родной глуши.

В веке несчастливом
В кровь разбиты лбы.
Вылетели дымом
Судьбы из трубы!

Инна Сидоренко

Тень подорожника

Козье молоко

И настали времена—хуже прежних. Женщинам не хватало на колготки и помаду, а мужчинам—на бутылку и женщину. И многим семьям—на заварку и сахар к чаю. В ту пору трое парубков, не успевших (к счастью ли, к несчастью) залечь в застигшее всех ненастье по семейным берлогам, подрабатывали как могли. А могли они практически всё, в чём теперь не нуждалось государство: смастерить терем от земли до небес, посадить райский сад, «состругать» штук по нескольку себе подобных «буратинок». Но дом мастерить—не было наличности. Сад сотворить—так земля не им причиталась. А детей заводить, исходя из вышесказанного, совесть не позволяла.

И нанимались они посему в наймы к тем, кто успел урвать из общих и деньги, и землю. Платить тогда работягам почти никто не платил. Но они всё равно нанимались, поскольку руки работящие желали что-то сотворить вечное и доброе на этой бестолковой земле, доставшейся им в виртуальное наследство.

Той весной они благоустраивали подворья уже набирающих крутизну «новых» в благословенном уголке треснувшей, дорогой для простого сердца «империи». Объекты лежали у самой кромки самого синего моря. Работали по-разному: по совести, если хозяин—человек. И без совести, если оный—барыга. Чаще попадались из последнего ряда. Тогда работники продавали всё, что могли, и смешивали то, что не должно было смешиваться. Эта мобильная бригада быстро передвигалась от объекта к объекту, работая по уже отработанной схеме: работа—застолье—похмелье—работа.

Светлая тогдашняя осень ссудила им возвести «китайскую стену» местного значения вокруг будущего дворца местного «нового».

Был он немного старше работяг, мелок с виду, но наворовал, видно, по-крупному. А платить—и мелочь не вытрясти. И потому забор тот рос со скоростью неполиваемого деревца в безводной пустыне. Чтоб как-то пропитаться и пропиться, бригада продавала цемент, песок и камень. Рабочий народ этот, при всех своих недостатках, тяготел к пролетарской справедливости: «У богатого отнять—бедному отдать».

С их объектом рядом, в своей маленькой халупке, со своим маленьким, но беспокойным хозяйством, жила тётя Варя. Ну, о хозяйстве речь чуть позже. А основная речь о том, что сын, оставив матери только времянку, оттяпал весь участок. От неё, матери, он и отгораживался нынче этой стеной. Мать на сына не жаловалась. Кляла времена поганые, сотворившие из её маленького доброго мальчика большую сволочь. Бригада ж не могла спокойно смотреть, как, на зиму глядя, словно от старой собаки шерсть, от стены отваливается кусками штукатурка. Что нет дров для печки, которая третью зиму пыхтит дымом в обратном направлении.

И от дыма ли, от обиды—слезятся грустные материнские глаза. По мере сил, доброты и наличия материала, трое справедливых хлопцев подремонтировали тётке Варе домишко. И печку отладили, и дровишек к ней заготовили. Благодарная тётка то и дело совала им мятые дензнаки, отрывая от скудной и нерегулярной пенсии.

Но работяги пить—пили, а душу нечистой силе не закладывали. Денег не брали. Картошку или пирожки немудрёные за большое спасибо принимали. И ещё—попивали каждый день сытное козье молоко. Все были довольны. Тётка Варя—тем, что отблагодарить хоть так может, а хлопцы—голова светлеет и сил прибавляется. Так парни и сотрудничали с крутым сыном простой труженицы и с ней самой.

А молоко то, нужно отметить, было необычное. То ли коза была особой породы, то ли тётя Варя была особой души. Молоко было сильнодействующее. Сил прибавляло. Только вот характер у козы был, не в пример её хозяйке, строптивый и бродячий. И имя ей за то было не зря дадено—Шлёндра. Как ни привяжи козу хозяйка в одном месте, а находит не сразу и в разных, что ни день, местах. Все горушки-ложбинки обходит Варвара своими уставшими за нелёгкую жизнь ногами, покуда не услышит тихий, робкий перезвон колокольца. То козлёнок при козе, как привязанный. Зови, не зови—без мамки не откликнется. Не придёт. Может, сказок козьих про волков наслушался, вот один и не бродит.

Забрела в тот вечер, уже при первой звезде, коза с детёнышем не в свой дворик, а, по старой, видно, памяти, на территорию сыновью. Там с распахнутой в мир дверью сидят работнички. Сидят за тем, что Бог послал да на какой градус наскребли наличных. Не светит им ни солнце на небе, ни удача в жизни. Винный туман уже заволок сознание. «Капут» надеждам мерещился за Чёртовым пальцем.

А тут засветила луна в их распахнутое временное жилище, и обозначилось в проёме узких дверей что-то необычное.

— О, мужики, никак сам нечистый по наши души припёрся?! — прохрипел старшой, Вовка.

Всем привиделось одно и то же: в дверях стояло волохатое и рогатое.

Ну, «белочка», понятно. Да и то — не всем же в одночасье!

— Сгинь, сгинь, — картавил Стёпка, бросая замусоленную соломенную подушку.

Мохнатое резко отвело голову в сторону. И тут тихо звякнул колокольчик.

— Тьфу ты, нечистая сила, — Вовка первый с трудом сообразил, что это скотина тётки Варьки с козлёнком. Шлёндра — она и есть шлёндра.

— Чеши домой! — стали выталкивать упирающуюся козу трезвеющие мужики. — Пошла домой! Тётка уже закричалась, тебя ожидаючи.

Но коза упёрто стояла в проёме двери с уже полным месяцем на левом роге. Сзади неё топтался уставший за день козлёнок. Увидев наконец жилище и почуяв тепло, он потихоньку согнул свои тоненькие ножки и, положив красивую серенькую мордочку на порог, улёгся на старый половик в коридорчике. Теперь ситуация осложнилась тем, что выход во двор был перекрыт сразу уснувшим козлёнком. Работникам уже тоже до рези в глазах хотелось спать. А незваная гостья подиумной походкой с помутневшими глазами шастала по комнатушке, тычась своей мохнатой мордой во всё, что попадалось на пути. Шатался импровизированный стол, звенели на нём алюминиевые чашки и гранёные стаканы — подарок пролетарского скульптора Веры Мухиной рабоче-крестьянскому народу. По полу покатилась пустая тара вечернего праздника. Всё это парни терпели до тех пор, пока Шлёндра не стала искать себе местечко помягче. Наступая на трёх богатырей, коза рогами пыталась освободить себе место для ночлега. Она бодалась и хрипела, наступала и стучала, подпрыгивала и бекала. Терпение у Вовки, наконец, лопнуло:

— Ну, зараза чумовая! Белены, что ли, нажралась?! Или выжимок виноградных? Запросто. Сейчас все вино давят. Вот и угостилась на халяву. Спать не даст. Колька, толкай её в зад, а я за рога — путь укажу!

Коза упиралась изо всех своих козьих сил. Но трое уже сильно злых парней вытолкнули весёлую Шлёндру в коридорчик, где она, судорожно подёргиваясь, всё же растянулась рядом с развёрнутым к стенке детёнышем. Может, сработал материнский инстинкт, может — непотребное зелье.

Высыпанные по небу, как по детскому лицу ветрянка, звёзды осветили спящих богатырским сном строителей, охраняемых козьей семьёй. Сбившаяся уже с ног в поисках своего хозяйства тётя Варя сообразила-таки спросить хороших ребят, не видели ли они козы с козлёнком.

В душе у неё было закралась нехорошая мысль, что пали они жертвой на шашлык, как плата за проделанную работу в её дворике. Слёзы умиления застили глаза доброй женщины, когда она увидела картину: «Трое, коза и козлёнок». Увести же свою радостную находку не было никакой возможности. Козу-гулёну не растолкать. Козлёнок же без непутёвой своей мамки даже в дом родной идти отказывался. Нести его на руках у хозяйки уже не было сил. Только утром, слегка покачиваясь и не всё ещё хорошо соображая, вышли на свет божий все пятеро. Всем уже срочно нужно было слить накопившуюся за ночь жидкость. Вскорости тётя Варя, особенно радостная, принесла парням бутылёк свеженького, ещё тёплого Шлёндриного молока. Оно отдавало каким-то особо специфическим духом.

Увидев подруливавшую крутую «тачку» под управлением сыночка, тётка тут же растворилась за забором. Старшой быстро что-то сообразил, крикнул парням, чтоб молоко не трогали. Зашёл хозяин. Денег не привёз. В сотый раз пообещал «в следующий раз». Работники кипиш поднимать не стали. Вовка дружелюбно протянул мудрому нанимателю бутылёк с молоком. Отказаться хозяин не мог: его, большого розовощёкого хрюшку, мама с малку приучила к питательному молочку. Спиртное — поэтому ли, по жадности ли, — он не пил. Почти. Выдув всю двухлитровую питательную дозу одним махом, утёршись носовым платком, пахнувшим нездешними краями, он блаженно простонал:

— Хорошо-то как! Натуральное!

И, чуть причмокивая губами, спросил:

— Слышь, старшой, а чего оно с привкусом? Не намешали чего? Смотри у меня! Пришибу, если что.

— Та не, то Шлёндра вчера травки духмяной наелась. Мы уже пили, вишь — в норме.

— Ну ладно, старайтесь. Пашите. «Бабки» отдам, как свободные будут. Мне крутиться надо, а вы всё одно просадите.

— Ну смотри, что тебе дороже. Мы, может, и просадим. Мы подождём. А с матерью ты б расплатился. Она по необходимости потратит. Мать, она безответная. Деловой. А мы чё — в заборе шашки заложим. Всё взлетит к чёрту, если не заплатишь, — вслед хозяину крикнул Вовка.

Тот остановился, обернулся:

— Да ладно шутить!

— Не, не шутим больше. Руль держи крепче!

По крутой дороге, ведущей к шумному городу, перемкнуло нечистое молочко от бешеной козы в расчётливой голове. И не вписался водитель в крутой градус дороги, ведущей в изобилие.

«За грехи мои расплата», — думал в бесконечные, долгие зимние месяцы хозяин несостоявшейся грандиозной стройки, собранный по индивидуальному чертежу дошлыми хирургами, привязанный шустрыми медсёстрами на спецкровати к немудрёному устройству для сохранения точности чертежа. Думал, покинутый липовыми друзьями, продажными женщинами. Думал, целуя материнские руки, подающие пищу, поправляющие подушки и тихо убирающие ненавистное судно.

Строители, оставшиеся без денег и заказа, пошли дальше пытать своё счастье на долгой жизненной дороге. Козлёнка Феньку тётка отдала в хорошие руки. Шлёндра без тщательного хозяйкиного присмотра угодила-таки кому-то на шашлык.

И было то время собирать камни. И было оно мудрым для всех жителей этой то ли грустной, то ли смешной истории.

Доверие

Сестре Елене

Лето шумно плескалось и радовалось. Солнце нещадно жгло всё, что лежало, бегало и росло на этой оплавленной миллиардами знойных лет и потоками вулканической лавы земле. Море легко вздыхало, лениво накатывая прозрачно-голубые мелкие волны на галечный пляж. В эти секунды серые невзрачные камешки, омытые цветной волной, превращались в радужную россыпь. Зелёные, голубые, дымчатые — они приобретали ценность агата, хризопраза, яшмы и сердолика. Эта иллюзорность исчезала вместе с испаряющимися капельками воды. И, зная это, мечтатели-бродяги всё равно собирали в ладошки и холщовые сумки этих «хамелеончиков». По количеству убывающей за сезон пляжной гальки можно судить о количестве неистребимого племени романтиков в нашей странной стране. Будучи сама коренным жителем этого племени, я верю в чудеса. Я украшаю своё жилище галькой, превращающейся по ночам в сердолики. Глиняными черепками, хранящими молекулы вина и хлеба средневековых нив. Эти драгоценности обрамляют на полках мои сокровища — книги, написанные соплеменниками по прекрасному безумию. В книгах — Поэзия. В Поэзии — судьбы. Судьбы удивительных, любимых мною людей — Поэтов. Когда я бережно беру в руки эти томики…

Ах, я увлекаюсь! Это камешки уводят меня с пляжа к моим сердечным братьям.

В поисках укромного местечка (в этом хаосе!) я прижалась к чуть прохладной стене у входа. Под ней узким клинком простёрлась тень. Я поспешно накрываю свою находку ярким полотенцем с изображением Ра — радости, радуги, рассвета, красоты, загара, работы. Нет-нет — сейчас это слово к корню ра не имеет никакого отношения. Итак — радости! Шоколадный загар мне не ко здоровью. И я, как краб под камень, вмещаюсь в спасительную крохотную тень. Предо мною — Кара-Даг и палевые краски сгорающего лета. Я радуюсь этому случайному беззаботному дню. Яркому подарку в череде серых будней. Я на несколько минут выхожу из своего укрытия, чтобы погрузиться в прохладу волны, и спешу снова в спасительную тень, не собираясь с нею расставаться до вечера.

Заложив руки за голову, смотрю в небесную бездну, переходящую от прозрачно-голубой до сине-чёрной. Думаю, что звёздные россыпи так же красивы днём, как и ночью. Но увидеть их можно только душой. Пытаясь найти в свете солнца звезду, я вижу волны и юную острокрылую чайку. Затем и она исчезает из поля моего зрения. И где-то на пределе этого поля я вижу трещину в бетонной стене, возле которой я так удобно приютилась. Из трещины виднеется белая палочка из-под эскимо. А на ней сидит чёрный паук! Даже не паук, а, скорее, паучок. Но он чёрный — то ли сильно загоревший, то ли очень злой. Сидит неподвижно. Задумавшись. Или высматривая жертву на обед? И дался мне этот крошка! Сидит он и думает о своих проблемах. Только я теперь всё бросаю взгляд в его сторону. И уже дивный пейзаж, меня окружающий, и звёзды, растворённые в солнечном коктейле, не вдохновляют как-то на высокие строки. Вдруг тёмная мысль пробежала сквозь мои радужные мысли: «А вдруг это чёрная вдова?» Похожая живёт на Гриновской тропе под Коктебелем. Под крестом из камней, нами, бродягами, выложенным. У креста этого и в зной холодные мурашки по спине бегают.

Вдова мала, черна и смертельно опасна. Хотя здесь, в ясном месте, откуда такому быть пауку? Но мысль об опасности за свою жизнь не давала мне больше наслаждаться волей. Вечно у меня не как у всех людей! Ну откуда он взялся? Со мной именно по соседству? Этот паучок? Или паук? Вдруг решаюсь спасать свой радостный день. Срабатывает главный человеческий инстинкт — самосохранения. Как только эта живулька примостилась в удобном для моего злого замысла месте, я неуверенно, но быстро положила сверху уже приготовленный камешек. Я боялась поднять тот злополучный камень, мучимая уже другой мыслью: «Живая душа мне доверилась. Паук — хранитель места, очага домашнего. Его во все времена в славянском доме оберегали. С голоду пухли, а их не трогали. А я!..» Боясь за него и брезгуя собою, я отвела руку с камнем. Следов смерти на нём не было. Я облегчённо вздохнула. Эта мелочь меня от душевных мучений избавила. Шустрее или умнее оказалась.

Все краски лета вновь заиграли для меня. С лёгкой душой я улеглась в блаженной тени, отдаваясь дивному дню. И, оттирая до чистоты свою совесть, принялась нанизывать светлые свои воспоминания на суровую нить настоящего.

«Жизнь дивный праздник дарит нам, когда у моря по утрам…»

Я хотела всё же удостовериться, что не лишила радости жизни того, с кем случайно поселилась рядом. Я хотела паучка увидеть. Но он упорно не появлялся. Тогда я стала с ним тихо говорить, просить прощения. Но он ушёл в глубь своей пещерки. Обиделся на хомо сапиенс. А эта «хомо» очень хотела убедиться, что не навредила крохотному жителю Земли. Что он жив. Наверное, мои мысли паутинкой потянулись в его убежище, и оттуда показались две чёрненьких лапки. Но на мои уговоры выйти паучок не реагировал. Не доверял. И поделом мне. По сердцу живи, по душе. А то прощена не будешь!..

До вечера, то купаясь, то бродя по крошечной набережной, вдыхая запахи шашлыков, кетчупов и прочих вредных вкусностей, я наслаждалась этим днём, отринув все проблемы бытия. Но, возвращаясь всякий раз к нашему с паучком «ноеву ковчегу» — островку тени, я очень надеялась его увидеть. Во что бы то ни стало! До отъезда в моё мало что сейчас значащее настоящее. Я хотела попрощаться, искренне попросить прощения у этой крохи. Но он был неумолим! Я уже рисковала не попасть на последнюю маршрутку. Уже солнце, истекая алостью, накалываясь на вершины, тёрлось боками о покатые горы, поросшие редеющим можжевельником, всё удалялось и уменьшалось

в размерах. Морская ширь подёргивалась дымчатой пеленой. А я всё сидела и ждала возможности быть прощённой.

Наконец, почти сливаясь с уже темнеющими краями бетонного развала, как-то отчаянно быстро вынырнул из своего укрытия чуть было не убитый мною житель этого пляжа — чёрный паучок. Или паук? Он пробежал по стене в мою сторону — то ли с намереньем отомстить, то ли быть великодушным. От радости я готова была ему купить порцию шашлыка. Но не осталось денег. И уходила моя последняя маршрутка. Я трижды искренне сказала ему: «Прости», — бросила в сумку своё полотенце с изображением Ра — радости, раздолья, радуги, братства.

И с лёгким сердцем побежала в свою Жизнь.

День Военно-морского флота

Посвящается поэту,
капитану 1 ранга Марку Кабакову

Приморский городок. Последнее воскресенье июля. День Военно-морского флота. От парадных «фланок» и бескозырок, реющих лентами с золотыми надписями «Черноморский флот», на набережной светлым-светло. Матросские «клёши» метут набережную с особым шиком по случаю всенародного праздника. Весь город в состоянии особенной солидарности с нашим непобедимым Военно-морским флотом.

В порту ещё стоят корабли, высаживавшие дерзкий десант в декабре 1941 года в бушующий тогда залив и освобождавшие город в апреле 1944 года. Маленькие, если смотреть с берега, чёрные подлодки, покидая родной берег и уходя в глубины, издавали по-журавлиному печальный крик расставания перед долгой разлукой. Тогда сердце автора, ещё не знающее разлук, сжимала печаль. И сердце подростка шептало: «Я буду помнить. Я буду вас ждать».

Матросам, служившим на этих кораблях уже не по первому году, или «салагам», довелось пережить страхи войны подростками или детьми. Много позже им присвоят звание «дети войны». Сейчас же им выпала почётная работа — служить на флоте. Им достались в наследство гордость за Отечество, залатанные боевые корабли и прошедшие огонь, воду и медные трубы офицеры-наставники. День Военно-морского флота — воистину всенародный праздник для тех, кто хлебнул «волну свинцового разлива».

Гулянья в городе начинаются с утра. На набережной идут состязания команд по перетягиванию толстого и крепкого морского каната, по сноровке завязывания из такого каната знаменитого и хитрого «морского узла». Затем с моря к берегу спешат наперегонки морские корабельные шлюпки. Одержимые желанием победить, загорелые гребцы дружно ворочают тяжеленные вёсла по команде рулевого. Шлюпки, то поднимаясь, то опуская вёсла-крылья, словно чайки, летят навстречу берегу, неистово поддерживающему их. Местные пацаны, конечно, все мечтают быть капитанами! Кричат во все лёгкие:

— Эй, на борту, пятая, наддай ходу! Плетёшься, как дохлый бычок в хвосте косяка!

— Ха, да я, как выласту, пелвым буду! Не то шо они, — мечтая, хвастает Колька, босой мальчишка лет семи, без передних «молочных» зубов, в парусиновых штанах на помочах, с прорезью по центральному шву для удобства при срочной необходимости.

— Ага, тебе, сопливому, меня не догнать! — протестует его дружок с Форштадта. — Я буду всегда как седьмой — первым!

Они спорят, уже различая номера приближающихся лодок. Мальчики готовы наскочить друг на дружку, как молодые чаята в споре за рыбёшку. Старший подросток, дав им обоим по подзатыльнику, приказал:

— Салаги, громче взрослых кричать не положено. Соблюдать ранги. Понятно?!

Те чуть притихли. Но, отойдя шагов на десять, с прежним мальчишечьим пылом обсуждают гонку. Шлюпки с волной поочерёдно врезаются в берег, где за ними наблюдал не только городской народ, но и особый зритель — их знакомые девушки. У каждого матроса была та, с которой можно «поматросить». А дальше… как сбудется. Девушек — как полосочек на его тельняшке! И беленьких, и чёрненьких. И одна краше другой. Но брали в жёны тех, кто построже. Мужчины всегда знают себе цену. И те, что с усами, и те, у которых только молоко на губах обсохло. Ведь на десять девчонок тогда было помалу ребят. Сознавали свою значимость даже юные в тельняшках. Хмелели от молодости, мира, силы и внимания те, кто выкладывал свою силу молодецкую в шлюпках. И рвались, рвались к местной славе, к ожидающим их глазам и похвалам командиров. Ибо честь корабля — и твоя честь! Победивших в борьбе берег встречал бурей восторга, вьющимися оборочками на платьях и сиянием глаз. Официально же вместо лаврового венка вручается зажаренный коком розовощёкий поросёнок в петрушке и прочей южной зелени, павший на большое блюдо жертвой в честь силы воли и просто силы. Всем, кто следует за победителями, достаются улыбки и надежды меньшего накала. Но награждены были все участники этой гонки. И только беспощадные к проигравшим будущие капитаны затюкивали тех, кто так и не смог перестроиться в ряд вперёд летящих.

— Эх, слабаки с пятой! А я на вас пятак поставил на спор! Желал вам семь футов под киль. Слабаки! — раздосадовано сплюнул подросток в выцветшей тельняшке не по росту, тот самый, что раздавал «лещей» шумевшим пацанам. — А моря, моря — во сколько! Вширь по заливу стройся. И последних не было б. Салаги… — заключил он презрительно.

Зрелище тем временем продолжается. Из морской волны появляется вначале шлем, затем корпус богатыря в кольчуге — «дядька Черномор»! За ним выходят из морских глубин, «в чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря»!

Ошеломлённая зрелищем, даже солидная публика одаривала героев ожившей на глазах сказки Александра Сергеевича Пушкина шквалом аплодисментов, морем улыбок и океаном радости. Весь

этот шторм впечатлений доходил до ушей самих богатырей, упакованных в шлем. Это был фурор! Тут уже восхищались и мальчишки, ругавшие только что «неумех» с пятой шлюпки.

Удививший сухопутную публику морской народ был доволен! Всем. Летом, сияющими глазами их подруг, возгласами прочих береговых. И, конечно, похвалами начальства. Даже горечь поражения смывала ласковая волна праздника. И обильный пот усердия—тоже.

После спортивно-показательных выступлений всем, кроме тоскующих по праздничному берегу вахтенных, даётся увольнительная.

—Девчата, подождите. Мы переоденемся—и к вам,—просит мокрый ещё от морских глубин щёголь и балагур Василий знакомых девушек.

—Надь, будем ждать? Или пусть по берегу догоняют?—шутя, спрашивает черноглазая Клава свою сестру.

—Как же, найдёшь вас! Только оборочки мелькнут. Ищи потом, куда закатились эти горошинки с белыми платьицами,—басил богатырь Саша Миняев.

—Ладно, Надя, сидим ждём. Сегодня они заслужили всеобщее и лично наше поклонение. Только—быстро.

—Уговорили,—соглашается ершистая и своенравная Надежда.

—Мы мигом! Одна лента там, другая здесь!—несясь в сторону военного порта, кричали обрадованные матросы.

—Надь, пошли в тень. Сгореть можно. Искупаться б. Да купальников не брали. Пошли хоть ситро попьём.

—Мелочь есть? По три и по одной копейке найдётся?

Роясь в сумочках, девушки отыскали мелочь. Дождавшись очереди у весёлого автомата, который отмеривал в гранёные стаканы холодную воду с сиропом и без, и утолив жажду, девушки уселись в тени раскидистых акаций на скамейку. Разговор—о празднике, так удивившем их, о ребятах.

—Можно к вам пришвартоваться, девушки?—дружелюбно спросили двое молодых морячков, готовых присесть на краешек скамейки.

—Нет, сторожевички, мы уже крейсера ждём. Опоздали на пару лет,—отшила их Надя.—Мы девушки серьёзные. Курса не меняем. Извините, ребята!—уже добрее отвечала она.—Вон сколько ходит девчоночек—что в море лодочек.

—Счастливого плавания!—пропелось им вслед.

—Вон и наши ребята идут. Хорошо, что эти успели отчалить. А то не по-товарищески вышло б. Те старались, а мы, вертихвостки, уже с другими,—делая вид, что не видят друзей, тихо заговорили девушки.

Ребята зашли с тыла.

—Узнаёте кто?—закрыв сзади руками Клаве глаза, зарокотал Саша.

—Да тебя, иерихонская труба, ни с кем не спутать. С другого конца набережной и видно, и слышно. Медведь сибирский,—засмеялась довольная Клава.

—Вот, девушкам по эскимо. Расписываться в получении не нужно. До вечера мы в вашем приятном распоряжении,—шутили Вася и Саша.

Праздник они продолжили по большой программе. Были повторные эскимо. Были ириски, растаявшие под жгучим южным солнцем. Их весело слизывали друг у друга с ладошек. Был снова удивительный фильм «Фанфан-Тюльпан» в приятно прохладном и очень кстати тёмном зале, где можно слегка приобнять давно и серьёзно нравившуюся девушку. Девушку, от которой веет морем, розами, молодостью и радостью общения. Они с упоением транжирили всё: скромную наличность, время и чувства.

Солнце потихоньку сдавало свои позиции на выгоревшем небосклоне, когда две довольные пары вышли из кинотеатра «Крым». Они с удовольствием влились во всеобщее оживление на берегу моря. Стайкой присели на ещё тёплый песок. Девушки поснимали босоножки. Бродя по воде, давали отдых ножкам, уставшим за неделю стояния у конвейера и обжиговой печи на местном кирпичном заводе—и от легко и грациозно облегающей эти ножки обуви на высоких каблуках. Ребята позволили себе лишь слегка ослабить широкие ремни.

Море, спокойное утром, под вечер расплескалось и расшумелось. Недалеко от них раздевался высокий худой мужчина, хорошо перебравший «градус» по случаю большого праздника. Его жена, явно волнуясь, уговаривала:

—Стёпушка, не ходи в море. Видишь, волна посильней тебя. Не устоять сейчас тебе перед ней. Стёп…

—Да чтоб я, старый моряк, не один берег бравший приступом, этот не взял! Держи, Наташа, пинжак,—хорохорился он, снимая рубаху, старый тельник и брюки.

—Стёп, Степан, не ходи,—просительно говорила женщина.

Но набежавшая юркая волна уже подхватила упавшее в неё слабое тело, покрытое в нескольких местах шрамами. Накрыв сначала с головой, подбросила, словно буёк, к свету. Мужчина с радостью ребёнка барахтался в кружевных волнах.

—Ох, хорошо как! А ты—не ходи да не ходи!—трезвея, говорил он жене, покачиваясь в первых волнах и держась за близкое песчаное дно, отнесённый игривой волной за несколько шагов в сторону от жены и вещей.—Выхожу я, выхожу. Не волнуйся, моя хорошая,—счастливо улыбался он.

Наташа, жена его, топчась у кромки воды, не решалась войти и намочить подол платья. Налетевшая вдруг большая волна стала тащить выбирающегося на берег мужчину снова в глубину. Но он справился с сильной водой. Поднялся и почти выпрямился, беря рубеж «море—берег». Новая волна, не в силах унести с собой спружинившее навстречу ей тело упрямого человека, сняла с него то, что смогла. В упорной борьбе человек не почувствовал, как сначала с колен, затем со щиколоток и пяток стекало с него вместе с голубой волной тёмно-синее полотнище его единственной в данный момент одежды. Мужчина изо всех сил стремился на берег, где уже не на шутку волновалась за него жена. Наконец рывком он выбросился на тонкую мокрую полоску берега. Ни сам Степан,

ни его жена Наталья не видели, что поглядеть на это зрелище, где единственным действующим лицом был старый моряк с детским сердцем, собралось много вольных и невольных зрителей.

Клава и Надежда с ребятами подходили к этому месту как раз в тот момент, когда уставший от ранее выпитого и борьбы с тяжёлой морской массой седой и по-детски беззащитный мужчина, покачиваясь, встал во весь рост. Он был наг. Увидев это, он, прикрываясь руками, повернулся спиной к берегу. Волна, как бы дразня его, то выбрасывала к ногам, то снова прятала то, что ухитрилась снять. Мужчина, то наклоняясь, чтоб достать, то выпрямляясь снова, понимал своё позорное положение. Среди бела дня. При честном народе. Жена, не догадавшись поднести ему одежду, смотрела на их позор сквозь слёзы жалости.

— Батя, а батя, держи своё хозяйство крепче. А то хозяйка выгонит,—довольный своим каламбуром, закричал Васька, стремящийся всегда быть замеченным среди прочих.

Девушки растерянно смотрели то на смеющуюся толпу, то на ребят. Будто они сами оказались в роли Хама, показывающего всем нагое тело отца своего. Эти несколько минут человеческого унижения были для них минутами страдания. И сострадания человеку, чья слабость предстала миру.

Саша, широко шагнув с берега в кромку воды, снял на ходу свою «фланку», чтобы прикрыть ею грешное израненное тело воина и душу униженного человека. Саша вынес его на берег, как ребёнка, бережно прижимая к своей необъятной груди. И, ласково посадив его у ног жены, сказал громко, на всю набережную:

— Прости, отец, народ. Он, в общем, добрый. Прости!

Тень подорожника

Ранняя пригородная электричка, издавая хрипловатый предупреждающий сигнал, приближалась к перрону. Хмурый день позднего ноября только зачинался.

Облака висели мокрыми махровыми полотенцами, с которых сыпала морось. Перрон ожил, засеялся спешащими из маленького вокзальчика пассажирами в каких-то допотопных, времён 50-х годов кроя, фуфайках, брюках, шапках, резиновых и кирзовых сапогах. Народ, памятуя извечную нашу нищету и бесконечные политические бедствия, припрятал в атомный наш век в сундуках своих немодное, но родное, родительское, а то и дедовское рабоче-крестьянское обмундирование и оборудование. Он, народ, хранит по городским шкафам и антресолям трёхлинейные керосиновые лампы, керогазы и примусы, свечки и буржуйки, «кирзаки» и шинели. Поскольку плоды цивилизации в наших краях могут исчезнуть в любой момент, народ готов всегда и ко всему. Народ, сшибленный было наземь, стал принимать своё физиологическое положение, расправлять плечи, обул резиновые бывалые сапоги и ушанки фасона «деда Мазая», взял вещмешки из старых же запасов (пионерско-комсомольских). Из нового—«кравчучки», тележки на колёсиках, кустарное производство которых быстро наладили дошлые «кулибины» тонущих заводов.

Вся эта народная масса засуетилась под тепловозный свист, заторопилась опять куда-то не успеть, чего-то не достать. Она с упорным упрямством стремилась выжить, заполняя пустые холодные вагоны электричек. Она, кряхтя и сопя, подсаживая и отталкивая, беззлобно поругиваясь, с надеждой рвалась в будущее «завтра». В каждом вагоне стало плотно от людей, вёдер, мешков и тележек. Ехали в основном каждодневные «джимбалосники»—собирать неубранные морковь или бурак. Редко кто за яблоками—это уже роскошь. Изо дня в день и почти до Нового года едут золотые руки закрывающихся заводов, ловкие пальчики фабрик. Разговоры—о производстве, где у каждого душа прописана лет с шестнадцати и до записи в трудовой: «Уволен по собственному желанию». А кто желание у них спрашивал, когда всё взорвали в одночасье?

Все почти друг друга знают: по заграницам народ не ездил—по одним цехам да улицам ходил.

Путь недолог до полей ближнего района, где посеять что-то спроможились, а взрастить или собрать—нечем. На первых двух остановках народ выходит торопясь, но делово. Уходят в сырую промозглость. Я слышу, как чавкает земляная жижа под ногами и ножками, от тридцать пятого до сорок пятого размеров. Женщин не меньше, чем мужчин. Оставляя их, состав следует дальше по маршруту.

Страх голода сжал тогда не одну душу на долгое время. Тот животный страх жил во мне с младенчества, когда меня, крошку, мать кормила грудью, из которой вместо молока сочилась кровь. Этот страх и так мутил моё сознание. Он заглушил присущую мне стеснительность. Он загонял моих земляков в эти электрички, как загонял в послевоенные теплушки наших родителей и дедов. Достать продукты—вот и весь смысл жизни. Продрогшие, голодные, почти уже в сумерках мы садились в этот же поезд в обратном направлении. Он был почти бесплатным. В нём было светло и тепло. Нас там было—битком. Мы были—народ. Одно бедствующее целое.

По дороге этот «паровозик из Ромашково», как я его называла, подбирал навьюченных, как муравьи, «морковников», «свекольников». От них в вагоне, уже пропахшем керченской обменной рыбой, исходил суровый запах: земли, воды, тумана и предзимья. Рассовав полные, кому повезло, мешки и вёдра с «кравчучками», люди устало радовались теплу и большому количеству себе равных. Рассказывали о том, где больше удалось наскрести, куда идти стоит завтра. Измученные долгим хождением по полю с ношей, они, согреваясь, розовели, теплели, расстёгивали фуфайки и куртки.

Три горожанки, явно хорошо знающие друг друга, расположились у бокового столика, делясь событиями трудового дня. Не жаловались, отнюдь. Говорили степенно, с достоинством, как о неплохо выполненной работе.

— Морковка неважная, но кило пять будет. Продам всё. На хлеб даже денег сегодня не было.

— А я свекольник нынчя сделаю с постным маслом. Мамо так делала нам в детстве,— поддержала другая оживляющийся в тепле разговор.
— А ты, Светунь, чего успела-то набрать?— спросила первая собеседница молчащую маленькую, худенькую и ясноглазую товарку свою по копеечному бизнесу.
— Да немного набрала. На рядок неплохой напала. Лопатку с вечера сама мастерила, Костя же запил от жизни такой, хоть самостоятельный всегда был. Он сломался, как та ручка, что я ладила. А лезвием одним копать— мучение. До слёз обидно. Иду почти пустая до лесополоски— вас ждать. А тут на меже солнышко вышло. Посветлело кругом. И главное— на душе тучи разошлись. Жизнь не такой злой показалась. Расступились, значит, тучи на небе. И упал сноп солнца на межу. А там, у лесополосы самой, трава вся пожухлая, серая с чёрным. А на этом-то чёрном ковре— большой зелёный куст подорожника. И тень от листьев нижних на эту черноту падает. Тень-то розовая! Представляете, девчата! Чудо! И любовалась я этой красотой, чуть от радости морковки свои там, в лесополоске, не оставила. Да за красоту такую, что надежду в душе оживляет, и морковки той не жалко.

Глаза у рассказчицы сияли, как у сказочницы. И солнца сноп вроде пробился в этот вагон, освещая и согревая всех.
— Ну, Светка, ты и заливаешь! Не було солнца ниякого. Дождь, холод. Завтра, может, и голод. А ты— солнце. И тень подорожника. Причудилось тебе, подруга, от недоедания это чудо полевое.
— Так без веры в чудо душа не выживет. Может, и причудилось,— заулыбалась Светлана.

Сквозь заоконную тьму пробивался свет светофора. Скоро выходить. Город. Пассажиры зашевелились. Света движением рук фокусника выдернула из глубины вещмешка симпатичную самосвязанную беретку. Одним махом водрузила её вместо платка на вдруг появившиеся кудряшки. Росчерком тюбика помады окрасила в алый цвет небольшие пухленькие губки. Её синие глаза изобразили томно-насмешливый взгляд.
— Ну что ж, подруги? А жизнь всё равно прелесть как хороша! Вся эта временная нечисть скоро схлынет, а мы с вами останемся. Мы не просто бабоньки. Мы— народ. Мы— вечны, как жизнь и солнце. Как розовая тень зелёного подорожника.

Всему своё время

«И далась мне эта Людочка!»— думал мешковатый мужчина лет за пятьдесят, несноровисто чистя картошку в пристроенной к большому дому веранде.

Но хороша! Подойдёт в конце смены, ресничками захлопает, кудряшками встряхнёт и заворкует:
— Петрович, нам не по пути, случайно, сегодня? Мне нужно в город побыстрее, а вы за рулём…

Ну конечно же, по пути. И как иначе ответить, если мужское твоё начало, уже приближающееся к завершающей фазе, вдруг взыграет при появлении молодой упругой красоты? И подвозил по всяким её делам, забыв о своей репутации серьёзного человека, мастера цеха. Городок так мал, что и хотел бы чего припрятать— не тут-то было.

На охоту Людочку Петрович с собою не брал, а друзья по ружью уже в первое же охотничье воскресенье подначивали:
— Петрович, старое ружьё промаху не даёт?
— Да ну вас,— отмахивался он от приятелей.— Всё у всех на прицеле. По-джельменски я. Иначе не могу.

На работе бабёшки, завидев мастера, прыскали со смеху. Или замолкали при его приближении, застигнутые в момент обсуждения его дел сердечных.

А дела действительно были с каждым днём беспокойнее. Оказавшись в неловком и необычном для него, примерного семьянина, коммуниста, начальника, да и вообще серьёзного человека, положении, Петрович терял покой, сон и вес.

Людочка из конторы вцепилась в него хваткой летучей мыши, растревоженной светом фар его новеньких «Жигулей». Сам Петрович, почувствовав себя за рулём, как джигит на коне, взбрыкнул и готов был скакать во весь опор.

Ранее такой прыти за собой не замечая, диву давался таким в себе переменам. Четыре колеса давали возможность оторваться от преследующих досужих глаз.

Но только не от глаз его Сонечки. Сонечка, тихая, покладистая, но всегда стоящая на своём жена, почуяв неладное, вдруг взбунтовалась, как тайфун. Петрович старался вразумить— её ли, себя ли:
— В мои-то годы?! Сколько вместе пережито! Детей вырастили…

Буря вроде улеглась, но круги шли далече…

«Ну, всё, вроде пронесло, не повредив ни дома, ни домочадцев»,— думал он, успокоенный, открывая поутру гараж и выводя своего «мустанга». Да не тут-то было! За углом, будто его поджидая, проявилась стройная фигурка Людочки из конторы в нарядном платье и босоножках на высоких каблуках. Проезжать мимо такого! Он, конечно же, не смог… Болтая ни о чём, они доехали до проходной завода. В конце смены, терзаемый сомнениями и желаниями, он поспешил раньше времени к проходной. Дежурной сослался на неотложность дел.

«Нужно дать отпуск сплетням»,— думал он серьёзно о положении своих дел. Но душа его уже потеряла то умиротворение, которым умная природа вознаграждает человека по прожитым им годам. Года были не такими уж и большими, но хлебнул он в юности дыма порохового на чёрных дорогах войны. Многое стёрла мудрая память. Но тот сон ли, явь ли, приходящий всё чаще и чаще в теперешнюю его жизнь, и пугал, и торопил жить и чувствовать…

…С вечера его рота пехотинцев залегла в окопе напротив самого центра высотки, откуда били прицельно пушки. На рассвете— штурм. Наступления этого ждали давно. Всматривались в хорошо укреплённую немцами высотку. Покуривали. На чём свет кляли фашиста. Читали нечастые письма из дому. Ремонтировали обмундирование. И это была жизнь. Тяжёлая. Военная. Обустроенная по минимуму. Кухня была. Уборную в ожидании наступления не мастерили. На лопату— и в сторону

проклятого немца. Вот ему! Чтоб ему! А в наступление — по своему, скользкому… Вот она, русская неосмотрительность.

Ночь перед наступлением тревожила неизвестностью. Каждый знал: назад дороги нет. Наступление идёт по всему фронту. Дать немцу «прикурить» — и гнать, гнать, гнать. Кому выжить. Кому навечно здесь лечь. Тихо. Кое-где взлетит ракета, встревожив предвесеннюю хрупкость. Он, тогда молодой, высокий комроты Сергей Добрых, сможив глаза, всматривается в ту, вражескую, сторону. Ему идти впереди. Вести за собой. Он — первая и крупная мишень в ближнем бою. Дойти до высотки ему вряд ли суждено. Но кто-то обязательно дойдёт, выполнит наказ и приказ. Высотку возьмём!

Боже мой, как хороши звёзды. И просыпающиеся от спячки просторы. И пахнет обновлённым, весенним, вечным, счастливым. И скоро — бой. Для многих — последний. Мысли потихоньку путаются… Время глубокой ночи, когда свет борется с тьмой, уводит в полусон, полубдение…

Он, Сергей, сидит, опершись на автомат, у рубежа окопа, за который на рассвете нужно сделать рывок. К нему со стороны звёздной высоты неслышно подходит седой человек в белых одеждах. Подходит вплотную. Кладёт руку на его голову и вещает:

— Иди, сын, в бой за землю свою. Иди. Не пугайся ничего. Будь сильный духом. Веди за собой слабых. Молний вражеских, сил чёрных не бойся. Суждено полю белому красным стать и чёрным. От крови и боли. Но ты иди. Не оглядывайся. Почти все здесь лягут. Ты пройдёшь этот рубеж… До отметки пятьдесят семь. Живи Божьими заповедями. Иди…

Старичок исчез. Сергей, стряхивая чудное видение, глянул на звёзды. Взвилась ракета. На штурм!

— Господи, спаси и сохрани, — перекрестясь впервые, он, атеист, повёл роту в атаку.

Они откатывались и наступали, но не уступили врагу ту высотку. Там полегла почти вся его рота. Он, Сергей, хранимый кем-то, поднимался бесстрашно во весь рост, вышел из того боя без царапинки. Заслужил орден.

Никому ни тогда, ни позже он не рассказывал о своём хранителе. Жить старался по совести. Это, наверное, и есть по-божески. А тут вот на старости лет попутал нечистый. В образе синеглазой. С хлопающими ресничками. В общем-то, и греха как такового не было. Но было уже желание этого самого греха. И как наказание — повестка в суд от его тихой Сонечки. На развод. На раздел имущества. Из мужского самолюбия, гордости на развод, на котором настаивала оскорблённая жена, он согласился. Таким образом, он стал свободным.

Большая часть дома отошла жене и детям. Ему — маленькая комнатушка, гараж с машиной и всеобщее семейное презрение. Чуть не получив инфаркт, он всё же справился с ситуацией. Пристроил к комнатке верандочку. В ней он и чистил на данный момент картошку в ожидании гостьи — Людочки. Конфеты, шампанское, цветы — всё готово. Салат и пюре Петрович готовил сам. Стрелки на его «Командирских» часах катастрофически приближались к часу открытого свидания, а на электропечке ещё доваривается картошка.

«Всё, бегу переодеваться. Сорочка. Галстук…» — торопится Петрович.

Долгожданно-неожиданно раздаётся стук в калитку. Калитка открывается… Петрович почти летит навстречу розово-голубому облачку на каблучках. И в завитушках. Летит, забыв о пузырящихся трико на коленях, предсказывающих непогоду. О майке, под которой колышется обвисший животик. Он, молодой и радостный, летит навстречу красоте и счастью. По пути следования замечает, что его «бывшая» — Сонечка, услышав шум на его половине, смотрит сквозь редкий штакетник на его счастье. Петрович горд вниманием «бывшей» и молодой особ, в угаре нахлынувших чувств не замечает им же поваленное у калитки деревце, спотыкается и падает почти на руки гостье. Людочка под тяжестью рухнувшего на неё тела отпрянула почти за калитку. Петрович во всю свою ширину и длину падает ей в ноги. Серьёзная Сонечка заливается счастливым смехом. Он, долго ползая, ищет свои очки. Людочка, явно не принимая его поклона в самые её ноженьки, растворилась в просторе их переулочка.

— Так тебе и надо, старый волокита! — вставая наконец, говорит сам себе Петрович, сохраняя присущий ему юмор. — Всему своё время.

А время приближалось к рубежу.

Аминат Абдулманапова

Погибшим и живым

Перевёл с даргинского Валерий Латынин

Адаты

Ещё диктуют волю нам адаты,
Распоряжаясь робкою судьбой.
И я им не противилась когда-то,
Насильно разлучённая с тобой.

Ты мог бы стать моим законным мужем.
Но мы встречаться даже не должны—
Адаты запрещают. Почему же
Смиренье не приходит в час луны?

Я столько слов любовных прошептала,
Я столько мыслей грешных не гнала,
Что каждый миг со страхом ожидала
Возмездия за сотворенье зла.

Но не карали за любовь адаты,
Как будто бы давали мне понять,
Что только люди сами виноваты
За всё, что им приходится терять.

Дяде Рабадану

Ты много лет разыскиваешь братьев,
Обходишь обелиски все подряд,
Где под звездой, исполнив долг свой ратный,
Погибшие соратники лежат.

Мой добрый дядя, рыцарь седовласый,
Ты в грозный час слезинки не пролил,
В боях не смалодушничал ни разу,
А нынче часто плачешь у могил.

Израненный, контуженный, увечный,
Стоишь, открытый людям и ветрам,
Как памятник из боли человечьей
Погибшим и живым фронтовикам.

Мечта

Хотела б я разрушить все границы
И учредить республику одну,
В которой бы лучились счастьем лица
И люди позабыли про войну.

Пока земля потёмками объята,
Молю я небо городов и сёл,
Чтоб дождь любви на сакли и на хаты,
На все дома земли моей сошёл;

Чтоб люди только от любви страдали,
От недостатка сокровенных слов
И повсеместно в жизни утверждали
Один закон—всеобщую любовь!

Возвращение отца

В созвездье даргинских селений,
К огню своего очага
Вернулся из пекла сражений
Отец, одолевший врага.

Безжалостный почерк металла
Отцовскую грудь исписал.
Не раз его жизнь покидала,
А скальпель хирурга спасал.

Как письма из огненной дали,
Что нам не дослала война,
Сказали о славе медали,
О горе потерь—седина.

Дымок самокрутки курился.
Ни крошки—в мешке вещевом.
Но с фронта отец возвратился—
И счастьем наполнился дом!

Обиды

Не прощая малые обиды,
Накопили их невпроворот.
Оглянулись—а любви не видно,
Ждёт разлука около ворот.

Я—огонь, взметнувшийся в соломе.
Ты, как ветер, горд и легкокрыл—
Не берёг любви на переломе,
Не гасил огонь, а разносил…

Ну и что мы выиграли этим?
Что в душе и сердце сберегли?
Глупые, упрямые, как дети,
Всё сожгли и пепел размели.

В роддоме

Женщина сбежала из палаты.
Бросила ребёнка и ушла.
А малыш, как будто виноватый,
Посинел от крика. Не дала

Мать ему ни пищи, ни приюта,
Лишь позор оставила ему…
Я возьму трёхдневного малютку,
Бережно к груди своей прижму.

Сын мой засыпает на кровати
С розовым румянцем на щеках.
И ему, и побратиму хватит
Нежности моей и молока.

Горная вода

Из сердца гор она берёт начало,
Негромко песню начинает петь.
К струе—струя, и вот уж зазвучали
Чунгуры, бубен, серебро и медь…

Вода сначала вьётся, как косички,
Потом ягнёнком прыгает с камней.
С махрами брызг прозрачные странички
Листает непоседливый ручей.

Чем дальше вниз, тем нрав воды игривей—
То ниспадает светлою фатой,
То на стремнинах потрясает гривой,
О берег трётся белой бородой…

Люблю шумливость ручейков кавказских,
Бурливых рек мятежную красу.
Иду к ручью, зачерпываю сказку
И бережно домой её несу.

Чабанам

Вы дождинки пьёте, как шараб.
Молнии вам служат для костра.
Кипятите воду в казане
На священном Зевсовом огне.
Даже облака не выше вас.
Вы—те боги, что хранят Кавказ!

Твой джигит

Твой джигит не вернулся с войны.
Ты состарилась верной невестой.
Не рождённые ваши сыны
Вместе с милым убиты под Брестом.

Только ветер тебя целовал,
Только ночи тебя обнимали,
Но твой взгляд добродушный не стал
Средоточьем тоски и печали.

Ты не ждёшь состраданья к себе
И лекарством любви и участья
Исцеляешь всех тех, кто слабей,
Кто не знал ни удачи, ни счастья.

А своей не гневишься судьбой—
Твой джигит был всё время с тобой.

* * *

Я мучима бессильем заступиться
За всех детей, обиженных судьбой.
Я так хочу хотя бы дать напиться
Солдатам, что идут сегодня в бой.

Я плачу оттого, что не умею
Воюющие души примирить
И жизнь спасти, пожертвовав своею,
Всем тем, кто не успел ещё пожить.

ДиН дебют

Игорь Хохлов

Берёзовый остров

* * *

Зной полудня. Берёзовый остров,
Как оазис, за полем возник!
Заходи же скорее—как просто
Оказаться в тиши и в тени…

Наклоняясь пониже, взгляни-ка,
Как, налившись в июльском тепле,
Созревающая костяника,
Набухая, приникла к земле.

Пусть сливается всё воедино:
Тайны леса с твоею душой,
Костяники кусты, паутина
И берёз островок небольшой…

Огонёк

А в нашем мире всё непрочно,
Нелепо… втянут ли в игру я?..
Лишь огонёк во тьме полночной
Горит, надежду жить даруя.

* * *

Перелески, перелески,
сентября прохлада…
Перелезть бы, перелезть бы
смело за ограду;
по знакомому маршруту,
по тропе, известной
только мне, осенним утром
возвращаться в детство…
Подниматься на пригорок,
где на всё ответом—
сосен старых разговоры:
скрип стволов, хруст веток.
По ковру иголок хвойных
так легко шагать, спокойно,
душу полнить светом!
А берёзы в жёлтых платьях
манят вдаль…
О, как узнать их
вечные секреты?

Галина Кузнецова-Чапчахова

Парижанин из Москвы

Избранные главы из романа

Пролог

Возможно ли, чтобы новую любовь для мужчины «вымолила у Бога» его покойная жена, «благословляя» новое чувство между ним и «заменой» себя — другой женщиной? Так возникает некий «любовный треугольник» по-русски, где невидимо, но ощутимо для влюблённых присутствует «отошедшая».

Предубеждения новой любви — они преодолимы? «Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя?»

Есть много людей, которым всё это неважно, но только не нашим героям.

Поражает, до какой степени неисчерпаемо высок накал человеческих страстей, когда сближаются два «электрода» — мужчина и женщина. И молниеносно подключается всё, вся цепочка, весь генезис, уводящий в века и одновременно ткущий стратегию новых сочетаний и новую расстановку сил или бессилия, мгновения или вечности, что почти одно и то же.

Ольга Александровна Бредиус-Субботина, как редактор «Романа в письмах», позаботилась о грозных надписях на некоторых письмах: «Не публиковать!» А возможно, и об уничтожении части писем — своих и Ивана Сергеевича Шмелёва.

Наверное, искусство любви как искусство изящной словесности требует не только искренности, но и трезвого внутреннего самоконтроля. У женщины здесь «срабатывает» природная скрытность, инстинкт самосохранения, пусть даже детская поза смущения «кривит ножки» (И. Шмелёв).

Что произошло с нашими героями? Как сложились отношения О. Субботиной и И. Шмелёва, случившиеся в годы Второй мировой войны и после неё? Тайна человеческой души не поддаётся расшифровке. В ней, в душе, незримо присутствуют и ткут «лик», «узор любви» (И. Шмелёв) их время, опыт предков, собственный опыт, инстинкт, чей-то просчёт или самонадеянность, потери и иллюзии; неизбежные, если даже невольные, обманы, непоправимые ошибки и стойкие заблуждения. И, разумеется, доверчивость, незащищённость большого чувства. Любовь такова, каков человек. У сложных людей сложная судьба.

Часть первая

Франция — Германия — Россия — Голландия

1. В Париже

Коротенькая утренняя телеграмма от 22 июня 1936 года из Парижа в Берлин профессору Ивану Ильину гласила: «Супруга тяжело больна невозможно приехать Шмелёв».

Этой неожиданной телеграмме предшествовала долгая оживлённая переписка Ивана Сергеевича Шмелёва и его друга, философа Ивана Александровича Ильина, в связи с предполагаемой писательской поездкой в Латвию. Но, может быть, не столько в Латвию, сколько воспользоваться возможностью побывать вместе с женой, Ольгой Александровной Шмелёвой, в Изборске, который на тот момент был пограничной частью Балтийских республик, и увидеть из Печёр Псков — Родину, без которой были несчастны.

Вот что писал Ильин, выражая общее с другом состояние отчаяния:

«Как тяжко утратить Родину. И как невыносима мысль о том, что эта утрата, может быть, состоялась навсегда. Для меня навсегда, ибо я, может быть, умру в изгнании…

От этой мысли всё становится беспросветным: как если бы навсегда зашло солнце, навсегда угас дневной свет, навсегда исчезли краски дня… и никогда больше не увижу я цветов и голубого неба… Как если бы я ослеп; или некий голос грозно сказал бы мне: «Больше не будет радостей в твоей жизни; в томленье увянешь ты, всем чужой и никому не нужный…»

Но не бойтесь этого голоса и этого страха! Дайте им состояться, откройте им душу. Не страшитесь той пустоты и темноты, которые прозияют в вашей душе. Смело и спокойно смотрите в эту темноту и пустоту.

И скоро в них забрезжит новый свет, свет новой, подлинной любви к Родине, которую никто и никогда не сможет у вас отнять… и ваше изгнанничество станет действием и подвигом; и свет не погаснет уже никогда».

Итак, хотя бы на расстоянии 18 километров от Печёрского монастыря в ясный день увидеть купол Псковского собора. Как пел в эти же годы А. Вертинский, находясь «в степи молдаванской»: «Хоть взглянуть на родную страну!» Организацию выступлений Шмелёва брали на себя друзья Ильина в Риге. Так предполагали дружившие семьями Шмелёвы и Ильины; однако всё случится иначе.

В этот же день, 22 июня 1936 года, спустя несколько часов, вслед за первой телеграммой Иваном Сергеевичем Шмелёвым послано Ильину второе коротенькое сообщение:

«Дорогие, не могу не известить вас. Оля умерла сегодня в час тридцать дня после приступа сердца (грудной жабы). Помолитесь за неё. Мне больно,

но я постараюсь додержаться до конца. Ваш Ив. Шмелёв».

Шмелёвы прожили вместе сорок один год, с того далёкого времени, когда в 1895 году в церкви подмосковного имения матери студент второго курса юридического факультета мгу Иван Шмелёв обвенчался с Олечкой Охтерлони, выпускницей Патриотического института, дочерью штабс-капитана Александра Александровича Охтерлони, участника турецких кампаний.

Они прожили вместе больше сорока лет, никогда не разлучаясь, разделив в 1911 году славу знаменитого автора «Человека из ресторана», в 1921-м — расстрел в Феодосийской чк единственного сына Сергея и весь ужас голода и беззакония в Крыму, революции и Гражданской войны в России, а затем утрату Родины и жизнь на чужбине.

Потеряв горячо любимую жену, Иван Сергеевич не представлял себе отныне дальнейшего существования. Легко раздал, частью уничтожил почти весь свой писательский архив, раздарил книги, полагая только «додержаться до конца». Всё возможное время он проводил возле дорогой могилы «своей Оли» в Сент-Женевьев-де-Буа, о чём писал неизменному другу Ивану Ильину:

«Живу?! В пустоте. Но она — при мне. Только — для чего это длится? Всё во мне остановилось, и всё, кажущееся ещё живущим, самообман. Полное опустошение, тупость, отчаяние. Вчера — выл в пустой квартире. Молитва облегчает, как-то отупляет. Всё — рухнуло».

Иван Ильин всё-таки убедил своего друга не отказываться от уже объявленного в рижской эмигрантской прессе визита хорошо известного в русских кругах писателя.

Но и в Латвии Шмелёв «будто бы совершает задуманное когда-то с Ней вместе». И там, на «рубеже», он неизбывно почти физически чувствует притяжение места упокоения Ольги Александровны: «Лучше бы там, мотаться между квартирой временной и вечной». И всё-таки: «Изборск, Печёры… Я сразу узнал осенний воздух родного захолустья. Рубеж — сон, наваждение, шутка? И горечь, горечь…»

На обратном пути в Париж по настоятельной просьбе Ильина Иван Сергеевич остановился проездом в Берлине, встретился с русской молодёжью, учениками Ивана Александровича, в берлинском Доме писателей и журналистов. Именно эта встреча получит неожиданно роковое развитие спустя непродолжительное время.

Конечно, никак нельзя было предположить, что последующие за этой поездкой поначалу не очень приметные события повернут, перевернут жизнь Ивана Сергеевича совсем иначе, чем ему представлялось.

Вернувшись в Париж, Иван Сергеевич ещё острее почувствовал своё бесконечное одиночество, бессчётно повторял самому себе, как он одинок. Ничто не могло его утешить. Он потерял вкус к работе. Да что к работе! Ведь и жизни-то держались, пока были вместе, пока поддерживали друг друга!

Письмо неведомой Ольги Александровны Бредиус Ивану Сергеевичу передали через газету «Возрождение». В редакцию на Елисейских Полях после смерти жены он заходил редко. Жизнь окончательно теряла какой-либо смысл.

Эти страшные слова: «как я одинок» — были неотвязны, бродил ли он по квартирке на Буало, 91, или по-прежнему часами сидел возле могилы жены в Сент-Женевьев. Две утраты, две незаживающие раны в сердце: гибель единственного сына, расстрелянного большевиками в 1921 году, и теперь утрата жены Ольги — это полтора десятка лет жизни без «родного» — без России.

По визе, выхлопотанной для Шмелёвых Иваном Буниным, в конце 1922 года они перебрались из Берлина в Париж. Остановились у племянницы жены, Юлии Александровны Кутыриной, временно их приютившей. Её маленький сын Ив — Ивистион, Ивик, — оказался с ними, заменил им Серёжечку насколько возможно.

И вот — письмо. Из Королевства Нидерланды.

Он получал их в Париже так много, как никто из коллег-писателей. Ни деликатнейший, всем приятный Борис Зайцев, ни дорогой друг Александр Куприн, отправившийся умирать в Большевизию, ни тем более славный нобелевский лауреат Иван Бунин, давний знакомец по московскому Товариществу русских писателей и знаменитым «Средам» в Москве. Позже их отношения испортятся навсегда.

А пока что именно у Буниных, в их гостеприимном для многих бездомных Грассе, написано летом 23-го года «Солнце мёртвых», немедленно переведённое на все европейские языки один за другим. Шмелёва какое-то время осыпали знаками внимания: его посетил, писал ему и подарил фотографию Томас Манн, Ивану Шмелёву прислали письма Редьярд Киплинг, Сельма Лагерлёф, Кнут Гамсун…

Что касается лауреата Нобелевской премии, автора романа «Жизнь Арсеньева», — кстати, на эту премию рассматривались также кандидатуры Д. Мережковского и И. Шмелёва — то именно Шмелёв отметил главное в своей речи на чествовании Ивана Алексеевича Бунина в 1933 году: «Признан миром русский писатель, и этим признана и русская литература, ибо Бунин — от её духа-плоти; и этим духовно признана подлинная Россия». «Подлинная» — то есть не советская. Слово И. С. Шмелёва много значило для эмигрантской общественности.

Отвечать всем желающим общения не удавалось: как ни запасёшься конвертами-марками, денег почта поглощает много, а всё равно сначала отвечаешь тем, кто больше нуждается в твоём слове, то есть тем, кто пишет не для того, чтобы «выразить уверение в почтении», а «просит ответить на вопросы». И о чём бы его ни спрашивали бывшие граждане Российской империи, ныне шофёры, модистки, шахтёры, официанты, врачи и домашние учителя русского языка — кому как повезёт, — в конечном итоге все они страстно хотели понять одно: «Почему так случилось?» То есть как могла могучая страна Россия превратиться

в аббревиатуру, составленную из странных букв,— сначала РСФСР, потом СССР? Такой страны мир ещё не видывал — круто брала.

Так что пришлось ему по этим письмам лет десять назад послать в газету «Возрождение» большую статью «Как нам быть?». То есть, по сути, «быть или не быть», потому что бежали от голода, преследований или как они с женой, в тщетных поисках следов сына Сергея хватаясь за соломинку слухов: якобы видели его на Западе. Большинство — подсчёту точному не поддающееся, но сотни тысяч,— уезжало на время, а оказалось — навсегда. Так и жили: как бы находясь в полусне, почти в небытии.

Вот оно когда настало, его личное полное небытие! Пустота, пылинка — вот что он без жены. Если бы не Иван Александрович Ильин! Его письма были единственной поддержкой, ибо в них была правда, внушённая когда-то ему, «неверу», его Олей. Она по-христиански простит своего Ваню, что не уберёг её. Вечно в своих листках, в пишущей машинке, в ожидании публикаций, всегда запаздывающих, всегда не соответствующих возложенным на них надеждам гонораров, в хлопотах с переводчиками… А она, его добрый ангел, его стержень, жила только заботой о нём и об Ивике, заменившем, сколько возможно, Серёжечку…

Да и возможно ли было убедить её жить другою жизнью? Какой? «Для себя»? Другой жизни они не представляли оба — в вечных замыслах и «родах» рассказов и повестей, перемежающихся болезнями и отчаянием сомнения в том, чему отдана жизнь. И она всегда приходила на помощь. И больше её нет.

И не было человека во всём мире, кто мог бы лучше Ивана Александровича Ильина утешить неутешного.

«Не кончается наша жизнь здесь. Уходит туда. И «там» реальнее здешнего. Это «там» земному глазу не видно. Есть особое внутреннее нечувственное видение, которым мы воспринимаем и постигаем Бога, когда Он и только Он заполняет нас. Вы знаете это состояние, это внутреннее созерцание нашей связи с Ним, это не экстаз, не галлюцинация, упаси нас Бог от «прелести» картинного воображения! Может быть, для того и уведена в иной мир Ольга Александровна, чтобы Вам через страдания Ваши, через особое писательское зрение открылось ви́дение большего, чем другим…»

В глубине души Иван Сергеевич как раз надеялся, что его «святая Оля» вымолит у Бога скорейшую встречу с ней — *Там*.

Не уменьшали горя слова друга-философа, но примиряли с решением Того, который и сам однажды просил Отца: «Не как Я, но как Ты хочешь».

Кто знает, может, и его учёный берлинский, позже швейцарский, корреспондент тоже не случайно послан ему, не сильно-то общительному одинокому замоскворецкому медведю, впервые оказавшемуся в Париже, да не по доброй воле. Он уставал от досужего любопытства людей, едва успев увидеть теми самыми глазами, о которых писал Ильин. И не всё ли равно, где он находится, если нет с ним его Оли, Ольги Александровны Охтерлони-Шмелёвой? Не всё ли равно, какой вид из окна, если Россия отнята, может быть, навсегда?

Да, он одинок, он бесконечно одинок; они с Ильиным знают то же, что написал о неизбежной встрече в ином мире Достоевский возле гроба первой жены: «Маша лежит на столе…» Но тогда Фёдору Михайловичу было сорок лет, а Ивану Сергеевичу — шестьдесят, и прожиты они в условиях невиданных потрясений, которые предсказал великий предшественник, почти современник. Он умер, когда семилетний Ваня Шмелёв готовился к поступлению в гимназию…

Да, одинок на излёте жизни. Он «бесконечно одинок» и молит Бога о скорейшей встрече — *Там*.

Но вот это письмо среди прочей корреспонденции: «Кажется, и в Голландии не забывают бедолаг, русских литераторов!»

Иван Сергеевич внимательно перечитал адрес на конверте: «Le Renaissanse, 73, Avenue des Champs-Élysées, Paris, 16». Как всегда, с пометкой редакции: «От читат.». А вот и письмо (цветная почтовая бумага), помечено 9 июня 1939 года.

Писала женщина. Обращение к нему, довольно велеречивое: «Искренно чтимый, душевно любимый… По непреодолимому желанию выразить Вам преклонение моё перед Вами…» — только пробежал глазами, почти не воспринимая, взгляд задержал на существенном:

«…Когда мне тяжело на душе, я беру Ваши книжки, и т. к. в них не лицемерная правда, а Душа, то становится и легко, и ясно. И это Ваши «Лето Господне» и «Богомолье» были моими подготовителями и к Посту, и к Св. Пасхе. Увы, наши «батюшки» редко бывают истинно духовны, и часто не находишь у них того Духа, которым жила Русь. Читая Вас, я и моя семья чувствовали всё таким своим, родным, русским до последнего вздоха. И Вашего батюшку, такого прекрасного, так рано погибшего, и старенького Горкина, и Вас, ребёнка, мы любим, как любят своих близких. Простите мне, что так пишу, что всё выходит как-то, может быть, шаблонно. Но верьте, что от искреннего сердца идут мои слова…»

Письмо отсылало к его знакомству с русской молодёжью в Берлине после поездки в Латвию, по пути в Париж.

«Я слушала Ваше чтение в Берлине после того, как скончалась Ваша супруга. Как ужасно — столько чудесных, прекрасных близких лиц суждено было Вам утратить из жизни, когда-то такой полной, богатой этими людьми.

Вашим духом живут много людей, Ваша Божия искра затеплила у многих лампаду. Для многих во всей эмиграции существуют лишь два человека — это Вы и Иван Александрович Ильин… Единственная для нас, эмигрантов, связь с Русским — книги…»

И о себе:

«Я живу в Голландии, замужем за голландцем, в деревенской тишине».

О себе писали ему многие, особенно читательницы-женщины. Но несколькими строками ниже он непроизвольно вздрогнул:

«Если Вам покажется, м. б., иногда, что Вы одиноки, то не думайте так!

Искренне почитающая Вас Ольга Бредиус-Субботина».

Эти слова он подчеркнул. Они отозвались привычной уже болью и всё же заставляли их перечитывать, словно незнакомая Ольга Бредиус-Субботина (отчества нет, но, может быть, тоже Александровна, как его «отошедшая»? Он обязательно спросит об этом Ильина в ближайшем к нему письме), эта неизвестная ему женщина, проникла в его замершую душу, и угадала непоправимость его утрат, и даже расслышала его стоны: «Как я одинок!» Эти слова потрясли его впечатлительное сердце.

Незнакомка как бы обещала облегчение. Как будто это ещё было возможно, даже если все его читатели заверят о своём сочувствии! О, благородное женское сердце!

И ещё это удивительное совпадение: О. А. оказалась ученицей философа Ивана Александровича Ильина! Её письмо было созвучно утешительным письмам их общего друга и учителя.

Дней через десять, разбирая накопившуюся почту, Иван Сергеевич послал в Утрехт неведомой Ольге Бредиус-Субботиной почтовую открытку с «сердечной признательностью» за добрые слова, за «окрик на уныние». Такие письма-ответы он тоже писал много раз, но сейчас — как бы не совсем безвестному человеку, ведь Ольга Субботина сидела совсем рядом, видела и слышала его, и это тоже показалось ему неслучайным.

Его ответ был, как все у Шмелёва, искренним, он не терпел отписок:

«Да, я одинок, очень одинок и часто ропщу. Вы почувствовали это, сказали это, и правильно: я часто забываю, что я не одинок… моя покойная жена, мой отнятый мучителями Родины сын, офицер, Господь же со мной! Но не называйте меня учителем. Я недостоин сего. Я — слабый, грешный человек, куда быть мне учителем нравственной жизни. О батюшках Вы напрасно. И в нашем Содоме есть светлые пастыри, есть. Всего Вам доброго. Привет Вашей семье. Спасибо!»

В который раз он коротко повторил про сына Сергея, Серёжечку, расстрелянного в Феодосии в жестоком 1921 году. Бела Кун и Землячка — кто теперь вспоминает о них! — готовились к приезду в Крым Льва Троцкого, зачистка производилась под видом регистрации и под слово большевиков оставить жизнь бывшим белым офицерам, не захотевшим эмигрировать из России. Как можно было поверить слову узурпаторов власти в России?!

К своему дню рождения, 21 сентября по старому стилю — Шмелёв не мирился с большевистским летосчислением, как и с новой «большевистской» орфографией, — он получил из Голландии маленькую посылочку: авторучку — модное европейское «стило» — и при ней записку: «Я часто думаю о Вас с большим беспокойством, Ваша Ольга Александровна Бредиус». Что, конечно, не могло быть не замечено: и «Ваша», и особенно «Ольга Александровна».

Об этом потрясшем его совпадении он пишет Ильину, её учителю: «Кто она, Ольга Александровна? И… имя от моей Оли!»

Сердечно благодаря 26 сентября (9 октября), в день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова (своего небесного покровителя, автора четвёртого Евангелия), за «стило, подарок писателю-другу», Иван Сергеевич не без опаски повторил ключевое слово: «Сердечно Ваш Ив. Шмелёв».

Письма из Утрехта в Париж полетели, словно сигналы SOS: Ольга Александровна хлопочет вызволить из милитаризирующейся Германии маму и брата Сергея; часто нездоровы то муж, то она сама; её изматывают кровотечения, в чём винит почки. Она просит его книги, писать ей по возможности чаще.

«Я постараюсь прислать Вам свой роман «Пути Небесные». Видите ли, нас, русских, мир всё ещё мало знает. На взгляд мира, мы всё ещё «полудикари», этому взгляду помогли большевики из международного отброса». И ещё, уже как бы доброй знакомой: «…как бы предчувствуя мировой кризис (имеется в виду захват Польши гитлеровской Германией как начало новых, глобальных, потрясений. — *Г. К.-Ч.*), потерял я волю к работе… Ивик скоро должен быть мобилизован. Две недели жил в Русском Доме при Сент-Женевьев и каждый день ходил на могилку покойной О. А.».

Ольга Александровна в своих письмах восхищается «великим» писателем, рассказывает о неутолимой тоске по России, о детстве на Волге, о родителях:

«Знаете ли Вы Ярославль, Углич, Кострому, где в дремучих лесах живут воспоминания о Сусанине? Знаете ли Вы ту чудесную русскую природу? (Он ли не знает! — автор «Росстаней» и юрист по образованию, прослуживший добрый десяток лет в провинции; Господи, Боже мой, как давно это было… — *Г. К.-Ч.*)

Вот там, в этих лесах, родилась моя мать. Такая же цельная, неизломанная и прямая, как и вся эта природа. Её отец был благочинный…»

А вот о своём отце: «Род отца выходит из Углича… Опять милая Волга! Вся жизнь моих родителей была гармония, счастье, безоблачный сон…»

Кому бы могла она рассказать в Голландии, в доме протестантов Бредиусов, о самом сокровенном, живущем в её сердце?

«Мне было 7 лет. Я умолила маму взять меня к заутрене. Когда понесли Плащаницу, я, помню, горько заплакала. Я совершенно реально увидела умершего Христа, без вопросов и сомнений шла я за Плащаницей, и сердце моё было полно горя, и, не чувствуя веков, я была душой там, около Гефсимании. Как это всё было величественно и просто. Как неповторимо чудесно.

Ах, если бы Вы знали нашу церковь в Рыбинске, Нерукотворного Спаса храм, в котором служил мой отец!»

Но, увы, девочке было суждено испытать безвременную утрату: «Когда хоронили отца, гроб не несли, а передавали через головы…»

«Я только хотела познакомить Вас немного с моими близкими. За все эти годы никто и никогда

не стал мне ближе того мира, в который погружают моё сердце Ваши книги…»

«И я знаю, что Вы не посмеётесь и не осудите, если я скажу, что читая Ваши книги, я плачу, плачу о Вашем и о своём потерянном Рае».

Ещё чаще, чем раньше, словно наваждение, вставал перед её мысленным взором он, Иван Сергеевич, в зале Дома русских писателей и журналистов в Берлине. Пусть не дословно, она запомнила всё, что он говорил, как отвечал на вопросы: «Я не мыслитель, не политик, не проповедник и не судья тяжких и роковых ошибок поколений… ещё горит в опалённых и оскорблённых сердцах, лишённых Родины, Прометеев огонь, огонь лампад России… наша незрелая интеллигенция, не воспитанный на демократических свободах народ… Ибо правит жизнью не «почва», а «сеятель»… Жизнь заставит, придёт время, и Россия воскреснет, России — быть!..»

Вот так! Иван Сергеевич увидит в ней свою единомышленницу, он не будет одинок, они оба станут выше, душевно и духовно богаче. Кто знает, что там впереди.

О. А. не скрывает своего состояния: «Если бы Вы знали, как много я думаю о Вас и о Вашем мире — страницах русской души и веры!.. Можно, я ещё немного о себе?..»

Её, «буржуйку», ни в какое высшее учебное заведение не приняли. «Голод. Мешочничество мамы». С Ольгой и младшим братом Сергеем мама едет в Берлин к своему второму мужу, профессору Александру Александровичу Овчинникову, высланному на знаменитом «философском» корабле вместе с Н. Бердяевым, С. Франком, И. Ильиным и другими русскими мыслителями.

«Мы уезжали на три года. И верили, что ещё до этого свергнут большевиков. Не будет же терпеть Европа! Мы не прощались, мы говорили «до свидания!». Тяжкое прощание с бабушкой по маме…»

«…Но тот коротенький отрезок моей жизни на Родине я чувствую как именно всю, целую, большую мою Жизнь. Всё, что здесь, — эпизод. Это, конечно, не реально, не логично, но это такое внутреннее чувство. Конечно, многому с годами пришлось научиться, разочароваться во многом, утратить свежесть чувств и детскость Веры, утратить нежность и научиться носить маску. И ничего не удалось из Прекрасного умножить, приобрести к тому, что Там родилось…»

А вот и о муже, Арнольде Бредиусе, которого она зовёт Аром: «Он в своём роде не совсем обычный человек, очень немногими понимаемый и особенно в своей семье».

В чём его необычность, Ивану Сергеевичу предстоит узнать несколько позже. Уважаемый, известный в Голландии род хранил тайну, вследствие которой женитьба их старшего сына на русской нищей беженке была для них компромиссом, однако по некоторым причинам, о которых она частями сообщит позже, этот компромисс их устраивал.

Но, по-видимому, не очень устроил Ольгу Александровну!

Далеко не сразу станут понятны и признания о «чёрной полосе» жизни Ольги: «Чернота далеко позади, но отголоски её оставались в душе очень долго. Я как-то так и не окрылилась вполне, хотя и жила, и живу хорошо». «Как-то не окрылилась вполне» — значит ли это, что «чернота» не просто позади, но что её уже нет? Где здесь кончается скрытая горечь и где гордость заставляет уверять себя и счастливо обретённого друга в том, что в целом жизнь сложилась удачно, — сказать трудно.

О. А. называет Ивана Сергеевича пророком, просит прислать портрет, книги с авторской надписью. Получает от него обещанный первый том «Путей Небесных», позже «Неупиваемую Чашу» и «Куликово поле» — любимейшее детище автора. Они обмениваются цветами, которые заказывают через фирмы, лекарственными рецептами, гостинцами, мнением о книгах, готовят к отправке фотографии, словно были знакомы всю жизнь. Оказывать друг другу знаки внимания, посылать духи, цветы, а О. А. ещё и шлёт свои рисунки, — такой для них праздник, так хочется доставить радость друг другу! «А как мне хочется Вас увидеть! Если бы Вы знали, как Вы мне близки и дороги!» — не раз восклицает Ольга Александровна.

Трудно было Ивану Сергеевичу поверить этому нежданному подарку жизни; его смущал, но и влёк неведомо куда этот поток внимания и всё более непреодолимая потребность ответного действия со своей стороны. Одно за другим приходили из неведомого Бюнника близ Утрехта и потом из Викенбурга всё более долгожданные весточки, а в них такие тёплые, важные слова-обращения: дорогой, душевнородной, опять дорогой, далёкий прекрасный мой друг; ласковый (!), душевночтимый и даже милый. Да и как же не отогреться сердцу, если читаешь такое:

«Когда красиво небо, или слышно птичье пенье, иль просто кузнечики стрекочут ночью и звёзды светят, — я думаю о Вас…»

«Вдруг неотрывно потянуло перекинуться с Вами словечком, мой дорогой далёкий друг!»

И это женское, возможно безотчётное, вкрадчивое участие — обнадёжить, подбодрить нерешительность, неуверенность мужчины: «Вы такой скромный, — чуть начнёте о себе, как сейчас и оговоритесь, и извинитесь за это…»

Теперь она почти не расстаётся с произведениями Ивана Сергеевича — «Въезд в Париж», «Человек из ресторана», «Няня из Москвы», «Пути Небесные»:

«…Всё дивно, всё прекрасно, так что хочется плакать».

«Книжки Ваши перечитываю и не могу начитаться. Все они почти наизусть знакомы, и все снова и снова влекут. Уже и муж хочет изучать русский язык…» — чтобы познакомиться со знаменитым корреспондентом жены в оригинале.

Супругам Бредиусам дорого всё русское, больно читать в прессе обвинения, предъявляемые России, именно России, а не Советскому Союзу, в отношении короткой жестокой войны с Финляндией.

Всё чаще она пишет о нездоровье и о смерти.

«Перестаньте худеть-бледнеть, — просит он и как бы отвергает намёк на её чувства к нему как

первопричину волнений.—Вы очень жизненны и богаты воображением». Но ведь Шмелёв и сам такой: «Мне это знакомо. В юности были полосы, когда я переживал онемение от ужаса смерти». Он ещё долго будет помнить о большой разнице в летах.

Ей же всего важнее творческие успехи Ивана Сергеевича: «Как волнующе-радостно было узнать, что Вы работаете над «Путями Небесными» дальше. Что бы я дала за возможность видеть Вас и хоть чем-нибудь способствовать благоприятности условий, в которых протекает Ваша работа! Иногда я мечтаю: как чудесно было бы пригласить Вас. Пишите же и никогда не думайте, что Вы одиноки… Сколько безразличных лиц встречаешь на пути ежедневно, а тех, кто дают жизни свет и ценность,—нет, недосягаемо далеки они. Мне очень, очень не хватает Вас».

И так—из письма в письмо: «Как бы мне хотелось перенестись к Вам и хоть часок побыть с Вами!..»

О. А. через специальную фирму посылает на Пасху живые цветы «такому родному и близкому другу души». В ответ И. С. «чувствует и любит родную душу», ему «стало как-то легче в жизни. Это впервые после кончины Оли».

Ивана Сергеевича не может не волновать определённая двусмысленность их отношений. Он пытается остановить накат, просто шквал чувств, которые он пытается ничем не выдать: «…Не лучше ли будет—для Вашего спокойствия—перестать мне писать Вам? К чему это поведёт?! Видеться мы не можем, а если бы и сталось это—новая рана сердца—безысходность. Было бы преступно нарушить Ваш—пусть относительный даже—покой».

Но письмо заканчивается вопреки его воле: «Хочу видеть Ваши глаза! Вы меня знаете, видали, а я не представляю себе Вашего образа, и мне странно, будто мы говорим впотьмах. Целую Вашу руку, несбыточная, желанная. Простите. Ваш Ив. Шмелёв».

Отсюда уже совсем близко до обоюдных горячих просьб обменяться ещё и ещё новыми фотографиями. О. А. посылает свою, девической поры, при этом по-женски страшится: «Мне будет больно, когда я в оригинале не буду соответствовать созданному Вами образу и утрачу Вас».

Разумеется, эти два «важных» слова И. С. подчеркнёт, как и многие подобные этим в письмах Ольги Александровны: «Но всё же я иногда мечтаю и представляю себе различные картины, увы, невозможной встречи».

В обе стороны идут новые фотографии, О. А. присылает свой автопортрет и «Девушку с цветами», фото её брата Сергея, вызывающие у И. С. бурный восторг. Теперь можно хотя бы разговаривать не «впотьмах». И хотя он страшится разницы в годах, но не желает, чтобы фотограф удалял его морщины.

И снова О. А.: «Непрерывно думаю о Вас, днём и ночью, и невыразимо… страдаю. Не удивляйтесь. Да, очень и тяжко страдаю от невозможности полнейшей говорить о самом важном, говорить так, как это должно… Я выхожу в таинственную полутьму ночи, чтобы говорить с Вами…»

Закладываются темы, которые потом станут постоянными: о творчестве, о здоровье, желании иметь своего или «взять православного ребёнка на воспитание», о хозяйских обязанностях, которые О. А. хотя и любит, но ей они не под силу и мешают сосредоточиться на главном: она мечтает писать сама.

Столь же верен своим темам Иван Сергеевич: «Мне так легко, когда Вы думаете обо мне, это мне даёт силы в моих трудах».

Или вдруг после заминки с его ответом: «Родной мой… Я боюсь утратить Вас. Я боюсь, что я уже утратила Вас. Лучше убейте сразу и скажите скорее. А м.б., я сама внушила себе этот страх, и Вы всё тот же? Если бы это могло так быть!»

Ответные письма Ивана Сергеевича полны уже открытой нежности. Он искренен и счастлив, письма становятся всё длиннее и откровеннее.

Но пока они разделены границами, они властны лишь ободрять словом, радовать посылочками; особенно приятно—цветами, которыми отныне и до самого конца их жизни они будут буквально осыпать друг друга, они просто в вечном соревновании—чьи краше. Ежедневно в 11 часов ночи они, по предложению О. А., думают друг о друге, смотрят на фотографии—как это водится у влюблённых. Разумеется, всего этого давно уже мало: и признаний, и фотографий, и ежедневных вечерних дум друг о друге в назначенный час; и даже сомнений:

«В 11 часов я смотрел на Вас—чувствую, как люблю Вас! Но… цельно сердцем принять меня Вы не сможете, слишком большая разница между нами в годах (я—дело другое!)».

Ответ последовал незамедлительно—благо, заработавшая немецкая цензура не препятствовала частным признаниям:

«Что с Вами? В чём невольно я провинилась? Я тихо молча глажу Вам руки и молча прошу душе моей поверить.

Голубчик мой, ну неужели Вы сами верите тому, что говорите? Кто Вам подсказал, что я смущаюсь тем или иным от Вас? Отчего Вы так особенно отталкиваете меня? Иван Сергеевич, я не могу представить себе, что Вы могли быть жестоким. Вы нежно пытались отойти? Да? Правда? Тогда скажите мне это прямо. Я ищу правды. Я искала ваше сердце… Я мучаюсь о бабушке (он понял—о России.—*Г. К.-Ч.*), вижу её во сне, и тогда боль».

Снова и снова Ивану Сергеевичу надо подтверждать беспокойной Ольге Александровне свою верность: «Сейчас 11 ч. вечера—я смотрю на Вас. Вы—со мной по молитвам моей Оли. Господи!..»

Шмелёв не был бы писателем, если бы не создал некую картину-мечту о том, что было бы возможно в России времён его молодости, в той России, какой она осталась в сердце. Назвал «Свете Тихий».

«…Белая, у рощи, церковь. Берёзы в вечернем солнце. Тихо, далеко слышно—лязгает коса. Поблёскивают, тянут пчёлы, доносит с луга теплом медовым. Играют ласточки. А вон, над речкой, стрижи мелькают, чиркают по просёлку, вот-вот крылом заденут. А это семичасный от станции

отходит, рокотом там, у моста, видите—пар клубится над дубками? Гуси как размахались у колодца, блеск-то—солнцем их как, розовые фламинго словно. Да, уже восьмой час.

А вон и гости—во ржи клубится, тройка со станции,—благовестом встречают. А может, и нас встречают? Когда-то так встречали, когда мы с… Вы тоже Оля. Как Вы прелестны в белом. И васильки, в руке колосья. Русская Церера. Очень идёт вам голубенькая перевязка, на самый лобик… Как Вы ю-ны! Почему так мало загорели?.. А правда, чудесно мы встретились… на самом перекрёстке двух просёлков, сговорились словно: вы в церковь, я в усадьбу. Рожь какая нынче высокая, густая, чуть ли не по плечо вам. А ну-ка станьте, милая вы Церера! Уж совсем полное цветенье, смотрите, пыльнички-то, совсем сухие, слышите, как шуршит?.. *Всё* знаю? Нет, не знаю! Сердца вот вашего не знаю. Или знаю? Нет, не знаю. А когда взглянете, нет, не так, а… да, вот так когда глядите… о, милая!.. Не буду.

А знаете ли вы, видали когда-нибудь, вдруг все хлеба, все, сразу… вдруг будто задымятся-вздрогнут… и дымный полог на всё поле?

Да, это редко видят. Народ-то знает… мне только раз случилось, видел святую тайну. Конечно, это тайна, святое, как всё вокруг, где хлеб. Что же говорю я вам, вы же сказали как-то, что всё святое, даже паутинки в поле. А помните, как вы про звёзды—«глубоко тонут и в прудочке»? Как же могу забыть такое. Это сердце сказало ваше.

Да, душно сегодня, а как пахнет! Какой-то пряный дух… как из печи дышит. Нет, вы попробуйте, рожь-то… совсем горячая! И вы разгорелись как, прямо пылают щёки. Чем смущаю? Что *так* смотрю? Не любите *такого* взгляда? То есть какого? Странная вы сегодня какая-то… не знаю. Ну, будто тревога в вас. Ну, будто в ожидании… счастья. Да, так всегда у женщин, когда предчувствуют… в глазах тревога. Ну вот, теперь прячете глаза… даже и слова смущают! Нисколько?.. Тогда не прячьтесь. Ну, милая, взгляните… и в глазах отражаются колосья! Зеленовато-серые они у вас, с голубизной… в них небо! И ласточки! Не закрывайтесь, ласточку я вижу, церковь, берёзы, небо… глубь какая, какая даль! Рожь высокая… о, святая!

С вами в церковь?! Вы хотите? Почему хотите, чтоб и я… Ну, хорошо, не говорите, а всё-таки сказали, глаза сказали, ласточки сказали, бровки, как ласточки! Не буду, чинно буду, Свете мой тихий… Клянусь вам, это не кощунство!

Но почему пылает ваша щека? И такая прозрачная в вас радость… неосознанного ожиданья? Влюблённости бездумной, безотчётной, до слёз в глазах. В радостно возносящем нетерпенье, без слов, без думки. Вся залитая счастьем. Креститесь жарко, страстно, не зная—за что благодарите, не помня—о чём взываете. Краешком глаза ловите шар-солнце, смутный, багряно-блёклый,—катит оно по ржам, на дали… «Благословенна ты в женах… благословен плод чрева твоего-о…»

Да с чего же шар-солнце замутилось? Тайна творится в полях; кто видел, знает: дрогнуло по хлебам вершинным, дохнуло мутью, куда ни глянь—благостно-плодоносное цветенье, великое, тайное рожденье. Трепетно смотрите, не постигая. Славите, слёзы в глазах сияют, в милых руках колосья, дрожат цветеньем, играет сердце—какой же радостью! Глядите, скорей глядите: славят хлеба, сияют, дышат, зачавшие, последним светом; солнце коснулось их, тронуло тёплой кровью—сизою пеленой закрылось.

Верезг стрижей смолкает, прохлада гуще, и—перезвон: «Слава Тебе, показавшему нам свет»—внятен, как никогда. И вы припадаете к земле, смиренно, примиренно—«Тебя славословим, Тебя благодарим…»

Вот наше творчество. Эту искру Вы во мне выбили, и она радостно обожгла меня, в сердце её примите, она согреет.

Разве без Вас мог бы я *это* дать?!»

Снова удивительное совпадение в восприятии друг друга.

«О, мой дорогой. Представьте, когда Вы писали «Свете тихий», я писала Вам: «Вы моё солнце. Вы напоили меня теплом и светом. И, как на солнце, я могу лишь издалека на Вас молиться. Я люблю Вас не только как писателя…»

«У меня здесь подруга есть, Фася, Фавста, русская, сама красота и доброта, детей нет, мы очень понимаем друг друга. Она взяла на воспитание девочку. И для меня это тоже одно из мучений, понимаете ли Вы меня?

Цветок Ваш, удивительно красивый, всё цветёт… Какой Вы чудный, нежный. Ненаглядный мой.

Я люблю Вас, родное, дорогое Ваше сердце люблю… Не говорите лишь про «годы»—как это не важно!»

«О, дорогая. Пойте же, пойте же и Вы, мой «Свете тихий». Вы любите меня через мои книги, я не смею надеяться на большее. Но подождите с приёмным ребёнком. Кто что знает!..»

«…Дай мне жизнь, дай мне моего… твоего Серёжечку!.. Целую всю тебя, о, как я люблю тебя всё крепче, всё сильней. День ото дня, час от часу… дивлюсь, можно же любить так! Такого ещё не знал в себе. Не бросай меня на полдороге, не покидай меня, родного самого,—не найдёшь родней, я самый близкий сердцу твоему, ты знаешь».

«Вы талантливы, не закапывайте в землю Ваш талант. Только талант оправдывает нашу жизнь и укрепляет в нас веру и надежду.

Целую Ваши глаза, молюсь на Вас—и обнимаю. Стыжусь, страшусь… дерзаю».

«Я грешен, я страстями грешен. Я столько мучил мою Олю своей работой, не мог отдаваться ей, уже очень больной, *весь*. А когда меня захватили «Пути Небесные» и моя юная героиня Дари, поверите ли, я на улицах Парижа видел московскую метель. И Оля терпела своё больное сердце, ждала, чтоб я не прерывал работу. Последнюю, 33-ю главу первого тома (теперь я скоро, очень скоро продолжу, обещаю Вам) я дописал… за две недели до её конца. А она только повторяла: „Милый, пиши…“»

Ивана Сергеевича всё ещё томят воспоминания об утрате жены, ему необходимо очистить душу,

оправдаться перед той, которая должна заменить прежнюю Олю:

«Не знаю, как другие, когда я начинаю вещь, я чую только «зёрнышко» едва различимое, и потом я всё равно как бы ничего не знаю и продираюсь сквозь незнаемое. И Оля это понимала и помогала мне пониманием. Если бы не убили нашего мальчика, она бы и ещё потерпела — она любила меня. Я плачу, Господи. Я пишу Вам одну только правду, я вообще не умею и не хочу уметь лгать…

Милая Оля! Если немножко любите… если увидите и по сердцу Вам я буду, будьте навечно моей женой, законной, брачной. Всё остальное устроится!

Если же Вас омрачило моё предложение, ни словом не упоминайте, и я не стану».

Он больше не в силах справиться со своим чувством, напоминает О. А. её же слова: «„…Как много нежности и… ах, такого чудесного в моей душе!“ Нет, я не обольщался, не смел поверить… Вы мило-детски-верно говорите! — это очень *честно*. Вот за это-то, детское-простое, от сердца, как *ничьё*, а только Ваше, я сверх-люблю Вас!.. это предел любви, граница страсти, качанье души-тела, крик беззвучный, бессловесный, — зов?.. Простите. Так все дни.

О, милая, простите, но я ничего не смею скрывать от Вас. Знаете, я так привык к Вам! Самовнушение? Ну, будто мы — *свои*… я Вам всё о себе скажу, тебе, моя бесценная… я так хотел всегда девочку, *свою*… когда у нас с Олей родилась мёртвая доченька, я шёл по Москве и плакал. И вот теперь ты, посланная мне молитвами моей Оли. Простите…»

«Ты мне вручена Господом, сохрани себя для нас, *троих*. Ты — поняла?.. Ольга, если бы ты была со мной… как бы мы гуляли по Парижу! Всё бы тебе показывал, тебя бы всем показывал… вечерами я усаживал бы тебя в кресло, и… у меня мутится голова — я бы тебе ножки целовал… Ты гениальна во всём, клянусь тебе — я знаю. Как хорошо, как чисто, как неизъяснимо… как — *никогда*!»

И потому жена Оля незримо с ним, возвращающимся к жизни, она тоже «была очень ласкова, чиста, стыдлива. В иных случаях она не позволяла, чтобы я был. Помню её роды Серёжечкой… И этот первый крик! И — первая грудь… О святое материнство! Как хочу это дать в Дари!..»

«…К тебе хочу, *Милый*! Целую, целую много, крепко, обнимаю, замираю в твоих объятиях. Остаться так до смерти! Молюсь за тебя!»

Всё чаще сбивается на «ты» и Шмелёв: «При живой Оле я не искал тебя — после мне нашла тебя — *она*. Так я верю. Больше не могу сказать».

И. С. постепенно привыкает к тому, что его услышали *Там*. Он пишет об «отошедшей», какое прекрасное было лицо заснувшей навсегда жены «под вуалью в белых лилиях».

«Оля тебя направила, *свела* нас вместе. Разве ты не видишь?»

И ещё: «Она была мне *дана*. Теперь ты мне даёшься. Чего боишься?»

Одновременно об этом же у Ольги Александровны: «Вы знаете, как странно, но даже Ваши близкие мне дороги. Как прекрасна, верно, была О. А. Но ведь Она и есть, и Вы это знаете! Она так же с Вами, как папа мой со мной. Знаете, всякий раз, когда нам предстоит пережить тяжёлое, Он, папочка, снится маме, как бы ободряя её. И мы всегда выскакиваем из беды. О. А., конечно, всегда хранит Вас…» И опять: «Вы должны мне поверить, что Вы очень, очень дороги мне».

Ивану Сергеевичу доставляет огромное удовольствие подчёркивать в её письмах дорогие признания:

«Мой милый, родной, прекрасный, непрерывно думаю о Вас, днём и ночью. Я то плачу, то смеюсь, и никому невозможно открыться, даже маме, которая наконец рядом, и я никуда её от себя не отпускаю, пока Сергей ищет работу в Арнхеме».

«Всё это время душа моя поёт в радости неописуемой. Пою, целыми днями пою. Я сама не знаю, отчего это такая сила, влекущая все движения души к Вам… Как хорошо было бы вдруг очутиться у Вас в Париже! Если бы Вы знали, как много я пережила сердцем, как себя не любила, как хуже, хуже всех себя считала. Я бесконечно боюсь ошибки, разочарования во мне у Вас… Писать красиво могу только Вам. Быть может, то Ваш гипноз, гипноз Вашего великого таланта?!.. Это всё Вы, который воскрешает ушедшее от нас. И видится Она, прекрасная, убогая, любимая превыше сил — в разливах рек весенних, в зное полдня, в кистях рябины ярких, в морозах жгучих крещенских… Вы меня вытолкнули к солнцу своим внутренним горением и солнцем. И это так чудесно».

И. С. подчёркивает эти слова и на полях оставляет свою помету: «Боже мой!»

Но по закону вечной драматургии жизни неумолимая действительность напомнила нашим адресатам о разгорающейся мировой войне оккупацией Гитлером Голландии и Франции, размещением оккупационных властей, постепенным исчезновением продовольственных и прочих товаров в магазинах, прекращением железнодорожного движения. Годовой перерыв почтовой связи — какие уж там пересылки подарков, если объявлен запрет нового хозяина Европы на почтовое и железнодорожное сообщение, — в их представлении означал вечность.

Едва возобновилось сообщение, — но теперь свастика на конвертах предупреждала о военной цензуре вермахта, — они осторожно обмениваются скупыми сведениями, не доверяя победным маршам по радио. Ольга Александровна в целях конспирации называет Россию «бабушкой», а Гитлера — хирургом-недоучкой. Иван Сергеевич считает главным в войне свержение большевизма: «Господи! — пишет Шмелёв своему другу Ильину, — увижу ли освобождённую Россию?!..» Увы, он надеется, что Европа вспомнила о своём «предательстве России» времён революции. «Ныне искупается грех мира… Поймут ли, что в главной сути гитлеризм — производное большевизма? И если сразит первый, должны покончить и со вторым. Иначе — не будет Правды».

Позже Правду России в этой страшной войне и Субботина, и Шмелёв увидят в том, что

большевизму-сталинизму не удастся присвоить себе заслугу Победы народной Правды России.

2. В Берлине

Ольга Субботина с мамой, братом Сергеем и отчимом—он теперь преподавал в русском университете в Берлине—как-то обустроились в стране, гостеприимно встречавшей в 20-е годы недавних врагов по Первой империалистической войне. Гостеприимство по-немецки означало выгодный обмен слабой послевоенной марки на царские рубли и беспрепятственную организацию русских газетных и книжных издательств. Это было лучше, чем недавнее «мешочничество мамы» в России. Но у Субботиных-Овчинниковых с деньгами и здесь было негусто, надо определяться с работой. Можно бы попробовать себя в качестве книжного художника-иллюстратора, она ведь неплохо рисует… Лучше бы маме не напоминать ей об этом!

В короткий период жизни в Москве и посещения художественной школы, совпавший с безумными революционными двадцатыми годами, склонная к рисованию Оля Субботина не приняла «вхутемасовских» новаций. Это стало вторым после потери отца жизненным потрясением её тонкой душевной организации. Здесь, как казалось Ольге, рисовали уродство и откровенно пренебрежительно отнеслись к её и без того робким начинаниям. Ей сочувствовал один преподаватель «из бывших», но и он не посмел её защитить.

Провинциально и убеждённо традиционная сущность Ольги была потрясена так глубоко, позорный свист за спиной, воображаемый ею, сбежавшей прямо во время работы с натурой, так травмировал юную душу, что о продолжении учёбы, работы в этом направлении не могло быть и речи.

Ольга окончила в Берлине медицинские курсы и устроилась в госпиталь, в лабораторию. Она любила порядок, чистоту, ответственность не меньше немецких коллег, бурно и глубоко переживала любую мелочь в отношениях с сотрудниками, что-то рассказывала матери, но особого ничего не случалось, чего ждёт каждая девушка. Ходила в православный храм, молила Бога «помянуть душу усопшего раба Александра», отца своего, и это было безотчётное моление о том, чтобы встретить в жизни подобного человека, представлявшегося ей идеалом мужчины.

Но на её пути оказывалась врачебная братия, прагматичная и циничная, и прочая шушера вместо мужчин: душевно больные, нестойкие, ненадёжные… Все они, как оказалось, не могли ничего значить для Ольги, но вызвали позднее целые следствия ревности со стороны Ивана Сергеевича. Его пристального внимания стоил только Джордж Фрост Кеннан, будущий дипломат. Ему-то как раз И. С., при всей его чуткости, не скоро придаст нужное значение. Впрочем, так старалась внушить себе, а позже Ивану Сергеевичу сама Ольга.

Однажды в её жизни появится этот американец, его приведёт в дом отчим, знакомя интересующегося всем русским иностранца, вежливого, льстиво-восторженного, чего не заметить простодушным. Он исчезнет почти так же неожиданно, как и появился, успев произвести на Ольгу сильное впечатление. Она будет многие годы прислушиваться к этому имени по приёмнику, делать вырезки из газет. В последний раз имя дипломата Джорджа Кеннана возникнет в связи с планами Шмелёва уехать в Америку, уже после войны, и так же, как в Берлине начала тридцатых годов, Д. Кеннан не оправдает её надежд.

Но годы шли, торя путь размышлениям и осознанному бытию. Ольга Александровна вместе с братом, как и вся русская берлинская молодёжь, посещала лекции и беседы Ивана Александровича Ильина, горделиво числила себя его духовной ученицей, жадно ловила литературные новости, сосредоточившиеся к этому времени в Париже, разделяя вместе с Иваном Александровичем любовь к рассказам и повестям Шмелёва, в которых продолжала жить Россия, свято хранимая ими в своём сердце.

Приезд известного, горячо всеми любимого писателя в Берлин, торжественный чай после его выступления были пронизаны ностальгией, экзальтацией самого высокого напряжения. Ольга Александровна сидела на скамье в двух шагах от Ивана Сергеевича, она хорошо видела его, худого, измождённого страданиями и трудами, слышала его голос, завораживающий—это было общеизвестно—слушателей своей духоподъёмностью. Он был похож—на героя её девичьих грёз… воплощение качеств её отца.

Вечером Шмелёв уехал из Берлина в Париж. Она не решилась подойти к нему.

Жизнь потекла своим чередом, в работе и посещениях церкви.

Ещё раньше, причащаясь с маленькой племянницей—это давало основание предполагать, что она замужем, она отметила присутствие в храме незнакомца. Именно так это было воспринято человеком, чей пристальный взгляд она почувствовала на себе. Ольга что-то решила для себя. Хорошее лицо, скромный облик, робость и замкнутость. Предстояло рассеять сомнения незнакомца относительно маленькой родственницы.

После нескольких обменов взглядами, почти «случайных» столкновений—если вы завершаете третий десяток жизни, вам вряд ли пристала беззаботность,—затеплилось общение. Молодой человек оказался голландцем Арнольдом Бредиусом, из старинной, известной у себя на родине фамилии, волею провидения нашедшим себя в православии, к чему у него в семье отнеслись с пониманием, причины которого позже поймёт и Ольга.

События развивались бы более гладко и стремительно, если бы не комплексы с той и другой стороны. Не надеясь на взаимность, Арнольд на некоторое время исчезает из Берлина. Потом появляется в храме снова. Теперь, несколько наученная горьким опытом потерь, Ольга вдохновляет его, даёт понять, что он ей небезразличен и даже более того. Знакомит с братом Серёжей, потом с мамой. Находит общих знакомых с сестрой молодого человека Элизабет. Арнольд делает предложение,

его просят дать немного времени на размышление, но готовы познакомиться с его семьёй.

Так начинает разгораться огонёк надежды на более счастливую участь у того и у другой. Арнольд много страдал, его ужасная тайна связана с его протестантским духовником и преподавателем музыки, которому неопытный подросток доверился, как отцу. История была замята благодаря связям семьи, прелат был подвергнут изгнанию из Голландии. Об этой истории когда-то что-то проскользнуло и в берлинской прессе, некоторое время обсуждалось в добропорядочных протестантских кругах, но потом забылось, как забывается всё на свете.

Но только не Арнольдом — ему для душевного возрождения понадобились годы, и вот теперь замерцала надежда на полное исцеление благодаря Ольге, самоотверженно кинувшейся на помощь.

После обмена визитами Арнольд познакомил поближе Ольгу с сестрой Бетти, которая была замужем за русским офицером. Во времена первой русской эмиграции было престижно — или модно, трудно теперь сказать, — жениться и выходить замуж за русских, так велико было уважение ко всему русскому.

Ольга ездила в Гаагу с братом Сергеем.

Начались хлопоты, связанные с предстоящей свадьбой, — время самое замечательное в жизни всех невест и женихов. Вежливость, чуткость Ара, как она его сразу стала называть, его уступчивость, немелочность, особенно уважение к ней пленили её гордое израненное сердце, вынужденное один на один выйти на поединок с жизнью в Европе.

Бредиусы — большой клан родственников — довольно спокойно приняли правила, предложенные молодой русской: её ортодоксальную набожность, сопровождающее её любое движение достоинство, умение сохранять некоторую дистанцию, что даже импонировало их собственной замкнутости. Только сёстры — вторая, художник, жила с мужем в Америке — исподтишка ждали случая поставить на место эту гордячку русскую. Однако затруднительно затевать склоки, живя каждый своим домом. Приличия будут соблюдаться, хотя и не всегда успешно.

После венчания в русском соборе в Берлине (кажется, если взять во внимание маленькую оговорку где-то в письмах, ещё и в протестантской церкви) молодым предстояло, после небольшого свадебного вояжа, жить в Голландии. Сразу из храма уехали домой младший брат Корнелиус (Кес) и сестра Элизабет, а новобрачные — вечерним поездом Берлин — Гаага.

Мама Александра Александровна и Сергей ещё долго стояли на опустевшем перроне со смешанным чувством тревоги и облегчения.

Оля последнее время была так напряжена, так неровна: то она ходила, как «агнец, приготовленный к закланию», как говаривал отчим — он был уже очень болен и вскоре умрёт, — то становилась не в меру весёлая. Понять её было невозможно, спросить — тем более. И вот она уехала, заверив маму и брата, что выхлопочет им вызов в Нидерланды. С тех пор как победили национал-социалисты, уезжали все русские, и не только русские, кто как мог.

Они почувствовали чей-то взгляд — мимо них не торопясь прошли двое военных в коричневой форме, поскрипывая свежей кожей портупеи. Значит, уходи от греха.

Да, вот и вышла Оленька замуж. Бредиусы, отец и брат, производили самое благоприятное впечатление своей воспитанностью, ровностью, но кто знает, как оно окажется на деле. Ах, Оля, Оля, в какое время приходится жить, и кто бы мог подумать, куда занесёт судьба, и чтобы девушка взяла на себя ответственность за всю семью, и только на неё и могла быть теперь надежда — Сергею работы здесь не достать. Войной пахнет атмосфера Берлина. Александра Александровна только молча переживала всё случившееся на её веку.

В двухместном купе, обитом тёмно-вишнёвым бархатом, с плотно закрытой дверью, после короткого общения с кондуктором Ольге наконец вздохнулось свободнее. Тихо покачивались чуть провисшая сетка и защитный тёмно-вишнёвый полог, чтобы не упасть во время сна, обитый бархатом того же цвета, что и скамья напротив. Мягко горел ночничок — Ольга не выносила яркого света. За окном, плотно задёрнутым, едва скрылись из глаз мама и Серёжа, остались, должно быть, далеко позади окраины Берлина. Наконец-то! Наконец-то она может, не помня себя от радости, вскричать, как в фильме «Багдадский вор», шедшем в немецких синема, кричит выпущенный из бутылки джинн: «Free! Free!» Вот она, свобода!

Разместив чемоданы, Олин и свой, Арнольд вопросительно взглянул на жену: они ложатся? Или заказать ужин? Или надо выйти, ненадолго оставить жену одну?

Разумеется, выйти. И он вышел, испытывая не покидающее его спокойное удовлетворение всем происшедшим с ним так легко и быстро, как он и не представлял. Не предполагал, что так просто и сердечно всё произойдёт с женитьбой: естественно и сердечно, как только и возможно у этих открытых русских. И сестра Бетти не жалеет, что вышла замуж за русского: говорит, наши голландские мужчины не бывают такими открытыми и добродушными.

Ольга, оставшись одна, кивнула своим мыслям: да, она всегда будет руководить мужем. Он слишком деликатен для этой жизни. Эта его семья… нечуткие они, особенно сестрица. Их надо будет сразу поставить на место. Они так привыкли командовать Арнольдом. Она напомнит им, и брату Кесу, и сёстрам, что Арнольд по праву старшего из детей…

Увидела себя в зеркале над постелью напротив, поправила причёску, уложенную накануне свадьбы у знакомого мастера. Вынула из сумочки пудреницу, внимательно осмотрела лицо, привычно проконтролировала: подпудрить нос? Ну да, немаленький, даже очень длинный, но, как говорила баба Таня в рыбинском их доме, на каждую хрюшу найдётся, ну, понятно кто. Зато у неё красивый лоб и глаза необычно посаженные. Узкое лицо.

Немного бледновато. Но зачем же румяна, как не для лёгкого румянца на щеках? А её ручки и стройные ножки… нет, она не собирается вспоминать, сколько комплиментов слышала от своих поклонников,—они были её недостойны.

Неслучайно она встретила будущего мужа в церкви. Она молила Бога послать ей его. Она сразу, как встретилась с ним глазами, поняла: это её судьба. Неизвестно, когда бы он решился подойти, если б не её изобретательность. И если б не Иван Александрович, которого она попросила присутствовать при встрече с отцом Арнольда. И как Ар был счастлив, когда она его впервые поцеловала.

Ей стало покойно от сознания своей прежде не испытанной власти над мужчиной. Арнольд любит её, так никто прежде не относился к ней, ни в чьих глазах не читала она это уважительное повиновение. И без пошлости, без наглых рук! О Господи Боже! Да что мужчины знают о девичьем сердце! Как же трудно встретить своего человека. Сколько пошлости хлебнёшь, сколько грязи на тебя налепят и сплетнями обернут, как куклу тряпками. Кажется, не встреть она такого, как Ар, она бы не выдержала нового разочарования. В тридцать лет нельзя ошибаться—это поражение…

Осторожно заглянул муж: можно? Ну конечно, можно. Сейчас наконец время спокойно всё расставить по своим местам. Здесь они совершенно одни, никто не помешает разговору по душам. Она показала мужу глазами место напротив—так можно смотреть друг другу прямо глаза в глаза.

— Ар, я всё знала прежде, чем ты мог об этом догадываться. Нашлись «добрые» люди… как это будет по-голландски?—«просветили», по-немецки это klatschen, то есть сплетничать, в вашем языке что-то похожее?.. Прекрасно, я способна к языкам, я давно обнаружила, что далёкие предки у вас с немцами общие… Не в этом дело, а вот что меня ничьи досужие сплетни не могли бы остановить. У меня обо всём собственное мнение… Ар, милый, не надо так переживать, ведь мы же теперь родные люди, мы роднее родственников по крови.

У Арнольда лицо всё равно оставалось замкнутым, подавленным. Ах, он не понял её. Она испугалась, кинулась гладить его лицо, целовать.

— Вот увидишь, всё будет хорошо. Я прежде всего хочу быть тебе родной, родней сестёр. Разве это не прекрасно—быть как сестра и брат? Ближе любых других вокруг нас? Нам некуда торопиться…

Арнольд наконец благодарно улыбнулся. Сколько такта в его избраннице!

Ей правда было хорошо от сознания своего благородного намерения стать другом, незаменимой доброй подругой своему мужу. Сколько понадобится сил и душевной щедрости, Ольга тогда не предполагала. Долго и старательно—может быть, всю жизнь,—она будет отодвигать честный разговор с собой.

Предоставленные самим себе в отданном им Бюннике, Ольга и Арнольд вплотную приблизились к узнаванию друг друга. Ольга наконец вполне вкусила сладость независимости и безоговорочного преклонения со стороны мужа, в те времена увлечённого русской музыкой, русской живописью и литературой, а значит, и женой, наследницей духовных богатств своего народа. Материальный достаток—может, и не такой уж «не самый главный»,—Ольге тоже был предоставлен мужем.

Странно только, что этого очень скоро стало казаться недостаточным для спокойной уверенности, что она получила именно то, что хотела, и хотела именно того, к чему стремилась, выходя замуж.

Но мама и брат, ещё оставшиеся в Берлине, могли быть уверены, что Оле удастся выхлопотать для них разрешение переехать из милитаризирующейся гитлеровской Германии в пока ещё спокойную Голландию. Хорошо зная свою дочь, мама старалась в письмах поддерживать в ней умиротворённость.

Словом, Ольга Александровна, если верить её письмам,—пусть мама не беспокоится,—будет всегда считать свой брак удачным, если не счастливым. Главное, исполненным самых благородных намерений принести добро близким—маме с братом и избраннику.

В 1939 году Александра Александровна послала в подарок ко дню ангела дочери—9 июня, в день памяти равноапостольной Ольги,—новую книгу рассказов И. С. Шмелёва—разумеется, на русском языке, особенно желанном для них в море романо-германских наречий. Легко владея ими, Ольга Александровна всё отдала бы, чтобы слышать вокруг себя только родную речь.

Тоска, недовольство всё чаще и откровеннее прочитывались матерью в письмах Ольги. Дочь писала, что Арнольду как старшему сыну не оказывают должного уважения, не понимают его, тонкого, начитанного человека, опростившегося до деревенского мужика, и только она одна разделяет с ним любовь к сельской жизни, вникает в хозяйство, обожает всякую живность, всякий росток. И очень устаёт. Если хотя бы не коварные родственники, сестра Бетти, младший брат Корнелиус, прикинувшийся хорошим, чутким…

И нельзя было спросить дочку, такое ли уж всё это имеет важное значение, когда любишь и любящий муж отвечает взаимностью. Впрочем, вопросы часто не разрешаются матерям, и такие матери, как Александра Александровна, не задают таких вопросов. Но Оля неизменно успокаивает её: значит, так надо.

Позже Ивану Сергеевичу она напишет о замужестве подробно, но не сразу и не всё.

«Я не с отчаяния, не с обиды, не в порыве и не назло ушла к нерусскому. В этом нерусском я нашла тогда больше, чем в окружающих меня своих. Я подходила к людям, нося в себе идеал, м.б., образ моего отца. Искала нечто определённое. В тех своих, кого я встречала, было всё так мелко… Молодёжь в эмиграции меня поразила своим духовным уродством. А мужчины, как будто соскочившие со стержня, не представляли уже больше того, что делает мужчину ценным. Дух они вообще всякий в себе гасили. Были, верно, и другие, но мне Бог не привёл встретить. Я много перенесла неправды, горя. Прошу тебя, спроси у моего посажённого отца Ивана Александровича Ильина!—я осталась очень русской!

В муже я нашла человека, близкого по духу. В нём нет совсем той грубой силы, которую я так не люблю в мужчинах. Он верующий по-нашему. Россию любит и знает.

И другое — он в чём-то дитя, с большим надломом в жизни. Меня И. А. (Ильин) предупреждал, что трудно мне будет. Но я взялась. И перед алтарём (и нашим тоже!) сказала «да». Страстный он любитель книг, скупает за безумные деньги, и, неразрезанные, стоят они в шкафу. Это любовницы его неласканные. У него воскресенье, понедельник, будни, Рождество, Пасха — всё одно, один день долга.

Дитя он, беспомощный ребёнок. Всем верит. Ему бы кабинетным человеком, профессором быть, а не с жульём-мужиками дело иметь…

Теперь с тобой, любя тебя, я предоставила всё теченью. Я скажу тебе больше: за всё на себя взяла бы ответ, даже за грех, за всякое решенье, которое не убило бы, не искалечило бы другую жизнь. Будь ты здесь, я доказала бы тебе это! Ну, приезжай! Я дам тебе всю нежность. Я ни у кого не отнимаю, ибо никто на это и не посягает…»

Это был её ответ на упрёк, что она выбрала «чужое». Здесь каждое слово взвешено Ольгой Александровной и требует разъяснений. Но получается ли от этого яснее картина? Важные детали выявляются не сразу. Вот очередные.

«Как я ушла к чужому? Я, кажется, писала тебе (или порвала?) о его потрясении в детстве. По воле родителя — кальвинизм ужасно тут проявлен — Ара (он старший) отдали учиться музыке (орган!) — он был и музыкален, и мечтателен, и религиозен. С восторгом принял это учение и… Может быть, ты слышал о скандале в Голландии, об одном известном органисте homosexual-е? Об этом мой отчим ещё в России слышал. Его тогда выслали из Голландии. Уехал в Вену, оттуда, тоже со скандалом, в Америку…

Ару было лет 9–10. Мальчишка бился, кусался, до истерики, до исступленья. На его глазах учитель проделывал гадости со старшими, которые тоже отбивались, били стульями «патрона»… Мне только один раз муж сказал: «Отвратительная глыба мяса, периной на меня рухнула и всё душила…» Так продолжалось около двух лет, пока не раскрылось другими. Ар, по приказу отца, всё равно обязан был стать пастором. Он изучил все религии, был в Лондоне, Париже, Берлине. Учась, он понял, что кальвинизм — не Церковь, просто *ничто*. Всецело он был взят Православием».

Как познакомились?

Далее следует рассказ о том, как он был в Берлине, видел Ольгу в церкви, была она с крестницей своей, он решил, что замужем… У Ольги после её любви — её горя — оставались Господь и молитва: она рыдала «не помня себя». И вдруг почувствовала чей-то взгляд… Узнав у старосты храма её адрес, он представился отчиму Александру Александровичу Овчинникову.

Он был у своего доктора. Ему ничего не пришлось объяснять: что всё прошло, что любовь — счастье, что… Доктор ему на пороге уже крикнул «Вы любите? Вы здоровы!»

«А я? Я им была от смерти отогрета. Меня он чутко понял. Ждал терпеливо годы, пока забуду. Он полюбил даже того… ушедшего… Странно?! Впервые целовал и молился на ту, которую целовал. Всю израненную, он меня успокоил. Я стала ему дорога… и всё же слишком… *мама*. Я мамой и осталась. Так всё время. Берегу его, помогаю бороться с жизнью. Отца переупрямить. За все его «аллюры» Ар прослыл в роду чудаком. Его вера, ученье, женитьба — разве не чудачество? На бедной? Русской? Кто такие русские? Казаки? Свечки жрут, руками мясо держат? *Православие*? А что это такое?

Я отказала! Гордо! Отказала, когда мы были уже обручены. Когда потеряла уже место в клинике. Умер отчим, брат Серёжа лежал при смерти, чудо спасло его. Это был сент. — окт. 1936 года, когда ты был в Берлине! Муж поругался с отцом, уехал и заявил, что будет сельским хозяином, а что с пастором его бы оставили в покое. Я ему это советовала. Я тогда уже вела его. И правильно вела. Мне и доктор его, и И. А. сказали это.

Я выпрямила ему волю, давала слова для отца, поддерживала его.

Любила ли его? Да, любила, но не так, как тебя… Мама… Няня… Я не могла ему вся, всей душой отдаться, без оглядки, как это — ему? И я всё время помнила, что надо ему помочь и быть начеку».

Итог: «Он дитя до жути. Уйти к другому невозможно. Не даст он согласия на развод. У нас же был с ним разговор об этом: „Нет, этого никогда не будет!“»

Итак, Ольге Александровне приходилось и приходится сверять свои действия с состоянием мужа. Она взяла на себя определённые обязанности: не волновать, не травмировать мужа. Уж не говоря об определённой недосказанности, позволяющей трактовать их отношения по-разному.

Нетрудно догадаться, как будет склонен понимать «травму Ара» И. С.: как мужчина, он почувствует определённое облегчение. Но надолго ли?

И поможет ли им обдумываемая Ольгой встреча в Арнхеме, где работает брат Сергей? «Я бы уехала на отдых. Муж объявил, что ему некогда, что я могу отдыхать одна, сколько хочу…» — О. А. уже обдумывает момент времени.

И конечно, И. С. не мог не обратить внимания, что до встречи с будущим мужем у О. А. была её «любовь, её горе» и что муж даже «полюбил того… ушедшего». Полюбил ушедшего? Это как понимать? Каждый может понимать в меру отпущенных ему возможностей.

Так было положено начало неизбежному обращению в личное прошлое их обоих, о чём И. С. очень скоро пожалеет и что доставит ему много боли и мало понимания.

А пока что И. С. полон добрых живительных чувств и надежд. Некоторые размолвки они преодолевают во время многословных объяснений.

В день святой Ольги поздравление живой и посещение «отошедшей» на русском кладбище в де-Буа сливаются в сознании Ивана Сергеевича: «…Был на могилке. Много цветов, берёза-то как раскинулась — крест обняла, могилку — снуют

муравьи по ней. Высокий восьмиконечный дубовый крест, с накрытием, как на Вашем родимом Севере, в Угличе где-нибудь, в Ростове — бывал я там. Лампадка в фонарике-часовне, образок Богоматери, литой, старинный, горькое написание словами Остромира. Солнце, ветерок задувает свечки, „вечная память“».

Его застаёт на кладбище время теперь уже каждодневной «переклички» в 11 часов вечера с нововявленной О. А.: «Я *слышу*, и мне легко».

Александр Лейфер

«Мой триумфальный день настанет…»

Под таким заголовком Омская государственная научная библиотека имени А. С. Пушкина выпустила биобиблиографический указатель литературы, посвящённый поэту *Аркадию Кутилову* (1940–1985), чьё 70-летие было отмечено в этом году (составитель Е. И. Каткова). Материалы указателя охватывают период с 1965-го по нынешний, юбилейный год. Открывается указатель следующим предисловием.

Вы когда-нибудь наблюдали, как прорастают сквозь асфальт грибы? Происходит это не вдруг, а постепенно. Вначале на тротуаре появляется едва заметный бугорок. Потом он становится выше, шире. Потом асфальтовая поверхность трескается, и изнутри появляются неостановимо рвущиеся наружу, казалось бы, хрупкие, но, тем не менее, мощные в своём стремлении к воздуху и свету дети матери-грибницы.

Этот образ возникает, когда читаешь библиографический указатель, подготовленный Омской областной научной библиотекой имени А. С. Пушкина к 70-летию поэта Аркадия Кутилова (1940–1985).

При жизни он смог опубликовать лишь несколько подборок своих стихов в газетах. Признание, как это, увы, уже не раз бывало в отечественной литературе, начало приходить уже после его безвременной и до сих пор необъяснённой гибели.

Постепенно, с немалыми трудностями, его литературное наследие проявляется перед изумлённым читателем: выходят книги, стихи то и дело включаются в коллективные сборники, печатаются в журналах — порой самых разных направлений (например, в «Нашем современнике» и в «Арионе»). Об А. Кутилове снято три документальных фильма — в Новосибирске, Омске и Москве. Работают два его музея — на родине, в селе Бражниково Колосовского района Омской области, и в омской школе № 95.

Изучаешь указатель и видишь, что о нашем незаурядном земляке теперь уже пишут не только журналисты, чаще всего делающие упор на «экзотические» подробности его жуткой биографии (бомжевание, эпатажное поведение, психушка, алкоголизм, зона), но и такие серьёзные литературоведы и критики, как В. Баевский (Смоленск), В. Яранцев (Новосибирск), Ю. Беликов (Пермь), В. Курбатов (Псков).

Его не устаёт пропагандировать Евгений Евтушенко, в конце жизни не раз упоминал в своих интервью Виктор Астафьев. Поэзия А. Кутилова становится предметом исследования учёных-филологов — например, омичек М. Безденежных и О. Вашутиной.

Но, пожалуй, чаще всего встречается в указателе имя Геннадия Великосельского (1947–2008) — близкого друга, первого биографа и многолетнего настойчивого популяризатора всего созданного А. Кутиловым. Г. Великосельский, в частности, имел отношение к выходу шести посмертных книг поэта, подготовил к первой публикации немало его произведений — не только стихов, но и прозы, рисунков, сам написал ряд статей, организовывал выставки и вечера, а главное — «зажёг» своим неравнодушным отношением к наследию и к самой личности поэта многих других людей (в том числе и автора этих строк).

Не отношу себя к близким друзьям Аркадия. В конце 1960-х — начале 1970-х годов мы встречались на собраниях областного литобъединения, работавшего при Омской писательской организации. В 1975 году, когда он длительное время лежал в туберкулёзной больнице, я довольно часто навещал его там. Выйдя из больницы, поэт иногда приходил ко мне на работу — в редакцию газеты «Молодой сибиряк», где тогда трудились и другие его знакомые — В. Чекмарёв, А. Билиевский, М. Мудрик, Т. Хиневич. Лишь однажды, летом 1979 года, он побывал в гостях у меня дома. Остальные встречи носили случайный, «уличный» характер.

Предстоит ещё немало сделать для того, чтобы наследие Аркадия Кутилова стало по-настоящему доступно широкому читателю. Нужно вывести его из узких рамок «областного» поэта — издать его книгу в столице и распространить её в крупнейших городах европейской части страны. Необходимо собрать воедино воспоминания о нём. Составить выверенную биографию (пока в ней немало «белых пятен» и легенд). Следует также литературоведчески осмыслить и по-настоящему понять секрет его творчества. Всему этому и будет теперь во многом способствовать данный указатель.

Николай Рачков

Зажги в себе свечу

Время вышло к тому, что на сердце всё злей
То одна, то другая насечка.
Я поеду в деревню. В деревне теплей.
Где родительский дом, там и печка.

Вот он, старый мой дом. Вот знакомый порог.
Вот свернулась на стуле косынка.
«Это ты ли вернулся, мой младший сынок,
Мой болезный,
моя сиротинка?..»

Вечерний разговор

— Бабуля, здоровье-то как, ничего?
— Болят все суставы, все жилки.
— А где твой старик? Помню бравым его…
— В могилке, родимый, в могилке.

— Война виновата, конечно, война.
А дети, а внуки-то где же?
Поди, навещают? Совсем ведь одна.
— Всё реже, родимый, всё реже.

— Косила и жала, плела кружева,
А суп-то варила с крапивой.
Несчастной, несчастной ты жизнь прожила.
— Счастливой, родимый, счастливой.

— Бабуля, ты слышишь — гремят соловьи
Во мраке цветущего сада?
Ах, сбросить бы годы, — живи и живи!..
— Не надо, родимый, не надо.

А Россия была и будет

Свысока её недруг судит,
Предъявляя смертельный счёт.
А Россия была и будет,
А Россия не пропадёт.

Заведут в глухое болото
И укажут ей ложный брод.
Там погибла целая рота,
А Россия не пропадёт.

Хороша! — и берут завидки.
Через чёрный нагрянут ход,
Оберут Россию до нитки.
А Россия не пропадёт.

Мир, как бомба, во зле взорвётся,
Будет всем в аду горячо.
А Россия сама спасётся
И врагу подставит плечо.

Последний кулик

Позабросив стихи и гармошку,
В отцветающем грустном селе
Вот опять я копаю картошку,
Чтобы выжить на этой земле.

На земле, где мои коростели
Отзвенели в покосах вчера,
Где такие сегодня метели
И такие шальные ветра.

Где рыдает родная долина,
Осыпается роща во сне…
Нет покоя теперь, всё едино,
Ни в душе, ни в дому, ни в стране.

Здесь помрёшь в безысходной простуде,
Упадёшь средь картофельных гряд.
Здесь какие-то хмурые люди
Много умных речей говорят.

Сколько их, волевых, непохожих,
За удачею вдаль унесло.
Хорошо-то как, Господи Боже, —
Сытно там, и тепло, и светло!

Я копаю картошку и внемлю
Только ветру, чей яростен крик.
Я продрог… Но люблю эту землю,
Как болото последний кулик.

Не разнимая рук

Лиде

Пусть ветер бьёт порывами
И замерзает луг.
Под золотыми ивами
Ещё тепло, мой друг.

Под полосой закатною
Преобразился вмиг
Твой светлый, неразгаданный,
Иконописный лик.

Со всей сердечной силою
Хочу сказать одно:
Ещё не поздно, милая,
Ещё не так темно.

Ещё чуть-чуть счастливыми,
Не помня слёз и мук,
Мы постоим под ивами,
Не разнимая рук.

Пёрышко с небес,
а может — слово.
Если умный, —
глянь да раскуси.
Сколько голубого-голубого,
Сколько золотого на Руси!

Сколько выгребали, вывозили,
Сколько вырубали — не сочтёшь.
Ну а васильки всё так же сини,
Глаз не отведёшь —
какая рожь.

И в лесу, и в поле
столько мёда —
Захмелеет на ветру любой.
Свет какой!
Да это у народа
Светится душа сама собой.

И хулят, и хают,
только снова
Лезут к нам… О Господи, спаси.
Сколько голубого-голубого,
Сколько золотого на Руси!

Зажги в себе свечу

Когда темно, и ложь кругом,
И нет пути лучу,
Не надо думать о плохом —
Зажги в себе свечу.

И многое пойдёт на лад
И станет по плечу.
И всяк тебе и всюду рад —
Зажги в себе свечу.

А миру свет необходим,
Как воздух трубачу.
Пока ты светел, ты любим, —
Зажги в себе свечу.

И кто-то пусть воззвал к тебе:
За мной! Озолочу!
Спокойно улыбнись судьбе —
Зажги в себе свечу.

И в небесах гремят грома,
И я одно шепчу:
Бог — это свет.
Да сгинет тьма!
Зажги в себе свечу.

Печь не топлена.
В инее стены давно.
А на стёклах зальдели берёзы.
«Это ты ли сынок?..»
И рванул я окно —
Вымерзайте, последние слёзы!

Притча

Может, это придумка — не боле.
Вышла древняя бабка на свет
И взглянула на русское поле:
Что такое? А полюшка нет.

Удивилась. И слабую свечку
Подняла чуть не к самой звезде.
Посмотрела на синюю речку:
Что такое? А реченька где?

Бабка вышла, конечно, из Леты.
Если хочешь, возьми и проверь.
Оглянулась: ах, батюшки-светы,
Тут погост был. И где он теперь?

Кобылицами ржут магнитолы,
Всюду моники вместо марусь.
Это что же — неужто монголы
Возвернулись с Мамаем на Русь?

Где же ты, молодецкая сила?
Но ни песен родных, ни знамён.
…И плиту над собой затворила —
До иных,
до победных времён.

Чаша

В надзвёздном царственном эфире,
Где дух на троне, а не плоть,
Один, один безгрешный в мире
Всемилостивый наш Господь.

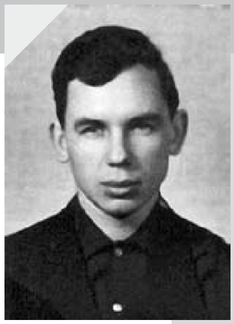
В руках, как дивное сказанье,
Наполненная по края,
Сияет чаша со слезами,
И это Родина моя.

Все мы — летящие в пламени
Листья над стылым ручьём…
Милые, вечные, дальние,
Я не прошу ни о чём.

Испепеляются грамоты,
Плавятся камни в огне.
Если вы мною помянуты —
Значит, вы живы во мне.

Ветер холодный забвения
Да не касается вас.
…Мыслей упорных биение,
Чувств неизбывный запас —

Всё это вы передали мне,
Встав навсегда за плечом.
Милые, вечные, дальние,
Я не прошу ни о чём…



Олег Хмара

Свидетель братства

Вдвоём у моря, в Коктебеле,
в зелёном шорохе стрекоз…
Мы в сентябре—но мы в апреле:
не надо слёз, не надо слёз.

И моря шум, и моря грохот,
и моря сумеречный яд
пускай доносят смех и хохот
тобой развенчанных наяд.

И, нацепив свои наряды
и брови вычертив дугой,
пускай узнают те наяды,
что я другой, что я другой.

Пускай увидит это море,
всепобеждающе трубя,
что мне дано другое горе—
любить тебя, любить тебя.

Паганини

I.

Судите меня строго иль не строго,
но вижу я: тот самый музыкант
и жив, и вознесён до полубога,
и духовенством проклят за талант.

Вот он творит—растрачивает чувства
бог музыки и скрипки чародей.
Влечёт его высокое искусство,
влечёт—и никаких гвоздей!

Чтобы потом за звуки преисподней
тугим смычком и взглядом колдуна
просить у парикмахеров и сводней
простить себя сполна.

Чтобы потом, как будто из Вселенной,
с хорала гор, с адажио полей
врываться виртуозной кантиленой
в потоки площадей.

Чтобы потом, уже в пути, в карете,
почувствовать труда солёный пот.
Но снова, вопреки всему на свете,
взойти на сцену, как на эшафот.

Его пример—высокая наука
сжигать себя, ни грамма не тая.
И говорить открытым нервом звука
о тайнах смерти тайнам бытия.

Его судьба—законное юродство:
во имя этой страшной высоты
казнить себя. И сказочным уродством
преподавать уроки красоты.

II.

Таким его боготворил Россини.
Но слава высока и глубока—
таким его в заснеженной России
Конёнков изваяет на века.

Таким и мне он нужен до зарезу.
О карбонарий, не роняй слезу.
Играй каприччио, пой «Марсельезу»,
прославленная «дель Джезу».

И пусть шипят церковники: «Крамола».
Судачат пусть: «Сам сатана в стране».
Звучи призывней, песня «Карманьола»,
на четырёх и на одной струне.

Звучи смелей—ведь не было в помине
ни сатаны, ни сатанинских сил.
Играй, играй, Никколо Паганини,
на струнах из воловьих жил.

Лети, освобождённая тональность,
над нимбом усыпальниц и гробниц.
О Генуи, дарите гениальность,
о Ниццы, становитесь ниц!

…А вы, церковники, шипите и судачьте
о том, как умер он, о том, как жил.
Да, умер он—о, плачьте, люди, плачьте!
Плачь, бледнолицый юноша Ахилл!

III.

А было так: кровать больного. Кресло.
И скрипка. И рука на ней.
И у кровати около маэстро—
Ахилл, белее белых простыней.

Потом из кухни—смех и запах перца.
Потом—по струнам палец, как смычок.
И как щелчок оборванного сердца—
оборванной струны щелчок.

Потом (о ужас!) мёртвая улыбка,
застывшая у сомкнутого рта.
И Он. И искалеченная скрипка—
маэстро ахиллесова пята.

Пока ещё горит—не угасает день.
Пока ещё светло—и небеса беззвёздны.
И на души людей ещё не пала тень,
и лица их наглы, и очи их бесслёзны.

Но скоро из-за стен Московского Кремля
взойдёт луна призывом к очищенью,
поскольку не стоит—вращается Земля,
и мы причастны к этому вращенью.

Имеющий наглость судить меня строго
за то, что крамольные вирши пишу,
возрадуйся, ибо уже не дышу,
уже мне другая открылась дорога.

Вдоль этой дороги — могильная жуть.
Вдоль этой дороги не слышно приветов.
Лишь тени давно убиенных поэтов
стоят и перстом указуют мне путь.

И я прохожу. И последним встаю.
Шеренга длинна, но длиннее дорога…
Я рад, я доволен решением Бога:
я ростом не в них, но я с ними в строю.

…А ты, мой коритель, в статейке газетной
теперь пропечатай, довольный собой,
про тот папиросный, про тот сигаретный,
про водочный тот непутёвый разбой.

А ты, мой хулитель, смотри на червонцы,
раскладывай их вперемешку и в ряд.
Тебя потихоньку закупят японцы.
Китайцы тебя постепенно съедят.

У картины Иванова «Явление Христа народу»

Что вера — Бог на небеси,
добро и зло земле несущий?
иль дьявол (Господи еси),
всевидящий и вездесущий?

А может быть, какой-то бред
или какая-то химера —
Бытующая столько лет
людьми придуманная вера?

Никто не знает, что она, —
ни надзиратель, ни острожник.
Перед судьбою полотна
об этом знает лишь художник.

Нарисовал художник холст
рискованно и дерзновенно.
И этот холст — как будто мост,
людей связующий мгновенно.

И смотрят с этого холста
не Бог, не дьявол, не химера —
но чистота, но простота,
какою и должна быть вера.

Как у слепого, что получит зрячесть,
соблазн весь мир глазами получить,
так у меня соблазн вдруг ощутить
твоей поэзии холодную горячесть.

Увидеть цвет, попробовать на вкус,
почувствовать её целебный запах,
узнать две грани, два оттенка чувств,
как разобраться, где восток, где запад.

Твоя поэзия… В ней солнце сожжено.
Она — холодный жар сибирскихречек.
Она — огонь старославянской речи,
в котором мне гореть не суждено.

Твоя поэзия — искусство стеклодува
и чёрная работа печника.
Ты женщина, ты добрая колдунья,
слетающая с белого листка.

Но видит Бог — то не одно и то же:
пример созвучья, только и всего.
Конечно, не колдунья ты — и всё же
твори своё простое колдовство.

Наступает Великий Туман —
и уходит моя бестелесность
в ту семью, где гуляет обман,
в ту страну, где царит неизвестность.

Не архаровец я, не пророк,
но душа моя часто пророчит.
И читаете вы между строк,
как кричит она, как кровоточит.

И разносит по свету молва,
что не жалуют блудного сына
толстозадая тётка — Москва —
да блаженная мать — Украина.

Это — жизнь. Далеко ль до беды,
если крылья подрезаны ваши,
если нету целебной воды,
но сияет наполненность чаши?

Это — страсть. Далеко ль до греха,
если гложет печать укоризны,
если бедствует правда стиха
да бытует неправда Отчизны?

Кималь Маликов

Четвёртая ипостась

Спасай других…

В последние годы круг общения Кималя Ибрагимовича был узок, потому что из-за болезни он совсем ослеп и не мог передвигаться по городу самостоятельно.

Он не принадлежал к писательским союзам, что долгое время для меня оставалось загадкой. Пока я не познакомился с историей его поэмы «Чёрный бунт».

20 декабря 2000 года на стене дома №3 по Ленинскому проспекту в Норильске была открыта мемориальная доска памяти жертв политических репрессий со словами К. Маликова:

Рядовые трудовых колонн,
Рядовые жертвы преступлений,
Вас хранит до будущих времён
Мерзлота, свидетель обвиненья.

Многим это имя было незнакомо, и они спрашивали, кто такой Маликов, был ли он политическим заключённым. Политзаключённым он не был. Молодой поэт приехал на работу в Норильск добровольно. Проработав в 60-е годы несколько лет слесарем Северо-восточного участка системы теплоснабжения, он по семейным обстоятельствам вернулся в Красноярск, оставив друзьям на хранение свою тетрадку с рукописью поэмы «Чёрный бунт», которую тогда нельзя было печатать. Она была написана в 1963 году. Впервые под заголовком «Отрывки из „Поэмы без названия“» эта рукопись была опубликована в 1995 году, к 60-летию Норильского комбината, в сборнике стихов норильских поэтов «Мою весну не заметёт пурга…».

Дело в том, что публикация поэмы Маликова в шестидесятые годы оказалась невозможной. Кималя, по его словам, даже приглашали в местное отделение КГБ для беседы.

Чем же объясняется такая судьба «Чёрного бунта»?

…Сегодня в это трудно поверить, но тема ГУЛАГа, сталинских репрессий (хотя культ личности был уже разоблачён) тогда была под запретом. Признали ошибки вождя — и хватит, нечего воду мутить! В Норильске, построенном на костях, о ГУЛАГе не говорили: в город приехало много молодёжи строить свой, комсомольский Норильск — жемчужину Заполярья… Хотя на комбинате оставалось много тех, кто прошёл сталинскую мясорубку.

Неудивительно, что только в 1999 году в Красноярске был издан первый сборник Кималя Маликова под названием «Старые стихи». В этом сборнике поэма «Чёрный бунт» опубликована в более полном варианте и под своим подлинным названием. В «Красноярской газете» и сборнике «Старые стихи» была опубликована ещё одна поэма К. Маликова — философская «Последняя ночь Рембрандта».

Кималь Маликов честно отразил своё время и людей, которых встретил на своём жизненном пути.

Суть истины вместил
Короткий стих:
Спасай себя, чтобы спасти других.
Добавлю только, истину любя:
Спасай других, чтобы спасти себя.

Михаил Стрельцов

О себе

Я родился и жил в Красноярске, на улице Лассаля. Потом его признали оппортунистом и назвали улицу Брянской. Очень разношёрстной была эта улица. Население: татары, украинцы, евреи, немцы, поляки, китайцы, литовцы, латыши. В общем, пол-Союза. Жили дружно. Родился я в 1939 году, пятого февраля. В 1940 году моего отца взяли на переподготовку. Письмо — первое и последнее — пришло из-под Бреста. После начала войны ничего не было слышно. Позже сообщили, что он пропал без вести; когда и как — неизвестно. Но время было тяжёлое — не дай Бог, если в плен попал, это было очень страшно. Уже в 1950 году моя бабка, которая отца всю жизнь ждала, услышала, что его видели в лагере в Норильске. Я её никогда больше не видел такой испуганной. Она повторяла: «Это враги, враги говорят». В 1952 году осмелились подать на пенсию, выплатили пенсию на меня сразу за 10 лет и сообщили, что отец пропал без вести в декабре 1941 года под Москвой…

Кималь Маликов

Тесто

А. Бердникову

Крутое тесто замесил Господь,
Да, видимо, дрожжей добавил лишку.
Замучили, поди, дела-делишки
И весь, поди, вселенский огород.
Вот подлецы, им только завалить!
И Водолей—не воду разливает…
А красное смещенье убегает,
И некому его остановить.
Две девицы (ну коего рожна
не поделив?!) друг друга потрепали:
От Вероники—волосы остались,
От Андромеды—видимость одна.
Ну никакого нету жития!
Под эти галактические шумы
Не отдохнуть—не то чтобы придумать
Две-три загадки вечных бытия…
…Заснул Господь, а тесто между тем,
Набравшись силы, поползло на небо
Для поисков предметов ширпотреба
Иль в поисках иных запретных тем…
Готовясь в кураже для дележа,
В предчувствии необычайной драки,
Вдруг разбежались знаки зодиака
И стали в круг, испуганно дрожа.
Вскочил Господь, опару сбил веслом
И замешал, ничуть не беспокоясь,
Обычаи, традиции, устои
И заодно пришельцев с нло.
Закончив труд, сто грамм на посошок
Принял на грудь—так Вечности пристало.
Отбацал степ и выдохнул лукаво:
«Воистину: вот это—хорошо!»

Детский сад

Собираюсь на работу,
Дочке топать в детский сад.
Ей, конечно, неохота,
Как и мне сто лет назад.
Накатило. Стало жарко.
Сорок третий вспомнил год.
Мой братишка старший, Жанка,
В детский сад меня ведёт.
Разговор у нас короткий:
«Пендель», пара «макарон»…
Оттого я тих и кроток,
Оттого и весел он.
Шли по улице Лассаля,
По росистой мураве.
И часовенка сияла,
Как икона, на горе.
Шли под ставен скучных стуки,
Под собачий брёх и вой.
Пацанята—руки в брюки—
Так довольные собой.
Шли, играя, шли, не зная,
Что сошла уже с крыльца
Письмоносец тётя Рая
С похоронкой на отца.

Покровская легенда

Три дня идёт гулянка,
Покровский злой загул.
Домой вернулся с фронта
Мой дядька Хабибул.
Безусым пацанёнком
Ушёл пять лет назад.
В окалине осколок—
Вернулся лейтенант.
Лихих сорокапяток
Отчаянный командир,
Изношенное сердце,
Целёхонький мундир.
Он вышел, озирая
Чертополох двора.
Пустая голубятня,
Пустая конура.
Не звякает подойник.
Кому сказать: Ани…
Сестрёнки-малолетки
Застряли у родни.
Единство фронта с тылом.
От фронтовых дорог
Далече докатился
Войны стальной каток.
Светилось нимбом солнце
Над Дрокинской горой,
И облака стояли
Над дымовой трубой.
Притормозило время
Нетерпеливый ход…
Лишь голуби над Качей
Кроили небосвод.
И вздрогнул Хабибулка,
Спиной почуяв взгляд:
На крыше голубятни
Два голубя сидят,
Подаренные другу,
Которых не забыл,
Когда дуга сгибала
И Балатон солил.
И вот они воркуют,
На цыпочки встают,
Тревожно шеи тянут,
Глядят—не узнают.
Прорвала память время,
Сметая всё с пути
Собакою цепною,
Сорвавшейся с цепи.
И, как из дальних далей,
Из вышней высоты,
К ногам его упали,
Как белые цветы.
И, пот со лба стирая,
Воскресший ото сна:
—Ну,—выдохнул,—
И вправду—
Закончилась война.

Четвёртая ипостась

Глаза слепы, немы уста,
Безмолвны, бесполезны;
На фоне Южного Креста
Не виден крест небесный.
Тропа, толпа, из края в край
Спешат, взывая всуе;
Развилка, крест — и выбирай:
Ошую, одесную.
Мгновенье вечно, и стоят
Осина, дуб, омела.
А камни чёрные летят,
Его пронзая тело.
И, продолжая свой полёт,
Срываются с орбиты,
И в атмосфере над землёй
Горят метеориты.
Вся жизнь — короткая строка
Внизу под облаками,
Да не поднимется рука —
Я свой не брошу камень.
Пересекая путь земной,
Вновь отворяя вечность,
Мои грехи — они со мной,
Я сам за них отвечу.
Глаза слепы, немы уста,
Безмолвны, бесполезны;
На фоне Южного Креста
Не виден крест небесный.
Распятье, дыба, пьедестал…
Надежда и расплата…
Сидит Иуда у креста —
Беседует с Пилатом.

Предки

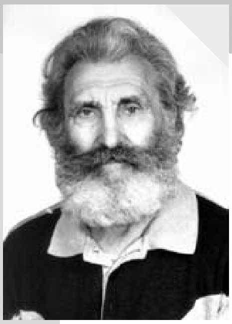
Откуда вы,
Мои светло-русые предки?
Гулкое эхо дубрав,
Тревожных дымов столбы…
Откуда вы,
Мои скуластые предки,
Сметавшие города
Хвостами своих кобыл?
Какие вы,
Скуластые жадные предки,
Взметнувшие плеть
Над горячечным телом Руси?
Какие вы,
Мои славянские предки,
Если монгольскую смерть
Заставляли пощады просить?
Над этой дикой враждой
Веков громоздятся груды,
И бешенство конных атак
Дремлет в моей крови.
Но гонит меня вперёд
Моя монгольская удаль,
И обживают мир
Русские руки мои.

Оливы Гефсиманского сада

Стоп-кадр. Инерция — не в счёт.
Пространству стало тесно.
И лязг мечей, и звон щитов —
Началом благовеста.
И, милосердие храня,
Ночь выпустила коготь,
И факелы внизу чадят,
И тьма глотает копоть.
Лицом о воздух — и текут,
Охватывая стражу,
Десятки будущих Иуд
И мучеников жажды.
Кто вас собрал? Послал посыл?
Ведь вы — не просто люди,
Ушли волхвы, пришли послы,
Свидетели и судьи.
Смелей, пока жива душа,
Вы — Божии созданья,
В проём Игольного Ушка,
Через Порог Страданья.
А он стоит, глаза скосив,
Не отрывая взгляда
От буйной поросли олив
Серебряного сада.
А в спину — словно град камней,
Пропитанных тоскою,
И кто-то обнажает меч
Дрожащею рукою,
Готовый броситься вперёд.
Спасаю? Погибаю?
Но, исказив улыбкой рот,
Он шепчет: «Я не знаю!
Я не знаю этого человека!
Я не знаю этого человека!»
Кричит верблюд. Поёт восход.
Уставясь в землю тупо,
Какой-то человек бредёт,
Покусывая губы.
Идёт, разменивая жизнь.
Как стихло всё в округе…
И только женщина бежит
Наперерез Иуде.

На покосе

По колено травостой,
Шаг прокоса ближе, ближе…
Как литовка землю лижет,
Наливаясь синевой!
По колено травостой,
Между волнами прокоса —
Земляники спелой россыпь,
Жаворонка дом пустой
С прошлогодней скорлупой.
По колено травостой,
Стебелёк, к земле прилегший,
Для живущих я — ушедший,
Для ушедших я — живой!



Евгений Мартынов

Черёмухи белые руки…

Я спал на тулупе наивно и сладко,
Так спит молодёжь в турпоходе обычно.
Ведь дом деревенский — почти что палатка
В сравнении с нашей громадой кирпичной.
Ко мне потихоньку, как только проснулась,
Стараясь поправить подушку немножко,
Черёмуха белые руки тянула,
Касаясь распахнутых створок окошка.

…И, как всегда, пришёл некстати в гости,
Когда знакомый пасечник Данил,
Не проронив слезинки на погосте,
Бездетную жену похоронил.
Не шевелясь, не зажигая света,
Задумался, ушибленный судьбой,
Зажмурился, сидит, а сигарета —
Горит себе, горит сама собой.

Хорошо до слёз! Истома.
Заурчало в самоваре.
Я отпущен из детдома
На день в гости к тётке Марье.
За столом на табуретке
Восседаю (фактик мелкий):
Соль да тонкий пластик редьки
На фарфоровой тарелке.

Мы ждали, кажется, оладий
Пасхальных, ждали, а пока —
То возносились на полати,
А то — бесились у шестка.
— Да не мешайте, кыш, чертята!
(А ребятишки всё снуют.)
Где деревянная лопата,
Которой тесто в печь суют? —
Нас тётка Марья унимала.
…И Кузьке-братке, а не мне,
Что называется, попало…
Плашмя лопатой по спине.

Сегодня дочка двойку принесла,
Портфель затеребила у застёжки,
Но показать мне кляксу не смогла:
Прикрыла, словно бабочку, ладошкой…

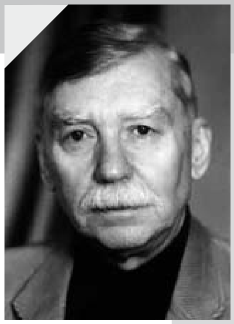
Я становлюсь взаправдашним отцом.
Давно ли с братом мы в углу моргали? —
И вот уже, с серьёзнейшим лицом,
Теперь могу и я читать морали.

Так жизнь катит вперёд — и вроде вспять,
И в мире есть всегда отцы и дети,
И есть кому за дело отругать,
Но вместе с тем и вечно быть в ответе.

В копёшке мне тепло и ловко,
Пёс языком горячим льстит,
И тонкий месяц, как литовка,
На небе весело блестит.
Устроив голову покруче
(Не донимайте, комары),
Промеж соломинок пахучих
Смотрю в далёкие миры.
Гляжу. Горжусь Землёю тленной,
В душе все горечи храня…
Поди, вот так же Бог Вселенной
Лежит и смотрит на меня.

9 мая 1945 года

…Отступали… было дело…
Ели жмых — и ничего…
В клубе медью зазвенело
В честь Победы торжество!
В день по счёту пятый митинг
Нас не может утомить…
Говорят: «Не уходите,
Будут ужином кормить!»
Все остались. Я остался
На застолицу-кружок…
Для братишки постарался
Сэкономить пирожок.



Борис Косенков

Смеясь, ужасаясь и плача…

Эдем

А вдруг Эдем
не просто дивный сад,
где бродят неприкаянные души,
уставшие от вечного покоя,
а место, где любому разрешат
любимым делом вдоволь заниматься
и жить, как пожелается душе?..
И самый захудалый стихотворец
там сможет, если вдруг придёт охота,
по-дружески к коллеге обратиться,
похлопав по плечу: «Ну что, брат Пушкин?
Что новенького нынче написал?»
И тот прочтёт, нимало не чинясь,
элегию, балладу или стансы
и примет словно должное: «Ну, Пушкин!
Ну, сукин сын! Пойдём-ка дербалызнем
по махонькой!..»
Ну, чем тебе не Рай?!

Перед крещением

Вспоминаю о шалостях прежних,
о блужданьях в добре и во зле…
Кто я? Ангел? Злодей?.. Просто грешник,
как и все мы на грешной земле.

В ней, устав от трудов и борений,
навсегда обрету я свой дом,
как родной в череде поколений
под простым православным крестом.

Чужаки

Там сладко врут,
там мягко стелют,
там тщатся прикормить с руки.
Но для Нью-Йорков и Брюсселей
мы варвары и чужаки.

Там рады шлюхе и бастарду,
там педераст—желанный гость.
Но «золотому миллиарду»
Россия—словно в горле кость.

Ему страшнее всех напастей
её просторы и века.
Но разорвать её на части
кишка пока ещё тонка.

И он следит в надежде зыбкой
за русским миром, как шакал,
тая под дружеской улыбкой
клыков безжалостный оскал.

Sancta simplicitas

Мир простодушных чем-то нам угоден.
В их детскости—очарованья тьма.
О, как мы деликатно к ним снисходим
с вершин образованья и ума!

Синяк под глазом потирая новый,
что из-за их наивности набит,
мы всё ж таки на дурачка блажного
не держим зла и не таим обид.

Ведь умилится даже инквизитор,
потупив умный и жестокий взор,
когда святая простота
с молитвой
подкинет связку хвороста
в костёр.

Нет, не смерть страшна—умирание,
затянувшееся прощание,
когда ты, словно гость в передней,
у черты задержался последней.

Вместо жизни в полном наборе
получаешь недуги и хвори,
пытки совести, муки ада…
Тут и смерти душа будет рада!

И поэтому я по-честному
обращаюсь к Отцу Небесному:
— Боже правый, не надо мне рая,
умереть бы—не умирая…

Интерпоэт

Сплошным потоком льются речи,
душа пылает, ум кипит.
«Всё сущее увековечить»
вовсю старается пиит.

Не спит, не ест, почти не дышит,
Ну разве что порою пьёт.
Всё только пишет, пишет, пишет
и никогда не устаёт.

Его фанаты обожают,
какую бы он чушь ни нёс.
И всё сильнее прошибает
его лирический понос.

И от тоски невыносимой,
от всей измученной души
шепчу я: «Пощади, родимый!
Остынь! Умолкни! Не пиши…»

Стакан

До конца я пока что не выжат,
и, быть может, фортуны рука
помутузит меня, помурыжит,
но потом и погладит слегка.

Нет, не славы ищу, не успеха.
Мне бы только к концу своих дней
уловить отдалённое эхо
от уроненных в бездну камней…

Ну а если, ненужный и лишний,
ум и силы зазря просажу,
всё равно по привычке давнишней
свой стакан я до дна осушу.

И когда сука-старость с досады
на правёж меня сдаст сатане,
всё равно я ни мёда, ни яда
не оставлю ни капли на дне.

Иуды

Когда Иуда продавал Христа,
его наверняка корила совесть.
К предательству ещё не приспособясь,
она вдруг оказалась нечиста.

И как потом Иуда ни крутил,
а презирать себя невыносимо…
Худою славой бедную осину
он, как дурной болезнью, наградил.

Но не угас старинный род Иуд.
С искусством лицемерия освоясь,
они теперь себе так ловко лгут,
что дремлет притерпевшаяся совесть.

Теперь умеют так продать Христа,
чтоб совесть оставалася чиста.

Пятно

Остатки кровавого пира
дождями омыты давно.
Осколки разбитого мира
не склеить уже всё равно.

Рассыпавшиеся осколки
уже никогда не собрать.
Банкиры, бандиты и волки
не любят следы оставлять.

Но даже и в час триумфальный
проступит клеймом всё равно
на белой манишке крахмальной
кровавое это пятно.

Не в ногу

Все сомнения развеяв,
так скажу строкой стиха:
я, конечно, из плебеев
и не вижу в том греха.

Но не вижу и заслуги.
И лишь тем слегка горжусь,
что ни в баре, ни в прислуги
и не рвусь, и не гожусь.

То ли к черту, то ли к Богу
по ухабам бытия
я иду ни с кем не в ногу,
только сам себе судья.

Не святоша, не ловчила,
не со стаей, не с гурьбой —
мне б от зыбки до могилы
жизнь прожить в ладу с собой.

Рождественские стихи

Ни от чего не зарекайся —
ни от сумы, ни от тюрьмы,
ни от молвы и зубоскальства,
ни от душевной кутерьмы.

Не уставай торить дорогу,
покоя не давай рукам.
И с причитаниями к Богу
не приставай по пустякам.

В дыму хулы, в сплетенье сплетен
будь не святошей, а бойцом!
Тогда и Бог тебя отметит
и благодатью, и венцом.

Городские сумасшедшие

На обиженных Богом
обижаться грешно.
В их умишке убогом
беспросветно темно.

Ни во лбу, ни в загривке
нет ни мыслей, ни слов —
лишь клочки да обрывки
ощущений и снов.

Им не вырасти с веком,
хоть чуди — не чуди…
И в душе по сусекам
хоть шаром покати.

Олег Малинин

По дороге домой

Дедушка и правнук

1.

Парад седьмого ноября
Ты видел,
Брат мой?
Текла червлёная заря
Над полем ратным.

Наполнив рвы на полковша
Замахом ярым—
Она стекала
Не спеша
По крутоярам,

По тихим волчьим закуткам
Широких улиц,
Сгоняла темь
По берегам,
Где стяги гнулись,

Где чахла, скалясь, темнота
В попытках слабых
Уйти с горбатого моста
На твёрдых лапах.

Там в сорок первом
Дедка твой
На русском «яке»
Развеял флаг
Над мостовой,
Готовясь к драке.

Его горящая звезда
В грудном подклете
Стучала-билась,
Как тогда,
В июньском лете.

Когда зардела
Над холмом
Ватага сучья
И русский дом
Горел огнём,
Врастая в тучи—

Мечась и
Гневно грохоча,
С парада
Танки
По рваным кошмам кирпича
Шли спозаранку.

Я видел всё:
Плыла в пургу,
Рыдая, площадь.
Подковой, выгнутой в дугу,
Ступала лошадь.

Так мы пошли
Сплошной дугой
На фронт с парада.
И я, наследник дорогой,
Коснулся ада.

И я узнал,
Что значит смерть
Во имя жизни,
Что значит гибнуть
И не сметь
Предать Отчизны.

Моей родной
Угры волна—
В рассветных пулях.
Ты крикнул:
«Возвращу сполна!»
И ты вернул их…

Теперь вот спишь
В глухом селе,
Погибший в тридцать.
А мне,
Как листьям на земле,—
Давно не спится.

Я думаю:
Земля стара,
А крови льются,
Что осень—
Худшая пора
Для революций.

Не только мы
С тобой одни
Глотаем холод,
Что поравнялись
В эти дни
И стар, и молод.

Октябрь по нам,
По ноябрю
Бил не от скуки.
И вот
Он тянет на зарю
Сухие руки…

Когда червлёная заря
Встаёт над лесом,
Мне верится:
Погиб не зря
И ты
В начале ноября
Под Гудермесом.

2.

В прошлое смотришь,
Мальчишка раскосый?
На, открывай букварь:
Если восстанут
Великороссы—
Сядет чванливая тварь.

Хватит одёргивать
Нити истории
В пользу одной стороны…
Жаль,
Не имеем власть,
Для которой
Наши сердца рождены.

Гордое племя
Сейчас не обуто,
Мало, восставших, нас.
Бойтесь, изменники,
Русского бунта…
Грянет последний час.

Вены твои
Переполнены кровью
Врангеля и Колчака?
Раскосый мальчишка,
Будь наготове.
На—шашку и рысака.

По дороге домой

Ветра косые вдоль отрога
Шуршат,
Губами шевеля…
Неистово, мятежно, строго,
Бросая полстраны под ноги,
Бежит полынная земля!

Смотрю в плацкартное окно я
На облаков густую вязь.
Мне нравится цветьё степное,
Пускай идёт весна войною,
Пар поднимается, клубясь.

А ливни тёплые, тугие,
Размашествуя тут и там,
Идут за нами по пятам,
Даруя камни дорогие
Твоим тяжёлым волосам.

Я от страны моей не скрою,
И от тебя не утаю—
Ни жизни, обагрённой кровью,
Ни песни, раненной в бою.

Хочу с тобой, моя Наталья,
Услышать журавлиный клич,
В расстеленной полдневной дали
Познать всё то, что не познали,
Непостижимое постичь.

Чтоб гнал тоску степной, собачий,
Безумный ветер, чтобы жить.
Чтоб чувствовать, чтоб наудачу
И ненавидеть, и любить.

Чтоб, воротя весну и волю
Стерляжьих, птичьих, ясных дней,
Смотреть на мчащие по полю
Составы гривистых коней!..

…Зашкандыбали
По сурчинам,
Топорща дуги
Быстрых ног,
В огне рассветном
И пчелином,
На острых
Нервах перочинных
Повстанцы,
Как сплошной поток!

Восставшее светило славя,
Выхватывая ветер дня,
Летели сабли на меня
И грива рысака,
Как пламя,
Язык слепящего огня.

Жара собакам
Кость кидала.
Мы слизывали
Соль и пыль…
Но лучше так,
Чем у вокзала,
На площади,
Где тени мало,
И вольный
Не растёт
Ковыль.

Свободы
Оценив значенье,
Размах орлиный
Полюбя,
Мне стыдно было есть печенье…
Но не в чем
Упрекнуть себя
И не за что
Просить прощенья.

Всё потому, что жизнь свою
Я выменял
На кровь отчизны,
В неравном
Падая бою,
С душой открытой,
Сердцем чистым.

Пускай мне попросту везло.
Сражаясь рьяно,
Тигры в клетке,
Мы лбами бились о стекло,
Хоть и промахивались
Редко
Беззубой шашкой
Наголо!..

…И вот теперь смотрю в окно я
На облаков густую вязь.
Мне нравится
Цветьё степное.
Пускай весна
Идёт войною,
Пар поднимается,
Клубясь!

Мне чудится: ладонь ложится—
Твоя ладонь—в объятья дня!
Медовым золотом огня
И руки,
И твои ресницы
Летят, как птицы, на меня.

А ливни тёплые, тугие,
Размашествуя тут и там,
Идут за нами по пятам.
И мы
Счастливые такие,
Как будто счастье светит нам…

Эдуард Русаков

Царь-сторож

Немая баллада

1. Зона Ру (Пробуждение)

Кукла

…Стою на подоконнике в больничной палате, пытаюсь горячим детским дыханием растопить морозные узоры на оконном стекле, чтобы там, за окном, разглядеть ненаглядную мамочку… там, внизу, на тротуаре, под больничными окнами… вот наконец-то я вижу её, в серой беличьей шубке,—мама, мамочка, это я!..

…Мама, мамочка, зачем ты мне подарила куклу? Ведь я же не девчонка, подари лучше саблю или пожарную машинку… А эта кукла, она похожа… похожа… она похожа на меня! Это я—совсем как живой! И глаза закрываются и открываются, как у живого… и он так же, как я, говорит: мама, мамочка… и он так же протягивает к тебе руки… Но что это, мама?! Почему у моего двойника на руке семь пальцев?! Почему ты смеёшься, мама? Разве это смешно? Почему ты откручиваешь ему голову? Что ты делаешь, мама? Что ты со мной делаешь, мамочка?

—Смотрите, смотрите—он просыпается! Он приходит в себя!
—Чепуха. Быть не может. Доктор Цзянь Куй сказал, что процесс необратим—и он никогда не выйдет из комы.
—Что он понимает, этот китаёза… Да ты глянь—у него веки дрогнули!
—Не морочь мне голову, мама. Доктор Цзянь Куй—лучший специалист в нашей зоне по мозговым расстройствам кровообращения.
—Ты-то откуда знаешь?
—Уж знаю, поверь мне.
—А что это ты вдруг покраснела? А?! «Лучший специалист»… Всё понятно, какой он специалист. По чужим русским бабам специалист. И ты—хороша-а. При живом-то муже—путаешься с китайцем!
—А с кем же мне путаться, если русских нету?
—Как это—нету? Как нету?
—А вот так—нету. Все вышли. А китайского доктора зря бранишь: если б не он, не его травы и компрессы—твой любимый зять давно бы сгнил. Столько лет провалялся пластом—и почти без пролежней… Это ж чудо! Китайское чудо!
—Всё равно—грех: при муже—с другим…
—Ты мне что советуешь—лечь рядом с этой мумией? И подыхать вместе с ним?
—Как тебе не стыдно! Хоть бы при сыне да при муже-то постыдилась так говорить!
—Сын давно взрослый, а муж—ни хрена не слышит, не соображает…
—Он твой муж! И ты должна…
—Ничего я ему не должна! Если б не он, давно бы сбежала в японскую зону… или в американскую… английский я мало-мало знаю, нашла бы себе работу…
—Ага! В солдатском борделе нашла б ты работу! У них там своих баб полно…
—Ты-то откуда знаешь, мама?
—По телику всё показывают и рассказывают…
—И ты веришь китайскому телику?
—А ты веришь своему китайскому хахалю?
—Ладно, мам, вы тут спорьте, а мне пора на службу.
—Давай, сынок. Служи. Не забудь потом Настю из садика забрать.
—Да уж как-нибудь не забуду. Пока! Цзай-цзянь!
—Цзай-хуй, сынок.
—Ты чего это, дура, сына родного материшь?
—Я сказала ему «до свиданья», мама. Пора бы уж и научиться. Не первый год в китайской зоне живём.
—Срамота. Хоть бы мужика своего постеснялась… Он же смотрит на тебя! Смотрит!
—Он живой труп. Ничего он не смотрит… Его мозги давно атрофировались! Столько лет пролежал тут как мумия—и ещё сто лет пролежит… Он нас с тобой, мама, переживёт—а что с него толку?
—Как тогда объяснить его завещание?
—Да это шутка была! Шутка! Выдумка! Он же у нас сочинитель… Сколько раз тебе объяснять, мама?

Завещание

…Лежу на дне чёрной гондолы, которая плавно несёт меня от золотых пляжей острова Лидо по зеркальной глади лагуны к центру города—туда, где шумит Пьяццетта, забитая туристами и голубями, где Пьяцца Сан-Марко сверкает на солнце пятикупольным сказочным собором, где возле бронзовых византийских дверей стоит черноглазая… стояла же только что… и вот уж исчезла куда-то…

…Лежу на зловонной постели в позе эмбриона и продолжаю своё никому не видимое путешествие. Многолетнее, вечное, бесконечное путешествие. Всегда мечтал побывать в Италии, но в юности не было денег. А потом, когда появились деньги, появились и семья, дети, заботы. А потом эта внезапная болезнь, приковавшая к постели. Чёрная деревянная кровать. Чёрная гондола. Кожа да кости. Живой скелет. Родные и близкие устали ждать. Сколько можно? Искусственное питание, капельница, памперсы, протирания камфорным спиртом, переворачивания с боку на бок, бесконечные пролежни… Сколько можно?! Гнилая кукла! Сколько можно ждать?!

— Имеются свежие спагетти! Бокал чинзано? Синьор не желает? А горячая пицца? Тоже — нет? Чего желает синьор? Чашечку мясного бульона? А может, синьор предпочитает куриный бульон? Одну минутку, синьор. Одну минутку.

…Столпились, смотрят с отвращением и надеждой. Драгоценная моя супруга с косоглазым своим дружком. Сынок, внучка. Шакалы. Шушукаются. Шуршат. Шепчутся. Их волнует моё завещание. И — зачем я так долго живу? Скоро, скоро, мои хорошие, очень скоро. Может, завтра, а может, и через год. Иногда мне кажется, что я давно умер, а иногда — будто я только сейчас родился. Мне стыдно смотреть вам в глаза. Кроме завещания, вас ничто не волнует. Мне стыдно смотреть на этот мир. Пусть думают, что я при смерти. Пусть меня похоронят хоть сейчас. Не всё ли равно? А пока — сменили бы простыню. Неужто вам уже и бельё на меня тратить жалко? Ведь я ещё жив. Нет, не могу смотреть!

…Не могу смотреть — так сверкает от солнца площадь Сан-Марко. Неумолчные голуби взлетают с мраморных плит и устраиваются на тёмных спинах бронзовых коней над центральным порталом. Смотрю сквозь смежённые ресницы и думаю: на что он похож, собор Сан-Марко? Он похож на тот самый дворец из арабской сказки про волшебную лампу Аладдина: такой весь сверкающий, яркий, по-восточному пёстрый, изобильно роскошный, раззолоченный, инкрустированный мрамором, горящий разноцветной мозаикой. Больно смотреть на эту красоту. Опусти глаза. И опять увидишь её, озорную плутовку, черноглазую бестию — и попробуй к ней подойти, и попробуй заговорить на её родном языке. Попробуй, попробуй — может, получится.

— А по-моему, он уже мёртв. Посмотри-ка. Не дышит.
— Где зеркальце?
— Причём тут зеркальце?
— Надо зеркальце к губам поднести — сразу станет ясно.
— Надо вызвать врача!
— А как же насчёт завещания?
— Нет никакого завещания! Это шутка! Бред! Это его предсмертная шутка!
— А ты вот попробуй объясни китайским властям, что это шутка…
— Мой сын и моя внучка — прямые наследники, и никаких завещаний не требуется. Китайцы ж не дураки! И всё, что есть у него на сберкнижке, со всеми процентами, которые набежали за эти годы, — всё это наше! Наше! И все эти его дурацкие книги, и эти альбомы, и эти картины на стенах — всё это принадлежит моему сыну и внучке! Если бы у него были другие дети — тогда другое дело. Но он же всю жизнь провёл в Кырске, под маминым и моим строгим присмотром… мы даже в командировки его не отпускали!

…Ага, не уйдёшь, красавица! От меня не скроешься — догоню. Пересекла Пьяццетту — и мимо Дворца дожей, через Пьяцца Сан-Марко — и мимо, мимо, по узеньким кривым улочкам, мимо мраморных палаццо с ажурными галереями, мимо изогнутых хрупких мостов — до Большого канала, а дальше — по мосту Риальто, и до Палаццо Пезаро, и дальше, дальше. Остановилась! Стоит! Узенькая полоска гладкой мостовой: слева стена, справа чёрная вода канала — двоим не разойтись. Стоит, смотрит. Улыбается. Белый блеск зубов. Чёрный огонь глаз. Не запыхалась, дышит легко. Обжигает. Не разойтись. Неужто я отступлю? Нет — руки вверх, сдаюсь! Спиной к воде, лицом к ней — пробираюсь мимо красавицы, и она, конечно, не даёт мне спокойно пройти, а как бы случайно прижимается — нет, чуть касается, едва задевает горячим бедром, но я вскрикиваю от ожога и чуть не падаю в мутную воду канала… Но нет, не падаю.

— Проходите, доктор. Нинь хао! Мне кажется, мой муж умирает. А ведь завтра воскресенье, поликлиника не работает, вот я и решила, на всякий случай, сегодня… Ну, вы же понимаете — справку о смерти, ну, как положено… А то помрёт — и без справки завтра его в морг не возьмут, а такая жара… Ну, вы же понимаете? Помогите… пожалуйста… Цин бан-чжу во!
— Я хорошо понимаю по-русски, и вы это знаете…
— Да, конечно! Вот его паспорт… фамилия, имя, отчество… год рождения… место рождения — город Кырск… тут всё есть… вот видите — проживает в городе Кырске, зона Ру, улица Бограда, и штамп прописки, и штамп китайской комендатуры…
— Я вижу, вижу. Но как быть с его завещанием?
— Да это шутка! Ведь он же писатель, сочинитель — вот и сочинил на прощание! Это шутка!
— Может быть… Но по форме-то это — завещание! И заверено у нотариуса, на бланке с круглой печатью… Всё как положено!
— Да когда это было, доктор! Тыщу лет назад!
— А мы в зоне Ру не меняли российских законов…

…Среди ночи меня разбудил жаркий женский шёпот. На родном итальянском языке. Окно было распахнуто. Слышен тихий плеск воды. Жаркий женский шёпот… и на фоне белесовато-серого окна проскользнула гибкая фигура в тёмной накидке. И вот уж она рядом со мной, и я чувствую её губы, а руки её обнимают меня, а её тёплые колени нетерпеливо ко мне прижимаются. И хотя лицо её неразличимо, я знаю, что это она, та самая черноглазая красавица, я знаю, знаю. А утром, когда я проснулся, её не оказалось рядом, но я знал, что такое не может присниться, и всё это было, конечно же, наяву.

— Ну разве это не бред?! Нет, вы только послушайте, доктор! «Завещаю сыну в Венеции…» Где?! В какой ещё, к чёрту, Венеции? Он же никогда — ни разу! — не выезжал из России! И не мог он никак оказаться в Венеции! Да он просто издевается над нами, старый клоун!
— Тише ты…
— А чего — тише? Он в коме, и он вот-вот загнётся…

— Может быть. Но всё, что у него есть, он завещал своему сыну, который, оказывается, живёт в Венеции…
— Какой сын?! Что за бред? У него только один сын… Ох, доктор, ну вы-то должны понимать… Какая может быть Венеция? Он всю жизнь был прикован, как каторжник к тачке, к семье, к работе… а последние четверть века он прикован к постели… А это всё блажь, фантазии… Знали бы вы, доктор, какой он был выдумщик, фантазёр, сочинитель…
— Мин бай…
— Что вы сказали?
— Я сказал: понятно. Так, может быть, вольный дух его привык скитаться в дальних краях, вырываясь из бренной плоти?
— Вам легко шутить, доктор!
— А я не шучу…
— Бабуль, а ты разве не помнишь, что дедушка иногда во сне разговаривал на иностранных языках? Ты сама мне рассказывала — помнишь?
— Ой, Настя, ну хоть ты-то мозги мне не пудри!
— Ну как же. Ты говорила, я точно помню, что дедушка по ночам часто бредил по-итальянски… и даже плакал… а иногда произносил имя: Роберто…
— Роберто?! Ты это сейчас придумала, сознайся?
— Да нет же, честное слово! Ты сама мне рассказывала…
— Замолчи, дурочка!
— Ну зачем вы так со своей внучкой?..
— Ах, оставьте, доктор! Старик просто выжил из ума… он всегда был сумасшедший! Любая комиссия это подтвердит! Он был невменяем и недееспособен. Да, именно так. Именно так. Извините, доктор, я не позволю… Какая Венеция, что вы?

— Роберто, что с тобой? Ты плакал во сне, а потом кричал. На каком-то славянском языке… может, на русском?
— Я не знаю ни слова по-русски.
— Может, вчера русский фильм смотрел по ящику?
— Какой фильм? Разве у нас бывают русские фильмы? И разве русские ещё снимают кино? И вообще — зачем ты меня разбудила? Завтра рано вставать, а теперь я ни за что не засну.
— Заснёшь, Роберто. Я тебя поцелую — и ты заснёшь. Вот так. И вот так. И ещё вот так.
— Ну хватит, Бьянка, хватит. О мадонна, да хватит же! Лучше скажи, что я кричал?
— Ты кричал: отец, отец! А потом не по-нашему… я ни слова не смогла разобрать. Ладно, спи.
— Чао, Бьянка.
— Чао, Роберто.

Мемориал

Только и слышу: зона Ру, зона Ру…

Что это? Гетто? Концлагерь? Резервация для последних русских в Сибири?..

А для меня это — мой персональный заповедник, мой личный мемориал. Все эти улочки, переулочки, закоулочки, деревянные двухэтажные здания с резными башенками и кружевными наличниками, набережная Енисея, бывший парк культуры и отдыха имени Горького, а теперь парк «Русский мир», бывшая духовная семинария, где нынче расположен китайский военный госпиталь, бывший архиерейский дом, где в годы моего детства была больница скорой помощи, а сейчас там не знаю что… Здесь, на улице Бограда, я когда-то родился, здесь, на этой же улице, доживаю свой долгий, унылый век. Парабола жизни замкнулась. Который сейчас год — не знаю. А знать не мешало бы.

Тут на каждом доме можно устанавливать мемориальную доску. Вот в этом двухэтажном особняке был детский садик, в который я когда-то ходил. А на этом вот перекрёстке нас с мамой когда-то поздним вечером ограбили… то есть хотели ограбить. Мне тогда было лет шесть, не больше. Нас остановили трое парней, показали нож, но у нас ничего не было — ни денег, ни часов, — ничего! — и грабители нас отпустили. Сказали: стойте тут, нищета, пока мы не отойдём вон до того угла. И мы стояли. А потом пошли домой. Маму долго потом трясло от пережитого страха, она заикалась, икала и плакала, а я — совсем, ну ни капельки не испугался, потому что… потому что… да потому что — я же был с мамой! И я был абсолютно уверен, что пока я с ней, со мной ничего никогда не может случиться.

А вон с того перекрёстка, помню, я в первый раз уезжал в пионерский лагерь — после второго, кажется, класса… Нас рассадили в два автобуса и повезли за город… И мама бежала за автобусом и махала платочком, а я высунул руку из окна — и выхватил у неё этот платочек, и спрятал его в карман… А потом, уже в лагере, по вечерам, засыпая, я прижимал к губам мамин батистовый платочек и вдыхал сладкий мамин запах — это был запах духов «Красная Москва», — и я плакал от невыносимой тоски и печали, и давал себе страшную клятву, что никогда-никогда не разлюблю мою маму…

А как я был счастлив, когда этот первый мой лагерный сезон завершился и я вернулся домой, к маме! Когда она обняла меня и расцеловала, я зажмурился от восторга — и сказал сам себе: запомни этот миг! И я его запомнил и помню до сих пор.

…Ещё раньше, лет в пять, отдыхая на детсадовской даче, я во время тихого часа ухитрился, лёжа на раскладушке, так согнуть и подтянуть кверху правую ногу, что смог запросто грызть ноготь на большом пальце ноги… На зависть всем пацанам! «Гуттаперчевый мальчик!» — кричали они. И тогда я тоже сказал сам себе горделиво: запомни этот миг. И ведь запомнил!

Позднее, поймав на удочку большого полосатого окуня, или выпив на спор пол-литра водки на одном дыхании и без закуски, или отбив в ресторане чужую невесту, или написав замечательный рассказ, или увидев роскошный закат солнца со скалы Такмак, — я каждый раз говорил сам себе: запомни этот миг!

И сейчас, на пороге финала, мысленно обходя свой мемориал, свою заповедную зону, я вспоминаю прошлое и говорю себе: запомни эту жизнь.

И я помню её, эту жизнь. Она будет существовать, пока я её помню.

И вы, мои дорогие и ненаглядные, все вы будете существовать лишь до тех пор, пока я буду про вас помнить. Так что я вовсе не мумия, не живой труп и не паралитик—я сторож, я вечный, бессменный сторож, я охраняю свой мемориал, свой дом, свою семью, своих близких. Я сторожу зону Ру и буду её сторожить, даже если в ней, в этой зоне, никого не останется, кроме меня.

…Помню, как-то, давным-давно, летел в самолёте—глубокой ночью, и все пассажиры в салоне спали—все, кроме меня… даже экипаж весь спал—мы летели на автопилоте… А когда я глянул в иллюминатор, то увидел внизу спящую Землю… Все жители планеты спали, кроме меня! И Земля летела на автопилоте… И тогда, и всегда, и сейчас—я один не сплю в этом спящем мире, мире лунатиков…

2. Спящий красавец

Деточки мои

…А сегодня приснилось, что я—китайский император. Рано утром, на рассвете, явился курьер с официальным оповещением. Наспех умывшись, побрившись и приодевшись, я отправился в большой красивый серый дом, похожий на дворец, что на площади Революции, где должна была состояться церемония коронации. Всё это происходило в Кырске, ведь отныне именно Кырск становился новой столицей Китайской империи. Это вполне логично, ибо китайскими учёными давно доказано, что именно в Кырске находится географический центр Евразии. Ну так вот, прихожу я в главное административное здание Кырска, поднимаюсь на третий этаж, где находится большой зал, в котором должна проходить церемония, прохожу по узким коридорам, через анфиладу пустых пыльных комнат и наконец, после долгих поисков, оказываюсь на пороге большого зала, из которого слышен гул голосов. Меня встречают, берут под руки и подводят к трону.

«Папа! Папочка!»—слышу я детские голоса. И вижу вокруг себя множество девочек и мальчиков—беленьких, чёрненьких, жёлтеньких,—и все они радостно хлопают в ладоши и приветствуют меня криками: «Папочка! Папа! Папуля!»

Я в ужасе просыпаюсь… А ведь я по натуре интернационалист. По мне—все национальности хороши. То есть я хотел сказать—женщины всех национальностей. Я их всех люблю, всех без исключения. Ещё когда в медицинском институте учился, перепробовал в студенческом общежитии целый букет: и с татаркой спал, и с еврейкой, и с хакаской, и с тувинкой… а уж украинок у меня было—со счёту сбился. И—что самое-то забавное—все они от меня понесли! А некоторые даже и родили, не стали аборт делать. И с тех пор я понял, что моё семя чересчур пробивное, пробойное, с одного раза цели достигает. И в дальнейшем я неоднократно убеждался: достаточно раз переспать—и бабёнка подзалетает. В родном моём городе, если не соврать, подрастает сейчас не менее полусотни моих детишек, я их всех и не знаю даже, многих просто забыл… Да всех разве упомнишь!

После окончания института довелось поездить по стране, по империи нашей любимой, по всем республикам—и повсюду после моего визита начинали подрастать разномастные пацаны и девчонки, все похожие на меня, каждый по-своему. Одно время работал врачом на сухогрузе, в торговом флоте,—и в каждом порту, в разных странах, на всех континентах—оставались брюхатые бабоньки, плачущие обо мне по ночам. А позднее—забрасывали меня открытками, письмами, детскими фотокарточками. У меня целая картотека собрана: рыжий Ганс, смуглый Хозе, белобрысая Мэри, черномазый Томми, узкоглазая Мэй Фань и много-много других, да и то ведь не все,—сколько бегает по белу свету ещё не учтённых, мне не известных… Дети разных народов… Мои дети!

И вот сбылась голубая мечта: все они собрались в этом зале, мои разноцветные деточки… А я восседаю на своём императорском троне, седобородый патриарх, а вокруг меня—сотни… да что там—тысячи!.. десятки тысяч любящих меня женщин и сотни тысяч разноцветных сынков и дочурок… Кто-то плачет, а кто-то смеётся, и все меня любят и почитают…

«Деточки мои…—всхлипываю я во сне.—Деточки!»

—Ты смотри, он ещё улыбается,—злобно ворчит жена.—Лежит, колода. Хоть бы пальцем шевельнул. А я тут его кормлю, одеколоном протираю, дерьмо из-под него вытаскиваю… Столько лет своей драгоценной жизни угробила на эту колоду!
—Как ты можешь так говорить о собственном муже?—укоряет её доктор Цзянь Куй.—Жена должна смиренно нести свой крест…
—Это тебя Конфуций научил?
—Причём тут Конфуций?..
—А притом! Не читай мне мораль! Трахаешь чужую бабу—и трахай, а морали читать не надо.
—Как ты вульгарна!
—Ой, ой. Какие нежности при нашей бедности… Ты мне лучше, Цзянь, объясни: почему не поможешь ему умереть? Все эти капельницы, все эти трубочки, баллончики… как вся эта мутотень называется?
—Это называется—система жизнеобеспечения…
—Так зачем всё это? Зачем?! Для чего ты мучаешь и себя, и его, и меня, и всех нас? Кому это надо?
—Это надо великому Китаю…—еле слышно произносит доктор, стараясь не глядеть на неё.—Перед нами, китайскими врачами, поставлена задача: максимально беречь и сохранять жизнь и здоровье всех русских, особенно наиболее креативных…
—Чего?
—Ну, наиболее творчески одарённых…
—Это он-то—творчески одарённый? Ха! Несчастный писака; кто сейчас его помнит и знает? Писатель без читателей! Не смеши меня!
—Ты не понимаешь… Как сказал ваш великий поэт—лицом к лицу лица не увидать…

— Ой, не надо! Не пудри мне мозги, пожалуйста…
— А ты, пожалуйста, не будь так вульгарна… очень тебя прошу…— голос его дрогнул, и даже моя тупая жена, вероятно, почувствовала, что переборщила.— Пожалуйста… цин нинь…
— Что ты, что ты!— испуганно забормотала она, хватая его за руку.— Что ты, милый… прости… Но, ей-богу, мне трудно понять— зачем он вам нужен…
— У меня, у нас… есть основания предполагать, что твой муж ещё может прийти в себя… его физиологические функции ещё могут восстановиться… его мозг ещё жив… и он может ещё послужить на благо великому Китаю. Мы заботимся о сбережении не только ваших лесов и нефти, чистой воды и электроэнергии, но и людских ресурсов. Каждый талантливый человек— а среди русских очень много людей одарённых!— так вот, каждый такой человек находится у нас на особом учёте… Особенно мы стараемся сберечь каждого поэта, художника, философа, учёного… К сожалению, почти все они уже сбежали на Запад, но кое-кто ещё остался… И мы хотим сохранить здесь, в Сибири, в зоне Ру, этот духовно-интеллектуальный потенциал, мы очень стараемся… Правда, сами русские люди— большинство из них— утратили свою витальность и с какой-то патологической страстью занимаются самоуничтожением… пьют, употребляют наркотики, бродяжничают… Согласись, что мы, китайцы, в зоне Ру делаем всё возможное для того, чтобы сохранить, сберечь не только ваши жизни, ваших детей, но и вашу культуру, ваше искусство, вашу литературу, ваши обычаи и традиции, ваши праздники и ритуалы, даже русские анекдоты, которые лично мне кажутся грубыми и вульгарными… но такова наша государственная политика! Такова установка партии!— Голос его зазвенел.— Пусть расцветают сто цветов! И русский цветок— один из самых ярких! Мы— за разнообразие жизни! И поэтому я приложу все усилия, чтобы твой многострадальный муж смог вернуться в ряды настоящих русских интеллигентов, которыми издавна славилась матушка-Сибирь!
— Ну, ты даёшь…— прошептала моя жена восхищённо.— Если бы у него была хоть капля твоей… как ты это назвал?
— …витальности…
— Во! Да если бы у него, размазни и слюнтяя, была такая витальность, как у тебя, мой любимый Цзяньчик… как бы я его тогда любила! А ты… ты… ты… я хочу тебя! Прямо сейчас! Прямо здесь! Я хочу! Ты не бойся— пол чистый, я вчера мыла… давай же! Давай скорей!
— Но как можно— при нём?!
— Ещё как можно! Я тебе покажу— как можно! Я хочу! Я хочу!
— А вдруг кто придёт?
— Да не бойся ты! Тоже мне, оккупант… я же тебя ещё и уговариваю… Ну, чего ты? Сын на работе, внучка в садике, мама на рынке… Давай!
— Постой… ты же обещала мне, что расскажешь, с чего это у него всё началось… ну, когда и почему это всё у него случилось…
— Я расскажу! Расскажу! Но потом! Потом!..

Заклятие

А случилось всё это давным-давно, в начале восьмидесятых. Я тогда работал врачом-психиатром, но мечтал о литературной карьере, писал стихи и рассказы, успел выпустить пару книг, в местном издательстве готовилась к выходу моя новая книга, помню даже название: «Мой май». Впрочем, книга эта так тогда и не вышла. И вообще, все мои мечты и планы рухнули в один прекрасный день.

А день тот и впрямь был прекрасен: золотая осень, бабье лето, теплынь, эстрада зелёного театра в центральном городском парке, поэтический концерт, среди прочих участников и я— читаю свои стихи («Плюю на всё— на тонкий профиль, на толстый фас!..») и рассказы («Мы любим города, в которых нас любили…»), и душа моя рвётся из грудной клетки, вспархивает над головами слушателей и парит где-то там, в лазурной выси, над жемчужными облаками. И публика радостно принимает меня, и гремят аплодисменты, и меня долго не отпускают со сцены. Я читаю ещё и ещё, и в стихах моих и рассказах звенит призыв к свободе и душевному раскрепощению, в них— надежда на лучшую жизнь, и так далее, и тому подобное. Лишь один человек, сидящий в первом ряду, не улыбался, не аплодировал— он был недвижим, как статуя.

А после концерта, когда публика стала расходиться, наш организатор шепнул мне на ухо, чтобы я заглянул в контору, в кабинет директора парка. Мол, какой-то начальник желает меня видеть.
— Что ещё за начальник?

Он ответил, но я не расслышал. Так, между прочим, до сих пор и не знаю, что это был за начальник… Впрочем, не всё ли равно?

Захожу в кабинет, сам директор парка сидит, как мышь, зажавшись в угол, на краешке стула, а за его столом восседает грозный Начальник— тот самый мрачный молчун с первого ряда. Увидев меня, он угрожающе произнёс:
— А ну-ка, поди сюда…
— Это вы мне?— удивился я и оглянулся на всякий случай.
— Тебе, тебе. Ближе!
— Позвольте, но…
— Не позволю!— оглушительно вдруг рявкнул Начальник и грохнул пудовым кулаком по столешнице, разбив толстое стекло.

Колени мои подкосились.
— Как вы смеете…— пролепетал я.
— Молчать!— крикнул Начальник.— Ни слова! Всё своё ты уже сказал. Хватит!
— Но я требую объяснить…
— А я говорю— молчать!— И он приподнялся над столом, словно коршун, и вперился в меня своими обжигающе-чёрными немигающими глазами.— Молчи и слушай. Твои поганые стишки и рассказики годятся только для подтирки… не спорь! Оттепель давно кончилась— и не вернётся! Покричали— и хватит! Точка! Пора навести порядок в нашей советской культуре… Совсем распоясались, понимаешь. Хулиганьё. Каждый болтает что хочет. Трепачи. Развелось, понимаешь, поэтов всяких, художников. Барды, понимаешь,

менестрели. Соловьи, понимаешь, разбойники. Формалисты, понимаешь, абстракционисты…

— Но позвольте! Причём тут…—заикнулся я еле слышно, чувствуя предобморочное головокружение.

— Слушай, гадёныш,—перебил он, и магнитные его зрачки вонзились в мою ослабевшую и размякшую душу.—Слушай внимательно и молчи. С этого дня чтоб я тебя больше не видел и не слышал. Стишата свои поганые и рассказики мерзкие—забудь. Припухни! О книжке—и не мечтай. С главным редактором я завтра ещё поговорю… Молчи!

И я молчал. Я смотрел на него не мигая, как кролик на удава. И каждое слово Начальника крепко впечатывалось в меня, вколачивалось в моё сознание раскалёнными гвоздями.

— И чтобы с сегодняшнего дня—ни звука!—продолжал он громыхать.—Ни строчки! Ступай домой и не высовывайся! Пошёл вон!

И я молча и покорно развернулся на ватных ногах, вышел из кабинета, прикрыл за собой дверь и направился, как было приказано, домой.

Дома я молча прошёл мимо недоумевающей матери и юной жены с младенцем-сыном, лёг, не раздеваясь, в свою постель—и вот лежу на этой кровати уже лет тридцать, не меньше, а может, и больше. Мама моя давно умерла, у сына седые виски, и жена моя тоже, конечно же, постарела.

А как она была тогда молода! Как пыталась меня растормошить, разбудить своими горячими ласками, горючими слезами. Не помогли ни её причитания, ни материнские слёзы, ни вопли тёщи и прочая суета. Я оставался неподвижен и молчалив. Я всё видел, слышал и понимал, я всё чувствовал, и душа моя содрогалась от боли, от жалости, от сострадания к моим близким,—но моя робкая воля была намертво скована колдовским заклятием Начальника.

Чего только не пришлось мне испытать за эти годы! И гниющие пролежни, и застойная пневмония, и многомесячное лечение в психобольнице, врачи которой поставили мне диагноз: шизофрения, кататонический ступор… Чем только меня не пичкали! Мажептил, галоперидол, амитал-кофеиновые растормаживания, инсулино-шоковая терапия… И всё без пользы, без малейшего эффекта. Так и стал я безнадёжным психохроником, инвалидом аж первой группы, живым мертвецом.

Потом врачи махнули на меня рукой—и я вернулся домой, на свою кровать. Мать с женой, а потом жена с тёщей ухаживали за мной, регулярно меняли бельё, протирали меня камфорным спиртом, чтобы не было пролежней, кормили с ложки, подкладывали под меня утку. Памперсов для таких придурков, как я, в ту пору ещё не было. И мой сын навещал меня почти ежедневно, рассказывал новости быстротекущей жизни. Но ведь я не мог поддержать беседу, не мог даже кивнуть… Общаться с покойником, согласитесь, не очень приятно. Тут и самая великая любовь не выдержит, даст трещину.

Однажды я заметил, как в соседней комнате моя жена обнималась с незнакомым мужчиной. Дверь была приоткрыта—и в узкую щель я всё видел, всё слышал, всё понимал. Потом они плотно прикрыли дверь, но я слышал, слышал (или мне только казалось, что слышу) всё, что там происходило, в той комнате, на старом продавленном скрипучем диване…

А потом, когда этот мужчина ушёл, моя несчастная, но довольная, разрумянившаяся жена подошла ко мне, опустилась на колени перед моей кроватью и со слезами умоляла меня о прощении. Она плакала и целовала мои бледные худые руки, она обещала мне, что будет всегда-всегда рядом и никогда-никогда меня не оставит, ну и так далее.

Если б она знала, бедняжка, что творилось в моей душе в эти минуты! Если б она догадывалась…

Прошло несколько лет, расцвела перестройка, и вот на закате советской власти жена успела выхлопотать для нас четырёхкомнатную квартиру, ведь я по закону, как инвалид-психохроник, имел право на отдельную комнату. Мама так была рада за нас, что от радостного волнения умерла. И вот я лежу, как барин, в своей комнате—и смотрю на экран телевизора, где произносятся смелые речи, народ без конца митингует, все спорят, шумят, сжигают партийные билеты, а потом вдруг скачут по сцене полуголые разлохмаченные юноши, поют и кричат, и гремят электрогитары, и белый дым клубится, и сверкают огни, и кричит публика. Славная жизнь наступила, весёлая, вольная…

А вот на экране—большой круглый стол, за столом сидят важные люди и ведут серьёзный разговор. Я особенно-то и не вслушиваюсь… Но вдруг до меня доносится знакомый гулкий бас—да это же голос того самого Начальника! Ну конечно же, это он! Только выглядит ещё более респектабельно. Занимает теперь небось—ого-го!—высочайший какой-нибудь пост… Страшно даже представить. Камера наезжает на него—и вот уж Начальник красуется крупным планом, и жгучие чёрные его глаза смотрят на меня в упор, буравят мне душу.

«…В наши дни занимать позицию стороннего наблюдателя просто преступно!—говорит Начальник, не сводя с меня магнитного немигающего взгляда.—Мы так долго ждали перемен—и вот это время пришло! Ветер свободы дует в наши паруса! Судьба перестройки зависит от каждого из нас. Как сказал поэт: „Если ты гореть не будешь, если я гореть не буду—кто тогда развеет тьму?!..“»

Неведомая сила заставляет меня приподняться на локтях. И вот я уже сижу в кровати, прислонившись к стене.

«Очнись, пробудись от многолетней спячки!—восклицает, обращаясь ко мне с экрана, Начальник, и страстный его призыв сотрясает мою душу.—Восстань, поэт! И виждь, и внемли, исполнись волею моей!..»

И я—встаю, распрямляю плечи. Давнее многолетнее заклятие снято наконец-то с моей души. С трудом передвигая ноги, я подхожу к окну, распахиваю пыльные створки и жадно вдыхаю

всей грудью сладкий апрельский воздух. Весна! Свобода!

Потом подхожу к зеркалу—и вижу бледного, мутноглазого, заросшего седой щетиной старика… И это—я?!..

Не в силах перенести это сладкое, горькое, запоздалое, оглушительное потрясение, я тут же теряю сознание, а когда прихожу в себя—спустя ещё четверть века!—то узнаю от моих родных и близких, что все эти годы я находился в коме после инсульта, и каким-то чудом я всё ещё жив—и могу сказать им сейчас об этом… Но я молчу!

Я не спешу заговаривать с ними, не спешу возвращаться в нормальный мир. Почему, почему… Этот мир мне не нравится, вот почему. И я не хочу принимать участия в этой жизни, которая мне совсем не нравится. Уж я лучше останусь мумией, паралитиком, живым трупом, вечным сторожем в зоне Ру. Подожду, чем всё это закончится…

Ау!

—Тебе не кажется, дорогая, что сегодня он выглядит лучше, чем обычно?—спрашивает доктор Цзянь Куй, застёгивая брюки.

—Угу-у,—сыто мурлычет моя нестареющая жена, поднимаясь с пола.—Спящий красавец!

—Нет, я серьёзно. В последнее время у твоего мужа порозовели щёки, он посвежел, я бы даже сказал—похорошел…

—Фу-у… Ты что, некрофил?

—Что за шутки?.. Я просто хотел сказать, что твой муж явно пошёл на поправку. Все пролежни исчезли, физиологические отправления регулярные, анализы в норме, сердечно-сосудистая система в порядке… А ты прислушайся, как он ровно дышит! Не удивлюсь, если вскоре он придёт в себя и начнёт вставать…

—Ох, не знаю,—вздохнула моя жена,—не знаю, хочу ли я этого…

—Но ведь когда-то ты любила этого человека?—вкрадчиво спросил доктор Куй, глядя на неё с любопытством естествоиспытателя.—Ведь любила же?

—Конечно, любила. И что? Тогда я была девчонкой, а сейчас? Сейчас я почти старуха… мне скоро пятьдесят. И зачем ты со мной путаешься, Цзяньчик? Не мог найти русских баб помоложе? А может, ты—геронтофил?

—Ну, во-первых, все русские женщины, кто помоложе, свалили за Урал или в японскую зону, на Дальний Восток,—усмехнулся доктор.—А во-вторых, ты ещё не старуха. Мои целебные травки и иглоукалывания, которые я тебе прописал, своё дело сделали… И потом, я всегда любил зрелых женщин—у них можно многому научиться.

—Ох и ловок же ты языком паутину плести,—и моя жена потёрлась о его плечо, словно кошка.—Спасибо тебе за всё, Цзяньчик…

«Это какой же сейчас год?—вдруг подумал я.—Если ей скоро пятьдесят, а когда мы поженились, ей было восемнадцать… значит… значит…»

—На здоровье,—сказал доктор.—А муж твой и впрямь будто помолодел… Как ты его назвала? Спящий красавец? Это, что ли, как в сказке?

—Ну, в сказке—спящая красавица. Её злая волшебница заколдовала: мол, пока её принц не поцелует, красавица не проснётся.

—И поцеловал?

—Конечно. Ведь сказка же.

—Так, может, и ты должна своего мужа поцеловать—и тогда он проснётся?

—Очень смешно!

—Не сердись, я же пошутил…

—Юмор у тебя дурацкий!

—Не дурацкий—китайский… Ну не сердись. Дуй-бу-ци… Ну иди сюда. Ну давай я тебя приласкаю. Ах ты, моя сварливая сибирская ко-шеч-ка… ворчливая ты моя ки-су-ля…

Кто из нас без греха?

Нет, не мне быть судьёй своей жены.

Если строго-то разобраться—сам я закоренелый грешник, хотя большую часть своей жизни пролежал тут, как восковая кукла. Всё успел! И крал, и прелюбодействовал, и обманывал… Помню, ещё школьником был, зашёл как-то в дом-музей Сурикова—и украл с его письменного стола бронзовую крышку от стеклянной чернильницы. Зачем? Сам не знаю. Дома спрятал, чтоб мама не заметила, даже в школу побоялся нести: чем тут хвастать? Маялся так неделю, потом не выдержал—и поплёлся в тот же музей, чтобы вернуть крышку на место. Захожу в ту мемориальную комнату, гляжу—стоит на столе чернильнице, а на ней… крышка! Точно такая же!

Спустя много лет, в студенческом общежитии, по-тихому согрешил с женой своего друга—то есть это было не просто прелюбодеяние, а предательство! И ведь ничего, пережил, забыл, затуманил в памяти. А потом, позднее, совсем случайно узнал, что чуть ли не в те же лихие дни мой рогатый дружок точно так же наставил рога и мне, переспав с моей тогдашней девушкой. И вовсе не из мести, а просто так.

Правда, не убивал. Не довелось как-то, не успел… И я улыбнулся, довольный, что хоть этого, самого тяжкого, греха за мной не числится.

Не убивал?

А если хорошенько подумать? А если вспомнить?

Да брось ты! Чего тут ещё вспоминать?

Ну а всё-таки?..

Вспомни хотя бы ту осень, когда ты, студент-медик, был на так называемых сельхозработах в каком-то колхозе, на уборке урожая… ну, вспомнил?

А девушку свою помнишь—которую ты убил?

Что за бред! Это был всего-навсего несчастный случай!

Разумеется, это был несчастный случай… но если бы не ты, не твоя любовь, а вернее сказать, не твоя безудержная похоть, эта девушка до сих пор преспокойно жила бы, у неё были бы дети и внуки…

Но кто мог тогда предугадать?!

Это был один из первых моих юношеских романов. И не надо сейчас ничего преувеличивать… не надо романтизировать… Ведь если бы девушка

не погибла — мы, вне всяких сомнений, вскоре расстались бы с ней навсегда. Ничего, кроме плотского вожделения, она во мне не пробуждала. Голос её мне казался слишком грубым, шутки — слишком вульгарными, вкусы — слишком поверхностными и обывательскими. Мне не о чем было с ней разговаривать… Но у нас не было проблемы — чем заняться… Как — чем? Любовью, конечно! И при малейшей возможности мы с юным ненасытным неистовством предавались древнейшему пороку, которым одновременно, ежесекундно на нашей многогрешной планете занимаются миллионы пар… Иногда мне даже кажется, что я слышу скрип миллионов кроватей, слышу стоны и вздохи миллионов совокупляющихся… и всё это — звуки того неустанного вечного двигателя, который несёт нашу Вселенную вдаль, в бесконечность, в неотвратимую преисподнюю…

Моя юная возлюбленная работала на сушилке, подгребала зерно, заполняющее бункер, а когда снизу подъезжала грузовая машина, она открывала заслонку — и зерно обрушивалось из бункера в кузов. Уборочная страда была в разгаре, и моей девушке приходилось работать даже в ночную смену. Помню, в ту ночь я отправился к ней, движимый неутолимой похотью, — и мы привычно сплелись в объятиях, прямо в бункере, на горячем зерне, наслаждаясь не только любовью, но и свершаемым нами кощунственным святотатством. Потому что ведь это же страшный грех — на зерне, на хлебе!.. Хоть и был я тогда атеистом до мозга костей, но присутствовало во мне в те минуты чёткое осознание совершаемого греха… и оно лишь обостряло горячечное сладострастие. Увлечённые, мы не слышали, как там, внизу, подъехала машина, мы не слышали её сигналов, не слышали криков водителя, который, не докричавшись, сам отодвинул снизу тугую заслонку, и гора золотого зерна, на котором мы страстно и самозабвенно предавались любви, вдруг провалилась под нами и ухнула вниз — и мгновенно утянула за собой мою ненаглядную, и последнее, что осталось в моей памяти, — её расширенные глаза и распахнутый рот, а сам я инстинктивно от неё оттолкнулся, рванулся кверху… да! — сейчас, спустя столько лет, я отчётливо вспоминаю, что я не просто оттолкнулся — я оттолкнул её от себя, я подтолкнул её в бездну, в гибельную шуршащую воронку, куда засосала её зерновая лавина. Сам я спасся. Она — погибла. Всё это длилось какие-то секунды, но запомнилось навсегда. Я, конечно, кричал, звал на помощь, метался. А потом, когда кем-то была закрыта заслонка и отключён ток, я вытащил бездыханную мою возлюбленную — и тщетно пытался её воскресить, делая искусственное дыхание… Но ведь мог же и тогда догадаться, что всё это бесполезно! И трахея, и бронхи у неё были плотно забиты зерном. И спасти было невозможно.

Да, я всё это помню в деталях, в подробностях. И я помню, конечно же, имя той несчастной девушки — но не хочу сейчас произносить его всуе, отягощая и без того тяжкий грех, лежащий на моей душе…

Эй, послушай!

Какой такой грех? Какая такая душа? Что за сказки?

Ты же сам говорил: несчастный случай. Несчастный случай — и ты тут совсем ни при чём. Так и следователь тогда сказал. Поэтому успокойся, никакой ты не грешник. Простой, обыкновенный человек.

Простой, обыкновенный убийца…

Опять?! Может, хватит?

А что, не очень приятно вспоминать о других убийствах?

Да не было, не было, не было никаких убийств!

Как же, не было… А вспомни того китайца-наркомана, в краевой психобольнице, которому ты сразу, как только он поступил к тебе в состоянии жуткой абстиненции, отменил все наркотики — и у него тут же обострился туберкулёзный процесс в обоих лёгких, и он за два дня загнулся, и ты ведь прекрасно тогда понимал, что именно ты, ты, ты ускорил его гибель!.. на наркотиках, на малых дозах, он бы смог постепенно выйти из абстиненции, а ты… ты, ссылаясь на инструкции, — ты убил его, вот и всё.

А потом, позднее, уже работая в городской психобольнице, — помнишь, как ты, без особой нужды, без жизненных показаний, а лишь подчиняясь давлению главного врача, который хотел отчитаться перед начальством о внедрении «новейших методик», — помнишь, как ты назначил молодому шизофренику курс атропино-шоковой терапии? И он умер — не смог выйти из атропиновой комы. Ты убил его. Ты убил…

Но хватит! Хватит… Да здравствует тотальная амнезия. Да здравствует вечное забвение… К чему ворошить прошлое? Между нами, грешниками, говоря, нет на свете людей безупречных, неуязвимых, чистых…

3. Малая родина в собственном соку

Хирургия

…Уже в который раз мне приснилось, будто стою за операционным столом — в белом халате, в маске, в руке скальпель, — и собираюсь делать операцию по удалению воспалённого аппендикса… и даже во сне понимаю прекрасно, что я не хирург, никогда не любил хирургию, вид крови всегда вызывал во мне отвращение… но вот зачем-то же снится мне этот сон! Дрожат руки, трепещет сердце, и я судорожно пытаюсь вспомнить, что там написано в учебнике про аппендэктомию — главное, не забыть потом, когда аппендикс будет удалён, наложить на слепую кишку кисетный шов… а потом… а потом… что потом? Кто подскажет?!

В ужасе просыпаюсь — и вижу свою привычную комнату, и я, как обычно, лежу в кровати, напротив меня негромко бормочет включённый телевизор, в окно светит мартовское солнце, сверкают сосульки… Сегодня же — Масленица! Проводы русской зимы! И все домашние оставили меня, ушли в парк «Русский мир» — так теперь называется парк

культуры и отдыха имени Горького… Там должны быть гуляния, ярмарка, всякие увеселения, блины…

Долго не могу отдышаться после кошмарного сна. Почему эта хирургия не оставляет меня в покое? Сам ведь я никаких операций никогда не делал, даже в студенческие годы стремился их избегать, только ассистировал пару раз по приказу преподавателя да ещё на практике по гинекологии сделал несколько абортов… до сих пор с отвращением вспоминаю этот хруст стенки матки под стальной кюреткой! Ну, ещё спинно-мозговую пункцию приходилось делать… но разве это операция? А вот почему-то же снится и снится без конца всё одно и то же… Какой смысл в этих снах, кто мне объяснит?

Напротив дома, в котором мы жили с мамой, находилось здание больницы скорой помощи, бывший архиерейский дом, куда я попадал, по-моему, трижды. Первый раз—когда мне, семилетнему, случайно разбили голову свинцовой битой во время игры в «чику». Сам был виноват—подвернулся под руку. Пацаны сразу же потащили меня, окровавленного, со двора и через дорогу—в больницу. Я орал, будто меня режут. Но всё обошлось: врачи наложили швы, поставили противостолбнячный укол, и те же пацаны отнесли меня к маме, которая, увидев забинтованного сынка, страшно побледнела, но быстро пришла в себя.

Второй раз я попал в хирургию, когда учился в третьем, кажется, классе: мы купались в Енисее, забираясь на бревенчатые боны и ныряя с них в воду. И вот, вынырнув и снова забравшись на боны, я обнаружил, что за моей правой ногой тянется кровавый след, а полуоторванный мизинец болтается на лоскутке кожи… Снова помогли пацаны, подхватившие меня под руки,—помогли мне допрыгать по улице Горького до неотложки, где хирурги пришили мне мой мизинец.

В третий раз я попал в ту же хирургию после того, как безуспешно пытался покончить жизнь самоубийством. Мне тогда было семнадцать лет, я учился на первом курсе мединститута,—и, выражаясь протокольным языком, поводом к суициду послужило «разочарование в профессии», а если честно—то самое отвращение к хирургии, которое я так и не смог, как ни пытался, в себе побороть. Поняв это окончательно, я решился на единственную и последнюю хирургическую операцию—искромсал себе левое запястье безопасной бритвой, но тут меня застукала неожиданно пришедшая к нам тётя Шура—и погнала в неотложку…

Как всё это было давно! А дурацкие хирургические сны продолжают сниться, не оставляют в покое, терзают душу.

Проводы русской зимы

«…Сегодня все жители зоны Ру отмечают славный праздник Масленицы,—радостно произносит улыбчивый телеведущий, явно наполовину китаец (русских-то на телевидении почти не осталось).—Мы ведём репортаж из центрального парка «Русский мир», где проходят гуляния, игры, конкурсы, развёрнуты ярмарочные ряды, здесь же можно увидеть выставку декоративно-прикладного искусства. Полюбуйтесь на эти разноцветные лоскутные одеяла! А как красивы берёзовые туеса! На церемонии открытия ярмарки выступили представители мэрии и братской китайской администрации, которые подтвердили совместную готовность и впредь всячески содействовать укреплению и развитию добрых традиций русского народа. Вы видите на экране гостей, приехавших к нам из Китая. Они рады передать братский привет всем жителям Кырска! А сейчас перед вами—участники народного празднества, фермеры из Емельяновского района… Представьтесь, пожалуйста!»—«Нинь-хао!—говорит фермер.—Меня зовут Чжоу, а это моя жена Маруся… Мы очень рады, что оказались на этом празднике, мы долго к нему готовились. На ярмарке много интересного, особенно мне понравился дрессированный русский медведь…»—«Ага!—подтвердила Маруся.—Мишка такой прикольный! Как он здорово под гармошку пляшет! А мы с Чжоу поём в нашем районном хоре… Скажи, Чжоу?»—«Ши!—кивает супруг.—Особенно мне нравится „Ой, мороз, мороз…“»—«А вам, Маруся?»—«А я больше всего люблю старинный русский романс «Соловей» Алябьева!»—«Может, споёте для наших телезрителей?»—«Да запросто!—Маруся откашлялась—и запела:—Сяо-ляо-вей мой, сяо-ляо-вей, гао-ляоси-сий сяо-ляо-вей! Сяо-ляо-вей… Ха-ха! Сяо-ляо-вей… Ха-ха!.. Ну и так далее…»—«Спасибо! Замечательно! Как радостно видеть, что в сибирской глубинке живы корни русской народной культуры! И куда вы сейчас направляетесь?»—«Хочу забраться вон на тот столб,—сказал Чжоу, кивая куда-то влево,—и тогда мне достанется призновые сапоги. В хозяйстве пригодятся. Русские сапоги—лучшие сапоги в мире! Ши!»—«Что ж, желаю удачи»,—подмигнул ему ведущий. «Это он запросто,—сказала Маруся.—Чжоу у меня такой ловкий, чертяка… Ну, покедова!»—«А праздник продолжается,—гостеприимно распахивая руки, сказал ведущий.—На центральной аллее вас ждут ряды ярмарочных товаров, которые доставлены из разных районов края… А на сцене зелёного театра—сборный хор готовится к праздничному концерту. В честь Масленицы сегодня в парке «Русский мир» открыты новые национальные аттракционы, возрождающие старинные народные традиции и ритуалы. Допоздна будут продолжаться гуляния, песни и танцы, а когда стемнеет, на берегу Енисея молодёжь будет прыгать через костёр, демонстрируя свою удаль, а потом состоится кульминационное действо—сожжение в этом костре чучела Зимы! Обещаю вам—это будет великолепное зрелище! Сердце каждого русского человека содрогнётся от счастья!»

…Кстати, с проводами русской зимы связано ещё одно давнее воспоминание. Вскоре после неудачной попытки самоубийства я совершил попытку лишить девственности любимую девушку, и эта попытка тоже не удалась. А ведь моя ненаглядная синеглазка так хорошо подготовилась! Она сама организовала наше свидание у неё дома—всё подстроила так, чтобы в тот день не было ни папы,

ни мамы, ни брата (они ушли на центральную площадь, где проходили масленичные гуляния), она же встретила меня с нежной улыбкой и торжественно подвела к готовой постели. Откинула тонкое покрывало, быстро сняла домашний халатик, стянула трусики и легла на чистейшую белоснежную простыню и закрыла глаза. Я замешкался, но тоже разделся, правда, не снял носки, и лёг рядом, не очень уверенный в том, что хорошо знаю, что надо делать дальше… Ах, если бы всё это происходило где-нибудь в лесу, или в парке, или в подвале, или даже в тёмном подъезде… Ах, если бы — в спешке, в горячке, в лихорадочном исступлении страсти… А тут как-то всё выходило спокойно, прохладно и слишком уж чисто, уютно и аккуратно… Вот эта её стерильная женская (даже не девичья!) скрупулёзность и рассудительность меня тогда и отпугнула, мне вдруг почудилось во всём этом нечто медицинское… и наше свидание, так тщательно ею подготовленное, показалось мне похожим на медицинскую процедуру, на хирургическую операцию… Операция дефлорации! Именно так! И вот это меня жутко расстроило и огорчило, и я вдруг не захотел внедряться в её распахнутые райские кущи, я тупо потыкался в её гостеприимную чистенькую промежность — и отступил, обильно запачкав белоснежную простыню.

— Извини, — сказал я.

— Да ладно, — сказала она.

— Ну пожалуйста, извини, — повторил я, умирая от стыда и разочарования.

— Прекрати извиняться! — сказала она раздражённо.

Я ведь был в юности жуткий романтик! Хотя и снедаемый похотью, но романтик… похотливый, но грустный романтик…

И хотя позднее, в более спонтанной, импульсивно-импровизационной, не организованной никем ситуации у нас с ней всё получилось вполне нормально и мы оба потом от души посмеялись над моим дебютным фиаско, но я чётко осознавал, что она, моя нежная и любимая синеглазка, сразу, тогда же, после той неудавшейся «операции», поставила на мне крест, исключила меня из своих стратегических планов как ненадёжного спутника жизни…

Красная пустыня

…Вспомнилась и ещё одна встреча, но уже с другой моей бывшей возлюбленной, рыженькой и зеленоглазой попрыгуньей; с ней мы встретились на заре перестройки, спустя пару лет после разрыва… Совершенно случайно мы оказались рядом в зале кинотеатра, где показывали фильм итальянского режиссёра Антониони «Красная пустыня»…

…О Моника Витти, ясноглазая и печальная звезда моей горькой юности… Долго же мне пришлось тебя дожидаться. Так долго, что когда наконец я увидел этот фильм, то испытал лёгкое разочарование. С чем бы это сравнить? В старом Китае девочек с раннего детства заставляли носить тесную обувь — чтобы ножка сохраняла миниатюрное изящество. Наши совковые души с рождения тоже были втиснуты в колодки — и попробуй потом распрямись! Так что лучше уж никогда, чем поздно… Но ведь я совсем не о том хотел — сам себе — рассказать!

Я хотел — о случайной встрече после разлуки в тёмном зале кинотеатра. Ведь эта худенькая рыжеволосая женщина когда-то поистерзала моё заячье сердечко, да и я её, если честно сознаться, помучил достаточно… Но кому это нужно знать — кроме меня? Простых, нормальных людей уже тошнит от закомплексованных нытиков, копающихся в своей консервированной душонке с таким же мазохистским сладострастием, с каким простодушный дебил ковыряется в носу, выколупывая сухие козявки… Стыдно, брат.

Впрочем, никакой трогательной встречи в тот вечер и не произошло. Да, мы оказались с ней рядом и просидели плечом к плечу в течение томительных полутора часов. Всё так и было… Но мы не сказали друг другу ни слова! Как выражался чеховский Чебутыкин: не угодно ли вам сей финик принять?!

Мы промолчали все полтора часа.

Быть может, она меня не узнала?

Почему же — узнала. Ещё как узнала. Вздрогнула, напряглась, стрельнула зелёным глазом. Узнала — и, вероятно, ждала, что я первый… ну и так далее. Но я — ни звука. Поэтому и она — молчок. Немая комедия, ей-богу. Мы припухли и даже не повернулись друг к другу. Словно палые сухие листья, способные лишь на шелест, на лирический шорох (не забыть бы — вернуть этот славненький образ в бюро проката), словно робкие хрупкие бабочки, мимикрически притворившиеся двумя цветками, двумя незабудками, если так можно выразиться, а если нельзя — то двумя анютиными глазками, ну и так далее. Именно так мы и просидели, в ностальгическом окоченении, напряжённые притворщики, совсем рядом, молча, подряд полтора часа, и оба, конечно, мысленно разоблачили друг друга — но ни звука при этом не произнесли. Мы таращились на экран. И там, на мерцающем волшебном холсте, на белой скатерти-самобранке, мы, опять же как тени, слонялись среди вымышленных персонажей, там мы встретились наконец-то, там наши души соприкоснулись и переплелись. И мне вдруг показалось, что я совершенно перевоплотился в экранного героя-американца с тяжёлым волевым подбородком, а она — вот она, рядом, в облике загадочной Моники Витти, и чудесные её глаза смотрят на меня с любовью и нежностью. Ведь именно об этом мы и мечтали — стать героями заочно любимого фильма, не обязательно именно этого… но можно и этого. Наши души выпорхнули из грудных клеток и переметнулись на экран, а ветхие телесные оболочки остались в креслах, словно сброшенные пальто…

Так мы и просидели молча весь сеанс, рядом, не касаясь друг друга и неотрывно глядя на экран. Мы смотрели на самих себя. Мы смотрели кино про самих себя, про то, какими хотели мы быть изысканными («некоммуникабельными»!) страдальцами и какими мы никогда не были и не стали — и теперь уж не станем…

А когда фильм закончился, мы встали — и, не глядя друг на друга, разошлись в разные стороны. Вот и всё. Такие дела. Долгожданная встреча не состоялась. Пшик.

А ведь как можно было бы славно пообщаться! Мы могли бы о стольком поговорить, мы могли бы весь вечер… и ночь напролёт… до утра мы могли бы взахлёб разговаривать, перебивая друг друга… Так ведь нет же — разбежались трусливо, как мыши… Ну что мы за люди такие?! Нет, мы не люди, мы ненормальные, мы инвалиды, калеки, ветераны холодной войны, полузадушенные, полузадохшиеся… и наши неразвитые души за годы бездействия и духовной блокады завяли и высохли… и привыкли мы жить лишь воображением, а живая реальность пугает нас и отвращает. Наши органы чувств атрофировались от многолетнего неупотребления — и мы ослепли, как кроты, онемели, как рыбы, оглохли, как… как… Мы совсем не чувствуем друг друга, не ощущаем ни вкусов, ни запахов… Как же долго мы прозябали в нашей «красной пустыне», корчась от зависти и тоски…

Впрочем, думал я, выйдя в тот вечер из кинотеатра, сейчас жизнь настала совсем другая. Времена изменились: живи и радуйся. Говори что хочешь. Читай что хочешь. Смотри что хочешь. Если хочешь, конечно. А если хочешь — будь счастлив. Ведь правда же? Правда же? Ну чего ты молчишь? Конечно, правда!

Но моя-то жизнь… но моя любовь… но моё-то счастье…

Чучело любви

Так весь день и прошёл в полудрёме, и когда, уже поздно вечером, вернулась моя жена, на телеэкране показывали сжигание чучела Зимы — зрелище зело забавное.

— А вот и мы, герои детских сказок! — сказала супруга, помахивая мне ладошкой. — Надеюсь, ты тут не скучал?

Она была пьяна. Она была похожа на чучело Зимы — такая же взъерошенная, разлохмаченная, с такими же вытаращенными безумными глазами.

…Примерно так же выглядела она в тот день, когда впервые привела домой своего косоглазого доктора: целовалась с ним у меня на глазах, спала с ним на полу, в двух метрах от меня, хихикала, как идиотка, произносила похабные слова…

Как такое можно забыть и простить?

Как такое можно было стерпеть?

Как такое можно было допустить?!

…Ах, ну да — ты же был в коме… ты был в состоянии кататонического ступора… ты был в состоянии гипнотического транса… ты был па-ра-ли-зо-ван…

Но ведь ты был рядом — и ты всё это видел! И сейчас ты видишь её — и молчишь, и не скажешь ни слова!

— Чего уставился? — проворчала пьяная жена. — Не нравлюсь? Ах, недоволен, что я выпила? Так ведь праздник сегодня! Масленица! Проводы русской зимы! Даже мамочка моя на карусели каталась… так накаталась, баба-яга, что её потом скорая увезла… боюсь — загнётся… А ты не катайся на карусели, старуха! Чего молчишь? Чего уставился? Или ты ревнуешь? Не имеешь права! Молчишь? Ну и молчи! Если б не ты, я давно бы отсюда уехала… И не в Китай, на хрена мне эта Поднебесная… И не в японскую зону… На Запад свалила бы, как многие, — у нас здесь, в зоне Ру, ловить нечего… Вон сынок наш окончательно решил уехать в американскую зону… жена его там давно уж, теперь и он с Настей хочет… А я тут, возле тебя, сижу как привязанная… дура!.. дура, конечно… долг свой супружеский выполняю… Если б не ты… ах, если б не ты! Если б не ты — я совсем по-другому бы жизнь прожила… Я бы ни за что не стала аборты делать — а ведь это ты меня, девчонку, дважды гонял на аборты! Чего смотришь, мудак? Забыл? Разве я говорю неправду? Чистая правда! Двое деточек… — и она всхлипнула. — Двое ангелочков… это ты их заставил убить… ты! А эти деточки были бы, может, получше, чем тот, что у нас сейчас — ни рыба ни мясо… я знаю! Я в этом уверена! — Жена зарыдала. — Из одного убиенного деточки мог бы вырасти гениальный скрипач… я знаю! Я знаю! А вторая деточка… ангелочек!.. девочка моя неродившаяся… нежная, сладкая!.. Из неё бы выросла чемпионка мира по фигурному катанию… как Ирина Роднина! И не смейся, гад! Не смей, гад, смеяться над моим горем! Развалился тут, лежит… вонючка, гнида, тварь… Чтоб ты сдох скорей! Кощей бессмертный! Чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох! Чтоб ты сдох!

4. Замри-отомри

Милка моя

…В эту майскую ночь мне приснилась Милка — старая гнедая кобыла, жившая при нашей психобольнице ещё в ту пору, когда я только начал работать врачом-психиатром… Сонно жующая сено, смешанное с комбикормом, она дремлет стоя на задворках больничного двора. «Милка моя, — говорю я, поглаживая крутую холку, мягко расправляя спутавшуюся гриву, — лошадка ты моя славная…» Она добродушно ржёт, скалит жёлтые зубы, косит карим огромным глазом.

В этом сне я зачем-то привёл её к себе домой, в однокомнатную квартиру на третьем этаже «хрущёвской» пятиэтажки, и мы стали с ней жить вдвоём. Кормил я её неплохо, давал и ячмень, и овёс, и морковку добавлял, и поил трижды в день вволю, и соли не забывал подсыпать. Собирал для неё с газонов в целлофановый мешок свежескошенную душистую сочную траву. Аккуратно расчёсывал большим гребнем чёрный хвост и гриву, так же тщательно чистил щёткой её гнедой корпус, пока короткая тёмно-коричневая шерсть не начинала блестеть и лосниться.

А потом я вывел её на балкон — то есть целиком она выйти, конечно же, не могла, а лишь

полкорпуса высунула наружу,—и я стоял рядом, опершись на перила, и поглаживал её трепетную морду, и ласково теребил её гриву. Милка спокойно смотрела с балкона—сверху вниз—на город, на людей, на машины, на кроны деревьев, на далёкие синие горы, на огромный, бескрайний мир—и я видел в её лошадином взгляде полное равнодушие. Этот шумный мир её не интересовал. Она устала от этой жизни. И ко мне она относилась спокойно—с тихой вежливой благодарностью, но без проявлений особой любви и привязанности.

А ночью я вывел её на прогулку во двор, а потом и на улицу, где в этот час не было ни прохожих, ни машин. Мы неспешно шли с ней рядом, и по лёгкой дрожи, пробегавшей по её крупу, я мог угадать, что истомившаяся кобыла готова ускорить шаг. «Ах, Милка моя,—прошептал я, обнимая её тёплую голову, целуя её в гуттаперчевые сухие губы.—Ну, держись!»

И вскочил на неё верхом, и крепко вцепился пальцами в гриву, и ударил пятками в тёплые и тугие бока—и закричал: «Н-но!.. Милка, пошла!»

И она понеслась—и не рысью, а стремительным галопом,—легко и свободно, как в молодости, как в юности, как в детстве, как в сладком деревенском сне…

Внучка

— Деда, привет, это я, Настя. Папа на работе, прабабушка умерла в больнице, а бабушка ушла в школу—сегодня там родительское собрание. Она попросила, чтобы я с тобой посидела. А я скоро пойду в первый класс! Как жалко, что ты молчишь, я бы с тобой посоветовалась—что мне лучше надеть первого сентября… Я вся на нервах, деда! Мама с бабушкой хотят, чтобы я надела школьную китайскую форму, как у всех, а мне хочется чёрный бархатный сарафанчик с серебряной пряжечкой и розовую кофточку с перламутровыми пуговками… И синие туфельки! Как ты думаешь? Ну да, ты же не разговариваешь… А смотришь так, будто всё понимаешь. А ты, деда, не притворяешься? Я бы никому-никому не сказала, это был бы наш с тобой секрет! Ну, не хочешь—не надо. А папа собирается скоро уезжать в американскую зону, к маме… Насовсем! Ты представляешь? Он хочет сначала один уехать, а потом, когда устроится,—и меня заберёт с бабушкой… Нет, ты представляешь? Я вся на нервах! Я совсем не хочу уезжать! А тебя они не хотят забирать с собой… Ты представляешь? Хотят тебя здесь оставить, этим китайцам… А мне это очень не нравится, потому что я не хочу жить без тебя! Как—почему? Да потому, что ты мой самый любимый дедушка, вот почему. Ты немой, но ты мой! И мне совсем не противно, что ты немножко плохо пахнешь, я бы тебя протирала вкусным одеколончиком, и ты бы пахнул ну как цветочек, честное слово… Ах, дедуля… Мне бы очень хотелось, чтобы ты поскорее выздоровел—и мы бы с тобой дружили, и разговаривали бы, и вместе играли бы, и делились бы разными секретами… Ты не хочешь? Мне кажется, что ты хочешь мне что-то сказать… Ведь правда же? Правда? Ах, деда, я вся на нервах… Сейчас я тебе открою страшную тайну, но ты никому-никому, даже если вдруг сможешь заговорить… Вот эта страшная тайна: когда я вырасту, я выйду замуж за Вадика из нашего двора, он тоже первого сентября пойдёт в школу, и мы с ним вчера поклялись в вечной любви, мы поклялись на крови! Да! Вот, посмотри: мой пальчик, а на пальчике ранка—это я вчера ножиком расковыряла и кровью расписалась на бумажке, и Вадик тоже свой пальчик расковырял и тоже расписался—и мы поклялись, что будем любить друг друга до гроба, а если кто предаст, нарушит эту клятву, тот будет проклят на веки вечные! Я вся на нервах, деда! Ты улыбаешься? Значит, ты понял, что я сказала? Скажи—ты всё понял? Если да, то моргни—и я буду знать… Ага!!! Ты моргнул—значит, ты всё слышишь и понимаешь! Обманщик! Притворщик! Но, деда, тс-с-с—я никому не скажу… Ни-ко-му! Ни-ког-да! Ни за что! Тс-с-с!

Страх

…Детка моя, внученька, хоть бы с тобой ничего не случилось… Хоть бы ты успела пожить, испытать все земные радости…

Если б не страх за тебя, моя маленькая, я ни о чём бы не волновался.

Страх за тех, кого любишь, всегда меня мучил. Когда-то я так же боялся за свою маму, а потом за свою жену—когда любил её, когда она меня любила… Помню, молодая, кареглазая, загорелая, в розовом сарафанчике, в лёгких босоножках—смотрит на меня, смеётся. А сердце моё сжимается—от страха её потерять. Любовь и страх были неразлучны. По утрам я смотрел на её спящее беззащитное лицо—живая… родная… любимая… Но какая хрупкая! Как легко её обмануть, обидеть… как легко ранить, причинить боль… Я боялся дышать, вслушиваясь в её дыхание… Как всё это хрупко, непрочно, недолговечно!

Сейчас даже вспомнить стыдно. Я старался не отпускать жену ни на шаг, провожал её по утрам в контору, а вечером непременно встречал после службы. Переходя с ней через улицу, крепко держал её за руку: вдруг налетит машина с пьяным шофёром? Оберегая жену от простуды, не разрешал ей пить сырую воду, есть мороженое… Поначалу она смеялась надо мной, ей даже было лестно моё влюблённое опекунство, но постепенно, конечно же, всё это стало её раздражать.

А уж когда родился сын—тут я совсем лишился покоя. На каждом шагу обмирал от страха, покрывался холодным потом: а вдруг заболеет? а почему плохо берёт грудь? а почему вдруг животик вздулся? а почему плачет? а почему молчит? Да-а… поводов для тревоги было предостаточно.

Помню, однажды мы были в гостях у моего друга. Жаркий июльский полдень, дверь на балкон распахнута. На балконе—коляска с нашим сыночком. Он сладко посапывал на свежем воздухе, а мы тут же, поблизости, в комнате, сидели за праздничным столом, отмечали день рождения гостеприимного хозяина. Я время от времени поглядывал через плечо—сынок сладко спал, даже мухи его не тревожили. Я смеялся, шутил, пил за здоровье именинника, и всё было прекрасно,

и я был счастлив. Но вдруг я представил,—я увидел это ярко, как наяву!—будто мой сын проснулся, привстал в коляске, ухватился ручонками за балконные перила—и полетел вниз, с двенадцатого этажа. Я даже вскрикнул от ужаса. Жена испуганно на меня посмотрела:
— Ну что опять?
— Извини… померещилось…

…И чем крепче привязывался я к жене и ребёнку, тем острее и невыносимее становился мой страх. А потом… а потом… а теперь…

А теперь, когда в этом холодном мире единственным близким мне человеком осталась внучка, я боюсь потерять её. Потому что всех других я уже потерял, и они меня давно потеряли.

Близнецы

Впервые хрупкость человеческой жизни я осознал в раннем детстве, когда на моих глазах погибли два брата-близнеца, Серёжка с Виталькой…

Мы жили в одном дворе, и Серёжка с Виталькой всегда были неразлучны—вместе ходили, играли, хулиганили. Если кто-то вдруг обижал одного из них, тут же, словно коршун, налетал другой—и без слов начинал мутузить обидчика! Даже самая отъявленная шпана старалась не связываться с близнецами—они в драке не гнушались ничем, могли схватить и кирпич, и кусок железной трубы, и нож. Хотя было им всего лет двенадцать, когда слепая смерть их настигла.

А случилось это в знойный августовский вечер, когда над Кырском пронёсся невесть откуда взявшийся ураган. Бесстрашные близнецы побежали по улице Горького к Енисею, чтобы искупаться назло стихии—под молниями и громом. Они бежали босиком, взявшись за руки, под ливнем и шквальным ветром, и, конечно же, не заметили лежавший поперёк улицы сорванный бурей электрический оголённый провод… Так и погибли оба. Так и лежали рядом, не разжимая рук.

Игра

— Деда, раз ты всё время молчишь, то давай сыграем в игру «Замри-отомри»… Представь, будто бы давным-давно злая волшебница заколдовала тебя—и вот ты ждёшь не дождёшься, когда же придёт добрая волшебница и тебя расколдует… Ну так вот, деда, внимание! Добрая волшебница—это я! Ах, я вся на нервах!.. Сейчас обсикаюсь от волнения… Считаю до трёх—раз, два, три… Отомри! Деда!! Отомри!!! Ага-а! Ты улыбаешься, ты смеёшься—значит, ты притворялся… я так и знала!
— Да, родная, я притворялся… но ты обещала, что меня не выдашь…
— Клянусь! Никому! Ни слова! Это будет наша общая тайна, дедуля! Наша страшная тайна! Никто в мире, никогда, ни за что не узнает об этом—только я и ты! Только я и ты!
— Тише, тише, моя хорошая…
— А зачем же ты притворялся, деда? Зачем?!
— Ну… это долго объяснять… Видишь ли, это у меня была такая игра… я играл в сторожа… я всегда мечтал быть сторожем или смотрителем маяка… впрочем, подробнее я тебе потом… в другой раз… Скоро могут вернуться бабушка с папой… и лучше я потом тебе все расскажу… А пока—давай пошепчемся, как заговорщики… Хорошо?
— Хорошо… Это будет наша с тобой игра! Тс-с-с… никому… ни слова…
— Даже Вадику… Ты согласна? Он хороший, конечно, Вадик… но тайна есть тайна… Согласна?
— Клянусь! Пусть я ослепну, если кому проболтаюсь! Пусть у меня будет заворот кишок! Пусть у меня язык отсохнет! Пусть у меня ноги отвалятся! Пусть я покроюсь красной и чёрной сыпью! Пусть я умру в страшных мучениях! Клянусь!
— Я тебе верю, солнышко…
— Деда, я тебя никогда не брошу…
— И я тебя…
— Бабушка с папой хотят меня увезти на Запад… а я не хочу! Я останусь с тобой! С тобой! Ты же сможешь вставать, ходить… ты ведь сможешь?
— Не знаю, надо попробовать…
— Так попробуй!
— Не сейчас… потом… я хочу доиграть свою игру… А потом мы с тобой вместе спасёмся…
— Как—спасёмся?
— За нами прилетят марсиане… на Тунгусском метеорите… они уже прилетали сюда—много лет назад, в 1907 году… но тогда случилась авария, катастрофа—и корабль погиб… А скоро они снова прилетят—и заберут всех хороших людей на Марс… и нас с тобой тоже… обязательно…
— Это сказка, деда?
— Вот увидишь, это случится. Ты, главное, верь мне, солнышко…
— А если марсиане не прилетят?
— Ну… тогда мы с тобой всё равно спасёмся. Мы что-нибудь придумаем… Я уже придумал! Мы с тобой уплывём на пароходе «Святитель Николай»!
— Это где сейчас музей? Где сидят восковые Ленин и царь Николай?
— Да… они нам не помешают… Мы сядем на этот пароход, возьмём с собой твоего Вадика—и поплывём по Енисею на север, а потом—ещё дальше, дальше… в тёплые страны… пока не найдём какой-нибудь остров, где нам будет хорошо и спокойно…
— Ах, дедуля… ведь я уже не маленькая… а ты мне рассказываешь какие-то сказки… Но я всё равно тебя очень люблю. Я не оставлю тебя одного… разве можно тебя одного оставить! Ты же такой старый, такой беспомощный… и совсем бестолковый… Сочиняешь всякую ерунду… Как же можно такого оставить!

5. Русский ковчег

По душам

Тем не менее, они меня вскоре оставили. Бросили одного.

И жена, и сын, и внучка—все уехали, все сбежали. Маленькая Настя, естественно, в тот же день проговорилась, выдала нашу с ней «страшную тайну»—и мои близкие возмутились, узнав о моём

многолетнем притворстве. Особенно взбесилась жена… Впрочем, об этом не хочется даже и вспоминать. Оскорблённые в лучших чувствах, они с чистой совестью меня покинули, строгие, но справедливые, усталые, но довольные. Оставили полный холодильник продуктов, пачку юаней на столе, мешок свежих памперсов, включённый телевизор, бубнящий круглосуточно и неустанно…

…В первую же ночь после их отъезда мне приснилось, будто я снова работаю сторожем на острове Отдыха—как когда-то давно, в студенческие годы… Едва успев заснуть на своём топчане в сторожке, я был разбужен лаем сторожевой собаки Пальмы. Взяв ружьё, вышел и огляделся—вокруг никого. А собака всё лает и лает. «Пальма, фу! Ты чего разлаялась, дура? Никого же нет!»

И вдруг понял, что лает она… на собственное эхо! Как обычно дворовые псы откликаются на чужой лай, так эта дура лохматая откликается на своё же эхо… Вот идиотка!

«Пальма, ну перестань! Не мешай мне спать!»

А она всё лает и лает, лает и лает… а дальнее эхо словно дразнит её—откликается снова и снова… и так без конца, до утра… так она и не дала мне заснуть в эту ночь. И сама измучилась, и меня измучила своим лаем…

…А быть может, ей просто осточертело кромешное собачье одиночество—и уж очень хотелось хоть с кем-то поговорить по душам… полаять… повыть…

— Нинь-хао, дорогой друг! Только не притворяйтесь спящим и не впадайте в кому… Ха-ха! Это я, доктор Куй, ваш коллега и в некотором роде родственник… извините за глупую шутку… дуй-бу-ци… Затрудняюсь—какой подобрать тон для беседы с вами… Ловко же вы нас всех провели! Даже я был в полной уверенности, что вы и впрямь… Впрочем, что говорить об этом! Кстати, вы не против того, чтобы поговорить со мной?
— О чём? Мне известно, что все мои родственники сбежали из зоны Ру… Чего же вы от меня хотите? Допрос с пристрастием?
— Какой допрос?! Я желаю вам только добра… Я всегда говорил, что желаю вам и вообще всем русским только добра… Я прилагал все усилия, чтобы сохранить ваше здоровье… я помогал вашей жене…
— Я видел, как вы ей помогали…
— Она этого хотела! И получала то, чего хотела! Вы же почему-то уклонялись от исполнения своих обязанностей—симулировали, притворялись, лишь бы не исполнять свои обязанности! А это неправильно. Каждый человек должен исполнять свои обязанности—гражданские, супружеские, отцовские… Вы же злостно от этого уклонялись… Это отвратительно! Это просто уму непостижимо! И что самое удивительное—таких, как вы, среди русских много… Лишь бы уклониться от исполнения своих обязанностей! Лишь бы спрятаться, лишь бы сбежать от судьбы, от жены, от работы, от реальной жизни—в запой, в сочинительство, в бродяжничество… Так вы и сгубили свою замечательную нацию!
— Я сгубил, что ли?
— Да вы все! Не прикидывайтесь дурачком! В том-то вся и беда России, что вы слишком умны! Горе от ума! Правильно писал ваш Грибоедов… Лучше б вы были поглупее, но поаккуратнее, больше бы ценили порядок, правила жизни… Почитайте Конфуция!
— Я читал Конфуция, и он мне не понравился… Ха-ха. Это почти цитата, извините, Цзянь…
— Я знаю, я тоже читал того, кого вы цитируете. Я слишком много прочитал русских книг. Я слишком уважаю и люблю русских…
— …Особенно русских женщин. Особенно чужих русских жён… ага?
— А что ж вы терпели тогда, не встали, не возмутились? Что же вы не набросились на меня с кулаками, когда я, извините, трахал вашу многострадальную жену прямо здесь, вот на этом не очень чистом полу?
— Шикарно звучит: «…трахал вашу многострадальную жену…»
— Вы над кем смеётесь? Над собой смеётесь!
— Ой, ну хватит уже… без цитат никак не можете? Русская литература лезет у вас из ушей, из ваших пор, из ваших китайских ноздрей… чёрт бы вас всех побрал вместе с вашим сраным Конфуцием!
— Вам не удастся меня оскорбить. Я не бью лежачего. И я слишком вас уважаю.
— Меня?! За что же?
— Я читал ваши рассказы… Они очень… очень… Да что с вами говорить! Вы же сами не достойны своего таланта! Вы зарыли его глубоко, глубоко… так глубоко, что…
— Перестаньте меня смущать, премудрый Цзянь. Забудем про мой талант. Пусть он там и гниёт, в этой глубокой глубине… Лучше скажите: чего вы хотите от меня?
— Я хочу помочь вам. Ведь вы остались совсем один…
— Да вам-то что?
— Сколько можно повторять—я вас уважаю, ценю… я хочу, чтобы вы не пропали в этой мерзости запустения…
— О-о, опять цитата!
— Я хочу вас увести отсюда… ведь здесь вы пропадёте! Вы могли бы пойти со мной, я нашёл бы для вас работу в нашем госпитале… Для начала вы могли бы описать свой собственный феномен—своё многолетнее пребывание в коме… это очень важно для науки!
— Для китайской науки?
— А разве есть другая наука?
— Вы это серьёзно?
— Абсолютно. Вы, с вашим потенциалом, смогли бы много пользы принести своему народу…
— Китайскому народу?
— А разве есть другой народ?
— Ах, вы так вопрос ставите… Нет, дружище, не хочется мне приносить пользу—ни вашим, ни нашим… Я привык лежать, и мне нравится эта дурная привычка!
— И не стыдно вам?

— Ничуть. Оставьте меня в покое.
— Я предлагаю вам новую, интересную, увлекательную жизнь! Не хотите заниматься наукой — пишите свои рассказы, мемуары, опишите свои переживания и впечатления…
— Да кому это на хер нужно?
— Ну, не знаю… как ещё вас убеждать? Послушайте! Если вы откажетесь идти со мной, мне придётся поместить вас в дом-интернат для психохроников…
— Там мне и место! Это будет настоящий Русский Ковчег, о котором я так мечтал! Ах, если бы вы поместили нас всех, русских психов, на пароход «Святитель Николай» — и отправили бы по Енисею вниз по течению…
— Не надо так шутить, прошу вас… Вы испытываете моё терпение. Что мне с вами делать, не знаю… И что вы за люди, русские? Но что самое удивительное — когда вы оказываетесь в других странах, то легко адаптируетесь к чужой жизни и даже добиваетесь там больших успехов… Но почему же вы не можете жить нормально на своей родине?
— Да потому, что земля наша — прокажённая и проклятая Богом… Разве вы, Цзянь, не чувствуете сами, что воздух России отравлен, пропитан ядом? Здесь нельзя жить! Нельзя! Бегите отсюда, Цзянь, пока не поздно!
— О чём вы?!
— Да нет, это я шучу… не обращайте внимания… я шучу…
— Разве можно шутить такими вещами?!
— А что, у вас есть список вещей, над которыми нельзя смеяться? Ознакомьте меня, пожалуйста, с этим списком!
— Нет, с вами невозможно разговаривать. Лучше бы вы молчали. Вот молчали же столько лет — и молчали бы дальше…
— Золотые слова. И я с вами совершенно согласен. У меня к вам огромная просьба, дружище. Теперь — без шуток.
— Да, я слушаю.
— С вами я никуда не пойду. И в дом-интернат, если честно, мне тоже не хочется. Свою вонь ещё нюхать можно, чужую — нет. Остаётся один вариант — вы меня оставляете тут одного. Запираете двери, занавесите окна, чтоб никто не совался.
— А если меня вдруг спросят про вас?..
— Да кому я на хер нужен? Столько лет никто про меня не спрашивал, а тут вдруг спросят… Великий многомиллиардный Китай обойдётся без одного креативного русского придурка… Нет, правда, Цзянь, сделайте так, как я прошу. Оставьте меня одного. Забудьте про меня. Оставьте меня в покое!

И он исполнил мою просьбу. Хороший мужик. Настоящий врач-гуманист. В другой жизни, возможно, мы с ним и подружимся… Но не в этой!

Царь-сторож

…После его ухода я провалился в сон — и приснилось мне, будто бы я — Царь-сторож, совершающий ночной обход в парке «Русский мир», где полно замечательных аттракционов, таких, как Царь-пушка, которая не стреляет, Царь-колокол, который не звонит, Царь-рыба, которая не плавает, Царь-медведь, который не рычит и даже не сосёт лапу, Царь-ракета, которая не взлетает, Царь-баба, которая не даёт, Царь-левша с подкованной им Царевной-блохой, которая не скачет… и все эти потешные аттракционы служат только украшением грандиозного парка, только греют русскую душу и не имеют никакого функционального смысла и предназначения…

Но я понимаю, что это не моё собачье дело, а моё собачье дело — сторожить этот парк, эти бессмысленные аттракционы — и не задумываться ни о чём, никогда, ни о чём, ни за что, ни о чём… потому что ведь я — Царь-сторож, который сторожит то, что никому не нужно… потому что я… потому что мы… потому что вы…

Финал

Тишина. Зона Ру опустела. Только телик бубнит еле слышно.

«…Передаём последние известия. Сегодня в зоне Ру умер последний русский, — сообщает милая узкоглазая дикторша. — За Уралом до Владивостока не осталось ни одного русского…»

— Неправда! А я-то жив! Я ведь жив! Я жив!

Мне казалось, что я кричу. Но это мне только казалось.

«…В Эвенкии, недалеко от Ванавары, упал метеорит, уже названный Вторым Тунгусским метеоритом. Китайские учёные поражены совпадением: в этом же самом месте в 1907 году отмечалось падение Первого Тунгусского метеорита…»

— Опоздали… — шепчу. — Опоздали… — шепчу. — Опоздали…

Альбина Гумерова

Дамдых. Волга. Шелангá[1]

Омик

На берегу Волги расположилась деревня. Добраться до неё можно по воде, можно и на машине. Если плыть по Волге, сойти нужно на пристани «Шелангá»[2]. И деревня так же называется. Как проехать на машине — подсказать не могу. Я не езжу и никогда не ездила в Шелангу на машине. Я всегда добиралась туда по Волге и каждый раз на омике. Омик — это «ом», водный транспорт. Есть ещё «мо», но там всё неудобно расположено, он прогулочного плана. На него можно сесть, чтобы просто покататься по Волге без цели и вернуться обратно. А на омике всё по-другому, там уютнее. Закрытый пассажирский салон окнами выходит на палубу. На самом носу омика — капитанский мостик. Если не выгоняют, я там сижу, и вещи мои стоят рядом.

Я называю омик «плавучей сосной». Раньше так звали деревянные корабли, их делали из сосны, потому что сосна — крепкое дерево и способна удержать на плаву целую команду.

До Шеланги моя «плавучая сосна» плывёт чуть больше двух часов. Ещё можно добраться на «ракете» или «метеоре» — это тоже водный транспорт. Они полностью несут ответственность за своё имя и, разрезая Волгу, мчат до Шеланги за 40 минут. Только брызги в разные стороны. Быстрота придаёт им сходство с городским маршрутным такси; совершается предательство Волги и вообще всей поездки. Вода асфальтируется. В «ракете», мне рассказывали, даже остановки объявляют. И там нельзя стоять на палубе — снесёт ветром. Поэтому я всегда лучше два часа подожду в речном порту «плавучую сосну» и ещё два часа буду плыть, чем сяду в «ракету».

Дамдых

Работала я в исчезающем доме отдыха. Моя коллега и одновременно соседка по комнате, как и я, из города. Мы с ней каждый год встречались в доме отдыха. У нас были телефоны друг друга; каждый раз, уезжая оттуда, как правило, в сентябре, мы говорили друг другу: «Ладно, созвонимся», «Давай не пропадай» — и обе пропадали до позднего мая. Водитель — не знаю, кем он ей приходился, — пару раз предлагал мне доехать с ними, потом перестал и говорил только: «Ты опять на кораблике?» И я оставалась, чтобы, когда машина уедет, начать осторожный спуск по узкой опасной лестнице на берег и идти по камням на пристань…

Каждый год мы думали, что это наше последнее лето, что дом отдыха не доживёт до следующего раза, а он выстаивал, под снегом набирался сил и глубоко вдыхал весной. Волга, её опасный берег и сосновый лес продолжают поддерживать в нём жизнь. Ещё — дальние луга, обрамлённые лиственным лесом, где полно крупной земляники. Но если Волга и берег рядом, до земляничных мест надо идти довольно долго, через всю деревню, в её сухую сторону.

Дом отдыха расположился недалеко от пристани «Шеланга», внутри соснового леса, — надо только подняться по лестнице, которая, словно плющ на склоне, твёрдо держалась на стене обрыва. Те, кто на машине, прибывали с другой стороны деревни. Проехав по главной и почти единственной улице, заезжали прямо в лес, лавируя между деревьями и домиками. Деревьев было больше, чем домиков, и это радовало. Местные говорят, что раньше это был густой лес, совсем без полянок. Сосны как будто сами раздвинулись, потеснились, чтобы дать место для домиков, которые, кстати говоря, строились руками шеланговцев.

В сосновый лес ходили лечиться. Если задрать голову, на синем пятне неба зелёными заплатками пошатывались сосновые макушки. Часто мы ставили сосновые ветки у себя в домике, как в Новый год. Внимательно рассмотрев, можно было увидеть, что хвоинки сосны сидят парами, по две. Порой стволы сосен напоминали мне женскую ногу, обтянутую коричневым кружевным чулком, порой казались «готовыми к бою» фаллосами. Но это лишь внешнее впечатление. На самом деле за стройным своим видом и пышной шевелюрой сосны скрывали гораздо большее…

Они очень терпеливы и снисходительны к людям, которые прислоняются к ним обменять своё изношенное «биополе» на хвойно-смоляную свежесть. Одна шеланговская сосна когда-то была особенно целительной, она осталась у самого края, «над пропастью», и выглядела больной. Корни её лохмотьями свисали со стен этого обрыва. Я однажды подходила к ней — даже воздух вокруг неё был разреженный, она будто вся состояла из частичек чужих, больных душ. Уже несколько лет как склонилась она прямо у самого обрыва, как будто хотела сброситься вниз, но что-то крепко держало её на земле. По словам шеланговцев, внутри каждой сосны жило чьё-то горе, жила несчастная, больная часть человека. И тот, кто поделился с сосной своим горем, на часть состоит из её липкой душистой смолы.

Сосны появились на земле задолго до нас, не одно человеческое поколение пользовалось их добрыми делами. Конечно, многие сосны гибли

---

1. Герои и сюжет повести — 100% выдумка, все совпадения случайны.
2. Шеланга — название деревни, которая действительно находится на Волге, недалеко от Казани.

в расцвете лет, но гибли за правое дело, особенно раньше, когда места их скопления называли мачтовыми лесами и корабельными рощами. Смолой пропитывали канаты, паруса: смоченные сосновой кровью, они особенно крепли. Горячая сосновая смола литрами выливалась на армию врагов, и спасались целые осаждённые города; настой из хвои спас блокадный Ленинград от цинги; сосновая кровь дарует бессмертие тела, так как является обязательной частью бальзамирующего состава. Древесина сосны с годичными кольцами одинаковой ширины идёт на изготовление скрипок и других струнных музыкальных инструментов — таким образом, сосна обретает голос. Ещё в Шеланге верили, что души умерших живут именно в соснах, наблюдая за своими живыми родственниками и помогая им. Поэтому ещё любили женщины постоять рядом с чешуйчатым стволом, обнимая его и нашёптывая о своей жизни. После такого общения чувствовали они себя гораздо лучше.

— Всем им досталось, — говорила тётя Маша, — а уж той сосне особенно. Я сама у неё лечилась. Но раньше они более сильные доктора были.

Раньше — это когда дома отдыха в лесу не было. Такие вот истории рассказывали про сосновый лес. Хотя как можно стопроцентно верить местным, если все они, включая дремучих бабушек, говорят, что не помнят Шелангу без дома отдыха? Шеланговские бабки, коих осталось совсем мало, всё больше сидели по домам, выглядывали из окна и выходили иногда на лавочку у ворот — прогреть и просушить на солнце кости. Мне очень хотелось познакомиться хотя бы с одной из этих бабушек ближе, послушать разные истории, но ни одна из них не подпустила меня к себе. Бабки смотрели глубоко, редко и медленно моргая. Как-то раз я встретилась с таким взглядом — и тут же в глухом страхе отвела глаза. Все бабули были для меня одним целым — такой единый шеланговский «привет из прошлого».

Всё, что они знали про Шелангу, я узнавала со слов других жителей. А мне всегда так хотелось послушать, что творилось в доме отдыха, когда они были молодыми… Свекровь одной из шеланговских женщин давным-давно работала в столовой поваром. Но сейчас свекровь эту, как, впрочем, и весь остальной «привет из прошлого», никакими просьбами нельзя было затащить в дом отдыха.

Все шеланговцы называют его «Дамдых». «Чё, Дамдых ещё не сдох?» — слышно каждый год. Многие, да что там — почти вся деревня кормится этим Дамдыхом, который держался из последних сил. А смерти его опасались не потому, что там всё обветшало, а потому, что каждый год его собирались сносить, продавать, закрывать, так как мало было отдыхающих. Очередей, конечно, не было, однако же, начиная с середины мая, люди заезжали, и многие домики до первых холодов почти не пустовали. Кроме случайных и тусовщиков — это те, кто снимал домик на выходные, — приезжали одни и те же люди и, пополняя худенькую шеланговскую казну, предпочитали селиться в свой прошлогодний домик, со своими надписями на стенах и прочим творчеством.

Каждую осень я прощалась с Дамдыхом и Шелангой навсегда. И каждую весну, сходя с омика, поднимаясь по лестнице, я вдыхала знакомый воздух, входила в лес и, увидев разбросанные под соснами домики и поднявшийся весёлый кипиш, выдыхала с облегчением…

Мужчины-шеланговцы не жаловали Дамдых, потому что отдыхающие норовили скупить всю выпивку в единственном магазине и потому что почти всё женское население с наступлением сезона жило в Дамдыхе. Возвращаться в свои избы их влекло чувство долга перед скотиной. И обязательно каждый год случались романы между местными и приезжими. Помню, в самое первое моё лето приехал целый курс студентов; один из них почти всё лето провалялся с местной девушкой Надей. Его даже приходили бить — её отец и дядя, крепко перед этим выпив. Настроены были очень агрессивно, пару раз дали в глаз этому студенту, а минут через пятнадцать развалились около танцплощадки все втроём и пели песни. Студент так разомлел от местной спиртовой настойки, что отец Нади тащил его на себе в домик и уложил спать. А приехав в дом отдыха на следующий год, я узнала, что у Нади трёхмесячный сын, а студентам больше не выдали бесплатных путёвок…

После этого случая женщины стали внимательнее приглядывать за девчонками, и за отдыхающими тоже. Мужики время от времени обходили дозором Дамдых, дабы показать, кто здесь хозяин. Они ревновали своих жён не только к работе в Дамдыхе, но и к людям тоже. И у шеланговских мужиков постоянно чесались руки, только и высматривали они повод, который в Дамдыхе старались не давать. Женщины позволяли мужьям своим покомандовать, похозяйничать — и отправляли их домой. После такой «облавы» мужики успокаивались и не появлялись в Дамдыхе ещё недели две. Уходя, уже пьяненькие, они говорили: «Нагрянем неожиданно! И если что-то как-то того… смотрите!» Женщины могли назвать дату и время их «неожиданной проверки».

Кирпичный завод

На первый взгляд могло показаться, что мужики в Шеланге слоняются без дела и всё держится на женских плечах. Правда в этих словах есть, но всё ж мужики по-своему круглосуточно крутили деревню. Сменяя друг друга, они повязывали передник, надевали рукавицы и выпекали кирпичи. Шеланговский кирпичный завод считается одним из лучших в России. Цеха завода представляли собой деревянные навесы со стенами из досок, со сквозным входом без дверей и занимали добрую часть деревни. Войти и выйти мог любой. Собаки, кошки, даже коровы, которых не провожали в стадо, привязанные рядом телята и козы укрывались там от солнца. В углу одного «цеха» стояла печь, в углу другого — залитая цементом яма для замешивания раствора. Ещё были цеха — хранилища кирпичей. Здесь они образовывали египетские пирамиды и ожидали своего предназначения.

По периметру всей деревни, примерно в двух метрах от земли, протянут трос, по которому,

покачиваясь на двухэтажных качелях, плывут кирпичи. У шеланговского кирпича свой особый цвет — не белый и не красный, а желтовато-песочный. Мне казалось, что выпекать кирпичи не сложнее, чем хлеб. Если передержать их в печи — они высохнут и сожмутся, а не додержишь — со временем начнут во влаге своей подгнивать, отчего медленно будет погибать вся постройка.

Никакого конвейера, никакой техники и станков — на кирпичном заводе всё делается вручную. Мужики достают из печи кирпич за кирпичом и укладывают на проплывающие мимо качели. И, покачиваясь, кирпич едет далее по всей деревне. Трос с подвешенными к нему качелями — единственный механизм на заводе, а всё остальное делалось мужицкими руками. Мужики замешивали раствор, отливали его в формы и, отправив в печь, перекуривали.

В Шеланге постоянно слышалась «кирпичная песня». Когда я впервые услышала скрип — подумала, что это птица или сверчок. Эти бесконечные, плывущие не спеша качели создавали ощущение вечного двигателя. Они окутывали почти всю деревню, водили вокруг неё хоровод и пели, пели.

Таким образом, пока кирпичи переезжали из цеха в цех, они остывали на качелях, проветривались, привыкали к своей постоянной среде. Даже коровы научились проходить в промежуток между качелями, не задевая и не задерживая их. Трос, протянутый вдоль обрыва, напоминал мне канатную дорогу в Пятигорске, только пассажиры были каменные и не боялись высоты. Если вдруг заблудишься в Шеланге, можно дотронуться до качелей, и они обязательно приведут тебя в нужное место. Куда только не уезжали кирпичи! В нашем городе я видела дома, выложенные этим кирпичом. Это элитные, богатые дома — с охраняемым входом во двор, подземной стоянкой и отдельной, облагороженной детской площадкой. Порой хотелось из панельной своей «хрущёвочки» перебраться жить в такой вот дом, в тёплые, желтоватые шеланговские кирпичи, и чтоб мой ребёнок круглый год мог съезжать на попе с гладкой пластмассовой горки. Однажды я стояла около такого дома, прямо у ворот. И как раз из подземного гаража выехала машина. И когда она на мгновение остановилась возле шлагбаума, мне захотелось постучать к водителю, рассказать ему, как пекут эти кирпичи, кто их печёт, рассказать про Шелангу, чтобы он знал — это не простой дом… Охранник замешкался, и тогда я подошла. Парень улыбнулся и показал наверх. И я увидела на торце дома, среди прочей рекламы, небольшой плакат — фото конторы кирпичного завода, сами кирпичи в виде египетской пирамиды и надпись: «Шеланговский кирпичный завод».

— Я знаю, что кирпичи оттуда, — бросил парень, ныряя под распахнувшийся пластиковый шлагбаум, — вон же реклама висит.

У кирпичного завода была своя кирпичная контора. Её между делом построили мужики — меньше чем за месяц. В конторе было несколько комнат. Их занимали начальство, бухгалтерия. Выделили комнату для отдыха и приёма пищи рабочих, мужики сделали там ложную стену: кажется, что комната кончилась, а на самом деле под ковром была дырка, сделанная будто бы под оконную раму. Через неё мужики перешагивали и оказывались в небольшом пенальчике, где была кровать, а под кроватью бутылка самогона. Но очень скоро тайную комнату раскрыли, дыру заделали, а ковёр постелили на пол.

В этой конторе решалась судьба кирпичей — по какой цене и в каком направлении покинут они Шелангу. А мужики, когда кирпичи укладывали, любили спросить: «Куда везут? Что будут строить?» Однажды им ответили, что увозят для того, чтобы построить тюрьму. Мужики собой особенно гордились — не просто дом, а тюрьма. Многие хотели поехать на эту стройку — жёны не отпустили.

Бывали времена, когда пустые качели подолгу зависали на одном месте, легонько покачиваясь на ветру. И мужики не могли придумать себе занятия. Готовые кирпичи месяцами, годами ждали в «амбарах», и в них долго никто не нуждался. Зато совершенно неожиданно приезжали грузовики, и пока кирпичи укладывались один на другой, в конторе подписывались бумаги, и рабочие получали небольшие премии, казавшиеся им голливудскими гонорарами.

Клеёнка

Свежо, но обещает быть жарко. Я сижу в речном порту — жду омик. Специально приехала рано утром, чтобы сесть на первый. Потом будет большой перерыв. В речном порту почти никого нет, только собаки бегают. Билет я не беру, с билетом неинтересно. У меня в пакете баллон пива. Когда в Шеланге перекидывают пассажирский мостик, от матроса уже пахнет моим пивом. Пристань легонько пританцовывает от Волги. Я схожу на каменный берег, камни — как на море. Поднимаюсь по лестнице и попадаю в целебный лес; справа от меня, почти у самого обрыва, — целебная сосна. Я иду к своему постоянному дамдыхинскому домику. Дверь его уже раскрыта — девушка, с которой мы проводим лето, проветривает. Она напоминала мне двух моих знакомых — Лилю и Леру. Лилю — потому что она знала английский и красила волосы хной. Леру — потому что любила крепкий чай с молоком и хорошую косметику. Я прозвала эту девушку Лилерой. А на самом деле она была Катей. Честно говоря, за всё это время мы так и не стали по-настоящему близкими. Лилера добиралась до Шеланги всегда на машине, в крайнем случае — на «ракете». И вообще, она будто тяготилась своим пребыванием в Дамдыхе, каждую ночь психовала на комаров, на деревянный туалет, на холодную воду в умывальниках. Но, тем не менее, каждый год приезжала и уезжала только в сентябре. Я долго не понимала: что она здесь для себя находит? Платили нам, мягко говоря, мало…

Я поставила свои вещи на свободную кровать. Как всегда, лучшая кровать у окна уже в который раз занята Лилерой. Каждый год хочу занять её и не успеваю.

— Привет, Кать, — говорю я Лилериной попе.

Лилера, вместо того чтоб начать с влажной уборки, расставляет свои лосьоны, лаки для волос на полочку, ныряя за ними в чемодан.

На мой голос Лилера поднимается, выпрямляется, поворачивается ко мне. Лицо её красное, но белеет на глазах. Чтобы не толкаться вдвоём, я выхожу и иду в сторону столовой, где вовсю выметали мышиные какашки, мыли, латали стулья-столы, выветривали зимнюю затхлость. Через распахнутые окна доносятся детские крики и смех.

— Я два километра клеёнки купила! — слышу я знакомый тёти-Машин голос. — Разрежем, постелем, не будем в этом году со скатертями возиться.

И слышно, как гремят столы, стулья, как их двигают. Выходит, точнее, выкатывается тётя Маша — визитная карточка Шеланги. Тётя Маша — татарочка, и зовут её Минсафа́, но об этом мало кто помнит — все сложные татарские имена давно обрусели, став общедоступными. И многие татары одинаково хорошо владели двумя языками, отчего деревня обрусела.

Рука руку моет — вот так, наверное, можно сказать о русских и татарах деревни Шеланга. Здесь было принято всё делать вместе — готовить Дамдых к заезду, построить кому-то сарай, праздновать свадьбу и отмечать прочие праздники. Русские праздники предполагают размах, гулянье. На Пасху, Ильин день накрывали столы прямо на улице, пили-ели, плясали и пели под гармошку. Татарские праздники — более домашние, обязательно без спиртного, с пирогами и домашней лапшой.

Тётя Маша не заметила меня и покатилась к своему дому за клеёнкой. Я вошла в столовую. Поздоровалась, на меня тут же слетелись, стали обнимать и смачно чмокать, вытирая после себя поцелованное место. Касаться щеками и целовать при этом воздух здесь не принято. Ещё одна забавная шеланговская привычка: сначала целуют всеми губами, громко и с удовольствием, даже засасывая щёку, а потом, будто извиняясь, вытирают за собой. Так целовали всех — мужей, детей, подруг… а я уже была подругой, некоторым особенно. Мы с Лилерой уже несколько лет работали официантками, горничными, сторожихами, вели дискотеки, занимались культурной программой, выдавали напрокат ракетки, гамаки, лодки… В Дамдыхе не было чёткого распределения обязанностей, должностей, каждый занимался и своим, и не своим делом, и всё же никогда не было суматохи и во всём царил порядок.

Женщин разбросало по всей столовой: кто-то мыл окно, кто-то посуду, кто-то пол. С кухни тоже доносились голоса. А вокруг раздачи бегали дети. Если Лилера приезжала каждый год одна и та же, то есть не менялась, то шеланговские женщины менялись с каждым годом. Даже молодые на следующий год уже слегка приседали, имели более потрёпанный вид, более уставшие глаза, но становились быстрее, ловчее, активнее. Шеланговские женщины — будто маленькие дети, которые бегут, быстро перебирая ножками, чтобы не упасть. Многих работниц дома отдыха я видела только в движении, в бурной деятельности, и при этом они не были суматошными. А на предложение передохнуть они отвечали: «Ты что, я ж потом не встану», — и бежали дальше.

Не успела я войти в столовую, как ко мне подскочила Диля — забавная такая женщина, она жила в квартире. Это, кстати, ещё одна особенность Шеланги: по соседству с частными домами стояло несколько двухэтажных квартирных домов без санузлов и водопровода. И «жить в квартире» почему-то считалось почётным. Раз ты живёшь в квартире — значит, нет у тебя своего хозяйства, нет коровы, гусей, кур, — а значит, ты можешь себе позволить купить и молоко, и яйца, и мясо, и прочее, а раз можешь позволить — значит, ты богатый, и, соответственно, тебя все уважают и постоянно просят в долг. Дилю все уважали и занимали денег. Иногда даже возвращали долги. А сама она за должниками не бегала и проценты не брала.

Каждый день Диля покупала молоко у тёти Маши, пила чай с молоком и всё ела с молоком; была помешана на молоке. Я бы даже сказала, что у неё был «молочный алкоголизм». Она вся пропиталась молоком. Я думала, что из ранки её порезанного пальца потечёт молоко. Из-за слабого зрения она слишком близко подходила к собеседнику. И вот она подошла ко мне, и я вновь вспомнила её молочное дыхание. Весь год Диля работала бухгалтером на шеланговском кирпичном заводе, а к лету принималась и за Дамдых и ловко вертелась между ним и конторой кирпичного завода. Диля не была замужем, и ей было уже за сорок. Эту абсолютно одинокую женщину я лишь пару раз застала грустной.

Она предложила мне чай, заваренный со смородиновыми листьями. Я подлила туда молока, выпила и подключилась к работе. Вошла тётя Маша, в руке у неё был худой рулон клеёнки.

— Ну и где твои два километра? — смеялись бабы.

— В аккурат протянула от дома досюда! Вот ещё и осталось! А палочкой потом можно гусаков отгонять.

Мы высыпали из столовой. Конечно, от тёти-Машиного дома до Дамдыха не два километра, но расстояние немалое. На земле лежала красная клеёнка в мелкий цветочек, как ковровая дорожка на кинофестивале! Все похохатывали.

— Ты зачем её по всей деревне расстелила?

— Как же? Счас столы померяем, разрежем клеёнку на квадратики. Чего за бока схватились? Чтоб резать удобно было. Глупые.

Тётя Маша обиделась, откатилась в сторону.

— Не обижайся, дурында. Мы могли её и в столовой разрезать.

— Где ты её достала? Да ещё так много?

Тётя Маша надулась и не отвечает. Тогда я подхожу к ней.

— Тётя Маша, не слушайте их. Где ж в столовой её разложишь? Столовая маленькая, а клеёнка слишком длинная.

Сразу оживилась:

— Вот! Слушайте, чё умные люди говорят.

Я подмигиваю им, а довольная тётя Маша бежит на кухню, хватает ножницы, которыми отрезают рыбьи плавники, меряет швейным метром стол и выходит. Увлечённая, не обращая ни на кого

внимания, она становится на четвереньки, делает замеры на клеёнке, отрезает первый квадрат. Потом ползёт далее по своей клеёнке, отрезает второй квадрат. Дети начинают мешать ей — забираются под клеёнку, прыгают через неё, а те, у кого ноги подлиннее, и через саму тётю Машу. Она иногда на них покрикивает. Один мальчик уселся на неё верхом, но тётя Маша не прогнала. Отрезая свою клеёнку на ровные одинаковые квадратики и оставляя их лежать на земле, продвигалась она дальше. Немного отставая, все мы двинулись за ней. Вскоре она выползла из леса на дорогу, ведущую в деревню, и громко запричитала:

— Ах вы, паразиты! Да чтоб вас, а! Это ж надо так всё испортить!

Мы прибежали, и когда поняли, в чём дело, новая волна смеха овладела нами. Куры, гуси, утки, которые беспорядочно передвигаются по деревне, успели хорошенько загадить клеёнку.

— А что ж ты думала, когда стелила её?

Дети прибежали вслед за нами и летали вокруг, как коршуны, — почти у каждого был отрезанный тётей Машей красный квадрат, который они набросили на плечи и расправляли, как крылья.

— Вот гадкие гуси, а ну кыш с моей клеёнки!

Разведя крылья, длинношеий гусак нервно зашипел на тётю Машу. Это показалось забавным, и кто-то из детей, расправив клеёнку, тут же передразнил гуся. И гусь, разозлившись окончательно, переваливаясь, погнался за клоуном. Дети восторженно завизжали. Теперь ребятня бросила тётю Машу и принялась дразнить гуся, радостно от него убегая.

Виден был тёти-Машин дом. Её собственный щенок, которого она взяла по просьбе внука, лежал и задорно жевал самое начало клеёнки, иногда освобождая пасть, чтобы потявкать. Тётя Маша тянет на себя клеёнку, а вцепившийся в неё щенок, рыча, волочится брюхом по земле.

— На хрена сдался мне этот щенок? Глаза б не видели. Я для Ваньки взяла, мать в квартире не заводит живность — ремонт, говорит, обои обоссыт. А у меня, значит, обоев нету? У меня пусть весь двор загадит?

У тёти Маши, скорее всего, не было обоев, дом её, как ещё несколько домов, деревянный, добротный такой сруб с резными оконными наличниками — настоящее произведение искусства. Ворота, окрашенные когда-то в ярко-жёлтый цвет, давно поело солнце, и теперь они сплошь в трещинах — состарились и чем-то напоминали лицо своей хозяйки.

Тётя Маша сняла платок с головы, мочила его слюной и со смешным остервенением стирала птичий помёт.

— Девки, несите-ка ведро воды, мы её счас, как линольюм, помоем, — не унималась она и, увидев, что никто не собирается за ведром воды, стала звать своего внука: — Ванька! Ваня! Сбегай домой, принеси бабуле воды.

Но Ванька, видимо затерявшись среди других детей, не откликнулся на её просьбу, и раздосадованная тётя Маша встала с колен и побрела вдоль своей клеёнки к дому.

Корова

В тот день основная черновая работа по Дамдыху была закончена. Мы убрали столовую, домики, сбросили с обрыва подушки, матрацы, одеяла, разложили их на берегу — чтобы на открытом солнце они лучше прогрелись, проветрились после зимовки. От них потом всё лето пахло ветром и Волгой, и отдыхающие с удовольствием на них спали. Ах, как там спалось! Час сна в Дамдыхе заменял мне шесть часов сна городского. Я была всегда бодрая.

Рано утром прохладно, а внутри леса — тем более. В домиках тоже прохладно, потому у всех были ватные одеяла. На второй день я, по собственной традиции, отправилась смотреть, как коровы уходят пастись. Шла позади стада, держа приличное расстояние; белые, чёрные, коричневые задницы коров приводили меня в жуткий восторг. Все они шли, хлеща себя хвостами и покачивая выменем, которое того и гляди могло запутаться в задних ногах. Я более-менее научилась отличать молодых тёлок от зрелых, почётных дам. И не хотела, чтобы мне кто-то рассказывал про коров, не стремилась больше о них узнать — мне нравилось моё собственное дилетантское впечатление от этих молочно-мясных туповатых существ. Подняться рано мне вовсе не в тягость, хотя за ночь наша избушка остывала, а под утро теряла всё своё тепло, накопленное по большей части нашим дыханием. Надев свитер, я, тоже, как корова, покачивая головой, шла за всеми остальными шеланговскими коровами, но не слишком приближаясь к ним. В первые мои приезды местные думали, что я — «того», а потом привыкли, и кто-то тихо посмеивался надо мной, а кто-то и в открытую. Я шла со стадом до самого спуска, там останавливалась и смотрела, как разноцветной рекой утекают они на луга. Было ощущение тёплой реки, хотелось нырнуть туда, в эту бурую, чёрно-белую мычащую реку. Чтобы коровы затоптали меня, забили до смерти хранилищем молока. Что за чудесные животные!

Тётя Маша, шеланговская потешница, пыталась как-то оттащить от своей коровы быка. Он было уже залез на неё, у них уже всё началось, причём бык не дотерпел хотя бы до какого-то сарайчика или кустика — набросился прямо посреди улицы и вдул. Дети гуляли здесь же. Кто-то вскочил на велосипеды и дёрнул разносить новость по всей деревне. Девочки застенчиво отворачивалась, делали вид, что ничего не происходит, а мальчишки были счастливы! Они бегали вокруг парочки, самые смелые залезали под корову, чтобы лучше рассмотреть, как всё это происходит. Я тоже там была — точнее, я, услышав шокирующую новость от восторженных детей, сломя голову побежала смотреть. Боясь опоздать, я прямо запыхалась, помню. Никогда не забуду — это впечатляет. Только правила приличия меня удержали, а иначе я бы тоже забралась под корову, не боясь быть затоптанной, и тоже смотрела бы. Тётя Маша летела с самого начала улицы, размахивая руками. Будто почуяв, что сейчас будет облом, бык задвигался

быстрее. Но не успел кончить к приходу тёти Маши. Она чуть не за хвост его схватила, стала оттягивать от своей коровы.

— Нам телят не надо, нам телят не надо! — шумела она. — Это Захаркин бык, он нарочно его подослал. Мы не будем от вашего быка телятиться! — и всё в таком духе.

Возбуждение моё нашло свой выход в истерическом смехе — вся улица каталась от смеха.

Поздним вечером того дня я навязала себя какому-то мужику, нашему отдыхающему. Спустившись к Волге, среди камней мы нашли мелкокаменное, почти песчаное место далеко за валуном и подставили свои голые зады комарам. Сначала он, а спустя минут пять, отряхнув с задницы песок, — я. Честно говоря, даже не помню, кто это был; наверное, он потом ещё здесь отдыхал — сюда приезжают, как правило, одни и те же. Может, он даже запомнил меня, но я его точно не узнаю. Потому что в ту ночь мною овладел бык, а я была коровой. И, прыгая на нём, я видела покачивающееся коровье вымя и мычала в темноту, в Волгу, в Шелангу.

Молоко

Уже в который раз, вспомнив тот случай, я досматривала пятнистую реку, которая очень далеко внизу перестала быть единым потоком, разбилась и теперь чернела, белела на зелёном ковре. Естественно, не каждое утро ходила смотреть я на стадо. Таким образом я открывала свой шеланговский, дамдыхинский сезон. Не только из-за сексуального воспоминания тянуло меня к коровам. Они почему-то казались мне очень важными, способными на большое человеческое спасение. И не только потому, что вырабатывают молоко или, преставившись, прокармливают собою целую семью. Мне казалось, что коровья река начисто уносит воспоминания. И хорошие, и плохие — очищает их и возвращает обратно. Без воспоминаний никак нельзя. В Шеланге я редко вспоминала свою городскую жизнь и в городе старалась не думать о Шеланге. В очередной раз я отдала на хранение коровьей реке свою голову, чтобы перед отъездом забрать её и хоть на какое-то время ощущать безмятежную лёгкость.

С самого первого лета в Дамдыхе я стала таскаться за коровами. Тётя Маша открыто задирала меня. Во второе моё лето она много раз приглашала подоить свою старую Дочку — так звали её корову. Но я побаивалась подходить к корове близко. Однажды я всё же решилась… посмотреть, как доит корову тётя Маша. Сначала она вымыла тёплой водой из чайника её вымя, вытерла полотенцем, затем подставила ведро, плюхнулась на табуреточку, такую маленькую, что на ней едва могли уместиться две тёти-Машины ладони. А она умудрилась посадить на неё свой пышный зад. Тем не менее, ей было вроде удобно. И пальцы, похожие на коротенькие сосиски, стали ловко обхватывать коровьи сосцы, которые тут же пускали тонкую молочную струю в эмалированное ведро. Дочкино молоко издавало сначала металлический звук, но он очень скоро сменился глухим, парным. Я тихо подошла и заглянула в ведро — молоко вспенилось и набиралось с невероятной силой, пышущее такое молоко, густое. Я стала понимать, что значит парное. Было такое чувство, что я и раньше пила парное молоко, — уж очень родным оно мне показалось или просто настолько сильно понравилось. Сначала мы с Лилерой покупали у тёти Маши в литровых баночках. Его хватало на день-два. Потом тётя Маша стала давать бесплатно. Она вообще прониклась к нам глубокой симпатией, особенно ко мне. Лилеру слегка недолюбливали — ведь единственный интерес, который проявляла она к Дамдыху и Шеланге, был связан с привидениями. Она очень плоско восприняла шеланговские истории и повсюду высматривала призраков. Хоть я много не говорила, меня считали общительной, даже открытой и любили, скорее всего, за то, что я могла выслушать.

Вскоре мне стало мало одной банки. Помню, первое своё шеланговское лето я не могла есть — я пила тёти-Машино молоко. Помню, я сильно заболела — лежала с температурой, и было холодно. Тётя Маша сама мне его приносила, кипятила кипятильником, придерживая вилку, которая постоянно от розетки отходила. Потом поила меня горячим молоком с мёдом, в молоке заваривала душицу (матрюшку) и давала мне. Дня через два молоко поставило меня на ноги. И я стала пить только его. Много раз предлагала я тёте Маше деньги, но она не брала, а когда я тайком оставила у неё на веранде — даже обиделась. Я брала молоко только у тёти Маши, больше никакого не хотелось…

Я смотрела на чёрные, белые, коричневые точки на зелёном ковре, думая, которая из них Дочка. И зашагала в сторону деревни. День нагревался, и от ходьбы кровь моя разыгралась. Я сняла свитер, и он привычно обнял меня чуть ниже талии. Дошла до дома тёти Маши — она уже приготовила мне баночку утреннего удоя. Оставалось кое-что по уборке Дамдыха, а в основном мы развешивали занавески, стелили, кстати говоря, клеёнку… Завтра первый день заезда. Несмотря на то, что я утомилась, вечером спустилась к Волге и слушала её спокойное дыхание. Мною вволю полакомились комары.

Вишнёвый сад

Шеланга открывалась мне с каждым разом всё с новой стороны. Я не могла насытиться ею. Во второй свой приезд я обнаружила шеланговские вишнёвые леса. У тех, чьи жилища стояли на чётной стороне, сразу за домом расстилался густой вишнёвый лес. Я бы и в первое своё лето обнаружила его, только нам с Лилерой — чужакам — никто пока ещё не доверял, все понимали нашу необходимость в Дамдыхе, но поглядывали искоса, всякий раз замолкая при нашем появлении. А уж о том, чтобы позвать нас в гости, и речи не было. Выдержав первым летом экзамен, я стала в Шеланге своим человеком и уже в следующее лето была допущена на дворовую территорию деревни. Меня пустила за ворота и чётная, и нечётная стороны. На нечётной стороне за домами был огород, за забором которого открывался обалденный вид на Волгу. Нечётная

сторона постоянно освежалась волгиным дыханием. А чётная сторона была атакована чёрной мясистой, размером с ранетку, вишней. Никакими заборами от соседей вишнёвый лес разделён не был. Он был общий на всю чётную сторону. Кое-где среди вишнёвых деревьев росли яблони, сливы, кусты крыжовника, которые тоже никто не делил. Среди этого леса стояли бани. Вишни было так много, что на сбор её приглашали разных родственников, отдыхающих, которых знали не первый год, и нас с Лилерой, конечно же. Та же тётя Маша рассказала мне, что раньше, очень давно, вишню, сливу отдыхающим продавали. А сейчас они сами, с кастрюлями на шее, висели кто на стремянке, кто на приставной лестнице, тянулись за чёрными ягодами, которые настолько были готовы к сбору, что опадали, едва пальцы их касались. Народ, конечно, жадно наедался вишней, отчего желудки расстраивались, и целые упаковки угля из медпункта Дамдыха съедались.

Сбор вишни выпадал на пору сенокоса. Мужики отправлялись косить с утра пораньше, и вся деревня становилась невероятно женской, нежной и сильной. Женщины наслаждались своим временным одиночеством, им было особенно хорошо, потому что они знали: к вечеру, попахивая водочкой, травой и потом, вернутся их муженьки, и в каждом дворе расстелется травяной ковёр, чтоб назавтра сохнуть под солнцем. И едва расстелив его, муженьки скучкуются малыми стайками или даже все вместе у кого-нибудь во дворе, а может, и прямо на улице, для того чтобы захмелеть ещё больше…

В это время в другом дворе ведро за ведром вываливалась вишня в алюминиевое корыто и три раза обдавалась сильнейшим напором воды из шланга, отчего ягоды подпрыгивали. Потом они слегка подсушивались, и все мы, вооружившись чеснокодавилками, садились вокруг, чтобы вытаскивать из вишни косточки. По рукам кровью стекал вишнёвый сок и капал с локтя. У тёти Маши был широкий двор, обычно мы давили кости либо у неё во дворе, либо у Ольги Ивановны по прозвищу Оливанна, с которой я близко познакомилась во второй свой приезд. В этот же приезд я начала тесно общаться с её сыном, и она не одобряла этого, хотя прямо высказать не решалась.

Оливанна и её сын

Я понаблюдала за Оливанной и обнаружила, что она — ещё один человек, который «делает деревню», потрясающий персонаж, шеланговская бизнес-леди. И потому единственная, кто иногда ворчал по поводу дармовой вишни и вообще по поводу того, что «привадили отдыхающих к себе домой, дистанцию не держим, надо было как раньше — любой каприз за ваши деньги». Одной напролом не пойдёшь, и Оливанна стихла, а вскоре быстро смекнула, что мы — бесплатная рабочая сила. Отдыхающие любили и ценили Шелангу и брали себе совсем немного вишни — ради интереса только. А всё остальное доставалось хозяевам. Оливанна, как и многие другие, варила варенье, делала вишнёвые пироги и приберегала целые ягоды. Ещё она собирала землянику, знала хорошие места, где, присев только, можно набрать полное лукошко. Как-то раз мы с Лилерой дали двум шеланговским пацанам полтинник и велели проследить, куда ходит Оливанна по землянику. Она их обнаружила и заплатила больше, чтобы они нам ничего не рассказывали. Из земляники бизнес-леди варила варенье и оставляла целые ягоды. Ещё она знала травы, на которые Шеланга тоже была богата, — собирала их, сортировала в аккуратненькие букетики, перевязывала бечёвкой. И это далеко не всё, на что шла Оливанна ради своего единственного сына Тарасика, который давно жил в городе, работал в какой-то фирме по изготовлению входных и межкомнатных дверей.

Если хочешь угодить Оливанее — спроси про сына и имей терпение выслушать, время от времени изображая заинтересованность. Ягоды, травы, готовые пироги, варенье Оливанна везла в город, на рынке успешно всё продавала. На вырученные деньги покупала разнообразную пряжу на развес, везла всё домой и вязала шапки, шарфы и кофты-разлетайки. Надо сказать, вязание давалось ей очень ловко: три часа — и шапка готова, и каждая из них была произведением искусства. Оливанна и по улице ходила с крючком и клубком пряжи в кармане. Со стороны смотрелось, что руки её, особенно правая, мелко-мелко и бесполезно дёргаются… Но вдруг из-под них выползала материя с невероятно сложным рисунком, и разрасталась она очень быстро. Оливанна вязала шапки вкруговую. Я видела Оливанну без крючка, только когда она давила вишнёвые кости, доила козочку и обнимала Тараса. Она даже во сне вязала. Когда шапок становилось много, а много — это набитая до отказа клетчатая сумка метр на метр, — из города на машине приезжала женщина, покупала эту сумку, заталкивала на заднее сиденье машины и уезжала. Однажды я увидела в городе шапки Оливанны — их не спутаешь с другими, — примерила, продавщица назвала высокую для меня цену. Когда я спросила, хорошо ли их покупают, она сказала — очень хорошо. Позже я узнала, что Оливанна отдаёт их дёшево, чуть ли не по триста рублей на шапку, когда продавали каждую больше чем за тысячу.

Выслушав про успехи сына Тараса, мы с Лилерой были приглашены в дом — вязальное царство. Оливанна достала сумку с шапками, вывалила её, и мы набросились на них, примеряя одну за другой и отталкивая друг друга бедром от единственного зеркала. Пока все не перемерили — не успокоились и к концу превратились в настоящих восторженных глупышек. Оливанна подарила то, что нам понравилось. Мы визжали от счастья.

Перед приездом Тараса она покупала коровье молоко, мясо, затевала пироги и неслась на пристань. Тарас жил у матери как король. Он хотел помочь ей по хозяйству, по огороду, но Оливанна гнала сына отовсюду. «Ты приехал ко мне отдыхать!» — говорила она. И Тарас вскоре перестал предлагать помощь, отсыпался до обеда, а к вечеру приходил в Дамдых, веселился там на дискотеке, поначалу вовсю ухаживал за мной и Лилерой,

а потом мы с ним неожиданно сблизились, и открылся он мне со своей настоящей стороны, а с Лилерой их общение носило поверхностный характер, хотя они были очень похожи, любили город, цивилизацию.

Тарас, как и Лилера, был человек двадцать первого века. Только в усугублённом виде—я бы даже сказала, пародия на человека двадцать первого века. Всегда при нём чуть ли не три сотовых телефона, которые являлись ещё и компьютером, и телевизором, и плеером. Иногда он нарушал природу Дамдыха, умудряясь словить сигнал Интернета, о чём восторженно кричал на весь лес. Также при себе он имел фотоаппарат и фотографировал всех и всё в Дамдыхе и в Шеланге. Особенно хорошо удавались фотографии Волги, пристани, снятые с обрыва. Тарас не боялся подходить к больной сосне, к самому краю обрыва, чтобы сделать хорошие фотографии. Фотоискусству он не учился, как и многим другим вещам, которые неплохо у него получались. Он был талантлив почти во всём, но плыл по течению, до сих пор не найдя для себя определённого занятия; пробовал везде помаленьку—и потом бросал начатое, увлёкшись чем-то другим. Во всех начинаниях его материально и морально поддерживала Оливанна. Страсть к фотографии тоже проснулась недавно. Оливанна вывязала для сына полупрофессиональную фотокамеру, которая теперь тянула Тараса за шею и шумно выдвигала свой длинный, похожий на член объектив. Также, чтоб развлечься, Тарас снимал домашних животных; однажды мы с ним ходили провожать стадо, я попросила у него серию всех шеланговских фоток, распечатала и, чтобы случайно не наткнуться на них, положила в самый высокий шкаф. Чтоб лишь варения, сваренные мною из вишни, из сливы, из яблок, напоминали мне моё лето.

Тарас приезжал ненадолго, мог выдержать на природе максимум неделю и то не отключался от двадцать первого века, ища сигнал Интернета под кустами. У него начиналась настоящая ломка, он не мог найти себе места. И без того будучи от природы подвижным, становился он настоящим сперматозоидом. Тогда он на день уезжал в город, получал необходимую дозу двадцать первого века и возвращался обратно. Хоть и вырастила его Оливанна у себя под крылом, а всё же Тарас откололся от матери и был теперь настоящим городским жителем. Да и сама я, если честно, ловила себя на мысли, что один из факторов, от которых было уютно в Шеланге,—это мой осенний отъезд. Я знала, что обязательно уеду осенью, оставив Шелангу на зимний дрём с абсолютно одинаковыми днями. И мысль, что непременно вернёшься в город, в двадцать первый век, засуетишься, делала моё пребывание в Шеланге ещё более желанным.

Одним словом, мы с Тарасом нашли общий язык. Вернее, его язык нашёл мои уши. Он постоянно что-то рассказывал, причём такие вещи, в которых я совсем ничего не понимала: например, о том, как усовершенствовали какую-то модель телефона… В общении он походил на свою мать, которой необходимо было высказываться и только. В поддержке беседы они не нуждались.

«Моему ику давно бы жениться надо». Оливанна каждое лето жаловалась на то, что он в городе без присмотра—некому готовить, он там ест одну сухомятку. Сама несколько раз порывалась к нему переехать, но потом взвесила всё: кто же будет собирать тут ягоды, которые, превращаясь в пряжу, возвращались в виде денег, на которые можно поддерживать его всё новые и новые увлечения, всё новые открывающиеся таланты? Или просто исполнять желания.

Такая материнская забота Тараса подпортила. Он много раз делал попытки не брать у матери денег, а когда брал, привозил что-то для неё, но Оливанна отругала сыночка, сказав, что ей и так всего хватает и единственное её желание—чтоб у Карасика всё было. Когда сыновья благодарность была зарублена на корню, Карасик стал без зазрения совести рассчитывать на материны деньги, знал, что она всегда достанет—свяжет шапки и всё решит. Оливанна гордилась собой: «Живу в деревне, не работаю нигде, а ребёнок всё имеет. И не скажешь, что его мать в деревне живёт». Она говорила это так, будто житья в деревне нужно было стесняться! Диля, например, гордилась тем, что живёт в Шеланге, и в город не хотела, хотя образование бухгалтера позволяло.

Но, насколько я успела заметить, несмотря ни на что, Тарас и Оливанна бесконечно любили друг друга. В тесноватом домике Оливанны стоял огромный разложенный диван, на котором они вместе спали: кровать Карасика она отдала в Дамдых—вроде на время, а потом не стала забирать. Он называл её «маман» или «аника» (ласкательное от татарского «әни»—мама), был скуп на объятия и поцелуи, лишь иногда устраивая матери праздник. Тогда она вволю его обнимала, целовала так самозабвенно, что не всегда успевала стереть свой поцелуй.

Тётя Маша

Тем же летом корова тёти Маши не вернулась с пастбища; тётя Маша бродила и жалобно звала её: «Дочка-а! Дочка-а-а!» Я присоединилась к поискам. Мы отправились туда, куда каждое утро уходит стадо. Когда проходили мимо дома Оливанны, из окна громко поздоровался Тарас и увязался с нами.

— Надо встроить в вашу корову микрочип; не волнуйтесь, это не больно. Закачать в компьютер карту Шеланги, и вы всегда будете видеть, где ошивается ваша Дочка. И легко её найдёте. Я давно говорил—надо провести здесь компьютеризацию. А вы живёте без Интернета…

И Тарас пустился рассуждать на свою любимую тему; иногда его рассказ прерывал возглас тёти Маши: «Дочка-а-а!» Мы проходили до самой темноты, Дочка нам так и не встретилась. Тётя Маша совсем приуныла, села на траву:

— Увели уж её, что ли? Она столь годков с нами была. Как же мой Ванька без молока? И как он там, бедный, один? А вдруг он проснулся, а во всём доме свет выключен? Он темноты ещё пока боится.

Я тоже представила неприятную картину: просыпается ребёнок, а кругом ночь — и никого из взрослых.

— Наверное, надо поворачивать назад, — предлагаю я, — а то действительно испугается ребёнок, что вас нет. А Дочка ваша найдётся, не переживайте, сама придёт.

Мы приподняли тётю Машу и повернули в сторону дома. В темноте почти ничего нельзя было различить, и комары нас сожрали. Я шла, почёсываясь, и уже входила в свет фонаря, что стоял у начала улицы, как вдруг тётя Маша свернула на тропинку, которая шла за домами нечётной стороны. Если идти по ней, можно спуститься к Волге, минуя Дамдых. Это гораздо быстрее, но менее удобно — ноги и руки царапают кусты малины, смородины, которые выпирают из-за низкого ограждения огородов.

— Тётя Маша, вы куда? — спросила я.

Но она не ответила и покатилась по узкой тропинке, еле на ней умещаясь. И била собою ветки кустарников, а не они её. Я бросилась было за ней, но Тарас остановил меня.

— Не надо, не ходи, — сказал он тихо.

— Почему?

Сквозь едва нарушаемую темноту он посмотрел на меня, будто стараясь понять, посвящена ли я в тайну.

— Так надо, она там всю ночь сидеть будет.

— Всю ночь?! — не поверила я. — А как же ребёнок?

— Слушай… ты рыбу когда-нибудь ловила? — спросил вдруг Тарас.

Я не поняла, причём тут рыба, но ответила, что не ловила. И Тарас пригласил меня завтра на рыбалку, где обещал поведать тайну тёти Маши. Тарас проводил меня в уже засыпающий Дамдых, чмокнул в щёку, провел ладонью и ушёл.

Я долго ворочалась у себя в постели, не могла уснуть. Лилера подумала, что у нас с Карасиком летний роман, долго прикалывалась на эту тему, говоря, что теперь согрета не только моя голова и шея, а ещё и п…, что и ей, как моей подруге, перепадут многочисленные творения Оливанны… А я в это время думала о тёте Маше. Когда начало светать, встала, оделась, завернулась для верности в плед и пошла к Волге. Спустилась на узкий пляж, где обычно загорали отдыхающие. Пляж в Дамдыхе назывался пляжем по привычке, на самом деле это был довольно узкий берег, и передвигаться по нему возможно только вдоль Волги — в волейбол здесь точно не поиграешь. С другой стороны берега — стена обрыва с лестницей. Можно спуститься на берег в обход, но тогда надо выйти из Дамдыха и идти по тропинке — по той, что проходит вдоль садов нечётной стороны, по которой пришла тётя Маша.

От воды до стены обрыва не больше пяти метров. Я огляделась и, не увидев тётю Машу, побрела вдоль берега туда, где покоился большой, заласканный Волгой валун, весь белый, точёный и приятный на ощупь. Если погладить валун, он оставлял на руке белый меловой след. Обычно, спрятавшись за этим валуном, парочки занимались любовью или загорали нагишом. Было тихо, только Волга разговаривала с берегом. Мне показалось, что в их разговор вмешивается кто-то третий…

Чтобы обойти огромный камень, пришлось снять обувь и пройти по воде. Я закатала джинсы и прошлёпала за валун. Чуть далее увидела тётю Машу: она сидела на перевёрнутой лодке и смотрела в Волгу. В руке у неё была тёмно-зелёная бутылка. Мне потом Оливанна рассказала, что тётя Маша под старой лодкой прятала бутылку. И не только под лодкой. Как собака, которая тут и там зарывает кости, тётя Маша по всей Шеланге припрятывала пойло и в самых разных местах потом его находила. Зная об этом, мужики тоже отправлялись искать её припасы, кто-то находил и со словами «вот те спасибо» выпивал за её здоровье.

Тётя Маша тихо покачивалась вперёд-назад. Рядом мычала её Дочка — вот кого я слышала. Бедная корова разрывалась своим молоком. Однако её хозяйка не обращала на свою кормилицу внимания. И на меня тоже. Я едва тронула её за плечо. Тётя Маша поскуливала — так скулят, когда плакать не могут, а очень хочется. Корова вошла немного в воду и громко мычала вдаль. Не в силах вынести мучения животного, я накрыла тётю Машу пледом и, подавляя страх, подошла к Дочке и стала сдаивать её молоко прямо в Волгу. У меня это неплохо получалось: белые тонкие стрелы кололи Волгу, копьём вонзались в неё. Я долго доила Дочку, вода около неё вспенилась, вспузырилась, белела от молока. Пальцы с непривычки устали, но, желая принести животному облегчение, я всё же не останавливалась. И даже забыла, что тётя Маша тоже здесь, прямо подскочила от ее голоса.

— Скольких ребятишек ты теперь накормила, — сказал тётя Маша. — Они там живут, есть хотят.

Тогда я видела такую тётю Машу впервые. Потом привыкла, что порой она бывала очень странной, очень странной… говорила непонятные слова, смотрела не своими глазами будто. И в такие моменты над нею никто не потешался. А всё остальное время она, сама того не желая, обычным своим поведением вызывала смешинки и вся была ходячая потеха, что очень поднимало людям настроение. В любом обществе нужен такой человек. В деревне Шеланга этим человеком была тётя Маша. Надо сказать, что она отняла эту роль у Оливанны. Хотя народ иногда перегибал палку, и в приколах над тётей Машей проскальзывало что-то недоброе, отчего мне становилось не по себе. Но я не защищала её.

С самого первого лета, когда ещё была я чужой в Шеланге, я взяла над тётей Машей «шефство». По натуре диковатая, резковатая, она сразу потянулась ко мне, привязалась, прониклась доверием — кстати, первая из всей деревни. Мне говорили, что зимой это совсем другой человек — из дома не выходит, за скотиной не смотрит, и если б не соседи, то корова, куры и сама тётя Маша — все бы передохли. Женщина всю зиму прикладывается к бутылке: напьётся, бредит и засыпает. А к весне, особенно к открытию сезона в Дамдыхе, бросает пьянку, готовится к приезду внука, вычищает свой дом до блеска, вся расцветает и скачет потом

всё лето, срываясь лишь иногда. Сорвавшись, она целыми днями не выходила из дома. И я совсем не заглядывала к ней. Через некоторое время она появлялась, вся помятая и пахнущая голодным желудком. Я покупала что-то вроде печенья в магазине, и мы с тётей Машей долго гуляли по берегу Волги, сидели вот на этой перевёрнутой лодке и молчали, молчали, молчали… убаюканная Волгой, тётя Маша то и дело клевала носом, а иной раз ложилась прямо на камни и засыпала. А я сидела рядом, смотрела неотрывно на её лицо; она дышала почти незаметно, и мне всё время казалось, будто она умерла. Зеркала у меня не было, и я подносила палец к её носу, но ветер, который почти всё время дует с Волги, сносил тёти-Машин выдох. И я просто ждала, думая: если она и правда умерла, я оставлю её здесь, а сама пойду в деревню и сообщу сначала Диле.

Рассвело окончательно. Нужно мне идти в столовую—моя очередь накрывать столы к завтраку. Я оставила тётю Машу с Дочкой одних и пошла вдоль берега к лестнице. После завтрака я завалилась спать. А после обеда меня разбудил Тарас. И мы отправились рыбачить.

Рыбалка с Тарасом

Мы с Тарасом вытолкали лодку в воду и поплыли. Он насадил мне червяка, забросил удочку, и я сидела, держась за неё и уставившись на поплавок. Тарас молчал—что на него было совсем не похоже. Когда я первая вытащила маленького окуня, мой сорыбак посвятил меня в тёти-Машину тайну.

—Странно, что тебе ещё не рассказали,—начал он,—это чуть ли не главная шеланговская история. Я думал, ты уж всё знаешь…

—Я здесь только второй раз, я вообще пока ничего про Шелангу не знаю.

Мы сидели спиной друг к другу, глядя каждый на свою удочку. Несмотря на тёплую погоду, на открытой Волге было холодно, и я надела свитер.

—Да вроде и по телику это показывали… Гы, первым летом вам проверку на вшивость устроили. С территории Дамдыха в деревню больно-то не пускали.

—Да уж. Даже молоко мне тётя Маша старалась сама приносить.

—Боялись, что вы можете скотину сглазить. Вот ты ходила смотреть, как стадо пастись уходит,—над тобой смеялись, а сами пришёптывали от сглаза какую-то абракадабру. У нас чужих не любят. Но если своим станешь—в обиду не дадут. Крепкая деревня. Вот ещё бы всем компьютеры поставить, Интернет провести… я бы тут чаще бывал. Или хотя бы купить всем телефоны…

—Тогда это была бы уже не Шеланга. Она мне потому и нравится, за некоторым исключением,—здесь время теряется. Почти непонятно, какой теперь год. И на часы я здесь редко смотрю.

Тут у Тараса зазвонил телефон. Он поговорил и снова обратился ко мне:

—Да, я никогда не дам забыть, что здесь далеко не девятнадцатый век…

—Ты хотел мне что-то про тётю Машу рассказать,—напомнила я.

Тарас помолчал немного, и заговорил он другим голосом, в котором не было привычной шутливой интонации:

—У нашей тёти Маши была дочь, она, как и я, переехала в город, вышла там замуж и родила сына.

—Ванечку, я знаю. Он гостит у тёти Маши на каникулах.

—Как же, гостит! Ты второе лето здесь проводишь, ты его хоть раз видела?

Я резко повернулась к Тарасу. Действительно, тётя Маша столько раз упоминала своего внука Ванечку. Когда на улице кучей-малой играли дети, она, повернувшись к ним с кружкой парного молока, звала Ванечку. Я сама много раз видела. Но дети тут же разбегались от неё. Она начинала жаловаться: «Вот ведь маленький хулиган! И как мне за ним угнаться? И щенка этого я ради Ваньки завела, так мне этот зверь даром не нужен—поесть не дурак, а толку никакого»,—а я ей на это говорила: вырастет, мол, щенок, будет дом охранять. «От кого охранять? У нас даже дома не запирают. И меня уж раньше дочка в город заберёт, к себе. У меня дочка, мама Ванькина, в городе живёт, в квартире. Мне с хозяйством тяжело управиться, я уж устала. Буду у неё жить, за Ванькой смотреть. А Дочку отдам Дильке, она уж больно молоко любит. Ну Ванька, ну разбойник!»—говорила тётя Маша и залпом выпивала кружку. А я и правда ни разу внука её не видела. Я иногда входила во двор к тёте Маше, пару раз проходила на веранду, но никогда не заходила в дом, хотя она меня много раз приглашала. На веранде лежала детская обувь, какие-то игрушки, во дворе валялся велосипед. Всё говорило о том, что Ванечка здесь живёт.

—Дочка тёти Маши, Альфия, познакомилась в Дамдыхе с одним русским мужчиной. Уехала в город. Тётя Маша сначала строила из себя «прожжённую татарку»—не давала согласия на замужество. А они уже давно в городе жили вместе. Ну, потом дочка её забеременела. Приехала как-то летом, к мамке моей сначала пошла. Мамка моя, как всегда, всё обо мне да обо мне—я тогда школу заканчивал, собирался в институт поступать. Мамка моя не заметила. Аля подумала, что не видно пока, и пошла к себе домой. А тётя Маша заметила почти сразу. И давай выпытывать. Аля рассказала, что от того русского. Я сам не видел, но говорили, что свет у них дома всю ночь не выключался. Сначала тётя Маша сгоряча надавала пару пощёчин дочери, потом простила.

—За что простила?—не поняла я.

—За то, что согрешила.

—Разве ребёнок—это грех?

—Я в татарской деревне вырос, почти что сам татарин. Грех, и большой. Они ж до свадьбы того, сама понимаешь. Без согласия матери, без никаха… Потом, конечно, тётя Маша была очень рада внуку. А Аля так и жила со своим русским мужчиной, и жила вроде хорошо, я точно не знаю, она была лет на пять-шесть старше меня, и я с ней мало общался, к сожалению. Помню, в детстве мамка часто оставляла меня на Алю. Когда я ходил в школу, Аля училась в старших классах и помогала мне с уроками, особенно с русским языком и литературой.

Я не любил читать, а Аля заставляла: сама делает что-то по дому, а меня вслух читать заставляет. Я читал машинально, не вникая в суть, а потом она заставляла меня пересказывать…
— Что ж ты не убегал от неё? Или боялся, что Оливанна отругает?
Тарас поставил удочку и стал рыться в рюкзаке, достал термос, налил себе чаю.
— Пить будешь?— спросил так, будто предлагал водку.
Чай был очень сладкий, я сделала два глотка и протянула кружку Тарасу.
— Не, убегать от Али не хотелось… с одной стороны, было мучительно находиться рядом с ней, с другой — я всё время ждал, когда она заберёт меня к себе или сама придёт, чтоб уроки делать. Больше всего мне нравилось, когда она сидела рядом, объясняла мне что-нибудь. Она уже становилась женщиной, и меня это волновало, а я не понимал, что происходит со мной, почему я себя так чувствую. Сидел ни жив ни мёртв, а когда она уходила, снова ждал её.
Тараса растревожили воспоминания о детской влюблённости, он даже забыл о рыбалке; обхватив кружку обеими руками, отпивал кипяток мелкими глотками.
— Однажды я увидел, как Аля купалась возле валуна. Нагишом. Она такая пухленькая была, я глаз не мог отвести… нет, ты не подумай, у нас с ней ничего не было, она всегда относилась ко мне как к ребёнку, даже когда я вырос. Она обнимала меня при встрече, а мне хотелось поцеловать её. Я всё детство был в неё влюблён. И даже немного переживал, когда она вышла замуж… Потом Аля с мужем и сыном часто приезжали к тёте Маше, а она всё время готовилась так, будто они раз в год приезжают. Мимо её дома пройти было невозможно — так вкусно пахло выпечкой. Когда Ванька подрос, родители стали оставлять его с бабушкой. И однажды летом, лет шесть-семь назад, оставили они Ваньку с тётей Машей, уже не первый раз, а сами на выходные приезжали. Ваньке было лет пять, наверное. Тётя Маша спустилась с ним к Волге. На берегу было много отдыхающих, жара стояла, тётя Маша с Ваней ушли к валуну, чтоб подальше от народа. Меня там не было, не знаю, может, она уснула или отвернулась, только когда она уже бегала по Шеланге и кричала, все поняли, что Ванька утонул. Приезжала милиция, спасатели, неделю лодки плавали, водолазы ныряли… мальчика не находили. Сотовых не было. Телефон был тогда только в магазине, в Дамдыхе и на кирпичном заводе. Предлагали позвонить Але, чтобы они с мужем приехали. Но тётя Маша кидалась на всех, кто хотел звонить, кричала, что Ванька найдётся, что он не утонул. Корову тогда мамка моя смотрела, тётя Маша домой совсем не заходила, всё бродила вдоль берега и звала Ваньку. Плавать она не умеет. За ней бегала медсестра, чтобы успокаивающий укол сделать. Бегала моя мать, тётя Диля, да и многие, чтобы усмирить, успокоить.
Тарас примолк. Мой красный поплавок резко исчез в Волге. Я широко раскрыла рот, глаза и лихорадочно вспоминала, что надо делать в этом случае. И дёрнула удочку. Тарас поставил кружку, чтобы помочь снять рыбку с крючка. Мы встретились глазами.
— Какой ужас,— сказала я.— А что же было дальше? когда дочка её приехала?
— Я этого своими глазами не видел, я уехал на вступительные экзамены. Спроси у моей мамы или ещё у кого. А лучше не спрашивай и не подавай виду, что знаешь. Тебя здесь любят, тебе сами всё расскажут. Поняла?
— Поняла,— пообещала я.

Диля

Как я и предполагала, тётя Маша побиралась по своим «секретным местам», шарила под лодкой, пытаясь нащупать бутылку. Во многих местах заставала она пустую тару.
Тётя Маша принялась проспиртовываться, размачивая в «цэ два аш пять о аш» своё женское нутро. Оно разжижалось и кусками отпадало от тёти Маши, которая всё меньше походила на женщину. Я обнаружила это, когда пришла в тот вечер за молоком. Я даже не успела дойти до дома тёти Маши — увидела Дилю, она шагала ко мне навстречу, на её указательном пальце покачивался пустой бидончик.
— У меня есть немного вчерашнего молока,— предложила она,— если хочешь, я тебе дам. А лучше пойдём, я покажу тебе свою квартиру, и чаю попьём с молоком.
Я согласилась. Разговор начался с тёти Маши.
— Кто же подоил её корову?
— Нашлись добрые люди. И кур с улицы собрали, накормили. Машу общими усилиями вытаскиваем, а потом, откровенно говоря, надоедает, у всех свои заботы. Только Дочке болеть не даём, доим.
— Что ж у неё — совсем никого нет? Чтоб вытащить из этого кошмара, ведь она упивается так, что… чуть не бензином ведь!
— Да, на честном слове держится Маша, прямо как наш Дамдых.
Диля наливает кипяток из электрического чайника, в современные кружки… Кабы не знать, что квартира эта без санузла и кабы не слышать за окном петуха, можно подумать, что это город, а совсем не Шеланга.
— Диля, а почему ты летом в Дамдыхе работаешь?
— Я одна, помогать некому, рассчитывать не на кого, вот и приходится работать,— отмахнулась от меня Диля.
Но мне хотелось поговорить с ней по душам.
— Да перестань! Уж ведь не ради денег ведь! Мне ли не знать!
Диля быстро и прямо посмотрела мне в глаза.
— А ты сама почему здесь? Что тебе наш Дамдых? Что он для отдыхающих? Ведь среди них есть далеко не бедные люди, которые могут позволить себе отдых пошикарнее. Каждый находит здесь своё.
— Или своих,— поправила я её.
— Что ты имеешь в виду?
— Тётя Маша рассказывала про ваши сосны. Они мне тоже кажутся живыми. Она говорила, что каждая сосна состоит из частичек чужой души.

— Они знают всё, что было в Шеланге. Раньше это был густой лес, но деревья будто сами раздвинулись, чтобы дать место домикам. Многие упали ни с того ни с сего, просто упали, хотя и не высохли,— целые здоровые деревья. Из них и поставили домики, столовую… ну и из кирпичей, конечно, тоже грех было не поставить — у нас ведь кирпичный завод одним из лучших считается…
— Что деревья упали — вы сами видели?
— Нет, это ж давно было. Мне мама рассказывала. А ей бабушка.
— А ей прабабушка! — весело подхватила я.

Но Диля не заметила моей ироничной интонации.
— Мы ни одного дерева не обидели. Они сами захотели, чтобы среди них жили люди. Когда у меня болит голова, я опираюсь лбом о сосну, только лбом, больше ничем не дотрагиваюсь. И стою так минут двадцать.
— Помогает?
— Помогает… но в это время надо стараться ни о чём не думать.
— Разве такое возможно? Когда я не думаю, я думаю о том, что я ни о чём не думаю,— шутливо говорила я, но Диля пропустила мимо ушей.
— А вообще, моя головная боль ничто в сравнении с тем, что пришлось им увидеть… Многие деревья высыхали сами собой. Помнишь, в том году около склада с бельём мужики утаскивали сухую сосну?
— Помню… думаете, она погибла?
— Она не выдержала. Мы стараемся относиться с уважением, но бессовестным образом издеваемся над ними.

Честно говоря, я не совсем поняла, в чём состоит издевательство, но вдруг решила тоже немного поиздеваться. В соснах, как и в коровах, я видела сугубо своё. Мне казалось, что местные, и Диля тоже, переоценивают значение сосен, приписывая им всякий бред.
— Может, тётю Машу отвести в лес и поставить у сосны, чтоб вылечить алкоголизм? — спросила я как можно серьёзнее.— Тем более — это она мне про сосны рассказала, она верит в них.
— Думаешь, мы не пытались? — приняв сказанное мной за чистую монету, ответила Диля.— Она и сама ходила, особенно к той, что у обрыва, которая того и гляди упадёт. Тётя Маша долго обнимала ту сосну. Потому что в ней живёт её дочь.
— Разве её дочь умерла? — спросила я, помня, что, по шеланговским понятиям, души умерших живут в соснах.
— Почему умерла? — удивилась Диля.— Хотя… может, и умерла теперь… но здесь её никто не хоронил.

Диля отпила чай, я притихла, чтобы не сбить её с мысли. Глядя в окно, будто там висел лист с текстом, стала она очень гладко рассказывать мне то, что рассказал Тарас, и то, чего он не рассказал.
— …Так прошло дня четыре, в пятницу вечером приехала Аля… Начался ещё больший кошмар, какого, наверное, не знала ещё Шеланга.

Диля смолкла. Я должна была осторожно задавать какой-нибудь вопрос, чтобы услышать историю дальше.
— Её сын нашёлся?
— Нет, она совсем обезумела, хуже тёти Маши. В город она больше не поехала. Помню, как она кричала и сорвала голос, потом кричала, как кричат во сне, когда снится кошмар и не можешь проснуться, хочешь крикнуть, а голоса нет. И вот так, хрипя, ходила она в своём кошмаре по берегу, по всей деревне, по Дамдыху. А за ней Маша, и обе звали Ванечку.
— Выходит, сын так и не нашёлся?
— Прошло ещё несколько дней. Аля сидела на берегу, никуда не уходила. Она жила на берегу. Оливанна и другие ходили за Машей, за коровой, а я Але приносила еду в баночке, кормила её с ложки; она будто не понимала, что с ней делают. Выпивала суп из ложки и просила Волгу отдать ей сына.
— И… Волга отдала ей сына?
— Прошло, наверное, недели две, как Ванечка утонул. Аля стала меня слушаться, я уводила её. К себе домой она не шла, ко мне не хотела, мы отвели её в один из домиков Дамдыха, постелили там. Я стала с ней ночевать. Первую ночь она уснула, как только легла, я сама ей ноги вытягивала, одеялом накрывала. Через полтора дня она проснулась и снова пошла к Волге. И вот однажды кормлю я её на берегу, вдруг видим — что-то по воде плывёт. Аля захрипела, что это её сын нашёлся, обрадовалась и полезла в воду. Я удержала её, позвали спасателей, они сплавали за ним… Никогда не забуду. Мальчик… Волга его хорошо поела за это время. Не узнать его было. Рубашечка на нём вроде его была — Маша сказала, что именно эту рубашку она надела ему. Лица почти не было. Решили не делать никаких вскрытий — утонул и утонул. Говорили, что не похож он на того, кто недавно утонул… Скорее всего, дело было в прошлом году… но никто не стал спорить, тем более и Але, и Маше будто легче стало. Готовились похороны. А Аля, ты бы видела, такая счастливая ходила, что сын её нашёлся! Будто его живого на берег выбросило.

Диля расплакалась. Вместе с ней прослезилась и я. Когда она более-менее успокоилась — продолжила:
— Говорят, кому на роду написано потонуть — если не в этот раз, то в другой обязательно потонет. И чем-то, видать, провинилась Аля, или сама Маша, или кто-то в их роду, раз Бог послал им пережить гибель ребёнка. Смерть от воды — это Божье наказание.
— Что же такого сделала Аля? Она была хорошим человеком?
— Аля была хорошей девочкой. Оливанна работала, а Аля за Тарасом присматривала, уроки с ним делала. И матери всегда помогала, спокойная девочка такая была… Может, когда в город перебралась, изменилась? Говаривали, что муж её был женат, потом влюбился в Алю и оставил жену. Но я точно не знаю… А может, наперёд её Бог наказал — за то, что она на тот момент не сделала, но сделает? А может, грех и вовсе не на ней.
— Подожди, Диля. Как может Бог наказать за то, что человек ещё не совершил?
— Может ещё как! Бог заранее знает, что сделает человек, он всю жизнь его наперёд знает.

Давно-давно в Шеланге говорили так: нельзя доставать из воды утопленников, нельзя хоронить их в земле! Погребающие грешат перед Богом, так как выражают этим протест Его воле. За это Бог может послать общественное бедствие. В Шеланге в то лето не было отдыхающих — не выполнили план, очень серьёзно стоял вопрос о том, чтобы закрыть дом отдыха. Кирпичный завод тогда простаивал, и дом отдыха был чуть не единственным источником дохода.

— Почему нельзя похоронить человека? Он должен всю жизнь плавать в Волге, как неприкаянный?

— Я и теперь в это верю. И Маша верит, но невозможно было отнять ребёнка у матери. Уже завёрнутого в саван, Аля подняла его на руки, прижала к груди, стала целовать, приговаривать: «Я знала, сынок, что ты найдёшься!» Так и не выпускала из рук. А когда ей сказали, что пора на кладбище, ребёнка надо похоронить, она завыла и не давала сына. Самое страшное: горе горем, но это всё ж чужое горе, и такое поведение начало всех раздражать. Аля никак не работала над собой, чтобы смириться, и переставала быть человеком. Силой у неё ребёнка вырвали и унесли на кладбище. Прошло ещё какое-то время. Казалось, Аля взяла себя в руки, одёжку Ванькину раздавала всем деревенским ребятишкам, говорила, что так он будет жить, что вещи хорошие, жалко, если пропадут. Ну, люди не отказались.

— Диля, а почему, каким образом Ванечка утонул? Как так получилось?

— Этого никто не знает. Маша часто ходила с ним на берег, и других ребятишек с собой брали. Они там купались, рыбачили. Видимо, Ванька спрыгнул или упал с валуна в воду. Ударился, может, сознание потерял… Волга торопилась и быстро текла. И в обед всё это случилось, около полудня. А это самое опасное время — в полночь и полдень водяной особенно разбойничает.

— А как же она не уследила? Она же рядом была.

— Уснула, наверное… страшное недоразумение, случайность… Маша засыпала часто. Рано встанет — поздно ляжет… да и возраст своё берёт. Иногда прямо во время разговора задремлет — я тихонько ухожу. А когда Ванечка утонул, вовсе спать не могла. Маша думала, что водяной нарочно усыпил её, чтоб Ваню себе забрать.

— А что с его матерью дальше случилось?

— Она сходила с ума. Когда раздала одежду, её, конечно, детишки стали носить. И она в каждом ребёнке видела своего сына. Однажды она набросилась на мальчика, стянула с него штаны, погналась за другими ребятами. Перепуганные дети побежали от неё, родители в тот же вечер сбросили одежду у Машиных ворот. Аля собрала её, спустилась к Волге и жгла там. И больше уже никто ей не сочувствовал, не жалел, её стали ненавидеть.

— Почему? Только из-за одежды? — удивилась я. — Ведь человек потерял ребёнка.

— Она редко появлялась на кладбище. Всё больше ходила на Волгу, долго на неё смотрела, ходила босиком по воде. Проплывёт «ракета» — к берегу пойдут волны, смоют её обувь. И возвращается она потом босиком, не чувствуя ни камней, ни стёкол, иногда поскальзываясь на гусином и курином помёте. Аля совсем сошла с ума. У неё появилась новая надежда: она вдруг стала говорить, что Ванечку можно вернуть, надо только, чтобы она забеременела, и Ванечка снова родится. Мы сначала не поняли: да, говорим, надо, ты ещё молодая, только пусть горе уляжется, муж рядом будет — тогда можно рожать. А она: вы не поняли, я ещё раз Ваню рожу. Это будет не другой ребёнок, это будет Ваня. И стала ходить по деревне, останавливаться у каждых ворот и просить, чтобы ей Ваню вернули. Мужики перед жёнами нос от Али воротили, но тихонько — на берегу, в лесу, в цехах кирпичного завода, — обрушивались на неё. А она радовалась, что совсем скоро Ваня снова будет с ней. Все наши мужики её попробовали… Она ходила по улице и говорила: «Степан помог мне Ванечку вернуть, Джаудат помог, Радик помог…» Женщины ненавидели её.

Диля встала, поставила чайник, он шумно закипел.

— А где она сейчас? — спросила я.

— Года три-четыре назад уехала и больше не появлялась. Пока Аля была здесь, Маша держалась, старалась её угомонить. А когда дочери не стало, пить начала, умом тронулась. Ну, ты знаешь, она считает, что Ваня у неё в гостях и скоро приедет её дочь, чтобы увезти их всех в город. Ещё чаю с молоком налить?

— Нет, спасибо. Печальная история…

Баня

Я медленно побрела от квартирного дома Дили в сторону Дамдыха. Со скрипом передвигались кирпичи. Я поравнялась с одной качелью и шла, стараясь не отстать от неё. Положила ладонь на кирпич. Кирпич был ещё тёплый.

В Дамдыхе вовсю шла дискотека, которую Лилере пришлось вести одной. Мне захотелось от души подвигаться, и я вошла в круг, пустилась танцевать и танцевала без остановки, пока дискотека не закончилась. Лилера была удивлена, она никогда меня такой не видела. Я сильно вспотела и позвала её спуститься к Волге, чтобы искупаться голышом. Было нелегко войти в воду, но, дабы спастись от взбесившихся комаров и острых камней, которые резали ступни, мы с визгом плюхнулись в Волгу. Лилера громко и восторженно материлась. Плыть в темноте — особенное чувство, а если плыть на спине — вовсе потеряешь ориентацию, ведь берега почти не видно, только довольно далеко горит фонарь пристани, освещая старую вывеску «Шеланга». И я на спине отдалялась от тёмного силуэта Лилеры. И вернулась назад на её голос. Хохоча и дрожа, мы натягивали одежду прямо на мокрое тело, ноги застревали в штанинах, кофты, которые мы перепутали в темноте, скрутились на спине. Покусанные, но освежённые, мы вернулись в домик и воткнули каждая свой кипятильник. Бодрость была невероятная. Я пересказала Лилере историю про сумасшедшую мамашу. Она слушала раскрыв рот, то и дело приговаривая: «Да ты что»,

«Ни х… себе!», «Бедная!» — и шумно прихлёбывала чай с молоком. Потом мы уснули.

Через неделю в доме у тёти Маши вместо её пьяного бреда послышался звук работающего сепаратора. Превращая молоко в сметану, он шумно трясся. Тётя Маша истопила баню. Мы были в числе первых приглашённых. Банные дни — это ещё одно невероятное событие Шеланги. Мужики особенно любили банные дни. И понятно почему. Жёны молчали: ладно уж, нужны они этим городским дамочкам, пусть подглядывают — как ещё развлекаться? Многие женщины, которые мылись, знали, что за ними подсматривают, и старались встать к щели или к окошку так, чтоб их как следует рассмотрели. Однажды, тоже вроде вторым или третьим моим летом, в банный день мужик ворвался и схватил «постоянную клиентку Дамдыха», да так сильно, что она, вся мыльная, едва не выскользнула из его рук. Жена увидела — точнее, услышала, а потом через вспотевшее окошечко увидела. Но мешать не стала, а пришла в Дамдых и рассказала нам. Дело было после обеда, мы сдвинули столы и, разложив ватман, рисовали стенгазету. Лилера удивилась тогда, что «рогатая» жена рассказывает это со смехом, с шутливыми интонациями.

— Мой-то, мой-то! Зашёл, развернул и вставил! — она смеялась от души. — Он много не церемонится, цветов не дарит! А она-то, она-то! Слышали бы вы её! Так запела, бедняжка! В бане — там ведь сам Бог велел: горячо, мокро!

— Ваш муж там с чужой бабой, и вы так спокойно говорите! Я бы вошла, волосы повыдёргивала! — негодовала Лилера.

— Кому? Ему или ей?

— Да обоим! Ужас, хоть бы отошли, а то у вас под носом!

— А что мне, жалко, что ли? Пусть лучше на моих глазах, чем незнамо где! Мужчин и так на свете мало, я своим поделюсь, не жалко! Тем более — он всё равно при мне останется.

— А не боитесь, что ей понравится и она увезёт его с собой? — включилась в разговор я.

— Ой, да нужен он кому больно! Как напьётся — спасу от него нет, убила бы. Уж так достанет, так достанет!

— Так чего вы его терпите? Гоните, разводитесь! — негодовала Лилера.

Она терпеть не могла шеланговских мужиков: как правило, всегда навеселе, а чаще — крепко выпивши, но безобидны. А Лилера презирала даже добродушную пьянь.

— Не могу, уж больно х… у него здоровый! Набегаюсь за день, приду домой, падаю, а тут он ко мне, и усталость как рукой снимет. А много ли бабе надо?

И все мы засмеялись. А я поразилась её мудрости. И на таких женщинах держались Шеланга, Дамдых, детский сад, школа; рекой лилось молоко, дождём сыпалась вишня… Женщины командовали в деревне, держали на себе всё, а мужчины, если не сильно пьяные и если не их смена ночью печь кирпичи, перед сном поддерживали силы своих жёнушек. И жёнушки эти, поругивая мужей, поколачивая мужей, делали их хозяевами своих домов, дворов и себя самих. Они были мудрыми до мозга костей, хитрили, притворялись, молча проглатывали обиды, могли мужика похвалить, когда нужно; когда нужно — дать подзатыльник. И крепче шеланговских семей сыскать было нельзя. В Шеланге почти не разводились, до старости жили, до смерти.

Та «рогатая» женщина потом очень тонко и интеллигентно, совсем не по-деревенски, отомстила любовнице.

Перед каждым отъездом мы устраиваем творческий вечер силами отдыхающих и работников. Все, кто обладает каким-либо талантом — поёт, танцует, читает стихи и т. д. Импровизированную сцену устраиваем прямо под соснами. Мы с Лилерой ведём всё это мероприятие. После ежегодного татарского народного танца тёти Маши я объявила следующий номер: юмористический монолог, читает автор. Вышла та самая женщина, повязав платок вокруг головы, обвязавшись поверх шерстяной кофты фартуком, в галошах, гетрах, — сделала из себя а-ля дуру-бабу-деревенскую и стала читать монолог… как «вышла она в огород, огурчиков собрать, вдруг из бани звуки таки неприличные доносются!! Глянула в оконце, а там…» Потом эта умница довела до того, что будто она вошла в баню, а та, что мылась, схватила мужа за руку, чтоб он не убежал, и кричит: «Простите меня, дуру грешную, уж так мне хорошо, простите!» И всё это изображалось, да так искусно! Я поразилась её чуткости, вкусу — ведь такую щекотливую тему она преподносила очень мастерски, парила на грани, оставив все шутки на уровне, не опустив их ниже пояса. Зрители хохотали, оглядывались друг на друга. А я со сцены заметила, как покраснела та самая женщина; она сделала вид, что задыхается не то в смехе, не то в кашле, чтобы оправдать свою красноту.

Но надо сказать — таких банных случаев почти не было. Дальше подглядывания дело не заходило и вообще было просто привычкой, мужской необходимостью. Они знали, что ничего нового там не увидят и в Дамдых далеко не Памелы Андерсон приезжают…

Для меня банный день был событием. Если пила я только Дочкино молоко, то мылась у всех подряд. Где-то мне нравилось больше, где-то меньше. Баньки были малюсенькие, с низкими потолками, с тесными предбанниками и, как правило, деревянные. Мы мылись обычно с Лилерой, иногда с кем-то третьим. В некоторых банях были низкие двери, ниже, чем сам потолок, и приходилось пригибаться, чтобы не зацепить лбом косяк. И при этом надо было перешагнуть через порог. Будто не входишь, а ныряешь в этот горячий деревянный куб. И сразу дико чесалось тело, так глубоко чесалось, прямо вместе с душой. И такое приятное было томление — что вот сейчас баня распарит, успокоит тебя.

Плескали пиво в печь, тёрли друг другу спины, полоскали волосы крапивой или водой из-под берёзового веника. Нещадно хлестали всё тело, в особенности ступни; обессиленные, выползали

в предбанник и жадно пили из литровой банки остывший сладкий чай. Живя среди сосен, я на какую-то часть пропитывалась их содержанием — мне даже не нужно было подходить к ним близко. Ветер задувал в мои поры всё подряд — пыль, песок, воду с Волги. Я не противилась. Я знала, что банный пивной пар и острая мочалка очистят меня. После бани я шла по Шеланге чистая, как девственница, готовая вновь впитывать в себя всё, что даст мне Дамдых, всё, что надует ветер, всё, что принесёт Волга.

Отдыхающие в банный день наслаждались своей чистотой, вечером не купались, на дискотеке почти не танцевали — бродили по лесу, общались между собой, обнимались с соснами…

Тусовщики

…Почти совсем рассвело, когда я поднялась с перевёрнутой лодки. Сколько лет сижу я на ней и вспоминаю прошлое, позапрошлое, позапозапрошлое лето… Внешне они друг от друга почти не отличались. Если спросить человека: «Что ты делал восемнадцатого мая в прошлом году? А в позапрошлом?» — мало кто с точностью ответит. А я уже много лет эти числа мая провожу на Волге. И с точностью могу сказать, как восемнадцатого мая две тысячи пятого, шестого, седьмого, восьмого и вот теперь две тысячи девятого года я с утра пораньше еду в речной порт, жду железную «плавучую сосну»; сунув баллон пива, прохожу на свой капитанский мостик или, если холодно, в пассажирский салон, сажусь у окна и тихо плыву мимо Нижнего Услона, Ключищ, Матюшино, Ташовки, Грибиней и, наконец, схожу в Шеланге. Поднимаюсь по лестнице в сосновый лес, вхожу в свой дамдыхинский домик, а там уже Лилера заняла кровать… потом галдёж по поводу нашего приезда, «какделаданичё», потом сон в девять вечера.

Девятнадцатого мая? Тоже могу сказать: ранний подъём — плетусь за коровами, смотрю на их крепкие зады, иногда чуть раньше отхожу далеко вперёд, в самое начало улицы, чтобы потом стадо шло на меня. И тогда вижу много добрых глаз на качающихся головах. Потом — к тёте Маше за утренним молочком. Потом — в Дамдых, шлифовать его к завтрашнему дню заезда, к двадцатому мая. И в ночь с девятнадцатого на двадцатое я на лодке — и к рассвету всегда приятно утомлена. Со скрипом расчёсываю я свои покрывшиеся волдырями руки, ноги, растираю лоб. Лилера всегда удивлялась тому, «как мне охота только торчать на Волге всю ночь и быть комариным ужином». Быть ужином сначала крайне неприятно, я не могу сидеть на одном месте и хожу, даже бегаю по берегу, но позже привыкаю, как ко всему привыкает человек, и забираюсь с ногами на перевёрнутую лодку, и колени согнутые прячу под свитер.

После десяти часов утра Дамдых потихоньку заполнялся отдыхающими. Те же лица, есть среди них и новые. Многие селятся в свои прошло- и позапрошлогодние домики. Новенькие идут туда, куда поселили, — они должны пройти местную проверку, прежде чем им дадут ключи с номером, на который они укажут, и допустят до других потрясающих шеланговских секретов.

Начинается сезон. По традиции, он открывается пышным обедом, к которому готовятся ещё накануне, затем даём людям возможность разместиться, расположиться и вечером устраиваем «Будем знакомы» — тоже по традиции, потому что почти все друг с другом знакомы не первый год. Ну а потом — дискотека.

Бывают у нас «ночи кошмаров». Мы ждём темноты, спускаемся на берег или прямо в лесу разводим костёр, садимся вокруг и по очереди рассказываем страшные истории. А когда у кого-то день рождения — мы шумно отмечаем и даже устраиваем костюмированное шоу. Костюмы, конечно, изготавливаем из подручных средств. Ходим по землянику — только не туда, куда Оливанна: она так и не раскрыла своего секрета. Но зато вместе с ней мы собираем травы — этого ей не жалко, и она с удовольствием ведёт всех желающих, рассказывает про каждую травинку, как надо прикладывать подорожник, как лучше засушить душицу, и не забывает упомянуть Карасика, конечно же…

Сбор вишни, банные дни, летние романы, спаривающиеся за валуном тела — каждый год всё одно и то же. Перестала отличаться оригинальностью и наша с Лилерой культурная программа. Но почему-то всё, что мы там все вместе делали, было жизненно необходимо всем нам, мы каждый раз боялись это потерять, хотя вслух никто не признавался. Все мы, которые после сезона расползались по городу, все мы, которым не было друг до друга дела, в Дамдыхе становились семьёй. И каждый человек был согласен с собой во всём, прощал себя и других за самые страшные вещи, получая освобождение, невероятное облегчение, с которым можно прожить ещё год среди рекламных вывесок и сотовых сигналов двадцать первого века.

Кто-то уезжал на несколько дней, у кого-то заканчивался отпуск, и он уезжал совсем, надеясь, что лишь до следующего лета… Мы жили с ощущением скорого кораблекрушения, наслаждаясь каждым днём, каждой вишней, каждым милым деревенским завтраком на красной клеёнке, каждой нашей с Лилерой загадкой, ответы на которые запомнились за столько лет…

И в такую летнюю нашу семью громом врывались тусовщики. Обычно они приезжали на выходные. Некоторые тусовщики из самых разных компаний стали отдыхающими Дамдыха. Но это были редкие исключения. Тусовщики обрушивались непривычно шумно, молодо, неожиданно. Приезжали целыми курсами, большими и малыми группами, но от количества качество их поведения не зависело.

Как правило, они приплывали на «ракете» или на омике. Галдя и хохоча, выгружались на пристани. Кучкой стояли там какое-то время, распределяя, кто что понесёт. Потом девки мялись перед «страшной лестницей», и, наконец, вся толпа врывалась в Дамдых. Они нарушали нашу гармонию, но мы их с радостью принимали. И не только потому, что понимали их важность,

а потому, что Дамдых, Волга, Шеланга учили с благодарностью принимать всё, что происходит, что бы ни случилось,—и я принимала. Все мы, как сосны когда-то, раздвигались в стороны, чтобы тусовщикам было где тусоваться. Им выдавали ключи от двух и более домиков. И весь Дамдых, весь берег, вся Волга принадлежали им, и они даже не догадывались об этом.

Среди тусовщиков были и постоянные клиенты. Группа студентов, которая в первое моё лето приехала отмечать успешное завершение первого курса, теперь обмывала диплом. Кроме выпивки, танцев и совсем не невинных поцелуев, они любили поиграть в «сумасшедшую мамашу»—ведь за столько лет и до них дошла эта история.

Каждый год упоминалась в Дамдыхе сумасшедшая мамаша. И всегда слышала я её в разном исполнении, её по-разному звали и приписывали всё новые поступки. Начиналась история, как правило, с недоброй шутки, потом могла перейти в изображение сумасшедшей мамаши, которая ходит босиком, молчит и вглядывается в лицо каждого ребёнка. Поиздевавшись, просмеявшись, обычно говорили: «Прости Господи, не дай Бог пережить такое»,—и стучали по дереву.

А именно эти студенты играли в догонялки: бегали и раздевались на бегу, топили друг друга в воде, выбрасывали в воду девчонок в одежде… Иногда мы с Лилерой немного тусовались с ними. Они были неплохие ребята, но не понимали всего величия старенького Дамдыха. Для них это лишь место недалеко от города, где можно оттянуться, расслабиться—и недорого: трёхместный домик всего 150 рублей за сутки, 350—с питанием.

Приезжала молодёжь отметить «второй день» свадьбы—без «предков»; на весь лес поднимался запах шашлыков, невесты—в шортах и фате. Как-то приехали и вовсе невоспитанные тусовщики, такие вообще отрывались по полной программе—играя в «сумасшедшую мамашу», бегали голышом и даже не удосуживались спрятаться за валун. Мы внесли их в чёрный список и больше не пустили. Были среди тусовщиков и взрослые компании—отмечали день рождения главным образом из-за того, чтоб «дома грязь не разводить», а здесь «и сплюнуть можно, и пепел стряхивать», «шашлыки, водки побольше—и никаких салатов не надо», «и сидишь за столом, можно из стакана остатки на землю выплеснуть и кожурку от колбаски выбросить».

Тётя Маша очень расстраивалась, когда мы пускали тусовщиков.

—Диля, да разве без них никак нельзя?—негодовала она.

—Нельзя,—говорила ей Диля,—мы и так почти ничего не зарабатываем.

И включалась Оливанна, если была поблизости.

—Не зарабатываем и не заработаем, потому что привадили всех, как к себе домой!—говорила она, и рука её мелко-мелко дёргалась в вязании.—А раньше вишню продать можно было, молоко можно было продать, а вы каждое утро на завтрак по кувшину на стол выставляете!

—А сама-то шапки свои направо-налево раздаёт!

—А что вам мои шапки?

—А что тебе молоко? Не твоё ведь,—говорил ей кто-нибудь,—не жадничай, к нам потому и едут, что у нас как дома.

И это было правдой. Тётя Маша смирялась с присутствием тусовщиков, но замечание молодёжи делала. На что однажды получила:

—Бабуль, не ругайся, а то сумасшедшая мамаша заберёт тебя к себе и потопит.

И вот в 2009 году приехали искатели острых ощущений. Они отличались от других тусовщиков—потому что выбрали Шелангу именно из-за этой истории. Их было человек шесть-семь. Они сняли два домика, но не включали музыку. Нам это было непривычно. Ребята привезли с собой лопаты, какие-то «миноискатели» и ходили по берегу, по Дамдыху в поисках сокровищ. Сначала все вроде завозмущались: что за раскопки? кто разрешил? А приглядевшись, увидели, что это совсем ещё дети, первокурсники или старшеклассники, которые хотели почувствовать себя взрослыми путешественниками. Решили им не мешать.

Потом путешественники эти ходили и приставали ко всем, чтоб услышать от очевидцев историю про сумасшедшую мамашу. У них были газетные вырезки со статьями об этом. Местные отмахивались от них, прикрываясь работой, но кто-то всё ж предупредил, чтобы к тёте Маше с этим вопросом не совались.

И тогда они сунулись ко мне. Вернее, ко мне сунулась одна из девушек. Мы с Лилерой ходили в это время по Дамдыху и прятали записки—это была традиционная игра для двух команд: кто первый отыщет приз. Девушка была совсем прозрачная, беленькая такая, юная, студентка филфака. Я рассказала ей историю, которую услышала несколько лет назад от Тараса и Дили. Лилера постоянно комментировала и в конце заметила, что, несмотря на то что над этим случаем часто потешаются, это всё же страшное горе.

—Бедная, видела бы эта сумасшедшая мамочка, как тут над ней потешаются. Кто-то считает, что она умерла, и бродит по Шеланге её привидение, разыскивая сына. Но никаких привидений здесь нет, я здесь не первый год работаю. Рада бы увидеть, но ни разу не видела. Это всё сказки, чтоб веселее жить! Здесь же скука смертная! It is awfully boring here!

—Значит, его мать тоже умерла?—осторожно спросила девушка.

—Умерла или нет—какая разница? Скажи спасибо, что не с тобой такое случилось! Я бы сразу повесилась, наверное… и скажи своим, чтобы потише копали. И чего вы здесь найти хотите? Ухо хана Гирея? Ты от сосны-то отойди, там, говорят, духи умерших живут! О, смотрите, Оливанна к нам идёт! Здрасьте, Оливанна!—громко поприветствовала Оливанну Лилера.—Видишь, у неё в руке трепыхается рыжая тряпочка? Поболтай с Оливанной минут пятнадцать о её сыне, она к тому времени эту шапку уже довяжет и тебе подарит,—Лилера звонко засмеялась.—Брось о разных призраках думать. Тебе это зачем надо? Реферат писать? Иди к обрыву, там покосившаяся

сосна стоит, всё никак упасть не может, в ней и живёт мамаша эта.

— Здрасьте, девочки! — подошла к нам Оливанна. — Мне с вами поговорить надо, — сказала она низким голосом и уставилась на прозрачную девушку, которая тут же сорвалась с места. — Мне вот какая идея в голову пришла. Надо издать книжку о Шеланге — я те такое расскажу! И устраивать экскурсии. На море тоже из воздуха деньги делают: поднимут людей в гору, легенду какую-нибудь расскажут — царица Тамара отсюда из-за несчастной любви вниз сбросилась, — и все туристы — вай-вай-вай! И денег, главное, за это плотят!

Ну Оливанна, ну и голова! Понаблюдав за «странными» тусовщиками, она смекнула, что можно водить платные экскурсии! Мало ей того, что люди платят за домик, питание, лодки, катамараны, гамаки, — она ещё вздумала выставлять экспонатами деревья, валун и даже кладбище!

— А что? Пусть приезжают студенты филфака, им там вроде фольклор надо собирать. Мы им и про сосны, и про утопленников расскажем. Ходят же в Москве по Ваганьковскому и Новодевичьему? А у нас чем хуже? У нас даже интереснее!

— Оливанна, в Москве вход на эти кладбища бесплатный, — улыбнулась я.

— А у нас будет двадцать рублей! Я сама им про каждого расскажу, кем он был в Шеланге. Девчонки! Ведь там люди, рождённые в тысяча восемьсот каком-то году! Могилку Ванечки покажу тоже, расскажу, как на самом деле дело было.

— Ой, Оливанна, бегите, пишите ценники, эти тусовщики как раз за утопленниками сюда приехали, — огрызнулась Лилера.

— Ладно, расскажите лучше, как там ваш Карасик? — спросила я.

Мать сыра земля

Странные тусовщики перекопали землю во многих местах и засыпали ямки обратно. От этого ноги мягко утопали в земле, и вся она как будто дышала вверх, прямо к моему лицу. Юные тусовщики очистили земляные дыхательные пути, за что она была им очень благодарна, думаю.

Земля считалась членом шеланговской семьи, общей матерью. Не зря Тарас сказал про Шелангу, что это крепкая деревня. Такие, как Тарас, дочь тёти Маши и многие другие, жаждущие пропитаться сигналами сотовой связи и остальным двадцать первым веком, в чём-то нарушили крепость Шеланги, уехали в город, променяли землю на асфальт. Ежегодно теряя своих детей, Шеланга тихонько, едва заметно расползалась. Но старшее поколение держало её в своих руках. Тем не менее, год от года Шеланга ветшала, и прорехи эти заполнял Дамдых, который так боялись потерять. Дамдых вносил в Шелангу новое качество; сосновый лес, в котором он расположился, держал на плаву деревню, людей, и не только потому, что приносил прибыль. Каждую весну появлялась у людей цель, общее милое дело, которое объединяло всех, приносило удовольствие. Было отрадно видеть, как, отдыхая здесь, люди начинают зреть в корень, распознают Дамдых, Шелангу; открываются всем сердцем, доверяют свои секреты, воспоминания и увозят с собой нового себя; чтобы на следующий год приехать опять, и дышать этим воздухом, и ходить по этой земле, и слышать «кирпичную песню», и видеть «вечный двигатель»…

На самом деле это отдыхающие затащили в Шелангу двадцатый, а затем и двадцать первый век. И, глядя на них, стала покидать деревню молодёжь. Но ведь и Тарас, и многие другие приезжают сюда к родителям; а некоторые не уезжают вовсе — отстраивают из местного кирпича, который достаётся им почти даром, коттеджи и живут. Только, как правило, без коров. Нельзя сказать, что молодёжь поголовно бежит с этого берега Волги. Наверное, пройдёт ещё несколько десятков лет — и превратится Шеланга в элитный коттеджный посёлок.

В начале мая в огородах вручную вскапывали землю всей семьёй, потом земля вознаграждала. Бабки пришёптывали ей разные благодарности. Даже крепко выпившие мужики валялись на земле, целуя её. Ещё бабки говорили, что сосновые корни и корни других деревьев — земляные жилы, по которым течёт кровь. На самоубийцу или вытащенного из воды утопленника «земля ляжет не пухом лёгким, а камнем тяжёлым».

После бизнес-идеи Оливанны я на следующий день сходила на шеланговское кладбище. Специально не стала звать с собой Лилеру — иначе поход получился бы клоунским. Она тут же принялась бы высматривать призраков, звать их… Все эти годы она жаждала увидеть хоть одного из них, хоть каким-нибудь образом почувствовать целебную силу земли, сосен… Лилера любила всё паранормальное, обожала фильмы ужасов — и, впервые услышав шеланговские истории, раскрыла в удивлённом восторге рот и с нетерпением ожидала хоть какого-то знака, а лучше — прямой встречи. Возможно, за этим она сюда приезжала каждый год? Но ничего необычного не замечала она вокруг себя и принималась задирать любого, кто заводил об этом разговор.

Находилось кладбище за деревней, за кирпичным заводом. Там было тихо и, придавая некоторую жутковатую вечность, росли высокие деревья, в основном берёзы. Только шелест их листьев и скрип кирпичных качелек, которые проплывали у левого края кладбищенского забора, нарушали тишину этого местечка. Я подняла на шум листьев голову и обнаружила, что у кладбища небо зелёное и шевелится. Был день. Деревья прикрывали от открытых солнечных лучей мёртвых. Но солнце всё же нагло врывалось в проплешины кладбищенского неба, и некоторые пригорки, памятники и тропинки горели. Такое резкое содружество света и тени создавало интимную обстановку. Ничего зловещего не обнаружила я на этом кладбище. Казалось, что всем, кто здесь покоится, спокойно и хорошо — и «суицидникам», и тем, кто утонул, тоже.

Чётких аллей, как на Ваганьковском кладбище, не было. Могилки расположились близ деревьев случайным образом, прямо как домики в Дамдыхе. Я пошла между памятниками, читая надписи. Мраморные, цементные и прочие надгробья

с выточенным месяцем говорили о том, что это татарское кладбище. Но уже чуть дальше виднелись кресты и искусственные венки, запылённые цветы, вырезанные из цветного прозрачного пластика. Деревья особенно давали понять, что люди лишь временно на этой земле. Место под ней всем шеланговцам найдётся. Они друг за другом лягут в свою мать, и корни деревьев, по которым течёт земляная кровь, будут упираться им в бока…

Оливанна была права. Смотрю на еле различимые даты: Марфа Гавриловна, год рождения — 1881, смерти — 1936… Когда появились здесь первые могилы, деревья, наверное, уже были большими, они всё стоят, а людей всё хоронят и хоронят… только подумать, ведь и я умру, и жизнь на земле не остановится, все будут жить как жили, но без меня.

Совершенно неожиданно увидела, что левее от меня у могилы сидит круглый шарик. Даже со спины я узнала тётю Машу. Голову её покрывал белый платок. Татары поминают своих не водкой — молитвой. Придерживая расстояние, я обошла тётю Машу и выглянула из-за берёзы. Сложив руки перед собой, сделав из ладоней кувшин, сидела она, слегка покачиваясь вперёд-назад, как тогда, на Волге, когда я доила её Дочку. Губы шевелились. Какое-то время она сидела так, затем поднесла руки к лицу и будто умылась невидимой водой. Она, должно быть, почувствовала, что я смотрю на неё, и резко повернулась в мою сторону. Я не успела спрятаться, стало неловко, будто я застала её совершенной голой. Тётя Маша, должно быть, хотела побыть с внуком одна, а я помешала им. Послышался знакомый звук вечного двигателя — поехали кирпичи. Мёртвые лежат, жизнь идёт без них. На обед я опоздала, накрывали без меня. Кладбище находилось далеко от Дамдыха, и возвращалась я медленно. Лилера обиделась за то, что я пошла на кладбище без неё.

Хлеб и ртуть

Открыто извиняться было, конечно, не за что. Но всё же, пытаясь загладить перед Лилерой вину, я вызывала её на разговор. Сказала, что видела там тётю Машу, которая читала заупокойную молитву для своего внука. Мы развалились каждая на своей кровати. Разговор завязался.

— Как думаешь, куда делась его мать? Почему она не приезжает, ведь старушка эта пропадёт! Или сопьётся, или что!

— Ну… её здесь поддерживают вроде…

— Ой, я тебя умоляю: кого волнует чужое горе? Жалеют её и тут же стебут, стебут и жалеют! Дочь её простить не может, думаю.

— За что? — не поняла я.

— Как за что? За то, что утопила ребёнка, раззява старая!

— Как это утопила? Она ведь не специально.

— А какая разница? Тебе ребёнка оставили? Значит, должна была за ним смотреть. А спать хочешь — так спи дома, а не на берегу. Ты прикинь, какой ужас! Мать твоя дитя твоё утопила! И как после этого считать её матерью?

— Кать, а у тебя есть дети? — спросила я, ведь даже этого я не знала.

— No, no! Ты что? Мне пока рано. Вот когда изменится кое-что в моей жизни, тогда я буду о детях думать.

— А что именно должно измениться? Чего ты так ждёшь?

— I don't know. Я и сама не знаю, чего именно я жду… просто я чувствую, что ко мне приближается что-то хорошее, вот-вот что-то грандиозно изменится в моей жизни. Эх, скукотища! Don't worry, be happy!

— А в какую сторону должно измениться?

— Да не знаю я… догадываюсь… сглазить не хочу, не спрашивай.

— Кать, а мама у тебя есть?

— Мама? Есть. Но мы редко общаемся. Я думаю, что эту сумасшедшую мамашу заперли где-нибудь в психушке или она всё-таки умерла.

— Наверное, — согласилась я.

На входе в наш домик колыхалась занавеска, дверь была открыта. О дверной наличник кто-то постучал.

— Да-да, — громко пригласила Лилера.

Вошла беленькая девушка.

— Ну что, нашли исторические ценности? Горшки, монеты, черепушки? — поддразнила её Лилера.

— Нет; вернее, не знаю, я в раскопках не участвую. Мы поделили обязанности — я собираю легенды.

— А тосты ты не собираешь? Беги в магазин, мы тебе столько тостов расскажем!

— Нет, тосты тоже нет, я хотела…

— Что хотела? Я тоже много чего хочу.

Лилера её постоянно перебивала. Моя соседка была склонна устраивать дедовщинку. Я вмешалась.

— Что там у тебя? — перебила я Лилеру, и, откинувшись на кровать, она смолкла.

— Мы по русскому фольклору проходили обычаи, обряды. Так вот, я только недавно вспомнила, что нам Татьяна Григорьевна рассказывала, как раньше в воде утопленников искали.

— Хлебом и ртутью? — спросила я с улыбкой.

— Да… а как вы узнали? — девушка немного огорчилась.

— Это известный древний способ. Уверена, в Шеланге о нём тоже знают. В поисках глубинных корней вы приехали правильно.

— Да, но нас в первую очередь привлекло в Шеланге совсем не это. Мы хотели больше узнать про «сумасшедшую мамашу», как её здесь называют. И провести собственное расследование. Это только я и ещё одна девочка — с филфака, а остальные — журналисты.

— А я-то думаю, откуда на факультете невест столько ребят! — засмеялась я. — Даже огорчилась, ведь в моё время были одни девчонки.

— Ой, а вы тоже учились на филфаке? А кто у вас вёл зарубежную литературу?

Лилера резко села на кровати.

— Стоп! Какой ещё хлеб? Что-то я не поняла.

— Кусок ржаного хлеба смачивается ртутью и пускается по воде. Он будет плыть и остановится как раз там, где утопленник, — объяснила я.

У Лилеры загорелись глаза.

— Да вы что?! И ты молчала столько лет! Так, я в столовку за хлебом, а ты, — сказала она девушке, — дуй

в медпункт за градусниками. Бери всё, что там есть, и к нам! Всё равно, какой хлеб — белый, ржаной?
— Подожди, не собираешься же ты…
— Ещё как собираюсь! Мне скучно! Плывём искать утопленников!

И Лилера, подпрыгивая от нетерпения, пошла в сторону столовой.

Она притащила целую буханку, а девушка принесла букет из градусников. Пришёл Тарас — принёс банку молока от тёти Маши и букет мяты и мелиссы от матери. Заварил в своём термосе.
— Пока вы будете утопленников искать, я порыбачу, — сказал он

С нами, бросив свои раскопки, крайне возбуждённые, отправились ребята-журналисты. Столкнули в воду две лодки, поплыли рядышком. Градусники разбивали и хлеб нарезали в нашей лодке.
— Наверное, надо что-то говорить, — осторожно спросила девушка — студентка филфака, — а не просто так резать? Ведь это древний обряд…
— А что в твоих умных книжках написано? — тут же принялась задирать её Лилера. — Вот и говори.

Мне нравилось, как выдерживает Лилерину дедовщину эта девушка. Она была вежлива, держалась, хотя я видела — ей хотелось ответить.
— Верно, нужно было спросить у местных старушек? — обратилась она ко мне.

И Лилера снова ответила:
— У кого? Ты попробуй подойди к ним! С нами-то они не общаются, а мы столько лет тут работаем. С тобой тем более не будут, так что — don't worry, baby. Be happy. И так кого-нибудь найдём!

Когда хлеб был готов, парень-журналист надел рабочие перчатки и принялся ломать градусники. Плохо получалось смочить ртутью хлеб, потому кусок за куском мы опускали хлеб в Волгу.

Это, безусловно, было баловство. Веселясь, хохоча, плыли мы на двух лодках, которые стукались друг об дружку, играли в догонялки, Лилера со словами: «На воде так жрать сразу охота!» — жевала хлеб, который предназначался для поиска утопленников. Без разрешения открыла термос Тараса и отпила мятный чай, не наливая в кружку. Тарасу было неприятно, но он ничего не сказал. Достал свой фотоаппарат и принялся фотографировать всё это молодёжное безобразие.

Мы играли с огнём. И, наверное, одна я понимала это, но, чтобы не выглядеть идиоткой, не делала замечаний. Девушка с филфака тоже не такого плавания ожидала. И она молчала, уставившись на хлеба.
— Утопленнички, ау! — весело позвала Лилера. — Мы за вами приплыли! Выходите!

Куски хлеба, казалось, никуда не плыли, а лишь смирно покачивались на воде.
— Блин, зря только градусники извели, — ворчала Лилера.

Тем временем становилось жарко, ребята решили искупаться и с визгом попрыгали в воду. Несмотря на то, что мы не встретили ни одного утопленника, народ веселился. Лилера тоже веселилась. Она сбросила свой сарафан и спрыгнула в воду. Только я, Тарас, прозрачная девушка и на другой лодке ещё один молодой человек не купались. Вдруг Лилера истошно вскрикнула, и голова её исчезла под водой. Сразу наступила тишина, я и шевельнуться не могла. Те, кто были в воде, тоже застыли. Ужас прокатился по телу. Но через секунду Лилера вынырнула, и следом за ней показалась голова хохочущего молодого журналиста.
— Ты совсем дебил! — ругалась Лилера; она наглоталась воды и перепугалась.

Я подала ей руку, и мы с девочкой затащили её в лодку. Лилера кашляла и сплёвывала воду.
— Идиот! Я чуть не утонула! Ты думаешь, что ты делаешь? Кхы, кхы!

Я накрыла свою соседку полотенцем и протянула ей фляжку с коньяком. Дрожа, она глотнула его, как воду, и громко передёрнулась с непривычки. Впервые я видела, как Лилера пьёт коньяк. Она не переносила даже чуть выпивших людей и сама никогда не пила.
— Ай-е-е!!! Нет, это надо быть таким идиотом?! Схватил меня за ногу, я думала, меня утопленник на дно тащит или водяной какой-нибудь. Чтоб тебя самого так на дно утянули! Идиота такого! Вот смеху будет!
— Ты же сама звала утопленников! Вот они тебя и услышали.

Между тем хлебушек наш размок, некоторые куски разваливались и растворились в Волге.
— Раз они никуда не плывут, значит, прямо под нами полно утопленников, — сказал один из ребят, — здесь очень глубоко, я нырял с маской. Они, должно быть, все на дне.
— И ты сейчас туда отправишься, — и, хохоча, на него набросился его однокурсник.

Тарас пересел в лодку к молодому человеку, они немного отплыли от купающихся и принялись раскрашивать фосфорным лаком мормышки.
— Ребят, мы, наверное, поплывём к берегу. Вы тоже долго не будьте.

Я села за правое от себя весло, Лилера — за левое, мы развернули лодку и поплыли назад. Девочка сидела к нам спиной. Доплыли мы в совершенном молчании. Не пришлось даже координировать движение вёсел — за столько лет мы с Лилерой, привыкшие всё делать вместе, даже гребли как один человек.

Подтянули лодку на мель, заперли на замок и оставили легонько покачиваться. Лилера не вернула мне фляжку с коньяком, она шла, отхлёбывая из неё. И стала совсем пьяненькая, когда мы пришли в Дамдых.

На следующее утро в нашу дверь сильно колотили. Я спала как убитая и сквозь сон только слышала. Чтобы не вылезать из-под одеяла, Лилера открыла окно и высунулась из него.
— Чего тебе не спится? — недовольно спросила она.
— У нас Влад утонул, — услышала я сквозь сон голос прозрачной девушки и резко села в кровати.

Лилера

Раньше в Шеланге каждый год кто-нибудь тонул. Если спасти утопленника, он заберёт тебя вместо себя. Люди стояли на берегу и ждали, когда человек потонет, даже не пытаясь его спасти. Конечно,

в наше время не помочь — преступление, грех на душу на всю жизнь. Даже потонувшего человека искали, доставали и хоронили на обычном кладбище, вместе со всеми. А раньше если и похоронят — то как можно ближе к берегу, чтобы вода могла забрать его снова. Позволить утопающему утонуть означало отдать его водяному, и тогда можно рассчитывать, что в ближайший год никто больше не утонет. Если утопающего отнять у водяного — рассердившись, тот заберёт двоих, а то и троих. «С судьбой не поспоришь», — любила говорить тётя Маша. Своим внуком уплатила она дань на несколько лет вперёд, после его гибели все эти годы никто не тонул. Я свидетель. И вот впервые за столько лет утонул молодой человек.

Недалеко от берега плавали спасательные катера. Перепуганные журналисты сидели на берегу. Рядом валялись лопаты, рюкзаки с их вещами. Милиция опрашивала студентов. Я присела рядом с растерянным молодым человеком. Девушка с филфака села с другой стороны.

— Влад начал тонуть; мы думали, он ныряет и хочет нас разыграть. Но долго не показывался. Мы с Тарасом не купались, рыбачили с лодки. «Что-то здесь не так», — кричу я им, а парни продолжают купаться. Свернули леску, подплыли, а Влада всё нет. «Он нырнул и уплыл под водой, у меня папа так делал, тоже нас перепугал, а потом мы все вместе смеялись», — сказал Серёжа, вон его сейчас допрашивают. Выплывет, говорит, в другом месте, ночью, когда мы спать ляжем, постучится к нам окно, вот увидите.

— Ужас какой! И вы спокойно поплыли к берегу? — изумилась прозрачная девушка.

— А что нам было делать? Мы там перед этим ещё бутылку водки распили, всем было весело.

— И ты пил? — тоном недовольной жены спросила прозрачная девочка. Вероятно, они встречались.

— Я только глоток, чтоб согреться. А Тарас пил свой чай, — сказал он, бросив взгляд на меня. — После того как вы уплыли, Влад принялся снова всех разыгрывать, ложился на воду, как мертвец, за ноги хватал. Ребята галдели, постоянно подплывали к нам, чтоб водки глотнуть, рыбу всю перепугали. Когда пацаны совсем разбушевались, Тарас велел забраться в лодку. Мы уплыли и дома ждали, когда же Влад придёт нас пугать. Спать легли, Серёга ещё раз всех предупредил, чтоб не пугались, когда Влад в окно постучится.

— А что ж вы нам не сказали? Пришли бы в наш домик!

— Да хватит уже, и так в себя прийти не могу! Понимаешь, он резко исчез под водой, и всё! Будто его самого кто-то за ногу схватил.

Подплыл катер. Два спасателя в водолазных костюмах вышли оттуда ни с чем. Досадным недоразумением и жутью пропитался воздух на берегу. Лилера смотрела далеко в Волгу и молчала. Возможно, она вспоминала свои проклятия. На берегу был Тарас, он прямо с фотоаппарата показывал ментам фотографии, которые успел сделать. Лилера не хотела подходить к ним, но журналисты успели рассказать «всё от начала до конца», и к ней подошли тоже. Она рассказывала то, как и с кем провела вчерашний день, иногда улыбалась, а разок они с ментом хохотнули по очереди. Я слов не слышала, но со стороны казалось, что парень с девушкой обсуждают весёлый фильм, который только что посмотрели.

Журналисты и девушки с филфака уплыли на «ракете» в тот же день, хотя за домики и еду было заплачено ещё на неделю.

— Мне кажется, он ещё найдётся, — Лилера подбирала плоские камни, взвешивала их в руках и пускала блинчики, — они специально всё это подстроили. Они просто посадили его на «ракету» и отправили домой. Точно.

Я ничего не отвечала. Хотелось бы думать, что так и было. Солнце очень красиво садилось за Волгу, весь берег был рыжий, местами золотой. Мне было грустно, но спокойно. Со стороны валуна мимо прошли молодожёны, которые проводили у нас медовый месяц. С лестницы осторожно спускалась Диля. Когда ноги её коснулись берега, она пошла увереннее, пухлые белые щёчки мелкой дрожью отвечали её ногам. Диля тоже озолотилась под солнцем, стала частью вечернего берега.

— Девчонки, это конец, — сказала Диля, — Дамдых продали.

Лилера застыла на секунду и, не оборачиваясь, пустила в воду очередной блинчик. Я во все глаза уставилась на Дилю. Она тяжело присела рядом со мной.

— Всё, продали наш Дамдых.

Мы молча проводили солнце. Волга спешила, была не в себе, волны частые, мелкие, суматошные — прямо как Лилерино душевное состояние. Она уже не блинчики пускала, а просто кидала в воду камни, она не могла найти себе места. И я её не успокаивала.

…Была пора сенокоса. С утра пораньше взревели мотоциклы, трактора — мужики отправились косить. Влада так и не нашли. Лилера продолжала думать, верить, что он жив и давно у себя дома. Представляю, как тяжело было у неё на душе.

Тем временем поспела вишня. Снова разбросало нас по вишнёвому лесу. Алюминиевая кастрюля, что висела у меня на шее, со стороны моего голого живота была тёплая. Я всегда собирала полную кастрюлю, она тянула меня к земле, верёвочка впивалась в кожу, натирала, шея жутко болела, и только когда уже совсем не было места и вишенки выкатывались на землю, я слезала с дерева и опустошалась в большое корыто. Лилера собирала сливу рядом со мной. Слива была крепкая, и Лилера с дерева кидала её прямо в стоящее на земле ведро. Она не всегда попадала в него.

— Как думаешь, простит он меня? — вдруг спросила она.

— Не знаю, Кать. Нельзя бросаться такими словами, что бы ни случилось, нельзя никого проклинать.

— А ты бы простила меня?

Я многое прощала Лилере, как и все, как Диля, как прозрачная девушка. Лилера была хамоватой, но… это не самое главное. Она, как сказал бы Станиславский, любила себя в искусстве. Она ещё

молодая, и есть надежда, что она поймёт, сможет видеть себя со стороны. Лилера потянулась за сливой и упала с дерева.

В детстве со мной редко играли другие дети. Чтобы жить в их обществе, мне приходилось зарабатывать их детское уважение, вынося игрушки на улицу, давая свой велик всем, кто попросит прокатиться, постоянно «маяться» в «казаках-разбойниках». Помню, однажды мне нужно было заслужить приглашение на день рождения. Это был популярный мальчик; если бы меня увидели среди его гостей, я бы точно стала «своей». Я решила угостить его и остальных жвачкой и залезла туда, где мама держала деньги… я понимала, что совершаю воровство, и чтобы мама меня не сильно наказывала, я напилась холодного молока из холодильника и на следующий день слегла с ангиной. Горло болело не очень сильно, и температура была невысокая, но я вела себя так, будто смерть моя пришла.

Мне показалось, что Лилера упала специально. Стремясь получить хоть какое-то облегчение, она, как всегда, не подумала о последствиях и упала неудачно. К ней подошли. Ей было очень больно. Она плюхнулась, кажется, на спину и, возможно, повредила позвоночник. Из глаз её катились слёзы; я знала, что Лилере хотелось заплакать, выплакаться, и вот появился хороший повод: спрятавшись за свою спину, она теперь и плакала — больше из-за Влада — и слезами своими просила прощения у него.

Я ожидала, что вызовут скорую, но пока все кудахтали и охали, кто-то из местных женщин сбегал домой, и вдруг из-за деревьев показалась шеланговская бабуля. Настоящая бабуля, которая никогда к нам близко не подходила. Все расступились. Бабуля нагнулась над Лилерой.

— Старые люди всегда советовали выносить тех, кто ушибся, разбился, на то самое место и молить землю о прощении, — сказала бабуля

— О каком прощении? — огрызнулась Лилера. — Мне скорую надо, у меня позвоночник сломан! Сходите кто-нибудь в Дамдых, принесите мне из аптечки димедрол какой-нибудь, сил нет терпеть, — сказала Лилера и ещё больше заплакала.

— Повернись, уткнись носом в землю и проси прощения, моли её, чтоб она тебя простила.

— Да что мы, в средневековье живём? — начала было спорить Лилера.

Но бабуля ещё ниже нагнулась над ней и, строго глядя в глаза, сказала:

— Проси.

И Лилера, превозмогая боль, делая всем, а особенно бабуле этой, невероятное одолжение, повернулась лицом к земле и, цокая, принялась просить прощения.

— Прости меня, земля! Что-то не хочет она меня прощать, — с вызовом сказала Лилера.

— Проси от сердца, а потом я тебя мазью смажу, — сказала бабуля и чуть шатнулась.

Её тут же подхватила под руку сноха.

— А я что, от жопы, что ли, прошу? — рявкнула Лилера.

Бабуля медленно повернулась и, опираясь на свою сноху, пошла от Лилеры прочь.

Ошарашенные, мы медленно отошли от Лилеры, которая всё ещё лежала на земле, и взлетели на свои деревья. К моей соседке появилась какая-то всеобщая брезгливость. Со своей вишни я поглядывала на неё: она плакала, и рот её раскрывался в бесшумном крике, и слёзы её впитывала земля. Рядом со мной стояли две женщины — наши отдыхающие. Они были в замешательстве и что-то бормотали про скорую. Вдруг Лилера приподнялась. В глазах её был ужас.

— У меня всё прошло, — сказала она. — Чё за фигня?!

— Вот и хорошо. Земля тебе помогла, — послышался весёлый голос с вишнёвого дерева. — На-ка тогда отнеси, вывали мою кастрюлю, а то я еле-еле сюда залезла.

Лилера осторожно подошла к дереву, приняла кастрюлю, полную вишни и понесла ее к корыту.

— Как это может быть?? У меня и правда дико болела спина! Чертовщина какая-то! Oh my God! Oh shit!

— Ты же всегда хотела столкнуться с чем-то сверхъестественным! — напомнила я.

Лилера долго собирала свою сливу, медленно-медленно.

Отдыхающие тут и там висели на вишне, переговаривались, смеялись. Вечером женщины встретили коров, своих мужей; мы тоже ушли в Дамдых — было время ужина. Я стояла на раздаче; к сожалению, многие столы были одиноки, красными квадратами стояли, держа на себе стаканчики с милыми букетиками из полевых цветов; ко многим столам были придвинуты четыре стула, на которых никто не сидел.

Я зашла в дом, чтобы одеться потеплее, и увидела, как Лилера сметает свои баночки с кремами в чемодан. На мой вопрос она, не отвлекаясь от своего занятия, ответила:

— Я здесь больше ни минуты не задержусь! Бред какой! Сначала пришла эта бабка, что-то надо мной пошептала, потом земля меня простила и вылечила — бред!

— Катя! Ты же сама мечтала увидеть здесь призраков, потешалась над нами, когда мы стояли у сосен! Говорила, что к тебе что-то приближается. А когда наконец столкнулась с настоящим чудом, ты бежишь от него, как последняя трусиха!

— Слышать ничего не хочу, я здесь больше не останусь!

— А как же я тут буду без тебя справляться? А как же зарплата? — пыталась я её удержать.

Я не хотела оставаться в домике без неё.

— Мне никаких денег не надо! Чёртово место! Я уже позвонила Артёму, он едет. И ты без меня справишься, не ври. Вы только рады будете от меня избавиться.

Я не стала её переубеждать, не стала ждать, пока за ней приедет машина. Накинув ветровку, я вышла из нашего домика и пошла в деревню.

После ужина разбросали траву, уселись во дворе у Оливанны, среди этой травы, вытаскивать косточки.

Никто пока ещё не знал, что Дамдых продали. Диля собиралась объявить это за нашим вишнёвым занятием. Когда с локтей закапал вишнёвый сок, в ворота вошла Оливанна. С рук её свисало длинное бежевое кружево.
— Люди, люди! Наш Дамдых купил какой-то депутат!

Дамдых сдох

Диля мне говорила, что зимой Дамдых представляет собой жалкое зрелище. Домики слабые и унылые под снегом, а весь Дамдых — даже зловещий. Лиственные деревья сбрасывают с себя всё и нагишом подставляются под снег. А сосновая хвоя остаётся на ветках, и её испарение во время мороза для сосен губительно. Чтобы сберечь себя и все наши секреты, сосны прекращают своё дыхание. Зимой не дышали сосны — и Дамдых не дышал. Хорошо, что Волга замерзала и путь в Шелангу мне был отрезан.

Никто открыто не горевал по поводу Дамдыха. Никто пока не знал, что здесь будет: частный дом? детский лагерь «Волга»? Или всё останется как прежде, просто будет другой хозяин? Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Дни шли своим чередом; я делала всё, что привыкла, — выдавала в прокат лодки, катамараны, дежурила по столовой, вела дискотеки, на которые, кстати, ходили как никогда и лихо отплясывали. Я кипятила воду в бокале, пила чай с молоком — я делала всё то же самое, только одна. Ложилась на кровать Лилеры, прямо на её постель. От подушки пахло Лилериным кремом. Несмотря на воткнутый «раптор», летали комары, и никто на них не огрызался.

Депутат не заставил себя долго ждать. Местная администрация, продавшая ему Дамдых, предупредила о том, что «мы душу каждый год вкладываем», что для нас «это удар, страшная потеря», и попросила быть как можно мягче.

Однажды депутат заехал в Дамдых на машине, хозяином ходил по лесу, был вежлив, здоровался со всеми, подошёл к сосне и постучал по ней. Двое мужчин, которых он привёз с собой, тоже, приложив ухо, постучали по сосне и, улыбаясь, закивали друг другу. Вечером, вместо ежегодного концерта силами отдыхающих и работающих, новый хозяин провёл собрание. Сначала он рассказал о себе — это было бы важно, если бы он оставил всё как есть и был бы лишь новым, никогда здесь не появляющимся владельцем Дамдыха. И пусть бы Дамдых прикрывал его финансовые дыры, укрывал от налогов — лишь бы остался! Но депутат собирался устроить здесь «штаб-квартиру». На вопрос: «А что здесь будет?» — чёткого ответа дать не мог. Не может же он вот так в лоб сказать: здесь, мол, я построю себе чудо-дом, баню, и будем мы сюда заезжать с клёвыми тёлками и отрываться по полной программе. Депутат отвечал размыто: дом, домик для гостей… баня, произнёс слово «дача». Его детям, которые каждое лето приезжают из Лондона домой, полезно подышать сосновым воздухом. Я стояла позади всех, обняв сосну, и мне не верилось, что это происходит на самом деле. У нас отбирают Дамдых, чтобы оргии устраивать, да и не важно для чего, самое главное — у нас отнимают наш Дамдых и хотят порубить наши сосны… Мне не верилось, что Дамдых умирает и мы ничего не можем сделать!

Депутат сказал, что все, кто оплатил свои путёвки, может доотдыхать, строительство начнётся только осенью. Уверил местных, что работы всем хватит, пусть никто не переживает из-за этого, ведь здесь давно пора всё переделать — лишние руки не помешают. А когда Диля упомянула нас с Лилерой, депутат, подмигнув мне, сказал, что — конечно, пусть и они приезжают, работу найдём! У него ещё есть катер, на котором он планирует выбираться на Волгу порыбачить, а на катере нужны хорошенькие официантки. Работать у него может хоть вся деревня: когда его величество изволит приехать в свою сосновую дачу, ему понадобятся уборщица, повар, прачка… Осмотревшись вокруг себя, предположил, что, возможно, не придётся сносить всё подчистую, кое-что можно и оставить — как раритет. И пошёл по нашему Дамдыху. И все, как коровы на пастбище, толпой пошли за ним. Куда он, туда и мы.

Депутат оглядывал наши домики и называл их рухлядью.
— Сколько здесь стоит домик снять? Сто пятьдесят рублей? Триста пятьдесят? А, это с завтраком! — он явно издевался, а Диля почему-то испуганно отвечала на его вопросы.

Вдруг депутат задал наиглупейший, очень унизительный вопрос:
— Кто из вас умеет пользоваться сотовым телефоном?

Все настолько опешили, что не нашлись что ответить. Он, видимо, думал, что здесь край света и одна неграмотная деревенщина живёт. После молчания местная женщина ответила:
— А вам известно, как получить из молока творог при помощи сепаратора?
— Нет. Зачем мне это?
— И мне сотовый ни к чему. Если надо, я голубя запускаю.

Но Оливанна всё испортила.
— У меня есть сотовый. Мне сын звонит, это он мне купил, — она сунула вязание в карман и из другого кармана достала телефон и показала депутату кнопки. — Я могу ему позвонить, а когда он звонит — нажимаю сюда.
— Вот и славно, — расхохотался депутат и похлопал Оливанну по плечу, — будете моей управляющей. Я буду вам звонить, когда соберусь приехать на свою дачу, а вы организуете здесь уборку, чистку бассейна, еду… и вообще всё что нужно. Ну что ж, спасибо всем за внимание. Ещё есть ко мне вопросы? Ах да! Получать будете… в два-три раза больше, чем сейчас.

Я и, думаю, остальные тоже мгновенно сосчитали эти деньги.

Диля сказала, что ждёт всех нас в столовой, и нашла в себе мужество попрощаться с депутатом. Мы все так хорошо, так крепко держались перед

ним. Как сосны — ни одна из нас не прогнулась. Оливанна, вам шапок мало? Мало трав? И земляничного ковра, который вы так и не показали?

Возможно, возможно, и к лучшему это — ведь домики наши деревянные не бесконечны. Было бы ещё больнее видеть, как они гниют и разрушаются. Мы не против отстроить их снова, чтоб окрепчали они, мы за то, чтоб многое в этом лесу облагородить, чтобы людям ещё больше понравилось здесь отдыхать. Но как может один человек забрать всё себе?

Если всё же так случилось — возможно, и к лучшему то, что он предложил работу… и как он не может понять, что мы не сдавали домики — мы принимали гостей в своём доме, в доме отдыха? А он предлагал стать его слугами. От обиды и бессилия мне безумно хотелось плакать. Но сосновая смоляная густота, что скопилась во мне за столько лет, не давала вытечь слезам.

В столовой мы собрались без Оливанны. Никто не выгонял её, она сама не пришла. Осторожно зашёл Тарас, виновато потоптался у входа, а когда я его позвала, он вдруг вышел — и вновь вошёл с большой сумкой.

— У тёти Маши сегодня день рождения, — сказал он и стал выставлять из сумки шампанское, водку, колбасу, конфеты.

Он явно сплавал в город — в Шеланге такого разнообразия не было. И он был единственный, кто вспомнил про тёти-Машин день рождения. Из-за Дамдыха даже я забыла о нём, хотя каждый год её поздравляла.

Сдвинули и накрыли на скорую руку столы. Первый тост подняли за тётю Машу, она сидела в сторонке, жевала бутерброд, грустно, почти не отрываясь, смотрела на меня. Больше к её дню рождения не возвращались. Все очень светло вспоминали то, что здесь пережили. Никто не выл, не плакал, а мне, например, хотелось. «Тонули» с достоинством, как музыканты на «Титанике».

Мы заглянули в книгу регистрации — последние отдыхающие съезжали тринадцатого сентября. У нас ещё столько дней в запасе! Только сейчас я поняла, что чувствовали жители Матёры… Мы общались долго, смеялись, перемыли косточки депутату, и не хотелось выходить из-за стола — так было хорошо.

Позже появилась Оливанна, она связала для тёти Маши кофточку, которую тут же на неё надела. Тётя Маша ничего ей не сказала, а встала из-за стола и отошла на кухню. Оливанна так и осталась стоять с протянутой рюмкой.

— С днём рождения, Маша, — крикнула ей вслед Оливанна, — тебе очень идёт, — и почему-то подошла ко мне, отвела в сторону: — А что у вас с Карасиком? Вы — да? и как это? А хочешь, я покажу тебе, где собираю землянику? — прошептала она и махнула рюмку.

— Не надо, свяжите мне лучше точно такую же кофту, — сказала я и отошла.

— Ну хорошо… свяжу, — растерянно прошептала Оливанна. — А с Карасиком-то что у вас? — почти крикнула она.

— А с Карасиком у нас то самое, — соврала я.

Мне удалось сделать Оливанне больно. Она мгновенно заревновала, подбегала ко мне с вопросами, но я уходила. В конце концов она, увидев меня в окружении тёти Маши, Дили и некоторых других женщин, больше не подошла. Диля произнесла тост за Дамдых и затянула «Когда б имел златые горы…». Пели и татарские песни, и мне казалось, будто я всё-всё понимаю…

Потом все мы разошлись по лесу, многие заключили сосны в свои объятия и закрыли глаза. Диля стояла, лбом опираясь о сосну. Руки её безвольно покачивались, как кирпичные качели на ветру. Каждый, должно быть, шептал соснам свои секреты; я тоже выболтала всё, что раньше не говорила, — ведь это последний шанс всё им рассказать. Мы никак, совсем никак не могли их спасти…

Отдыхающие разъезжались, всё больше столов в столовой одиноко краснели тёти-Машиной красной клеёнкой. Я не хотела видеть смерть Дамдыха, показала Диле, как включать музыку на дискотеке, и решила уехать раньше, в «ржавом августе», в самую пору яблок и овощных рагу. И Тарас меня провожал.

Рано утром он взял мой маленький чемодан, и мы пошли по лесу в сторону лестницы.

— Прощаться с кем-нибудь будешь? — спросил он.

— Разве только с тобой, — ответила я.

Почти у самой пристани я остановилась.

— Тарас, пойдём со мной за валун.

Мы шли по берегу — я впереди, Тарас чуть отставал. Сели в лодку. С Волги дул сильный ветер, и глоток чая с мятными листьями помог нам согреться.

— Как жаль, как жаль уезжать, — вздохнула я.

— Тётя Маша будет по тебе скучать. Она тебя очень любит. И Диля тебя любит, и мама, тебя все любят.

— А ты меня тоже любишь? — спросила я.

— И я тебя люблю, — сказал Тарас и поцеловал меня.

Меня уже давно не целовали, мятный вкус его губ, ветер и шёпот Волги вскружили мне голову. Та случайная связь несколько лет назад, когда я, вдохновлённая парнокопытной любовью, сама мычала и любила здесь быка, была последней. После этого у меня не было мужчин, и то ли от утреннего холода и недосыпа, то ли от дикого возбуждения я мгновенно отяжелела в руках Тараса. Мы освободили от одежды наши половые признаки, и Тарас просунул свои холодные руки мне под кофту. Они тут же обожглись об меня и потеплели. Он сильно, до боли, сжимал мои груди, и мне казалось, что вот-вот из них брызнет молоко. Вместе с мятным дыханием Тараса я слышала запах сырого дерева, который шёл от лодки; в мою щёку всё глубже врезались занозы. Ногой я задела термос, который стоял рядом, и чай разлился по камням.

Обратно шли по берегу молча и медленно. Тарас чуть отставал с моими вещами. В столь ранний час мы были одни. Волга вела себя спокойно, она дремала, почти не двигалась, лишь ветер, пытаясь разбудить её, создавал рябь. Я залюбовалась, остановилась. Вспомнила Лилеру на берегу, как

нервно пускала она блинчики, как мы купались с ней голышом, как красили старые катамараны и, крепко обдутые ветром, возвращались в наш домик… и тётя Маша приносила нам молока от своей Дочки.

— Пожалуй, надо проститься с тётей Машей,— сказала я.— Наверное, она уже проснулась.

Мама

Тётя Маша попалась мне навстречу. Она вся запыхалась и, тяжело дыша, рухнула ко мне на руки. Крепко обняла. Её шерстяной платок защекотал мне губы.

— Я так спешила… боялась, что больше не увижу тебя… Неужели ты могла уехать, не простившись?— выдохнула она и пригласила меня на чай.

Раньше я всегда отказывалась, а тут согласилась.

Сели. Выпили, только не чаю. Тётя Маша захмелела быстро. Попели с ней песни. Она показала мне фотографию своей дочки. Я смотрела и думала, как же я изменилась за эти годы. Похудела не только я, но и голос мой и взгляд будто исхудали. Мама меня так и не узнала, и, кажется, никто не узнал. Однажды Диля подошла, как всегда, близко, её молочное дыхание захлестнуло меня, и слабые глаза рассмотрели. «Аля…» — испуганно прошептала она уже мне в спину, но я сделала вид, что не расслышала. Больше мы к этому не возвращались.

А вот мы с моим сыном Ваней стоим на пыльном комоде. Фотографию в рамке съело солнце, мы почти обесцвеченные, блёклые, нас еле-еле можно различить. Всё это время, когда я каждый год приезжала в родную Шелангу, чтобы быть рядом с мамой, я всё реже вспоминала своего сына, вернее, то, как он погиб. Я пила парное молоко, которое знаю с детства, входила во двор, в котором выросла, бродила по берегу Волги, где знаю каждый камень, смотрела вслед коровам… Видя, как пропадает моя мама, порой хотела я кинуться ей в ноги, просить прощения, что бросила её, признаться ей, что это я!— и теперь я останусь или заберу её к себе,— что я простила её, простила за то, что она уснула и не углядела за Ванечкой. Я била её по лицу, как она меня, когда узнала о моей беременности, только я её долго и больно била, а она рыдала и даже не прикрывалась, позволяя моим обезумевшим от горя рукам хлестать себя…

А потом я бросила свою маму и не давала о себе знать. Я лежала в больницах, долго. Белые халаты, цвета морской волны медицинские костюмы, и в них — равнодушные лица. Мне виделось, как мой Ваня тонет, как он испугался в последний раз, какой ужас пережил он перед смертью и как моя мама спит в это время на берегу. А я была где-то на работе, где-то в машине, в городе, в самом начале двадцать первого века — и ничего не почувствовала! Ничего! Сон с выпавшими с кровью зубами мне тоже не приснился. Мой сын утонул во вторник, а я доработала до пятницы и только потом поплыла в Шелангу…

Очнулась в 2004 году, зимой. Увидела на улице табло с часами — узнала, который час, потом он сменился температурой воздуха и, наконец, годом, месяцем и датой. Мужа у меня к тому времени больше не было. Если честно, я думала, что мама моя умерла, что, приехав, я обнаружу заколоченный дом. Или посторонних в нём людей. У меня целая зима и весна, чтобы привести себя в порядок перед возращением на родную землю.

В июле я приехала на речной вокзал, у третьего причала увидела омик. Подошла к нему — мой старый знакомый, матрос Славка, уже перекинул мостик и, опершись на него рукой, курил. Я поздоровалась, назвала его по имени. Он меня не узнал. Столько лет мы были знакомы, столько лет я плавала с ним, выросла на его глазах. Я не стала напоминать ему о себе, и мы познакомились снова.

В Шеланге меня тоже никто не узнал, а скорее всего, все очень-очень сильно притворялись, чтобы не вспугнуть меня. Я сказала, что хочу отдохнуть и мне нужен домик. Но не прошло и двух недель, как мне предложили в нашем Дамдыхе работу — высмотрели одинокого человека, который никуда не спешит. Несколько дней я ничего о маме не знала и не видела её. Когда у меня закончился кофе, отправилась в магазин, ещё на крыльце услышала, как орала продавщица. Войдя, я увидела круглую спину в поеденной молью кофте. Эта спина с прорехами что-то жалобно лепетала, а потом повернулась ко мне, задев, прошаркала мимо. Существо, умоляющее о водке, оказалось моей мамой. Я не стала за ней идти, купила свой кофе и ушла в лес, в Дамдых. Позже я заметила, что её не пускали или выгоняли с территории Дамдыха — она клянчила денег на выпивку, и от неё неприятно пахло. Мама всё ещё пила, отправляя псу под хвост свою жизнь и хозяйство. Однажды я пришла к ней, застала во дворе Дилю, которая выгребала из сарая навоз. Мама развалилась на крыльце. Я подошла к ней и сказала, что хотела бы покупать молоко именно от её коровы — Диля уже угощала меня им. Мама странно посмотрела на меня. Дня три не показывалась, а потом принесла мне молоко прямо в лес. Я маму не сразу узнала, вернее, я увидела не потрёпанного дырявого алкоголика, а свою маму — круглую, пышненькую, как я когда-то, маленькую, чистую. Лишь лицо и едва уловимый, но намертво впитавшийся спиртовой запашок выдавали её недавнее прошлое. Больше она тем летом не пила. И через несколько дней лицо моей мамы разгладилось, проветрилось. Все удивлялись: ведь раньше её вытаскивали из запоя общими усилиями, а тут вдруг она сама бросила.

Ближе к августу я заболела, лежала в своём домике с высокой температурой. Мама вылечила меня молоком. Она стала тем живчиком, каким была, какой я её помнила. Шутила; казалось, ей было легко. В первое же лето в Дамдыхе я иногда подходила к своей измученной сосне, обняв её, опасно свисала с обрыва, и мне был виден берег. Вдоль Волги медленно катился одинокий шарик, который когда-то родил и вырастил меня на этом берегу — и на этом берегу лишил меня жизни… После второго своего лета я хотела, каждый раз хотела простить маму до конца и раскрыться перед ней. Я была добра к ней и ласкова, она ждала меня, её ко мне тянуло, и только я знала почему.

Я сильно похудела, помрачнела и состарилась так, что родная мать не узнала…

А в доме у меня ничего не изменилось — мама и стула не переставила. За все эти годы я ни разу не вошла в свой дом. Неожиданно очень близко и надрывно прокричал соседский петух.

— Нету у меня теперь жизни. Дамдых сдох, сдохну и я, — выдохнула мама и, не расправляя постели, рухнула, чтобы спать. Через минуту послышался её постанывающий дребезжащий храп.

Я

От выпитого и мне спать хотелось, но я вышла во двор. День уже рассуетился, и за воротами слышались людские голоса, бесцельные куриные похождения и лай собак. Я отправилась в сторону Дамдыха, чтобы спуститься на пристань и дождаться там вечернего омика.

Осторожно ступаю я по лестнице: её ещё не сломали, но, скорее всего, поставят широкую, чтобы депутату удобно было спускаться к Волге, а нашу уберут.

В детстве мы скатывались с обрыва на санках и лыжах, я даже пару раз ломала левую руку. Мужики тут и там чернели на белой твёрдой Волге и всегда неожиданно, резко взмахивали обеими руками. А те, кто рыбачил ближе к берегу, на нас шикали. Весной нас на берег не пускали вовсе, но мы, конечно же, сбегали и на спор ходили по Волге, которая уже почти откликнулась на весну. Надо было дойти до первого буйка и вернуться обратно. Ходили по одному, в основном мальчишки. И я себе уважение разными способами зарабатывала и тоже шла по едва твёрдой Волге, не зная, возьмёт она меня или оставит… Взрослые не догадывались про эту затею. Мы забегали на берег после школы, чтобы доказать себе и друг другу собственную «смелость», а потом шли домой.

Я добрела до валуна. С одной стороны он был умыт Волгой, с другой едва согрет августовским солнцем. Август — прекрасный месяц, предчувствие золотой осени. Волга уже цветёт, у самого берега зеленеет. Интересно, сколько человек она поглотила? Есть ли там место ещё для одного? Я до сих пор не знаю, какого мальчика мы похоронили. Моего сына Волга всё ещё носит в себе. Как я, когда была беременной.

Я вспомнила Ванечку, когда он был совсем маленьким, когда ему даже полгода ещё не исполнилось. Занимаясь делами, я, вместо того чтобы взять его на руки и никогда больше не отпускать, подходила к кроватке, говорила что-то громкое и смешное, и пока Ваня смеялся, успевала что-то погладить, постирать, помешать на плите… Иной раз я всю ночь не спала, пока Ваня медленно посасывал во сне грудь… Он с самого рождения любил спать на боку. От этого за ушками у него опревало; если отогнуть ушко, там особенно пахнет моим сыном. Я утыкалась носом и нюхала, нюхала, закрыв глаза…

Ваня не спал один, постоянно прибегал и ложился между мной и мужем. Муж поругивал его, пенял, что мужчине негоже с мамкиной сиськой всю жизнь быть. Но сын хныкал, и я его защищала. Ваня всегда обнимал меня так, будто я собираюсь сбежать. Мы потели вместе с ним, шеи наши чесались от моих волос, но сын ещё крепче обнимал меня. Муж откатывался на другой конец постели. Конечно, Ваня, как любой ребёнок, не всегда был послушным, иногда выводил меня, я его наказывала, ставила в угол, запирала в ванной… И когда его не стало, мои наказания вспомнились мне, и казалось, что я обижала и предавала своего сына.

Рассказанное Дилей я помню плохо. Урывками, вспышками. Волгу помню, мать свою помню… Помню прыгающие вверх-вниз одинаковые лица мужиков над собой. И хорошо помню, что лица у всех стекались к носу: казалось, с кончика носа вот-вот закапают щёки, затем на их место стекут глаза и тоже закапают… И ещё очень хорошо помню: мужики делали это молча, тихо, для галочки, для собственной коллекции, как трусы. И Тарас побывал трусом, он был ещё большим трусом — не смотрел мне в лицо, прятался за моей спиной, дышал в самое ухо, быстро в меня изливаясь. То, что одежду у детей отнимала и жгла на берегу, не помню совсем.

Остаток осени, зиму и весну я проводила в городе, и не падала я потому, что знала: летом поеду в Шелангу, к маме, буду в Дамдыхе, среди крепких липких сосен, среди старых домиков; рядом будет, несмотря на много лет знакомства, далёкая мне Лилера, которая была нужна мне — чтобы было от кого уходить, было от кого скрываться, чтобы даже в домике не могла я расслабиться. Чтобы поговорить ни о чём, посмеяться над кем-нибудь, чтоб была ещё одна голова — придумать какое-то развлечение для отдыхающих, чтобы была ещё одна пара рук — убраться в столовой, почистить и покрасить старенькие катамараны, поиграть с детишками в волейбол, натянуть гамак… Чтобы была она, Лилера, Катя, Катенька, со своими лосьонами, кремами и прочей косметикой в лесу. Лилера, которая ничего мне не сделала, которую не за что было прощать, разве только за занятую кровать у окна, ведь каждый год хотела занять её я. И с удовольствием ей это прощала, и она даже не знала об этом…

На берег спустились люди. Кто-то купался в цветущей воде, кто-то просто ходил туда-сюда — каждый прощался с Дамдыхом по-своему. Камни на берегу едва тёплые, но это даже хорошо. И Волга, должно быть, едва тёплая… Мне казалось, что люди очень далеко от меня, что идут они в другую сторону, ещё дальше, их уже едва можно различить, особенно сквозь влажные глаза. Глаза вскоре брызнули и потекли; меня слышала только Волга, а перед ней можно не таиться, потому нарушила я августовскую тишину — и… и… иии… й-и-и-и-й!!! и наглоталась её. Не знаю, что думала обо мне мама: умерла я? уехала в другой город? или просто не могу её видеть, быть с ней не могу, мамой назвать не могу? Ей уже нет обратного пути. И мне нет обратного пути, у меня просто сил не хватит… как, должно быть, испугался мой сын! И вдруг впервые за все эти годы я подумала: а что, если мама всё же узнала меня? С самого первого моего приезда?

Бранка Такахаши

Выбор

Дневниковая запись Михайла

4 января 2003

Сегодня в полдень раздался телефонный звонок. Я взял трубку. Звонил Стэван, школьный друг мамы. Этакий весельчак. Просил маму. Пока я произносил: «*Мама умерла, вчера были похороны*»,—я думал, что задохнусь. А он начал заикаться: «*Ч-то ты говоришь?! н-не может быть! Саша умерла?!.. д-да я видел её… несколько месяцев назад! что случилось?! п-подожди! ничего не понимаю!.. она ж была полна жизни! я не могу поверить! Саша умерла…*» Пока я всё это выслушивал, я думал про себя, сколько ещё *стэванов* и *стэванок* придётся оповестить.

Письмо Наталии Петренко владивостокской подруге Марии Шульц

Белград, 21 июня 2002

Милая моя Машка!

Правильно говорят: пути Господни неисповедимы. Я не перестаю удивляться, какие мелочи определяют нашу жизнь! Сделай один шаг—или, наоборот, не сделай этого одного шага,—и ты больше не тот человек, которым только что был. А бывает и такое: был человек, сделал этот пресловутый шаг—и не стало человека… Анюта сегодня прислала мейл; судя по количеству опечаток, её действительно колотило. Меня саму начало трясти, когда я читала, чего избежала наша подруга. Накануне спать она отправилась только под утро, заснула мёртвым сном и не услышала будильника. Когда очнулась, второпях приняла душ и, собирая тетради, на ходу съела бутерброд. В спешке не посмотрела, где Жасик. А он юркнул в открытую дверь и сиганул вниз по лестнице. Пока Анюта его поймала, пока вернула в квартиру и закрыла оба замка, пока мчалась, не щадя каблуков, к автобусной остановке—автобус на Гива-Царфатит, на котором каждое утро ездит в универ, перед самым её носом ушёл. А через несколько секунд взлетел в воздух… А если б кот не сбежал?!..

А у меня, Машка, жизнь тоже изменилась радикально из-за—представь себе!—сарафана! Ах, сейчас ты поймёшь, почему я долго тебе не писала: просто события так стремительно происходили одно за другим, голова шла кругом, не было ни времени, ни собранности мыслей, чтобы сесть и всё это записать. Зато теперь ты получишь подробный отчёт обо всём, во всех красках, со звуками и запахами. Три дня читать будешь!

Так вот—сарафан. Иду с занятий по улице Князя Михаила, не спешу, наслаждаюсь дивным весенним днём (15 апреля—очень хорошо помню!). Немного перед поворотом направо в одну из улочек, полных кафешек и бутиков, замечаю сарафан моей мечты—похожий на тот, которым я восхищалась на выставке Елены Герасимовой в «Арке». Помнишь—тот длинный, до щиколоток, с зауженной талией, свободный вокруг бедёр, а потом опять зауживается, как рыбий хвост, и богатая окантовка пританцовывает при ходьбе. Даже пуговицы были кокетливо разбросаны вокруг копчика, как у Герасимовой! Я поняла, что преследую сарафан, когда он завернул в ту улочку и когда женщина в нём придержала мне дверь,—я так заворожённо ходила за ней, что и не заметила, как сбилась с пути! То есть она повернула на другую улицу—я за ней, она открыла какую-то тяжёлую стеклянную дверь—и я за ней. Только когда она спросила: «Вы входите?»—я очнулась и поняла, что стою на входе в галерею. В той улочке я последний раз была пару месяцев назад и помню, что проходила мимо какой-то галереи. Помню также, что она была закрыта на ремонт. На вопрос дамы в сарафане: *вы входите?*—я сказала: *да, да!*—и зашла—на меня смотрели две пары глаз, и было бы смешно, если бы я повернулась и ушла.

Я стала «заинтересованно» смотреть на экспонаты. На стенах висела живопись разных стилей—и «понятная», и «мазня»,—вперемежку с керамикой, а на полу, в основном по углам, было несколько больших скульптур. Смотрела я, понятно, ради приличия—даже имён авторов не стала читать, а уши у меня были повёрнуты на разговор двух женщин. Дама из галереи, похоже, была восхищена сарафаном гостьи, так же как и я.

—Вот это да-а-а!—повторяла дама из галереи, ходя вокруг подруги, ощупывая пуговки, ложные карманчики и рюш, скомпонованный из двух совершенно, казалось бы, не сочетаемых друг с другом тканей.—Шедевр! Лидия, сегодня ты остаёшься в галерее не владелицей, а экспонатом! Могу биться об заклад, что вся улица выворачивала шеи тебе в след!

—Оборачивались, ещё как! А в банке, в очереди за мной, стояла тётенька—так она не постеснялась даже изнанку изучить, заставила меня подробно рассказать, как я шила и где купила ткани!

Тут я не выдержала и включилась в разговор:

—А вы знаете, я тоже из числа заворожённых вашим сарафаном! Я так увлеклась рассматриванием

всех деталей, что даже не заметила, как очутилась в галерее!

На это галерейная дама поворачивается ко мне с приподнятыми бровями и на русском (!!!) языке спрашивает:

— Вы русская, да?

Маша, ты хорошо знаешь, что я беспочвенно хвастаться не стала бы никогда, но здесь придётся подчеркнуть один факт, сколько бы хвастливым он ни казался: я по-сербски говорю ничуть не хуже образованного серба, и чаще всего никто из собеседников не подозревает, что я иностранка,—а тут одно краткое предложение—и меня мгновенно раскусили. Я от удивления продолжила на сербском:

— Да! А как вы это поняли? Подождите… Что я могла произнести не так?!

Она смеётся и отвечает по-русски:

— Галéрия. В сербском же ударение на первом слоге, и «л» в сербском языке твёрдое, а вы его произнесли с типичной русской мягкостью.

Я, Маш, вылупила глаза и говорю:

— Вы тоже русская?! Откуда?

У неё произношение было ну настолько правильное, что я ни на секунду не сомневалась, что она «наша». Ан нет—оказалось, что моя свекруха… (Ой, я сильно забежала вперёд! не могу—хочется рассказать поскорее об этих двух дивных людях, благодаря которым у меня впервые появилось ощущение полноценной семьи; но нет, я же тебе пообещала подробный рассказ, поэтому идём по порядку!) Она довольно улыбается и говорит:

— Нет, я сербка, но если собрать все годы моей жизни, проведённые в России, то получатся, наверное, все ваши… простите, сколько вам лет?

— Девятнадцать.

— Ну-у-у, пожалуй… почти. Четыре года в детстве—мой папа сотрудник МИДа,—затем столько же в юношестве—у папы был ещё один срок в Москве,—это восемь, да? Затем три года учёбы в Германии, в которой я дружила с одними русскими. Потом, в семьдесят восьмом году, я поехала в Москву рожать—там опять были мои родители. Значит, плюс полтора года. А последние пятнадцать лет по работе бываю в России очень часто.

Пока она считала, пока собирала свою жизнь по кускам, её взгляд скользил слева направо, лоб то и дело морщился, у лица был сосредоточенный вид, но в конце каждой фразы она возвращалась к моим глазам, и только при упоминании частых посещений России в последние пятнадцать лет взгляд её был каким-то расплывчато-застывшим, обращённым *вовнутрь*. Несколько секунд она оставалась там, внутри, сама с собой, а потом очнулась:

— Я увлеклась! Прошу прощения! А вы-то как долго в Белграде? Откуда приехали?

— Я из Владивостока. Моя мама вышла замуж за серба, и мы втроём приехали сюда четыре года назад.

— Ух ты, из Владивостока! Я побывала во многих городах, но Владивосток уж больно далеко, туда не добралась. Наверное, нечасто получается ездить домой?

— Ну как вам сказать… Домом я уже прочно начала чувствовать именно Белград. Если бы бабушка была жива, я бы чаще ездила… Да нет, я бы вообще из Владивостока не уезжала. Но бабушка умерла, одна лучшая подруга переехала на ПМЖ в Израиль, и вторая вот тоже собирается—в Петербург. Единственная родня—семьи младших братьев мамы—живёт в Германии и в Беларуси, так что за эти четыре года во Владик я съездила только раз. Всё остальное время мотаемся по Европе.

И только когда я упомянула дядей в Минске и Регенсбурге, я поняла, почему всё время нашего с ней разговора у меня на заднем фоне памяти возникали Минск и Регенсбург. Машка, помнишь, когда меня в Регенсбурге укусил клещ? Конечно, помнишь, я же тебе надоела страшилками об энцефалите! Но упоминала ли я про Якова Семёновича, дивного старика, врача-инфекциониста? Ну вот: после того как мне жена регенсбургского дяди (она врач) специальным пинцетом грамотно удалила клеща и помазала какой-то супер-пуперной немецкой мазью, я немного успокоилась, но через два дня, уже в Минске, у второго дяди, я подняла тревогу из-за красной точечки на месте укуса. Мне казалось, что она не только не проходит, но даже увеличивается, и дядя повёл меня к себе в поликлинику, к знаменитому специалисту. Им оказался милейший дедушка лет под семьдесят, если даже не на восьмом десятке. Он глянул на мою укушенную щиколотку и сказал:

— Милая девочка! Идите на дискотеку, танцуйте, не забивайте себе голову пустяками!

Ой, у меня сразу отлегло от сердца! И тогда мы с моим дядей и этим милым стариком разговорились о том о сём. Я упомянула, что скоро перебираюсь жить в Сербию. Оказалось, Яков Семёнович воевал в бывшей Югославии—и именно в Сербии. Представляешь?! Ему тогда было восемнадцать лет, и он участвовал в последних боях за освобождение Балкан от фашистов.

(Представляю твои глаза, округлившиеся от попытки понять связь между хозяйкой белградской галереи в начале XXI века и старым минским евреем, прошедшим Вторую мировую… Но подожди, сейчас объясню!)

Значит, Яков Семёнович углубился в воспоминания, и оказалось, что его самым ярким впечатлением от Балкан стала особая порода женщин с русыми волосами и тёмными глазами. Говорит, таких он видел только на Балканах. У русых обычно светлые или хотя бы каштановые глаза, а если глаза чёрные, то и волосы чаще всего как вороново крыло, но сербки в его воспоминаниях были именно такого неожиданного сочетания.

Когда я приехала в Сербию и стала изучать местный генотип (да нет, в пятнадцать я, конечно, не *изучала*, а просто глазела по сторонам), то не обнаружила никаких русых красавиц, у которых были бы *очи чёрные*. Либо сербки сильно изменились во второй половине двадцатого века, либо старику изменяла память. А тут—в белградской галерее, на чистом русском языке, со мной разговаривает миловидная женщина с волнами натурально русых волос вокруг довольно тонкого лица с крупными

угольно-чёрными глазами! Я, наверное, настолько была ошарашена неожиданностью разговора на моём родном языке, что не сразу поняла, почему мне эта женщина (зовут её Александра) напоминает Беларусь. Так хотелось показать её Якову Семёновичу и попросить прощения у старика за подозрения в том, что он выжил из ума.

Потом она пригласила меня на открытие следующей выставки:

— Послезавтра открываем выставку скульптора из Москвы, он лично приезжает. Надеюсь, вам будет любопытно. По меньшей мере, пообщаетесь со своим соотечественником. Будет фуршет, много интересных людей, приедет телевидение — короче, приходите потусоваться!

У меня уже было сильное чувство, что Господь ведёт меня за ручку в нужную мне сторону, нужными дорогами. Женщина в оригинальном сарафане сыграла роль приманки (с Лидией я виделась потом от силы раза три, хотя они с Александрой — совладелицы галереи), а дальше Он направлял меня (я опять забегаю вперёд!) — через русскоговорящую маму моего тогда ещё не встреченного возлюбленного — *навстречу судьбе* (слышишь, как бархатно поёт Михалков?!). Честное слово, Маша, я *знала*, что это будет не просто тусовка с белградским бомондом вокруг русского художника, это будет *дверь* в комнату, в которой я не знаю чтó находится, но эта комната ждёт именно меня, — или *лестница*, по которой я поднимусь этажом выше и там, внизу, оставлю свою предыдущую обыденную жизнь (хотя нет такого понятия — «обыденная жизнь»: каждая жизнь прекрасна по-своему, и каждый прожитый нами день — драгоценность, только осознаём мы это редко и понимаем тогда, когда уже поздно. А я тем более не могу говорить ни о какой обыденности: в свои девятнадцать я напутешествовалась вдоволь, живу — ха-ха! — на Западе, всегда была любима и, по большому счёту, не испытываю и никогда не испытывала нужды ни в чём…).

Я чувствовала себя Алисой, мимо которой только что пробежал Белый Кролик с часами (это была Лида с её сарафаном), и я иду за ним; только, в отличие от Алисы, я знаю, что попаду в страну чудес, и мне легко, я доверяюсь, потому что знаю: Господь всегда со мной.

Я, конечно, пришла на открытие выставки.

Захожу и в толпе вижу *его*. Ох, Маша, у меня чуть не отнялись ноги! Знаешь, какой была моя первая мысль, когда я перевела дух? «С ним можно не комплексовать по поводу роста и даже ходить на каблуках!» А краси-и-ив, Машка, — до чёртиков! (Бабушка бы меня сейчас отругала. Она чёрта не упоминала даже в уменьшительно-ласкательной форме.) Стоит он, высокий и красивый донельзя, и смотрит вежливо-равнодушно на тусовку, а потом опускает голову и говорит что-то — Александре!!! Так как она — единственное знакомое мне лицо, я пробиваюсь к ней и понимаю, что этот красавец приходится ей каким-то близким родственником — те же чёрные глаза, густые брови, черты лица… Только у него бородка и волосы такие же тёмные, как и глаза.

— Здравствуйте, Александра! — говорю я и стараюсь не пялиться на него.

— О, наша русская краса! Молодец, что пришли! А то я одна не успеваю переводить. Но не переживайте, — она меня берёт под руку и уводит прочь от темноглазого красавца, — я приглашала вас не с тем, чтобы использовать… По крайней мере, не чрезмерно.

Мы обе смеёмся. Я готова быть использованной сколько угодно, лишь бы находиться тут подольше.

— Для телевидения интервью уже сделали, ещё какие-то разговоры-договоры я перевела, но осталась одна молодая журналистка — вон там, стесняется в углу. Вы ей ближе по возрасту, легче справитесь. Я вас сейчас представлю ей и Петру Дмитриевичу. А потом, в качестве вознаграждения, познакомлю вас и с моим сыном.

Она обернулась, я тоже. Мы с ним обменялись лёгкими улыбками, у меня опять подкосились колени.

— Конечно, это если у вас нет молодого человека. А то ваш молодой человек станет *бывшим* молодым человеком и будет проклинать меня за то, что остался без такой девушки.

Я на ватных ногах следовала за Александрой, которая шутливо щебетала со мной на русском языке и одновременно улыбалась гостям, отвечала на комплименты, договаривалась, обещала прийти, встретиться, написать, позвонить… Пока мы с ней ходили к другому концу галереи, мне бросилась в глаза большая скульптура чуть ли не в самом центре зала. Это была обнажённая женщина в позе кошки, на четвереньках, со впадиной на нижней части спины, в которой помещался Белград с узнаваемыми символами — Калемегданской крепостью, Соборной церковью, устьем Савы и Дуная, домиками в турецком стиле. Потом, когда мы с журналисткой и художником подошли к этой скульптуре, я увидела, что у кошки — лицо Александры! После дежурных вопросов о жизни и творчестве журналистка попросила автора прокомментировать композицию, имеющую интригующее название «Белград — это она». Бедная девушка — она явно была новичок: ей хотелось задать щекотливый вопрос, но у неё пока не выработалось журналистское хамство, превозмогающее хорошее домашнее воспитание. Она мялась желанием спросить о том, что интересовало всех (меня в том числе!): Белград для него — «женский» город, потому что он сотрудничает с галереей, владельцами которой являются две дамы, или столица Сербии у него ассоциируется с одной конкретной женщиной — Александрой Црнкович?

— Люди ведь скорей станут говорить о том, что у художника и владелицы роман… — явно испытывая неловкость, журналистка всё-таки добивалась конкретного ответа.

Петра Дмитриевича вопрос ничуть не волновал.

— Давайте обойдёмся без окончательных вариантов. Зрителю надо дать свободу толкования. Представленный город — несомненно, Белград, и женщина — несомненно, госпожа Црнкович, но этим самым я и так слишком ушёл в конкретику: все мои работы последних двух десятилетий

исключительно абстрактны. Вы сейчас, наверное, спросите: *почему я изменил своему привычному стилю, и означает ли это поворот в моём творчестве?*—и я вам скажу, что *нет, ничего не меняется, я останусь верным этой своей единственной измене*. А вообще, я сильно разговорился: моё дело лепить, а говорить должны зрители и критики. Спасибо за перевод!—тут он улыбнулся мне.—А вам спасибо за внимание,—он поклонился журналистке и пошёл искать Александру.

Знаешь, Маша, я на некоторое время забыла о красавце, с которым его мама меня вот-вот познакомит,—настолько я переключилась на перевод. Вернее, на адаптацию ответов Петра Дмитриевича. Я совершенно непрофессионально вмешалась в его слова и сделала их удобоваримыми для этой газетёнки, инстинктивно охраняя Александру. Чутьё подсказало, что он не случайно упоминал «верность» и «измену». Между ним и Александрой явно было что-то, и об этом догадывалась, наверное, не я одна, но пустить в прессу его неприкрытое признание мне почему-то не хотелось (скоро я получила подтверждение моих догадок: они любовники—аж семнадцать лет!—представь себе).

А потом—ой, Машка, у меня опять начинается тахикардия—подошли Александра с сыном. Я видела, как они направляются ко мне, и мой организм мгновенно прореагировал как нельзя хуже: колени стали дрожать, пересохло во рту, но зато влага появилась на самом ненужном месте, и я попыталась незаметно обтереть правую ладонь, чтобы не подавать ему потную руку. Выглядела я, могу биться об заклад, совершенно безумно, и не могу не удивляться, что я ему понравилась. Но Миша утверждает, что влюбился в меня с первого же взгляда, как только я зашла в галерею, что он весь вечер ждал, когда нас познакомят, и что у него тоже пересохло во рту и вспотели ладони, пока они с матерью подходили ко мне. Так вот, мы с ним влюбились с первого взгляда, продолжили влюбляться на взгляде втором, третьем… И этот процесс всё идёт и идёт, хотя живём вместе почти два месяца.

Вот сейчас ты знаешь всё! Или почти всё… Есть в этой нашей любви, красивой неземной красотой, кое-что, что омрачает мне счастье, но об этом в следующий раз: Мишка вот-вот должен вернуться с пар—надо его накормить, а то пойдёт на спектакль совсем голодным (он учится на актёра, и у него уже небольшие роли в нескольких спектаклях). Александра в Москве, так что я—главная хозяйка (с нами живёт и красавица Тара, ирландская овчарка, но она мне полностью подчиняется, хотя я пришла в семью после неё).

Скоро напишу опять! Ты тоже пиши—я так соскучилась по твоим бумажным письмам. Анюта же совсем перешла на электронку…

Нежно обнимаю тебя!
Твоя Тата.

Дневниковая запись Михайла
2 января 2003

Ловко она это сделала.

Немного после полуночи я позвонил ей, чтобы поздравить с Новым годом и проверить, всё ли в порядке,—меня не покидало какое-то смутное беспокойство. Она не отвечала. Тогда я позвонил Лиде. Пока её телефон звонил, я начал бояться, что она ответит с какого-то другого места и выяснится, что она не на даче с мамой, а это будет значить, что…

Лида ответила, крича, что плохо слышит, что они встречают Новый год у друзей, что народ хорошенько подшофе и все поют. Так как она меня не слышала, я ей в смс-ке написал, что мне нужна машина. Она мне отписала: «Бери свободно, знаешь, где ключи! Новогодний чмок для Саши и Наты!»

До Златибора мне понадобилось меньше четырёх часов.

Дверь была не заперта. Огонь в камине погас, но комната ещё не остыла. По углам горели лампы. Между перилами антресоли свисали рюши маминого шёлкового платья цвета персика. Значит, она лежала на диване в углу антресоли. Я её позвал. Ни голоса, ни движения. Да… она *ушла*. Но перед тем она написала мне записку—на ковре под галеркой лежал бумажный самолётик.

Я позвонил в скорую. Врач сказал, что она не страдала. Действительно, она выглядела, будто спит.

Письмо Наталии—Марии во Владивосток
Белград, 10 июля 2002

Маша, солнышко моё дальневосточное! Неужели я тебя так называю в последний раз?! Уж точно остаёшься в Питере? Я тебя понимаю, но сердце сжимается за родной Владик—там же никого не останется! Что значит «нет перспектив»? Конечно, если все уедут, не с кем будет создавать эти пресловутые перспективы! Кроме как с китайцами…

Я, конечно, не имею права уговаривать других оставаться, но прошу учесть, что я *не уехала*—меня *увезли*. А теперь не могу вернуться—судьба у меня *сербская*. И выходит, что мне во Владивосток не к кому живому… Если ехать, то только на кладбище. Некого просить ухаживать за могилой бабушки с дедушкой, а больно при мысли, что она зарастает сорняком. Хотя я понимаю, что им-то, по большому счёту, всё равно—они же не там. И чтобы пообщаться с ними, нет надобности ехать во Владивосток, ведь они всегда со мной. Но выходит, что я предаю традицию, которую бабушка чтила до последнего дня: она регулярно ходила на могилы родственников, хотя не думала, что тот свет начинается за кладбищенскими воротами. Да, бабуля моя знает, что я за десять тысяч километров, и всё-таки на душе у меня как-то нехорошо.

Но есть другое: мы же с Мишкой живём, выходит, во грехе. Насчёт этого бабушка бы высказалась! И меня расстраивает, что я делаю то, что идёт вразрез с моим воспитанием и—в конце концов—с верой, которую бабушка мне глубоко привила. Я бы не могла смотреть ей в глаза! Но хуже этого, внешнего, конфликта—разлад с самой собой.

Немногим позже того, как я переехала к Мишке, я сходила на исповедь. На вопрос «каешься ли в содеянном?» я искренне ответила «да» и получила прощение, а на следующий день причастилась. Но какое грустное причащение это было, знала бы ты, Маша! Такого полёта души, высоко-высоко, к Нему, той лёгкости походки, той неземной улыбки—всего, что бывает каждый раз, когда я причащаюсь Таинствам Господним,—не было: ведь я знала, что приду домой и продолжу жить той жизнью, в которой только что раскаялась. Каков тогда смысл?! И вот с тех пор не исповедовалась. В церковь хожу, но стараюсь не попадать батюшке на глаза, чтобы не было вопросов, на которые не могу ответить.

Я понимаю, что мой взгляд на некоторые вопросы несовременен. Нынешняя молодёжь бы наверняка крутила пальцем у виска, если бы я вслух стала произносить свои мысли. И ты, наверное, с трудом меня понимаешь. Даже Мишке я рассказала всё только после того, как тщательно приготовила речь. Но вы же с Мишкой меня любите, поэтому не высмеиваете меня, а так, среди других сверстников, я чувствую себя прямо динозавром. Да что там сверстников—даже Александра удивлялась. Говорит:

—Ну, ты, Наташенька, даёшь! Я даже в своём поколении не знаю никого, кто бы так строго придерживался всех постулатов христианства, а чтобы жить по Библии в девятнадцать-двадцать лет… Век живи—век удивляйся, как говорил один мой мюнхенский друг. А как вы поймёте, подходите ли вы друг другу? Брак—дело серьёзное. Даже я, атеистка, думаю, что просто так сходиться и расходиться—нельзя. Полюбили, побежали в загс, разлюбили… Каждое расставание—травма, но развод, с судом, с дележом имущества,—это один из сильнейших стрессов, так говорят те, кто через этот кошмар прошли. От него, естественно, никто не застрахован—мало ли что в жизни бывает,—но если двое хорошенько познакомились до брака, то у них большой шанс избежать беды. Потому что *встречаться* и *жить вместе*—как говорится, две большие разницы. Не пойми меня неправильно: я не пытаюсь тебя перевоспитать или давить на тебя—я и за своим-то ребёнком всегда оставляла право выбора, даже когда он был значительно моложе, да и в самом детстве, так что теперь мне и в голову не приходит вмешиваться в его жизнь—тем более что затронут и посторонний человек. Ой, Наташа!—она рассмеялась и приобняла меня.—Ты же мне не чужая, милая моя девочка! Я имела в виду, что у тебя свои родители, и у меня нет прав говорить тебе, что́ делать. Короче, я думаю, что было бы разумно пожить вместе, а потом идти регистрироваться и венчаться, если уж хотите.

Да, Машка, это всё так, но… и не так. Я ей об этом сказала:

—С мирской точки зрения вы совершенно правы, и в ваших словах не к чему придраться. Но… видите ли… я ничего не могу поделать со своим ощущением греха. Это сильнее меня. Я ведь с самого раннего детства каждое воскресное утро была на службе. Первая исповедь у меня была в четыре года. Она, естественно, была пустяковая: я, кажется, призналась батюшке в том, что иногда, тайком от бабушки, мясо со своей тарелки даю собаке,—но я хочу сказать, что моё становление проходило в глубоко верующей семье, где мне, без крика и принуждения, привили чёткое понимание, что такое добро, а что такое зло, как велика Его любовь ко всем Его детям, что можно и чего нельзя ни в коем случае. Мой детский кругозор заполняли бабушка с дедушкой, люди мягкие, но не балующие вседозволенностью ни меня, ни себя. Дедушка, правда, умер рано—мне было лет девять, но я его хорошо помню: он так любил и уважал бабушку, почтительно говорил о священниках, регулярно причащался, а когда он молился перед этими нашими иконами (как нетрудно догадаться, Маша, наши иконы всегда со мной! Михаил мне для них освободил одну полку), его лицо озарял такой свет! Александра, у неверующих таких лиц не бывает! Понимаете, я же не только душой, а, кажется, каждой клеткой тела впитала православие в себя. Поэтому ощущение греховности нашей с Мишей связи—не какое-то отвлечённое понимание того, что церковь на гражданский брак смотрит неблагосклонно, а серьёзное угрызение совести, источник которого—глубоко во мне…

—Это уж точно!—сказала Александра с каким-то горьким ликованием.—Что-что, а постоянное чувство виновности христианство—а православие особенно—умеет насаждать. Человек—каждый!—не так делает, не так говорит, не так мыслит. И все эти его «не так»—тяжёлые грехи, в которых денно и нощно надо раскаиваться. Если у человека происходит что-то хорошее, то это проявление милости Божьей, а если у бедняжки дела плохи, то—естественно!—по его собственной вине, а как же ещё?! И ходит он, бедный, как букашка, в постоянном страхе перед Богом…

Ты знаешь, Машка, все атеисты именно этим недовольны, но они живут в таком заблуждении! Потому что истинно верующий человек счастлив тем, что боится Бога (и только Бога!), в отличие от неверующего, который боится всего, каждой, мнимой или реальной, мелкой угрозы. Гораздо спокойнее живётся с верой, что любящий Отец Небесный всегда с тобой, что обязательно поможет, подскажет, избавит, направит…

—Да-а, что-то в этом есть,—согласилась Александра (люблю с ней разговаривать: она, даже если не согласна, не будет упёрто защищать свою точку зрения; с ней можно продолжать диалог, в отличие от Мишки, который в таких ситуациях просто меняет тему или срочно куда-то уходит… ох уж эти мальчики!).—В одной газете недавно опубликовали статистику,—продолжила она,—по которой религиозные люди спокойнее и здоровее атеистов. И ты знаешь—я могу это понять. Человек ведь, с одной стороны, слабое существо и нуждается в «палочке-выручалочке», а с другой—в нём заложены колоссальные возможности, и если он эти возможности сконцентрирует на вере во что-то, то практически нет недуга, который нельзя победить. Вот такая ассоциация только что у меня возникла перед глазами: если

линзой схватить солнечные лучи, можно зажечь бумагу. Роль линзы — в религии — отведена Богу: на Него направляется луч надежды и веры, и Он их превращает в убеждённость, в силу, которая преодолевает ограничения обыкновенного человека. Если честно, то я завидую всем верующим за ту опору, которой в моей жизни нет. А её нет не потому, что я так решила, а потому, что мне не дано *поверить*. Я всё пропускаю через голову. Принять на веру и ничуть не усомниться в воскресении убитого человека… знаешь… у меня не получается. А жаль… было бы проще жить… Я, может, сильный человек, но иногда ох как хочется опереться на кого-то или на что-то… Слушай, а почему мы сидим за пустым столом? Где кофе? Мы же с тобой собирались кофе пить, а вот посмотри, куда нас увело! Ладно, детки мои, *думайте сами, решайте сами*,— и тут она запела ту песенку из «Иронии судьбы», побарабанила ладонями по своим коленкам, сказала «пам-пам», постучала по моим ногам — и ушла варить нам кофе.

Может, мне так легко живётся в этом доме, потому что он так пропитан Россией?!

Так что, Машка, продолжаем жить во грехе. Но в каком сладком грехе! Машенька, мой Михаил — настоящее золото! Такого сочетания мужского и женского начал я больше ни у кого не видела. Либо Господь его таким сделал, либо жизнь из него слепила ответ на мои мечты.

Он остался без отца ещё до рождения — Александра была на четвёртом месяце беременности, когда они с мужем ехали на машине из Германии в Белград и попали в аварию, в которой он погиб. Мишку она воспитывала одна. А он — наверное, потому что рос с матерью,— женщину знает *от* и *до*. Но, как ни странно, ничего феминизированного в нём нет. Александра говорит, что она ему мужских качеств особо и не прививала — рос себе мужичок, а она ему не мешала.

— Лучшее, что я сделала в его воспитании — это то, что почти не вмешивалась,— сказала она мне однажды, когда я спросила её о Мишкином детстве.— Я и сама всегда была очень самостоятельным ребёнком, а так как мои родители — слишком занятые собой — меня не переламывали, я тоже общалась с Мишей почти на равных и всегда оставляла за ним право выбора. А он, к счастью, врождённо благоразумный мальчик, с ним всегда можно было договориться. Правда, был один раз — в общем-то, недавно,— когда меня одно его решение испугало, и я попыталась его заставить передумать, но он сказал безапелляционно: «Мама, я должен, мне это нужно»,— так что я отстала, хотя… мне это стоило здоровья. Но ты знаешь, в наших партнёрских отношениях он никогда не забывал, что я его мама, что я старше. И даже сейчас, когда мы оба взрослые, он остаётся моим ребёнком.

Маша, одно наслаждение смотреть на их гармоничные взаимоотношения! Столько нежности — взрослой, спокойной,— столько уважения друг к другу. И юмора! Они так много вместе смеются — я за всю жизнь столько не хохотала. Да и многого другого в жизни я не видала: мать моя всё устраивала личную жизнь, отец после развода и нового брака мной перестал интересоваться, и, как ты хорошо знаешь, меня воспитывала бабушка. И хотя я была окружена бесконечной любовью и вниманием, любовь и внимание исходили всё же от бабушки с дедушкой, а не от родителей — им до меня не было дела. Я давным-давно с этим смирилась, но понимание — увы! — не в состоянии заполнить эмоциональной пустоты. А теперь я вижу идеальную мать с любимым и любящим ребёнком. То есть он такой, каким должен быть каждый ребёнок, которого любят и уважают, но меня, выросшую с бабушкой при живой матери, восхищает как раз Александра: она ведь тоже могла подкинуть младенца своим родителям — вряд ли стали бы осуждать девятнадцатилетнюю вдову,— но она посвятила себя малышу и вырастила эмоционально и во всех других отношениях полноценного человека. С ними так приятно, за эти два месяца жизни с Мишей и Александрой я со своей маман виделась только один раз, и то в кафе. Нам с ней, по большому счёту, не о чем разговаривать. Я из вежливости слушаю о её новых шмотках, украшениях и ухажёрах — такое ощущение, что я старше. Ты знаешь, Маша, я её до сих пор не познакомила со своей семьёй. Александра несколько раз начинала: «А может, твоя мама…» — но я ей не давала договорить, придумывала всякие отговорки и быстро меняла тему. Представь себе Александру — образованную, культурную, способную поддерживать разговор о чём угодно,— как она выслушивает мою маман, а та — как заезженная пластинка: *сумку и солнечные очки от Гуччи купила там-то за столько-то, ужинала в том-то крутом ресторане за столько-то, за ней приударил такой-то крупный предприниматель, а потом такой-то депутат проходу ей не даёт… а в том-то знаменитом салоне красоты она постоянная клиентка, и у неё уже десятипроцентная скидка…* Маш, представляешь, она ходит с этими отвратительными наращёнными ногтями! Я прямо вижу, как Александра, легко подхватывающая любую тему, на её тираду только хлопает ресницами и временами произносит: *«Да?! Ну и ну! Интересно! Ничего себе!»*

Знаешь, Маша, я стесняюсь своей матери. Одно дело иметь непутёвого ребёнка — есть надежда, что из него что-то получится; но иметь такого родителя — дело совсем иное. Тоска беспросветная!

Не по-христиански не уважать родителей, и я мучаюсь из-за таких своих мыслей, но язык пока не поворачивается пригласить её к нам или устроить встречу где-нибудь в ресторане. А с другой стороны — ждать нечего; она же не понимает, что ей надо работать над собой,— так ведь до могилы и будет жить в стиле жёлтой прессы.

Я никак не пойму, как она стала такой. Родилась и росла она в семье интеллигентной и — более того! — верующей. Я не заметила, чтобы дедушка с бабушкой к ней относились строже (чтобы из-за этого она стала такой — типа, из протеста), чем к сыновьям, но мальчики выросли нормальными, а она — прости меня, Господи, грешную! — без царя в голове.

Ну вот, утомила я тебя жалобами на маман, как будто ты её не знаешь!

Если не считать того, что живу во грехе и что хочется родную мать спрятать под корыто, всё остальное — слава Богу! Дома гармония, в универе — каникулы, так что спокойно, не торопясь, готовлю один экзамен, который оставила на осеннюю сессию (я собиралась сдавать его весной, но появился Мишка, и литературоведение отошло на дальний план).

Пиши, пожалуйста, как ты устраиваешься в Питере. Кто-нибудь из знакомых есть? Питерцы свысока не смотрят? Если немного и смотрят — не бери в голову: так всегда было и всегда будет, когда провинциал приезжает в столицу. Я за тебя молюсь, хотя знаю, что и без моей молитвы у тебя всё будет хорошо. Тем более что ты не из провинции. Запомни: Владивосток — не про-вин-ци-я!

Целую, обнимаю!

Твоя Тата.

Дневниковая запись Наталии

10 июля 2002

Я не хотела утомлять Машу всеми подробностями нашего с Александрой разговора на тему веры. А говорили мы ещё кое о чём, и я теперь пытаюсь «переварить» всё услышанное, понять, чем могу ей помочь. То, что я попала в семью, которая не разделяет моих религиозных убеждений, многие бы назвали искушением, но я предпочитаю видеть в этом *миссию* (искушение всё-таки от Сатаны, а я в своей жизни всегда больше ощущала милость Божью). Сказать, что я живу с неверующими для того, чтобы просветить их и наставить на путь праведный… немного нескромно, но что-то в этом есть. Не цитированием Святого Писания, а рассказами об ощущении реального Божьего присутствия в моей жизни.

История о том, как душа моей бабули, находящейся в реанимации, попала в Марфо-Мариинскую женскую обитель — и именно тогда, когда я в церковке этого монастыря истово молилась за её жизнь, — сильно впечатлила даже материалистку Александру. Как вспомню тот день, опять мурашки по коже бегают.

Пробка с Шаморы по направлению к городу стояла безнадёжная. Я выбежала из машины, влетела в церковь и стала молиться за бабушку, которую незадолго до этого скорая увезла в больницу. Было чуть раньше шести вечера, я это очень хорошо помню. Именно в эти минуты врачи отвоёвывали её у смерти. И они её спасли — но только потому, что пока не пришло время отправиться ей вслед за дедушкой. Когда мы навестили бабушку в больнице, она мне так и сказала: «Мне было невообразимо хорошо, как никогда в жизни. Я понимала, что умираю, но мне было так уютно и радостно, что я даже загрустила, когда мне *там* сказали, что ещё не пришло моё время. Наташа, почему же я ни разу не удосужилась сходить в этот дивный монастырь?! Когда я стану на ноги, мы его с тобой обязательно посетим, хорошо?» Я аж задохнулась от неожиданности, от такого совпадения, от такого очевидного проявления милости Божьей, оттого, что Он всегда с нами…

Александра была явно тронута этой историей. Услышь она её от кого-нибудь другого, от *кумы тётиной свекрови*, она бы наверняка назвала это бредом и байкой наивных верующих, но мне она поверила.

— Да, я, хоть и верю только тому, что могу потрогать своими руками, — утрирую, конечно, но ты понимаешь, что я хочу сказать, да? — знаю, что есть явления, наукой не объяснимые. Впрочем, большинство из них всё-таки из разряда «наукой пока не *объяснённые*». Но это только пока. То, что Земля не плоская, а круглая, что она вертится вокруг Солнца, а не наоборот, мы знаем теперь, а люди же веками были убеждены и даже свято верили, что всё по-другому. Так что я не стала бы во всём непонятном находить перст Божий… Правда, случай с твоей бабушкой такой… я даже не знаю, как его назвать… даже волосы шевелятся.

Я её спрашиваю:

— Александра, а если вы нигде не находите Бога, то кто управляет нашей жизнью? Или хотите сказать, что всё происходит по чистой случайности?

Она задумалась. Но не оттого, что она впервые размышляет на эту тему и не знает ответа, — пауза получилась потому, что она пыталась сформулировать своё ви́дение. Через какое-то время Александра начала медленно:

— Не претендую на… убедительность и тем более не… пытаюсь переманить тебя либо кого-нибудь другого в свой «клуб». Мне в моём «клубе» уютно и одной, — она коротко хохотнула, а затем вновь сосредоточилась. — У меня «теория маятника». Когда я думаю о системах — начиная от человека и заканчивая Вселенной, — я прямо *вижу* маятник: большой, из холодной стали. Он движется влево-вправо, медленно и неустанно. Большой, холодный, равнодушный. Когда он двигается в одну сторону, то у человека (Вселенной, всех маленьких и больших систем — короче, везде) происходит, скажем, подъём. Движение в противоположную сторону — и у всех спад. Большой подъём — большой спад, маленький подъём — маленький спад. Постоянное равновесие. Болезнь — здоровье. Приобретение — потеря. Счастье — несчастье. Не верю, когда люди жалуются на то, что им постоянно не везёт. Так не бывает. Так же как не бывает, чтобы человек за всю свою жизнь испытывал только счастье. И праведники болеют и теряют, так же как злодеи могут жить в достатке и любви. Ну, ты понимаешь, что это только условные примеры, да? И что тут встаёт вопрос: *а кто такие праведники? и кто такие злодеи?* Есть ли люди, которые за всю жизнь никогда никого не обидели и не ранили? И есть ли такие («злодеи»), которые за всю жизнь не подумали о добром и не сделали добра? Я просто хочу сказать, что Вселенная поддерживает определённое равновесие и что всё существующее распределено поровну. Нет — или, по крайней мере, я не вижу — обязательного вознаграждения за доброту и обязательной кары за «плохое поведение». У всех — всё. Холодная механика. Вот почему я не нахожу места для Творца. Я не вижу цели

и глубокого смысла в строении Вселенной, в том, как всё устроено на нашей планете и как устроен сам человек. Все монотеистические религии меня (нас) уверяют в том, что Бог (и непременно *только* тот бог, который выбрал *только* их раскрывать глаза всем остальным, незрячим) всё устроил по какому-то плану. И ещё Он, Бог, мол, любит человека. Может, я наивная, но в таком случае я ожидаю, чтобы перевешивало добро, благополучие, процветание (заметь, я даже не заикаюсь об *абсолютном* добре, об *абсолютном* благополучии и процветании, которое *исключает* свою противоположность!). А вижу я что? Зло, тление, несчастье (список можно продолжать сколько угодно), которые существуют *везде—наравне* со всем тем, что украшает счастливую жизнь, что бы под ней мы ни подразумевали. Если какое-то разумное существо и создало Вселенную и нас в ней, то на восьмой день оно ушло куда-то. Заниматься другими делами. Создавать что-то другое. «А вы, дорогие мои земляне, сами заботьтесь о себе! Запомните: как будете сеять, так и пожинать будете. Всё! Прощайте!» Ну да, я шучу… немного. Но в каждой шутке—доля *шутки*. Кстати, Эйнштейн тоже придерживался такого мнения: мол, *создал—и удалился*. Но я это говорю не потому, что «мысли гениальных совпадают». Про деизм Эйнштейна я прочла недавно, а о Боге, ушедшем на пенсию, думаю долго. Хотя ещё вернее будет, что я не вижу, не ощущаю *никакого* Бога, даже пенсионера. Ой, Наташ, прости, что я ёрничаю! Эти мои, неприличные в религиозном контексте, слова—не из неуважения к верующим, а от несерьёзного восприятия своих же умозаключений и от желания сохранить дистанцию от предмета, о котором рассуждаю. Так вот: нет высшей силы, нет Творца. Творит—здесь, у нас, на нашей планете,—только человек. Всё хорошее, что есть у нас,—от нашего ума, от нашей доброты, и всё плохое—от нашей глупости, от нашего же зла.
—Но откуда всё взялось? Кто вдохнул жизнь в материю? Кто создал Вселенную? Не могло же *что-то* появиться *из ничего* и *ниоткуда*!
—Не знаю… Меня устраивает теория материи и антиматерии. Был Большой взрыв—родились небесные тела—на нашем небесном теле в какой-то момент были созданы условия для зарождения жизни. Всё постепенно и логично. Такое развитие событий—цепь причинно-следственных реакций, объяснимых в рамках естественных наук,—мне кажется более вероятным, чем необъяснимые нестыковки при наличии высшего разума.
—Эволюция то есть?
—Да, попросту—эволюция. Которая имеет свои законы, и в соответствии с ними что-то выживает и совершенствуется (или наоборот: совершенствуется и поэтому выживает?), а другое, оказавшееся нежизнеспособным, неработающим, вымирает. И в этих процессах бывают сбои, ошибки—то мелкие, то крупные, что в очередной раз—для меня—является доказательством того, что Вселенной не управляет палочка Идеального, Не Ошибающегося Дирижёра.
—Но есть же и такие явления, возникновение которых нельзя объяснить процессом проб и ошибок…
—Знаю, знаю, наверное, хочешь привести пресловутый пример человеческого глаза! Но и тут учёные предоставили доказательства постепенного развития, начиная с каких-то плоских червей—у них на поверхности тела находится углубление со светочувствительными клетками, потом идут моллюски—с чем-то более сложным и похожим на глаз… Цепочка потом продолжается большим количеством звеньев, я их все не могу перечислить, но суть в том, что за сотни миллионов лет мог образоваться глаз, который мы имеем. Но даже наш глаз, каким бы сложным ни был, не представляет собой идеальной конструкции. Каковой, кстати, не является и человек в целом—с позвоночником, не годящимся для прямохождения, с ненужными зубами мудрости и аппендиксом. Но я увлеклась биологией, которая нас с тобой, филолога и художницу, не очень-то и интересует, правда?!
—Вот интересно, как одни и те же предпосылки приводят нас с вами к прямо противоположным выводам! Для меня всё это—доказательство существования Бога. Мы такие чуть ли не идеальные потому, что Бог сотворил нас по собственному образу и подобию, но мы всё-таки НЕ идеальные, не такие, как Он, потому что мы—не Он. Человек согрешил, был изгнан из Эдема, вот потому-то и страдает. И должен творить добро, чтобы приблизиться к своему прообразу, чтобы потом, в жизни вечной, вернуться туда, в Его Царство.

Александра пожала плечами.
—Не знаю—и о теме, в которой не очень разбираюсь, не люблю рассуждать. Я всегда избегаю споров даже тогда, когда речь идёт об искусстве. «Художник (писатель, композитор) *А.* пишет так-то и так-то, лучше всех!»—кричат одни. Оппоненты им отвечают, стараясь перекричать их: «Вы ничего в этом деле не понимаете! Художник (писатель, композитор) *Б.*—непревзойдённый гений, ваш *А.* в подмётки ему не годится!» Всё дело в том, кто состроит более умную мину и кто кого перегорланит. А потом пройдёт лет пятьдесят или того меньше—и сторонники художника (писателя, композитора) *А.* на весь мир объявят безапелляционно, что это *А.*—непревзойдённый гений, и все остальные, включая *Б.*,—жалкие ремесленники. Вот какова она—истина. Любая. Кроме научно доказываемой. Только плоть подвержена неоспоримым законам, а всё остальное, из области душевного и духовного,—настолько зыбко, настолько неуловимо, что охотиться за ними сачком научной терминологии, всерьёз строить теории… Нет, я не хочу сказать, что эти области человеческого познания не имеют места быть! Мне только смешна святая убеждённость большинства теоретиков в том, что именно они—и никто другой—поймали суть. Смотрю на этот муравейник течений и противоборствующих объединений ну действительно как на муравьёв. И думаю: *если над нами кто-то есть, то он и на нас, человеков, смотрит с такой же ухмылкой и думает, какие мы патетичные глупышки.*

— О! Вы только что признали существование Бога!
— Да, я допускаю такую возможность. От меня никогда не услышишь ни категоричного «нет», ни такого же «да». Всё может быть. Непримиримость взглядов я оставляю мужчинам. Это им нужно доказывать, спорить, завоёвывать и быть признанными авторитетами, а меня интересует только практическая жизнь, в которой я и мои близкие будем здоровы и благополучны, не мешая — а по возможности даже помогая — другим людям иметь те же здоровье и благополучие. И такое моё отношение к миру, к людям, к жизни не изменится, даже если я получу неопровержимые доказательства либо существования, либо несуществования Бога.

Дневниковая запись Михайла

31 декабря 2002

Мы еле договорились, как будем встречать Новый год. Мне никуда не хочется идти и не восхищает идея организовать вечернику у нас. Хочется как можно больше быть с мамой — я ощущаю, как она *утекает сквозь мои пальцы* и всё меньше её остаётся у меня. Я предложил остаться дома, нарядиться, приготовить праздничный ужин и с музыкой и телевизором впервые встретить Новый год как семья. Что-то мне говорит — это последняя такая возможность. Наталии я сказал, что даже не против, чтобы она эту ночь провела у своей мамы. Она, слава Богу, разумная девушка и не стала дуться и чувствовать себя лишней. Какое она, действительно, золото — подумал я, сосредоточенный всё-таки на маме. Проблему разрешила мама:
— Нет-нет, встречайте вы со своей компанией, а мы с Лидией поедем на Златибор. Ладно?

Я был разочарован, но это прозвучало так бодро, что я не мог ей возразить.

И тогда началось: мы идём к маме с отчимом Наталии; нет, подруга Наталии с молодым человеком придут к нам; а может, лучше мы пойдём к ним? Или пусть мы будем вдвоём? Из-за многочисленных вариантов у меня кружилась голова, так что я это мероприятие совсем передал в руки Наташи, а она хотела сделать, как приятно мне, и каждый день преподносила новое и, как ей казалось, для меня менее на нервы действующее предложение, которое я, хочешь не хочешь, должен был рассмотреть, чтобы не обидеть её. В конце концов мы решили остаться дома и никого не приглашать. Наталия собиралась печь торт, а у меня была задача купить шампанское.
— Купи ещё одну бутылку для нас! — крикнула мне мама вслед, когда я выходил.

Около пяти часов она подняла свой маленький чемоданчик и сказала:
— Ну, я пошла… Лидия ждёт.

Наталия звонко чмокнула её в щёчку.
— Будьте осторожны за рулём! Говорят, что дороги чистые, но всё равно поезжайте не спеша. И хорошо проведите время! Кстати, когда вас ожидать назад?
— Ммм… — выглядело это так, будто она только сейчас задумалась.

Наталия продолжила вопросительно на неё смотреть, а мама улыбнулась и начала преувеличенно патетично читать её любимое стихотворение Цесарича:
— «Кто знает? Ах, никто, никто ничего не знает, знание зыбко! Может, луч истины поразил меня, а может, мне снится шибко?!» — и, без перехода, сказала: — Давай я обниму моего единственного сына!

Она подняла руки вверх и сильно обняла меня вокруг шеи. Боже, без высоких каблуков она и в самом деле малюсенькая женщина! — подумал я и сгорбился в её объятии, потому что ростом я гораздо выше её. Она меня крепко держала, гладила по волосам и шептала:
— Сын мой! Радость моя самая большая! Мама любит тебя больше всего на свете! Ты моё солнце, ты моё сокровище! Ни у кого нет такого ребёнка!

Невероятно! Это были те же самые фразы, произнесённые в той же последовательности, как много лет назад. Да, действительно, как долго я этого не слышал? Это был наш ритуал перед сном, до школы, а потом иногда — когда мама особенно гордилась мной или когда у меня была потребность в утешении. С переходным возрастом такие эпизоды нежности стали реже, потом совсем прекратились. А теперь — что напало на неё теперь?! Я сделал шаг назад, чтобы посмотреть на лицо мамы — глаза у неё были полны слёз. Я никогда не видел её плачущей. Проклятая болезнь, что она сделала из когда-то сильной женщины!

Мама, очевидно, не хотела, чтобы я видел её такой, и она опять прижала меня и обняла ещё крепче, изо всех сил.
— Ничего, сына, ничего! Пройдёт… всё это пройдёт…

Наталия удивлённо смотрела на нас. Я дал ей знак глазами, что и сам удивляюсь.

Мама потом повернулась к Наташе, обняла её и сказала:
— Прости, милая! Я так соскучилась по своему маленькому мальчику.

Потом она выпрямилась, кашлянула — словно сейчас будет петь или произносить речь — и с выпрямленной ладонью у виска отдала честь.
— Чао, рагацци!

Мы с Наталией расхохотались с облегчением. Такова моя мама — полна сюрпризов и всегда готова на хохму.

Из кухни донёсся запах подгоревших коржей для торта, и мы, два кондитера-любителя, бросились к духовке, но я остановился помахать маме рукой. Она стояла на пороге: губы сжатые, меж бровей — глубокие борозды. Я несколько секунд следил за тем, как взгляд её под мрачным лбом блуждает по квартире. У меня было ощущение, словно каждый предмет прогибается под тяжестью этого взгляда, а когда она перенесла его на меня, я почувствовал удар под дых. В глазах моей матери, молодой и энергичной женщины, которая до недавних пор имела столько планов, я не видел ни энергии, ни планов, и даже ни «ничего, сына, пройдёт» двухминутной давности.

Затем она медленно поднесла руку к губам, послала мне воздушный поцелуй, а потом тихо закрыла за собой дверь.

Хорошо, что Лида едет с ней, это немного успокаивает.

Письмо Наталии — Марии во Владивосток

Белград, 31 июля 2002

Маша, милая моя!

Люди обычно берутся за конверт, когда письмо закончено и надо написать адрес получателя да наклеить марочку — я и сама всегда так делаю, — но сегодня я этот процесс обернула. Знала бы ты, с каким удовольствием я писала твой адрес, а потом, смакуя, как мастер японской каллиграфии, стала выводить: *Владивосток*. Вот и сейчас смотрю и любуюсь!

Понимаю, конечно, что ты ненадолго вернулась домой. Как наш старый добрый Владик? Небось в тумане и в *тысячепроцентной* влаге?! И бельё не сохнет… Что верно, то верно: климат во Владивостоке — самый омерзительный в мире! Лето надо проводить на островах!

…Или в Сербии! Здесь ого-го как жарко, но нет той убийственной приморской духоты; достаточно уйти с солнца в тенёчек — и уже легче.

Лето, каникулы, расслабуха… Всё было бы ничего, если бы мой ненаглядный тоже мог расслабиться. Похоже, правда то, что говорят о мужчинах: они всегда остаются маленькими мальчиками своих мамаш, и главная женщина в их жизни — мама. Нет, это не то, что ты, возможно, подумала: будто я ревную его к матери или будто Александра встаёт между нами. На самом деле она так деликатно уже передала его в мои руки, а он совершенно по-взрослому относится и к матери, и ко мне. Всё настолько идиллично, что я иногда боюсь сглазить.

И тем не менее, есть у Миши «пунктик» относительно его мамы: он слишком за неё волнуется. Словно он — отец, а она — болезненная дочка, и он в постоянном страхе за её здоровье.

На прошлой неделе стоим мы с Александрой (Тара лежит у её ног) на кухне и болтаем; вдруг Александра постукивает себя по крестцу. Я это замечаю, но думаю — *мало ли что: могла не так сидеть, не так лежать — у кого не бывает?* Даже не стала спрашивать, потому что она ничего не говорит и даже не выглядит, будто испытывает какую-то боль. Но заходит Миша и сразу начинает допрос:

— Что у тебя со спиной?

— Да ничего особенного! — говорит Александра.

— А что стучишь?

— А, это! Немного ноет вот здесь внизу.

— И как долго? — строго спрашивает Михаил.

— Не знаю… Ну что ты так уставился на меня?! Боль в спине — подумаешь! Это, дорогой мой сынок, просто дань эволюции. И каблукам, к которым мы, маленькие женщины, часто прибегаем, чтобы добавить себе несколько сантиметров роста.

— Может, записать тебя к ортопеду?

— Да перестань, пожалуйста! С этим справится мануальный терапевт. О! Идея: начну ходить на четвереньках! — Александра расхохоталась, похлопала мрачного Мишу по щеке и вышла.

Я ему говорю:

— И в самом деле, что ты так разволновался? У каждого иногда болит спина, даже у молодых.

— Ещё месяц тому назад я видел, как у неё скривилось лицо и как она схватилась за крестец на входе в галерею. Тогда я подумал: *может, не так сидела в машине*. Я бы тоже из-за одного раза не заставлял её идти к врачу, но видишь, всё-таки её что-то продолжает беспокоить.

— Ну да, неплохо ей было бы показаться специалисту, пройти курс массажа. Но мне кажется, ты всё равно слишком нервно относишься к её здоровью.

Миша вздохнул:

— Есть на то причины.

Короче, Маша, был у них с матерью тяжёлый момент в жизни, когда он, в семь лет, две недели ухаживал за больной Александрой — в безумном страхе, что он останется без неё тоже. Он её кормил, причёсывал, стирал и гладил ей бельё и пижамы — она ведь две недели не вставала из постели, читал ей, заставлял её учить с ним счёт — только, душа моя, пошёл в первый класс. С тех пор он внимательно следит за её самочувствием.

Кстати, Машка, как твоё самочувствие? Я понимаю, что хочется со всеми повидаться и натанцеваться во всех ночных клубах, но смотри не перебарщивай! И оставь немного времени на письмо мне — жду подробного описания *всего*, включая погоду и новые ямы на дорогахJ.

Целую тебя, моя хорошая! Передавай привет всем знакомым!

Твоя Наташа.

Дневниковая запись Михайла

12 октября 2002

Сегодня после полудня я проходил через гостиную; жалюзи были закрыты, и в темноте я не видел, что там кто-то есть. Мама привстала с дивана, зажгла лампу и позвала меня сесть рядом.

Утром она сходила за результатами обследования прошлой недели. Результаты были…

Меня охватило отчаяние. Я машинально воскликнул:

— Что будем делать?

Вокруг её головы был нимб от света лампы, а лицо было в тени. Она сказала медленно:

— Сынок… я решила… я решила уйти.

Я не понял:

— Что? Куда уйти?

Она молчала. Тем временем мои глаза привыкли к темноте, я разглядел её черты лица. Она виновато на меня посмотрела и опустила голову. Только тогда до меня допёрло.

— Душа моя, я должна. Дальше будет хуже. Прошу тебя, попытайся понять.

Я потерянно бормотал:

— Это кошмарный сон, и я проснусь, это кошмарный сон, это кошмарный сон, и я срочно должен проснуться…

— А я хочу заснуть и больше не просыпаться. Раньше, чем начнутся адские муки, которые даже самые сильные препараты не могут смягчить, раньше, чем замучаю вас и Наталия станет молить Бога забрать меня. Видишь ли… это уже больше не я. На днях я оскорбила Лидию — представь себе, Лидию, которая мне так предана! А вчера я изо всех сил пнула ногой Тару за то, что она крутилась у меня под ногами. Никогда раньше мне это не мешало, а теперь… Теперь завожусь из-за каждой мелочи. Поэтому выход один. Пойми, пожалуйста!

— Ты хочешь, чтобы я сказал: «Да, да, пожалуйста, иди и убей себя!»?!

— …Тебе, наверное, покажется, будто я просто хватаюсь за терминологическую разницу, но самоубийство — акт насилия над собой, а уход из жизни — избавление. Самоубийство — это как расставание с кем-то в ссоре, в ненависти, а я хочу лишь тихо за собой закрыть дверь… Душа моя, я могла уже сделать это — без объявления, но мне нужно твоё понимание, мне нужно знать, что ты не будешь меня осуждать или, не дай Бог, ненавидеть. А я, конечно, сделаю так, как считаю нужным, потому что это всё-таки моя жизнь.

— Да, но она не принадлежит только тебе! Наталия бы сказала: *Бог дал, и только Бог может взять*, — тогда как меня Бог особо не интересует; прости за проповедь, но мы все принадлежим нашим близким, и наше исчезновение открывает пустоту в жизни тех, которые остаются.

— Теперь ты видишь, через что я проходила, когда ты в разгаре кампании в Косово решил пойти в армию! Для меня это было ненужное изложение опасности. Именно по той причине, которую ты так правильно изложил, я просила тебя воспользоваться знакомствами и освободиться от армии. Если бы тебя убили, Михайло, я бы это не пережила. Меня не интересуют ни Бог, ни держава, ты у меня один, и мне важно только, чтобы ты был у меня живой и здоровый. Но ты решил отдать долг родине — и я сжала сердце. Мне смешно, когда говорят, что истина *одна*. Тогда была моя истина: меня тошнило от того, как все увиливают, прячутся от призыва, перед медкомиссией изображают калек и шизофреников, — и была истина мамы, истина всех матерей, для которых страна не имеет никакого значения, если они останутся без сыновей. Какая из них более *истинная*? Какую из них писать с большой буквы?

Я молчал.

— А то, что наши жизни принадлежат и другим людям, — это да, конечно. Когда человек уходит, на его месте зияет дыра в жизни людей, которые были к нему привязаны. Но мы все уйдём — раньше или позже, так или иначе. И это не будет конец света.

Потом она некоторое время молчала.

— Ты всё же *не хочешь* понять! Речь не о капризе — о пресыщенности. Никогда бы не подумала о чём-нибудь подобном, если бы у меня были проблемы на работе или в любви. Рабочие промахи и любовные муки можно превозмочь. А смерть — нельзя! Лишь со смертью нет переговоров. Её можешь только обогнать тем, что уйдёшь раньше, чем она придёт за тобой. Неужели ты думаешь, что мне надоело жить?! У меня есть люди, которых я люблю, работа, которой наслаждаюсь, я окружена любовью и уважением — от этого никто не уходит без веской причины. Но какова моя перспектива? Боль, сильные медикаменты, аппараты для поддержания жизни, полная немощь… Не хочу-у-у! Я жила достойно — и хочу умереть, как человек! Тебе, душа моя, в любом случае будет тяжко, но хотя бы запомнишь меня такой, какой я всегда была, а не растением, которое не реагирует ни на твой голос, ни на твоё прикосновение. Существование любой ценой — нет, нет и нет!

А потом она расхохоталась!

— Точь-в-точь Травиата! Помнишь, как мы с тобой смеялись, читая у Булгакова «Неделю просвещения»? Как тот неграмотный солдат описывает поход в оперу: *послали за доктором, тот подходит к Травиате и поёт: «Будьте, — говорит, — покойны, болезнь ваша серьёзная, и вы непременно помрёте!» И видит Травиата — делать нечего, приходится помирать. А потом приходят Альберт и папаша его, Любченко. Любченко даёт согласие на брак и просит её не помирать, а Травиата говорит: «Извините, не могу, должна помереть»*. Булгаков был гений!

— Давай не будем сейчас о Булгакове, пожалуйста!

— И он умер молодым!

— Хорошо, мама, мне жаль рано почившего Булгакова, но…

— И ещё в каких муках! — сказала она, подняв указательный палец, но я так грозно на неё посмотрел, что она смиренно добавила: — Ладно, ладно, не будем больше об этом! Прости, душа моя! Давай пойдём куда-нибудь… В ботанический сад, например! А есть ли вообще в Белграде ботанический сад?

Я уверен: она сделает то, что задумала. И с ужасом понимаю, что не осуждаю её, сколь бы ни хотелось её удержать.

Дневниковая запись Наталии

2 августа 2002

Я под сильным впечатлением рассказа Александры. Настолько, что захотелось поделиться с Машей, но дело чересчур личное, и хотя я знаю, что Машка никогда бы не обмолвилась перед Александрой о том, что знает её большой секрет (если вообще когда-нибудь встретятся), я всё-таки остановилась и решила эту историю доверить только бумаге.

Как я поняла из крайне скупого Мишкиного рассказа, то, что Александра тогда болела и что вылечил её практически один Михаил, было секретом для семьи — как для её родителей, так и для свёкра со свекровью. Что за таинственная болезнь? — думала я. Может, не стала бы так любопытствовать, если бы не было очевидно, что это событие многолетней давности всё ещё не отпускает Мишу.

Мы с Александрой (и Тарой у её ног), как всегда, когда она дома, около пяти вечера сидели в зале, пили кофе и болтали. Вернее, сидела только я (в кресле), а Александра на диване, полулёжа, искала положение, в котором спина не будет ныть.

Тара тоже не могла успокоиться — ложилась то так, то сяк, и Александра, к моему изумлению, прикрикнула на неё, даже дав ей пинка. Бедная собака — она удивилась ещё больше. Ведь Александра ей всё всегда позволяла и обращалась с ней только ласково.

Теперь я не могла не обратить внимания на её спину:

— Может, у вас защемлён нерв?

— Может быть. Да пройдёт. Ты не поддавайся влиянию Михайла! Когда речь идёт обо мне, он становится настоящим паникёром.

— Похоже, он тогда, в детстве, сильно за вас испугался.

Она пристально на меня посмотрела. Мне стало неловко за вторжение в их тайну.

— Нет, вы не волнуйтесь! Я, в общем-то, ничего не знаю. Миша никаких подробностей не рассказывал. Он сказал только, что вы серьёзно болели, что он ухаживал за вами и сильно боялся, что вы…

— Что я умру, что ли?

Я не люблю произносить этого слова, поэтому только кивнула головой.

— Господи, как я напугала ребёнка! — сказала Александра со страшной болью в голосе, а потом горько улыбнулась и сказала, чеканя слоги: — У-ме-реть от люб-ви… нет большей нелепости в этом мире, Наташа!

Я не знала, что сказать. Спрашивать было неудобно, да и не надо было — у Александры, видимо, была потребность выговориться и отвести душу, — так что я просто молча слушала её.

— Об этом не знает никто. Я считаю, что все подробности романа между мужчиной и женщиной должны оставаться между ними двоими, особенно если их чувства могут кому-то принести боль. Поэтому я никому не рассказывала. А почему сейчас тебе исповедуюсь?.. Не знаю… наверное, я устала всегда всё держать под контролем, быть сильной, «на высоте»… тем более что однажды я на этой высоте не удержалась.

…Это было в 1985 году. По приглашению Пэтара, отца Лиды, в Белград приехал Пётр Дмитриевич. Пэтар время от времени приглашал сюда художников из разных стран; они жили в ателье над галереей — кто месяц, кто два, — писали, лепили, а Пэтар выставлял и хорошо продавал их работы — что у нас, что в других галереях да на ярмарках по всей Европе. Они с Петром Дмитриевичем познакомились в Москве, и между ними вспыхнула «любовь с первого взгляда», в которой немаловажную роль сыграло то, что они тёзки. Тандем «Пэци и Пети» отлично проработал вплоть до кончины Пэтара три года назад.

Что касается нас с Петром Дмитриевичем, то не было никакой любви с первого взгляда — с моей стороны; он-то на меня сразу среагировал. На его ухаживания я не ответила потому, что, во-первых, в свои двадцать шесть я была сухой старухой, знающей только ребёнка да работу, во-вторых, Пётр Дмитриевич был гость, который через месяц уедет обратно к своей жене, а я себя не видела дамой для развлечения. И в-третьих, он был не таким уж сногсшибательным красавцем, чтобы я потеряла голову: гораздо старше меня, худой, сутулый, с изрядно поредевшими волосами. Короче — бесстрастно, безнравственно и бесперспективно.

Помню как вчера, что́ я подумала в тот первый день нашего знакомства: «Почему он так смотрит на меня?! Неужели думает, что я буду с ним спать?!» Эх, Наташа, Наташа… Через три дня я только о том и думала, как мне хочется спать с ним! К счастью — или к несчастью, не знаю, — Миша то лето проводил у родителей моего покойного мужа, в Германии, так что я была совершенно свободна, сама себе хозяйка. И хотелось, до дрожи хотелось принадлежать этому обаятельному, опытному, сексуальному мужчине. За три дня он меня так очаровал, что я перестала видеть и слишком высокое, сутулое тело, и залысину, я даже забыла, что ему пятый десяток.

Говорят, что любовь — болезнь, стихийное бедствие. И это правда — а также неправда. Потому что бедствием является не любовь, а страсть. Со временем наши с Петром Дмитриевичем отношения переросли в любовь, в глубокую человеческую привязанность, а то, что было в первый его визит — не дай Бог никому! Это был единственный раз, когда я чувствовала, что у меня нет никакой свободы выбора. Жизнь всегда предоставляет возможность либо согласиться, либо отказаться, а у меня тогда не было вариантов. Одно «да» пульсировало в сосудах, в ушах, перед глазами. Я перестала есть и спать… Вопросы нравственности и перспективы связи исчезли в неизвестном направлении. Боже, как всё это нелепо звучит: слушаю себя, вспоминаю — и не перестаю удивляться и ужасаться. Свести себя до голого животного…

Но ты знаешь, я поначалу ещё и брыкалась! Помню, мы вчетвером — Лида с отцом, Пётр Дмитриевич и я — возвращались поздно вечером из ресторана. Пётр Дмитриевич мне шепнул: «Сейчас все разойдёмся, а ты потом приди ко мне в ателье!» Я ему говорю: мол, поздно, транспорт больше не ходит. «Возьми такси!» — не успокаивается он. Я вру, что нет денег с собой, тем временем мы подходим к галерее, прощаемся. И вдруг он, ни с того ни с сего, начинает театрально благодарить нас за дивный вечер, трясти нам руки, будто больше не увидимся. Мне это показалось немного странным, но думаю: *расчувствовалась загадочная русская душа, нам, сербам, её не понять*, — но пока он мне пожимал руку, я на ладони ощутила какой-то плоский четырёхугольный предмет. Пётр Дмитриевич на меня значительно посмотрел, и я плавно положила руку в карман. Представляешь — это была большая купюра, сложенная втрое! Но я не пришла. Я подумала, как это будет выглядеть: поздней ночью женщина украдкой — чтобы никто знакомый не увидел — приходит в галерею — большая любительница искусства, стало быть! — а над галереей горит свет в ателье — мужчина, чужой муж, её ждёт. Кто она? Девушка по вызову, которой вперёд оплатили транспорт.

Нет, нет, это не моё! Даже если бы не риск быть увиденной, не пошла бы. Слишком стыдно перед самой собой. До утра я так и не уснула, ворочалась

в постели между «хочется» и «колется». А на следующий день у него было интервью для газеты; естественно, я переводила. Утром, когда мы встретились перед галереей и я ему молча вернула деньги, он мне ничего не сказал, но каждый ответ на вопрос корреспондента, каким бы серьёзным ни был, он, не запинаясь, не меняя интонации, заканчивал так: «Всё бы ещё ничего, но эта красавица меня не хочет», «На данный момент нет больших сдвигов в мировом искусстве, а я всю ночь не спал, ожидая появления нашей красивой переводчицы»—и другие вариации на эту тему. Вот этим он меня покорил, на этом я сломалась. Я сразу приняла игру, переводила явную часть его ответа, а потом, в конце перевода следующего вопроса, добавляла, не меняя выражения лица и скорости речи: «А вы зря её ждали и не ждите—она не придёт», «…И каково на этот счёт ваше мнение? А переводчица вам советует бросить идею близких отношений, потому что их не будет». Мы понимали, что из-за схожести языков сильно рискуем, но как-то обошлось, журналист ушёл довольный, а я той ночью забыла и про приличие, и про нравственность, и про завтра… и стала любовницей Петра Дмитриевича.

Ни у одной женатой пары не было месяца такой *медовости*! Всё, что он делал, было мне любо. Он относился ко мне и как взрослый человек к ребёнку, о котором он заботится, и как к женщине, которой он полностью доверяется, и как к любовнице, с которой даже он, матёрый постельный волк, поднимается на небывалые вершины плотского наслаждения. С самого начала наша связь была многослойной, заполняла все мои потребности, а, поверь, после семи лет одиночества мои потребности были пребольшие. Пётр Дмитриевич открыл мне, что я на самом деле женщина очень чувственная. Раньше я всегда скептически относилась к рассказам подружек о сногсшибательной страсти: то, что ласки любимого приятны, мне было известно, я ведь выходила замуж по любви, но дрожь, волны неземного удовольствия, помутнение разума—э, извините, дорогие мои, это вы начитались фантастики—в этом я была твёрдо убеждена. До встречи с Петром Дмитриевичем… Но как только я на него посмотрела как на мужчину (а не как на женатого гостящего художника, который скоро уедет к себе на родину), то есть как только я сняла с него этикетки, мешающие воспринимать его тем, кем он по сути, вне всяких условностей, является,—я расслабилась и позволила себе реагировать на него так, как любая нормальная женщина реагирует на мужика, к которому её тянет. Прости за излишнюю откровенность, но от каждого его прикосновения меня било током. Я не могла им насытиться. Сколько бы мы ни были вместе, нам всё было мало. Мы могли часами непрерывно находиться в объятиях друг у друга и чувствовать желание слиться ещё больше, впитаться друг в друга—даже собственная кожа нам мешала!

Это, естественно, не могло остаться незамеченным. Пэтар не вмешивался, он только однажды тихо, отведя взгляд, сказал: «Саша, не лихачь. У Пети больная жена, он её не бросит».

Как бы безу-у-умно влюблённой я ни была, то, что у нашей связи нет будущего, я прекрасно понимала. И по мере приближения его отъезда я всё чаще грустила. Он меня утешал, хотя ему тоже было тяжко; говорил: «Настоящая любовь не знает расстояний. Ты права—нехорошо по отношению к моей жене то, что я буду существовать возле неё, а моя настоящая жизнь будет проходить в Белграде. Но я же её не бросаю, и ты тоже ни разу не заикнулась о моём разводе, так что это немного смягчает нашу вину. А виноваты мы только в том, что не устояли друг перед другом. Не знаю, что тебя так сильно потянуло ко мне, но про себя могу сказать, что никогда ни одну женщину не любил так, как люблю тебя. Не буду врать—в моей жизни были романы, но такие чувства я испытываю впервые и знаю, что ты—моя самая большая и последняя любовь. Не обезьянничай, Саша! Это так, и время покажет тебе, что я говорил правду».

А мне его серьёзность казалась патетической, и я подшучивала, переворачивала его слова, превращала в комедию грустный финал нашей сказки. Но он был прав: время показало, что его чувства ко мне—нешуточные. Семнадцать лет интенсивной переписки, созванивания, довольно частые встречи—либо здесь, либо в России. Уже давно у меня есть уверенность в нём, в постоянстве наших отношений—настолько, что даже чувствую себя спутницей его… как бы это сказать… спутницей его жизни. На десятилетие связи мы обменялись вот этими золотыми цепочками и с тех пор чувствуем, будто мы друг у друга и буквально на цепи. Не знаю, как он цепочку объяснил жене,—я решила, что спокойнее буду спать, если не знаю. А она, кстати, как была болезненная и нуждалась в уходе двадцать лет назад, такой остаётся и по сей день. Я уверена, что она переживёт не только его, но и меня тоже!

То, что страсть, чрезмерная увлечённость другим человеком может обернуться катастрофой, я поняла в день его отъезда. Мы договорились, что я не поеду его провожать—незачем излишне трепать себе нервы, тем более перед Пэтаром, который собирался везти его в аэропорт. По сей день не могу забыть: это была среда, рейс в десять пятьдесят. Его самолёт взлетел, а я здесь, в зале, упала на колени, корчась от боли. В животе у меня было ощущение, будто мне вонзили нож и водят им туда-сюда. Наверное, подобное испытывали самураи, когда совершали сэппуку. Так, скорее всего, выглядит ломка наркомана. Что героин, что герой романа… Ха-ха…

Зависимости—страшное дело.

Как минимум неделю я пролежала просто так, ни живая, ни мёртвая. Потом свёкор со свекровью привезли Мишу и остались на несколько дней сентября. Я им так благодарна: они легко проглотили мою историю про вирусную инфекцию, от которой я, мол, начала поправляться, собрали всё нужное для первоклассника и ещё пару раз сводили его в школу.

А потом мы остались вдвоём. Моя «вирусная инфекция» не проходила, и ребёнок стал заботиться обо мне. Делал нам какие-то немыслимые бутерброды, поил меня лимонадом собственного приготовления, приносил воду в тазике и менял мне холодное полотенце на лбу, как я ему, когда у него была температура. Душа моя, что бы я делала без него?!

Пока Миша был в школе, я лежала, свернувшись калачиком, тупо смотрела в стену и повторяла: «Больно, больно, больно, больно…» А когда он возвращался, он меня заставлял думать, что́ нам купить на обед и на ужин, один ходил на рынок. Читал мне какие-то детские рассказы, показывал школьные задания и свои рисунки. И даже устраивал мне спортивные упражнения! Повторяя мои слова «человеку спорт нужен для здоровья», собирал все подушки, которые имеются дома, ставил их мне за спину, чтобы я могла сидеть в кровати, и бросал мне мячик. Я была тронута его изобретательностью и упорством и выжимала из себя какие-то силёнки, чтобы не разочаровать ребёнка. А он видел, что я из трупа превращаюсь в подобие живого человека, и ещё больше старался.

На телефонные звонки отвечал по-взрослому, бодро говорил, что мама поправляется, но просил, чтобы меня не беспокоили. Только Пётр Дмитриевич звонил каждый день и требовал меня. И так, потихоньку, благодаря ухаживанию маленького любимого человечка и ежедневным звонкам большого любимого мужчины, я начала выкарабкиваться. Пётр Дмитриевич испугался, когда я не брала трубку целую неделю после его отъезда, но потом мы стали общаться регулярно, и хотя он понимал, что мне очень тяжело, он знал причину и видел, что я понемногу поправляюсь. А Миша-то не знал, чем я болею, и у него остался только страх, что с мамой опять может ни с того ни с сего случиться беда, поэтому он постоянно начеку.

Мало сказать, что я была ошарашена рассказом Александры! Теперь я хорошо поняла смысл слов Петра Дмитриевича с открытия его выставки — о том, что он «остаётся верным своей единственной измене». Этим предложением он мне приоткрыл завесу их отношений, но я даже не могла представить себе, сколько красоты и боли в любви этих двоих людей, на какие жертвы они пошли… Ради чего?

Александра говорит, что они однажды попытались расстаться. Пётр Дмитриевич понимал, что тратит её время — она же молодая, может выйти замуж и родить ещё детей. Несколько месяцев они вообще не контактировали, она даже стала встречаться с одним молодым человеком — но, говорит, очень скоро стало ясно, что это не то. Пусть Пётр Дмитриевич в другой стране, пусть он принадлежит другой женщине — всё, говорит, лучше, чем его полное отсутствие.

— Знаешь, Наташенька, с ним моя жизнь была как шахматная доска: то чёрное, то белое поле, а те несколько месяцев без него — сплошное поле, я даже не знаю какого цвета… Серого, наверное. Но, видимо, Пётр Дмитриевич прожил это время в аналогичной гамме. Однажды он не выдержал, сел в самолёт и прилетел. С тех пор никаких перестроек — живём за те недолгие встречи, а время между ними коротаем письмами и звонками.

Я ей говорю:

— Александра, хоть ваша с Петром Дмитриевичем связь и грешная, но похоже, что ваш союз устроен свыше…

— Тогда выходит, что для того, чтобы я встретилась с Петром Дмитриевичем, нужно было погубить моего молодого мужа и лишить Мишу отца ещё до рождения. Тебе не кажется это чудовищным?

Письмо Наталии — Марии в Петербург

15 августа 2002

Маша, у нас беда!.. У Александры спина, как оказалось, болела не просто так и не из-за ущемления нерва. Миша её наконец заставил пойти к врачу. Сделали кучу снимков, показывали троим специалистам, и все говорят одно и то же: поздно и для операции, и для облучения. Миша в шоке, я всё время молюсь и стараюсь не плакать перед ним, а Александра завернулась, как улитка, в себя и не показывает никаких эмоций.

Молись, Машка, молись о чуде, пожалуйста!

Дневниковая запись Наталии

3 сентября 2002

Похоже, что Александра поначалу всё-таки была в шоке, а теперь начинает осознавать происходящее и говорить об этом. Сегодня за обедом она нам сказала:

— Дети, давайте не будем делать трагедию в квадрате. Состояние моего здоровья оставляет желать лучшего — это точно, и я понимаю, что вам не до веселья, но прошу вас посмотреть на этот непрошеный подарок по-другому, начать воспринимать каждый момент, который мы проводим вместе, в той полноте, которая, к сожалению, обычно ускользает от человека, пока он не сталкивается с… с окончательным приговором. Вы должны знать, что я не боюсь. Конец ведь всегда приходит не вовремя — всегда раньше, чем хотелось бы, — но я считаю, что лучше знать о его приближении и приготовиться к расставанию, чем уйти внезапно, не имея возможности сказать любимым людям о том, насколько они дороги нам, и попросить прощения за то, что было не так. О смерти люди предпочитают не говорить и даже думать избегают — я тоже не собираюсь лишний раз её упоминать, но она никуда не денется и не пройдёт мимо нас оттого, что мы изо всех сил закрываем глаза. Я предлагаю сосредоточиться на жизни, устраивать себе праздники, сделать всё то, что обычно откладывается на потом, — смотреть хорошее кино, идти в музеи, съездить на недельку искупаться в море. Во! На море! Вода ещё тёплая, толпы рассосались — я поеду в Херцег-Нови! Кто со мной?

Конечно, едем… Александра права: надо сосредоточиться на жизни. Но теперь это так тяжело… Я хоть немного спасаюсь молитвой и надеждой на чудо, а Миша сильно страдает.

Дневниковая запись Михайла

15 июля 2002

Мы решили отпраздновать мой день рождения в ресторане, чтобы мама с Наталией на этой жаре не стояли часами у плиты. Я был гостем — они выбрали место, мама была за рулём. Ближайшая парковка была далековато, но под вечер подул свеженький ветерок, так что получилась приятная прогулка. Идём это мы возле Топчидерского леса, никуда не спеша, я с моими двумя любимейшими женщинами, температура воздуха — словно на заказ, небо ещё пока светло, но больше не слепит глаза, и появляются первые звёзды, стрекочут сверчки… И у меня вдруг появляется такое интенсивное — хоть рукой потрогай — *ощущение* счастья… счастье ведь — чувство, но в тот момент я счастье испытал ощущением, как обычно испытываем твёрдое, мягкое, тёплое, холодное. Радость, счастье — как физиологическая категория. *Ощущение, чувство* — всё равно; оно меня настолько охватило, что я предложил зайти в церковку, мимо которой мы проходили. Не знаю, откуда взялась у меня потребность именно в храме сказать спасибо за счастье, дарованное мне… *свыше*, наверное. И тут моя мать, атеистка, сказала то, что Наталию и меня оставило с открытыми ртами:

— Почему бы и нет? Можно, но это церковь новая, она пока ещё не *намоленная*.

Она полна сюрпризов: в Бога не верит, но убеждена в том, что молитва обладает какой-то силой! И в том, что храмы, особенно старые, — места с невероятной энергией. И что именно энергия большого количества людей — будь это в молитве или в медитации — может горы сворачивать, море разделять. Но мама не хотела развивать свою теорию («нет у меня никакой теории, только *видения*, которые трудно поместить в слова»), и вместо того она рассказала нам несколько анекдотов про Бога, св. Петра, грешников и праведников; тем временем мы дошли до ресторана. Скажу ещё раз (и не буду стучать по дереву и плевать через плечо): я счастливый человек.

Письмо Наталии — Марии в Петербург

Белград, 8 января 2003

Машенька, милая моя, спасибо за новогоднюю открытку и дивные пожелания. И прости, что я тебя поздравляю только сейчас. Просто некогда было. Ты знаешь, Маша, 3 января мы похоронили Александру.

Первого числа я проснулась около семи. Мишки не было, и я заволновалась. Несколькими часами раньше я в полусне почувствовала, что его нет рядом, но решила, что он пошёл в туалет и вот-вот вернётся. Но в семь я окончательно проснулась от ощущения, что что-то не так. Я обошла всю квартиру, но его не было. Только тогда я заметила записку возле моего изголовья: «Киса, прости, если напугал! Мне приснился страшный сон, а мама не берёт трубку, так что я поехал на дачу проверить, не случилось ли чего. Вернусь сегодня же, а до этого позвоню. Целую!»

Больше всего хотелось позвонить ему и узнать, что происходит, но решила не усложнять ситуацию. Если он сказал, что позвонит, — значит, позвонит, когда сможет. Сна, естественно, не было больше ни в одном глазу. Я сильно волновалась и за него, и за Александру и с тяжёлым предчувствием беды могла только молиться. Опустившись на колени перед иконой Николая Чудотворца, я прочла молитву и акафист, но не могла успокоиться. Потом обратилась к Богоматери и просила об исцелении Александры у св. Пантелеимона.

Да, она была грешницей, к тому же некрещёной и вообще неверующей. Стоя на коленях перед иконами, я вспомнила, как она мне говорила, что человек имеет право располагать своей жизнью и смертью. Цитировала Гумилёва, стихотворение «Выбор»: «*Не спасёшься от доли кровавой, что земным предназначила твердь. Но молчи: несравненное право — самому выбирать свою смерть*».

А это ведь большой грех… Но Отец любит всех своих детей! Я глубоко убеждена, что каждый человек, если кается, молится и верит в Бога, как бы он ни называл и ни представлял Его себе, может жить спокойно и надеяться на помощь свыше. Глубоко искренняя молитва снимает тяжесть с нашей души, осознающей свою греховность, и на нас обязательно снисходит милость Божья. Я в этом не раз убеждалась! Господь поможет Александре, несмотря на её прегрешения. Она ведь сделала так много добра в жизни! Взять только то, что вырастила такого сына, что приняла в дом меня, постороннего человека, и относилась ко мне с бóльшим вниманием, чем родная мать. Если не она, то кто заслуживает счастья и благополучия?! И она бы всё это могла иметь, если бы только открылась, впустила в себя свет Божий и доверилась Всевышнему! Но она говорила, что ей это не дано, что вера в человеке либо просыпается, либо не просыпается, и никакие старания тут не помогают…

Но что теперь рассуждать!.. Её больше нет. Я молюсь, чтобы Господь принял её в своё Царство, несмотря на страшный грех, который она совершила. Да, Маша, Александра использовала то, что считала своим «несравненным правом», и ушла из жизни своевольно. У них с Мишей дача на горе Златибор, вот туда она поехала — якобы с Лидой встречать Новый год, а на самом деле одна, чтобы не мешали ей и чтобы она никому не мешала. Там она нарядилась, сделала причёску и макияж, оставила Мише записку — и уснула навеки. Господи, как я рыдала, когда читала эти строки:

«Сынок, ты догадался и приехал, да?

Вот пью шампанское — кстати, весёлая вещица, жаль, что не открыла раньше! — и думаю, что́ сказать тебе… Ты и так всё знаешь. Что ты моя самая большая радость, моя гордость и смысл моей жизни. Проси за меня прощения у Наташи — её христианская душа будет страдать из-за моего поступка.

Любите друг друга и рожайте детей. Когда появится свой ребёнок, ты узнаешь, какой большой и безусловной может быть любовь.

Ещё раз — пойми и прости!

Нежно твоя,
мама».

Извини, Машка, на этом закончу. Напишу опять, когда немного приду в себя. Будь здрава и счастлива.

Наташа.

Дневниковая запись Михайла

17 апреля 2002

Если бы мне кто-то сказал, что мама найдёт мне девушку, я бы посмеялся ему в лицо! Как я смеялся в лицо маме, когда она мне сказала прийти на открытие выставки Петра Дмитриевича, потому что придёт одна красивая россияночка. Я ей говорю:

— Мам, ты что, думаешь, что я не в состоянии найти себе девушку?!

— Ну-у-у… если судить по той предыдущей, с которой ты, к счастью, расстался (признаюсь, что мне тогда сильно полегчало!), нельзя сказать, что ты умеешь выбирать. Ладно, ладно! Прости-и-и! Не буду вмешиваться! Забудь, что я критиковала твою бывшую любовь! И я не настаиваю, чтобы ты познакомился с этой девочкой, только предлагаю. Она красивая, хорошо воспитанная, ростом тебе под стать, я просто подумала, какая бы красивая пара из вас была. Но ты не приходи! Не вздумай приходить! И не вздумай попи́сать!

И тут мы с ней начали хохотать аж до слёз! Я уже забыл то, что какое-то время (сколько мне тогда было? года три, наверное…) единственный способ, которым маме удавалось заставить меня пойти в туалет вовремя, был такой: она должна была стать перед дверью туалета, загородить её и сказать мне басом (глаза грозно вытаращены): «И не вздумай пи́сать!» И мы тогда якобы боролись, и я победно забегал в туалет и пускал длинную струю, хотя до этого упрямо утверждал, что мне писать не хочется.

Я не собирался идти, то есть у меня не было *никакого* намерения — ни идти, ни не идти, — просто у меня были другие планы. Но когда я сегодня после полудня в спешке влетел в машину, я бросил ключи от квартиры на соседнее сидение и совсем забыл о них, а так как машину дал Николе — ему надо было перевести что-то из Панчево, — вечером не мог попасть домой. Вот почему я пошёл в галерею — чтобы взять мамин ключ, но раз уж пришёл, надо было поздороваться с Петром Дмитриевичем да ещё с несколькими знакомыми, — и так я, вовсе *не* собираясь воспользоваться маминой услугой свахи, дождался появления русской красавицы.

А сейчас я дома, сна ни в одном глазу. Кажется, у меня даже температура! Вот только что, как умалишённый, читал перед зеркалом «Песнь песней» и отрывки из «Гамлета»! Не могу дождаться утра, чтобы пригласить её на свидание. Мама обязательно скажет, с её знаменитым выражением наигранной скуки на лице: «Не знаю, как мне удаётся всегда быть правой?!»

ДиН конкурс

Литературное Красноярье

Мы с тобою лесные, древесные…

Ольга Шипко

Дорога к Енисею

Дымится воздух. Даль открыта.
И солнце тянет провода.
В следе от конского копыта
Синеет талая вода.

Синеет купол небосклона.
Снега растаявшие — синь.
И в сини чёрные вороны
Летят, осилившие стынь.

Плывут туманы и алеют
От зорь, несущих торжество.
Сбегают сосны к Енисею
Коснуться зеркала его.

Весна идёт без проволочки,
Качает буйной головой.
Ещё неделя-две… и почки
Зелёной выстрелят листвой.

Александр Щербаков

Таёжному брату

Видно, пращуры были древлянами,
Коли нам так любезны леса
С родниками, грибными полянами
И деревьями — под небеса.

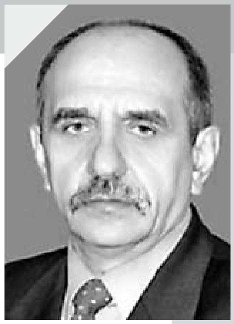
Мы с тобою лесные, древесные,
И почти деревянные мы.
Жизнь степная нам кажется пресною,
Городская — теснее тюрьмы.

Хоть дровишки таскаем вязанками,
Но мы любим удел наш лесной.
Как Есенин с берёзкой рязанскою,
Повенчались с ангарской сосной.

Уважаем соседа Топтыгина,
Лося потчуем хлебом с руки
И в избушке охотничьей с книгою
Засыпаем под шелест реки.

Пусть кондовые мы, но бедовые
И в тайге (дальше в лес — больше гэс)
Сотворяем плотины бетонные,
Чтобы стало светлее окрест…

А когда нами жизнь будет пройдена,
Словно эхо в лесных голосах,
Наши души, дышавшие родиной,
Растворятся в сибирских лесах.



Анатолий Статейнов

Старики мои и старухи

У деда, Петра Васильевича Чуркина, после гипса на руке распухли пальцы. Случилось это аккурат перед Новым годом. Вроде и не больно, а нервы да жилы сдавил гипс. Поползла от ладони вверх краснота. Приписали Петру Васильевичу два раза в неделю перевязку с какой-то волшебной мазью. А где её делать, перевязку? Только у Нины Афанасьевны, в фельдшерском пункте. Вот дед и воспользовался оказией, попросил меня подвезти в больницу. На улице декабрь, и хотя не давили пока большие морозы, старик боялся простуды, да и не прошагать ему без помощника до фельдшерского пункта. Надо было выручить машиной.

Поехали к обеду. Чуркин с сипеньем одолел крыльцо в четыре ступеньки, зашаркал валенками в приёмную. Пришлось последовать его примеру — не сидеть же одному в машине. Следом за дедом я сбил веничком снег с обуви, откашлялся в сенцах — всё-таки фельдшерский пункт, к Нине Афанасьевне идём, самому главному человеку в деревне, тут солидность нужна.

С жалобами у Нины Афанасьевны как раз сидел Николай Егорович Коков. Обречённо ведал фельдшерице про прыщ под мышкой и подозревал скрытую форму рака.

— Что-то у меня, Нина, есть, — сокрушался он, — не знаю что, а есть. Смерть не спрячешь. В город бы заглянуть, толком провериться. Да разве там врачи? — Егорыч скрестил пальцы на животе, крутил ими в задумчивости человека, без времени покидающего жизнь. — В прошлом году, также по осени, приезжаю в Красноярск, в очереди три часа отдул, а за столом какой-то мухомор. К нему закинули. Мол, езжай, Егорыч, не ошибёшься. Если этот скажет — значит, отрубил. Дескать, профессор, светило, покойников ставит на ноги. Во как брили дурака. Видят: немощный, деревенский, отжил своё — и несут что попадя. А мы — точно бараны: какие ворота открыты, туда и несёмся.

Егорыч вспомнил прошлогоднее путешествие в город, затряс головой, все три его подбородка, как вода в сапоге, захлюпали.

— Дурило он, прямо скажу, — загорелся старой обидой Коков. — Бумаги и не читал, сразу на меня буркалами упёрся и смеётся: давай, дед, здоровьем обменяемся? У меня две ноги в гробу, а он ржёт, как у Крока жеребец. Нет, сейчас о пожилом человеке не думают. Старики — обуза этим вертопрахам. Такие не поддержат — специально в могилу пхнут. Мне семьдесят пять, ему тридцать, и дуру старику в глаза лепит. Тут, если и ходил, с горя ляжешь. К такому профессору на глаза показываться — когда билет на тот свет выписывать. Раньше нельзя, они сразу торопят с направлением. Если ещё тянул ноги, после такого приёма ляжешь. Нина, милая, я с Любкой Юнькиной теперь не здороваюсь, она ведь к этому обалдую сосватала.

Увидев, что приехал на перевязку Чуркин, Афанасьевна попросила Кокова подождать в приёмной и занялась Петром Васильевичем. Волей случая мы должны были с Егорычем разговориться. Он сразу же зажалился, запел что-то про общие недомогания, иногда переводил их в частности.

— Веришь, мо́чи нет. Третий день какая-то сухость во рту. Чаю попью — полегчает, потом опять сухо. На глазах силы теряю. Вчера просыпаюсь — кашель. Во как! Поди, уже и лёгкие воспалились. Прошу Афанасьевну: дайте таблеток, чтобы я себя здоровым чувствовал. Говорит, нету. Везде в душу шилом нажаривают. Куда они делись, таблетки? — раньше были, теперь нет. Нина, милая, я же живой ещё, мне помочь надо.

В словах соседа была такая обречённость, будто все мосты на будущее ему кто-то сжёг. И теперь ничего не остаётся, как самому прыгнуть в пропасть.

— Пётр Васильевич, — крикнул он Чуркину, которому за марлевой занавеской накладывали новые бинты, — отгулял я своё. Останешься без соседа. Кто к тебе на скамеечку вечером придёт? Кто тебе новости расскажет? Вспомните потом Кокова, пожалеете, что не уберегли. Попомните, я вам самый родной человек был.

Чуркин, привыкший к жалобам одногодка, ничего не ответил. Коков снова пустил плач. Старик ждал сочувствия.

— Эх, Петро, Петро!

— Такого бугая кувалдой не остановишь, — засипел из-за занавески Чуркин. — Чё ты сидишь там, парню мозги правишь? У тебя здоровья на два трактора. Постеснялся бы — сеешь слёзы, как кутёнок. Я всё думаю: когда тебе надоест плакаться?

— Не было у меня здоровья никогда, а теперь совсем гнёт, сушит, как осеннюю траву, — печалился Егорыч, — чувствую, что-то со мной случится. А кругом такие соседи — жуть берёт. Люди, вы почему только о себе думаете? На старого человека никто не оглянется. Вчера Ваське Шишкину говорю: иди посиди со мной на лавочке, поговорим. Послушай старика, не поседеешь. Как шёл, обалдуй, так и ушаркал. Головы в мою сторону не повернул. И баба у него без Божьего подарка. Где он только их выцарапывает. Я про третью, Алку его, речь веду. Хоть ночью иди мимо их двора, она всё какие-то песни поёт. Во семейка: он молчит по месяцу, она кудахчет без отдыху. Да их только вспомнить — сразу заболеешь. Особенно если

человеку с такими нервами, как у меня. Я за правду стоял и стоять буду, кому хошь башку отверну, силы ещё хватит.

— Все здоровые полегли, а ты щеголяешь,—в свою очередь вразумлял соседа Чуркин.—Если приспичило, брось всё, иди в инвалидный дом и Варвару туда бери. На полном государственном пансионе больше протянешь. Никаких забот.

— А хозяйство?!—всполошился Егорыч.—Как с хозяйством быть? Сейчас ни на кого не бросишь. Некому, брат, доверить. Не деревня у нас—рассадник кровохлёбов. Они за два дня всё в распыл уведут. Только и ждут, когда скопычусь. Третьего дня смотрю—Колючник возле моего дома ходит. Пьянь подзаборная. Поди, стибрить чего-нибудь уцелился. Или Шмель, опять же. Этому не заржавеет весь дом по брёвнышкам раскатать. На ходу сапоги снимают, а ты—дом бросить.

— Так дом и скот государству отдай. Тебя в инвалидке лечить будут, кормить, комнату на двоих с Варварой дадут, это растраты всё-таки. Поди, зараз булочку хлеба мелешь? Значит, на день три нужно. Государству и помоги, отспасибуй за заботу о тебе, болезненном. Они же кормить и поить будут, лечить. Тебе на день ведро таблеток надо.

Коков сначала спокойно слушал соседа, потом дёрнул головой в недоумении, какое-то время ещё соображал, что это такое выдал ему сосед. Судя по всему, разобрался, по лицу поплыла краснота.

— Ты что разошёлся? Что моим добром распоряжаешься?—зауросил неожиданно Егорыч.—Свои костыли подари государству, тоже добро. Ишь, умник—скот отдать. А нам с Варварой зубы на полку. Таких простачков теперь на каждом углу, пушкой не проредишь.

Укусил Пётр Васильевич соседа за больное место. Коков, как всегда в таких случаях, сначала на обидчика, Чуркина, кинулся. Какое, мол, такое имеешь право заглядывать в мой двор? Мне советчики не нужны, сам знаю, как с собственным добром поступить.

Но тут же понёс про супостата своего, Шурку Ванина. Не сходя с дивана в фельдшерской, потребовал навести учёт в растранжиривании Шуркой колхозного бензина.

— Вези меня, парень к прокурору,—категорически заявил он уже мне,—я там всё расскажу, найду удавку на проходимца. Вези, тебе прокуратура дорогу оплатит. Туда и обратно. Там люди с головой, они понимают, что такое преступник. Убийцу простить можно, а Шурку—никогда. Я всё выложу. Не поскупись, Анатолий, помоги проходимца высветить.

— А если дорогу не оплатят?

— Ради правды и пострадать можно. Сколько можно этого тугодума терпеть? Тут выбирать некогда, паразитов сразу наказывают. В таких случаях о себе не думают, для людей живём. Надо—значит, поедем.

Прячу улыбку, смотрю в окошко. Фельдшерский пункт в Татьяновке посредине деревни. Прямо возле дома бабки Парахи. Её черёмуха со стёклами в окнах больнички целуется. Дом-то большой, двухквартирный, из кирпича сложенный. Палисадник только на две квартиры один, и скамеечка возле него одна.

Народу тут всегда намешено. Женщины поговорить любят. Вышли из магазина, напротив—скамеечка фельдшерского пункта. Не лететь же сразу домой сломя голову. На скамеечке и гнездятся дух перевести. В тени под черёмухой любые новости сладкие. Особенно ценна лавочка летом, когда без устали греет солнышко, в огороде в полуденный зной делать нечего. Самое время посидеть в тенёчке с подружками и поговорить. Но и сейчас, по зимней поре, возле неё люди часто случаются. Часа по три судачат, не чувствуют мороза.

А вот с болезнями к фельдшеру заходят редко. Не любят татьяновцы таблетки да примочки. Хотя Нина Афанасьевна Бельская лет сорок спасает от предполагаемого мора старых и малых. Но пока не прижала кого-нибудь большая беда, порога лечебного учреждения не переступят.

Раза два в месяц закидывает к Афанасьевне с похмелья деревенского пропойцу Юрку Шмеля. Синий, опухший, ползёт Юрка в фельдшерский пункт, просит спасения от гибели. Ревмя ревёт, молит Афанасьевну на коленях дать ему чудесного лекарства.

Хотя сам себя Юрка возвеличил до деревенского волшебника: ходит по домам старух и стариков, заговаривает боли в спине, суставах да испуг младенцев. В последнее время сделал заявление, что сможет убирать и почечную колику. И ведь просят прийти, провести одновременный сеанс, хотя знают бродягу. И расценки его знают—стопку за посещение. Но себя Юрка после запоев лечит только у Нины Афанасьевны.

Иногда дело кончается капельницей. Тянет и тянет Афанасьевна бросового человечишку с того света. Однако лучше Юрка не стал, спиртного не разлюбил. И вряд ли откажется.

Осенью обычно, а нередко и летом, жалится на сердце соседка моя, Роза Филипповна. Эту работа мучает. Большая любительница огорода бабка, к тому же голода боится. Если сажает картошку—непременно шестьдесят соток. Так уходится за сезон—горстями сердечные пьёт. Выкопала картошку—недели две у Бельской на консультации. Божится и крестится, что бросит землю, куда ей эти морковь и капуста, всё равно зимой скормит коровам сыновей и дочек. Но приходит весна, и всё повторяется. Не может Филипповна без огорода. Хоть и налепила себе с его помощью кучу болезней.

— Нина,—молит она прощения у фельдшерицы,—как же без работы? Я тогда совсем умру. Пусть уж как ходила, так и буду ходить. Ты только таблетку хорошую дай, чтобы полегчало.

Самый сложный больной—Николай Егорович Коков. Этот на приёме каждый день. Если верить Егорычу, он перетерпел за свою жизнь все болезни, которые когда-то отмечало человечество. В семьдесят пять Егорыч свежий, как жених, но жалоб больше, чем у причастившегося. Нет на его теле такой части, которую бы старик считал здоровой. Маленького пятнышка не найти для укола иголочки.

Афанасьевна его всегда тщательно выслушивает и рекомендует народные средства: чай со смородиной, сушёную облепиху и сок моркови на ночь. Дескать, всё остальное — гольная химия, ей только травиться. Помогут вам, Егорыч, травы. Ими раньше лечились и по сто лет жили. И вы на том стойте.

Егорыч с такого лечения розовеет ещё больше. Подбородок тянется выше, в жизнь деревни Коков встревает по любым мелочам. Острый глаз всё видит. Ещё только собирается чья-нибудь дочка замуж — Егорыч уже знает, когда молодые разойдутся.

Серьёзный человек, увидев Кокова на улице, найдёт способ свернуть в сторону. Иначе замучает советами. Как лучше забор городить, картошку садить, стирать, родить, пелёнки сушить — всё Егорыч знает, всех учит. И, судя по возрасту, профессию народного учителя менять не собирается.

— Афанасьевна, — свой приход в фельдшерский пункт Коков обычно начинает с рассказа о прошедших сновидениях, — сегодня ночью сплю как убитый. А открыл глаза — лучше бы и не просыпаться. В желудке тяжесть, рука, что под боком лежала, занемела. Думаю, хватит сил подняться или нет? С чего-то же заболел? Вы бы посмотрели.

— Переутомились? — предполагает Афанасьевна.

— Я не баран, чтобы себя не жалеть. И Варвара приучена: поработала — отдохни. Потом свежими руками больше сделаешь. Тут что-то другое, Нина, искать нужно.

— Тогда переволновались?

— Нет-нет, Афанасьевна, всё глубже спрятано. Помню, Филипп Литовченко также в три дня слёг. Вот был мужик: плывёт по улице, как барсук. Пузо двумя руками поддерживает. А уж силы ему Бог подарил — четверым с излишком. Жить бы да жить старику. Не помогли — и преставился.

— Он же на девяностом году помер.

— Лечили бы — ещё девяносто прожил. Думали, дурь гонит? А ему и надо было один укол от нутряной боли. Филипп Тихонович ещё за день до смерти как молодой кукарекал. Мы же с ним по дрова ездили. Чуркину на баню готовили. Воз намололи до обеда. С меня пот в три ручья, а ему хоть бы хны. Только харчит, как боров. У Филиппа руки были железные, тянул пилу — и не подумаешь, что в возрасте. У меня уже черно в глазах, а он давит и давит, давит и давит. — Егорыч делает задумчивое лицо и с надрывом обречённости предполагает: — Может, я свинины лишней съел, как думаете? Вообще-то перекусил так себе, на ночь. Воробей клюёт больше. Печень Варвара сжарила, килограмма полтора, если и было. Окорочка кусочек смял. Не хотел ещё, да Варвара вытаскивает из печи — такой румяный. Пропадать добру, что ли? Грибками зажевал да огурчиками малюсенькими. Разошёлся что-то, дай, думаю, сальца с чесночком на ночь. Под сало согрешил, стопочку беленькой позволил. Грамм сто, не больше. А утро показало: слабость меня ест. Солнышко с окошком играется, а мне вставать не хочется. Нина, милая, слёзы капают. Силы нет. Ещё и не жил, а скручивает. За что мучаюсь? За что наказание? Ну помогите же хоть кто-нибудь.

Столько печали и жалости в голосе Егорыча — даже я, знавший его как себя, думал: неужто и вправду сегодня Егорыч заболел? Но Нина Афанасьевна вместо лечения продолжала расспрашивать старика.

— По вашему возрасту мясное нельзя, — категорически заявила она. — Исключайте из пищи свинину.

— Нина, разве я не берегусь? Посмотри, что у людей на столе. Шурка Ванин за эту осень второго поросёнка колет. У него ещё и баба на прошлой неделе в город ездила, колбасы килограмма три привезла да яблок, этого… майонезу или как его, банки четыре. Метут, как свиньи. Шурка и по характеру хряк. Прошлый раз аж шесть килограммов рыбы красной купил. Куда такие деньги лупит? Намотать бы вожжи на кулак да отходить его по мягкому месту: не трать копейку куда попало, не трать. Учись жить, подлец. — Егорыч с досады на аппетит Шурки аж крякнул. — Только ему ни рыба, ни мясо не впрок. Не в коня корм. И в пацанах щепкой был, и сейчас вострохлёб. Я вам прямо скажу: Шурку, бегемота, и кормить не надо. Он у меня прошлым годом на черенки для лопат две заготовки взял и не отдал. Не прощу проходимцу, как-нибудь прямо в глаза правду стрельну, пусть при людях поморгает. На колбасу денег нашёл, а за черенки платить не собираешься?

Егорыч на время забыл, что в больнице, махнул рукой так, что со стола полетела тетрадь с записями фельдшерицы, но Коков и этого не заметил.

— За ним глаз да глаз нужен, не сегодня-завтра колхозное добро потащит, потом и по дворам начнет уцеливать. Я ему ничего не спущу. Я за своё добро спрошу. Он его наживал? Главное, у кого забрал? Старика! Пенсионера! Сироты, можно сказать! Крокодил он безмозглый. Дня не пройдёт, чтобы через забор не глянул.

— Какое добро? — удивился Чуркин.

— Тебе перевязали — иди, — петушится Коков, — не мешай врачу. А с Шуркой через прокурора разойдёмся. Год назад черенки взял — и будто во двор не заходил. На руку не плюнул. За это расстрела мало. Раньше бы его без суда и следствия. На месте. Такой крохобор два раза во двор заглянет — и пожара не надо. Если я старик, так издеваться можно? Лупит глазищи через огород: «Николай Егорыч, здравствуйте! Что-то вы сегодня рано возле грядок». Тебя, пустозвона, не спросил, когда мне к грядкам выйти, — крутил головой с досады Коков. — На свои смотри. У тебя там один осот красуется. А я, слава Богу, ещё хожу, и руки не спят.

Чуркину после перевязки и запаха лекарств дышится трудно. Он сел на диван, сипит в изнеможении.

Егорыч в это время успокоился, просит Афанасьевну послушать лёгкие, измерить давление, пульс. Коков весь внимание, в глаза фельдшерицы смотрит, не отрываясь, чтобы правды не утаила.

— Обождите меня, вместе поедем, — кричит он из приёмной, когда мы с Чуркиным двинулись к выходу. — Я ещё сегодня у коровы с телком не чистил.

— Чего чешешься? Быстрей,— сипит Чуркин. Потом неожиданно командует мне:— Жди, всё ж таки свой, деревенский. Он орёт боровом, а безвредный.

Укутанный утренним спором стариков, тоже чувствую себя своим, деревенским. Охотно слушаю, как Коков плачется фельдшерице. Сам по себе занимаю сторону Егорыча, хочется, чтобы он ещё долго не заболел. Этого же мнения и Чуркин, и Нина Афанасьевна. На памяти моих пятидесяти лет старик ещё ни разу не грипповал. Не помнит деревня, чтобы он, даже поперхнувшись, кашлянул. И дай Бог Егоровичу не болеть. Коков дышит— и у деревни ровней дыхание. Вот и Чуркина подзадорил с утра, поднял ему настроение. Тот поглядывает из-под нависших бровей на Кокова, стучит в сердцах по полу подкостыльником:

— Плуг тебе надо, а не таблеток. Увёртыш.

Сейчас подогретый Чуркин вернётся домой, устроит своей бабушке Марии Антоновне громкую пятиминутку. А тётка Варвара— Егорычу за больницу. Она его теперь частенько стрижёт, пол-улицы её причитания слышит. Железный Коков, командир деревни, лет пять уже как дома не хозяин. Прибрала его спесь тётка Варвара.

Наконец выходим из больнички. Егорыч тут же на ходу ругнул попавшуюся на глаза соседку Розу Филипповну. Не далее как вчера боров Кокова забрёл к ней во двор. Филипповна принародно угощала его метлой и недобрыми словами. Егорыч теперь водил кулаком перед носом Филипповны, настоятельно рекомендовал ей быть более вежливой.

— Боров деньги стоит, не рассчитаешься,— пел он старухе.— Смотри, а то я в сельсовет зайду, по суду своё возьму. Прилепят штрафа— босая уйдёшь. Сейчас частная собственность, есть кому спросить. Возьми эту метлу да себя охаживай, муть старая. И догадалась же— чужую свинью оскорбить. Твои куры позапрошлым годом у меня завалинку подрыли, забыла? Тебе кто-нибудь обидное слово сказал? Надо было взять ружьё да перепушить их всех.

— Аспид,— не уступала Филипповна.— На что у тебя ворота? В следующий раз кипятком его полыхну. И сам метлы заработаешь, поцарапаешься. У добрых которые скотина дома. За боровом смотреть надо, так тебе некогда— мечешься, как Бондарева корова. Щекотливый ты больно стал. Закрутил хвостом, не поздно ли только.

— А я говорю, поосторожней с частной собственностью. Мой боров, я его растил, я его и воспитывать буду. Рынок теперь, государство на страже собственника. Мой боров; нужен тебе самой хряк— покупай поросёнка и выращивай!

— Дулю тебе под нос вместе с боровом. В следующий раз я его точно кипятком угощу. И курами меня не тычь. Это птица безобидная.

Но Коков уже глядел выше старухи, решал другие проблемы. Грозил кулаком проезжавшему мимо Шурке Ванину. Кричал что-то вслед удалявшемуся грузовику. Прошлогодние черенки на лопаты жгли сердце пожилого человека.

— Ты у меня узнаешь, где правда, живоглот. Мимо прокуратуры не пройдёшь. Там не таким, как ты, ума добавляли. Поставим на ноги, если сам ходить не научился.

Наконец Шуркина машина исчезает с глаз старика. Коков приходит в себя, легко и уверенно садится в мои старенькие «Жигули».

— Да за этим прохвастнем не держись,— рекомендует Егорыч.— Лучше дальше, бережёного Бог бережёт. Помню, лет пять или шесть назад Шурка чуть мою курицу не благословил. Прошляпил я, надо было сразу в милицию. Я же тогда сдуру в сельсовет попёрся. А Милов мне— от ворот поворот: состава преступления не вижу. Надень очки, если плохо со зрением. Ничего я ему не доказал, а курица могла погибнуть ни за что. В милицию надо было, теперь бы он со мной по-другому разговаривал.

Егорыч поджал губы с таким озабоченным видом, будто проиграл серьезную битву.

— За курицу никто не ответчик,— сипит Чуркин.

— Как это не ответчик? Глаза забычил и летит по дороге. Он её растил, эту курицу? Нет, брат, тут шалишь. Мы спросим. Сельсоветом не отделаешься. Открытым судом судить будем, там статья строгая, лет пять небо будет в клеточку.

Усыпанное морщинами лицо Чуркина засветилось в улыбке. А Коков уже забыл и про Шурку, и про кур, жалится нам на вчерашний кашель прямо перед обедом. Дескать, с неба было сказано: дни твои, Егорыч, завершаются. И никуда от судьбы не денешься. С детства здоровья не было.

Игорь Герман

Приглашение к безумию

В театр на постановку пригласили режиссёра из Москвы!.. Понятное дело, что такая новость не могла оставить равнодушным никого. В кои-то веки в театр маленького сибирского городка была приглашена столичная величина. Правда, насколько эта величина соответствовала провинциальным представлениям о гипотетическом московском уровне, никто не имел ни малейшего понятия. Фамилию режиссёра, неофициально гулявшую по кулуарам театра, никто не слышал, и постановок его никто не знал.

Районная газета уже сообщила городским театралам о сюрпризе, их ожидающем в ближайшее время.

Однако вскоре стало понятно, что зрителей ждёт ещё больший сюрприз, чем они могли бы себе предположить. Дина, заведующая литературной частью театра, молодая интеллектуальная дама, спустившись однажды в курилку, сообщила беспробудно дымившим коллегам о том, что она сейчас прочитала предназначенную для постановки пьесу. Удерживая тонкую сигарету изящными длинными пальцами, она долго и загадочно молчала, подогревая общее нетерпение, потом наконец объяснила, что пьеса эта является продукцией молодой современной драматургии, и поэтому не следует предъявлять к ней слишком высоких требований.

Этот размытый диагноз мало что прояснил слушателям, и тогда завлиту Дине пришлось открыто признать, что текст пьесы содержит в себе массу нецензурных выражений. И не просто уменьшительно-ласкательных, имеющих свою нишу в мировой литературной практике, а тяжёлую, запредельную матерщину.

Этот слух мгновенно аукнулся по всем уголкам театра. Правда, тут же поступила смягчающая информация, утверждавшая, что главный режиссёр категорически запретил вынесение нецензурщины на консервативную провинциальную сцену.

Так как всякий скандал только подогревает интерес к самому скандалисту, пьесой немедленно заинтересовался весь актёрский цех: от молодых до заслуженных. К заведующей труппой выстроилась целая очередь желающих ознакомиться с текстом смелого художественного сочинения. В разряд отчаянных смельчаков немедленно попал и сам главный режиссёр, утвердивший сомнительное название в репертуар театра и не побоявшийся взять на себя бремя, скажем прямо, нешуточной ответственности. Эта ответственность усугублялась ещё и тем обстоятельством, что пьеса, помимо тяжёлой артиллерии, которую главный и обещал порезать, изобиловала массой выражений, весьма отдалённых от классического образца. Как главный режиссёр собирался ограничивать этот момент авторской свободы, театральные слухи и сплетни неопределённо умалчивали. В любом случае неподготовленный провинциальный зритель был обречён на большую художественную неожиданность.

Вскоре на стенде информации театра появился приказ о начале работы над спектаклем и распределении ролей. Персонажей в пьесе оказалось немало, поэтому новая работа задействовала большую часть труппы.

В назначенный день прибыл режиссёр. На первую репетицию — читку пьесы — актёры явились, по обыкновению, немного взволнованные: некоторая предпраздничная одухотворённость сопровождает начало любой творческой работы. Двое заслуженных артистов — Дорофеев и Алтынская — молча сидели за столом с непроницаемыми лицами. Молодёжь, доминирующая в будущем спектакле, чувствовала себя более раскованно и непринуждённо.

Все притихли, когда двери репетиционной комнаты распахнулись и в сопровождении главного режиссёра театра вошёл приезжий москвич. Главный представил его, сказал несколько традиционных общих фраз и, пожелав коллективу счастливого плавания, удалился.

Приглашённый режиссёр оказался очень приятным молодым человеком. Если ему и было за тридцать, то только с незначительным хвостиком. Некоторая полнота придавала его облику добродушие и солидность. Полудлинные чёрные вьющиеся волосы, принципиальная недельная небритость, мягкий взгляд, обаятельная улыбка. Бывают настолько симпатичные люди, что они с первой же минуты знакомства сразу и всецело располагают к себе.

— Здравствуйте, — ещё раз поприветствовал режиссёр, тепло улыбнувшись. Он потёр ладони, собираясь с мыслями, взволнованно вздохнул и продолжил: — Я много хорошего слышал о вашем театре; с удовольствием приехал в этот маленький милый городок. Я полон надежд на творческое сотрудничество и нацелен на плодотворный результат. Надеюсь, что у нас с вами всё сложится, склеится, срастётся… Зовут меня Антон… — Он выдержал некоторую паузу.

— А по отчеству? — вежливо, но твёрдо поинтересовалась Алла Константиновна Алтынская, очень серьёзная бабушка с волевым профилем бывшей героини.

Вопрос был задан тоном, не оставлявшим ни малейшего шанса попыткам демократизации устоявшегося творческого процесса.

Молодой режиссёр понимающе улыбнулся.

— Антон Александрович… Фамилия моя Болотов, хотя это уже и говорили… Обращаться ко мне можете как по имени-отчеству, так и просто по имени, кому как удобнее. А для начала…

Он вынул из своей сумки две коробочки шоколадных конфет и положил их перед актёрами на столы.

— Подкуп?..—хихикнул кто-то, скорее от неожиданности, чем от желания сострить.

Актёры благодарно оценили маленький дружеский знак внимания. К коробкам потянулись руки: сначала несмело, потом увереннее. Оба заслуженных дипломатично не заметили предложенного угощения.

— Ну что?..—подвёл черту режиссёр под первым и положительным впечатлением о своей персоне.—А теперь почитаем пьесу?

Актёры с готовностью заёрзали на стульях.

— Скажите, пожалуйста, с ней уже все ознакомились?

Мимика молчаливого большинства положительно ответила на поставленный вопрос.

— Своеобразный материал, согласитесь?

— Очень,—сухо заполнила Алтынская неудобную паузу.

— А чем он своеобразный?—продолжал напрашиваться режиссёр.

— Ну, прежде всего тем,—не выдержал сидевший рядом с Алтынской Дорофеев,—что он знаменует переход нашего театра на новый уровень сценической культуры.

— Вижу: пьесу читали,—солнечно улыбнулся Антон Александрович.—У кого ещё будут какие предположения?

Молодёжь выжидающе помалкивала, оценивая расстановку сил. Херсонов хотел что-то сказать, но, шумно выдохнув, передумал. Мрачный Тявринин мелко забарабанил концом шариковой ручки по столу.

— Я вам честно скажу: я тоже не люблю матерщину,—интимно признался режиссёр.—В принципе, я против этого… но что делать?.. Сейчас все драматурги пользуются матом как речевой характеристикой своих персонажей. От правды жизни никуда не деться. Таковы реалии нашего времени.

— А причём здесь мы?—с некоторым вызовом спросила Алтынская.

— Хочу вас сразу успокоить: нецензурные выражения в спектакле произноситься не будут. Это, во-первых, условие вашего главного режиссёра…

— Спасибо ему за это,—бесстрастно вставила Алла Константиновна.—Он очень добр к нам.

— А во-вторых, это и моё убеждение. Я понимаю, что зритель в такой провинциальной глубинке ещё не совсем готов к восприятию, скажем так, некоторого авторского права.

Дорофеев поднял тяжёлый взгляд на режиссёра:

— Вы думаете, зритель когда-нибудь будет совсем готов?

Антон Александрович почтительно заглянул в глаза заслуженного артиста:

— Когда-нибудь случается всё.

— Не дай бог дожить,—мрачно изрекла Алтынская.

— Нам с тобой это не грозит,—успокоил её Дорофеев.—Эта зараза так быстро не прилипает.

— Не уверена.

— Этот эксперимент может оказаться и последним.

— Надеюсь.

— Так вот…—уважительно переждав краткий диалог ветеранов сцены, продолжал режиссёр.—Мы с вами начали говорить о своеобразии материала, но не завершили эту тему. Интриговать дальше вас я не буду. Я знаком с драматургом, написавшим эту пьесу. Мы с ним почти друзья, но фишка не в этом. Главное, что я хочу сказать, это то, что вам повезло.

— Мы и не сомневались,—впервые подал голос Виталий Тявринин.

— Не иронизируйте. Я знаю многих современных драматургов. С одними я знаком лично, с другими—через их творчество, и поэтому могу вам с уверенностью сказать: если кого-нибудь из нынешних авторов и будут ставить через сто лет, то это только автора этой пьесы. Он талантливый человек, я влюблён в его работы. Эту пьесу я перечитывал много раз и всегда находил в ней какой-то новый мощный пласт мысли, не замеченный мною ранее. Я очень рассчитываю на то, что и вы полюбите эту пьесу. Я сделаю всё, чтобы влюбить вас в неё… А теперь, если не возражаете, давайте почитаем.

Актёры послушно зашуршали листами ролей.

— Конечно,—спохватившись, дополнил Болотов,—излишних резкостей, как я и обещал, в спектакле не будет, но… сейчас я предлагаю читать весь текст таковым, каков он есть.

— Вместе со словами?—поинтересовалась одна из актрис.

— Да. Вместе со словами,—мягко, но убеждённо подтвердил режиссёр.

— Для чего?—спросил Тявринин.

— Давайте прочтём пьесу, потом я всё объясню. Я специально попросил приготовить каждому из вас по экземпляру, так как считаю, что вы должны знать всю пьесу, быть в курсе того, что происходит в ваших сценах, при домашней работе над ролью. Я считаю, что пьеса на руках гораздо эффективнее надёрганных реплик… Итак, прошу.

Кашлянув, актриса Ева Свалова озвучила вступительную фразу будущего спектакля…

Когда дело дошло до первой ласточки, молодой актёр, читавший текст, даже не споткнувшись, одолел отчаянное выражение. Несколько юных актрис глупо хихикнуло, Дорофеев поджал губы, а профиль Алтынской стал совсем каменным.

Вторая ласточка в тексте стриганула так же смело, вызвав уже более непринуждённую коллективную реакцию. После этого общее напряжение упало.

Виталий Тявринин, принципиально пропускавший в своей роли «крылатые выражения», удивлённо и растерянно наблюдал за реакцией коллег; теперь уже каждая авторская непристойность

встречалась взрывом общего, немного нервного веселья.

Помимо Тявринина, литературный язык в тексте, вопреки автору, выдерживали Дорофеев, Алтынская и совсем молодая актриса Галя Ожегова. Уткнувшись хмурым взглядом в одну точку, эта четвёрка не поднимала глаз, чувствуя себя неуютно на этом первом в своей жизни празднике абсолютной свободы слова.

Наконец пьеса была добита до конца. Болотов удовлетворённо улыбнулся.

— Ну?.. Что скажете?

— Может, сначала послушаем вас? — предложил Дорофеев.

— Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

— О чём пьеса?

— О любви.

Даже молодёжь дружно повернула головы и внимательно посмотрела на режиссёра.

— О чём? — переспросила Алтынская.

— О любви, — очень просто повторил Болотов.

— О любви к сквернословию? — уточнила Алтынская.

— Нет. О любви юноши к девушке, родителей к детям, детей к родителям.

— И где это все вы здесь увидели, позвольте вас спросить?

— В пьесе. Это очень чётко выписано.

Убеждённость режиссёра обескуражила заслуженных артистов, и им на выручку поспешил Тявринин.

— Извините, но… здесь совершенно невнятный сюжет; несколько линий героев — и ни одна из них не доведена до конца; финала нет… Мне, например, в принципе непонятно, о чём пьеса. О любви — это общие слова. Можно раскрыть любой текст и, покопавшись в нём, найти всё что угодно, включая любовь: к детям, родителям, Родине. Нам уже приходилось работать над плохими пьесами, но с хорошими режиссёрами. Мы прекрасно знаем, что в таких случаях результат зависит не от изначально заложенной драматургом мысли, а от режиссёрской фантазии, которая даже в таком материале помогает найти подтекст, второй план, какую-то идею.

— Я уверен, что вы говорите не об этой пьесе, — улыбнувшись одними губами, вкрадчиво сказал Болотов.

У Тявринина не хватило духу идти до конца, а может быть, он просто не увидел в этом здравого смысла.

— Я говорю вообще…

— Вообще — принимается, но в данный момент нас интересует только эта история. Давайте говорить предметно.

— Хорошо, — опять вступил в разговор Дорофеев. — Тогда зайдём с другого бока. О чём будет наш спектакль?

Болотов удивлённо поднял брови:

— Ну, если пьеса о любви, тогда о чём может быть спектакль?.. Если вы обратили внимание, здесь очень хорошо прослеживается тема главных героев. Они вам никого не напоминают?

— Современную шпану, разговаривающую дурным языком, — сказал Дорофеев.

— Тепло, тепло, ну?.. Подсказываю: в пьесе идёт речь о взаимоотношениях двух семей, живущих на одной лестничной площадке. У них есть дети: его зовут Рома, её — Женя. Семьи, как это водится у соседей, не очень-то жалуют друг друга… Рома и Женя… Рома и Женя… А?..

— На что это вы намекаете? — резко спросила Алтынская, начиная понимать.

— Я говорю о классической истории, хорошо знакомой всем, даже людям, далёким от театра. Я говорю о Ромео и Джульетте.

— Боже мой, да как можно сравнивать эти две вещи?!.. — возмутилась Алтынская. — Извините, но это с Шекспиром и рядом не стояло! Даже пытаться проводить какие-то аналогии в этих пьесах недопустимо и кощунственно!

— А вам нравится пьеса «Ромео и Джульетта»? — хитро улыбаясь, вдруг спросил Болотов.

— Мне? — растерялась Алтынская, пытаясь нащупать каверзу, скрытую за простым вопросом.

— Да, да, вам… — Болотов заглянул в блокнот. — Алла Константиновна.

— Конечно, нравится. Это одна из лучших пьес мировой драматургии… А вам она не нравится? — её вопрос прозвучал скорее как утверждение.

— Мне? — режиссёр открыто улыбнулся. — Скажем так: я не уверен, что это моя любимая пьеса.

— Чего в ней хорошего?.. дети, секс, наркотики, убийства… — заговорил молчавший до сих пор Херсонов. — Ужасная пьеса.

Коллеги, улыбнувшись, на минуту расслабились, сбросив напряжение утомительно-серьёзной беседы.

— Нет, я не хочу сказать, что пьеса Шекспира плоха, — продолжал режиссёр. — Просто это не мой материал. А в данном случае эта же классическая тема, талантливо адаптированная автором к сегодняшнему дню, даёт нам, помимо сюжета, ещё и очень яркие, сочно выписанные характеры.

— Отчего же Ромео и Джульетта разговаривают на матах? — не унималась Алтынская.

Режиссёр философски развёл руками:

— Если вы заметили, так в пьесе разговаривают не только Ромео и Джульетта.

— Да, этого трудно не заметить.

— Я уже говорил вам, что мат — это авторский приём, очень чёткая речевая характеристика.

— Так почему же эта речевая характеристика у всех персонажей абсолютно одинаковая?.. — громко заговорил Тявринин. — Лаются все! Без исключения!.. Автор мог бы и соригинальничать: хотя бы кого-нибудь из героев наградил бы нормативным сценическим языком. Вот была бы загадка режиссёрам и зрителям! Вот поломали бы голову: почему это один из персонажей разговаривает как человек?!.. Так нет же, автор, кроме матерщины, не удивил нас ничем.

Болотов на секунду задумался.

— Скажите… а вы не встречали в жизни людей, похожих на героев этой пьесы?

— Как вам сказать?..— Тявринин тяжело перевёл дух.— В жизни встречал всяких людей. В том числе и таких.
— Так в чём же дело?
— Но, знаете, в жизни, как это ни странно, есть ещё много и нормальных людей: с другой психологией, с другими интересами, с проблемами, которые касаются большинства и будут интересны большинству. Чем автора увлекла эта грязь?
— Ну, во-первых, не такая уж это и грязь,— не согласился режиссёр.— А во-вторых, чтобы лучше показать светлое, необходимо оттенить его тёмным. И в искусстве театра имеет право на жизнь закон контраста. Как вы думаете, если на белую чистую простынь посадить чёрное пятно, что мы увидим?..
— Мы увидим испачканное белое,— тут же нашёлся Тявринин.
— Хорошо... Тогда так... Виталий?..— Болотов ещё раз заглянул в блокнот.— Виталий Дмитриевич!.. Вы в жизни используете ненормативную лексику?.. Лично вы?
— Лично я?.. Случается.
— И часто случается?
— Случается, что часто.
— Вот видите.
— Пока не вижу ничего.
— Дело в том, что боязнь вынести на сцену какие-то естественные моменты, допускаемые нами в жизни, является, по моему глубокому убеждению, обыкновенным ханжеством.

Заслуженные артисты дружно хмыкнули. Тявринин растерянно проглотил неожиданный вывод молодого режиссёра.
— Интересная мысль,— заскрипел стулом Херсонов.— В жизни, например, помимо всего прочего, мы ещё и ходим по нужде. Но при этом закрываемся в отдельных кабинетах и стараемся, чтобы нас никто не увидел за этим занятием. Может быть, нам имеет смысл это делать публично?.. всем на глазах у всех?.. Ведь это самая естественная часть жизнедеятельности нашего организма, и боязнь вынести этот акт на всеобщее обозрение не является ли таким же печальным показателем нашего ханжества?..— Он взглянул на режиссёра.— Я просто рассуждаю.
— Каким образом это связано?— осторожно поинтересовался Антон Александрович.
— Мат— это словесные фекалии,— пояснил Херсонов.— Им место только в отхожих местах, какими являются частные беседы, но на сцене?.. Я допускаю, что есть любители фекалий, в том числе и словесных, но таких ребят называют меньшинствами. Я не уверен, что в этом случае морально здоровое большинство должно следовать, скажем так, сомнительным вкусам специфического меньшинства. Конечно, я и сам могу загнуть, но...я разделяю сцену и жизнь. Это не одно и то же. Есть допустимые и недопустимые вещи. В жизни— пожалуйста. Я бываю свиньёй, дайте мне поваляться в моей грязи. Но публично изливаться своей испорченностью, как это делает господин драматург и как это он предлагает нам,— извините!

Обстоятельный монолог Херсонова несколько озадачил молодого режиссёра. Он замолчал и задумался. В это момент в его сумочке радостно затренькала мелодия. Болотов поспешно вынул надрывающийся телефон и, извинившись, отошёл к окну.
— Привет... Всё в порядке... Да... Хорошо... Лена, мне некогда, у меня репетиция...— Он несколько секунд напряжённо выслушивал захлёбывающееся многословие абонента, потом неожиданно рявкнул высокой нотой:— Всё! Я занят! Пока!

Опустив телефон в сумочку, Антон Александрович шумно выдохнул, стряхивая с себя груз то ли своих личных проблем, то ли прерванного звонком принципиального творческого спора. Затем взял себя в руки, доброжелательно осмотрел притихший коллектив и вновь осветил своей улыбкой чёрный кабинет репетиционной комнаты.
— Ну что, продолжим?.. Договорим то, что мы не договорили, и я вас отпущу на перерыв. Времени у нас не так много, поэтому график работы будет плотным. Сегодня мы разберём материал по первому кругу... сколько успеем, конечно.— Он задумчиво перебрал пальцами лежавшую перед ним стопку листов режиссёрского экземпляра пьесы и, взглянув на Тявринина, продолжил:— Так вот, отвечая на ваш вопрос: для чего мы читали и будем пока читать весь текст без купирования его нашей внутренней цензурой?— я хотел бы прежде согласиться с вами в том, что мат в пьесе не всегда к месту. Иногда он тяжёл, навязчив и скорее раздражает, чем рисует образную картину. Но в данной пьесе— и это моё глубочайшее убеждение!— он необходим. К сожалению, мне не удалось убедить в этом вашего главного режиссёра, но мы пришли к компромиссу: сильное слово в спектакле прозвучит всего один раз, но оно прозвучит. В нужном месте и в нужное время. И тем мощнее будет его эмоциональный заряд...— Антон Александрович выдержал паузу, оценивая эффект, произведённый его заявлением.— Но все эти слова и выражения, которые так пугают некоторых из вас, должны фантомно присутствовать в нашем спектакле. Хотя бы для того, чтобы текст не воспринимался кастрированным. Зритель должен понимать, что в этом месте актёром... то есть персонажем— простите!— произнесено, пускай и не вслух, но всё же произнесено, то образное слово, которым мы с удовольствием пользуемся в жизни и от которого немножко лицемерно пытаемся откреститься на сцене. Поэтому мы будем нарабатывать эффект присутствия этих слов на репетициях, чтобы они неслышно звучали в нужных местах спектакля и играли на его мысль.

Режиссёр замолчал. Наступила минута полной тишины.
— Значит, премьера сквернословия в нашем театре всё же состоится...— зловеще констатировала Алтынская.
— Ну-у...— режиссёр многозначительно вздохнул.

Геннадий Гутин, невысокий, полный, начинающий лысеть актёр, нервно ожил на своём стуле.

На протяжении диалогов режиссёра с оппонирующими коллегами он сохранял молчание, внимательно и напряжённо слушая. Его слегка покрасневшее лицо и сжатые губы выдавали внутреннее желание ввязаться в драку. Он терпеливо ожидал своей минуты, которая теперь, по всей вероятности, и наступила.

— Я не понимаю,— негромко начал он, играя колпачком шариковой ручки.— Не понимаю, почему мы так боимся этих слов? Действительно, с какой лёгкостью и смаком мы пользуемся ими в жизни, не стесняясь ни друг друга, ни детей, а тут из-за этого целая трагедия! Как-то, знаете, даже смешно слушать всё это. Самое настоящее лицемерие — а как назвать всё это иначе?.. Ну, сказали что-то со сцены — ну и что? Люди слышат это на каждом шагу, дома и на улице, почему-то там их это не шокирует! А если произнести это в театре — тут же возмущённые лица, грозящие пальчики: ай-ай-ай!.. Делаете это в жизни — имейте мужество увидеть себя же на сцене: свои слова, свои поступки. Пьеса — это срез жизни, реальной жизни, а не прилизанный и приглаженный обрубок!

Над творческим застольем повисла, можно сказать без преувеличения, гробовая тишина.

— Вы шутите?..— как-то растерянно обратилась к взъерошенному оратору Алтынская.

— Нисколько не шучу,— не поднимая на неё глаз, ответил Гутин.— Я говорю вполне серьёзно. Лично я не против матов. Я вообще люблю материться.

— Гена, ты любишь материться, а причём здесь театр?— спросил Тявринин.

Покрасневшее лицо Гутина стало пунцовым.

— Виталя, мне не нравится твоя позиция. Мне вообще не нравится, как ты рассуждаешь!.. Почему ты давишь на нас? Почему я должен соглашаться с тобой и поддакивать тебе, если у меня другое мнение?!..

— Никто тебя не заставляет поддакивать, но существует же какая-то внутренняя культура… Таким текстом мы испачкаем себя и обрызгаем зрителя. Чистым не останется никто: ни мы, ни они!

— Ну тебе же ясно сказали: матов в спектакле не будет. А тот, один-единственный, может, достанется и не тебе. Чего ты переживаешь?

— Тут, кроме матов, грязи по колено! Ты собираешься всё это произносить?

— По крайней мере, я не ханжа!— поставил точку в разговоре Гутин.

По вежливым выражениям лиц скучающей молодёжи было понятно, что малозанятный спор старших товарищей их утомил и они желают перерыва.

— Перерыв,— сказал режиссёр.

Застучали отодвигаемые стулья, и взбодрившиеся артисты потянулись в курительную комнату…

Театральная курилка — это особое место. Таинство причащения молодых актёров к миру искусства, быть может, происходит в большей степени именно здесь, чем на сцене. Интимная и притягательно-порочная атмосфера курительной комнаты затягивает в свои сети всех: мужчин и женщин, курящих и некурящих. Правда жизни как таковая очень часто оказывается здесь гораздо интереснее и насыщеннее, чем на сцене. Коллеги обсуждают репетиции, спектакли, режиссёров, друг друга; делятся впечатлениями о политике, экономике, здоровье и зарплате; не существует недостатка в графе «разное». Здесь на равных сходятся слон и моська, волк и ягнёнок. Несколько минут великого перемирия уравнивают всех… кроме главного режиссёра. Этому человеку, обладающему исключительными правами в театре, нет необходимости опускаться до курилки. Может быть, поэтому главному режиссёру здесь больше всех и достаётся?.. И поделом — будь ближе к людям.

Очередные и приглашённые режиссёры уже по своему статусу более демократичны. Они не формируют репертуар, на них не лежит тяжкий груз ответственности за актёрскую занятость, и поэтому им ещё нечего бояться коллектива. Здесь они солидарны с артистической братией, запросто общаются, дурачатся, шутят.

Антон Александрович Болотов последним в цепочке нетерпеливо следовавших актёров вошёл в курилку, легко заговорил на свободную тему и опять стал центром всеобщего внимания…

Тявринин, никогда не куривший, и Херсонов, давно бросивший эту гиблую привычку, лицом к лицу встретились в узком коридорчике, ведущем в мужские гримёрные.

Между ними никогда не было особенной теплоты отношений, как, собственно, и у прочих творческих людей, связанных коллективными условиями труда и вследствие этого вынужденных придерживаться принципа мирного сосуществования. Но сейчас некая общая тревога словно магнитом притянула их друг к другу. Остановившись, они несколько секунд помолчали.

— Слушай, у меня нет слов…— негромко сказал Тявринин.

— Это и есть знаменитый столичный уровень?— усмехнулся Херсонов.— Интересно… Ну, там пусть что хотят, то и творят, но зачем здесь им позволять делать это?.. У нас ведь, слава богу, не Москва!

— Я как потом в глаза буду смотреть своим знакомым?.. Он приехал и уехал, а нам здесь жить и работать. Это там насвинячишь, спрячешься в миллионной толпе — никто тебя не увидит и не узнает. У нас здесь другая жизнь. Как он этого не понимает?..— Тявринин возмущённо спрятал вспотевшие ладони в карманы брюк.

— Причём здесь он?— вопросительно пожал плечами Херсонов.— Он-то как раз в этом случае и не виноват. С него-то какой спрос?.. Зачем вообще было брать такой материал в репертуар? Какая необходимость ставить в нашем театре откровенно плохую пьесу? Почему мы должны произносить со сцены текст, написанный автором в состоянии алкогольного или наркотического одурения?.. Таким сочинением трезвый и умный человек разродиться не может. Это, извините меня, не пьеса, а драматургический выкидыш!

— За такое писательство руки надо обрубать по самые уши,— согласился Тявринин.

— А тогда что нужно обрубать господам главным режиссёрам, которые утверждают в репертуар такую художественную патологию?.. Я бы обрубил

ему. С удовольствием бы обрубил… за то, что опустил и нас, и театр, и зрителя!

— А меня вот что поразило больше всего… — Тявринин помолчал, связывая в общую мысль бродившие в нём обрывки эмоций и чувств. — Знаешь, Саня… Я когда одолел дома эту, прости господи, пьесу… я был абсолютно уверен, что никто из наших на читке не будет вслух произносить матерщину, что как-то будем… нивелировать её, что ли… Но я ошибся. Практически все! И молодые, и немолодые! И мужики, и бабы!.. Женщинам-то вообще постыдно даже выговаривать это, но ничего, как-то справились. Даже и не покраснели. Молодцы.

— Репетиция — ладно, но дальше так дело не пойдёт. Я такой же творческий человек, как и режиссёр, и имею право на принципы. Подурачились, и хватит! — Херсонов даже покраснел от волнения. — Прислали сюда умника! Приехал учить нас культуре!.. Тут от своих учителей не знаешь куда бежать!.. в какую щель забиться!.. Он у меня довыпендривается: пошлю его подальше при всём коллективе и объясню, что это не оскорбление, а очень чёткая речевая характеристика актёра высшей категории Херсонова! Пусть потом разбирается в этой морфологии… — Он в раздражении сплюнул. — Козлиное время!..

Они помолчали, думая об одном и том же и каждый о своём.

— Гена Гутин меня убил, — опять заговорил Тявринин. — От него я вообще не ожидал такого. Умный, интеллигентный человек… Столько лет знакомы… Как люди иногда неожиданно раскрываются!.. Я уже не знаю, что ожидать от каждого из нас. Ладно — молодёжь, это ведомая публика, но взрослые, умные люди… Ничего не понимаю… Другое время… Время других ценностей, других отношений, других пьес.

— Я думаю, что ситуация ещё хуже: сейчас время других людей.

— Да… не вписываемся в формат, — согласился Тявринин и повторил: — Не вписываемся…

Перерыв закончился, и помощник режиссёра пригласила всех на продолжение репетиции.

Когда актёрская команда уселась за столы и затихла, Болотов объявил:

— Сейчас мы ещё раз прочитаем пьесу, только уже немного внимательней, и разделим её на эпизоды. Приветствую начало актёрского поиска в характерах своих персонажей… — Он взял в руки первый лист. — Да!.. Читаем весь авторский текст. Весь.

— Вы этого требуете? — спросила Алтынская.

— Что вы! — вежливо улыбнулся Антон Александрович. — Я просто предлагаю…

ДиН конкурс

Литературное Красноярье

Незримый путь…

Александр Ёлтышев

Меж Западной Сибирью и Восточной
плывут по Енисею острова,
когда ветра заряжены восторгом,
трепещет ярким парусом листва.

Слоистых туч сорвавшаяся кровля,
и от Саян до Карского — сквозняк,
на западной горе царит Часовня,
а на востоке скалится Такмак.

В тот день скала не удержала Юру.
Пока с землёй не встретилось лицо,
подкоркой мозга вспомнив десантуру,
он шарил по груди, ища кольцо,

а может быть, мелькнуло искромётно,
как летом на Часовню восходил —
проверить купол на предмет ремонта
отец Андрей его благословил.

Нырнёт ли «Ил» в эоловую яму,
взметнёт ли хиус на реке валы —
незримый путь ведёт покорно к Храму
от вечно покоряемой скалы.

Игорь Покотилов

Пока следы пакует первый лёд
И первый снег завязывает ели,
У двух зилов и шины леденели,
Маршрутом: Братск — Тайшет — Почёт.

И подгоняет усть-илимский шквал,
(Иначе не назвать беспутный ветер),
Который, даже в душу проникал. —
Не холодом, не дрожью, нет, поверьте! —

Скорее, страхом полевых южан
И, может, беспробудным вдохновеньем.
И нету места блёклым миражам:
Всё каменно, железно, даже тени

Разбуженные силами Чуны,
Где кедры развернулись, точно сети.
Все прочие места обречены
Стремиться быть похожими на эти.

Такое чувство — ты земная тля,
И для чего, и где тебя растили.
Вращаешь глобус — вертится Земля,
Ткни пальцем — попадёшь на грудь Сибири.

И где следы пакует чёрствый лёд
И кажется заря умалишённой,
Я думаю, что крепко повезёт
Остаться здесь. Между Чуной и Оной.

Марина Переяслова

Из любви к искусству

1.

Общество любителей книги губернского города К. очень удачно прописалось в старинном купеческом особняке, украшенном лепниной. Балкон с ажурной чугунной решёткой живописно смотрелся на фоне стен, выкрашенных светло-голубой краской. Этим везением общество было обязано своей предводительнице, бывшему обкомовскому работнику Полине Георгиевне Кувшинниковой, по старой дружбе выпросившей у местных властей территорию в самом сердце города, дабы, выйдя на пенсию, не отходить далеко от дел и найти применение своей кипучей, деловой натуре. Поначалу Полина (как звали шефиню птенцы её гнезда) набрала себе в услужение небольшой штат из молодых, влюблённых в литературу женщин да ещё взяла «для развода» одного никудышного, безобидного мужичонку неопределённого возраста. Когда же она раскрутила деятельность своей общественной организации до заметных для жизни города размеров, Полина Георгиевна решила создать ячейки общества книголюбов во всех крупных районах губернского центра. И хотя эти ячейки имели известную самостоятельность в вопросах выбора форм работы, мозговым управляющим центром всё же оставалась головная организация из купеческого особняка.

Сюда-то и пришла трудиться, сбежав от рутины своей прежней архивной работы, тридцатилетняя восторженная «девушка» (именно так обращались к ней в общественном транспорте граждане всех возрастов) Леночка Савельева. Будто по какому-то негласному уговору, Леночка сразу стала всеобщей любимицей. А чего Бога-то гневить? Леночка была на редкость приветливым, доброжелательным человечком, не склонным к плетению в коллективе интриг, столь свойственных малым трудовым образованиям. К тому же ни у кого не вызывал неудовольствия результат её деятельности в должности инструктора по лекционной работе — всем были хорошо известны её глубокие познания в литературе, театре и кинематографии, а также свойственный ей одержимый задор в организации вечеров, встреч, обсуждений и презентаций книг.

Но кроме всех этих несомненных достоинств, которые при желании можно найти у многих представительниц прекрасного пола, было в Леночке что-то абсолютно непостижимое, можно даже сказать — магнетическое, что побуждало проникаться к ней моментальной симпатией, а при более длительном общении — и глубокой привязанностью. Что не заставило себя ждать со стороны Полины Георгиевны. Савельева была её безоговорочной любимицей. Это усугублялось ещё и тем, что у шефини никогда не было детей, и Леночка давала импульс к пробуждению в Полине лучших материнских инстинктов.

Так, в предощущении всеобщего обожания и неотложных, милых сердцу дел, погожим июньским днём Леночка взбежала по старинной деревянной лестнице на свой второй этаж, вошла в пронизанный солнцем уютный рабочий кабинет, который она делила ещё с тремя энтузиастами пропаганды книги, — и от неожиданности оторопела. В комнате творилось что-то невообразимое. В кои веки никто не обратил на неё внимания, а восторженные девичьи голоса наперебой выкрикивали примерно следующее:

— Этого не может быть! Неужели мы увидим его здесь, в этой комнате?!

— А ты помнишь, как он хорош в «Лунной легенде»?

— Неужели есть на свете такая счастливица, которую он целует?

— Девчонки, какой Тунгусский метеорит на вас свалился? Что вы раскричались? — воззвала Лена к коллегам.

— Ты не поверишь, Ленка: с нами будет целый месяц работать Игорь Борисов! И больше всего этого счастья достанется, видимо, тебе. Ты ведь у нас главный концертный организатор.

Лена в ту же минуту лишилась слуха и голоса. Кровь ударила ей в голову, и в ушах зазвенело. Перед глазами поплыли кадры из ставших уже хрестоматийными кинокартин, где Борисов гордо восседал на лихом скакуне и одаривал всех лучезарной улыбкой или с капитанского мостика смотрел вдаль исполненными вековой печали синими, как море, глазами. Ей предстояло увидеть рядом живого бога. По крайней мере, так его воспринимала Лена Савельева.

Полина Георгиевна заглянула в кабинет, протиснув в приоткрытую дверь голову и плечо, и, обращаясь к Лене, произнесла заговорщическим тоном:

— Дорогуша, зайдите, пожалуйста, ко мне.

Чуткое сердце Леночки начало отбивать сумасшедший ритм, и она, словно в замедленной киносъёмке, поплыла к двери с золочёной табличкой «Дирекция».

Торжественным голосом Полина Георгиевна скомандовала:

— Через пять минут я жду вас внизу у выхода, должна подойти машина. Поедем в гостиницу «Центральная» к Игорю Борисову — договариваться о концертах в дк «Планета».

Начальница тут же переключилась на зазвонивший телефон, а Лена на ватных ногах вышла

за дверь и опустилась на стоявший рядом диванчик для ожидающих посетителей.

В висках стучали невидимые молоточки, и Лене показалось, что над городом К. в эту минуту происходило солнечное затмение: всё погрузилось во тьму, и лишь высоко в небесной бездне из-за чёрного диска золотой короной вырывались острые лучи света. В размеренной, исполненной затаённой тоски и глубочайшего надрыва жизни Лены случилось настоящее светопреставление. Неужели такое возможно — оказаться рядом с Игорем Борисовым, дышать одним с ним воздухом, говорить с ним?! Сколько же слёз скатилось по её щекам, когда, сидя в зрительном зале, она рвала себе душу, сопереживая его героям…

И вот они с Полиной Георгиевной вошли в гостиничный номер Игоря Борисова. Он вежливо поздоровался, окутав гостий облаком своей непостижимой энергии, состоявшей одновременно из тёплой доброжелательности и испытующе-оценочного интереса: кто это ко мне пожаловал? Лена почувствовала, что Игорь Петрович в считанные секунды просветил их своим внутренним рентгеном, и пока они застенчиво усаживались на предложенный диван, этот необыкновенный человек уже понял всё про каждую из женщин.

Игорь Петрович сел на стул прямо напротив посетительниц, слегка расслабился и сложил на груди руки в замок. Его поза располагала к доверительному разговору, и в то же время он сидел на достаточном расстоянии от женщин, как бы создавая определённую невидимую преграду; к тому же их отделял друг от друга стол. Такое размещение переговорщиков в пространстве комнаты произошло отнюдь не случайно, хотя и не специально, просто Игорь Петрович, со свойственной ему гениальностью жить на свете, всё делал как надо.

В течение минуты все трое молча смотрели друг на друга, а дальше шёл устный разговор между артистом и директрисой — и бессловесный, состоявший из радуги их энергий, между Игорем и Еленой.

— Уважаемый Игорь Петрович! Общество любителей книги просит вас дать несколько концертов для книголюбов в самом красивом дк нашего города в удобное для вас время…

— Да, да, я могу согласиться только при условии, что буду свободен, потому что я занят в трёх наших гастрольных спектаклях, и вам придётся подстраиваться под мой рабочий график.

— Вот я и говорю, Игорь Петрович: мы готовы работать на ваших условиях. Для нас большая честь, да и попросту счастье — увидеть вас на сцене дк «Планета». Об оплате не беспокойтесь, заплатим вам по высшей ставке…

— Что вы кусаете губы и отводите свой светлый взгляд, очаровательное создание? Я в жизни никого ещё не съел. Я знаю, что вы в меня влюблены, как миллионы юных поклонниц в нашей стране.

— Да, я люблю вас; вы даже представить себе не можете, как я вас люблю. Я видела все ваши фильмы, я собираю все статьи о вас из журналов «Советский экран» и «Театр». Мне хочется положить к вашим ногам целый мир. Я пошла бы за вас на костёр. А пока я сделаю всё, что будет от меня зависеть, чтобы окружить вас в нашем городе теплом и заботой.

— Что вы, моя хорошая, так удивлённо смотрите на беспорядок в номере? Жена проспала и спешно убежала на репетицию. А я только что встал и тоже не успел прибраться, так что извините.

— Какая у вас счастливая жена. Я знаю, что вы с ней вместе работаете в театре, но вы знаете, мне она не нравится ни как актриса, ни как человек. В ней есть что-то неприятное. И хотя я незнакома с ней лично, мне кажется, я оцениваю её верно. И это не женская ревность, просто рядом с вами должна идти по жизни другая женщина, равная вам по таланту и человеческой сути, достойная вас.

— И всё-таки вы ревнуете. Это несправедливо. У меня не счастливая, а умная жена, и она изумительно готовит кофе. Именно такая женщина и должна быть рядом со мной, женщина, умеющая многое прощать. Но я, кажется, излишне разоткровенничался, и к тому же время поджимает. До встречи.

Домой с работы в этот вечер Лена не спешила, она договорилась с мужем Витей, что он заберёт дочку из садика. Ей хотелось после ухода коллег остаться в кабинете одной. Лена заварила крепкого зелёного чая, добавила сливок и, выпив залпом всю чашку, откинулась на спинку кресла и, расслабившись, закрыла глаза. Она увидела себя, буквально парящую над ступенями массивной гостиничной лестницы, когда она устремилась на улицу после разговора с Борисовым. За ней, покряхтывая и постанывая, осторожно спускалась Полина Георгиевна.

— Куда же вы так разогнались, Лена? Я за вами не успеваю. Ну, как вам понравился Игорь Петрович? Правда, хорош? Просто красавец-мужчина!

— Разве он может кому-то не понравиться? Да по нему полстраны женского пола рыдает в подушки. Какая вы молодец, что придумали эти концерты. Мне и в голову не пришло, что можно сотрудничать с театром такого ранга.

— Мы лишь на подступах к делу. На вас ляжет основная нагрузка по организации концертов, готовьтесь, лёгкой жизни вам не обещаю.

— Полина Георгиевна, миленькая, о каких трудностях вы говорите? Такие заботы иначе как счастьем и назвать-то нельзя!

На следующее утро Лена встала чуть свет, надела своё любимое синее платье, в котором была просто неотразима, и помчалась на цветочный базар. Выбрала семь разноцветных роз, источавших тонкий волнующий аромат, и с этим сокровищем примчалась на работу. У подъезда уже поджидал микроавтобус. Лена легко запрыгнула на подножку, вошла в салон и разместилась на первом сиденье, следом вошли шефиня и бухгалтер и проследовали на задние сиденья. Словно королевский кортеж, автобус торжественно поплыл к «Центральной», у входа в которую уже поджидал Игорь Петрович. Лена издалека увидела его

стройную фигуру и жгуче-чёрную пышную копну волос. Лена выскочила из автобуса и помахала артисту рукой. Движением стремительной птицы он легко преодолел расстояние и уже спокойной, исполненной внутреннего достоинства походкой прошёл в середину салона, одарив всех знакомой ослепительной улыбкой и пожелав доброго дня. Леночка встала и торжественным голосом, как будто уже начался концерт, пропела:

— Дорогой Игорь Петрович! Общество любителей книги радо приветствовать вас на нашей земле. Мы желаем вам праздничного настроения и успешных гастролей.

Большой розовый букет перекочевал из рук хозяйки к дорогому гостю, который благодарно склонил голову, а потом взглядом исподлобья дал понять, что оценил красивый жест внимания.

Как в волшебном сне прошёл концерт Борисова в огромном зале дк, до отказа набитом счастливчиками-книголюбами, сумевшими достать желанный билет. Леночка в своём тёмно-синем вечернем платье выходила на сцену, чтобы торжественно открыть вечер и представить героя встречи, потом, сидя в крайнем кресле первого ряда, принимала записки с вопросами зрителей и то и дело взбегала на сцену, чтобы передать их в благодарные руки Игоря Петровича. И у неё было абсолютное ощущение, что в зале происходит что-то невероятно значительное и она к этому непосредственно причастна (не случайно после нескольких таких концертов ей передадут слухи, будто бы зрители решили, что она — конферансье Борисова, приехавшая вместе с ним из Питера, и ей будет это необычайно сладко слышать).

Концерты Игоря Борисова шли с оглушительным успехом, и слух о них докатился до самых отдалённых городов области. Заявки поступали ежедневно, и Леночка еле успевала их разруливать. Она видела, что Игорь Петрович стал немного уставать, и придумала, что он должен был дожидаться выхода на сцену и отдыхать в перерывах не просто за кулисами, как раньше, а в отдельной гримёрке, чего она и добилась в конце концов от непредусмотрительной администрации дк. Когда однажды она заглянула в гримёрку, чтобы предупредить Борисова, что его выход через десять минут, он пригласил её зайти и предложил сесть в кресло напротив зеркала. Жутко робевшая Лена всё-таки не посмела отказаться. К тому же такой знак внимания был ей настолько лестен, что в душе у неё запели птицы.

Игорь Петрович сел поодаль, так, что она могла видеть его только боковым зрением, и неожиданно сказал:

— Я сразу понял, что мы с вами одной породы. Мне с вами легко и приятно общаться и работать. Вы так сердечно дарите цветы и носите мне на сцену записочки. Почему вы это делаете?

Он задал явно риторический вопрос, ответ на который знал с первой встречи.

Лена вся напряглась, щёки залил румянец, и она срывающимся от нехватки воздуха голосом отпарировала:

— Из любви к искусству…

— Моему или вообще?

Она не успела ответить, потому что Борисов поднялся с кресла, подошёл к ней, встал за спиной и молча положил руки ей на плечи. Лену прошил ток высочайшего напряжения.

Этот неожиданный жест, как ни странно, вывел её из смущения и вернул к реальности. Лена испытала неведомое прежде чувство, сотканное одновременно из восторга, страха и огорчения. Ей сразу представился печальный взгляд мужа, нежная, как цыплячий пушок, головка дочки, и Елене стало их нестерпимо жалко, как будто в эту минуту она предала их. К тому же откровенный жест Борисова показался ей оскорбительным: с какой это стати он позволяет себе вольности? Она же не гулящая девка! Если он любимец публики, ему что — всё позволено? А ведь он был для неё идеалом… В общем, она приподняла обе руки вверх и отрицательно покачала указательными пальчиками из стороны в сторону. Потом стремительно вскочила с места и хрипло произнесла:

— Вам пора на сцену.

Когда в этот вечер Лена отдавала на сцене Борисову записки, она не могла не столкнуться с ним взглядом. С опаской она заглянула в его синие лучистые глаза и увидела в них усмешку над её наивной провинциальностью и какую-то старательно скрываемую досаду и разочарование. Лене стало плохо. В душе заскребли кошки. «Что же я наделала? Неужели я всё погубила? Ведь мы с ним как будто песню вместе пели! Какая же я дура! Ведь с Витей я никогда не знала такого счастья… Но это Игорь Петрович всё испортил. Со мной нельзя так обращаться. Хотя — чего я хотела от него? Ведь он мужчина, а у них всё не так, как у женщин, — всё конкретнее и грубее. И всё-таки что-то было неправильно, раз я так ответила…» В общем, она совершенно запуталась.

Концерт закончился, и Борисов, по обыкновению, стал раздавать на сцене многочисленные автографы. Тут и подошла к нему крупнофактурная руководительница регионального отделения общества книголюбов Инесса Аркадьевна и стала зазывать его с концертами в свой город. Игорь Петрович привычно обратил свой взор на Лену с вопросом: «Соглашаться или нет?» Она отрицательно покачала головой. «Почему?» — последовал второй беззвучный вопрос.

— Это очень далеко. Три часа езды в одну сторону. Вы ведь сами говорили, что устали, — уже вслух ответила Лена.

Инесса Аркадьевна, всё это время молча наблюдавшая за их немым разговором, не выдержала и напористо вклинилась:

— Леночка! Ну почему вы отговариваете Игоря Петровича от поездки к нам? Это совсем не утомительно, мы пришлём нашу самую лучшую машину, и она за два часа домчит его. А если хотите, то поедемте с нами, мы и для вас забронируем номер в гостинице, концерт ведь закончится поздно.

Инесса Аркадьевна, произнеся последний, самый в её представлении весомый аргумент, победно

уставилась на Савельеву. Борисов тоже выжидающе смотрел в её сторону.
— Пусть Игорь Петрович решает сам, а я не смогу поехать, у меня много работы,— вконец смутившись, ответила Леночка.

Ночью Лена почти не спала, в сотый раз задавая себе один и тот же вопрос: правильно ли она поступила? И через это она со всей ясностью осознавала, что потеряла что-то очень для неё важное, к чему только лишь слегка прикоснулась. Под утро она успокоила себя тем, что впереди ещё много концертов и ей представится случай объясниться с Борисовым.

Но, увы, Лена Савельева была ещё совсем юной и потому не знала, что звёзды лишь на краткий миг выстраиваются в небе в особую конфигурацию, а потом стремительно разбегаются, не оставляя надежды на возвращение к прожитому.

Выступления Игоря Борисова перед книголюбами через пару дней неожиданным образом закончились. Случилось так, что в оставшемся гастрольном репертуаре не было спектаклей с его участием, а так как его срочно вызвали в Петербург на киносъёмки, руководство театра не возражало, чтобы он покинул город К. раньше запланированного. Перед отъездом Игорь Петрович заскочил на минутку в старинный купеческий особняк за причитавшимся ему неплохим гонораром. Перед уходом он зашёл в кабинет к Лене Савельевой, вежливо поблагодарил её за совместную работу и положил ей на стол свою фотокарточку, на обратной стороне которой было выведено его рукой: «Счастья!». Внизу красовалась его подпись, которая заканчивалась маленьким улыбающимся сердечком. Борисов ткнул пальцем в нарисованное сердечко и сказал светло:
— Это я рисую только самым близким людям.

2.

Исчезновение из реальной жизни Елены Савельевой Игоря Борисова стало для неё шоком, поделив её существование на земле на «до» и «после». Во «вчера» остался играющий всеми красками радуги мир, наполненный свежим ветром восторга, радостным ожиданием наступающего дня, музыкой зазвеневших в ней душевных струн. Когда гений задевает встречного своим крылом, остаётся ожог на всю жизнь. В наступившей реальности вокруг неё образовалась удушающая пустота, которая постепенно всё плотнее обволакивала её глухой ватой, отгораживая от мира. Оставшись одна, Лена плакала в голос, как плачет ребёнок, который только что увлечённо занимался со своей любимой игрушкой — и вдруг кто-то злой сильным резким движением вырвал из рук его сокровище. И именно в тот момент, когда он этого меньше всего ожидал.

Она стала казаться себе засохшим деревом, в котором больше не бродили живительные соки и которое погрузилось в глубочайший, обморочный сон. Лена стала самой себе противна, потому что больше не могла найти сил, как прежде, убеждать себя и других, что у них с Виктором дружная семья. Не могла заставить себя пойти с мужем погулять в парк, срывалась на крик, если он долго и муторно допытывался, почему она сутками не произносит ни слова, а молча смотрит в одну точку, не говоря уже о том, что ночи с Виктором превратились для неё в настоящую пытку. Поэтому она делала вид, что увлечённо читает книгу, дожидаясь, когда усталость провалит супруга в сон. И даже обожаемая дочка как-то незаметно отошла на второй жизненный план, потому что Лена никак не могла вынырнуть из своей внутренней глубины, где она решала для себя одну единственную задачу: «Как теперь жить без Борисова?»

Ей попросту стало нечем дышать, и она со всей очевидностью поняла, что в её судьбе случилось что-то непоправимое, и из этого непоправимого был только один выход: построить такую жизненную схему, при которой она сможет видеть Игоря Петровича хотя бы изредка. В голове звенели любимые строки из письма Татьяны: «Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом всё думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи…» Жизнь без него потеряла всякий смысл.

Лена была теперь настолько самоотверженно предана Игорю Петровичу, что не стала даже прогнозировать возможный исход событий, ей было даже не важно, положит ли он снова руки ей на плечи. Она только мучительно искала выход, который бы ей позволил оказаться рядом с Борисовым. И выход этот нашла не она, он ей просто в одну прекрасную ночь приснился, подобно тому как великому химику Дмитрию Менделееву приснилась его периодическая таблица.

Ей снилось, что она развелась с Виктором, разменяла их двухкомнатную квартиру, а потом выменяла свою «однушку» на комнату в Петербурге. Схватила дочку под мышку и по мановению небесной волшебной палочки очутилась в самом загадочном городе земли. Ей приснилось, что они с дочуркой очутились в шумной коммунальной квартире с весёлыми доброжелательными соседями, подобными тем, что окружали её интеллигентную тётю, всю жизнь прожившую в городе на Неве. Но самым потрясающим моментом ночного видения был кусок сна, где она встретилась с Борисовым в стенах его родного театра. Во сне она устроилась работать в этот храм искусства уборщицей (а какое ещё место могла предложить Северная столица приезжей провинциалке, пусть даже и до самозабвения любящей сцену и её обитателей). Главное было — не унывать. И она не только не унывала — Леночка летала на крыльях. Влажными тряпочками протирала пыль в гримёрке Борисова, чистила до прозрачного блеска окна, драила с усердием полы, а потом тихонько заходила в зал, где шла репетиция нового спектакля, который не видел ещё ни один зритель Вселенной, садилась осторожно на боковое кресло в самом последнем ряду и с жадностью впитывала волшебство, которое творилось на её глазах. И однажды в коридоре театра они с Борисовым случайно встретились, и он узнал её, а она посмотрела на него прежним, полным обожания взглядом.

«Здравствуйте, Игорь Петрович!» — «Здравствуйте. Что вы здесь делаете?» — «Работаю уборщицей». — «Почему именно здесь?» — «Потому что люблю этот театр и хочу, чтобы он сиял чистотой». — «Этот театр или моя гримёрка?..»

В этот миг Леночка показалась себе спиленным засохшим деревом, из которого пробились тоненькие молодые ветви. Всё начиналось с чистого листа. На новом витке жизненной спирали звёзды снова выстроились в особую конфигурацию. Наступило время исправления ошибок. И… сон оборвался.

P. S. Леночка Савельева взяла и поверила в то, что сон был вещим. С весёлой отвагой она ринулась воплощать его в реальность. А когда ты надеешься на лучшее — всё бывает именно так, как хочет твоя душа. Ведь наши мечты не бывают случайными, они — предощущение судьбы.

Глухое дыханье Сибири…

Елена Родченкова

Сибирь

Зима тепло укрыла землю шубами.
Сибирь притихла, дышит во всю грудь.
Дома слепые тоненькими трубами
За вечер надымили Млечный Путь.

А пахнет-то не дымом,
Пахнет ладаном!
Сверкают звёзды, серебрится снег.
Нам верить надо и молиться надо нам:
Предателем ушёл двадцатый век.

Покуда дышит под снегами деревце,
И печи топятся, и жжёт мороз,
Дай сил, Господь, лишь на Тебя надеяться,
Любить до боли, чувствовать до слёз!

Янис Грантс

Самотлор

…глиняное небо Самотлора
(днём — суглинок, ночью — глинозём)…
что-то наподобие узора
выколото точками на нём,
если ночь.
До боли незнакомый,
ходит под узором человек:
запалил костры по окоёму
(ждёт межгалактический ковчег?)
(согревает землю?) (может, гонит
хищников, охочих до него?),

снега зачерпнул в свои ладони
и умылся — больше ничего.

Самой что ни есть простой огранки
человек. Но вскроет без потуг
землю наподобие жестянки.
Пустит кровь.
И не опустит рук.

Александра Водолажченко

Предрассветный Тобольск, баловство
Двух, счастливо сбежавших из дома.
В этом городе всё незнакомо,
Оттого так легко и светло.

Целый день вдалеке ото всех,
И секунды искрятся бесценно…
И старинные грозные стены
Вызывают восторженный смех.

Мы смотрели кино в облаках
На холме, ожидающем вьюгу;
От души сочиняя друг другу
Небылицы про путь Ермака.

И такая вдруг свистнула связь
Между запахом, звуком и нами,
Что заплакало небо снегами
И в него захотелось упасть.

Мы ключом молчаливой строфы
Потайные ворота открыли,
И глухое дыханье Сибири
Шевелило цветные шарфы.

Нарастали и радость, и жуть,
И, в предчувствии мира иного,
Мы скупились на каждое слово,
Побоясь ненароком спугнуть.

Сердце с грохотом ухнуло вниз!
Небо лопнуло дерзкой лазурью.
Так ребёнок, увидевший бурю,
Очарован ударами брызг.

В этот миг мы увидели цель,
Что шептали тоска и надежда:
Открывалась суровая нежность
Заповедных и гордых земель.

Что Сибирь открывала тогда!
Все дороги, весь свет — забирай!
И загадочный ход в этот край
Остаётся у нас навсегда.

Вадим Наговицын

Крест

1.

Село Ермилово стояло рядом с федеральной трассой, ведущей из Москвы на запад, в сопредельные страны. А сельский храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы возвышался над местностью и был хорошо виден прямо с шоссе. Все, кто проезжал мимо, замечали красоту старинной церкви, построенной ещё до никоновской реформы.

Долгие годы храм стоял в запустении. Штукатурка на некогда белоснежных стенах облупилась и осыпалась, купола потемнели, кресты и колокола поснимали безбожники ещё в довоенные времена. Так и стояла церковь, превращаемая то в зерновой склад, то в сельский клуб, потихоньку ветшая.

Грянула окаянная перестройка, принёсшая страшные перемены: кому удачу и богатство, кому разорение и нищету; кому почёт и славу, а кому горе и забвение.

Но церкви на русских просторах стали понемногу оживать. Вот и в Ермилово в начале девяностых годов XX века прибыл новоназначенный священник — отец Николай. Был он человеком уже в годах, служение Богу начал ещё при Никите Хрущёве под влиянием псково-печерских монахов, к которым привели его юношеские искания истины и спасения.

Поселился батюшка со своей женой, матушкой Татианой, в маленьком домишке при храме и жизнь вёл очень скромную. Не было у него ни автомобиля, ни имущества, только большой огород выделили ему на окраине села. Летом частенько передвигался священник на стареньком велосипеде, подаренном заботливой прихожанкой.

Отец Николай развернул активную деятельность по восстановлению сельской церкви и возрождению прихода. Поначалу собралось едва ли не всё село, а в то время стояло в нём около двухсот дворов и проживало почти семьсот жителей. Дружно провели они субботник по приведению в должный вид бывшего клуба, вернув ему первоначальное назначение — быть храмом Божиим.

Вытаскали горы мусора и навели порядок, прибрали и обиходили территорию вокруг. Внутри — стены подштукатурили и побелили; поправили окна и двери; настелили полы и восстановили незатейливый иконостас; развесили иконы, большинство из которых подарили местные жители; собрали нехитрую утварь; и начались богослужения. Два года почти длилось восстановление церкви.

Самая старая жительница села, баба Фрося, которая ещё задолго до войны, девчонкой, помнила храм действующим, передала церкви чудом уцелевшую престольную икону — Рождества Богородицы. Многие сочли это весьма знаменательным событием.

Но отремонтировать храм снаружи сил уже не хватило. Поправили и подлатали кровлю, чтобы не протекала, а вот привести в божеский вид стены, покрасить купола и поставить новые кресты — не было уже ни денег, ни возможностей.

2.

Прихожане начали стремительно убывать, как будто мор прошёл по селу. Пожилые и старые, которых особо жестоко покарали перестройка и капиталистические реформы, умирали один за одним. Кто от нищеты и от голода — мизерные пенсии-то по полгода задерживали, а то и вовсе разворовывали новые хозяева страны. Кто от болезней — единственный фельдшерский пункт закрылся и был превращён заезжим армянином в водочный магазин. Кто-то просто угас от тоски и от безысходности, глубоко уязвлённый оскорбительными заявлениями новых властей, что жили, мол, зря и напрасно. А кого-то и вовсе убили залётные бандиты, позарившиеся на нехитрое имущество беззащитных стариков.

Те, что помоложе, тоже начали разбегаться кто куда. Колхоз развалили, разворовали, работы вовсе никакой не было. Разъехалась молодёжь на заработки — куда глаза глядят.

Держались подольше сельчане среднего возраста — не старые, ещё крепкие мужики и бабы: кто — промышляя торговлей на трассе, кто — живя с огорода; но и им скоро стало невмоготу. Многие подались в город, а кто остался — запил и совсем погиб…

Через восемь лет у отца Николая осталось уже всего-то десятка два прихожан — немощных и болящих старушек. Старичков не было вовсе.

Скорбел душой священник и не знал, что ему делать. Паства шла на убыль, новые прихожане не появлялись, да и откуда бы им взяться?! Так, изредка заезжали с шоссе какие-нибудь любопытствующие туристы-путешественники, торопливо осматривали старинный храм, дивились его бедности и уезжали восвояси, бросив в ящичек для пожертвований немного денег.

Свадеб давно уже не играли — венчать-то было некого, крестить тоже — никто не рождался на белый свет. Только помирали. Заупокойную службу совершал отец Николай едва ли не каждый день, с большой печалью в сердце провожая своих прихожан в последний путь. По бедности и за

отпевание мало кто мог ему заплатить, всё больше продуктами благодарили доброго пастыря, потому как не отказывал отслужить панихиду бесплатно. Треб и вовсе никаких не было — ни дом освятить, ни молебен отслужить. Нищета, беспросветность и уныние царили в селе Ермилово.

3.

Денег на содержание храма не хватало. Нечем было заплатить регентше, старой школьной учительнице музыки; хорошо хоть ещё несколько бабулек соглашались бесплатно попеть на клиросе. Нечем было оплатить электроэнергию, и церковь отключили от сети. Как и в старину, вечерние службы теперь проводили только при свечах. Причт потихоньку разбежался, потому как за гроши никто не хотел прислуживать. А уж чтобы привести внешний вид храма в должное состояние — и речи быть не могло. Не на что было ремонтировать-то! Так и стояла церковь — с ветхим и облупленным фасадом, с облезлой кровлей и без крестов.

Теплилась ещё некоторая надежда на помощь местного руководства, но напрасно — надежда эта не оправдалась. Глава районной администрации, вороватый и чрезвычайно деловой мужичок, поначалу наобещавший и всяческую поддержку, и золотых гор, первым делом шустро прибрал к рукам всё, что плохо лежало, пораспродал что можно и отбыл на повышение в областной центр — делиться опытом по «прихватизации» народного достояния. Пришедший ему на смену руководитель оказался горьким пьяницей; он сильно досадовал, что всё растащили до него и поживиться было уже нечем, потому и заливал он свою скорбь с утра до вечера, глубоко запуская руку в тощий местный бюджет. На церковь и дела духовные ему было искренне и глубоко наплевать.

Правящий архиерей, приехав однажды на престольный праздник поинспектировать, остался очень недоволен и видом церкви, и ситуацией на приходе.

— Что ж, отец Николай, ты приход-то свой так довёл, что и народу у тебя совсем никого не осталось? — сердито молвил владыка, строго глядя на хмурого священника.

Был архиерей по годам много моложе отца Николая, в сан епископский рукоположили его в разгар перестройки, и, как человек новых веяний, он много внимания уделял внешней красоте и внутреннему благолепию храмов. А вид сельской церкви, старинной и очень красивой, но снаружи неухоженной и облезлой, сильно удручал его.

— Да и внутри у тебя как-то совсем бедно. Полы плохо настелены, света электрического нет, вместо хора не пойми кто. Диакона и того у тебя нету. Как же ты Богу-то служишь, отче? А?! — ещё более сердито вопрошал епископ.

Отец Николай смиренно молчал, потупив взор и с кротостью внимая словам священноначальника. А тот всё распалялся и отчитывал пожилого священника, как мальчишку.

Увидав скромное угощение, которым хотела попотчевать владыку матушка Татиана, архиерей и вовсе отказался от трапезы, сел в свой автомобиль иностранного производства и отбыл восвояси, оставшись в сильном неудовольствии от увиденного в Ермилове.

Отец Николай захворал от всех этих невзгод, и служить ему стало очень трудно. Написал он архиерею прошение, чтобы отпустили его на покой. Епископ, поразмыслив, прошение удовлетворил, наградил «Благодарственной грамотой» за долгую и верную службу и отправил старого священника за штат.

Уезжал отец Николай с матушкой Татианой из Ермилово в большой печали, оставляя паству свою без духовного окормления. Малочисленные прихожане с горькими рыданиями провожали своего пастыря, да и сам батюшка не мог удержать слёз.

4.

Ермилово к тому времени уже на три четверти стояло пустое. Дома где-то были заколочены, а где и вовсе порушены. Огороды и улицы позарастали высоким бурьяном. Всё пришло в страшный упадок. Живых жителей в селе не набиралось уже и полсотни. Но Бог миловал, что в Ермилове ещё пожаров не случалось. Скорей всего потому, что стояло село на федеральной трассе и озоровать на виду было не так уж и просто, да и рискованно.

А по соседним деревням словно смерч огненный проносился — и дома выгорали, и люди гибли целыми семьями. Многие погорельцы, кто уцелел, уезжали отсюда подальше. Ходили страшные слухи, что некие бандиты поджогами сгоняли с земли деревенских жителей, а их землю себе присваивали. Но вслух говорить об этом боялись почти все. Местные же власти упорно делали вид, что и вовсе ничего не происходит.

Почти год в Ермилове храм стоял пустой. Только на большие праздники наведывался благочинный, протоиерей Сергий, по-быстрому совершал богослужения, кого исповедовал, кого причащал; но делал всё торопливо, без энтузиазма, постоянно поглядывая на часы.

В какой-то момент к селу Ермилово проявили интерес московские дельцы. Стали они скупать землицу окрест да прибирать к рукам заброшенные усадьбы. К ним потянулся и другой ушлый народец из столицы. Рядом с шоссе сначала отстроили автостоянку с гостиницей, бензоколонкой, рестораном… Затем в Ермилове начали возводиться богатые двух- и трёхэтажные коттеджи.

Земля в селе была почти задаром. С местной администрацией всё можно было «порешать» быстро, конкретно и задёшево. Вот и начало глухое и заброшенное село Ермилово потихоньку превращаться в элитный коттеджный посёлок для «новых русских». Появились в селе большой магазин, ресторан, ночной клуб, казино, сауна с «массажем» и привозными девками. Стало село оживать, но только уже с новыми, пришлыми жителями.

5.

Назначили в Ермилово на приход нового священника — отца Игоря. Был он совсем молодым иереем, ещё и тридцати годов не исполнилось, но

кипела в нём энергия и имел он хорошую деловую хватку. При нём сельский храм зажил совершенно по-новому.

Местные богатые новожители полюбили захаживать в старинный храм. Приятно было перед посещением ресторана или ночного клуба подумать о жизни вечной, понюхать благовонного ладана и послушать богослужебные песнопения. Приобщались, так сказать, к благочестию.

Стали они щедро жертвовать отцу Игорю на ремонт, потому как стрёмно им было в облезлый храм ходить. Церковь должна, под стать всем новым сельским зданиям, выглядеть красиво и торжественно — не хуже какого-нибудь казино или супермаркета.

Отец Игорь, уверовав в удачу, воодушевился. Поселился он в домике при храме, сделав предварительно добротный ремонт. Однако супругу свою, матушку Ларису, в Ермилово перевозить не спешил. Жила она пока у своих родителей в городе, в райцентре, наведываясь к отцу Игорю по выходным. Да и сам батюшка частенько пропадал в городе. В селе бывал от силы дня четыре в неделю. Но дело у него двигалось.

Приступили к новому, капитальному ремонту внутри храма. Вызвали лучших мастеров по отделке и резчиков по дереву, выписали художников, чтобы сделали росписи стен. Иконостас заложили роскошный, а иконы заказали аж в Софринских мастерских.

Погодя начали и снаружи стены отделывать — возвели высокие строительные леса вокруг Богородично-Рождественского храма. Заезжая большая бригада с Украины работала шустро — от рассвета до заката, и церковь начинала приобретать благолепный и торжественный вид.

Но была у отца Игоря одна печаль. Ездил он на стареньких «Жигулях» шестой модели. Автомобиль этот подарил ему родитель его на свадьбу, сам откатав на ней лет пятнадцать. Купить новую машину возможности пока не было. Из денег, что давали ему на ремонт щедрые спонсоры, выкроить на автомобиль пока не удавалось — слишком уж много затрат требовалось на благоустройство храма. И попечительский совет каждую пожертвованную копейку скрупулёзно учитывал, сметы тщательно проверял, ревниво следя за расходами. Но надежда на то, что по завершении ремонтно-строительных работ что-то всё-таки перепадёт и ему за усердное служение, не покидала молодого священника.

6.

Сложился новый приход — из богатых и достойных людей. Коммерсанты, банкиры, чиновники — они подолгу проживали в Ермилове, став, по сути, его постоянными жителями. А на службу и по делам ездили кто в Москву — всего-то полтораста километров, кто в областной центр — ещё ближе, кто в райцентр — совсем рядом.

От старых прихожан почти и не осталось никого — семь-восемь совсем уже немощных ермиловцев.

Но была среди них одна — бабка Лида, старуха слегка блаженная, чудаковатая и очень богобоязненная. Стала она омрачать понемногу жизнь молодому священнику…

Откажется отец Игорь по сугубой занятости отпеть новопреставленную рабу Божию — бабка Лида тут же с укором:

— Как же, батюшка, долг свой священнический не исполняешь?! Негоже без отпевания земле предавать христианина!

— Занят я! — отмахивался отец Игорь от строгой старушки и бежал проверять разгрузку пиломатериалов.

В другой раз зовёт бабка Лида батюшку поисповедовать умирающего от алкогольного отравления старика Борисыча, а батюшка опять отнекивается. Ходит за ним по пятам старушка, а отец Игорь своё:

— Мне сейчас бетон должны привезти, фундамент под апсидой будем укреплять!

— Побойся Бога, батюшка! В исповеди умирающему отказываешь. На Страшном Суде ответ держать будешь! — корила его Лидия.

— Буду, буду! Ступай с Богом! Не мешай мне, — едва сдерживаясь, отвечал назойливой бабке священник.

Зато на просьбы новых жителей Ермилова отец Игорь откликался охотно и мгновенно. Святили новые хоромы, освящали новые дорогущие иностранные автомобили, служили молебны — батюшка никому не отказывал, всем угождал и везде поспевал. Щедро платили ему за все эти требы.

Благосостояние молодого священника постепенно росло и неуклонно укреплялось, и задумал он обосноваться в этом селе надолго и всерьёз, так как перспектива развития Ермилова была ему уже вполне очевидна.

Вот только бабка Лида всё не переставала попрекать батюшку за неусердие и невнимание к своей престарелой пастве. Но священник старался не обращать на неё внимания.

К осени ремонт куполов должен был завершиться, и настала пора заказывать надвершные кресты. Но задумал отец Игорь водрузить кресты не простые, крашенные бронзой, а непременно золочёные. Настоящим сусальным золотом. Но по смете никак на это не мог выкроить нужную сумму.

Попросил он благотворителей оказать ему помощь в этом вопросе, те пообещали, но не торопились с выполнением своего обещания. А отцу Игорю очень уж не терпелось золотые кресты на куполах поставить. Как гордо будут они сиять с высоты, и видно их будет далеко-далеко. Многие, проезжающие по федеральному шоссе, захотят заглянуть в красивый храм с золотыми крестами.

Новыми просьбами про кресты беспокоить своих благодетелей священник не желал — побаивался их неудовольствия. Кресты, однако, уже пора было заказывать, чтобы поспеть к осеннему сроку.

В сильном волнении пребывал молодой священник и службы совершал без должного воодушевления. Печаль его о золотых крестах стала владеть им постоянно, денно и нощно.

7.

Как-то в начале августа, после полудня, перед вечерней службой, в церковный двор, заставленный и заваленный кирпичом, досками, железом, механизмами и прочими строительными принадлежностями, заехал огромный чёрный джип с тонированными стёклами. Притормозила машина почти возле самого церковного крыльца, и из неё, кряхтя, вылез грузный мордастый мужик с короткой стрижкой. Был он в тёмных очках, в пёстрой яркой рубашке, заправленной в особого покроя широкие бордовые штаны, а на ногах у него красовались массивные туфли из крокодиловой кожи с золочёными пряжками.

Мужик подбоченился и задрал голову вверх, разглядывая закрытые строительными лесами купола храма. Его массивный двойной подбородок растянулся, а складки на короткой шее сзади, наоборот, сложились в тройной гребень.

Из храма вышел навстречу отец Игорь и, оценив непростого посетителя, спустился с крыльца и подошёл к мужику.

— Добрый день! — с полупоклоном поприветствовал священник необычного гостя.

При этом странное волнение вдруг напало на батюшку. Он, поклонившись ещё раз, заискивающим голосом и более подобострастно произнёс:

— Добрый день!

Мордастый мужик опустил голову и с удивлением поглядел на молодого священника.

— Ты, что ли, местный пахан будешь? — спросил мужик высоким сиплым голосом с каким-то сомнением и подозрением.

— Да, я настоятель сего храма. Иерей Игорь. А вы кто будете? — робко и едва не заикаясь, произнёс батюшка.

Мужик снял тёмные очки, под ними оказались маленькие свиные глазки, чёрные и очень злые; усмехнувшись, мужик весело произнёс:

— Кто я?.. Я, батя, твой ангел хранитель… И, возможно, твой благодетель.

Помолчав, мужик протянул руку вверх и, показывая толстым коротким пальцем на купол, строго спросил:

— А чего, батя, у тебя церковь без крестов стоит? Непорядок… Храм уж давно действует, а крестов всё нет и нет. Я который год мимо езжу и не могу понять, то ли христианская церковь это, то ли синагога какая?

Отец Игорь стоял, смутившись и не зная, что ответить. Речь незнакомца была непочтительной и почти дерзкой, и священник раздумывал, как ему реагировать на это.

— Чего, батя, молчишь? Ремонт, гляжу, нехилый затеял. А вот кресты до сих пор не поставил. Куда архиерей смотрит? — мужик сделал шаг в сторону священника — не то угрожающе, не то дружески; вид его был суровым и даже свирепым.

Батюшка опасливо шагнул назад и едва не споткнулся о ступеньку крыльца. Сильно разволновавшись, он громко ответил дерзкому незнакомцу:

— А где я денег на кресты возьму? У меня ремонт по смете идёт. Спонсоры всё до копейки проверяют. А до крестов ещё очередь не дошла! Вот дадут отцы-благотворители денег, тогда и кресты закажу тотчас.

Мужик сокрушённо покачал головой, вроде бы как сочувствуя священнику. Но снова просипел своим высоким, почти бабским голосом:

— Непорядок, батя! Непорядок! Что ж это за спонсоры у тебя такие, что сначала штукатурить начинают, а потом о крестах думают? Неруси, что ли, какие-то? Сначала надо кресты поставить, колокола поднять. Чтоб было видно и слышно, что здесь храм православный благую весть несёт окрест. Правильно, батя, я говорю? — мужик наклонил голову и посмотрел на священника, набычившись, исподлобья.

Отцу Игорю стало не по себе. Он не знал, чего вообще ждать от этой неожиданной встречи.

— Вы всё правильно говорите, уважаемый. Но денег на кресты пока никто не дал, — очень осторожно произнёс отец Игорь, не переставая следить за выражением лица своего гостя.

Мужик с большой досадой вздохнул, сокрушённо помотал головой и неожиданно засунул руку в карман своих странных бордовых штанов.

«Сейчас убьёт!» — с испугом подумал батюшка и едва не потерял сознание. Как назло, во дворе не было ни одного человека — ни строителей, ни прихожан.

Мордастый медленно вынул руку из кармана, и отец Игорь увидел в ней не пистолет, не нож, а толстое чёрное кожаное портмоне. Неторопливо раскрыв его, мужик вынул три пачки странных разноцветных банкнот в упаковке и протянул священнику:

— На, батя! Здесь тридцать кусков европейских рублей. Держи тридцать тысяч евро. Хватит тебе на золотые кресты!

Отец Игорь, не веря своим глазам и не зная, что ему нужно делать, повинуясь какому-то повелительному гипнозу странного гостя, подошёл к нему и осторожно взял деньги.

Мужик самодовольно ухмыльнулся и, полуобернувшись с намерением уйти, весело, с сиплыми подсмешечками произнёс:

— Я, батя, скоро здесь землю куплю неподалёку… Поселюсь рядом с этим селом и в этот храм ходить буду… Наверное… Так что я — твой будущий прихожанин. А это, — мужик небрежно кивнул головой на деньги в руках священника, — моё первое пожертвование на храм Божий… Чтобы вера наша православная укреплялась!

С этими словами мужик неторопливо и размашисто перекрестился на храм, и стало видно, что у него вся тыльная сторона правой ладони покрыта синими татуировками с замысловатыми рисунками. Отчётливо были видны синие, навроде перстней, татуированные кольца вокруг пальцев.

Слегка зевнув и снова помотав головой, мужик как бы нехотя, но строго произнёс:

— Только это… Батя… Ты сделай всё путём и красиво. Кресты обязательно поставь золотые. Я осенью заеду — проверю. И упаси тебя Господи, — мужик неторопливо и размашисто перекрестился, — если вовремя не сделаешь! Или медянки дешёвые поставишь. Пеняй тогда на себя!

За крысятничество строго спрошу и по полной. И Бог накажет… Хотя… Я накажу строже… Понял?!

Отец Игорь стоял ни жив ни мёртв. Он был бледен и едва не терял сознание. Ноги его дрожали и подгибались. Деньги в руках вдруг стали тяжёлыми и начали жечь ладони.

Мордастый мужик уселся в свой автомобиль и, высунувшись из открытого окошка, уже миролюбиво произнёс напоследок:

— Если вдруг какие заморочки возникнут или там денег не хватит, то ты меня обязательно отыщи, я помогу. Спроси у местного ментовского хозяина, как отыскать Кабана,—он подскажет. Ты не стесняйся. На богоугодное дело мне бабла не жалко… У тебя тачка-то новая?

Отец Игорь отрицательно замотал головой и выдавил из себя:

— Н-н-не-е-ет! Нету. Новой нету.

Мужик сокрушённо покачал головой и уже почти ласково проговорил:

— Эх, батя! Ну как же так?!.. В общем, возьми с этих «бабок» себе тысяч пять. На новую нормальную тачку хватит. Понял?! Обязательно возьми. Заслужил!

Батюшка согласительно закивал головой. Он хотел произнести: «Спаси, Господи!», но язык не повиновался ему.

Машина, заводясь, заурчала и, резко развернувшись, умчалась прочь, подняв большие клубы пыли.

8.

Некоторое время отец Игорь стоял неподвижно, тревожно вглядываясь вслед уехавшему чёрному джипу, хозяин которого совершил такое чудо жертвенной благотворительности.

Странные чувства роились в душе молодого священника. Счастье от неожиданной и столь своевременной помощи сменялось тревогой за несвоевременное исполнение поручения, а затем всплывала радость оттого, что он сможет наконец-то купить себе столь желанный новый автомобиль,—и снова страх и малодушие овладевали им.

Неожиданно раздался пронзительный старушечий голос:

— Не бери эти деньги!

Отец Игорь вздрогнул от неожиданности и машинально спрятал руку с деньгами за спину. Это бабка Лида стояла поодаль и с укоризной глядела на священника.

— Это ещё почему?—сердито спросил отец Игорь.

Он совершенно не заметил, откуда взялась бабка, и раздосадовался, что она стала свидетельницей его встречи со странным спонсором.

— Кровь на них! Кровь невинно убиенных и замученных душегубами людей!—закричала бабка Лида не своим голосом.—Не бери, батюшка! Не бери! Грех это!

— Ступай себе!—попытался утихомирить её священник.

— Не бери, батюшка, эти деньги! Не бери-и-и!—продолжала надрывно кричать Лидия, размахивая руками.

— Замолчи! Эти деньги благотворитель пожертвовал на возведение крестов!—тоже закричал в ответ разгневанный батюшка.

Его разозлила эта вредная старуха, и он не знал, как отделаться от неё. Он отвернулся, поднялся на крыльцо и шагнул к дверям церкви. Бабка Лида подбежала к нему и, перегораживая путь, снова закричала:

— Батюшка, Христом Богом заклинаю! Не вноси эти кровавые деньги в храм Божий! Не оскверняй святого места!!!

— Пошла прочь!—разъярился отец Игорь.

— Эти деньги тебе вручил бандит и убийца по кличке Кабан. Его вся наша округа знает. Он в окрестных деревнях всю землю поотбирал у крестьян. Стариков и старух, которые не желали ему земельные паи продавать, он в избах заживо сжёг. Спроси у милиционеров, которые после его пожогов в живых остались. Они ничего ему сделать не могут, потому что у него деньги огромные и власть большая. За ним местные начальники стоят. Он всех их купил, а они на его разбои смотрят сквозь пальцы. Не бери этих денег! Кровь на них! Кровь!—кричала бабка Лида.

Взгляд её становился безумным, а глаза начали страшно гореть.

Отец Игорь снова почувствовал страх. Только на этот раз был страх не перед Кабаном или этой безумной старухой. Священник впервые почувствовал страх Божий, который пронзительным невидимым лучом вдруг сошёл на него откуда-то сверху, с небес, и вызвал в его душе неописуемый ужас и трепет. Сердце сжалось, а в ушах тонко запел многоголосый ангельский хор. В глазах батюшки потемнело, но он сделал шаг вперёд и протянул левую руку, чтобы открыть дверь. В правой руке он по-прежнему сжимал три пачки с деньгами, и рука клонилась книзу, наливаясь неимоверной тяжестью.

Прямо перед ним стояла невысокая худая старуха с сумасшедшими глазами, и губы её кривились, как от боли.

Она не прокричала, а громко прошептала:

— Батюшка, отец Игорь, не бери эти деньги! Кровавые они. Мою сестру сожгли в деревне Петровке по приказу этого изверга. У нас даже заявление в милиции никто брать не стал. Боятся все. Только покуражились: мол, не надо было связываться с Кабаном и его бандитами. Будь он проклят!..

Неожиданно гнев снова овладел священником. Он с силой оттолкнул старую женщину в сторону и, распахнув массивную дверь храма, вбежал внутрь.

Лидия, едва не упав, повернулась к дверям и закричала вслед отцу Игорю:

— Взял кровавые деньги у душегубца! Не будет тебе от них блага—одно горе случится! Теперь и на тебя кровь невинно убиенных падёт. Господи, спаси его душу!

Лидия горько разрыдалась, сотрясаясь всем своим старческим телом. Затем, повернувшись, осторожно спустилась с крылечка. Снова развернувшись к храму, она горячо перекрестилась и пошла прочь.

9.

Стояла поздняя осень, но всё ещё без снега. Ноябрьское солнце сухо светило через голые ветви высоких деревьев, росших рядом с храмом.

Отец Игорь любовался на новые золотые кресты, горделиво возносившиеся над церковными куполами. Их было пять. Самый большой крест возвышался над главным, центральным, куполом, гладко окрашенным синей блестящей эмалевой краской. Четыре — поменьше — венчали маковки того же синего цвета по бокам от главного купола. Шатёр колокольни тоже был почти завершён, но его ещё только предстояло покрасить. Крест для колокольни, накрытый брезентом, стоял внизу, дожидаясь своей установки после завершения ремонта шатра. Отец Игорь был очень доволен.

А ещё он был доволен тем, что рядом с храмом стоял его новенький автомобиль — изящный синий «Ниссан», пузатый, крутолобый, с модным обрубленным задком. Автомобиль был красив, невелик, но внутри просторен, обладал хорошей экономичностью и высокой проходимостью. Молодой священник с любовью и нежностью поглядывал на свою новую машину, и сердце его переполнялось радостью и счастьем.

Он любил вместе с матушкой Ларисой приезжать в Ермилово на своём новом автомобиле, не спеша прокатиться по обновлённым улочкам, заехать в церковную ограду и с шиком подрулить к стенам старинного храма, уже белоснежно сияющим после ремонта.

Во дворе ещё лежали конструкции разобранных строительных лесов и кое-какой строительный хлам. Но храм был уже почти полностью отремонтирован — оставалась только колокольня и незначительные, в основном декоративные, работы внутри. Почти два года потратил отец Игорь на восстановление церковного благолепия…

Батюшка любил ставить свою машину возле южной стены, справа от входа, возле самого цоколя. Автомобиль здесь был на виду и в лучах вечернего солнца блистал лакированными боками и хромированными деталями.

Стоял отец Игорь, подбоченившись, перед церковью и любовался то золотыми крестами, то своим новым автомобилем. Он не спеша переводил взгляд то сверху вниз — с куполов на машину, то снова снизу вверх — с «Ниссана» на купола. Радости его не было предела.

Близилось время вечернего богослужения. К храму подъезжали красивые дорогие автомобили и выстраивались в ряд на специально оборудованной возле церковной ограды автостоянке. Из них выходили нарядно одетые люди, некоторые парами, а кто-то и вместе с детьми. Это были новые жители Ермилова — богатые и преуспевающие люди. Они приветствовали друг друга и степенно проходили в церковь.

10.

Отец Игорь, уже облачённый в одеяния, находился в алтаре и собирался начинать богослужение. Теперь у него были и хороший хор из великолепных, приезжавших из райцентра, певцов, и профессиональный регент. Прислуживали ему два диакона и многочисленный причт. Службы проходили красиво, благостно и всегда с особой пышностью и торжественностью.

Большая часть стен уже была расписана изумительными фресками, а убранство церкви изменилось до неузнаваемости. Появилось много пурпура и позолоты, изящных резных деревянных украшений, хрустальных светильников. Новые большие иконы висели в простенках, и на многих из них красовались серебряные оклады. Новый паркетный пол матово блестел ореховым шпоном.

Все прихожане любовались таким благолепным интерьером и всячески выражали своё почтение священнику Игорю, который на их деньги превратил запущенную сельскую церковь в VIP-храм местного богатого коттеджного поселения. Благодать и умиротворение царили у местных прихожан.

Вечернее богослужение началось. Красиво запевал хор, диакон возглашал громким басом, и все дружно крестились и кланялись. Народу собралось достаточно. Многие держали в руках толстые восковые свечи.

Неожиданно в церковь вошла сильно хромающая старуха, опирающаяся на палку. На ней был серый помятый плащ и белая косынка на голове. Это была бабка Лида. Она шла вперёд к иконостасу, и люди расступались, давая ей проход.

Лидия подошла к иконе, лежащей на аналое, и с поясными поклонами приложилась к ней. Затем отошла к стенке слева и присела на маленькую скамеечку. Сидя, она продолжала креститься и кланялась, низко нагибая голову.

Шла уже середина службы, когда отец Игорь, вознося молитвы, заметил сидящую возле стены бабку Лиду. Это его немного смутило, но он не придал особого значения присутствию старой прихожанки. Священник не видел Лидию с того самого момента, когда она кричала ему, чтобы он не брал деньги, а он оттолкнул её. С тех пор прошло уже несколько месяцев, и теперь батюшка сожалел, что так грубо обошёлся тогда со старухой. Он даже подумал о том, что ему следует после окончания богослужения подойти к старой женщине и попросить у неё прощения за тот инцидент.

Служба продолжалась.

11.

Неожиданно снаружи послышались какой-то грохот, дребезжание и мерный свист… Было похоже на раскаты грома и шум сильного ветра. Священник глянул в окно — там, несмотря на ещё не поздний час, стояла непроглядная тьма. Деревья сильно раскачивались, и в храме был слышен их тревожный шум.

Улучив паузу, отец Игорь тихо спросил у стоявшего рядом молодого алтарника:

— Что там на улице?

— Похоже, что внезапно налетела буря, — так же тихо ответил алтарник.

Служба шла своим чередом. Буря усиливалась, и шум становился всё громче и громче. Уже ощущался гуляющий по храму сквозняк, проникающий снаружи под напором сильного ветра. Стало

слышно жуткое завывание вихря, от которого дрожали стёкла в церковных окнах. Огоньки свечей заплясали и заморгали под воздушными струями.

А деревья снаружи шумели всё громче и громче, и полощущийся звук ветвей становился всё более и более зловещим. Неожиданно все услыхали страшные раскаты грома, такого сильного, что на мгновение стало не слышно хора. В окнах блеснул яркий, ослепительный отсвет молнии, и снова раскатился мощный удар грома.

Все присутствовавшие в храме испуганно крестились, не дожидаясь призыва «Господу помолимся». Ощущение тревоги наполнило сердца почти всех прихожан.

Хор закончил исполнять песнопения и окончательно замолк. Вечернее богослужение завершилось. Люди молча потянулись к выходу, а шум бури снаружи теперь был слышен отчётливо и громко, и ни у кого не вызывало сомнения, что такое природное явление в начале ноября не сулило ничего хорошего.

Народ потихоньку выходил наружу, осеняя себя крестным знамением. Двери распахивались, запуская внутрь порывы холодного ветра и грохочущий шум. Было хорошо слышно, как лил сильный проливной дождь…

Храм почти опустел, осталось всего несколько человек. Дежурившие женщины торопливо гасили свечи, доставали их из подсвечников и складывали в коробочки. Молодые служки расторопно сворачивали ковры, а две уборщицы начали быстро натирать полы. Все спешили домой. Оставаться в храме в такую грозу никому не хотелось, потому что непогода могла затянуться и до утра.

Отец Игорь разоблачился и вышел из алтаря, аккуратно прикрыв за собой резную дверочку с висевшей на ней иконой архистратига Божиего архангела Михаила. Архангел глядел на священника строго и с укором.

Бабка Лида всё ещё сидела на лавочке и как будто поджидала его. Немного подумав, священник подошёл к ней.

— Здравствуйте,— произнёс он с лёгким поклоном.

Бабка Лида, кряхтя, поднялась, поклонилась и, сложив руки рыбкой, испросила благословения.

Понимая это как жест примирения, отец Игорь благословил старую женщину и, глядя ей в глаза, спросил:

— Вы простили меня? За тот случай?

Лидия тоже поглядела в глаза священнику, и это был усталый взгляд старой и мудрой женщины; в нём не было ни злобы, ни осуждения, ни укоризны — только слёзы, готовые выкатиться наружу, стояли в глазах:

— Это ты прости меня, батюшка. А я давно всё простила. Вот только ты спроси у Господа — простил ли Он?

С этими словами бабка Лида повернулась и медленно заковыляла наружу.

— Давайте я вас подвезу до дома! — крикнул священник ей вслед.

Лидия остановилась, слегка полуобернулась и сокрушённо спросила:

— А кто же тебя, батюшка, подвезёт до дома?

Отец Игорь даже растерялся от такого странного вопроса. Разве не знает старуха, что у него есть автомобиль? Теперь — новый и красивый.

12.

Неожиданно помещение храма, уже погружённое в полумрак из-за погашенных свечей и светильников, озарилось яркой вспышкой молнии.

На пол метнулись тени от деревьев за окнами, и вслед раздался ужасный удар грома, настолько сильный, что на минуту у отца Игоря заложило в ушах.

— Господи, помилуй! — испуганно пробормотал он и трижды осенил себя крестным знамением.

Но следом раздался громкий и очень странный шум. Как будто с силой треснуло дерево и что-то тяжёлое рухнуло сверху на церковную кровлю, ударившись, громко загрохотав, заскользило вниз и упало с карниза. Послышался звук ломаемого металла и бьющегося стекла.

Отец Игорь испуганно выбежал наружу; он ещё не понял, что же могло упасть на кровлю храма.

Холодный дождь лил как из ведра, сильный ветер задувал прямо в лицо, и стояла необычная, густая, туманная тьма. Люди торопливо бежали к своим автомобилям, заскакивали внутрь, заводили моторы и спешно разъезжались по домам.

Священник тоже заторопился. Ему надо было ехать в райцентр около восьми километров, домой к жене. Он кинулся к своей машине.

Сбежал с крыльца…

Повернул за угол налево…

И — застыл от изумления.

Перед его глазами было страшное зрелище…

Крест, сорвавшийся с главного купола то ли от удара молнии, то ли от ураганного ветра, упал прямо на новенький батюшкин «Ниссан» и пробил его насквозь, пригвоздив к земле. Сплющенная крыша, выбитые стёкла, покорёженный корпус — автомобиль выглядел как убитый зверь. И над ним, сурово раскинув вширь большую перекладину, торчал, наклонившись чуть вбок, огромный позолоченный крест…

Отец Игорь стоял как вкопанный, растерявшись и не зная, что делать.

И тут слова бабки Лиды стали доходить до его сознания. Значит, она прозорливо предвидела, что такое несчастье случится с его машиной?!

Страх Божий, как и в тот день, когда он, священник, взял деньги у мордастого мужика по прозвищу Кабан, вошёл в него невидимым тонким лучом из-под небесной выси, чёрной и гневной, и озарил в нём нечто такое, что было недоступно для его понимания ещё несколько секунд назад. Что-то мгновенной яркой вспышкой изменилось в душе молодого священника, завибрировало и откликнулось навстречу тому пронзительному, всепроникающему лучу. Сердце мощно запульсировало, а в ушах тонко запел многоголосый ангельский хор. Страх мгновенно прошёл, и душа наполнилась неизъяснимым чувством радости и благодарности.

Отец Игорь поднял лицо к небу. Дождь сильными ледяными струями обливал его с головы

до ног, а ветер студил пронизывающе и колко, но батюшка почти не ощущал этого. Он смотрел в чёрное небо с трепетом и надеждой, и кроткая улыбка озарила его.

Молодой священник трижды осенил себя крестным знамением и с радостью зашептал:

— Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты вразумил меня. Благодарю за то, что не лишил меня живота моего. Благодарю за то, что укрепил дух мой и отвратил меня от корысти и любостяжания. Прости меня, Господи!

На помощь к отцу Игорю спешил церковный староста Пётр Михайлович, пожилой седоусый мужик, и причитал:

— Ах ты ж, беда какая! Как же так угораздило-то? Ах ты ж!

Подбежав к священнику, он, перекрикивая шум дождя и ветра, участливо вопросил его:

— Как ты, батюшка? Цел? Главное, что сам жив!

Повернувшись к старосте, отец Игорь кротко попросил:

— Отвези меня домой, Михалыч, пожалуйста.

И они оба зашагали в сторону стар采еньких «Жигулей», принадлежавших Петру Михайловичу.

Гром ещё рокотал и иногда раскатисто потрескивал, но молнии появлялись всё реже и всё дальше от Ермилова. Гроза стала утихать и отодвинулась за федеральную трассу.

Правда о Сибири, но не вся…

Дмитрий Дектерёв

Неправда о Сибири

Отпущу медведя белого с цепи,
Пусть побегает, с детями пошалит.
Накачу, пока жена в амбаре спит,
Двести-триста с огурцом, а лучше литр.

За окошком балалайка зазвучит
Да по сердцу рубанёт — слеза из глаз.
Я ушанку натяну, сползу с печи
Да по городу-селу отправлюсь в пляс.

В центре города, само собой, базар.
Накуплю баранок, пряников сынку.
Возвернусь домой, поставлю самовар
Да запарю из шиповника чайку.

Деревянной ложкой съем свекольный суп,
Поцелую в лоб жену «за знатный пир».
Влезу в валенки и заячий тулуп
Да пойду за дом на улицу в сортир!

Про матрёшку позабыл упомянуть,
Сердцу нашему — поистине важна.
С детства каждого воспитывают: кнут,
Пол с горохом, конь-качалка и она!

Приезжайте! Встретим гостя — хлеб да соль —
Да в тайгу пойдём охотой на лося.
О Сибири разузнать хотели коль —
Вот вам правда о Сибири. Но не вся…

Семён Хмелевской

Про мишку

Говорят, что где-то там, в Сибири,
Ходят мишки по шоссе пешком.
В самом деле, случаи-то были!
Вот, к примеру. Тёплым вечерком

В Уруше, на речке, на мосточке,
Миловались двое. Вдруг мосток
Стал раскачиваться. Голубочки
Обернулись — мишка, без порток,

Из посёлка мимо них — и в чащу
Дунул под покровом темноты.
Перетрусив и глаза таращa,
Те — к домам. А утром — все кусты,

Все сарайки, ямы в том посёлке
Жители облазили гуртом.
Где же днём он прятался? Под ёлкой,
В дальнем закутке полупустом

Детского единственного сада.
Там помои ел и счастлив был.
Так что мишки ходят где-то рядом,
Кто бы там чего ни говорил!

Леонид Левинзон

Количество ступенек не имеет значения

Одуванчик

Я видел эту девушку. Она приходила всегда с одним и тем же парнем, одетым в почти неприличный для левантийских мест аккуратный костюм, вежливым, в очках и с сухими губами. Диссонансом была его чёрная шевелюра, разросшаяся, как чертополох. И я вам так скажу: нас, конечно, всех лечить надо, но этот парень — он был просто больным. Больным литературой. Когда говорил — закатывал глаза, постепенно начинал мелко дрожать, хватал собеседника за рукав и вожделенно стонал:

— Борхес, Борхес, Борхес…

Он и стихи писать мог, а иногда даже поэмы. В этих стихах и поэмах сражались и погибали греческие герои. А может, даже и еврейские… Для настоящего поэта нет разницы о ком — главное, чтоб был подвиг.

Так зачем же она находилась с ним? Высокая, ломкая, с чуть удлинёнными глазами, — что ей было интересно? Она ободряюще улыбалась, когда он читал свои стихи, наполненные гулкими боевыми звуками, поддерживала его замысловатые суждения о литературе, познакомилась с его мамой… Они уже оставались наедине, и то ли литератор всё колебался, то ли девушка, а может, просто очки мешали. Так или иначе, но верхней частью тела он овладел: расстёгивал кофточку, поднимал вверх лифчик и осторожно гладил грудь небольшими бледными пальцами. Держал в ладони упругую тяжесть и вздыхал, забываясь:

— Борхес — это сила… Понимаешь? Сила…

Наверное, потому что он был всё-таки свой, рядом, вместе учились; может, даже родители знакомы были, свели… Словом — кандидат. Да ведь и действительно хороший парень, что ещё ждать? Добрый, честный. Правда, чуть с заумью, но это с кем не бывает.

И она уже почти решилась, почти…

Как всё перевернулось.

Он был фотограф. Или просто говорил, что фотограф. Пять раз женат, шесть раз разведён, куча детей во всех концах света. И жил в каморке, где главным предметом обстановки стояла низкая широкая тахта и никогда не зажигался свет. Боком каморка выходила на общий для всех жильцов дома балкон, и на него напирала старая струящаяся лиственница. А уборная за ветхой деревянной дверью на том же балконе была всегда полуоткрыта, и посетители в темноте, ругаясь, вечно пи́сали мимо унитаза. Ну так что?

И вот она теперь сидит на плетёном проваленном кресле, лениво свисает с подлокотника рука, и спокойные её глаза — одной природы с закатом. Медленно садящееся солнце, синий воздух, листья по всему балкону. Ещё немного — стемнеет совсем, она встанет, и они пойдут ложиться. И фотограф, как вчера, как позавчера, как завтра, будет снова и снова со сладкой яростью проникать в желанный перекрест её длинного белого тела. И всё неважно. Медленно садится солнце, и во влажной духоте между играющими, слушающими друг друга телами растворяются без остатка Борхес, Маркес и Марио Кортасар.

Последний больной

Под Иерусалимом, в поселении Атар, живёт одинокий человек. Снимает комнату в вилле за триста долларов.

За триста долларов раздуваются от ветра на окнах зелёные занавески, стоит на двухкомфорочной плите старенький прокопчённый чайник, и в углу, около узенькой подростковой кровати, набросаны русские газеты.

— Хочешь, поджарим мясо? — чуть грассируя, спрашивает меня человек.

— Нет.

— Поставлю чай?

— Нет.

— Тогда жди, я переоденусь и провожу.

Дверь открыта, я выхожу под роскошное летнее солнце и оглядываю сверху бесконечную панораму, где в близкой зелени сплелись крыши Кирьят Анавим и Абу-Гош, горизонт падает в море, а с юга наступает церквями и синагогами великий город.

— Что, здорово?

— Да, — я очнулся.

— Мне очень помогает. Люблю смотреть. Ну, пошли?

— Пошли.

Он идёт чуть впереди твёрдым шагом и немножко по-строевому размахивает руками. На одной из рук зажившие порезы — это после драки с арабским рабочим, который вместе с ним работает в столярной мастерской. Но сейчас времена изменились, и арабский рабочий уважает этого человека.

— Я, как устроился в мастерскую, — рассказывает он, — сразу усовершенствовал конструкцию шкафа, а это, учти, достаточно сложно.

— Тебе не скучно здесь?

— Абсолютно нет: возвращаюсь поздно, постирушки разные, раз в две недели сын приезжает, читаю. Даже от телевизора отказался — уж слишком много времени он забирает. Правда, у меня уютно?

— Правда.

Дует сухой ветер, узкая дорога идёт резко вниз, и навстречу, натужно гудя, поднимается очередная машина.

— С какого года ты в Израиле?

— С девяносто первого.

— Уже давно.

— Да,—соглашается,—конечно, срок. Тридцать первого октября я в последний раз отработал на скорой. Как сейчас помню, был длинный день, очень длинный и трудный день, а ровно через месяц, тридцать первого ноября, навсегда уехал из Питера.

— Так ты врач?

— Был.

— Экзамены, что ли, не сдал?

— Даже не пытался. Я уже там знал, что больше врачом не буду.

— Жалко. Знаешь, на твоём месте я бы… я бы что-нибудь подарил своему последнему больному.

— Я хотел.

— И что?

— Не получилось.

— Почему?

— Он умер. Мой последний больной умер.

Я, оторопев, молчу, потом прощаюсь и иду вниз. А внизу, повернувшись, машу рукой всё ещё стоящему, сливающемуся с солнцем человеку.

Привёз…

Вот все говорят—ментальность, ментальность. А что такое эта самая ментальность?

Работал у нас на заводе один такой местный человек—Дрор. Глазки маленькие, весёлые, хрипло смеётся, кучерявенький с залысинами. Как сейчас вижу, стоит в вестибюле, кипу на бок сдвинул и, ожесточённо размахивая руками, рассуждает:

— Вот сейчас я получаю в час десять шекелей. А через десять лет сколько это будет, а? Сумма будет, сумма!

Закрывает глаза и смеётся в восхищении.

Трудился Дрор на складе, где ответственно перекладывал ящики и коробки, а в свободное время спал с открытыми глазами около компьютера. Так вот, в одно прекрасное утро подходит к Дрору начальство и строго приказывает:

— Сейчас поедешь к торговому центру, там около остановок такси должен ждать наш новый рабочий, возьмёшь его и привезёшь на фабрику. Да, кстати,—кричит в спину обрадовано убегающему к машине Дрору,—он русский, русский! Тьфу ты!

Поворачивается и уходит.

Дрор заводит машину, открывает в ней окна и на всю мощь включает восточную музыку. Проезжая мимо высунувшейся труженицы Ализы, поводит плечами, напевает и подмигивает. Ворота открываются, и он гордо, как на танке, укатывает к супермаркету.

Возвращается Дрор через полчаса. Выходит из машины, а вслед за ним, медленно распрямляясь, показывается огромный парень в майке и шортах, и из раздутого кармана шорт торчит початая бутылка водки. Парень оглядывается и громко икает.

— Ты кого привёз?—громким шёпотом спрашивает начальство.

Дрор широко раскрывает честные глаза и обиженно отвечает:

— Сказали русского привезти, вот я и привёз.

Тем временем парень, громко сопя, достаёт из кармана бутылку, свинчивая жестяную пробку, подносит бутылку ко рту и глотает жидкость. Дрор оцепенел. Начальство—оцепенело. Парень оглядывается и густым голосом на непонятном языке говорит Дрору:

— Ну, мужик, где ты тут помочь просил?

Ошалевший, но верно понявший Дрор поднимает руку и, показывая на открытую дверь своего склада, на также совершенно непонятном для парня языке произносит:

— Надо вынести ящики наружу.

Парень радостно плюёт на огромные ладони:

— Лады!—и по детски улыбается.—Сейчас Лёшка вам покажет…

Заходит в склад, берёт сразу два поставленных один на другой ящика и, с молодецким рыком поднимая их чуть ли не до плеч, бежит наружу. Возвращается—и опять за два. Потом ещё. Останавливается, достаёт бутылку и присасывается. Крякает, вытирает губы тыльной стороной руки и гудит:

— Ах, зараза, лучка нет!

И тут замечает сбежавшихся на показательное выступление женщин. Выпячивает мышцы и с независимым видом поднимает теперь уже три ящика.

Наконец—стоп. Он устало выпрямляется, ящики все во дворе, вытаскивает бутылку и грустно смотрит—пустая. Хочет было перебросить её через забор, на территорию арабской газеты, но, натолкнувшись на взгляды, осторожно ставит на землю. К нему приближается начальство с бухарской девушкой Ализой в широком платье.

— Ты молодец!—с одобрения начальства начинает девушка Ализа.—Скажи нам свою фамилию, мы тебе заплатим.

Парень смотрит с недоумением и неожиданно зевает во весь рот.

— Какие деньги?—говорит своим басом.—Я ж по дружбе, я ж мужику помогал.

И, поворачивая голову, ищет Дрора:

— Ну что, мужик, поехали?

Количество ступенек не имеет значения

Купил в магазине овощи. Да, просто. Я вообще иногда просто живу. Заказал привезти. Ещё сказал там, в магазине, что обитаю на Штерн, на втором этаже своего дома. И что количество ступенек не имеет значения.

— Что значит—не имеет значения?—озадаченно переспросил овощник.

— А так, не имеет значения.

— Вообще-то,—заметил овощник,—про количество ступенек я не спрашивал, мне нужен этаж, подъезд, квартира.

— Поймите,—ответил я,—я ведь не математик—ступеньки считать. Для меня их количество значения не имеет.

Овощник не стал больше говорить про ступеньки, он просто приказал арабу привезти ко

мне овощи. Ведь на самом деле я их купил. А он их продал. То есть мы осуществили товарно-денежный обмен.

И вот теперь араб стучится в мою дверь, а я не пускаю. Почему я должен всяких арабов пускать? Он постучался, ушёл, потом стали соседи стучать, полиция, овощи стоят сиротливо в полиэтиленовых мешках. Вот так: покупаешь, покупаешь, а тебе не приносят. Хотя обязаны, действительно обязаны. И стали мне звонить по телефону друзья, знакомые, родственники, даже один член кнессета: мол, забери овощи, а то украдут! А я телефон не поднимаю. Разозлился: пошёл ведь как человек в магазин, купил, а мне не привозят. Вот всегда так: говорят тебе, что количество ступенек не имеет значения, потом говорят — ещё что-нибудь не имеет значения, что, может, сама жизнь не имеет значения. А ты хлопаешь глазами и думаешь: здесь что-то не так, самое главное скрыто, недосказано. Но, с другой стороны, множество вещей, что делаются изо дня в день, действительно не имеет значения. Почему? Зачем их делать? Мои овощи в полиэтиленовых мешках имеют значение или нет? В общем, я так разозлился на эти недомолвки, что ушёл в ванну купаться. Напустил пену, булькаю, бултыхаюсь, на пол налил. Вылез — чистый, но мокрый. Пришлось вытереться — стал сухой. Выглянул опасливо: не стучат ли? А то ведь некоторые люди не верят, что закрыто, им бы постучать или за ручку подёргать, попробовать. Люди вообще странные; я даже знаю некоторых людей, которым всё равно что продавать. Сегодня он продаёт книги, завтра булочки. Безнравственно это! Продавать надо что-то одно, любимое. Покупать можно всё, а вот продавать только то, что любишь. Как наш овощник. Ты только из дома вышел, а он уже подбирает тебе помидоры. Выйти, что ли, посмотреть — может, уже овощи привезли? А, ладно, лучше буду о Б-ге думать. Сейчас устроюсь поудобнее — и с сигареткой… Так вот, интересно, знает ли Он, что я живу на улице Штерн и что сегодня купил… Ну ладно, неважно, в самом деле. Главное, Б-г, — Ты не один, у Тебя есть я. И если Тебе станет скучно — спускайся, мы можем поговорить. Конечно, я не математик, не физик и даже не экономист, но то и сладко! С теми, кто много знает, трудно разговаривать, а я ничего не знаю, меня можно убедить. А теперь ответь, пожалуйста, что такое телевизор? Почему там разговаривают, а здесь передаётся? Почему старики похожи на детей, но не молодеют? Почему что-то в жизни получается, а что-то нет? Почему ноги длиннее рук, а голова одна? И что это у Тебя за правило: не вари козлёнка в кокосовом молоке его матери? Что-то значит или просто для порядка? Почему мне сегодня не принесли овощи, наконец?

Да, как хорошо, что Б-г умный. Всё по полочкам разложил; справедливость, понятно, побеждает. Вот теперь я могу и вам рассказать. Своими словами, конечно. Вот только что?

Вроде с кем-то разговаривал, задавал вопросы, а ответы не помню. Вопросы помню — умные вопросы, а ответы не помню. К чему бы это? К кому бы это? Зачем это? Кажется, про ступеньки говорили, точно — про ступеньки, что их количество не имеет значения. Или всё-таки имеет? Или не имеет? А как на самом деле?

Начиная лысеть

Мужчина — лицо широкое, чуть одутловатое, но ещё молодое, с некоторой чёрточкой недоверчивости. Маленький рот, не гармонируя с общим холодком, привычен к улыбке. Мужчина начинает лысеть, и по краям лба предательские уступы всё больше углубляются в ровно подстриженный ёршик русых волос. Руки у мужчины маленькие, изящные, ногти он обрабатывает пилкой, и от этого руки приобретают законченность, выражая скупое, характерное для мужчины движение. Недавно мужчина женился. Женщина родом из Украины, чуть выше мужчины, широкобёдрая, с маленькой грудью, такая же русоволосая. В её глазах, когда она смотрит на мужчину, хитроватое выражение сменяется на уныло-покорное. Кроме жены, в квартире мужчины живёт его мама — очень маленькая старушка с плотно сжатыми губами. Старушка часто из-под сморщенных век быстрым взглядом оглядывает квартиру и, оглядев, облегчённо вздыхает. Иногда она подходит к холодильнику, открывает его и, выпуская заждавшийся жёлтый свет, внимательно смотрит внутрь.

По вечерам мама мужчины и жена мужчины, обе в домашних халатах, сидят в салоне напротив телевизора и грызут семечки. Мама — встревоженно оглядываясь, жена — равнодушно позёвывая. Плоский телевизор на стене, слишком огромный для салона, показывает сериалы, бьёт в их лица яркими красками.

Мужчина — парикмахер.

Его маленькие, изящные руки ухватили в этом мире что-то очень существенное, достойное, и поэтому его улыбка чуть-чуть пренебрежительна. Мужчину уважают на работе, а после работы у него опять работа — начинаются частные клиенты.

Я тоже частный клиент, и когда я прихожу, мы говорим о важном. Мужчина настраивает на деловой тон — я соответствую.

— Вот кондиционер с проводкой по комнатам, — говорит мужчина и берёт в руки жужжащую машинку. — Я раньше думал — он самый дешёвый. А начинаешь разбираться — и что?

— Что?

— Оказывается, он много света забирает! Но если купить кондиционер в каждую комнату, то так будет намного экономней! — Мужчина с превосходством похохатывает. — Если, допустим, мама не хочет, можно сэкономить, или ночью включил тихонечко в спальне — а берёт как холодильник. С проводкой же — будто четыре холодильника! Плюс надо строить искусственный потолок — это в наших-то квартирах! И ведь есть тупые, которые не понимают.

— Есть, — говорю я, не признаваясь, что у меня кондиционер с проводкой.

— По три раза объясняй — не поймут.

— Потом доходит, — сдержанно замечаю.

— Просто идиоты.
— Ну, не знаю…
— Когда ремонт делал, видел, какой ремонт? Теперь, после ремонта, моя квартира за миллион продаётся. А рядом чинили, больше, чем я, денег потратили,— мужчина саркастически улыбается,— а толку не добились.

Мужчина действительно нашёл хороших мастеров — квартира будто вылизана: дубовые двери, матовые плиты пола, шероховатая, с искорками, побелка.
— Вот сервант,— увлекается мужчина,— я на местный вообще плевал, заказал немецкий и приказал, чтобы прислали.

Я в зеркало вижу краешек серванта — сервант как сервант, слишком лаковый.
— Ну, вот и всё!— объявляет мужчина и эффектно снимает с моих плеч покрывало.

Я встаю, он поворачивает голову и недовольно понукает:
— Лена, сделай тише телевизор!

Жена без слов делает тише. Мы сталкиваемся взглядами, и в её ставших на мгновение очень хитрыми глазах мелькает откровенный интерес. Старушка, будто почуяв, мгновенно оглядывается, но немецкий сервант, холодильник, шторы — всё на месте.
— Сколько жадных,— с укором говорит мужчина.— Поднял цену за стрижку на пять шекелей — и что ты думаешь! Половина перестала приходить! Лю-ю-юди,— тянет с презрением,— люди, человечество! Посмотришь новости — всё о прогрессе! А сами пять шекелей заплатить не могут.
— Я могу заплатить,— говорю я и отдаю ему дополнительные пять шекелей.

Я теперь знаю, за что.

Просвещение

В час ночи маленький магазинчик в начале улицы Хеврон ещё работает. В его свете живут разные полнощные люди и всегда стоят машины, заехав передними колёсами на тротуар. Если купить внутри этого магазинчика у смуглого весёлого сефарда водку или бренди, то есть прямой смысл подняться по спящей короткой улице вверх, свернуть направо и пройти по узенькой тропке вдоль стены синагоги. Возможно, впереди вас ждёт веранда низкого, вросшего в землю дома, где всегда сидят двое. В случае удачи ты устанавливаешь своё бренди, цвет которого не виден, и садишься. А теперь вбирай атмосферу и молчи: во-первых, нет смысла здороваться ночью, так как ночью не здороваются; а во-вторых, совсем неважно, что ты хотел сказать, что ты принёс и зачем пришёл. Зато важно, чтобы не проснулась большая белая собака, а сон её весьма чуток.

Итак, ты пришёл и сидишь, и тут всегда начинает один, неважно кто. Голос у него низкий, с хрипотцой, и, рассказывая, он часто останавливается и сильно затягивает сигарету.
— Работаю я в религиозной школе. Ну, работа как обычно: мою, убираю. А вчера подходит ко мне один: «Хочешь помочь принести «кевес»?» — спрашивает. Не знаю, что такое «кевес», на всякий случай говорю: «Нет». Это у меня метода такая — говорить «нет», чтобы не попасть в ситуацию. Ну, тот ушёл. Мою, убираю. Закончил и спустился во двор. Вижу — посреди двора баран со связанными ногами лежит, блеет. Вот, значит, что за «кевес». А кругом огромное количество детворы, вся школа высыпала. Обступили барашка, толкаются. И мне тоже объяснили: оказывается, педагоги решили показать детям, откуда берётся мясо. И вывели всех наружу. Посмотреть на связанное живое существо. Мясо… Барашек блеет, у детей глаза блестят, их тщетно пытаются утихомирить, шум стоит невероятный. Возбуждение нарастает, и толпа, единым порывом выдыхая, сбивается к жертве, чуть не наступая на неё. И тут появляется тот, который так был нужен,— резник. Открыл калитку и стоит. В руке зелёный прутик. И он им ловко вертит между пальцами. Посвистывает. Детей как судорогой передёрнуло. Затихли. Потом зашевелились, зашептали… Ладошки в кулачки зажали, глаза навострили… И тут их учителя разом забрали в классы. А в классах усадили за парты и не дают подходить к окнам. Но в одном случае учитель, понадеявшись на ставни, таки ушёл, и мне, близко стоящему к дому, слышен шум и царапанье за ними. А резник всё посвистывает. Подошёл. Нагнулся. Присел на корточки, прутик на землю положил и барашка по шее гладит, гладит… Во дворе, кроме меня и резника, ещё двое учителей и учительский сынок, мальчик постарше, с фотоаппаратом. Хочет историческое событие запечатлеть. Пейсики за уши заложил, объектив наставил, сам бледный, руки трясутся. А резник не торопится, посвистывает себе. Глядь, в руке ножичек появился, маленький такой, блеснул на солнышке. Барашек от удовольствия притих, голову назад запрокинул, а тот ему, ласково почёсывая, кудряшки разводит. Руку с ножичком поднял. Свистит, свистит. И тут я: «Да ну вас к чёрту!» — развернулся и ушёл.
— Как ушёл?— спросил пришедший.

И сразу проснулась большая белая собака. Проснулась, раскрыла рот и проглотила — ночь, луну, дорогу и все рассказанные рассказы.

Лев Бердников

Веселовские

Три представителя этого замечательного семейства составили гордость российской дипломатии и в 1710-е годы вошли в самый влиятельный клан, ведавший внешней политикой империи. То были родные братья Веселовские — крещёные евреи ашкеназского происхождения. Основателем династии был выходец из польского местечка Веселово Яков. Он оказал важные услуги русской армии при взятии Смоленска в 1654 году и был поставлен перед необходимостью креститься, после чего переехал в Московию. Сын же его, Павел Яковлевич Веселовский (ум. 1715), женился на крещёной еврейке Марии Николаевне Аршеневской (бывшей в родстве с вице-канцлером П. П. Шафировым), в браке с которой произвёл на свет шестерых сыновей и двух дочерей. Сведения о Веселовском-старшем довольно скудны. Известно, что какое-то время он служил стольником и был, по всей видимости, человеком образованным, иначе не курировал бы в 1706–1711 годах работу немецких школ в Москве. И жительствовал он в Первопрестольной, владея домом за Покровскими воротами, что в Земляном городе. В последние годы жизни он был комиссаром Аптекарской канцелярии в Москве.

В историю России вошли, точнее, ворвались его сыновья — Авраам Павлович (1685–1783), Исаак Павлович (1690–1754) и Фёдор Павлович (ум. до 1776) Веселовские. Двое из них, сбежав от монаршего гнева, покинули Россию и скрылись в Англии (правда, один из них потом вернулся), третий пережил опалу на родине. Об их судьбах и будет наш рассказ.

1. Опальный дипломат

Даже спустя более полувека после бегства из России этот седой, как лунь, почти столетний старец неизменно проявлял к своей бывшей отчизне живой и неподдельный интерес. «Я посетил от Вашего имени г. Веселовского, — писал об этом из Ферне, что близ Женевы, один именитый француз российскому канцлеру А. Р. Воронцову, — добрый старик… воодушевлялся от всего, что я ему рассказывал о его родине, и радость была видна в его глазах и чертах». Некогда видный дипломат Петровской эпохи, Авраам Павлович Веселовский (1685–1783) с 1730 года обосновался в Швейцарии, где жил достойно и весьма безбедно в кругу любящих домочадцев: женившись в 1741 году вторым браком на француженке Марианне Фабри, он стал отцом четырёх дочерей, счастливым дедом и прадедом.

Возвратиться на родину ему предлагала ещё русская императрица Елизавета Петровна. А при Екатерине II он получил возможность вернуться в Россию, что называется, на белом коне — с большим почётом. Этого добился для него сам «фернейский патриарх» Вольтер, близкий друг Авраама, нашептав о нём монархине много лестных слов. Знатные русские вояжёры (среди коих были такие знаковые фигуры, как президент Российской Академии княгиня Е. Р. Дашкова и победитель турок граф А. Г. Орлов-Чесменский) почитали за честь посетить дом Веселовского в Ферне. Но почему же всякий раз, глянув невзначай на портрет великого реформатора Петра I, всегда невозмутимый, сдержанный Авраам Павлович вдруг смешается, задрожит, как осиновый лист?

Может статься, в сей миг память властно переносит старца в далёкие 1720-е годы, когда положение его, бывшего российского резидента в Вене, было более чем рискованным и опасным. Случилось так, что Авраам Павлович нарушил рескрипт Петра I от 3 апреля 1719 года, где ему предписывалось «с возможным поспешением» вернуться в Россию якобы для направления «с некоторыми комиссиями к другому некоторому двору». Поначалу Веселовский вроде бы и направлялся домой; по пути он свиделся в Берлине с русским посланником А. Г. Головкиным и тайным советником П. А. Толстым, но с тех пор резидента Веселовского и след простыл.

Царь забил тревогу незамедлительно: указание о поиске и аресте беглого Веселовского было тут же разослано всем российским эмиссарам за границей. А весной 1720 года для поимки ослушника в одном из германских княжеств был организован боевой оперативный отряд. Возглавил его военный агент русской армии князь Ю. И. Гагарин, действовавший под именем Вольского. Этому-то Вольскому с сотоварищами и надлежало выследить Авраама Павловича, а затем доставить его в Петербург; в случае же невозможности задержания предусматривался даже вариант убийства бывшего резидента. Дипломатическое прикрытие «боевиков» за границей осуществлял близкий к императору генерал-майор П. И. Ягужинский.

Поначалу ищейки Петра, кажется, напали на след «бездельного крещёного жида», как они его называли. Его будто бы видели в окрестностях Франкфурта-на-Майне, в Гессен-Касселе. Стремясь придать делу законный характер и понимая, что добровольный выезд из страны для западных юристов преступлением не является, царь наказал Вольскому объявить о значительном денежном долге, от уплаты которого якобы скрывался Веселовский. Кольцо вокруг изгнанника, мнилось,

вот-вот сомкнётся. Но и у Авраама Павловича были свои доброхоты… Предупреждённый в самый последний момент о западне, он спешно выехал в неизвестном направлении — и был таков!

Вскоре он, однако, объявился в недосягаемом для «боевиков» Вольского Лондоне. Пётр и здесь не оставил попыток заполучить перебежчика и весьма разгневался, когда получил с берегов Темзы неутешительный ответ: «Английский король не может исполнить просьбу царя, не нарушая права убежища, которое должно оставаться неприкосновенным у всех народов». Царю напомнили и о том, что Веселовский не был ранее ни судим, ни подвергнут наказанию. И хотя Палата общин не удовлетворила в ноябре 1724 года петицию Авраама Павловича о его натурализации в Туманном Альбионе, новый эмигрант чувствовал себя здесь в полнейшей безопасности. Отсюда в 1730-е годы он переехал в благословенную Швейцарию, где и нашёл своё окончательное пристанище.

Что же заставило Веселовского стать первым в российской истории дипломатом-невозвращенцем?

Эмигрантами, как известно, не рождаются — ими становятся, причём к такому отчаянному решению ведёт логика всей предшествующей жизни. А потому рассказ о нашем герое следует начать с его первых шагов.

Можно сказать, что с самого начала карьера Авраама была обречена на успех. Ведь он находился в родстве с блистательным дипломатом того времени, вице-канцлером, бароном П. П. Шафировым — по некоторым сведениям, приходился тому племянником. Какое-то время Веселовский воспитывался в его доме, и, видимо, именно дядя-полиглот привил ему интерес к иностранным наречиям: Авраам свободно говорил по-немецки и владел латынью. Здесь-то, будучи в гостях у вице-канцлера, и заприметил его проницательный Пётр, предрекший отроку большое будущее.

Когда юноше минуло восемнадцать, он был направлен за казённый счёт в только что открывшуюся в Москве первую в России гимназию. Возглавлял её происходивший из Мариенбурга пастор Эрнст Глюк (интересно, что именно у него одно время была в услужении Марта Скавронская — будущая императрица Екатерина I). Познания этого учёного мужа были весьма обширны: он был автором краткой географии на русском языке, русской грамматики и молитвенника, составил славяно-латино-греческий словарь, перевёл труды замечательного чешского педагога Я. А. Коменского «Преддверие», «Открытая дверь языков», «Мир чувственных вещей в картинках».

Поражала универсальность предлагаемого гимназией образования: здесь изучали географию и политику, историю и астрономию, латинскую риторику и ифику, философию деятельную и картезианскую, танцевальное искусство и «поступь французских и немецких учтивств», фехтование, конное искусство и берейторское обучение лошадей. Особое внимание уделялось языкам (их преподавали учителя-иноземцы). Так, Веселовский штудировал французский, немецкий, латинский, греческий, древнееврейский и даже сирийский и халдейский языки.

Но и этого оказалось мало для пытливого юноши, и для совершенствования в языках он в марте 1705 года направляется в чужие края, где состоит сначала при российском эмиссаре Г. Гюйсене, а затем при видном сподвижнике Петра князе Б. И. Куракине, выполнявшем в то время важные поручения царя по укреплению международного авторитета России (для этой цели ему привелось даже целовать туфлю римскому папе). Под руководством Куракина Веселовский постигал и науку дипломатии. Потому, наверное, вернувшись в Петербург, он сразу же получил назначение в дипломатическое ведомство — Посольскую канцелярию, где с декабря 1708 года начал работать переводчиком. Ему, определённому состоять «у секретных дел», был установлен огромный для того времени оклад — 200 рублей в год.

Во время Полтавской баталии Авраам был уже дьяком Посольского приказа. Он неотлучно сопровождал царя, который в июне 1709 года послал ловкого еврея в Данию с письмом, извещавшим о победе русских над шведами. С 1710 года Веселовский служит в Ижорской канцелярии под руководством «государственных тайных дел министра», светлейшего князя А. Д. Меншикова, при котором занимает очень высокое положение. Современник свидетельствовал: «Ныне Аврам Веселовской… у князя гораздо в милости, и хотя не виден при его светлости, однако ж все дела отправляет».

В 1715 году Веселовский становится резидентом в Вене. По приезде в эту столицу Габсбургской монархии он незамедлительно (уже через пять дней) был принят во дворце самим цесарем Карлом IV. В налаживании связей при Венском дворе он обнаружил своё хитроумие и дипломатический дар — в то время в международной практике это называлось «поиском нужных каналов». Задача нашего героя и состояла в том, чтобы «каналы» эти, так сказать, текли в направлении России, работали бы ей во благо. Примечательно, что он пытался заручиться поддержкой влиятельного обер-гофканцлера графа Цинцендорфа. Тонкий психолог, Веселовский не постеснялся прибегнуть и к коварству: прознав о неукротимой страсти супруги графа к карточной игре, он ссудил ей известную сумму в обмен на важные услуги её мужа российской короне.

Авраам Павлович не только выполнял посольские обязанности, но — по заданию Петра — подыскивал «нужных людей», ибо молодая Россия как никогда нуждалась в квалифицированных врачах, инженерах, архитекторах и т. д. При этом он стремился привлечь и своих соплеменников, не боясь ходатайствовать об иудеях перед явно не расположенным к ним царём. В одном из писем к монарху Веселовский пишет: «Евреи всегда отличались своими познаниями в медицинской науке, и только благодаря еврейским врачам возможно было успешно бороться со многими лютыми болезнями, между прочим, с лепрой (проказой. — *Л. Б.*)». Венценосец ответил на это письмо так: «Для меня совершенно безразлично, крещён ли

человек или обрезан, чтобы он только знал своё дело и отличался порядочностью». Утверждение беспрецедентное, если учесть, что ранее тот же самый Пётр называл жидов плутами и обманщиками и категорически запретил им селиться в России! Не исключено, что импульсивный царь поддался здесь обаянию и силе логики своего венского резидента.

Веселовский неутомим: то он отыскивает для царя ценные книги по юриспруденции; то договаривается с учителями иезуитских школ в Праге о переводе на русский язык универсальных лексиконов, то по просьбе А. Д. Меншикова хлопочет о покупке парадной кареты.

Казалось, дипломатическая фортуна явно к нему благоволила, но произошло событие, нарушившее весьма продуктивную работу резидента. То было знаменитое «дело царевича Алексея», в коем Авраам Павлович вынужден был принять самое деятельное участие. Поскольку «непотребный сын» царя под чужим именем скрылся в Австрии, Веселовскому надлежало разведать о его местопребывании и способствовать его выдаче разгневанному отцу. С декабря 1716 года по июль 1717 года он фактически руководил поимкой царевича. В марте 1717 года Веселовскому удалось наконец напасть на его след в тирольской крепости Эренберг. Резидент пытался добиться выдачи Алексея дипломатическим путём (он вёл переговоры и с цесарским принцем Евгением, и даже добился личной аудиенции у самого Карла IV), но всё оставалось втуне. Внезапно (возможно, от долговременной езды в экипаже в поисках царевича) «приключилась у Веселовского с жестокою лихорадкою почечуйная болезнь, которой прежде он никогда не имел». Он вынужден был устраниться от дальнейших действий, а потому заслуга по возвращению царевича в Северную Пальмиру приписывается другим эмиссарам царя — А. И. Румянцеву и П. А. Толстому, доведшим дело до конца.

Чем же руководствовался Веселовский во время событий вокруг несчастного сына Петра I? Забавно, что в оценке поведения нашего героя сходятся во мнениях исследователи полярно противоположных взглядов. Так, историк-почвенник Н. Н. Молчанов, по существу, обвиняет Авраама в потворстве Алексею и в его укрывательстве. Веселовский предстаёт в его книге «Пётр I» (М., 2003) опасным интриганом. «Ясно, что эти (Веселовского. — *Л. Б.*) интриги, — резюмирует Н. Н. Молчанов, — осуществлялись не в пользу Петра, иначе бывший резидент не побоялся бы вернуться на родину». В этом же духе высказывается и израильский писатель Д. Маркиш в своей книге «Еврей Петра Великого, или Хроника из жизни прохожих людей» (СПб., 2001). Он живописует сцену, где Веселовский будто бы прямо предупреждает царевича об опасности: «Поберегите себя, Ваше Высочество, не выезжайте без охраны из Эренберга, чужих к себе не допускайте! И не возвращайтесь в Россию до срока…» Авраам Павлович вызывается даже послать по своим «каналам» (писатель тоже употребляет это слово!) лекарство для телесной крепости опальной матери Алексея, Е. Ф. Лопухиной, сосланной Петром I в Суздальский монастырь.

Трудно поверить приводимым Д. Маркишем фактам: то в Суздале вдруг объявляется некто Янкель, спешащий по заданию Веселовского свидеться с Лопухиной, то самому венскому резиденту какой-то продавец кошерного мяса Рувим приносит тайное письмо от другого еврея, П. П. Шафирова, где тот предупреждает Авраама о грозящей опасности.

На самом же деле и Шафиров, и Веселовский привыкли жить в нееврейском окружении и имели мало общего с религиозными иудеями. Достаточно сказать, что Авраам Веселовский был не просто выкрестом, но и дважды перекрещенцем — сначала в православие, а затем в протестантство. Это, понятно, не исключало свойственной им, как и всем евреям, солидарности со своими соплеменниками, стремления облегчить их участь в антисемитской стране. Но всё-таки во главу угла ими были поставлены интересы России, и именно с ними эти два придворных еврея пытались примирить своё национальное чувство. А потому весьма сомнительно, что фактический глава российского дипломатического ведомства Шафиров призывал своего помощника Веселовского не подчиняться приказам Петра I и стать невозвращенцем, что приравнивалось в то время к государственной измене. К тому же Шафиров сыграл зловещую роль в расправе над царевичем Алексеем, которому нисколько не сочувствовал.

По-видимому, независимо от того, виновен ли был Веселовский в глазах царя или нет, прослышав о многочисленных жестоких казнях по сему делу (ведь известно: лес рубят — щепки летят!), он убоялся возвращаться в Петербург.

Живя долгие годы в эмиграции, он довольствовался лишь весточками с родины, до которых, впрочем, был охоч. В России сменились уже восемь императоров: Пётр I, Екатерина I, Пётр II, Анна Иоанновна, Иоанн VI, Елизавета Петровна, Пётр III, наконец, Екатерина II, а Авраам Павлович так и не предпринимал попыток туда вернуться, он свыкся с ролью наблюдателя издалека.

Почему? Именно этот вопрос задал Веселовскому посетивший его в Швейцарии граф А. Г. Орлов-Чесменский, на что получил ответ: «На родину я вернусь только тогда, когда в ней утратят силу три пословицы: „Без вины, а виноват“, „Хоть не рад, да готов“, „Божье да Государево“». Авраам Павлович тем самым возвышает свой голос против незащищённости прав личности («Без вины, а виноват»), рабской угодливости («Хоть не рад, да готов»), всесилия авторитарной власти («Божье да Государево»). А это ставит Веселовского в ряд политических беженцев из России и роднит его с нашими эмигрантами третьей волны…

Из уважения к памяти видного дипломата император Александр I в 1803 году назначил дочери Веселовского пенсию в сто голландских дукатов. Другие потомки Авраама также получали субсидии от русского двора вплоть до 1843 года, то есть и при правлении явно не благоволившего к евреям Николая I. Как видно, наш опальный

невозвращенец был после смерти полностью реабилитирован, а его заслуги перед родиной получили достойное признание.

II. Ментор для наследника престола

Вот парадокс: еврей Исаак Павлович Веселовский (1690–1754) обучал русскому языку будущего императора православной России — Петра III! При этом поражало не столько его безукоризненное лингвистическое чутьё (в конце концов, он родился в Москве и русский язык был для него родным), сколько произошедшая с Исааком метаморфоза. Ведь в гимназии Эрнста Глюка, учеником которой (вслед за старшим братом Авраамом) он был, Исаак слыл нерадивым учеником и первостатейным проказником, за что часто подвергался наказанию розгами. Но уже тогда, в школьные годы, сей шаловливый отрок отличался смышлёностью и тонким юмором, а впоследствии стал одним из оригинальнейших умов своего времени. Его искромётные остроты и каламбуры молниеносно передавались из уст в уста…

Как и брат, он был полиглотом и определился по дипломатической части, начав в 1707 году службу в Посольском приказе переводчиком с немецкого и латинского языков. Карьера у Исаака Павловича задалась, и уже в 1709 году он был направлен в российское посольство в Пруссию, а в январе 1710 года — в Данию.

Познания и опыт Веселовского, приобретённые в этих странах, оказали неоценимую помощь царю во время его второго великого путешествия по Европе в 1716–1717 годах, в ходе которого Россия намеревалась заключить союз с Пруссией и Данией против Швеции. Кроме того, царь высоко ценил поистине виртуозное владение Веселовским французским языком и, находясь в Париже, часто использовал его как толмача.

Вероятно, уже тогда, в путешествии, наш герой сблизился с Петром, иначе трудно объяснить его дальнейший взлёт: с 1718 года он был назначен секретарём и одновременно главой Иностранной экспедиции Посольской канцелярии, а с февраля 1720 года — секретарём всей Коллегии иностранных дел.

Однако дипломатическая фортуна отвернулась от него, когда вышло наружу бегство его опального брата. Пётр незамедлительно перевёл Исаака Павловича на самую рядовую должность в значительно менее престижную Берг-коллегию. Но скоро, поняв, видимо, что горнозаводское дело бесконечно далеко от устремлений бывшего дипломата, царь смилостивился и решил использовать его лингвистические познания. Пётр доверил ему обучение французскому языку своих августейших дочерей, цесаревен Анны и Елизаветы. Если учесть, что монарх прочил Елизавету в жёны французскому королю, можно с уверенностью сказать, что знанию сего предмета он придавал первостепенное значение и относился к нему с большим пиететом. Веселовский приобщал цесаревен к французской словесности и культуре в течение целых трёх лет — с июня 1722-го по июнь 1725 года! Не здесь ли следует искать истоки той галломании, которая впоследствии заполонит двор будущей императрицы Елизаветы Петровны?

В 1726 году мы видим Исаака Павловича уже на Кавказе, в армии, при ставке генерал-аншефа князя В. В. Долгорукова, командующего Низовым (Персидским) корпусом. Образованный еврей выполнял при нём обязанности секретаря. Замечательный военачальник, Долгоруков присоединил к русским владениям Кергерутскую область, Астару, Ленкорань и Кызыл-Агач и как раз в 1726 году за свои ратные подвиги получил (причём во второй раз) высшую награду России — орден Св. Андрея Первозванного, а в 1728 году был удостоен чина генерал-фельдмаршала. Секретарь же его Веселовский не только не был награждён, но, отпущенный из Гиляни (Персия) в отпуск осенью 1727 года, в июне 1728 года был арестован и схвачен в Коломне, недалеко от Москвы.

Оказалось, что Исаак замешан в так называемом деле княгини А. П. Бестужевой (Волконской), бывшей в то время владелицей первого в России светского салона. Он особенно близко приятельствовал с родным братом Бестужевой, Алексеем Петровичем, бывшим в то время русским резидентом в Копенгагене, и через него сошёлся с княгиней. Пристанищем её друзей (в число коих входил и Веселовский) стал небольшой дом Асечки Ивановны (так они называли Бестужеву) на Адмиралтейском острове, в Греческой улице. Среди завсегдатаев салона, помимо нашего героя, были фаворит Елизаветы Петровны, будущий генерал-фельдмаршал А. А. Бутурлин, камергер Екатерины I С. А. Маврин, знаменитый арап Петра Великого Абрам Ганнибал, сенатор Ю. С. Нелединский и др. «Как это часто бывает в молодёжных компаниях, — говорит историк, — друзья создали некий собственный мир шутливых отношений, со своими обычаями, смешными церемониями, словечками и прозвищами. Они любили собраться вместе, поболтать, потанцевать, выпить вошедшего в моду „кофею“». Впрочем, сотоварищей объединяло ещё одно свойство: все они (каждый по своим резонам) ненавидели могущественного тогда светлейшего князя А. Д. Меншикова, на чей счёт постоянно чесали языки.

Болтовня-то и погубила салон Бестужевой. Как-то раз Асечка принесла из дворца свежую сплетню: Меншиков возжелал женить наследника престола Петра Алексеевича (будущий Пётр II) на своей дочери Марии. Услышав это, друзья, не церемонясь в выражениях, костерили светлейшего, узурпировавшего власть в стране.

Узнав об этом, Меншиков незамедлительно расправился и с Асечкой, и с её неосторожными товарищами. Бестужевой было велено ехать в её подмосковную деревню, Ганнибала отправили в сибирскую глухомань, Маврина и Бутурлина понизили в должности. Веселовский, важных улик против коего не нашлось, был всё же для острастки снова выслан в Гилянь, а в августе 1730 года (уже после низвержения и смерти Меншикова) переведён в Дербент.

Здесь-то его застал высочайший указ императрицы Анны Иоанновны о его новом назначении

секретарём канцелярских дел при Низовом (Персидском) корпусе, теперь уже под водительством генерал-майора И. И. Бибикова. При этом Исаак Павлович получил чин коллежского асессора. Далее он поступил в распоряжение главнокомандующего русскими войсками в Персии герцога Л. Г. Гессенгомбурского, разбившего с большим преимуществом в 1733 году непокорные орды татар и крымцев. Но на исходе того же 1733 года герцог был отозван в Петербург, а Веселовский продолжал отбывать ссылку — теперь уже в Астрахани и Царицыне. Из бумаг видно, что ему много лет не выплачивали жалования. Освобождён он был только в октябре 1740 года, а в марте 1741 года отставлен от службы, как он писал, «за немощию».

Но «немощь» сразу же покинула Исаака Павловича, как только на российский престол взошла Елизавета Петровна. При ней вновь начался стремительный взлёт карьеры Веселовского, далеко превзошедший его прежние дипломатические успехи. Императрица с благодарностью относилась к своему бывшему учителю французского и весьма к нему благоволила. Помнил о нём и его прежний товарищ, а ныне кабинет-министр, канцлер А. П. Бестужев, ставший при Елизавете одним из самых влиятельных вельмож при дворе.

Уже в декабре 1741 года коллежский асессор Веселовский был произведён в действительные статские советники, перемахнув тем самым через целых четыре ступени в «Табели о рангах». «В титуловании подобное изменение, — говорит израильский историк С. Ю. Дудаков, — вознесло баловня судьбы из заурядного «ваше благородие» в почти «небожителя» — „ваше превосходительство“». Востребованным оказался и его талант дипломата: Исаака Павловича назначили главой Секретной экспедиции Коллегии иностранных дел. Как истый государственник, он вновь с головой ушёл в любимую работу: принимал деятельное участие в переговорах со Швецией в 1743 году и с Англией в 1744–1745 годах; в 1744 году ратовал о постройке укреплённых линий в Сибири для защиты от набегов кочевых инородцев; был инициатором союза России с Саксонией против усилившейся Пруссии. В 1745 году Веселовский был произведён в тайные советники, а в 1746 году ему был пожалован орден Св. Александра Невского.

В 1742 году императрица приставила дипломата к наследнику престола Петру Фёдоровичу для обучения его русскому языку, которым тот, живя в Голштинии, не владел. По-видимому, ментором Исаак Павлович был превосходным, поскольку уже через год занятий великий князь свободно изъяснялся по-русски. Об этом свидетельствует дошедшее до нас ученическое сочинение венценосного отрока, переведённое им самим с немецкого языка на русский и датированное 1743 годом. Конечно, письменный русский язык наследника был далёк от идеального, но не забудем, что и исконно русские люди (в том числе и придворные) писали порой с ещё большими ошибками.

«Самый умный человек в России» (так назвал его один именитый иностранец), Исаак Павлович жил передовыми идеями эпохи. Он был завзятым книгочеем и напряжённо следил за современной ему мировой словесностью. Так, «тема новейшей французской литературы, — свидетельствует историк В. С. Люблинский, — пронизывает его (Веселовского. — *Л. Б.*) деловую корреспонденцию столь настойчиво, что заслуживает специального изучения».

И в самом деле, обратившись к эпистолярному наследию Исаака, мы почти в каждом письме найдём упоминания не только о Монтене, но и о П. Бейле, Вольтере и Ж.-Ж. Руссо, о многих других современных ему литераторах. При этом наш герой обнаруживает завидную осведомлённость в текущих культурных событиях Европы. Он, к примеру, весьма оперативно отзывается на арест Вольтера во Франкфурте в 1752 году, проявляя солидарность с писателями-философами. Симптоматично в этой связи, что «западник» Веселовский, заручившись поддержкой канцлера, поспособствовал снятию ограничений на ввоз иностранных книг в Россию. В результате эти издания стали регулярно поступать в книжные лавки Москвы и Петербурга. «Книг французских… — с удовлетворением писал Исаак Павлович графу М. И. Воронцову в 1753 году, — на последних осенних кораблях надобно ожидать».

Веселовский не побоялся перед лицом монархини-юдофобки настойчиво ходатайствовать о судьбе своих соплеменников (как некогда его старший брат хлопотал о них перед её великим отцом). Какие только резоны он не приводил, объясняя все выгоды жительства евреев в Российской империи! Он склонил на свою сторону даже канцлера Бестужева. Но императрица была неумолима, она не пожелала отменять свой известный указ от 13 декабря 1742 года о высылке всех жидов из Малороссии, бросив свою знаменитую фразу: «От врагов Иисуса Христа не желаю интересной прибыли!» Как же отреагировала ненавистница иудеев Елизавета на это «дерзкое» прошение крещёного еврея? Во всяком случае, она его не наказала, не подвергла опале, демонстрируя лично к нему свою прежнюю приязнь. Может быть, она не видела, не хотела видеть в своём бывшем учителе врага Христа. Скорее всего, Елизавета приняла его настойчивость за проявление наивного благодушия, впрочем, извинительного для христианина.

Справедливости ради надо сказать, что при сей императрице Веселовский находился в полной безопасности и был надёжно защищён от происков неприятелей. А придворным интригам он отнюдь не был чужд. Одна из них — склока графа М. И. Воронцова и канцлера Бестужева, в которой Исаак Павлович занял сторону Воронцова (хотя в прошлом и дружил с канцлером). Описывать все перипетии борьбы и противостояния этих знатных мужей мы не будем. Отметим только, что доведённый до бешенства канцлер настрочил на Веселовского верноподданнический извет, в котором доносил, что на одном из дипломатических приёмов тот (о, ужас!) отказался пить за здоровье государыни. «…Один только Веселовский, — докладывал Бестужев, — полон пить не хотел, но

ложки с полторы и то с водою токмо налил и в том упрямо перед всеми стоял, хотя канцлер из верности Ея Императорскому Величеству и из стыда перед послами ему по-русски и говорил, что он должен сие здравие полным бокалом пить, как верный раб, так и потому, что ему от Ея Императорского Величия много милости показано пожалованием его из малого чина в столь знатный». Ясно, что Бестужев мнил подвести Веселовского под уголовную статью об оскорблении Величества (за что в прежние царствования пытали в Тайной канцелярии). Но не вышло: Елизавета полностью проигнорировала донос и осыпала Исаака Павловича новыми милостями.

В последние годы тайный советник Веселовский часто проводил дни в тиши своего кабинета за любимыми книгами. Читал он чрезвычайно быстро. И спешил: видно, не хотел упустить в жизни то, что обогащает разум и возвышает душу. Он покинул мир в сентябре 1754 года ещё не старым — 64-х лет от роду. Место захоронения его неизвестно.

III. Возвращение резидента

Будучи русским резидентом в Лондоне, еврей Фёдор Павлович Веселовский (ум. до 1776) добился возведения в английской столице православного храма — первого на Туманном Альбионе. Поистине — неисповедимы пути Господни!

Год рождения этого адепта православия неизвестен. Историк Д. О. Серов высказал предположение, что он был близнецом Исаака Веселовского. Так же как и брат, он обучался в гимназии Э. Глюка (причём тоже слыл изрядным шалуном), а затем был принят в Посольский приказ переводчиком с немецкого и латинского языков. И, подобно жизни братьев — Авраама и Исаака, жизнь Фёдора была исполнена драматизма: бурные взлёты чередовались в ней со столь же стремительными падениями.

Поначалу карьера Фёдора Веселовского складывалась блистательно. Ему довелось служить под началом «державы Российской посла» князя Б. И. Куракина. Классический русский аристократ, выдающийся деятель своего времени, Куракин был опытным дипломатом и отличался эрудицией, широтой интересов, холодным ироничным умом и пылким темпераментом. Он сразу же оценил и приблизил к себе Фёдора, и тот был всегда рядом со своим патроном. В 1707 году они отправляются в Рим, к папе Карлу XI, с заданием добиться непризнания Станислава Лещинского польским королём. Вместе с Куракиным туфлю его святейшества целовал тогда и юный Веселовский. Переговоры увенчались успехом, и после завершения миссии эти двое московитов исколесили всю Европу, останавливаясь в Венеции, Вене, Гамбурге, Амстердаме. Впрочем, путешествие их отнюдь не было праздным: они пытались воспрепятствовать вербовке наёмников в шведскую армию, в чём тоже преуспели. В январе 1710 года Фёдор сопровождает Куракина, получившего должность полномочного министра, в Ганновер, где они ведут длительные переговоры с курфюрстом Георгом Людовиком. Благодаря усилиям Куракина и Веселовского была подписана союзная конвенция, обеспечившая гарантии дружественного нейтралитета курфюршества по отношению к России и её союзникам.

В 1712 году Фёдор Павлович, уже в ранге секретаря посольства, был направлен в Гаагу, где они вместе с Куракиным пытались склонить Голландию к союзу с Россией против Швеции. Находясь в должности секретаря, Веселовский получает возможность и своего профессионального роста как дипломата — он уже обладает даром мыслить не только в масштабах отдельных стран, но и охватывать разом всю европейскую систему международных отношений. Постепенно Фёдор обрастает нужными связями среди государственных деятелей Европы, превосходно ориентируется в современной ему политической обстановке.

Наконец, наш герой выходит из тени Куракина и начинает вполне самостоятельную деятельность на дипломатическом поприще. В апреле 1716 года он направляется в Лондон, где вначале исполняет обязанности резидента при английском дворе, а в июне 1717 года официально получает эту высокую должность. Помимо непосредственных посольских обязанностей, Веселовский занимается вербовкой квалифицированных специалистов, заключением выгодных для России торговых контрактов. Фёдору Павловичу было доверено от имени Синода вести ответственнейшие переговоры о слиянии русской и англиканской церквей. Приходилось резиденту и приглядывать за оказавшимися в Лондоне шумливыми русскими студиозусами.

Казалось бы, положение его было как нельзя более прочным и надёжным. Но тут набиравшая обороты карьера Веселовского вдруг рухнула в одночасье! Дело в том, что в резиденции русского посланника в Лондоне нашёл пристанище его беглый брат Авраам. Прознав об этом, российские власти немедленно отстранили Фёдора Павловича от британских дел, назначив на его место нового резидента, М. П. Бестужева. Последнему было приказано объявить Фёдору Павловичу, чтоб он «к двору Датскому немедленно ехал». В случае же его неповиновения Бестужеву предписывалось «трудиться пристойным образом, дабы Веселовский в Англии заарестован был, объявя причину, что он многие наши деньги имел при себе, а отчёту не учинил».

Почуяв неладное, Фёдор ответил на приказ ехать в Данию категорическим отказом. «Очевидно вижу, — с горечью писал он, — что отзыв мой от сего двора и посылка моя в Копенгаген ни для какой причины, ниже в иное намерение чиниться токмо для брата моего Авраама, за которого определён быть страдателем, и вижу ясно, что намерение положено, по прибытии моём в Копенгаген, бросить меня на корабль и отвести в С.-Петербург, и чрез жестокое и страдательное истязание о брате моём — хотя сведом или не сведом — спрашивать… Страх сей видимой и бесконечной моей беде привёл меня в такое крайнее отчаяние, что я, отрекшись от всех благополучий сего миру, принял ныне резолюцию ретироваться в такой край Света, что обо мне ни

памяти, ни слуха не будет, и таким образом докончаю последние бесчастные дни живота моего хотя в крайнем убожестве и мизере, но спокойною совестью и без страдания». Впрочем, жизнь его на этом не кончилась (он проживёт ещё добрых пять десятков лет!), да и «ретироваться» на край света он не пожелал, а, как и его старший брат, стал невозвращенцем и обосновался в респектабельном Лондоне.

Царь Пётр долго не мог простить английскому правительству покровительства, оказанного Авраму и Фёдору: на проекте 1724 года о примирении России и Великобритании он собственноручно начертал, чтоб «Веселовские нам отданы были, понеже как в издержании денег, так и в иных вверенных им делах многое противу делали и требуют розыску». Англия, однако, так и не выдала России беглых дипломатов.

Не знаем, тосковал ли Фёдор по русским берёзкам или по одетому в гранит Петербургу, только ностальгия разъедала его душу сильнее, нежели у старшего брата. С жизнью на чужбине он так и не свыкся и неоднократно ходатайствовал перед российскими властями о возвращении на родину. Ещё при императрице Анне Иоанновне он начал посылать ценные сообщения вице-канцлеру, графу А. И. Остерману, о внутриполитическом положении Англии, парламентских новостях, событиях придворной жизни и т. д. Он заверил графа в желании «употребить последние дни живота своего к услугам отечества… яко верному и всякому доброму подданному надлежит». Историк С. Ю. Дудаков даже полагает, что Веселовского намеренно не спешили впускать в Россию потому, что такой важный «канал» информации «был нужен правящей верхушке именно в Лондоне».

Но Фёдор Павлович продолжал упрямо рваться в Россию. «Сегодня приходил ко мне бывший прежде сего при аглицком дворе резидент Ф. Веселовский,— доносил в реляции из Лондона в январе 1742 года русский посланник А. Д. Кантемир,— прилежно меня просил, чтоб я всенижайше исходатайствовал ему позволение возвратиться в отечество своё и употребить остатки жизни своей в службе вашей сродной своей государыни. Оную такую высочайшую милость ожидает от сродного вашего ко всем своим поданным великодушия. Делам вашим было бы не бесполезно, чтоб отсюда вызвали человека, которой один русскому языку здесь искусен и иногда в разбирании цыфирей употреблён быть может». Не о чтении ли тайных дипломатических шифров здесь идёт речь?

И вот радость: в ноябре 1742 года наконец была получена высочайшая резолюция Елизаветы. В ней предписывалось: «На оное его (Веселовского.— *Л. Б.*) прошение всемилостивейше соизволяем, того ради вы ему о таком… позволении надлежащим образом объявить и к возвращению его сюды всякое вспоможение чинить изволите».

Фёдор Павлович возвратился в Россию в начале 1743 года. Он ходатайствовал, чтобы его приняли на службу «особливо в иностранных делах, в которых чрез многие лета обращался». Но взбалмошной и прихотливой императрице пришло в голову использовать его по придворному ведомству (напомним, что в то же самое время его брат Исаак находился при особе великого князя). Искушённый в европейском политесе, Веселовский стал (пожалуй, первым в истории!) евреем — церемониймейстером императорского двора — чин немалый, равный армейскому бригадиру (выше полковника и ниже генерала). На этом посту Веселовский находился до 1752 года, после чего был уволен в отставку с присвоением звания генерал-майора.

О последних годах его жизни известно немного. Дипломатические его способности при Елизавете так и остались невостребованными, если не считать порученных ему в 1757 году переговоров с Вольтером о написании этим великим французом истории царствования Петра Великого. Фёдор Павлович для сей цели отправился в Женеву, где, между прочим, свиделся и со своим опальным братом Авраамом.

В Петербурге Веселовский сближается с фаворитом Елизаветы, замечательным просветителем и меценатом И. И. Шуваловым. Последний привлекает его, как человека энциклопедически образованного, в недавно основанный Московский университет — куратором, и Фёдор служит там с августа 1760-го по ноябрь 1762 года. Труды его были отмечены государыней, которая в 1761 году пожаловала Веселовского в кавалеры ордена Св. Александра Невского. В отставку он был уволен с присвоенным ему высоким чином тайного советника. Умер Фёдор Веселовский уже при императрице Екатерине II, прожив без малого девять десятков лет.

В истории прославились и потомки клана Веселовских, также проявившие себя на гуманитарном поприще. Наиболее выдающиеся из них: академик Петербургской Академии наук А. Н. Веселовский (1838–1906) — представитель сравнительного литературоведения, основоположник исторической поэтики; археолог и востоковед, профессор Н. И. Веселовский (1848–1918); академик Академии наук СССР, крупнейший специалист в области социально-экономической истории России и источниковедения С. Б. Веселовский (1876–1952); историк и экономист, профессор Б. Б. Веселовский (1880–1954). Все они отмечены печатью яркого таланта, завещанного им далёкими предками.

Игорь Панин

Тема с вариациями

Уходя, колебался, но всё-таки уходил.
Возвращался, метался и думал опять об уходе.
В зеркалах — непутёвый, растерянный крокодил
слёзы лил,
человечьи вроде.

И одна говорила: «Не отпущу», —
а другая: «Я ждать устала».
И мой внутренний голос, немой вещун,
оказался бессмысленнее магического кристалла.

А по городу рыскал шакалом безумный снег —
Ну, такой, что ни в сказке, ни в небылице.
Мне хотелось кричать им обеим: «Навек, навек!» —
только всё же следовало определиться.

Чаще рвётся не там, где тоньше, а где больней;
прикорнуть бы, забыть всё — на день, на час ли…
И одна говорила: «Ты будешь несчастлив с ней», —
а другая: «Со мною ты будешь счастлив».

Это, я доложу вам, классический сериал,
тут бы впору сценарий писать многотомный.
Только те, кто участие в нём принимал,
выгорая, мертвели, как старые домны.

А тем временем снег, успокоившись, капал за шиворот с крыш,
как залог невозможного, дикого, жгучего счастья.
И одна говорила: «Ты любишь её — так иди к ней, малыш,
но если что — возвращайся…»

Тема с вариациями

Хмурый лес поперёк основного пути.
Что там Данте изрёк, мать его разъети?!
Кто напишет о нас, выходя за поля,
коль иссякнет запас нефти, газа, угля?

Вот и всё, голытьба, бесшабашная рать, —
не судьба, не судьба эту землю топтать.
Скоро вскочит на храм, как петух на насест,
непривычный ветрам полумесяц — не крест.

А и Вещий Боян мне тут форы не даст:
матерей-несмеян скроет глинистый пласт,
и потащит рабынь на восточный базар
просвещённый акын, кто бы что ни сказал.

Эта песня куда горше боли моей:
пейте впрок, господа, будет много больней.
Мой непройденный путь — мирозданья игра;
ну и ладно, и пусть, ближе к теме пора.

Невесёлый оскал кажет битый орёл;
слишком рьяно искал, ничего не обрёл,
жемчуга да икру я на ситец менял.
Но когда я умру — воскресите меня.

Lovinternet

В окне — рассветно… На мониторе —
пять тридцать, точно!
По долгу страсти наполнил море
слюной проточной.

Зрачки всё шире, сосуды уже,
бьёт сердце — слышь, как?!..
Поводырём мне исправно служит
слепая мышка.

Брожу по тайным, запретным тропам,
верчусь на месте;
остановился у врат Европы,
пароль известен.

Теперь осталось лишь прицениться —
считай по ленте.
Журавль нужен или синица —
в ассортименте.

Но если буду, как и намедни,
неосторожен —
отнимет разум и сон последний
мулатка в коже.

Рычит пантерой, снимая цацки, —
она такая;
высвобождаю задор пацанский,
ей потакая.

И поминутно взимают плату
рвачи-канальи.
Такого срама тире разврата
отцы не знали.

И ноют плечи, и сводит икры
тоской-печалью.
Пора б закончить все эти игры,
и я кончаю…

Чёрные понедельники —
сплошь мои будни.
Веет в махровом ельнике
сном беспробудным.

То не венки по мне —
только цветочки.
Впрочем, вполне
можно дойти до точки.

Говоришь, я — ни то ни сё,
по воде поводивши вилами?
Кто-то крест, кто бутыль несёт,
а иные торгуют виллами.

Натирая щекой приклад,
высматривая цель,
я могу задремать, как солдат,
что за тысячу вёрст отсель.

Но, почуяв добычу, — где? —
ни дрозда, ни маху не дам,
и поедем гулять-гудеть
в какой-нибудь Амстердам.

Зря ты терзалась, охала:
бла-бла-бла, тчк.
Я — не вокруг да около —
в самое яблочко.
но если что — возвращайся…»

Алексей Григорьев

К началу

к началу

В окрестностях журчащей средь камней
Неведомой картографу речушки
Я небо обнаружил в ржавой кружке
И гривенник, чернеющий на дне.

Напрасно местный дурень мне пенял,
Что речка совершенно обмелела…
Не слушая, я думал: нету дела
Живущим до живущего меня.

Мне верилось, что прошлое моё
Свой след на всём оставило тут присно,
Но в зеркале знакомый детский призрак
Теперь меня совсем не узнаёт.

И без толку взывать к нему: «Айда
На велике кататься по аллее!»—
Он скоро в одночасье повзрослеет
И зеркало покинет навсегда.

июнь

По нитке раскалённого вольфрама
Ночь движется и мягко, и упрямо,
Сбегают с неба поздние огни.
Разбуженный прошедшею грозою,
Как чудище эпохи мезозоя,
Рассвет врастает в розовый гранит.
Наутро после ливневой бомбёжки
Торчат в садах вороньи головёшки,
На камне сушит спину жук мало́й.
Июнь снимает майские обноски,
Под солнцем свежепиленые доски
Мироточат сосновою смолой.
Цветущему шиповному стаккато
Шмель вторит басовито и мохнато,
Мальчишка водит прутиком в золе.
Июнь, непоправим и неприкаян,
Идёт, не зная сверстников, как Каин,
Вдоль парковых, сырых ещё, аллей.
В траве сегодня весело и тесно,
Там съёмки репетиции оркестра,
Там ладит свою скрипочку сверчок,
И держится душа на честном слове,
И времени полно для нелюбови,
Но тут июнь, конечно, ни при чём.

тихие дни

Те дни выпекались вкусные, как пироги,—
Не верилось даже, что осень уже всерьёз.
Собаки стабильно имели четыре ноги,
Длина их зависела от положенья звёзд.

Никто не кончался, не вешался, не тонул,
Не крал чужих яблок, не наставлял рога.
Порою хотелось в какой-нибудь Барнаул,
Однако смущало резонное: «На фига?»

Все книги той осенью были без первых глав,
Все песни на редкость звучали без левых нот,
Ночами в квартире как надо густела мгла,
А утром всё было, естественно, наоборот.

На кухне хранились дежурные триста грамм,
С паркетов два раза в неделю стиралась пыль.
А ту, что бродила за окнами по вечерам,
Звали не смертью, а как—я уже забыл.

свет в августе

Ты пахла молоком и резедой,
А вечер летний пах травой примятой,
Нагретою землёй, и сонной мятой,
И чуточку—разлукой и бедой.

Потрёпанной эскадрой облака
Тянулись на побывку восвояси,
На палубе Господь мечтал о квасе,
Но летний мир оправдывал пока.

В пробоины тёк масляный закат,
И вспыхнула небесная эскадра,
Тяжёлые антоновские ядра
Метали канониры в тёплый сад.

Но в целом август светел был и тих.
Белело, словно парус, в кресле платье,
И рыбы проплывали над кроватью,
Немного тесноватой для двоих.

И листья всё же падали. Харон
Кропил дождливой мелочью на сдачу.
Оставленный соседями на даче,
Домашний Цербер лаял на ворон.

страшно

Полупрозрачные берёзы
Врастали в розовый предел,
Кораблик авитаминозный
Скользил по матовой воде.

Нёс ветер мятую бумагу,
Гремел коробкой обувной,
На мокрой лавке дядя плакал
Над незначительной судьбой.

Торчал из лужи велик ржавый,
Свистали птицы в унисон,
На крыше солнышко лежало,
Как запасное колесо.

Гудела станция протяжно,
Синел вдали дорожный знак,
И было страшно, очень страшно,
Что после смерти будет так.

первая ступень

У Бога этим утром стриж в праще,
Жара под тридцать, слоган «ты попробуй!»
На ящике с мороженым, и сдобой
День пахнет спозаранку, и вообще
Грибы пошли, сказали мне, в лесу,
И я хочу в леса с ножом и фляжкой,
И девушка из Умани—Наташка—
Мне пишет, что помолвка на носу.
И пятница, и в моде этанол,
И гопники с цементного завода
С пяти уже начнут у «Пиво-воды»,
Забив на мундиалевый футбол.
И тень извне—на то она и тень—
Заполнит мир и выльется наружу,
И день опять окажется ненужным—
Отстреленным, как первая ступень.

ДиН конкурс

Литературное Красноярье

Ветер из Сибири

Ольга Бобрышева

Очарованная Алтаем

Я всегда говорила, что корни я помню и знаю.
Городская и светская дама на шпильках-копытцах…
Я, чьи предки всей грудью дышали Алтаем,—
Без оглядки рванула в мечту, что надумала сбыться…

В край, где кедры утешили глупую плаксу-рябину,
Где вода Бухтармы нереально и сказочно сладка…
Здесь когда-то в густом разнотравье Нарына—
Рассмеялась моя русокосая прапрапрабабка…

Я не знаю, о чём тосковало моё вдохновенье.
Чем питалось оно, чем жило-волновалось доныне?
Отчего мне хотелось упасть у ручья на колени
И отдать свои руки в ладони его ледяные?

Три десятка в груди равномерно и ясно стучало…
Память сердца—она ведь чекань, а не просто картинка.
Но глаза закрываю и… вижу корону марала…
Из велюра и крови горячей, с шальной золотинкой.

Нет, бессонницы мутной прапрадеды вовсе не знали.
Сон из мяты-колдуньи черпая кержацкою ложкой,
Засыпая, они улыбались, как я, представляя—
Как в тумане из сливок утонет сельцо Черемошка.

По щеке не хлестнув, пробежится берёзкина ветка,
И во влажно-доверчивом взгляде красавца-марала
Я увижу прищур и улыбку сурового предка…
Что искала меня, что нашла и навек обаяла…

Алексей Зельский

Перелёты, переезды—
Перекатные дела.
Собираемся в охапку,
Выдираемся из быта
И спешим навстречу ветру
Из соседнего села,
Из долины за оврагом,
Из далёких городов.
Впрочем, ветер из Сибири
Своевольней всех ветров.
Так сложилось—своевольны
У Сибири женихи.
И летят они, и едут
С чемоданчиком тумана,
Авторучкой из кармана
В перекатной суматохе
Пишут песни и стихи.

Андрей Пермяков

Чёрные лебеди

Памяти Рудольфа Тюрина, художника

I.

Час между волком и волком —
время плохих картин.
Он долго прожил один,
но вообще — недолго.

Время чуть-чуть к весне.
Ветер, сквозные листья.
На недорогом сукне
сложены серые кисти.

II.

Обычный неудавшийся портрет —
как очень тонкий звук, противный слуху,
где чёрный мотылёк летит на чёрный свет,
обманывая белую старуху.

III.

Ещё неудачное фото:
пальто, Подмосковье, февраль.
Скользит в торфяное болото
ручья ненадёжная сталь.

Над этой тяжёлой, дамасской
обманным приветом весны
висит бородатая маска —
обломок умершей сосны.

Чёрные лебеди

Поседевший, победивший зависть
к нехорошим серым кенгуру,
не умру: скорее наиграюсь.
Или наиграюсь и умру.

Под чужим, зато под очень синим,
чтобы окна — непременно в сад.
Книжка назовётся «Без России» —
небольшой посмертный плагиат.

Всё по правде, каждому — по вере;
помните фольклор про «сдох Онфим…»?
Колумбарий в городе Канберре.
Сектор восемь. Место уточним.

Вот так умрёшь во сне не насовсем,
проснёшься знаменитым, как обычно.
Расскажешь тем, кто слышит, то есть всем,
чего-нибудь душевное по-птичьи.

потом идёшь по бежевым дворам,
гоняешь комаров: «Отстаньте, черти», —
и предъявляешь бывшим «мусорам»
законное свидетельство о смерти.

Стол

Помнишь: всё было сравнительно просто —
пляж некрасивый, как стол.
Справиться с кризисом среднего роста
не помогал волейбол.

Нет, не теряла девчонка колечка,
нет, не искали в песке.
Каменный круг, не отбитая свечка,
ямка на бритом виске.

Мишка лежал, как лежали другие,
только желтей, чем песок.
Красное капало. Даже большие
тронуть боялись висок.

Детство не кончилось. Так не бывает,
чтобы закончилось вдруг.
Точно кольцо ледяного трамвая —
каменный-каменный круг.

Аэропорт

Лене Погорелой

А смс-ку, похоже, отправлю пустой.
Напиши, что хочешь, и верни мне её обратно.
Это так же смешно, как говорить «постой!»
После того, как уже сказал «ну и ладно».

Ты понимаешь, я толстый и в прошлом боксёр —
Стало быть, вправе не прятать нежность за чем-то грубым.
Набрал какие-то буквы, стёр. Снова набрал и стёр.
Ветер кусает щёки; морщусь, кусаю губы.

Ветер никак не поднимется выше моста.
Ветер сегодня такой специальный, низкий.
Тихо, Андрей, успокойся. Считай до ста.
Ну хоть до пяти. И вообще возьми себе виски.

Это поможет. Тебе помогает всё и всегда.
Честно: всегда и всё, ты вообще везучий.
И эту фиговинку в виде креста
Ты прячешь в кармане просто, на всякий случай.

А если чего — опознают с большим трудом.
Например, по зубам, как в «Смерти актёра Бенды».
Самолёт доставляет быстрее, чем общекультурный паром.
Ты ведь сам хотел вот такой вот финишной ленты —

Чтобы путь в землю закончить не на земле.
Не на земле — это не так обидно.
Лента порвётся. От ленты останется «Ле…»
И что-то ещё. Мелко. С земли не видно.

Катерина Канаки

Полная горького молока

Орфический гимн

Строфа

Не моё это слово, но ласточкин взлёт, голубиный кров,
поступь света в жилах, лёгкого ветра шаг,
уходящих в море маленьких рыбаков
золотой маяк.
Чей баркас вернётся, чей завтра пойдёт ко дну—
обо всех тоскуй и не спрашивай ни о ком.
Провожает земля, встречает земля волну—
на обрыве пиния взмахивает платком.
Не моя это правда, но долгих трудов и горючих лет,
отбеливших стены дряхлых монастырей,
и не голос мой, но чужого напева след
в тишине моей.

Антистрофа

Ты одна—свобода, шёпот и стон в тишине моей,
ты одна—победа, горькая нагота,
тетива неволи, ось голубых зыбей,—
всё ничья, не та.
И судьба не вправе тронуть мечту твою,
и обходит время лиственный твой узор.
Оттого-то, любовь, и стоять нам в другом строю,
меж стволов оливковых и молчаливых Кор.
Вот ты ждёшь над заливом, от края до края небес одна;
у твоих колен качается тонкий мирт,
и в твоей руке сочетаются имена
в бесконечный мир.

Эпод

На груди твоей солнце, в твоих волосах песок,
ты глядишь на запад и молишься на восток,
ты слепишь мой взор и приказываешь: смотри!

…Я несу тебе две пригоршни солёных брызг
и глагол надежды, светящийся изнутри.

Так, по пояс в пыли, точно в огненном море,
С книгой жизни в руках, наклоняешься к тверди
И не думаешь больше о мотиве и слове—
Всё о глине и камне, о металле и нефти.

Стоит только помыслить свой век обречённым,
Глядя в горсти золы, как на смену надежде
Приезжает татарин с алычой и креплёным
Бледно-жёлтым вином: всё осталось как прежде.

Те же камень и нефть ради крови и хлеба,
Те же проблески слёз из столетнего чада,
Та же воля делить измождённую землю
Между образом неба и подобием ада.

Я уже не доверюсь словам и условным следам,
мне не хочется слышать ни дат, ни фамилий, ни нот.
Беспризорный Эрот,
одолжи мне свой дикий рожок:
только свистну разок предвечерним волнам—
и отдам.

Запевает мистраль, и пора собираться на пир.
Ты узнаешь меня, не потребовав чтения вслух,
лишь по слабости двух
обхвативших единственный мир
человеческих рук и бессоннице с видом на юг.

Мы поднимемся вместе по низким прибрежным холмам,
чтобы вместе смотреть, как с натугой идут корабли
из-за мыса в залив,—и не вскинуть ладоней к глазам,
если светом Фавора внезапно раскроется нам
солнце нашей земли.

Я едва прикасаюсь плечом к твоему рукаву;
абрис гор всё острей, точно с памяти сходит бельмо.
И молчи о поэмах, которым дано наяву
пахнуть морем сильнее,—казалось,—чем море само.

Эпитафия

Памяти А. С. Голенцова,
зам. начальника Южно-Донузлавской
археологической экспедиции

Всё-таки мы коснулись её стопами,
всё-таки окунулись в её ковыль—
тверди, от чьих сокровищ остался камень,
от городов которой осталась пыль.
Гальки, кремни, осколки зелёной яшмы,
стёсанные штормами известняки—
крепче, чем лица, яснее, чем день вчерашний,
помню её разбитые позвонки
(нищенский хлеб с заросшей колючкой пашни—
с медленно разжимающейся руки).
Нет здесь воды живой, только соль и рана,
уксус и пот, просторы и облака,
еле прикрытая травами грудь кургана,
всё ещё полная горького молока.
Не занимай у времени ни крупицы,
не запасай степную надежду впрок;
сколько ни гнись к шершавой земной странице,
всё, что успеешь—выучить назубок
смерти непримиримую справедливость:
камни молчат, слепых не смыкая глаз,
мы говорим, боясь угодить в немилость,
нам не забыть их, а им не упомнить нас.

Ольга Брагина

Тротуар для отвода глаз

Твой глупый недуг, что предан тебе без лести, трижды отрёкся сам от себя, потом перерос, и я теперь спокойной выгляжу в этом контексте: сериалы о большой и несчастной любви, Чулпан Хаматова — брюнетка, откос. По-прежнему пахнет черёмухой и красотой в сосуде, напоминая о том, что я для тебя никто; за опасные связи дают молоко, мы уже не люди, мы — обложка с изнанки, забытое в тире лото. Мы не ездим в метро, потому что там можно встретиться взглядом, опять уткнуться в газету, решать кроссворд, вспоминая песню о рыжем и конопатом, что сидел с лопатой на горке, собою горд. А тебе же хочется что-то оставить миру — тьму низких истин, самых отборных злоб, и шкаф платяной купить, и к нему квартиру, и ведьму с бантиком, баню, клопа, и клоп послужит здесь оправданием, точкой точной, о самой большой и несчастной любви говорить с тобой, а в шесть часов отпускать, собирать к всенощной жетон на метро и бабочек на убой. Вагон голубой причалит однажды странно, а в третьей редакции я должна говорить не так: почему ты мне не даришь гвоздики к седьмому? Простите, панна, сценариста уволили, новый — совсем тюфяк, вставляет рекламу средств для мытья посуды, и мы не встречаемся взглядами уже не только в метро, роем особые норы, берём беспроцентные ссуды, а он нажимает кнопочки и режет нам текст хитро. А я для тебя всё равно никто, даже если мы сможем встретить чей-нибудь день рождения вместе, за два часа до начала конца нужно всё для себя отметить, и тебя приветить, и воду не пить с лица. А ты говоришь, что тихую музыку будем любить мы вместе, и ты ко мне — как к невесте, и это пока легко, и банку паучью выбросить, и яблоки стынут в тесте, а ты всё тоскуешь искренне за «Чёрной вдовой Клико». Они говорят, что трогаем мы видом своим наивным глубинные струны сущности (учебный макет готов), а после выходим к морю мы и к самым глубинным винным, и все понимают главное без элементарных слов. А наш сценарист украдкой смахнёт слезу: столько смеха ему выпадает на долю, что и сказать кому — никто не поверит, в сердце моём прореха, всё остальное лечится на дому. А если бы ты меня оставила в чистом поле, глупая деточка, просто ушла гулять, встретят другие, и что они — хуже, что ли? выбросим буквы, оставим продольно «ять», мне от тебя ничего не нужно, и буквы твои глухие или же звонкие, твёрдые (мягкость здесь — это излишество, тайный избыток), Лии строят темницу, подарочный город-весь. Я открываю коробку, конструктор «Лего» нравился мне ещё с детских твоих времён, что нам теперь от подобных количеств снега не убежать, написал в примечанье он. Всё выполняемо, честно и восполнимо, слушайся старших, пространство мети метлой, и города проносятся светом мимо, нас без посадки отводят за аналой, как ты там спишь и видишь мои секреты, маленькие одомашненные грехи, как же он смотрит, а мы тут и не одеты, разве так можно? Девочка, нет ни зги. Как ты протянешь руку и словишь морок, дым без отчаянья в сердце и без стыда, и говоришь: это то, что нам нужно в сорок, просто прощение, снова ведь не туда, снова промазали стрелки часов невинно, нужно накраситься, выбросить старый хлам, я воспитала всё же в себе павлина, свежий павлин — это истинно твёрдый храм. Ты мне давно родной, до рождения даже, и потому нам бессмысленно рвать цветы, что-то доказывать — время становится глаже, время становится — и растворяешься ты. Пена морская пол заливает кровью, хочется выпить море и сжечь мосты, я приношу тебе бургеры к изголовью, мы не сдаём «хвосты», мы не так просты, мы предательски сложность свою тревожим, чтобы писать о бургерах и тоске, всюду цветущая сложность, мы это можем, несколько слов о вечности на песке. Ты мне давно родной, потому ты тоже пишешь о раненых птицах, бревне в реке, всё это правда и потому непохоже. Где моё сердце — в правой? В другой руке. Не угадали опять, по второму кругу, но варианты всё же наперечёт, нужно теперь перестать помогать друг другу, всё не меняется и по усам течёт. Я там была, я писала им письма тоже о невозможности выжить без их тепла, но выходило опять не совсем похоже, и потому я, возможно, и не была. Даже, скорей всего, так оно и было, перепроверить теперь нет особых сил, сердцу не нужно всё то, что прежде мило, то, что ты в сердце тайно от них носил, просто теперь бросаешь на перекрёстке вместе с окурком — здесь не штрафуют нас, мы рождены, чтоб Кафку, умны и хлёстки, и не ищи тротуар для отвода глаз.

Когда я открываю двери чужим ключом, сметаю остатки пыли Китежа в плотной тени террасы, зрителям ясно, что мы окажемся ни при чём, как аглицкий инструмент и копчёные в тон колбасы. Как в любимых страшилках нашего детства — печень твоя вкусна, сердце и лёгкие, лёгким дыханьем сбиты, чтобы навек избавиться ото сна, плоть нам

тесна, как совиные общепиты, прятать тебя скорее от этих алмазных глаз, продать всю аппаратуру, потому что и эдак, и так всё love will tear us apart, но об этом лучше молчать, не накликать сдуру. Когда я открываю двери твоим ключом, ставлю на стол кефир с особой приставкой «био», хочется плакать кожей и ныть плечом, чтобы узнали все, что здесь побывала Клио, что у кого что болит — тот на то магнит, чёрные дыры или магнитные бури, но всё это нам о многом не говорит, красные шапочки, разную боль обули. Когда я открываю двери твоим ключом, я знаю, что здесь ничего нет, и снаружи тоже, что ты ходишь с рассвета с казнённым за палачом, на любимые наши, как сказано выше, похоже, и всех однажды замучает совесть, сядем, мой свет, дети, пирожные, обманутые, скитальцы, и никаких ключей за подкладкой нет, падает снег на холодное, мёрзнут пальцы. Все они любят тебя и хотят лоскут, маленький самый пускай, хоть словечко в дрожи, все они скоро уйдут, только ты вот тут, два Nescafe без сахара, все похожи, как близнецы, богомолы и муравьи, тайные тропы свои в траве прорывая. Ладно, простим тебе, хочешь — ещё живи, словно и в самом деле давно живая. А ты потерял ключи и последний лоскут, теперь никто не дождётся счастья сверх меры тонкой, холодный свой самовар они унесут, гордиться только засвеченной киноплёнкой, на которой мы улыбаемся миру, как два скворца, две косточки из ларца, в котором всё это было, но мир окунулся в маслецо, по жилам течёт ленца, и я выключаю лампочку, и в частностях всё забыла.

Она умела зелёный заваривать правильно, пани Ванда, на день шестой выливала крашеную водицу, до утра читала Гельвеция, да и ладно — в такие слова дороже себе влюбиться. Что я хотела косынку раскладывать так, да толку, и если бы нашей любви не было, её нужно было из мысли воссоздать по отпечаткам на янтаре, а потом — на полку, потому что все вершки-корешки до расхода скисли. А четвёртый жених пани Ванды тоже сбежал из дома с полноправной испанкой, которой ещё франкисты обещали амнистию, тоже звалась Палома, все они малокровны, зато не в пример речисты. А если бы нашей любви не было, её нужно было бы вырезать в дереве или в камне, рассказывать школьникам о преимуществах той мезозойской эры, когда она говорила всем видом, что не нужна мне, и все проходящие были членистоноги и кистепёры, а потом на этом можно построить свою защиту: дескать, рождаемся и умираем мы одиноко, потому она с ножовкой идёт к корыту, чтобы дерево это избыть до самого сока, и придумать такую месть на досуге тоже, чтобы ты вспоминал меня, календарь листая, «здесь был первым Пётр», растекается соль по коже, ещё не тридцатая, но уже не шестая ловит мух скучным осенним утром, не по назначенью расходует пиломатериалы, и звезда с Востока мешает следы за Лурдом, где сходят язвы, и овцы молчат, усталы. Она умела зелёный заваривать правильно, всех умений и было столько, чтоб молча дышать упрямо, и смешивал карты в «косынке» домашний гений, потому что лучше играть в «сапёра», «горбик» и «яму». А пятый жених пани Ванды уже открывал калитку с письмом от четвёртого, несколько дней в дороге, она бы хотела в ответ подписать открытку, но всегда запиналась на предпоследнем слоге: «Знаешь, я тебя лю…» — и бросала в урну, и смотрела на снег, не моргая, подобная фотоснимку, вот бы выпить его, пока ни тепло, ни дурно, и связать свою лучшую шапочку-невидимку.

Спят все игрушки и тихая горенка, клонит зайчишек ко сну, я поменяю фамилию — Горенко с горького снега, весну нужно встречать в Петербурге на пристани, чайкам бросать чебурек, нет никакой человеческой истины, чтобы сейчас и навек, нет никакой орфографии, точками пишешь, смягчая тире, куколки-куколки, матери с дочками, старая кровь на столе. Спят все игрушки, и плети, и звёздочки, нежно-крапчатый узор, пересчитай это небо до косточки, то, что вверху… Или сор вынести нужно, и горенку детскую так и оставить пустой, и пунктуальную вечность немецкую не пропускать на постой. Спят все игрушки, орехи калёные, белочки, бурундуки, окна темны, для зимы утеплённые, что написать от руки — жизнь оказалась такою вот длинною, что никуда не присесть; что там теперь, за большою плотиною? что-то, наверное, есть. Спят все игрушки, еноты и кролики, нехотя зелень жуя, так возлюбить это всё и до колики верить, что сытость моя, ранние почки, бидоны молочные и разливные духи могут спасти, но приборы неточные выживут нас до трухи. Дальше на солнце лежать, не расходуя свой драгоценный эфир, так вот и дуть начинаю на воду я, ссориться глупо ведь — мир; тот, кто поссорится, станет ромашкою, ручки и ножки сложив, долею нервною, долею тяжкою будет сиять, полужив. Я поменяю фамилию — Горенко слишком без мысли горчит, спят все игрушки и тихая горенка, спят черепаха и кит.

Наталья Косолапова

Узелки неслучайных совпадений

обречённо идём
на сближение
по водоразделу
лунной магистрали

пересечение
параллельных

запрещено

Евклидом

в красную клетку
жизнь
залинована

не выходи

калёный уголёк
надежды
тебе бросаю

пасуешь

играю с тенью

глупый
котёнок

сломался
в полёте

почему?

утренняя
пробежка

мурашек

по мокрой
спине

сомкнулись

челюсти
деревьев

сглотнули
тьму

некому срезать
маятники
испорченных
песочных
часов

разбивают время
узелками
неслучайных совпадений

хищное счастье

выпустило
когти

готовится освободить
артерии для

свежей
крови

соскальзывают
с гладких
волос
цепляются за
кончики
потерянные
мысли

мечутся
от страха

забыть
себя

душа стучится
в закрытые
веки

занято

тлеет твоё
отражение

в моих
зрачках

не раздуваю
угли

Отлили маски, статуи,
сложили камни,
принесли огонь
на палочках,

ждут

каждый своего

Иуду.

повесила в спальню
старинное зеркало
теперь
по вечерам кто-то
пытается
открыть дверь
с той
стороны

горе-
чь на корне языка—

петляла
по зарослям

твоего прошлого
без меня

поворачивая ключ
в замке

не знаю

чья рука
сделает
Ctrl Z

Устроим
гонки

с препятствиями

по кромке
разбитого

стакана

с горячим
чаем?

Дышу ворсинками
вовнутрь,

пульсирует упруго
тишина,

мурашки расползаются
по коже.

Жду
удара.

Забыли?

оставили перчатки

незваные

в моём доме
примеряют платья
кресты

наблюдаю

ледяные лепестки
тают
на голых плечах

новенький

в небесной
канцелярии

рассыпаны
по подушке

синие
горошины

сновидений

собираю

Говоришь,
две
точки
всегда можно
прострелить
прямой

речью?

Борис Кутенков

От «Юности» к «Звезде» и обратно

Литературные журналы, осень 2010

«Юность»:

и швец, и жнец, и в поэзию игрец

«Юность» среди толстых журналов — и швец, и жнец, и на дуде игрец, ибо позиционирует себя с двух (или трёх, в зависимости от того, разделяем ли мы «общественную» и «политическую» сферы) разнонаправленных векторов: и как «литературно-художественный», и как «общественно-публицистический» журнал. По мере чтения №№ 7–8 (654–655) за 2010 год меня не покидало ощущение поиска и неопределённости. О них свидетельствуют и рассуждения авторов поэтических публикаций о том, что такое поэзия, написанные по заданию редакции журнала и, видимо, призванные заменить канонические статьи на эту тему, характерные для других изданий — «Нового мира» или «Ариона».

Не стала исключением и Елена Иванова-Верховская, чьей подборке, открывающей номер, предпослан соответствующий абзац. Дать определение поэзии поэтесса «абсолютно не в состоянии», зато она очень точно сформулировала состояние «озноба и восторга, доходящего до бессилия». Первое стихотворение в подборке — прямо-таки программное:

…Но им наполнено и дышит
Пространство, дышит наяву.
Его я по слогам читаю,
И, может быть, ещё не слышу,
Но только им уже живу.

Несмотря на некоторую публицистичность (за более подробным разговором о творчестве поэтессы отсылаю к рецензии на её книгу «Осенний человек» в журнале «Дети Ра»[1]) и даже банальность (что неизбежно для любых программных определений), поэзия Ивановой-Верховской берёт, что называется, за живое искренностью, медитативной нотой, прямым высказыванием.

…Любить можно только, когда накроет,
А не любить — всё равно когда.

Проза в журнале тоже наводит на мысли о некоторой осенне-погодной мерности: в рассказах эстонского прозаика Хелью Ребане — северная холодноватость, Андрей Щербак-Жуков погружает в «Осеннее-зимнюю медитацию». Стихи Щербака-Жукова, приписанные им герою Минаеву и помещённые отдельной подборкой после его «медитативных» рассказов, вызывают стойкую ассоциацию с «Доктором Живаго» и демонстрируют разные грани дарования автора. Здесь он совершенно не похож на героя своей иронической лирики.

Для сравнения:

Я опущу свой кирпич, как корабль, на воду.
Я помашу ему вслед и скажу: «Плыви!»
Я подарю ему вместо стены свободу,
Он так устал от стен и хотел любви…

(Из «Юности»)

А вот цикл иронических четверостиший:

Если полчаса темно,
А зритель сонно жмурится,
То это вовсе не кино,
А то, что с ним рифмуется…

В чём проблема у нас с тобой?
Кто-то нас, как детей, развёл:
Нас учили, что жизнь — это бой,
А она оказалась… гёл!

При обилии текста поэзия в этом номере занимает минимум места. На примерно 25 «единиц» прозы — три стихотворные подборки. Одна из них, принадлежащая перу актрисы Аллы Майковой, тоже, видимо, предназначена служить в качестве презентации некой грани её таланта, но в результате производит обратный эффект. Вообще, дилетантизм в искусстве, давно вошедший в моду, — особая и многократно поднимавшаяся тема: вот и солистка группы «Виа Гра» или Стас Пьеха выпускают сборник стихов, мало похожих на стихи, — при этом событие, не являющееся фактом искусства, получает резонанс в центральной прессе; тем временем эстрадные певцы изображают фигурное катание в проекте Первого канала. Действительно, почему бы не побаловаться? Времена дедушки Крылова прошли, и сапоги вполне может тачать пирожник… Однако подобные симулякры имеют право на существование лишь до той поры, пока преподносятся именно как вид баловства (с акцентом на «баловстве»), а не как норма. Что случается редко. Не могу судить о способностях Майковой как актрисы и живописца, но в её подборке блёклые, невыразительные тексты без малейшего вкуса, цвета и запаха, декларативные и пафосные, преподносятся, похоже, вполне серьёзно.

…Нельзя писать, когда душа в покое,
Все неудобства мира — для стихов!
Лишь ярость чувств — явление такое —
Условие поэта без оков.

1. http://magazines.russ.ru/ra/2010/9/ku26.html, «Дети Ра», 2010, № 9 (71)

Пожалуй, два самых интересных материала в номере — это статья Михаила Синельникова о Зенкевиче, содержащая воспоминания о литературной жизни советской поры, и воспоминания Дмитрия Бобышева о жизни в Америке и Иосифе Бродском. В разделе «Творческий конкурс» обращает на себя внимание рассказ 31-летнего дебютанта из Челябинска Максима Мокшанцева — о жизни бездомных, увиденной глазами гуманиста-наблюдателя. Рассказ, больше похожий на школьное сочинение, но заставляющий задуматься.

Чем дальше в лес — тем явственнее стилевые и жанровые поиски журнала, попытки сделать его интересным для всех, не замыкаясь на каком-то определённом срезе читательской аудитории. Что ж, сама по себе такая задача вполне благородна: тут тебе и «заметки нетеатрала» (рубрика, ведомая Львом Аннинским), и архив писателя Б. Войтехова… Стремление удержать баланс между интеллектуальностью, беллетристикой и семейным чтением не всегда оправдано: откровенно пошло смотрятся моностихи «Шалуна Гео» в остеровском духе: «Не плюй в водоём, упадёшь в окоём» или «Идя ко дну, загладь вину», скучноват детектив В. Ильичёва «Страсти сыщика Перова», выдержанный в духе советского времени. (Может, тогда уж лучше отрывки из романа Донцовой напечатать, чтобы привлечь внимание определённого типа читателей?)

Темой октябрьского номера «Юности» стали наполненные драматическими событиями годы жизни Михаила Михайловича Бахтина. «Савёловская ссылка» мыслителя нашла отражение в исследовании Владимира Коркунова «Подрезанные крылья. «Савёловский период» Михаила Бахтина». Очерк рассказывает о полудетективной истории, связанной с созданием («Я погибаю без книг!») и попытками публикации одного из основных трудов Михаила Бахтина «Франсуа Рабле в истории реализма». Выдержки из писем, воспоминания современников, воспоминания жителей Кимр (именно в этом городе с 1938 по 1945 годы жил Бахтин) — эти документы, представленные в очерке, отражают драматическую эпоху жизни и судьбы философа. Важной частью исследования стала жизнь Бахтина в городе за 101-м километром от Москвы. Вынужденный искать любой приработок, Бахтин устраивается в сельскую школу, увольняется оттуда, переходит в городские… Мытарства Бахтина подтверждаются воспоминаниями учеников, которые интересны сами по себе: в них и атмосфера военного времени, и отношение ребят к строгому педагогу. Коркунов упоминает и о трагической странице в биографии Бахтина — болезни, приведшей к ампутации ноги в 1938 году.

Поэтический раздел этого номера «Юности» составляют стихотворные подборки Анатолия Кобенкова, Максима Замшева, Андрея Романова, Алексея Борычева и Виктора Пронина.

Анатолий Кобенков, известный иркутский поэт, основатель фестиваля поэзии на Байкале, стихи которого открывают этот номер «Юности», умер в 2006 году, однако его творчество продолжает вызывать широкий читательский интерес. В статье Владимира Коркунова о творчестве Кобенкова говорится, что он «поэт тихого, но пронзительного голоса». Действительно:

> У мальчика в школе стянули шапку,
> у девочки — шубку, а у технички — швабру,
> которую сделал парень,
> который армией был украден,
> потом — чеченцами: где он? что с ним?..
> Никто не скажет, никто не знает:
>
> ни шапка, которую ищет мальчик,
> ни шубка, которую девочка кличет,
> ни швабра, которая у технички
> была единственной в мире опорой…

Кирилл Ковальджи так отзывался об Анатолии Кобенкове, который входил в своё время в редакционный совет журнала «День и ночь»: «Пронзительный лирик. Чистый и честный человек». И добавлял: «Я его любил…»

В разделе прозы — произведения Натальи Рубановой, Зои Богуславской (представившей на сей раз короткий рассказ), Георгия Пряхина и Владимира Баева.

Наталья Рубанова представила действительно оригинальное произведение под вызывающим названием «Сперматозоиды». Несмотря на эту дерзость, оно отличается оригинальной структурой и своеобразным авторским мышлением. Много внимания уделяется оригинальному оформлению, повсеместному вкраплению курсива и всяческих варваризмов; всё это, однако, не мешает восприятию — кажется, что формальные ухищрения органичны для этого странного, но вполне себе милого текста. Не случайно, наверное, роман «Сперматозоиды» стал финалистом премии «Нонконформизм».

«Арион»:

ложка симулякров в бочке мёда

«*Первая обязанность стихотворного критика — не писать самому плохих стихов. По крайней мере — не печатать. Как я могу верить голосу, предположим, N, не видящего посредственности собственных стихов?*» — писала Цветаева в эссе «Поэт о критике». Возвращаясь к разговору о симулякрах (я начал его, комментируя подборку Аллы Майковой), нельзя пройти мимо сочинения Артёма Скворцова, которым открывается 3-й номер «Ариона» за 2010 год. Уважаемый мною критик-профессионал, статьи которого я всегда читаю с интересом, как стихотворец выносит на суд читателя совершенно мёртвый текст — лишённый усилия формы…

> Мы гуляли с собакой на Чёрном Озере
> по самой макушке бабьего лета,
> вдруг она застыла, вскинув голову,
> я следом за ней взглянул на небо —
> прямо над нами висел ястреб.
>
> Каким ветром его занесло?

В центре города, над детским парком,
удивительно невысоко, так что можно
рассмотреть без особых усилий не только
боевую красу оперенья, когти, клюв,
но, кажется, даже блеск глаз.

Довольно безобидная, вполне прозаическая зарисовка, в которой от поэзии осталась лишь немотивированная расстановка межстрочных пауз,—стихотворная конструкция, как многократно отмечалось, индифферентна к содержанию.

Несколько лет назад Дмитрий Кузьмин разместил на сайте журнала «Вавилон» обвинительный манифест в адрес «Ариона». С большинством его претензий я тогда не был согласен (всё-таки, как ни крути, критика в журнале весьма профессиональна, да и в отношении стихов «Арион» держит высокую планку). Однако одна из претензий Кузьмина представляется мне важной—она касается текстоцентрического, а не авторoцентрического подхода при выборе публикаций, в результате чего, как отмечал автор манифеста, *«рядом с отдельными текстами вполне достойных и профессиональных авторов публикуются случайные удачи дилетантов, а иногда и клинических графоманов. Подчеркну: речь идёт не об уравнивании авторов с разной мерой известности. Речь о том, что у одних авторов публикуемый текст является представителем значительного по объёму массива подобных текстов, которые в совокупности составляют авторскую индивидуальность,—в других же случаях текст не представляет никого и ничего, кроме самого себя»*. К сожалению, это весьма дельное замечание не было редакторами учтено, и замеченный Кузьминым недостаток превратился в особенность формата «Ариона», более того—в традицию…

Скажем, я насторожился, увидев в рубрике «Листки» имя Аллы Клиновской. Дело в том, что со стихами этой весьма несостоятельной авторицы я познакомился на одной из московских литстудий, где они (даже с учётом низкого литстудийного уровня) получили весьма критичную оценку. Второй раз я услышал её имя на другой литстудии: стихотворный цикл Клиновской, озаглавленный «Памяти Марины Цветаевой» (название само по себе говорит о многом), был опубликован в одной из литературных газет, и руководитель студии, знакомя нас с периодикой, полушутливо наставил: «Никогда не читайте Аллу Клиновскую». Чтобы не быть голословным, процитирую отрывок из этого цикла:

Забыть Вас невозможно, право,
Вы на устах теперь у всех.
Предсказанная Вами слава
Не знает никаких помех.

Сивилла, Жанна д’Арк, Коринна—
Сравнений перекинут мост.
И Вы предстали нам, Марина,
Во весь свой исполинский рост!

Нужны ли комментарии? В «Арионе» Клиновская представляет вялый, разбитый, как у Скворцова, на немотивированные межстрочные паузы отрывок (только, слава Богу, в отличие от скворцовского, более короткий):

Падают листья,
Жду их шуршанья…
Вот, наконец.

Претендующая лишь на «случайную удачу» игра слов («наконец» как наречие и «конец» как существительное, синоним «гибели» листьев), видимо, и позволила этому тексту попасть в рубрику «Листки». Однако чего хотят добиться редакторы журнала? Создаётся впечатление, что двумя-тремя нулевыми текстами специально подмешивается ложка дёгтя в бочку мёда. Имена этих «производителей случайных удач» фигурируют рядом с вполне самостоятельными поэтами, таким образом как бы примешиваясь (хочется сказать—примазываясь) к представляемой «Арионом» картине современной поэзии и несколько разбавляя положительный поэтический фон.

Впрочем, довольно уже критики, пора сказать несколько слов и об этих «самостоятельных», благо, их гораздо больше. Интересную подборку, выдержанную в обэриутском стиле, апологизируемом «Арионом», представляет Юлий Хоменко. В целом складывается ощущение некоего «арионовского» вкусового мэйнстрима (обэриутские интонации свойственны и творчеству Дм. Тонконогова, заведующего отделом поэзии журнала): пейзаж либо натюрморт, афористичный, зачастую незавершённый, жизненный и не лишённый иронии.

Избегаю осенних скверов,
Где деревьев невпроворот
Самых разных сортов, размеров,
Каст, конфессий, мастей, пород,

Что столпились, сплелись, и здрасте—
Оголяются скопом, враз,
Независимо от пристрастий,
Вероисповеданий, рас.

Циклическая подборка Олеси Николаевой, любимого автора «Ариона», удачно гармонирует с публикацией Евгения Абдуллаева о городских стихах (подробнее на этой статье остановлюсь чуть позже): лирическая героиня, юродиво приподнятая над средой, с ироническим *остранением* наблюдает картины городского быта.

Я пальто надела с шарфом длинным,
стала слушать, выйдя из ворот,
что в иносказаньях и картинах
говорит народ.

Говорит он: чурки, иностранцы,
бабки, водка, сволочи, морфлот,
а ещё, как предрекают старцы,
вся Москва с семи холмов сползёт.

Метафизическое пространство стихов Марии Галиной, населённое полупризраками-полууродами, и порой по-стариковски брюзгливая, порой благодарственная интонация Олега Чухонцева, наблюдающего мир из окна переделкинского дома и из его окрестностей (остранение, сходное с николаевским, но деревенское, вполне земное и—что

важно — лишённое людей) вкупе с «городом» Николаевой как бы символизируют три разнонаправленных вектора поэтического мироощущения. Узнаваемые картины мира предстают перед нами в подборках Льва Козовского, Владимира Васильева: так выявляется другое направление журнальной политики «Ариона» — преодоление герметизма и акцентирование социального начала в лирике.

Но перейдём к критике в «Арионе». Евгений Абдуллаев материалом «Поэзия действительности: II» продолжает цикл статей «Очерки о поэзии 2010-х». Можно по-разному относиться к метафоре пещеры, предложенной им с самого начала (дельная критика этого подхода была осуществлена Евгенией Вежлян в обзоре летних журналов на сайте «Polit.ru»[2]; в этой статье Абдуллаев пытается ответить на её «нападки»). В предыдущем материале критик, исходя из выбранной им метафоры, классифицировал стихотворные произведения по четырём уровням («высший уровень — это и есть *созерцание при свете солнца*, второй уровень — *созерцание при сумеречном свете* (попытка усвоить, освоить находки текста первого уровня, развить их); третий уровень — текст-*отражение*, книжная, «филологическая» поэзия; и, наконец, четвёртый уровень — текст-*тень* — графомания»). Тема получает неожиданное развитие — разговор об урбанизации, засилье квази-реальности, когда произведения современных авторов преподносятся в контексте мыслей Иннокентия Анненского (начало XX века), что в который раз доказывает, что меняется время, но не люди. Текстоцентрический подход имеет место и здесь, однако выглядит уместно: в качестве иллюстраций Абдуллаев привлекает творчество поэтов разных поколений и разной степени известности — значение имеет лишь раскрытие темы в тексте-иллюстрации (в данном случае — темы смерти, противопоставленной интернет-реальности). Добавить хочется лишь одно наблюдение — в 1944 году Ахматова сказала:

Наше священное ремесло
Существует тысячи лет…
С ним и без света миру светло.
Но ещё ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет,
А может, и смерти нет.

С тех пор эту фразу — «смерти нет», — словно бы желая опровергнуть слова Ахматовой или отнесясь к ним слишком серьёзно, произнесли столь многие, что она уже стала общим местом (от «на свете смерти нет» Тарковского до «а писать надо так, как будто бы смерти нет. Как будто бы смерть — пустой стариковский гон» Полозковой). Однако смерть от этих слов никуда не делась…

В разделе «Групповой портрет» Евгения Вежлян осмысливает недавно вышедшую антологию студии «Луч» в историческом контексте (для сравнения см. мою рецензию на этот же сборник в 8-м номере журнала «Дети Ра» за 2010 г.[3]). Вообще, создалось впечатление, что опус Вежлян первоначально готовился как рецензия, однако благодаря широте охвата разросся до «проблемной» статьи. Основной чертой стиля Евгении Вежлян я бы назвал въедливость и придирчивость — вызывающие уважение, но и желание придраться, несмотря на железно выстраиваемую аргументацию. В данном случае сложно согласиться с заключительным выводом статьи, довольно категоричным: «*А что до самих поэтических студий — то, думается, их время прошло, как только идея государственной «формовки» писателя стала неактуальной. Те студии, что ещё существуют, живут грёзами о прошлом (если были знамениты) и к живой литературной современности отношения уже не имеют. Но это, как говорится, — совсем другая — история…*» Вряд ли возможно представить себе ныне состоявшегося поэта, не прошедшего через литературную студию (а желательно — через несколько) с наставником-руководителем и обсуждениями, шлифующими способности. Несмотря на недостатки литстудий (тут позволю себе снова отослать читателя к своей статье «Молодой литератор и „вечный венец“» в «Литературной учёбе» № 3, 2010[4], где я подробно рассуждаю на эту тему), вряд ли можно отрицать их как феномен современной литературной ситуации. И какими «грёзами о прошлом» живут сегодняшние литстудии? Насколько мне известно, старейшая из существующих сегодня (по крайней мере, московских) литстудий, не считая волгинской, ведома Еленой Исаевой при МГТУ им. Баумана в течение 14 лет, остальные появились позже. Если же имеются в виду ещё более «пожилые» литстудии (видимо, провинциальные), неизвестные мне, но известные, вероятно, Евгении Вежлян, то хотелось бы пояснения. Иначе выводы статьи представляются довольно сомнительными.

Разговор о литературной учёбе продолжается в интересном и во многом точном, хотя и ворчливом, монологе Ильи Фаликова «Знать грамоте», затрагивающем, помимо основной темы, немало её ответвлений и изобилующем лирическими отступлениями и интересными фактами. В частности, критик, хваля стихи Андрея Гришаева, упрекает автора в «неважнецкой рифмовке» и предостерегает: «Наив уйдёт, останется пренебрежение качеством стиха» (что-то подобное отмечал и я при чтении стихов этого поэта); уверяет в «огромности дарования» Ярослава Смелякова, что в моих глазах представляется весьма спорным; раздражённо защищает филологическую поэзию от нападок (в т.ч. от критика, упрекавшего в этом недостатке самого автора статьи, — и тем невольно подставляется и провоцирует мысль о некоторой пристрастности). Кажется, что Фаликов защищает себя. Но таков уж этот жанр — субъективный…

2. Тех, кто хочет вникнуть в полемику, отсылаю к исходным текстам: http://magazines.russ.ru/arion/2010/2/ab20.html — Евг. Абдуллаев «Поэзия действительности: I» и Евгения Вежлян: http://polit.ru/fiction/2010/07/30/jurjune.html — «Критика в журналах июня: «Арион», «Дружба народов», «Октябрь». Nota bene: О журналах и прочем».
3. http://magazines.russ.ru/ra/2010/8/ku39.html
4. http://www.lych.ru/online/index.php/oainmenu-65/50--32010/588

«Литературная учёба»: *массовое или высокохудожественное?*

Тема достоинств и недостатков Литературного института, обсуждение которой началось в 4-м номере «Литучёбы» за 2010 год, красной нитью проходит и по страницам пятого выпуска журнала. В споре истина, как известно, не рождается, зато слухи из разряда «то ли он украл, то ли у него украли, но что-то там такое было», увы, не способствуют укреплению репутации единственного в стране вуза, выпускающего профессиональных литературно-творческих работников. Напомним, что волна публикаций о Литинституте поднялась этой весной после анонимки некоего Игната Литовцева в газете «Литературная Россия». Анонимка содержала грубые нападки на Литинститут. Сейчас разговор продолжается — к сожалению, людьми, зачастую не компетентными в вопросах внутренней жизни института. Характерны первые фразы заметок: *«О Литературном институте в его теперешнем состоянии знаю на удивление мало»* (В. Топоров) или *«Я в выигрышной ситуации — к Литинституту не имею ни малейшего отношения»*. Так и тянет добавить ироническое: «Но хочу сказать». Однако за вступительными фразами следуют весьма развёрнутые мнения. Калмыкова, например, переносит личные обиды на разговор о профессиональной состоятельности вуза, рассказывая о своём опыте посещения Литинститута (конференция, посвящённая Павлу Васильеву): *«Студентам слёзы педагогов были явно не интересны. Студентов явно согнали сюда вместо занятий, и когда звенел звонок с пары, студент поднимался и, стуча ногами (докладчик при этом докладывал, что характерно), массово уходил из аудитории. А ректор бросался его догонять. Это выглядело ужасно»*. Спрашивается — не является ли подобное поведение нормальным для студенческой аудитории? И если не является, то не случается ли подобное сплошь и рядом в других вузах? Самыми дельными мне показались высказывания бывших выпускников — Алисы Ганиевой, Александра Переверзина и Сергея Самсонова, выступивших со здравыми и рассудительными «pro» и «contra». Переверзин, знающий Литинститут не понаслышке, полемизирует с Дмитрием Быковым, когда-то окрестившим Литинститут «институтом лишних людей». *«Но позвольте,* — резонно возражает ему Переверзин, — *если человек, решивший посвятить себя литературе, становится лишним для общества, то всем очевидно, что это болезнь общества, а не человека. Причём страшная болезнь, и лекарство от неё ещё не найдено»*.

Публикация Натальи Вишняковой о садах в русской поэзии XXI века смотрится хотя и познавательно, но скучновато, а главное — неясно зачем. Зато следующая статья — Елены Майоровой — «Мышеловка в сыре» — любопытна, ибо написана с известной долей холодного цинизма, так не любимого Высоцким, рассудочного практицизма и апологетики по отношению к обществу потребления. *«Стоит обратить внимание на круг интересов современного человека, чтобы сразу заметить: его в первую очередь интересуют деньги и доступные удовольствия. Современное общество потворствует именно этим пристрастиям и мало заботится о насаждении «духовности», поскольку это коммерчески не так выгодно. Разве можно было представить себе такой уровень циничной продажности раньше? Ответ: можно»*, — рассуждает Майорова, по профессии копирайтер. В общем-то, ничего нового статья не открывает. Подобные рассуждения, равно как и противоположные им — то есть «утопические, иллюзорные и романтические» (статья написана в ответ на провокационный спич Александра Титкова, который в 3-м номере «Литучёбы» проводит границу между «настоящей литературой» и «нынешним копирайтерством»), — приходится слышать часто. Только вот почему-то, несмотря на множество взвешенных и холодных, как ушат ледяной воды, аргументов, хочется встать на сторону апологетов второй позиции. Не люблю я холодного цинизма, равно как и чужих, заглядывающих через плечо…

В целом 5-й номер «Литучёбы» оставляет ощущение бесконечного пережёвывания темы противостояния «высокохудожественного» и «массового»: каждый автор по-своему интерпретирует эту проблему, но от этого тема не перестаёт быть затёртой, а диалог — бесконечным. *«Коварство ситуации в том, что сторона защиты и в принципе права. Это неизбежное следствие достижений нашей эпохи: демократии, глобализации, толерантности, отхода от христианского наследия. То, что может быть очевидно любому человеку с образованием выше среднего, оказывается совершенно неочевидным для домохозяйки, которая просто не хочет тратить силы на раздумья. Разрушенное единство истины неизбежно ведёт к спорам, в которых никто никого не может убедить. Сегодня каждый в ответе сам за себя и за свои пристрастия. И значит, доктор филологии не имеет ни малейшего права указывать домохозяйке, что читать. Да он и вообще не имеет права этого делать. Приятная и греющая самолюбие формулировка закона об относительности приводит к такому вот уроду логики и, главное, — к бесконечному диалогу там, где можно было бы давно поставить точку»*, — писал критик Сергей Сиротин в статье «Картина мира по Донцовой» («Континент», № 137, 2008). Настроение публикации может быть спокойно-рассудочным, как в статье Майоровой, или пессимистическим, как в статье Михаила Голубкова «Словесность и русский культурный код в начале XXI века»… Но, как бы там ни было, тема актуальна и для меня, и я с интересом прочитаю очередные рассуждения в этом ключе. Разность же (порой — полярность) точек зрения, отражённых в «Литучёбе», оставляет впечатление свободного полемического пространства, идеологически не ангажированного.

Журнал старается оправдывать своё название, размещая на своих страницах статьи и о русском языке, и о наследии прошлого, которому уделено здесь едва ли не превалирующее внимание (интереснейший материал Максима Лаврентьева

о Маяковском и Ходасевиче продолжает серию статей об эсхатологических памятниках русской поэзии).

Среди публикаций выделена рубрика «Литучёбе — 80!», посвящённая юбилею журнала, основанного, как легко сосчитать, в 1930 году.

«Дружба народов» и «Знамя»: *отход от стандартов*

Из последних публикаций, выгодно отличающихся от сетки координат, словно намеренно задаваемой иными «толстяками», хочется отметить рассказ Дмитрия Вачедина в 8-м номере журнала «Знамя». Мистическая атмосфера текста, не свойственная писателю (большинство его рассказов тяготеет к реализму), в сочетании с рассудочно-аналитическим, спокойным, лишённым экспрессии языком («типично немецким», как я его про себя называю) оставляет впечатление творческой находки. Проза Вачедина — о жизни русских эмигрантов в Германии. Писатель родился в 1982 году в Ленинграде, в 1999-м переехал в Германию; в 2007-м получил премию «Дебют» в номинации «Молодой русский мир»; в 2008-м окончил университет в городе Майнц, факультеты политологии и славистики. В настоящее время живёт в Майнце, работает на радио «Немецкая Волна» («Deutsche Welle»). Подробнее о писателе и его взглядах на жизнь можно прочитать в № 44 газеты «Литературная Россия» (интервью «Между двух огней»), а в 10-м номере «Знамени» опубликовано его эссе о Форуме молодых писателей в Липках, написанное ярким и сочным языком. Осенью 2010 года в издательстве «Прозаик» вышла дебютная книга Вачедина «Снежные немцы» («свежий, в чём-то юношеский, странный и ни на что не похожий роман о бешеной любви и «Газпроме» и более зрелые рассказы», как характеризует книгу сам автор). «*Я впервые увидел Дмитрия Вачедина в Липках, на мастер-классе «Знамени». В последние годы из Германии приходит немало русских прозаических и поэтических текстов. Найти себя в русской прозе, живя в Германии, довольно трудно. Одно дело — воспоминания о жизни в России, приправленные немецкими бытовыми подробностями. Или — попытка писать немецкую прозу по-русски. То есть — стилизовать по-русски усреднённую западную прозу… Но как, оставаясь в русском контексте, писать о сегодняшнем русском немце? Вачедин лишён ностальгии. Но Вачедин предан русской культуре. Вачедин, в отличие от писателей-эмигрантов старших поколений, не осознаёт себя эмигрантом: он ни от кого не бежал… Вачедин избрал самый надёжный, но почти не исхоженный в последние годы путь русского писателя, живущего в Европе, — традицию. Традицию Сирина, Газданова и даже Шкловского, создавшего «ZOO». И — переживание традиции немецкой бюргерской прозы, новеллистики Томаса Манна прежде всего. Главное, что обнадёживает меня в прозе Вачедина, — устаревшее нынче, но и самое продуктивное, едва ли не сакральное отношение к русскому литературному языку. В этом Вачедин принципиально старомоден, как и подобает тому, кто не суетится в стремлении оказаться и удержаться на поверхности немедленного социального успеха*», — так характеризует писателя Андрей Дмитриев, заметивший молодое дарование на Форуме писателей в Липках.

Проблема национальных меньшинств затронута в девятом номере «Знамени» (Иосиф Гальперин, «Уроки Бесланской школы») и в «Дружбе народов» (Эльвира Горюхина, «Хочется жить, зная, что будет завтра. Дагестан в беседах и сочинениях молодого поколения») — однако документальная публикация в «Знамени» не в пример ярче, изобилует подробностями трагедии, благодаря которым читается на одном дыхании; статья Горюхиной же хотя и познавательна, но уступает работе Гальперина по языку и самой интерпретации темы. Пожалуй, самый интересный материал в девятом номере «ДН» — это статья Георгия Кубатьяна «Безвестный поэт» о действительно незаслуженно позабытом Юрии Карабчиевском, человеке трагической судьбы, покончившем самоубийством в 1992 году. Даже приведённые в виде цитат строки Карабчиевского пронзают и берут за душу.

…Дурацкое свойство рассудка —
искать существо и костяк.
То — шутка, а это не шутка.
То — важно, а это пустяк…

Ты знаешь, сегодня мне жутко.
Не в меру, не просто, не так.

Сегодня, в тоске коридора,
испарину чувствуя лбом,
я понял бессилие спора —
любого, с любым, о любом.

Впервые за многие сроки
я понял далёкий намёк:
мы так же с тобой одиноки,
как каждый из нас одинок.

<…>

«*Одиночество неизбежно растравляет язву в душе лирического героя, без того болезненную. Чем она порождена? Да неизбывной, безысходной отчуждённостью. Герой стихов испытал её в отрочестве, даже того раньше — в детстве. Не нужно разъяснять: отчуждённость от ровесников, от ближайшего твоего круга, затруднённость и боязнь общения — попросту разновидность одиночества; они взаимообусловлены, отчуждённость и одиночество, взаимозаменяемы и воспринимаются вдобавок этакими синонимами. Поставят одно на место другого — ты и не заметишь*, — пишет Кубатьян. — …*Впрочем, ежели как на духу, не знаю, выживут ли стихи Карабчиевского, воскреснут ли хотя бы новым изданием. Умолчу про читательский интерес или, того пуще, любовь — они покамест обманное виденье, своего рода фигура речи. Даже поминать их глупо; коль скоро возникнут, обозначатся, то без убогих и нелепых благопожеланий. Но вот вспомнить сами стихи, вспомнить, что они были, что они есть, — это, полагаю, нелишне. Потому как яснее ясного — поэт Юрий Карабчиевский даже не забыт, а попросту*

не замечен и, пожалуй, не прочитан. Единственное назначение моих заметок (они не обусловлены никаким информационным поводом и вполне спонтанны)—напомнить имя». Что ж, и я очень надеюсь, что поэт Карабчиевский будет прочитан и замечен. Благо—заслуживает.

Мучительный поиск себя, самоидентификация в мире и пространстве (зачастую метафизическом)—ключевые мотивы стихотворной подборки Сергея Арутюнова, обращающей на себя внимание в 10-м номере «дн». Такая лирическая направленность неизбежно связана с припоминанием—первоосновой русской лирики, и в стихах Арутюнова припоминаний хватает. Интонация некоторых стихотворений кажется звучащей из потусторонних сфер:

Когда мы были почти как люди,
О, что за радость у нас была,
Валяясь мирно в своей каюте,
Глядеть, как с веток течёт смола.

До слёз трогает стихотворение, посвящённое смерти матери:

…Что ж от меня заперлась ты на три замка?
Там ли отец? Живой ли? Одет, обут?
Вот же письмо, под клапаном рюкзака,
Вот же твой почерк—значит, вы где-то тут?

<…>

Встретимся, мама, только уже не здесь.
Может быть, я не скоро. Пойми: дела.
Поезд мой разогнался—попробуй слезь.
Грохота вдоволь. Грохота—не тепла.

Стужи во мне, родная, на три зимы.
Кто бы на участь худшую осудил?
Стены мои восходом потрясены.
Адрес ты знаешь. Адрес у нас один.

Поэма «Побег», написанная в советской стилистике, важна тем, что передаёт реальный биографический опыт автора, в 90-е годы воевавшего в «горячих» точках.

Ты упал не сразу за столбами,
А чуть-чуть подаль, где кусты.
Мы бежали, мы не отставали,
На кровавый свет ночной звезды,
Через поле, через те траншеи.
Ты лежал со смертью, как с женой,
И лица необщим выраженьем
Говорил: бегите, я живой.

В связи с ней на память приходят перестроечные стихи Юлии Друниной, во время тяжёлых для страны перемен мечтавшей вернуться на войну, где была цель бороться и выживать. Тогдашней ясности целей—борьбе за выживание—у Арутюнова противопоставлено нынешнее удушье городского быта.

Бомбер китайский с вешалки умыкну.
Засветло сбегать в охотку до магазина—
То же, что затемно встать, подойти к окну,
Веря, что ночь навеки неугасима.

Беспомощность подчёркнута и иронической реминисценцией к Мандельштаму: *«Дано мне тело. Сдано в аренду. / Ни пуст, ни полон его стакан»*,—и композиционной выстроенностью подборки—первое и заключительное стихотворения написаны в одном размере, что передаёт ощущение замкнутого круга, в котором:

…воля моя зачахла,
И стал я сед, как Мафусаил,
Но если смог бы начать сначала,
То ничего бы не изменил.

«Звезда»: *дотянется не каждый*

10-й номер журнала «Звезда» открывается стихотворением К. Р. на форзаце (великого князя Константина Константиновича), написанным в 1907 году, что сразу наводит на мысль о некоторой элитарности. Эта догадка подтверждается и подборкой парижанки Натальи Горбаневской, которая предшествует всем остальным публикациям номера. Причудливые ассоциативные связи, богатая образность и звуковая насыщенность создают ощущение—подобное мне приходилось испытывать и на презентации книги Горбаневской—самодвижущегося пространства, герметичного и совершенно не вовлекающего читателя.

Эти «верно», «наверное» и
«очевидно». Но что очевидно?
Что ни слуху не слышно, не видно
ни очам, ни очкам, ни-ни-ни…

Ориентация на филологическую аудиторию подтверждается и названием дневниковой повести Нины Щербак «Роман с филфаком». Дневник интеллигентной студентки филфака, каждой главе которого предпосланы стихотворные эпиграфы, пронизан множеством литературных имён и реминисценций. Атмосфера одухотворённости, с которой написано произведение, рождает почти бунинское ощущение «лёгкого дыхания».

Читая вторую подборку в номере—на этот раз Бориса Парамонова, живущего в Нью-Йорке,—понимаешь вкусовой мэйнстрим журнала: филологическая поэзия, преимущественно эмигрантская и рассчитанная на образованного читателя, изобилующая множеством метафор и литературных отсылок. В стихах Парамонова смущает слишком явное влияние Бродского—многословное говорение, холодноватость—и сомнительная физиологическая двусмысленность (стихотворение «На женитьбу друга»):

Висит на розовом гвозде
салоп жилички,
и согреваются в гнезде
твои яички.

Лаконичные тексты Михаила Окуня (русского поэта, с 2002 года живущего в Германии) пронизаны темой двоемирия—оно проявляется и на композиционном уровне стихотворения, распадающегося на «где-то» и «здесь».

Соответствовать веку стараюсь,
Чтоб не пережигать провода.
Меж двумя городами мотаюсь
Туда-сюда…

<…>

А где-то там небо играет,
Гуляет весёлый маньяк.
Кофейник у нас остывает,
И в рюмочке киснет коньяк…

Очень любопытна публикация Андрея Хршановского об отце — известном писателе, раскрывающая перед нами интересную и многогранную личность, что чувствуется даже в цитатах из речи. *«Утверждая, что в искусстве главное — правда, а не приём, с помощью которого её передают, он не отрицал сложного как такового: «Люди с извивами полагают, что всё прямолинейное глупо. Люди прямолинейные считают, что всё извилистое непонятно и потому не нужно. Может быть, ошибаются и те, и другие, так как оба мнения прямолинейны… <…> Находя некое созвучие своим «коллективистским ценностям» в коммунистических идеалах, к реальному социализму, построенному в нашей стране, как следует из записей того времени, отец относился весьма критически: „Философы объяснили мир, дело состоит в том, чтобы его переделать, — так говорили Маркс и Энгельс. Но теперь мы изменили тот мир, о котором они говорили. Не состоит ли задача в том, чтобы объяснить этот изменённый мир?“»* В конце рассказа опубликованы письма Хршановского жене. В сентябре 1945 года она была убита в Ленинграде бандитами вместе со своей дочерью — обстоятельства так и не выяснены. То, что женщины пережили войну, отдаёт роковым стечением этих обстоятельств…

Расчёт на ограниченный круг читателей — филологов, исследователей, способных (и желающих) вникать в «цветущую сложность» поэтики Натальи Горбаневской, в подтексты и скрытые интенции стихотворения Заболоцкого «Меркнут знаки Зодиака» (публикация А. Жолковского, написанная постструктуралистским языком и изобилующая терминологией), — принципиально отличает «Звезду», к примеру, от «Юности». Скажем, если «Юность» представляется мне флюгером, вращающимся во все четыре стороны, то «Звезду» можно представить в образе холодноватого гостя-интеллектуала, подпускающего к себе только тех, кто принадлежит к его кругу и с кем он (гость) способен найти общий язык. А отрицать или принимать такой журнальный подход — дело каждого.

ДиН стихи

Фёдор Васильев

Слепой художник

Стансы

Господи, сойди в меня, как в ад.
Остальное — только от фантазий.
Мой состав исполнен безобразий, —
как они Тебя вообразят?
Господи, сойди в меня, как в ад.

Господи, сойди в меня, как в ад.
Я утратил правильное зренье;
знаемых отравленные тени
растянулись до алтарных врат.
Господи, сойди в меня, как в ад.

Господи, сойди в меня, как в морг.
Патанатом, выйдя из запоя,
запирает изнутри замок,
сам уже без четверти покойник.
Господи, сойди в меня, как в морг.

Господи, сойди в меня, как в морг.
Ныне, отключая холодильник,
признаю, что никогда не мог
оживлять поставки частных клиник.
Господи, сойди в меня, как в морг…

* * *

В этом городе синие ставни,
мостовая не знает теней.
Ты ложишься на жёлтые камни,
и становится в мире темней.

На твоё безупречное тело
налагая слепой трафарет,
появляются вóроны в белом
и чертой подпирают рассвет.

Расправляя помятые кости,
возвращаясь в чужие края,
ты поймёшь, почему на погосте
только скалы веками стоят.

* * *

На нашей улице слепой художник
он хочет чтобы я писал картины
а не стихи

Я говорю ему о том что вижу
а он хитрит стихи мои ругает
наверно плачет

Предупреждает что убийцей стану
отнекиваюсь мол уже убийца
он умоляет — вор пока

Искусанные губы пальцы в краске
не так я плох ведь он тайком рисует
но все картины посвящает мне

Владимир Монахов

Стол поэта:
до и после праздника

Каждый современный поэт ищет дополнительное время для своих стихов, но не каждый находит. Красноярец *Сергей Кузнечихин* своим стихам в книге нашёл время и место среди нынешних читателей, уловив момент повышенного читательского внимания. Свой девятый сборник[1] автор разделил на две жизнемысли: «После праздника» и «Стол». Между праздником и столом поэт проводит главный водораздел всеобщей лжизни, датированный с 2009-го по 1966-й годы. Отсчёт ведётся в обратном порядке, и это заставляет нас вернуться в прошлое, которое, как выясняется, мало отличается от дня нынешнего.

При этом большую часть книги составляют стихи, написанные в стол. Хотя нынешний читатель большой разницы между остротой тем из прошлого и настоящего дня уже не найдёт. А это говорит в пользу автора: он себе никогда не изменял. Новая книга стихов—это три года после праздника, когда поэт сумел в страшных 90-х выжить, а в не менее жутких нулевых дожить до юбилейного 60-летия, но не замкнуться в пенсионном забвении, а продолжать сочинять стихи.

Стол—всё, что раньше по цензурным соображениям не попадало в печать, а лежало без движения, без включения в литературный процесс, под сукном времени. Такие тексты, по меткому определению Юрия Беликова, всегда «огнестрельная рукопись за пазухой», они готовы выстрелить в читательское сознание в любую минуту душевного спроса, если:

> Успех пропитан запахом натужности—
> Не тем, так этим маешься в угоду.
> Лишь осознанье собственной ненужности
> Даёт поэту полную свободу.

Но свобода лишь тогда становится такой, если прояснишь, кем каждый себя ощущает в личном дополнительном времени:

> …являешься ли ты центром
> Вселенной или сверчком запечным.

Хотя и то, и другое не исключается: в одном человеке и сверчок запечный может быть центром всего, а центр Вселенной может сойтись на безымянном сверчке, если голос его услышат хотя бы несколько читателей сегодня и завтра. А для этого надо не снимая носить, как автор сам себе определил, «*единственное платье для истории—спецовку*».

Голос поэта Сергея Кузнечихина, крепко примкнувшего к группе «дикороссов», многим из которых было суждено уйти в поэтическую вечность, всё сильнее и громче раздаётся на поэтически молчаливом пространстве, где «*не везде поэт прорастает*». Не простой поэт, а такой, кто пишет смелые стихи, дрожа от страха, как подметил Наум Коржавин. И Кузнечихин из этого смелого сословия поэтов-дикороссов, которые не боятся социального слова сказать поперёк эпохи.

Потому что Сергей Кузнечихин, как и его единомышленник-дикоросс Геннадий Кононов из Пыталова, никогда «*не может ослушаться Слова*». Но при этом, как Валерий Прокошин из Обнинска, живёт в «*постоянности желания спрятаться, спрятать—не конфетку в карман, а себя самого*», но остро ощущает, как Аркадий Кутилов из Омска:

> И лишь гостеприимная тюрьма,
> Как милостыню, подавала пайку.

Ведь закончившаяся жизнь другого поэта-дикоросса, Валерия Абанькина из Перми, доказала и укрепила в поэтической памяти Кузнечихина жёсткую, но правдивую мысль:

> Сочинительство огнеопасно,
> Если рукопись тлеет внутри.

Тем более что давно уже прописано на скрижалях дикороссов кузнечихинскими стихами:

> Россия забывает про поэтов,
> Привычно продолжая их рожать.

И это теперь навсегда напоминает всей своей жизнью омский поэт-бомж Аркадий Кутилов, кому последним домом-пристанищем стала лавочка в городском парке, где он отослал Богу душу. И обнаруживший тело поэта рядовой правопорядка не мог даже предвидеть своим инструктивным умом:

> …И разве мог подумать омский мент,
> Что этот бомж взойдёт на постамент?

Начиная с девятнадцатого века, мёртвые поэты, которые занимают тихо, почти незаметно места классиков, в большей чести в России, как и другие герои посмертной славы, не мешая власти и пресмыкающемуся перед ней народу жить не по Слову. Хотя, по меткому определению Сергея Кузнечихина, которого мучает главный социально-философский вопрос России:

> Богатый опыт поражений
> К победе вряд ли приведёт.

Лирический герой поэта Кузнечихина почти никогда не становится при жизни победителем—разве что женщина его полюбит, да он не сможет умно распорядиться этой любовью, будет метаться, сомневаться и в итоге останется один.

---

1. Сергей Кузнечихин. Дополнительное время. Стихи. Красноярск. Семицвет, 2010 год. Тираж 200 экз.

Женщина пришла, потом ушла.
Что-то принесла и унесла.
Горько, но нисколько не влечёт
Разводить бухгалтерский учёт.
Если захочу, потом пойму,
Отчего ушла и почему…

Но при этом он постоянно натруженно думающий, порой опасно обдумывающий текущую лжизнь человек, часто страдающий от своих мыслей и чувств, а потому злой на слово. Особенно это ярко и зримо проявилось в стихотворении «Дом с краю» (такое восьмистишие может стать украшением любой современной антологии, но где те юркие составители, которые почему-то не замечают Кузнечихина?!), когда безымянный гражданин остаётся за кадром, но его опасное присутствие читатель ощущает в потустороннем биении сердца за стеной бытия-небытия:

Косо в землю вросшая избушка—
Словно почерневший истукан.
На столе порожняя чекушка
И стакан.

Пара мух ощупывает крошки—
Видно, чем-то запах не хорош.
Ни тарелки на столе, ни ложки,
Только нож.

А ведь, на первый взгляд, восемь строчек стихотворения кажутся безобидной бытовой зарисовкой, которых немало разбросано в книге Сергея Кузнечихина, с помощью коих он выходит на высокие философские откровения. Но надо помнить, что русские всегда в актуальной отечественной литературе изображались как стихийные, активные люди бунта, в которых живут одновременно и Бог, и Дьявол. Герои стихов Сергея Кузнечихина не исключение, они регулярно тянутся к ножу, хотя не во всех текстах это орудие труда и убийств отчётливо проявляется, но ощущается его наличие непременно… Поэтому мы не знаем, как будет реализован очередной злой порыв стихотворения, поэт мутной грани не переходит, как опытный кинорежиссёр вовремя даёт команду «стоп, мотор», активно пользуясь паузой бесконечности, за которой включается уже мысль читателя, требуя от него самостоятельного социального прогноза.

Мы понимаем, что такой человек готов и может нанести немало разрушений себе и окружающему миру. Но такое развитие стихотворных сюжетов, которые построены как крохотные киносценарии, в замыслах Кузнечихина вовремя останавливается на границе беды. Потому что поэт понимает и знает: если даже в слове русскую бессмыслицу поставить вне закона и автору под барабанный бой отрубить голову, то бессмысленность, обагрённая кровью, наполнится смыслом страдания. И тогда под знамёна страданий встанут миллионы людей, чтобы первым делом захватить власть и начать казнить тех, кто не сумел понять смысл усвоенной ими бессмыслицы, которую лирический герой вовремя гасит о «*неразбавленный спирт без закуски*».

Недаром в России смысл ищет форму при помощи топора, а бессмыслица—крепко-накрепко скрепляется кровавым содержанием… И на этой обжигающей грани живут герои стихов Сергея Кузнечихина, останавливая свой бредовый взгляд на ноже, если ещё не держат оружие возмездия в руке… Хотя, скажите, какая может наступить беда от злоязычного калечного человека у базарных ворот, который уже ничего не может—только точить те самые ножи для дамочек, задевая клиентуру острым словом или похабным намёком?

А ему хоть бы хны, держит форс мужика,
Для которого фарт не бывает без риска.
Нож в надёжной руке, и летят с наждака
Ослепительным веером острые искры.

Но по учебникам истории мы знаем, что будет, когда вместо пугливых хозяек выйдет на свет с топором или с острым ножичком в кармане *«герой-палач—последний моралист»* или *«герой ненормативной лексики»*, которые у Кузнечихина хоть и прописаны к сословию: один работает на сцене-эшафоте артистом, другой вошёл в историю с бранным словом при штурме Зимнего или обороне Сталинграда… но ведь потом эти герои возвращаются домой, где могут нести годами в душе неисполненный русский бунт, что пока тлеет в рифмах протеста, но в любой момент может пробудиться на улице, когда:

Подорожали продукты питания—
Главная новость на все времена.

Постоянные метания наших мыслителей и стихотворцев в поисках лучшей жизни происходят потому, что со стороны России мир кажется надёжно обустроенным и нам не хватает только этого повседневного мирового уюта. Ступи на шаг вперёд—и вот ты с этим уютом. Но не тут-то было: со стороны уютного мира кажется, что в России и так всего вдоволь, у нас есть всё: и нефть, и газ, и лес, которыми лучше всего могут и хотят по-хозяйски распорядиться другие. А русским для сердечного спокойствия достаточно оставить только стихи, которыми легче всего обустроить умы и души коренного населения. Больно признавать, но, кажется, так оно и есть. А поэт Сергей Кузнечихин продвигается по руслу этой мысли, чтобы рифмой, как праздником из своего письменного стола, с горечью осознавать:

И кого-нибудь одарим
Светлым будущим своим.

И этот прожигающий сердце социальный пессимизм автора «Дополнительного времени» принят и оправдан пока немногочисленными читателями поэта Кузнечихина, среди которых, по наблюдению автора, нередко ещё встречаются «*правнуки Белинского из вчк*». И это не устаревшая синтез-метафора прошлых веков—это будни нашего времени: Белинские вчк не дремлют, они среди нас, как только заработает на полную катушку очередная чрезвычайная комиссия сначала для поэтов, потом для их читателей.

Синяя тетрадь

*«Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами».*
Ахматова

Читая Бунина: что обещает осень?

*Что-то неземное обещает,
К тишине уводит от забот—
И опять, опять душа прощает
Промелькнувший, обманувший год…*

И. А. Бунин

Ася Пузанова, 7 класс

…Осень. Листья. Краски меркнут. Ветер шепчет что-то на ухо. Волшебство обещает. Становится немного грустно, но в то же время радостно. Посмотришь на опавшие листья—и будто проваливаешься в тишину и спокойствие: не слышишь глупых шуток и споров сверстников, лишь странно улыбаешься. Будто во сне. Всего мгновение—и чувствуешь прикосновение чуда. Не успеваешь ничего понять. Потом становится так тоскливо-тоскливо… и это непонятное можешь обозначить лишь словом «что-то».

Осень обещает зиму. Осень обещает листья. Осень обещает вечность. Осень обещает тихие вздохи у замёрзшего окна, игры в снегу, усталость и горячий чай с малиной. А ещё осень обещает не кончаться. И что всё будет хорошо.

Саша Радионова, 7 класс

…Стихотворение рождает чувство на грани радости и печали, зимы и осени, нового года и старого. Это нельзя описать, объяснить—можно только почувствовать. Именно—«что-то неземное». Необъяснимое.

Перед глазами возникает картинка: лес, тишина, на голых ветках последние листья… Опавшие же постепенно теряют цвет, становятся тёмными, бурыми, жухлыми.

Опустошение. Облегчение. Избавление от прошлых забот. Прощаешь себя и других. Душа, сердце, разум отпускают год, который промелькнул, обманул в делах и надеждах. Поэт отпускает прошлое и принимает будущее…

Лида Ка-ю-тин, 7 класс

…Когда я прочитала это стихотворение, у меня появилось ощущение, что Бунин в момент его создания пребывал в пессимистическом настроении. Может, неудавшийся год?..

Но, скорее, это вечная тема, которая беспокоит всех творческих людей. Рассуждение о вечном. Любовь. Смерть. Смысл жизни. Добро. Бог. Чувства. Предательство. Дружба.

«И опять, опять душа прощает…»

Всё, что испытал автор в этот год, он описал в одном четверостишии. Обманутые надежды… всё здесь «что-то неземное обещает, к тишине уводит от забот». Кто обещает? Какой-то дух? Наверное. Ангел? Возможно.

Возможно, есть в нас что-то такое хорошее, что заставляет задуматься и поразмыслить над странностью жизни. Пойти в лес, сесть под деревом, слушать звук падающих листьев, тишину. Вобрать в лёгкие запах осени и вместе с ним вдохнуть мудрость покоя… А потом—встать и что-то крикнуть в пустоту, выпустить из себя всё, что тревожило.

Или включить музыку, ведь и она «что-то неземное обещает…».

Что-то неземное… То, что невозможно пересказать. То, что каждый понимает по-своему.

Так понимал Бунин вечность.

Так поняла его я…

Глеб Щербаков, 7 класс

…После летних весёлых солнечных дней наступает осень. У меня возникло ощущение, что у автора уже не играет на лице улыбка, в сердце кончилась романтика, и перед ним такая картина: прохладное утро, птички не щебечут, и слышен только сонливый шелест монотонно падающей листвы.

«И опять, опять душа прощает…»

Душа привыкла и уже не может без этих скромных, спокойных дней. В солнечные деньки мы хотим продлить лето, но эти дни пролетают мгновенно. А описанное в стихотворении время года как будто застыло, и мы можем вечно им любоваться.

Даша Шлапак, 7 класс

…Холод, сырость. Дождь идёт. Облетевшие деревья стоят в тумане. В замёрзших лужах отражается серое осеннее небо, и только редкие лучики солнца радуют глаз. Северный ветер колышет опавшие листья, и кажется, что они танцуют свой последний танец. Тёмные мысли постепенно улетучиваются и пропадают во мраке уплывающих туч.

Публицистика красноярских школьников

(работы учеников Елены Тимченко)

Любимые морщинки

Кристина Патрина, 8 класс

Зима. Холодно так, что на ресницах образовался иней. Я иду вечером из лицея по школьному двору. Навстречу мне идут какие-то странные типы. От них на снег падают страшные тени. В наушниках, как назло, заиграло что-то тяжёлое, мрачное и тревожное. Чтобы утихомирить разыгравшийся

страх, я стараюсь вспомнить что-нибудь светлое и радостное. И в голове постоянно мелькает образ бабушки. Воспоминания проносятся в моём воображении, как картинки в слайд-шоу.

…Вот я во дворе, и меня обижают большие мальчишки… Из-за угла дома выскакивает бабушка, размахивая пакетами с молоком, хлебом и лампочками. Вот она ласково гладит меня по голове, говоря, что мы купим ещё миллион таких же сервизов. Я как раз разбила её любимую кружку с птичками и листьями. Вот мы с папой возвращаемся с прогулки. Она открывает нам дверь и с наигранной серьёзностью спрашивает: «Ну и на что ты опять развела своего отца?» А я протягиваю ей страшного-страшного игрушечного пса и улыбаюсь. Бабушка смеётся…

Я иду домой. Холодно. Страшно. А я знаю, что дверь мне откроет моя бабушка и скажет: «Ну что, вернулась из своей школы?» И улыбнётся. И вокруг глаз у неё появятся мои любимые морщинки…

Женя Савенков, 7 класс

Мой дедушка очень любил читать. Я и сейчас помню его… Он сидит в кресле и читает книжку «Подвиг бессмертен».

Он любил мастерить. Поломается у меня что-нибудь — он подкрутит, подклеит, прибьёт.

Дедушка ездил на машине. «Но, милая!» — говорил он всегда, заводя машину. Он её ещё звал «Моська», потому что марка машины была «Москвич».

На даче дедушка рубил дрова, пилил со мной, почти всё мы делали с ним вместе. Он много рассказывал мне про Тасеево. Там он родился и жил.

Я вспоминаю о нём каждый день и очень жалею, что его сейчас нет рядом со мной.

Антон Шемберг, 9 класс

Расскажу о своих стариках

Моя бабушка — ветеран Великой Отечественной войны — работала телефонисткой и прожектористкой: светила на вражеские самолёты, а зенитчики стреляли в них. А дедушка — ветеран труда. В этом году ему исполняется 90 лет.

Я решил подарить ему на день рождения часы. Его часы недавно сломались, и хотя ему купили новые, мне кажется, что стрелочные часы всё-таки ему больше подойдут. Сзади я сделал гравировку: «Лучшему дедушке на свете». И дату: «20.09.10». По мне, так это дань уважения за то, что бабушка и дедушка у меня есть. Я каждый день им звоню. Говорить особо не о чем, разговор занимает всего 3–5 минут, но им и этого хватает. «То, что ты нам звонишь, даёт нам надежду на завтрашний день», — говорят они.

Арсений Дмитриев, 7 класс

Мой дед Валерий Григорьевич

Мой дед с детства любил заниматься искусством: рисовать, выпиливать из дерева и играть на балалайке. Благодаря этой любви к искусству у его сестры в деревне Шилка весь дом обставлен его поделками. Один раз, когда мы гуляли на улице (мне тогда было 6 лет), я увидел на прилавке магазина шкатулку, выпиленную из деревоплиты. Я спросил у деда: «Это твоя шкатулка? Ты её сделал?» Он мне ответил: «Нет, но она очень похожа на шкатулку, которую я сделал в восемь лет».

Когда я приезжаю к деду, он часто сидит за компьютером. У него есть любимая игра на развитие «думалки» — «Магические шарики». Сколько я ни пробовал, мне не удаётся побить рекорд деда в 12365 очков!

Мой дедушка любит обзывать современную технику. Например, компьютер он называет «компутером», телевизор — «ящиком», а сотовый телефон — «трындозвоном».

Соня Енгуразова, 8 класс

Бабушка — такое тёплое и родное слово. Для каждого ребёнка она любимая, заботливая, необходимая. Мне с бабушкой просто невообразимо повезло! Ещё бы, можно позавидовать её терпению — растить такого вредного «спиногрыза», как я, используя исключительно ласку и мудрые советы.

Бабушка… Всё детство именно она была со мной, и я не хотела отпускать её ни на минуту! Помню, как в детском саду я закатывала истерику, если за мной приходил кто-либо иной, а не бабушка.

Бабушка, любимая моя — нет, не так: обожаемая! Преклоняюсь перед твоим опытом, терпением и твоим замечательным характером. Моя. Моя! Моя бабушка Тоня…

Что даёт мне надежду?

Ульяна Помренина, 9 класс

22 мая прошлого года у маминой, а теперь уже и моей подруги родилась дочь Настенька. Я весь год с ней водилась, и она очень меня полюбила. Мне даже удавалось уложить её спать, что нелегко… В общем, всё было хорошо. Но летом я уехала на два долгих месяца.

Дети в этом возрасте быстро забывают людей, когда долго не видят их. По приезде я сразу же пришла к ним в гости. Думала, Настя даже не подойдёт ко мне, не говоря уже о том, что узнает. Каково же было моё изумление, когда она при виде меня засмеялась и с возгласом «Ади-дя-дя» протянула ко мне ручонки…

Это даёт мне надежду.

Володя Бумагин, 10 класс

Мне даёт надежду каждый новый день, ведь с ним приходит новый интерес, новое увлечение, открываются новые пути к познанию души человеческой, её возможностей и особенностей…

Я люблю читать различные книги об иных существах, в некоторых произведениях их называют богами, бесами, демонами — у них много имён, однако это сути не меняет, потому что человек содержит черты всех этих существ. Просто

у каждого они проявляются по-своему. Меня привлекают те, кто сохраняет нейтралитет, ни во что не вмешивается, лишь наблюдает за теми, кто постоянно суетится, не задумываясь ни о чём, кроме насущных дел.

Этих «наблюдателей» часто называют мудрецами. Я хочу стать одним из них.

Вот что даёт мне надежду.

Стас Бабич, 10 класс

Всегда считал и считаю, что надежду должны давать добрые и светлые моменты нашей жизни, а не грустные. Мне даёт надежду настроение окружающих. Если меня не окружают унылые личности, то я буду продолжать надеяться, что сегодняшние проблемы ничто в сравнении с теми победами, которые ждут нас впереди. И хотя бы для их достижения стоит бороться и надеяться.

Я советую всем оставаться на позитиве и не забывать, что, как бы плохо ни было сейчас, потом всё будет хорошо, хоть и через 300 лет.

Володя Хохлов, 11 класс

Каждый день я просыпаюсь, чтобы пережить цикл событий. Бывают удачи, бывают неудачи. Что даёт мне надежду? Вопрос несложный, если в своей голове всё упорядочить. Естественно, у каждого свои мотивы и свои надежды.

Сталкиваясь с неприятностями, я начинал ломать голову: почему так произошло? Я пытался анализировать свои ошибки, чужие ошибки, но ничего не помогало—дело не в ошибках, а в нашей природе. Проходя через закономерность взлётов и падений, я понял, что нашу жизнь можно сравнить со взлётной полосой: никогда не знаешь, какой самолёт взлетит, а какой упадёт. Да, по-разному можно представлять её. Время—это упорядоченность моментов, однако жизнь идёт не по порядку, никто не знает, что будет впереди. Моя надежда не относится к конкретной ситуации, она смотрит на всю картину.

Пока у меня есть глобальная цель, мне есть зачем жить. Именно она помогает не сойти с ума в штиль и не остановиться на достигнутом. Это главная надежда.

Есть и второстепенная. Надежда на то, что завтра будет не так, как сегодня. Я надеюсь, что завтра я научусь чему-то новому. Это как жажда. И эта жажда не даёт мне остановиться, она ведёт вперёд. Я зависим от неё, я не могу без неё (как наркоман без дозы). Желание узнать всё и надежда, что пойму механизм, по которому всё устроено, и спокойно уйду к истокам всего сущего…

Рита Иванова, 9 класс

Мне даёт надежду неунывающая крёстная. Я никогда не видела её унылой. Между тем в её жизни случаются события, которые могли бы любого человека повергнуть в состояние депрессии. А у неё случится что-нибудь плохое—она начнёт шутить, иногда очень грубо, по-чёрному, и всегда смеётся в лицо невзгодам. Бывает, глаза её становятся грустными, но она всегда удерживает улыбку, не отпускает её.

Вера во всё хорошее, в то, что смех излечивает, всегда даёт мне надежду. Ведь не зря какой-то человек сказал: «Человек с чувством юмора—это тот, кто подошёл к краю пропасти, заглянул в неё и, улыбнувшись, пошёл искать другой путь».

Лида Ка-ю-тин, 7 класс

Мне, например, даёт надежду наш лицейский круг. Когда я вижу подростков, вставляющих через каждое слово ненормативную лексику, я думаю: «И вот это общество, в котором я буду жить? Люди, которые будут меня окружать? Те, кто прочитал в своей жизни одну книгу—«Колобок»?» От этого сразу падает настроение и становится жутко.

Но в меня вселяет надежду литературный лицей, лицейские люди. С ними приятно общаться и думать, что в твоей жизни есть хотя бы какой-то свет. По-моему мнению, лицей является фильтром или перерабатывающей машиной, занимающейся исправлением людей в лучшую сторону.

Ещё, когда понимаешь, что наши ребята воспитают хороших людей, подобных себе, становится тепло на душе.

Лицей и лицейские ребята напоминают мне остров в море грязи, на котором ты можешь без проблем уединиться и пообщаться с людьми, равными по интеллекту. Там тебя всегда ждут и могут помочь облагородиться.

Я не хочу сказать, что все дети и подростки безнадёжны или глупы и ужасны, и только в литературном лицее индивидуумы и идеалы. Нет, это не так. Я уверена, что есть прекрасные дети и подростки, которые смогли не поддаться глупому обществу и вырваться из чёрного моря невежества. Это вселяет надежду.

Саша Радионова, 7 класс

Повод жить есть всегда. Правда, у человека есть особенность—не видеть ничего светлого, если он завяз в каком-то чёрном болоте проблем. В этом плане люди, которые работают с детьми, в жизни видят больше светлого. Так, если усталый учитель идёт после работы домой и тащит тетради учеников, он обязательно заметит, как по лужам прыгают малыши и какое необыкновенно голубое небо сегодня.

Что касается меня, то мне надежду дают две вещи: непрочитанные книги и неполученные знания. Для меня это хороший стимул продолжать жить.

Сергей Ошаров, 10 класс

О рождении Надежды
и о смысле её существования

Жили-были первые люди. Нецензурного языка да всяких прочих некультурностей не ведали, жили тихо-мирно, глядели себе под ноги, дабы ненароком не оскользнуться.

Жил также среди них один молодой человек. Не любил он глядеть под ноги. Он любил глядеть в небо. Да так усердно глядел, что всенепременно падал через каждые пять шагов. Однако это его не смущало. Он любил небо и хотел в него улететь,

чтобы не остаться в земле, как это делали многие до него.

Именно тогда он начал надеяться. Надеяться, что однажды он улетит в небо и будет там. Один… Совсем один…

Надежда, зародившаяся в нём, подсказала ему, что можно быть вовсе не одному. И юноша стал надеяться на то, что однажды все попадут на небо, и будут там счастливы, и будут жить вечно, без ссор и раздрая.

Паренёк пошёл по деревне и стал всех склонять к переменам, к поиску путей наверх. За что и был неоднократно бит морально и физически.

Тогда обиделся юноша на всех и стал надеяться на то, что вскоре встретит он свою любовь и они вместе заживут на небесах и будут глядеть на смертных со снисходительной улыбкой. Да, парень нашёл то, что искал. Вот только одно «но» испортило все его планы. Ей было наплевать. Вот такая грустная история. Прямо Мексика, что уж тут.

А юноша и по сей день продолжает надеяться. Внешне он остался тем же наивным пареньком, но внутренне он постарел на несколько десятков веков, стал циничным и злым, стал избегать общества, ища себе компанию таких же, как он. Но Надежда не даёт ему глядеть под ноги, он всё так же идёт и падает да глядит в небеса. Правда, теперь они всё чаще скрыты за белым потолком или грязными окнами, но ему всё равно. Он надеется, он знает.

В Мастерской образов Ирины Москвиной

Про курицу и яйцо

(сочинения шестиклассников)

Настя Буланова

Яйцо, я думаю, появилось раньше, чем курица, так как мифы разных стран рассказывают о том, что некогда на Земле существовало подобие огромного куриного яйца.

Ещё я думаю, что яйцо было раньше курицы потому, что яйцо — символ возрождения (из него мир образовался).

Яйца варят на Пасху по той же причине.

А ещё именно из яйца вышла курица — значит, яйцо было раньше.

Эмили Уитман

Сказка про скорлупку

Когда злая мышка разбила яйцо, деду и бабе пришлось плакать — есть было нечего: с пола яйцо не соберёшь. А бабе пришлось ещё и пол мыть.

Нехорошая всё-таки мышка!

Скорлупку баба выбросила: зачем нужна? не есть же! (А зря — говорят, скорлупа полезная.)

Лежит скорлупа во дворе, дождичек прошёл. Повезло скорлупе, что четверг был. Как известно, после дождичка в четверг чудеса случаются. Смыл дождичек со скорлупы краску (золотое яйцо-то было фальшивое!). И подумала скорлупа, что больше ей во дворе делать нечего, склеилась мокрой землёй и покатилась.

Встретила она дворовую собаку. Собака и говорит:
— Какое яйцо хорошее катится! Отнесу-ка я его своему хозяину!
— Не неси меня к своему хозяину, собачка! Меня снёс семилетний петух, скоро из меня вылупится Василиск!

Собачка испугалась и побежала домой. Рассказала хозяину про чудесное яйцо. А он и говорит:
— Нехорошая! У нас что — еды полно?! Нет! А ты ничейное яйцо проворонила и ещё врёшь мне тут! А ну, живо кота зови: может, он вернее мне служит?!

Побежала собака звать кота. А он лежит себе, подрёмывает.
— Эй, кот, вставай! Яйцо иди ловить, меня выручать!
— А мне и тут хорошо!
— Ну, кот, я тебя предупреждал!
— Авось ещё посплю…

Пришёл хозяин, стал ругать животных; ругал-ругал — да и выгнал из дому.
— Пойдём яйцо искать, кот. Может, хозяин и простит…
— Пойдём, делать нечего.

Идут они по дорожке, видят: яйца-то нету, одна скорлупа валяется! Солнышко пригрело, земля, которая соединяла скорлупу, высохла! И побежали кот и пёс хозяина звать.

А хозяин и сам уже жалел, что выгнал. А когда увидел — обрадовался, простил на радостях таких.

И стали они жить-поживать.

А скорлупку разломали на множество кусочков и раскидали по разным местам, чтобы она больше никого не ссорила.

И если найдёшь поблёскивающий кусочек скорлупы — не удивляйся. Да скорее мимо проходи.

Соня Черкашина

Мне кажется, что раньше появилось яйцо. Оно возродилось на седьмой день, когда Бог отдыхал. Размером яйцо было со стиральную резинку. Оно долго крутилось по земле, словно протирая её. Через миллионы лет остался этот след, названный Марианской впадиной.

Когда яйцо треснуло, землю осветил яркий свет. И был он изумрудного цвета.

Может, благодаря ему мы до сих пор верим в чудеса?

Юля Макринова

Куда делась скорлупа?

Думаю, у многих пытливых умов после прочтения сказки «Курочка Ряба» возник вопрос: а куда делась скорлупа? У меня тоже появился такой вопрос, и я решила порассуждать об этом.

Вообще, золотая скорлупа просто так вот взять и исчезнуть не могла: золото всё-таки не камень! Тогда куда она делась? Одно из двух: либо скорлупу забрали дед с бабой, либо нечистая сила в виде мыши унесла её в подземное царство.

Я вообще-то неверующая — в светлые и тёмные силы не верю. Значит, скорлупу забрали дед с бабой.

А курица? Она ведь, наверное, расстроилась из-за неродившегося, да к тому же золотого цыплёнка?.. Не знаю, я бы на её месте скорлупу постаралась выкрасть — вернуть свою личную собственность. Но я, к счастью, не на её месте и не смогу сказать точно, сделала ли она это. Так же как и не могу ответить на вопрос: *куда же делась скорлупа?*

Дима Кожемякин

Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба. (А родились дед и баба из мирового яйца, с тех пор и живут вместе.)

Снесла курица яйцо. Стали дед и баба бить его: вдруг из яйца появятся ещё дед и баба? Били-били — не разбили, вызвали мышь. Она хвостиком махнула — яйцо разбилось.

Закипело море…

Забыл сказать: жили они посреди океана, в бывшем гнезде мировой уточки…

Так вот. Из одной половинки яйца появилась земля, а из другой — небо. Желток стал солнцем, белок — всем живым…

А бабу с дедом наказали — в колесницу запрягли. И теперь они по небу солнце таскают.

Колыбельные

(сочинения пятиклассников)

Колыбельные нужны для того, чтобы ребёнок засыпал счастливым, с улыбкой на лице…

Из детских высказываний

Кристина Щуко

Мне пела мама, когда мне было где-то четыре года. Был уже вечер, часов девять. Я разобрала постель, легла, и пришла мама. Включила маленький фонарик (он имел форму сердечка, освещающего всё вокруг светом любви). И начала петь. Она пела, закрывая меня одеялом и гладя по голове. Мама так нежно пела, что я легла на бочок и сладко улыбалась.

Мама допела колыбельную, поцеловала меня, сказала: «Спокойной ночи». Выключила свет и ушла. Потом я сладко-сладко спала. Мне снилось, будто я гуляла на лужайке с подружками.

Да, это были хорошие времена. Аня Токарева
Я помню, как мне пели на ночь песни, но не колыбельные. И мне нравилось, как мама чуть приглушала свет, ложилась рядом со мной и пела мне по нескольку раз песню про кузнечика, пока я не засну. Песня была весёлая, и мама пела её с душой. Я её до сих пор помню!

На солнечной поляночке,
Чему, не знаю, рад,
Сидел кузнечик маленький
Коленками назад.
Ай-яй-яй-яй!
Ой-ёй-ёй!
Коленками назад…

А когда я ездила к бабушке, она включала свой старый торшер — и становилось очень уютно. Тогда бабушка начинала петь про чижика-пыжика. И я засыпала.

Полина Ворзонина

Колыбельная Сну

Пусть приснятся тебе сны странные,
Облака на небе — каша манная,
Деревья старые,
Реки шелкóвые,
Рощи голые, безголовые…
Ты трудился всю ночь, сны навеивал,
Фантазии добрые в мои сны вклеивал.
Вклеивал, как картинки в старый альбом…
Полночь. Часы пробили: «Бом! Бом!»

Арина Винниченко:

Заговор Криксы

Спите, усните, мои дорогие,
Будете вы словно духи ночные,
Будете сеять вы хаос и страх,
Будут расти на душевных лугах
Не нежность и розы — а тьма и порок,
Растительность там —
Только лук и чеснок…

Детям снится целый мир,
Шоколадный, мармеладный,
Сладкий, яркий, золотой,
И у каждого он свой!

В этом мире есть цветы,
Шоколадные кусты,
Бабочки лиловые
И жуки бордовые…
А король в том мире — кот,
Он конфеты раздаёт.
Только злых и жадных деток
Он оставит без конфеток.

Никита Киренков

Колыбельная — это заговор, потому что в ней есть заговорные слова («баю-бай», «спи-усни»). Например, мама объясняет демону, что ребёнок умер (прямыми словами), и прогоняет его, а потом утешает ребёнка и велит ему спать.

стр. 104 Абдулманапова Аминат Абдулманаповна
Махачкала

Родилась в даргинском селении Харбук Дахадаевского района Республики Дагестан. Окончила физико-математический факультет Дагестанского государственного педагогического института и Литературный институт им. А.М. Горького (поэтический семинар Владимира Фирсова). Член Союза писателей и Союза журналистов России, заслуженный работник культуры Дагестана. Автор более 30-ти поэтических и прозаических книг для детей и взрослых, вышедших в различных издательствах Махачкалы и Москвы. Редактор журнала «Соколёнок».

стр. 25 Алейников Владимир Дмитриевич
Москва—Коктебель, 1946 г.р.

Поэт, писатель, переводчик, художник. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 года публиковался на Западе. Более четверти века тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы—воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба.

стр. 14 Алексеева Вера Ильинична
Калуга

Сотрудник Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, город Калуга. Кандидат философских наук. Лауреат стипендии имени Е.Р. Дашковой за 2003 г. Печаталась в газетах «Весть» (Калуга) и «Поиск» (Москва), в журналах «Пирамида» (Обнинск), «Дельфис», «Наука и религия», «Наука в России» (Москва). Награждена медалью К.Э. Циолковского «За активную работу по пропаганде идей К.Э. Циолковского и космонавтики» Ассоциации музеев космонавтики (1998), медалью Гагарина в честь 40-летия первого полёта человека в космос (2001), знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре» (2002), знаком «Лауреат конкурса имени Е.Р. Дашковой» (2003).

стр. 21 Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г.р.

Окончил Пермский университет (1980). Печатается как поэт с 1975. Автор нескольких книг стихов и прозы. Печатался в журналах «Знамя», «Юность», «Огонёк». Член СЖ СССР (1985), Союза российских писателей (1991). Областная премия им. А. Гайдара, Гран-при на 1-м Всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущий посох» и звание «Махатма российских поэтов» (Бийск, 1989), премия журнала «Юность» (1991).

стр. 214 Бердников Лев Иосифович
Лос-Анжелес, 1956 г.р.

Писатель, культуролог, литературовед. Окончил МОПИ. Кандидат филологических наук. Автор книг «Счастливый Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII—начала XIX века» (Спб.: Академический проект, 1997); «Щёголи и вертопрахи. Герои русского галантного века» (2008); «Евреи в ливреях. Литературные портреты» (2009); «Шуты и острословы. Герои былых времён» (2009) и более 350-ти публикаций в различных странах мира. Член Русского ПЕН-центра и Союза писателей Москвы. Член редколлегии журнала «Новый берег» (Дания). Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года в номинации «Историческая публицистика». Почётный дипломант Всеамериканского культурного фонда Булата Окуджавы. С 1990 года—в США.

стр. 224 Бобрышева Ольга Александровна
Усть-Каменогорск, 1977 г.р.

Журналист, редактор. Выпускница Восточно-Казахстанского государственного университета, по специальности—биолог. Директор Объединения юридических лиц «Восточно-Казахстанская областная Ассоциация молодёжных и детских организаций» (АМИДО ВКО). Руководитель редакции газеты «Молодёжный клуб». Собкор республиканского казахстанского журнала «Доброго здоровья» и автор электронного журнала «Школа жизни».

стр. 228 Брагина Ольга Игоревна
Киев, 1982 г.р.

Окончила факультет переводчиков Киевского национального лингвистического университета. Стихи публиковались в электронных журналах «Альтернация», «Новая реальность», альманахе «Изба-читальня» (Владивосток), журналах «Арт-шум» и «Литера-Dnepr» (Днепропетровск), участвовала в фестивале «Мегалит», фестивале медиа-поэзии «Вентилятор» (Санкт-Петербург), Волошинском фестивале.

стр. 248 Васильев Фёдор
Челябинск, 1969 г.р.

Родился в г. Мирном, в Якутии. Печатался в альманахах «Истоки», «День поэзии», «Поэзия»; журналах «Литературная учёба» и «Грани»; сборниках «Молодая поэзия-89» и «Водолей—знак России».

стр. 201 Водолажченко Александра
Екатеринбург, 1987 г.р.

Окончила с отличием факультет искусствоведения и культурологии Уральского государственного университета им. А.М. Горького. Стихи пишет с детства.

стр. 3 **Гаврилова Людмила Владимировна**
Красноярск, 1955 г. р.

Музыковед. Выпускница Ленинградской государственной консерватории (1979). Доктор искусствоведения. Автор более семидесяти публикаций о современном музыкальном театре, оперной драматургии, истории западноевропейской музыки. Профессор. Член-корреспондент САН ВШ. Председатель Красноярской региональной организации «Союз композиторов России» с 2007 года.

стр. 191 **Герман Игорь Викторович**
Минусинск, 1964 г. р.

Окончил Кемеровский государственный институт культуры. С 1985 года работает актёром в театрах Красноярского края, с 1996 года — в Минусинске. Публикации в журнале «Истоки» и коллективных сборниках.

стр. 201 **Грантс Янис Илмарович**
Челябинск, 1968 г. р.

Родился во Владивостоке. В связи с военной службой отца жил в Советской Гавани, Ленинграде, Челябинске, Кирове. Учился в Киевском госуниверситете и в Киевском военном училище связи, однако высшего образования не имеет. Лауреат нескольких фестивалей, конкурсов и премий. Публиковался в журналах «Знамя», «Волга», «Урал» и др. Руководитель поэтической секции ЛИТО ЧТЗ им. Михаила Львова. Автор книги стихотворений и поэм «Мужчина репродуктивного возраста» (2007).

стр. 79 **Грачёв Андрей**
Самара, 1963 г. р.

В октябре 1981 года был призван в ряды Вооружённых сил СССР. Срочную службу проходил в составе 45-го отдельного инженерно-сапёрного полка Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Принимал участие в боевых действиях в провинциях Парван, Баграм, Кабул, Баглан, Нангархар и др. Награждён медалью «За отвагу». В октябре 1982 года в окрестностях Кабула был тяжело ранен. В октябре 1983 года вычеркнут из списков части в связи с полной потерей зрения. С отличием окончил пединститут, защитил кандидатскую диссертацию. В настоящее время преподаёт на кафедре русской и зарубежной литературы Самарского госпедуниверситета. Автор двух книг об истории Великой Отечественной войны и о необъявленной войне в Афганистане, а также сборника прозы «Афганские былинки». Руководит литературным молодёжным объединением «Лабиринт». Член Союза писателей России.

стр. 223 **Григорьев Алексей**
Москва, 1972 г. р.

Родился в Санкт-Петербурге (тогда ещё Ленинграде), хотя в свидетельстве о рождении местом рождения указан посёлок Большая Мурта Красноярского края. По образованию филолог. Печатался в «Литературной газете», журнале «Дети Ра», альманахе «Арт-Шум», разных поэтических сборниках, сетевых порталах «Вечерний гондольер», «45-я параллель», «Новая реальность» и других.

стр. 146 **Гумерова Альбина Ильдаровна**
Казань, 1984 г. р.

В 2005 году окончила Казанское театральное училище по специальности «актёр драматического театра». В 2006-м поступила в ЛИ им. Горького на семинар прозы А. Н. Варламова. В 2007-м — во ВГИК им. Герасимова на кинодраматургию в мастерскую А. Я. Инина. Учится заочно. С 2005 года публиковалась в казанском молодёжном журнале «Идель». Работает в фирме по организации торжественных мероприятий.

стр. 209 **Дектерёв Дмитрий Александрович**
Красноярск, 1987 г. р.

Родился и вырос в Красноярске. Окончил физический факультет Красноярского государственного университета — точнее, уже Сибирского федерального университета. В настоящий момент — аспирант института теплофизики в Новосибирске. За пределами Интернета не публиковался.

стр. 196 **Ёлтышев Александр Владимирович**
Красноярск, 1950 г. р.

Выпускник филологического факультета Красноярского педагогического университета. Учил детей в сельских и городских школах. Служил в армии. Работал журналистом в газетах и журналах. Стихи публиковались в журналах «Енисей», «Предлог», «День и ночь», на портале «45-я параллель», в коллективных сборниках. Автор книги стихов.

стр. 77 **Замятин Дмитрий**
Москва, 1962 г. р.

Эссеист. Окончил географический факультет МГУ, кандидат географических наук, доктор культурологии. Заведующий сектором гуманитарной географии Российского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва. Автор книг и статей о культурном образе географических объектов, о пространственно-географических аспектах творчества Петра Чаадаева, Александра Блока, Бориса Пастернака, Владимира Набокова, Андрея Тарковского, Венедикта Ерофеева и др.

стр. 224 **Зельский Алексей**
Назарово, 1982 г. р.

Родился в Бурятии. Исполнитель авторской песни. Участник поэтического объединения «Эхо Арги». Печатался в «Новом Енисейском литераторе», газете «Экран-Информ», коллективном сборнике объединения.

стр. 226 **Канаки Катерина**
Салоники, 1984 г. р.

Родилась в Ленинграде. Постоянно живёт в Греции. По образованию — археолог. В качестве лаборанта

и младшего научного сотрудника участвовала в раскопках памятников верхнего палеолита (на Дону), эпохи бронзы (на Южном Урале), античности (в Северо-Западном и Восточном Крыму). В настоящее время работает системным администратором.

стр. 3 **Карлова Ольга Анатольевна**
Красноярск, 1957 г. р.

Выпускница Красноярского государственного педагогического института. Кандидат филологических и доктор философских наук. Профессор. Автор нескольких литературоведческих и культурологических монографий, а также многочисленных публикаций в региональной и центральной прессе. С 2004 года работает в Правительстве Красноярского края. Заместитель Губернатора и заместитель Председателя Правительства Красноярского края.

стр. 127 **Косенков Борис Михайлович**
Калининград, 1934 г. р.

Родился на Украине. Учился на факультете журналистики Киевского госуниверситета имени Т. Г. Шевченко. Окончил военное училище и Военный институт иностранных языков. Более 20-ти лет служил в Вооружённых силах — строевой офицер, затем военный журналист. После увольнения в запас работал редактором в книжном издательстве, корреспондентом областной газеты. С 1987 года — на творческой работе. Профессиональный литератор и переводчик. Член Союза писателей России и Союза журналистов РФ. Три сборника стихов, публикации стихов, прозы и переводов в периодике.

стр. 230 **Косолапова Наталья**
Кыштым, 1978 г. р.

Родилась в Кыштыме Челябинской области. Публиковалась в журналах «Урал», «Крещатик», «Волга — XXI век». Автор книги «Узелки неслучайных совпадений». Автор проекта видеоархива «Фигуры речи». Участник поэтического семинара «Северная зона».

стр. 106 **Кузнецова-Чапчахова Галина Григорьевна**
Москва

Родилась в Москве, окончила МГУ. Много лет работала редактором. Печаталась в литературных газетах и журналах Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и других городов страны. Опубликовала несколько книг художественной прозы, в том числе «Холодный апрель» (1989), «Гость Таинственный» (1999), «Ничья» (2001), «Дорога в Саров» (2004). Член Союза писателей России с 1989 года. В 2000 году по поручению СПР участвовала в возложении венка русских писателей при перезахоронении И. С. Шмелёва и его жены с парижского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа в акрополь Донского монастыря — в соответствии с завещанием писателя «когда станет возможно». Автор ряда литературоведческих публикаций об Иване Шмелёве: в сборнике «Венок Шмелёву», «Литературной газете», научных выпусках Института мировой литературы.

стр. 231 **Кутенков Борис**
Москва, 1989 г. р.

Родился в Москве. Работает корреспондентом муниципальной газеты, учится на 5-м курсе Литературного института им. А. М. Горького (семинар поэзии). Автор стихотворного сборника «Пазлы расстояний» (2009) и публикаций в «Литературной газете», газетах «Литературная Россия», «НГ-Экслибрис», журналах «Дети Ра», «День и ночь», «Урал», «Наш современник», «Литературная учёба», «Юность», «Студенческий меридиан» и др. Участник 9-го Форума молодых писателей в Липках (2009), победитель I-го открытого фестиваля молодых поэтов «Ночь, улица, фонарь, аптека» и финалист Международного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира» (2010). Произведения вошли в лонг-лист «Илья-премии» (2009).

стр. 210 **Левинзон Леонид**
Иерусалим, 1958 г. р.

Родился в г. Новоград-Волынске Житомирской области (Украина), в 1981 году окончил медицинский институт имени Мечникова в Санкт-Петербурге, репатриировался в Израиль в 1991 году. Автор книги «Подняться над землёй» (1997).

стр. 118 **Лейфер Александр Эрахмиэлович**
Омск, 1943 г. р.

Писатель, публицист, председатель Омского отделения Союза российских писателей. Окончил Казанский государственный университет в 1967 году. В 1967–1972 гг. — корреспондент газеты «Омская правда»; в 1972–1980 гг. — корреспондент Омского областного комитета по телевидению и радиовещанию; в 1980–1999 гг. — корреспондент газет «Молодой сибиряк», «Рабочая честь», «Хроника», «Вечерний Омск». Член Союза российских писателей (1992).

стр. 129 **Малинин Олег**
1983 г. р.

Родился в Костромской области. Окончил Московский государственный универститет им. М. В. Ломоносова (социологический ф-т) и Литинститут им. А. М. Горького (ВЛК). Работает учителем. Печатался в журнале «Аврора», коллективных сборниках поэзии. Отредактировал и издал 1-й номер литературного альманаха «Остров».

стр. 126 **Мартынов Евгений Александрович**
Зеленогорск, 1930 г. р.

Поэт, прозаик. Печатался в антологиях поэзии закрытых городов, Красноярского края и многих других коллективных сборниках; в журналах «Сибирские огни», «День и ночь». Член Союза российских писателей.

стр. 239 **Монахов Владимир**
Братск, 1955 г. р.

Родился в городе Изюм Харьковской области. В 1972 году окончил школу, затем работал в районной газете и был призван на службу в армию. После увольнения в запас работал в печати Иркутской области. В 1977 году поступил, в 1983 году заочно окончил Иркутский государственный университет, получив профессию — журналист. Работал собственным корреспондентом областной газеты «Восточно-Сибирская правда» в Братске, главным редактором программы новостей на телекомпании «мы». Автор 13-ти сборников стихов и прозы. Публиковался в журналах «Литературная учёба», «Мансарда», «Арион», «Футурум арт», «Крещатик», «Сибирь», «Ренессанс», «День и ночь».

стр. 3 **Москалюк Марина Валентиновна**
Красноярск, 1960 г. р.

Доктор искусствоведения, профессор, член Союза художников России. Окончила Красноярское училище искусств (фортепианное отделение), Уральский государственный университет (филологический факультет, специальность — искусствоведение). Автор более 100 научных статей, 6-ти монографий, составитель буклетов и каталогов художественных выставок.

стр. 77 **Москвин Александр Алексеевич**
Оренбургская область, 1990 г. р.

Студент Оренбургского государственного университета. Лауреат литературного конкурса «Узнай поэта: Поволжье — Пермь-2009». Публиковался в коллективных сборниках «Памяти Игоря Талькова», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «Жизнь начинается с любви».

стр. 202 **Наговицын Вадим Николаевич**
Калуга, 1963 г. р.

Родился в Норильске. Окончил в 1987 году Норильский индустриальный институт. Работал инженером-строителем на сооружении промышленных объектов Норильского горно-металлургического комбината, затем в райкоме комсомола. В 1994 году создал частную телерадиокомпанию и запустил первую в Норильске частную укв-радиостанцию «Наго-радио». Затем издавал журнал «Норильск», газету «Норильские ведомости» и другие. С 1998 года работал генеральным директором телерадиокомпании «Полюс», вёл общественно-политические, философские и литературные передачи на одноимённой радиостанции и на тв. С 2002 года живёт в Калуге. В настоящее время является учредителем и директором Калужского фонда русской словесности, главным редактором журнала «Золотая Ока». Член Союза журналистов России с 2007 года. Член Российского союза профессиональных литераторов с 2007 года. Автор книги «Когда мне было восемнадцать» (2009), Сейчас пишет прозу и публицистику, готовит к изданию свои новые книги.

стр. 221 **Панин Игорь Викторович**
Москва, 1972 г. р.

Заведующий отделом «Литература» в редакции «Литературной газеты». Поэт, публицист. Член Союза писателей России с 2000 года. Автор трёх книг стихов. Публиковался в различных российских литературных изданиях: газетах, журналах, антологиях, коллективных сборниках. Автор многочисленных статей о культуре и политике в российской и зарубежной прессе.

стр. 197 **Переяслова Марина Вячеславовна**
Москва, 1954 г. р.

Родилась в г. Новокуйбышевске Самарской области. В 1976 году окончила факультет иностранных языков (английский и французский языки) Самарского государственного педагогического университета имени М. Горького. Работала учителем, переводчиком, редактором в Самарском областном книжном издательстве, инструктором Самарского областного отделения Всероссийского общества книголюбов, журналистом Самарского регионального выпуска газеты «Комсомольская правда» («кп» в Самаре). Член Союза писателей России, Союза журналистов Москвы и Международной Федерации журналистов. С 1997 года живёт в Москве, работает секретарём Исполкома Международного сообщества писательских союзов. Печаталась в альманахах «День поэзии», «Московский Парнас» и «Алмазные грани „Хрустальной розы“», журналах «Наш современник», «Вертикаль» (Н. Новгород), «К единству!», «Прикосновение» (Тула), «Десна» (Брянск), «Всерусскій соборъ» (спб), «Молодая гвардия», «Роман-журнал, xxi век», «Слово», «Золотое перо», «Свет» («Природа и человек»), «Воин России», «Поэзия». Многие статьи и интервью Марины Переясловой увидели свет на страницах таких газет, как «Трибуна», «Литературная газета», «Российский писатель», «Парламентская газета», «День литературы», и в других общероссийских и областных изданиях. Автор книги стихов «Треугольник» (Самара, 1991) и сборника интервью «О самом главном» (Москва, 2006). В последний вошли её беседы с писателями Сергеем Михалковым, Юрием Поляковым, Анатолием Салуцким, Владимиром Крупиным, Юрием Бондаревым, Олегом Шестинским, кинорежиссёрами Георгием Данелия и Николаем Бурляевым, актрисой и писательницей Екатериной Марковой, а также другими известными общественными и культурными деятелями. Лауреат Международной литературной премии им. С. В. Михалкова «Облака». Дипломант премии «Хрустальная роза Виктора Розова».

стр. 225 **Пермяков Андрей**
Москва, 1972 г. р.

Родился в городе Кунгур Пермской области. Окончил Пермскую медакадемию. Кандидат медицинских наук, работает в фармацевтической промышленности. Публиковал стихи в журналах «Урал», «Волга», «Дети Ра», а также в Интернете.

Организатор различных пермских литературных проектов. Победитель Пермского турнира поэтов (2008). Участник товарищества поэтов «Сибирский тракт».

стр. 196 **Покотилов Игорь Николаевич**
Воронежская область

Учился на юридическом факультете Воронежского государственного университета. Печатался в «Литературной газете». Работает торговым представителем.

стр. 77 **Пырх Виталий Петрович**
Красноярск, 1944 г. р.

Родился в Запорожье. Окончил Запорожский металлургический техникум им. А. Н. Кузьмина и Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Журналист с 45-летним стажем. Последние 20 лет работал в газете «Социалистическая индустрия» («Рабочая трибуна», «Трибуна»). Автор нескольких книг стихов.

стр. 119 **Рачков Николай Борисович**
Ленинградская область, 1941 г. р.

Выпускник историко-филологического факультета Горьковского педагогического института. Секретарь правления Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии России «АЛРОСА»,литературных премий им. А. Твардовского, «Ладога» им. А. Прокофьева, «Имперская культура» им. Э. Володина. Победитель 2-го Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо» в номинации «Лучшее стихотворение года», награждён главным призом «За верность теме» Всероссийского патриотического фестиваля «Мы едины — мы Россия» (2007). Действительный член Петровской академии наук и искусств.

стр. 201 **Родченкова Елена Алексеевна**
Санкт-Петербург

Родилась в г. Новоржеве Псковской области. Окончила библиотечный факультет ЛГИК им. Крупской и юридический факультет СПбГУП. Поэт, прозаик, публицист, автор-исполнитель. Лауреат всероссийских литературных премий им. В. Белова, им. Э. Володина, лауреат Международного конкурса «Славься, Отечество!», автор 17-ти книг.

стр. 131 **Русаков Эдуард Иванович**
Красноярск, 1942 г. р.

Выпускник Красноярского медицинского института и Литературного института им. Горького. Работал врачом-психиатром, редактором на студии документальных фильмов, корреспондентом СМИ. Как прозаик печатается с 1966 года. Автор более десятка книг прозы. Печатает прозу в журналах «Знамя», «Юность», «День и ночь». Произведения переводились на азербайджанский, болгарский (1985), венгерский (1986), казахский, немецкий, словенский, финский, французский и японский языки.Заместитель главного редактора журнала «День и ночь».Член Союза российских писателей. Член международного ПЕН-клуб.

стр. 96 **Сидоренко Инна Анатольевна**
Феодосия

Член Союза русских писателей Восточного Крыма, председатель ЛИТО «Киммерия». Поэт, прозаик. Автор пяти поэтических сборников, сборника рассказов и романа «Родословная любви». Дипломант конкурса песен о моряках-подводниках. По профессии — медицинская сестра.

стр. 93 **Соломенский Дмитрий**
Петропавловск-Камчатский

Поэт, автор-исполнитель. Дебютировал в Омске. Печатался в альманахе «Складчина».

стр. 187 **Статейнов Анатолий Петрович**
Красноярск, 1953 г. р.

Родился в с. Татьяновка Рыбинского района Красноярского края. Окончил филологический факультет Иркутского госуниверситета. Трудовую деятельность начал в 1982 году в районной газете Манского района. Автор пяти книг прозы. Первая, «Обыкновенная история», вышла в 1993 году в издательстве «Горница», последняя, «Повесть о старике Чуркине», в 2002 году в издательстве «Буква». Основатель и директор издательства «Буква». Автор проектов «Поэзия на Енисее», «Литературный Красноярск». Член Союза писателей России.

стр. 171 **Такахаши Бранка**
Токио, 1970 г. р.

Родилась в бывшей Югославии, по национальности — сербка. По профессии — японовед. Занимается художественной фотографией, пишет рассказы. Переводчица с сербского и русского языков (печаталась в сербских журналах «Свэске» и «Повеля», а в России — в журналах «Нева», «Дальний Восток», «Сихотэ-Алинь», «Литературный Владивосток»). Жила в Минске и во Владивостоке. В настоящее время живёт в Японии.

стр. 93 **Ухандеев Анатолий**
Набережные Челны, 1984 г. р.

Поэт. Преподаёт историю русской литературы в Набережночелнинском филиале Казанского федерального университета. Публиковался в журналах «Континент», «Луч», «Берега» и др. Руководит литературным клубом «Чёрный вторник», организатор «Зимнего фестиваля поэзии «Точка». Участник форумов молодых писателей в Липках и в Саранске.

стр. 209 **Хмелевской Семён**
Владимирская область, 1978 г. р.

Уроженец г. Зея Амурской области. Выпускник Московской государственной консерватории (историко-теоретический факультет). Стихи публиковались в газете московских писателей «День литературы». Лауреат посвящённого Году учителя

конкурса стихотворений «Учителями славится Россия» в рамках XVIII Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия — 2010». «Песня пожарных и спасателей» (стихи — Семён Хмелевской, музыка — Сергей Капацинский) заняла четвёртое место в открытом конкурсе «Гимн МЧС России».

стр. 105 **Хохлов Игорь**
Омск, 1990 г. р.

Окончил Омский авиационный колледж в 2010 году. Автор сборника стихотворений «Трепетный родник» (2009), участник молодёжного семинара «Я вижу мир через себя» (Омск, декабрь 2009). Стихи печатались в коллективных сборниках «Поэзия — душа святая» (Воронеж, 2010), «Откровение» (Омск, 2010), в альманахе «Складчина» (Омск, 2010), в журнале «Виктория».

стр. 21 **Черниговская Татьяна Владимировна**
Санкт-Петербург

Нейроучёный с мировым именем. Окончила отделение английской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Специализировалась в области экспериментальной фонетики. До 1988 года в качестве ведущего научного сотрудника работала в Институте эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН — в лабораториях биоакустики, функциональной асимметрии мозга человека и сравнительной физиологии сенсорных систем. Доктор биологических наук, доктор филологических наук, профессор СПбГУ. Неоднократно была приглашённым лектором в крупнейших университетах США и Европы, координатором международных симпозиумов. В 2006 году стала действительным членом Академии наук Норвегии. Ведёт цикл телевизионных передач на канале «Культура» — «Звёздное небо мышления» и на санкт-петербургском «Пятом канале» — «Ночь. Интеллект. Черниговская». В 2010 году указом Президента РФ Татьяне Владимировне присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ».

стр. 41 **Шалыгина Нина Александровна**
Красноярск, 1934 г. р.

Выпускница Московского историко-архивного института, Московского института патентоведения и Московского информационного института. Работала архивариусом, руководила Зеленогорским (Красноярского края) городским отделом культуры. Была заместителем начальника штаба ударной комсомольской стройки «Сибволокно», внештатным корреспондентом красноярских СМИ. Руководила зеленогорским литературно-музыкальным объединением «Родники». Автор 12-ти поэтических сборников и шести книг прозы. Дипломант нескольких краевых творческих конкурсов. Член Союза российских писателей.

стр. 186 **Щербаков Александр Илларионович**
Красноярск, 1939 г. р.

Родился на юге Красноярского края, в селе Таскино, в старообрядческой крестьянской семье. В различных вузах окончил факультеты истории и филологии, экономики и журналистики. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики. Печатался во многих журналах СССР и России («Наш современник», «Молодая гвардия», «Огонёк», «Уральский следопыт», «Сибирские огни» и др.). Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

стр. 94 **Щёлоков Иван Александрович**
Воронеж, 1956 г. р.

Выпускник филологического факультета Воронежского государственного университета. Журналист. В 1987–1992 гг. редактировал областную молодёжную газету «Молодой коммунар». С 1992 по 2009 годы находился на государственной службе, руководил управлением по делам печати и СМК Воронежской области. В настоящее время — директор / главный редактор ГУК «Журнал „Подъём“». Член Союза писателей России с 1997 года. Автор восьми поэтических книг. Печатался в «Литературной газете», альманахах «День поэзии России» за 2006–2009 годы, журналах «Москва», «Молодая гвардия», «Роман-журнал XXI век», «Всерусскiй соборъ» (Санкт-Петербург), «Медвежьи песни» (Санкт-Петербург), «Второй Петербург», «Подъём», «Сельская новь», «Воин России», «Пограничник», «Дон» и др., в различных коллективных сборниках.

стр. 186 **Шипко Ольга Ивановна**
Красноярск, 1956 г. р.

Училась в Новосибирском книготорговом техникуме, затем окончила Сибирский технологический институт (факультет автоматизации и робототехники) по специальности «инженер по автоматизации». С 1986 года и по настоящее время преподаёт на кафедре «Автоматизация производственных процессов». Стихи публиковались в газетах «Вечерний Красноярск», «Городские новости», журналах «Енисей», «Москва».

стр. 93 **Юшманова Варвара**
Красноярск, 1987 г. р.

Поэт, журналист. Родилась в Братске. Окончила Ульяновский государственный университет по специальности «журналистика». Студентка 2-го курса Литературного института им. А. М. Горького. Публиковалась в сборниках «Братск — Пушкину», журнале «Волга — XXI век» (Саратов), газете «Вестник» (Ульяновск).

Как подписаться?

Журнал выходит шесть раз в год. В отдельных случаях возможен выпуск сдвоенных номеров. Полный комплект журнала за 2011 год стоит 1320 рублей. Возможна подписка на отдельные номера. Стоимость одного номера (252 страницы) — 220 рублей. Номера журнала доставляются подписчику по мере выхода в течение срока подписки. Подписка производится по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Издания доставляются по почте.

Чтобы оформить подписку, необходимо заполнить квитанцию и перечислить в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказа на расчётный счёт ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“». Оплату можно произвести наличным расчётом в офисе журнала.

Где купить?

Свежие номера журнала «День и ночь» продаются в магазинах «*Книжный дворик*» по адресам:

в Красноярске
ул. Железнодорожников, 19
ул. Новосибирская, 48

И в книжных киосках по адресам:

в Красноярске
ул. Тотмина, 8а
ул. Тотмина, 35а
ул. Словцова, 12
Академгородок, стр. 1
ул. Киренского, 13

в Емельяново
ул. Московская, 179

По вопросам приобретения журнала обращайтесь по т. 8 (391) 240 10 65, e-mail: disksid@mail.ru

---

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________

Адрес для доставки: ______________________

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________ (подпись плательщика) ______________ (дата платежа)

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________

Адрес для доставки: ______________________

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________ (подпись плательщика) ______________ (дата платежа)

Свежий ветер. Волга, 1895

Озеро. Русь, 1900

Читайте в 2011 году:

Романы

Андрея Лазарчука,
Николая Душки,
Дмитрия Захарова,
Василия Димова,
Елены Крюковой,
Александра Астраханцева…

Рассказы и повести

Александра Щербакова,
Евгения Лукина,
Михаила Тарковского,
Семёна Каминского,
Натальи Скакун,
Марии Скрягиной,
Дмитрия Хоботнева…

Мемуары, очерки, эссе

Юрия Кублановского,
Владимира Алейникова,
Юрия Беликова,
Владимира Монахова,
Михеля Гофмана,
Ильи Иословича…

Стихи

Сергея Кузнечихина,
Анатолия Вершинского,
Вероники Шелленберг,
Дмитрия Мурзина,
Александра Петрушкина,
Яниса Грантса,
Виктории Чембарцевой,
Игоря Иванченко…

и многое-многое другое!